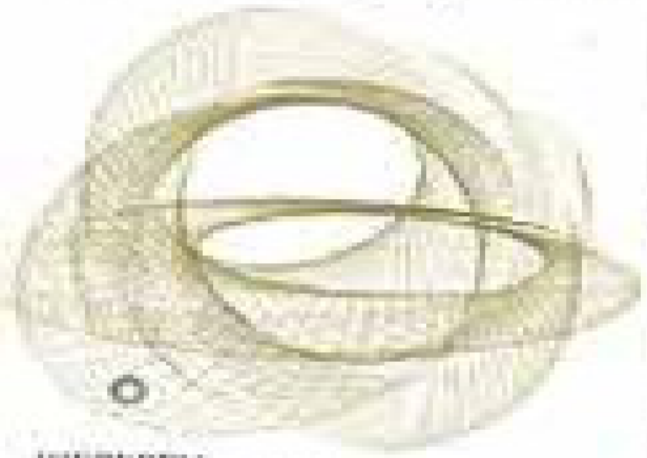
Генри Лайон
Олди



ШЕДЕВРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФАНТАСТИКИ

БАЛЛАДА О КУЛАКЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Кто не слышал о знаменитом монастыре Шаолинь, колыбели воинских искусств? Сам император благоволит к бритоголовым монахам-воинам в шафрановых рясах, чьи руки с выжженными на них изображениями тигра и дракона незримо и неотвратимо творят политику Поднебесной империи. Далее из великого Китая мы переносимся в Японию XV века и Харьков века XX.

Легендарные актеры театра Но и наши с вами современники, искусство древних лицедеев и современные школы карате, встреча с безликим нопэрапоном на ночном кладбище и рекламка «Ваша задача - выжить!». Тема боевых искусств — одна из главных в творчестве Г.Л.Олди, а романы «Мессия очищает диск» и «Нопэрапон» давно и заслуженно вошли в золотой фонд фантастики.

- Генри Лайон ОЛДИ
  - МЕССИЯ ОЧИЩАЕТ ДИСК
    - книга первая
      - часть первая
        - Глава первая
        - Глава вторая
        - МЕЖДУГЛАВЬЕ
      - часть вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - МЕЖДУГЛАВЬЕ
      - часть третья
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - МЕЖДУГЛАВЬЕ
    - книга вторая
      - часть четвертая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - МЕЖДУГЛАВЬЕ
      - часть пятая
        - Глава девятая
        - Глава десятая
        - МЕЖДУГЛАВЬЕ
      - часть шестая
        - Глава одиннадцатая
        - Глава двенадцатая

- МЕЖДУГЛАВЬЕ
- книга третья
  - часть седьмая
    - Глава тринадцатая
    - Раздумья В Ночи, или о чем не писал литератор Цюй Ю, автор «Новых рассказов у горящего светильника» и позапрошлый чиновник-распорядитель Чжоу-вана, сосланный в пограничный гарнизон Баоанъ и возвращенный из ссылки императором Хун Ци по ходатайству Государева Советника в ночь описываемых событий
    - РАЗДУМЬЕ ЗАБЛУДШЕЙ ДУШИ
    - РАЗДУМЬЕ ЛАЗУТЧИКА
    - РАЗДУМЬЕ СУДЬИ
    - РАЗДУМЬЕ ХЭШАНА
    - РАЗДУМЬЕ ДАОСА
    - Глава четырнадцатая
  - ЭПИЛОГ
- НОПЭРАПОН или ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
  - I. По образу и подобию
    -
    - Свеча первая
  - II. Нопэрапон. Свеча первая
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
  - III. По образу и подобию. Олег
    -
    - Дмитрий
    - Врач
    - Дмитрий
    - Врач
    - Дмитрий
  - IV. Нопэрапон. Свеча вторая
    - 1
    - 2
    - 3

- 4
- 5
- 6

- V. По образу и подобию. Олег
  -
  - Дмитрий
  - Олег
  - Дмитрий
  - Олег
- VI. Нопэрапон. Свеча третья
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- VII. По образу и подобию. Друг
  -
  - Дмитрий
  - Олег
  - Просто Татьяна
  - Олег
- VIII. Нопэрапон. Свеча четвертая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- IX. По образу и подобию. Дмитрий
  -
  - Олег
  - Бригадир
  - Олег
  - Дмитрий
  - Врач
  - Дмитрий
- X. Нопэрапон. Свеча пятая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- 5
- 6
- 7

- XI. По образу и подобию. Олег
  -
  - Технология взрывного метабоя
  - Дмитрий
  - Большой босс
- XII. Нопэрапон. Свеча шестая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- XIII. По образу и подобию. Олег
  -
  - Дмитрий
  - Монахов
  - Дмитрий
  - Олег
  - Дмитрий
- XIV. Нопэрапон. Свеча седьмая
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
- XV. По образу и подобию
  -
  - Мужики
  - Олег
  - Дмитрий
  - Олег
  - Дмитрий
  - Олег
  - Дмитрий
  - Олег
  - Дмитрий
  - Олег
  - Дмитрий
- XVI. Нопэрапон. Свеча восьмая
  - 1
  - 2

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- XVII. По образу и подобию

Генри Лайон ОЛДИ
Баллада о кулаке

МЕССИЯ ОЧИЩАЕТ ДИСК
Роман

книга первая
НЕ БУДИТЕ СПЯЩИХ ДРАКОНОВ

часть первая
КЛЕЙМО НА РУКАХ

Тигр выпускает когти, не думая о них, но жертва не может скрыться. Дракон использует Силу, не замечая ее, однако гора не может устоять.

Из поучений мастеров

Глава первая

1

Процессию сопровождало не менее сотни людей дворцовой охраны — все с гонгами и барабанами, в пурпурных халатах, затянутых поясами с роговыми пластинами, в шелковых праздничных шляпах, с лихо загнутыми отворотами, напоминавшими крылья легендарной птицы Пэн. Вот уж воистину — величие видно издалека! Особенно когда сиятельный Чжоу-ван, родной брат ныне здравствующего императора Поднебесной, Сына Неба Юн Лэ, в очередной раз возвращается в жалованный ему удел!

Впрочем, зеваки в толпе переговаривались вполголоса: дескать, нечистый на руку принц Чжоу уже трижды отстранялся от правления уделом за «злоупотребления» и явные нарушения канона Ведомства Работ, установленного специально для «кровнородственных ванов», как то: злостное пренебрежение указанной высотой дворцовых стен, двойное увеличение положенного количества ворот, покраска крыш западных палат в неподобающие цвета, не считая киноварного оттенка воротных створок, и так далее.

Но до того ли сейчас, когда в Нинго праздник, а в серой слякоти будней это уже немало!

Следом за охранниками двадцать придворных бережно везли в черепаховом ларце, украшенном яшмой и изумрудами,

драгоценные реликвии Ведомства Обрядов: свидетельство на титул вана, именуемое «цэ» и вычеканенное на тончайшем листе червонного золота, а также личную печать принца Чжоу, имевшую квадратное основание и навершие в виде прыгающего тигра.

Рядом с реликвиями в ларце хранился свиток — копия нефритовых табличек из Храма императорских предков — с двадцатью иероглифами, которые должны были составлять первую часть имен потомков Чжоу-вана на протяжении двадцати поколений.

И упаси Небо ошибиться — бдительное око Управления императорских родичей не дремлет!

За придворными, в окружении евнухов с веерами и опахалами, неторопливо двигался экипаж нынешней фаворитки принца Чжоу, его любимой наложницы, красавицы Сюань, которую за глаза в шутку называли Сюаньнюй* [Сюаньнюй — Дева Девяти небес, даосское божество.] Беспорочной. Сам Чжоу-ван, словно стремясь лишний раз подчеркнуть свое пренебрежение этикетом, ехал не впереди процессии, а рядом с экипажем наложницы и, склонившись к затененному шторами окошечку, распевно шептал что-то — должно быть, читал возлюбленной стихи эпохи Тан, до которых был большой охотник.

И все шло своим чередом, своим порядком, установленным до мельчайших подробностей, пока из задних рядов толпы вперед не протолкалась пожилая грузная женщина и, не остановившись на достигнутом, пошла себе вперевалочку прямо к принцу Чжоу и экипажу красавицы Сюань.

Эту женщину знали все в квартале Пин-эр. Ну скажите, кому не знакома Восьмая Тетушка, жена красильщика Мао, нарожавшая своему тщедушному муженьку добрую дюжину ребятишек, — тихая, покладистая простушка с вечно распаренными от стирки руками?

Но чтобы так, вопреки основам всех миров Желтой пыли, прямо навстречу кровнородственному вану...

— Прочь, негодная! — пронзительно, аж уши заложило, завизжал толстенький евнух и хлестнул нарушительницу спокойствия опахалом. Удар пришелся по выставленному предплечью Восьмой Тетушки, послышался треск, от бамбуковых пластин опахала брызнул во все стороны украшавший их мелкий бисер.

В ту же секунду сложенные «обезьяньей горстью» ладони жены красильщика Мао наискось обрушились на оттопыренные уши евнуха, бедняга захлебнулся так и не родившимся криком и сполз на мостовую, продолжая беззвучно разевать рот, будто

вытащенная из воды рыба.

А Восьмая Тетушка продолжила свой путь к экипажу.

Первым опомнился длинноусый придворный в черном халате, расшитом голенастыми драконами, и при поясе тайвэя — начальника стражи.

Он коротко скомандовал, и охранники мигом сломали строй, обтекая придворных с реликвиями — символами ванского достоинства; вокруг Восьмой Тетушки сомкнулись конские крупы, а позже, когда ближайшие охранники словно сами собой вылетели из седел, в воздухе засверкала сталь. Праздник плавно перерастал в бессмысленное побоище: в руках жены красильщика Мао проворно сновал отобранный у кого-то двуострый топорик, опытные солдаты на глазах превращались в драчливую ребятню, промахиваясь по вертящейся вьюном сумасшедшей бабе, отрубленная голова тайвэя подкатилась прямо под копыта ванского жеребца, и тот шарахнулся, рванулся подальше от мертвого оскала, загарцевал, с трудом смиряемый властной рукой...

И впрямь:

Мечи сверкают с двух сторон, смешавшись, кровь течет.
А в смертный час кому нужны награды и почет!

Два личных телохранителя удельного владыки еще только падали на залитую кровью мостовую: один — с расколотым черепом, другой, — успевший трижды взмахнуть секирой, с топориком в позвоночнике, — а Восьмая Тетушка уже стояла у экипажа и снизу вверх смотрела на принца Чжоу.

Плохо смотрела.

Так не смотрел на многажды опального вана даже его отец, покойный Хун У, в молодости великий мастер да-дао-шу* [Да-дао-шу — искусство фехтования на «больших мечах» (нечто среднее между кривым тяжелым мечом и алебардой).] и предводитель «красных повязок»* [«Красные повязки» — восстание, положившее конец правлению промонгольской династии Юань и приведшее на трон династию Мин.], в зрелости — первый император династии Мин, изгнавший монголов-завоевателей в северные степи.

Но если Чжоу-ван и был нечист на руку, то слаб на руку он не был никогда.

Лихо присвистнул, покидая богато изукрашенные ножны, легкий клинок-цзянь, евнухи бестолково пытались закрыть собой

повелителя, только мешая умелой рукотворной молнии, но, когда меч наконец опустился, описав перед этим сложную полуторную петлю, Восьмая Тетушка прогнулась назад и, как кошка лапами, хлестко ударила с двух сторон в плоскость клинка.

Звон, треск — и обезоруженный Чжоу-ван поднимает коня на дыбы, а жена красильщика Мао проскальзывает прямо под копытами и кулаком бьет в хрупкий замок дверцы экипажа, мгновение назад поспешно закрытый Сюаньнюй Беспорочной.

Все видели: пинком распахнув дверцу, женщина за волосы выволакивает вопящую наложницу, мимоходом уворачиваясь от брошенного кем-то ей в голову боевого кольца, выхватывает из рук красавицы Сюань крохотную собачку ханчжоуской породы, заходящуюся истошным лаем, и об колено ломает зверьку хребет.

После чего швыряет труп собачки на тело наложницы, лишившейся чувств.

На миг все замерло, остановилось в беспорядке — солдаты, евнухи, зеваки, требующий подать ему оружие принц Чжоу... Только Восьмая Тетушка качала головой, удивленно разглядывая собственные руки, словно видя их впервые, да скользил к женщине-убийце бритоголовый монах в оранжевой рясе-кашье, до того находившийся в самом хвосте процессии и не принимавший в побоище никакого участия.

Деревянные сандалии монаха касались земли легко-легко; так, должно быть, ходят небожители Белых Облаков, способные устоять на натянутой полоске рисовой бумаги.

Но и монах не успел.

Руки Восьмой Тетушки словно сами собой потянулись вперед и вниз, вынуждая разом погрузневшую женщину неуклюже присесть, пальцы пауком, хватающим бессильную добычу, вцепились в рукоять сломанного и брошенного принцем Чжоу меча-цзяня.

Оранжевая ряса поплыла в два раза быстрее, она напоминала гонимое ветром закатное облако — да только когда монах находился уже в пяти шагах от жены красильщика Мао, обломок ванского меча одним неуловимым для глаза движением перерезал горло женщины, как раз под дряблым вторым подбородком.

И густая кровь хлынула на очнувшуюся и вновь потерявшую сознание красавицу Сюань, заливая лицо живой наложницы и тело дохлой собачки.

К чести Чжоу-вана, он опомнился первым. Спешившись, принц подбежал к монаху и ухватил его рукой за костлявое плечо.

— Что скажешь, преподобный Бань?! — прорычал правитель,

усиливая хватку. — Не твоя ли забота следить за тем, чтобы злоумышленники сидели в колодках, дожидаясь приговора, а не разгуливали по улицам во время приезда кровнородственного вана?! Опять скажешь: все в мире тщета, и Желтая пыль запорошила глаза живущим?!

Монах даже не поморщился, словно не в его плечо клещами палача впивались пальцы гневного Чжоу и не рядом с его лицом брызгал слюной тот, кто властен во многих жизнях и смертях.

— И впрямь все тщета, высокородный ван, — тихо ответствовал преподобный Бань, и скорбные морщинки-трещинки разбежались во все стороны по его бесстрастному, словно лакированному лицу. — Где мне, ничтожному иноку, предугадать волю Девяти небес, если Владыка Преисподней, князь Яньло, соберется продлить или укоротить чье-то существование? Однако что смогу, на что хватит жалких силенок глупого монаха — то сделаю...

И хватка на его плече разжалась.

Чжоу-ван прекрасно знал, кто стоит за спиной «ничтожного инока». К каждому из цинь-ванов, то есть кровнородственных, и к каждому из цзюнь-ванов, то есть областных, было приставлено по такому же кроткому монаху, прошедшему полную подготовку в знаменитом монастыре близ горы Суншань — якобы из высших соображений. И принцу Чжоу не надо было объяснять, кто диктует императору Юн Лэ эти самые высшие соображения — о, кому не известен преподобный Чжан Во, формально ведающий сношениями с отдаленными провинциями и сопредельными государствами?!

Один из главенствующих иерархов Шаолиньской обители, преподобный Чжан, не первый год серой тенью стоял за спиной Сына Неба. Круг доверенных людей тишайшего служителя Будды был настолько широк, что края его терялись в туманной дымке неопределенности, и настолько скрытен, что та же дымка надежно прятала его от любопытствующих; одно знали — монахи-воины начальника тайной службы есть везде, от Хэнаня до Фучжоу, от Страны Утренней Свежести до территорий вьетов и неблизкого острова Рюкю. Ведь именно по рекомендации преподобного Чжан Во император провел небывалую чистку среди чиновников, подписал указ «О Великих морских плаваниях» и пожаловал шаолиньскому монастырю обширнейшие земельные угодья.

Будь ты хоть трижды ваном — стоит трижды задуматься, прежде чем хватать кого-либо из треклятых монахов-соглядатаев за плечи!

Тем паче что один бритоголовый из монастыря близ горы

Суншань стоит отряда телохранителей.

Или отряда наемных убийц.

***

...Принц Чжоу плюнул и пошел прочь. Он твердо знал: уж что-что, а расследование этого странного покушения он не поручит преподобному Баню, как бы тот ни упорствовал. Если хочет — пусть копает сам, тайно, не имея официального распоряжения. А вот кто из судей в Нинго достоин заняться этим делом... нет, не сегодня.

Сегодня день и без того напрочь испорчен.

И наложницу,Сюань надо будет на этой же неделе отослать к родителям.

Вид бесчувственной, залитой кровью Сюаньнюй Беспорочной с дохлой собачкой на груди навсегда отвратил сердце владыки от любимой наложницы.

А труп Восьмой Тетушки уже волокли во двор местной канцелярии...

2

...Чиновник долго и цветисто рассыпался в любезностях, всячески превознося честность и неподкупность высокоуважаемого сянъигуна* [Сянъигун — почетный титул особо отличившихся судей; дословно переводится как «господин, поддерживающий неустрашимость».], вспоминая его многочисленные заслуги одну за другой, и все никак не переходил к главному: зачем он, придворный распорядитель сиятельного Чжоу-вана, ни свет ни заря явился к судье Бао?

Впрочем, судья Бао и без объяснений догадывался о причине столь удивительного визита; более того — он знал это наверняка. Потому что склонный к вычурности слога и привычный к лести чиновник-распорядитель на сей раз отнюдь не преувеличивал заслуги высокоуважаемого сянъигуна по части раскрытия многих запутанных дел. И сопоставить более чем странное происшествие, не далее как вчера имевшее место на центральной улице Нинго, с явлением придворного распорядителя принца Чжоу, для

выездного следователя* [Выездной следователь — другое название должности судьи.] Бао не составило особого труда.

Что же касается честности, то и здесь достойный распорядитель не погрешил против истины. Ибо нингоусцы за глаза давно уже прозвали достопочтенного судью Бао — Бао Драконова Печать, намекая на его легендарного предшественника и тезку, прославившегося своей неподкупностью лет эдак триста назад.

Все было верно и ясно с самого начала, а потому до невозможности скучно. Судья вежливо кивал, слушая придворного, явно перечитавшего Конфуция, и даже не самого Кун-цзы, а его нынешних толкователей; думал же выездной следователь Бао при этом совсем о другом.

Объявившаяся в Поднебесной новая болезнь, вскоре названная простолюдинами «Безумие Будды», набирала силу, постепенно превращаясь в эпидемию. Судья Бао далеко не в первый раз сталкивался с людьми, потерявшими рассудок в бесконечной веренице собственных перерождений — осознанных неожиданно и неотвратимо, подобно удару молнии! — забывшими, кто они сейчас, разрываемыми изнутри на части проснувшейся памятью о десятках прожитых ими жизней. Такие люди могли прекрасно помнить подробности восстания Ань Лушаня* [Ань Лушань — в 755 г. поднял мятеж против императора. В 757 г. был убит.], рассказывать, как они сражались под знаменами Чжугэ Ляна* [Чжугэ Лян (220 — 280 г.г.) — известный полководец и народный герой.] или Сунь У* [Сунь У (или Суньцзы, VI — V вв. до н. э.) — известный полководец и стратег.], говорить на никому не известных языках и прозревать будущее, не зная при этом своего теперешнего имени, не помня ни родного дома, ни своих близких.

Бритоголовые монахи с умным видом объясняли, что такие люди прогневали Будду своими назойливыми мольбами, и тот дал им просветление, о котором они просили, но бодрствование истинной сущности оказалось непосильным для их слабого ума, не подготовленного праведным образом жизни и медитациями...

Судья Бао был абсолютно уверен, что монахи-болтуны тоже далеки как от просветления, так и от Будды — ибо разве способен даже самый назойливый человек чем-то прогневать пребывающего в Нирване Будду?

Даосские же маги твердили в один голос, что это шалости кого-то из подручных демонов Владыки Преисподней Яньло...

Подручные демоны интересовали судью Бао в самую последнюю очередь. У него хватало забот и без Преисподней. («Кто бы мне дал в подручные пару демонов?» — с тоской

подумал судья, наливая себе красного чая из давно остывшего чайничка.) Недавно «Безумие Будды» добралось и до семьи самого следователя Бао. Его молодой племянник Чжун сошел с ума буквально за неделю, перестал узнавать родных и все рвался из дома в Лоян, где его якобы ждала семья; или принимался часами декламировать стихи, причем скверные, чего за прежним Чжуном никогда не водилось; или... Несколько перерождений спорили между собой внутри несчастного юноши, подобно лавине в горах погребая под собой его нынешнюю личность, и Бао не знал, чем помочь любимому племяннику. Бессильны оказались и городской лекарь, и заходивший в дом судьи бродячий монах с его трещотками и гонгом. Только всегда мрачный и неразговорчивый даос Лань Даосин по прозвищу Железная Шапка сумел на некоторое время вернуть рассудок юноше. Но к вечеру «Безумие Будды» овладело Чжуном с новой силой — даже даосскому чародею оказалось не по плечу долго противостоять болезни.

Судья знал, что одержимые «Безумием Будды» не живут больше месяца, и потому был хмур и подавлен — но проклятая судьба не ограничилась племянником Чжуном!

Не далее как позавчера судья застал своего первенца и наследника Вэня в западном флигеле за приятной беседой с некоей совершенно незнакомой судье девицей. Девица скромно опустила глаза, вежливо поклонилась вошедшему главе семейства — ничего предосудительного в ее поведении не наблюдалось, и на гулящую певичку она не походила. Да и взрослому сыну пора уже подыскивать жену, а судья Бао не из тех старомодных упрямцев, кто заключает браки детей без предварительного разговора с будущими супругами... Судья еще раз окинул взглядом гостью: одета небогато, но опрятно и прилично, лицом мила, насурьмлена и нарумянена в меру, разве что красный платок на шее девушки чем-то не понравился выездному следователю Бао.

Судья не был суеверен. Но он не мог пренебречь тем, что творилось сейчас в Поднебесной: эпидемия «Безумия Будды», затронувшая и его семью, встающие из могил мертвецы (сперва не верил, но одного видел собственными глазами!), шастающие чуть ли не средь бела дня бесы, обретшие разум звери, и добро б привычные лисы-оборотни, а то барсуки какие-то... Даже если отсеять две трети россказней и сплетен, оставшегося вполне хватало, чтобы быть обеспокоенным.

Возникшее подозрение следовало проверить немедленно. И Бао тут же отправился к своему давнему знакомцу Лань Даосину, неоднократно выручавшему судью в подобных ситуациях.

К счастью, Железная Шапка еще не покинул Нинго, чтобы плавить в горах свои пилюли бессмертия.

— Бесовка, — кивнул, оборачиваясь, чародей, едва судья успел переступить порог его временного жилища и открыть рот, дабы поведать магу, с чем пришел на этот раз. — Дух повесившейся женщины. Замену себе ищет, чтоб переродиться. Возьми вот эту тыкву-горлянку и побрызгай из нее на беса — все чары сразу рассеются, а ты увидишь его истинное обличье: После гони его метлой из персиковых прутьев, которая у тебя в коридоре стоит. Больше не вернется.

И чародей протянул судье небольшой сосуд.

— Благодарю тебя, святой Лань, — еле смог наконец выговорить судья, до сих пор не привыкший к сюрпризам даоса, которого все никак не отваживался вслух назвать другом. — Если тебе что-нибудь понадобится...

— Я знаю, — чуть заметно улыбнулся Лань Даосин, занавесив хитрые глазки косматыми бровями. — А теперь поспеши. Бес уже почти околдовал твоего сына.

Давно почтенный выездной следователь так не бегал! Но сейчас судье Бао было наплевать на свое положение и должность, которые никак не предусматривали подобных пробежек — его сын в опасности, и он должен успеть!

Он успел.

Девушка, виновато улыбаясь, уже прилаживала под притолокой кокетливый женский поясок, и его мальчик, его Вэнь уже взбирался на табурет, пытаясь дотянуться до стропил, не понимая, что делает, — вот тут-то в западный флигель и вломился запыхавшийся Бао Драконова Печать, на ходу откупоривая выданную ему тыкву-горлянку.

И когда беспримерной вонючести смесь прогорклой бычьей, свиной и бараньей крови пополам с человеческим калом, мочой и загноившимся мужским семенем (к слову сказать, были там еще разные, неведомые судье, но не менее «ароматные компоненты») окропила отшатнувшуюся девицу, с глаз присутствующих мгновенно спала пелена бесовского наваждения.

Первый Сын Вэнь стоял на табурете дурак дураком и готов был собственноручно надеть себе на шею петлю, скрученную на конце растрепанной веревки, свисающей со стропил, а рядом извивался и подпрыгивал в судорогах полуразложившийся труп с глубоким следом от веревки на сломанной шее, с которой когтистые пальцы успели сорвать нарядный красный платок. Возможно, когда-то это была весьма милая девушка, и при жизни она вполне могла выглядеть именно так, как представлялось судье и его сыну всего несколько минут назад, но сейчас, со

вздыбленными волосами, с языком, вываленным на добрый локоть...

Стенающая покойница при помощи персиковой метлы была изгнана из дома — искать себе замену для будущего перерождения где-нибудь в другом месте, — а с сыном судья провел соответствующую беседу о нравственности. Однако, хотя все завершилось благополучно и бесовка более не появлялась, на душе у судьи было неспокойно. Неладное что-то творилось в Поднебесной!..

Вот уж верно:

Не вижу былого достойных мужей.
Не вижу в грядущем наследников им;
Постиг я безбрежность небес и земли,
Скорблю одиноко, и слезы текут.

— ...Так что сиятельный Чжоу-ван надеется, что высокоуважаемый сянъигун сумеет распутать это загадочное дело. Позвольте мне, ничтожному, передать вам письменное распоряжение сиятельного Чжоу-вана, наделяющее вас соответствующими полномочиями. — Чиновник с поклоном передал судье свиток, написанный уставным письмом кайшу и с оттиснутой на красном воске печатью принца.

Пришлось встать, с поклоном принять свиток, выразить вслух сомнения в силах презренного Бао справиться с таким важным поручением, а потом еще несколько минут слушать всяческие заверения, уверения и прочие надежды кровнородственного вана в изложении его распорядителя, пока последний наконец не удалился.

Едва дверь за достойным последователем Конфуция и его позднейших толкователей все-таки закрылась, судья Бао тяжело вздохнул и развернул свиток.

Полномочий было больше, чем он ожидал. Существенно больше. Вдобавок несколько чистых бирок на арест, которые судья мог заполнить по своему усмотрению. Опять же разрешение, спрятанное внутри свитка... Судья Бао очень надеялся, что ему не придется воспользоваться ЭТИМ разрешением. Да, ему теперь было дозволено многое, очень многое даже для Господина, Поддерживающего Неустрашимость. Но и спрос с него будет особый — это выездной следователь понимал прекрасно. Что ж, придется заняться навязанным делом со всей тщательностью, хотя — видит

Небо! — он предпочел бы вплотную озаботиться недавним убийством богатого купца, проезжавшего через Нинго и всплывшего не далее как вчера со вспоротым животом в ближайшем пруду.

Но, как сказал поэт: «Весенние грезы — за гранью небес».

Судья Бао еще раз тяжело вздохнул и отправился производить освидетельствование трупов.

3

С трупами охранников, собачки, телохранителей и тайвэя все было ясно: сломанные шеи и хребты, разрубленные черепа и другие смертельные повреждения, нанесенные в бою. Причем у каждого — только по одной ране, из чего судья заключил, что убивал их опытный боец, не привыкший бить дважды одного и того же противника — ибо какой смысл бить покойника?

С трупом самой виновницы вчерашнего побоища, Восьмой Тетушки, поначалу тоже особых сложностей не предвиделось: перерезанное горло говорило само за себя. Да и свидетели оказались практически единодушны в своих показаниях — прозорливый Бао заранее позаботился об их опросе и сборе вещественных улик. Заодно он успел послать одного из сыщиков допросить красильщика Мао и его многочисленную родню, а также родню самой Восьмой Тетушки, ежели таковая (родня, а не Тетушка!) сыщется. Еще до прихода придворного распорядителя судья чувствовал, что не миновать ему этого дела, а подобные предчувствия редко обманывали; потому и побеспокоился о немедленном начале следствия. Ибо, как известно, вести следствие лучше по горячим следам, а не уже, когда все улики успели растащить, свидетели подевались неизвестно куда, а у тех, кто остался, отшибло память.

Конечно, надо будет приказать лекарям городской управы произвести вскрытие и другие необходимые исследования, которые покажут, не находилась ли почтенная мать семейства под воздействием какого-нибудь дурманящего зелья. Только это вряд ли: судья долго смотрел на умиротворенное лицо покойной, на котором застыло такое выражение, словно Восьмая Тетушка умерла с сознанием честно выполненного долга, и с сомнением покачал головой. Какое невероятное зелье могло превратить тишайшую женушку красильщика Мао в мастера воинских искусств, сумевшего уложить половину стражи принца Чжоу?! И

потом, добро б она Чжоу-вана убила (добро — это так, к слову), а то нате, подвиг — сломала хребет любимой собачке любимой наложницы и радостно перерезала себе гордо!

Из-за собачки она, что ли, столько народу к предкам отправила?!

Ну не понравилась ей чем-то собачка — кинь издалека камнем...

Судья Бао не любил подобных дел. Он раскрывал их, как и все остальные, но не любил. Если с обычными убийствами, кражами, ограблениями и подлогами с самого начала было ясно, где и кого искать, то в делах такого сорта никогда нельзя знать заранее: что выплывет на сей раз, кому ты наступишь на мозоль, и кому в итоге придется хуже — преступнику или излишне ретивому выездному следователю?

Разумеется, во время освидетельствования трупа Восьмой Тетушки выяснилось и было записано, что умерла злоумышленница в результате перерезания горла, совершенного ею же; а также что при жизни никакими специальными воинскими упражнениями, кроме стирки и тому подобных домашних работ, жена красильщика Мао не занималась. Это подтверждалось показаниями опасавшейся пыток и потому разговорчивой родни, твердившей в один голос, что о кулачном бое Восьмая Тетушка имела весьма смутное понятие, если не считать периодических поколачиваний пьяного муженька. Опять же — сорок с лишним лет тихой, незаметной жизни, у всех на виду: муж, дети, работа по дому, пересуды с соседками...

Нет, не могла такая женщина — даже ради самой отвратительной на свете собачки! — за несколько минут уложить около двух десятков отборных стражников из личной охраны Чжоу-вана, включая телохранителей и тайвэя!

И тем не менее факт налицо.

Судья Бао еще некоторое время постоял над телом умершей и собрался было уходить, когда взгляд его случайно скользнул по лежавшей ладонью вверх руке покойной. На предплечье уже начали проступать синеватые трупные пятна, и в этом не было ничего удивительного, но форма этих пятен казалась какой-то странной, что-то напоминала судье, что-то очень знакомое...

Судья Бао нагнулся, вглядываясь повнимательнее, — и вдруг резко схватил вторую холодную руку покойной, переворачивая и ее ладонью вверх.

Так и есть!

Сомнений больше не было.

На предплечьях тишайшей Восьмой Тетушки, словно вытатуированные смертью, слабо проступали изображения тигра

и дракона — отличительные знаки монахов-воинов, прошедших непроходимый для других Лабиринт Манекенов хэнаньского монастыря Шаолинь!

Точно такая же татуировка, только выжженная огнем, была у преподобного Чжан Во, начальника тайной службы императора; и у преподобного Баня, приставленного к Чжоу-вану.

4

У судьи Бао болела голова. Прописанное лекарем снадобье, обычно помогавшее в таких случаях, на этот раз действовать отказывалось. Виски ломила нудная, утомляющая боль, мысли путались, и судья бездумно перебирал скопившуюся на его столе кипу прошений, жалоб и других бумаг, скользя взглядом по ровным рядам иероглифов и не вникая в суть написанного.

За столом в углу так же нудно, как головная боль, бубнил что-то себе под нос прилизанный молодящийся сюцай* [Сюцай — первая (низшая) ученая степень.] Сингэ Третий, сидевший на этом месте уже добрый десяток лет и никак не могущий сдать экзамен на степень цзюйжэня* [Цзюйжэнь — вторая (средняя) ученая степень.] по причине «ограниченности ума, невосполнимой никаким усердием», как выразился однажды кто-то из экзаменаторов.

Сингэ Третий напоминал судье сюцая из небезызвестной истории, который отдыхал нагишом в прохладе храма местного Бога земли и простудился. Принеся жертву божеству и выздоровев, обиженный сюцай написал подробный доклад, где обвинял Бога земли в том, что тот хитростью выманил у него жертвоприношения, после чего сжег доклад в храме духа-покровителя местности. Не дождавшись ответа, сюцай через десять дней написал доклад с обвинением духа — покровителя в пренебрежении своими обязанностями и сжег доклад в храме Яшмового Владыки. Ночью сюцаю приснилась огненная надпись на стене его дома, сделанная древним головастиковым письмом: «Бога земли, опозорившего свой ранг, сместить с должности. Духу-покровителю записать взыскание. Сюцай такой-то за неуважение к духам и любовь к тяжбам получит тридцать палок через месяц с небольшим».

Что и произошло вскоре.

Но сейчас судье Бао было не до смеха: перед его мысленным взором мертвыми колодами лежали две женских руки.

Разумеется, никаких изображений дракона и тигра на руках Восьмой Тетушки при жизни не наблюдалось — это подтвердили и ее муж, красильщик Мао, и многочисленная родня, и еще более многочисленные соседи. Признаков воздействия колдовского или какого бы то ни было иного зелья также обнаружено не было. Судья еще раз осмотрел труп в присутствии управного лекаря, убедился, что странные трупные пятна никуда не исчезли, а, наоборот, стали еще более отчетливыми, распорядился занести это в протокол освидетельствования и грузной походкой отправился в канцелярию. Где теперь и сидел в отвратительном расположении духа и с раскалывающейся от боли головой.

— ...И представьте себе, высокоуважаемый сянъигун, ничего не взял в доме цзюйжэня Туна, зато изорвал в клочья его любимую тигровую орхидею, которую почтенный цзюйжэнь Тун растил в соответствии с каноном «Ба-хуа»...

— Кто изорвал? — без всякого интереса, просто чтобы отвлечься, переспросил выездной следователь, пропустивший мимо ушей всю предыдущую часть долгого и красочного повествования словоохотливого сюцая.

— Да вор же! — обрадовано воскликнул Сингэ Третий, счастливый тем, что господин начальник наконец-то услышал и, кажется, даже заинтересовался его рассказом. — Изорвал любимую орхидею цзюйжэня Туна, а после воткнул себе садовый нож прямо в сердце! Цзюйжэня Туна, когда он об этом узнал, чуть удар не хватил, — довольно продолжил сюцай, недолюбливавший более удачливого, чем он сам (и, надо сказать, довольно заносчивого), Туна. — Из-за орхидеи, понятно, а не из-за вора... Так что теперь он в столицу не поедет; а заместитель ваш, досточтимый господин Фу, распорядился руки у покончившего с собой сумасшедшего вора отрубить и приколотить их к позорному столбу на городской площади, чтоб другим неповадно было.

— Вора опознали? — вяло поинтересовался судья, головная боль которого стала наконец понемногу утихать — то ли снадобье подействовало, то ли сама собой улеглась.

— Опознали, опознали! Торговец сладостями Фан Юйши, его все знают, честнейший человек, хоть и торговец! Я ж и говорю, — видать, умом тронулся. Раньше я у него рисовые колобки с тмином брал, а теперь уж и не знаю, где покупать! Да и вообще, сами видите, высокоуважаемый сянъигун, что у нас в уезде творится, а в последнее время, говорят, и по всей Поднебесной...

— Почему Фу мне не доложил? — прервал сюцая судья.

— Не хотел вас беспокоить, высокоуважаемый сянъигун! Дело-то ясное, вор известен и к тому же мертв...

Но судья Бао уже вновь перестал слушать болтовню Сингэ Третьего. Было в этих двух дурацких происшествиях что-то сходное, что выстраивало их в одну цепочку, делая смежными звеньями, и судья Бао почувствовал знакомый охотничий азарт, когда в полной бессмыслице нагромождения фактов, незначительных деталей, свидетельских показаний, улик вдруг сойдутся друг с другом несколько фрагментов разобранной головоломки, притрутся совершенно неожиданными углами, и ты понимаешь, что ухватился за нужную нить, и теперь надо тянуть, тянуть — только осторожно, чтобы не оборвать...

Дикий и на первый взгляд бессмысленный поступок Восьмой Тетушки, закончившийся ее самоубийством; и не менее дикий поступок уважаемого торговца Фан Юйши, а в итоге — нож в сердце. Вот что роднило два эти дела — внешняя бессмысленность и самоубийство исполнителя в конце!

— Пройдусь-ка я на площадь, — пробормотал судья скорее самому себе и не спеша вышел из канцелярии.

***

— Достопочтенный сянъигун Бао?

Вопрос был излишним — в Нинго спутать судью Бао с кем-либо другим мог только слепой. Судья неторопливо обернулся. И, в свою очередь, сразу узнал этого пожилого монаха в оранжевой кашье. Преподобный Бань, ставленник тайной службы, немного телохранитель и уж наверняка соглядатай при сиятельном Чжоу-ване — который, однако, ничего не успел сделать во время недавнего побоища.

Не успел?

Не смог?

Не захотел?

— Да, это я, преподобный отец, — кивнул выездной следователь, почтительно складывая ладони перед грудью. — Вот уж и впрямь — известно вам тайное и явное! Я как раз хотел переговорить с вами. Вы ведь, насколько я знаю, принимали монашество и затем проходили обучение в знаменитом монастыре у горы Сун? Воистину счастлива та обитель, чей патриарх был лично приглашен на церемонию восшествия на трон нашего нынешнего императора, Сына Неба Юн Лэ, живи он вечно! По-моему, именно по совету шаолиньского патриарха Сын Неба перенес столицу из Нанкина в Пекин?

— Знания Господина, Поддерживающего Неустрашимость, достойны благоговения, — скромно склонил голову монах, но эта скромность не могла обмануть судью.

Неспроста подошел к нему преподобный Бань!

— Тогда не могли бы вы показать мне, недостойному, священные знаки тигра и дракона на ваших руках? Надеюсь, монастырским уставом это не запрещается?

— Нет, что вы, высокоуважаемый сянъигун, отнюдь! — заулыбался монах, которому явно польстила просьба судьи Бао, да еще высказанная столь смиренным тоном. — Разумеется, смотрите! Вот...

И он по локоть закатал рукава кашьи.

Некоторое время высокоуважаемый сянъигун самым внимательным образом изучал предъявленные ему изображения, выжженные на предплечьях монаха, а потом невинно осведомился:

— А скажите мне, преподобный Бань, только ли у монахов, сдавших экзамены в монастыре Шаолинь, имеются на руках такие знаки?

— Я не слышал, чтобы кто-нибудь хоть раз дерзнул подделать их. — Голос монаха остался прежним, но и без того узкие глаза сузились еще больше.

— А нельзя ли их как-нибудь скрыть? — поинтересовался судья. — Если, к примеру, монах-воин не хочет, чтоб его узнали?

— Наверное, можно, — пожал плечами монах, — только зачем? Да и шрамы останутся... Кроме того, прошедших Лабиринт Манекенов не так уж много, и нас хорошо знают не только в обители. Надеюсь, вы слышали, что принявший монашество в Шаолине может получить право на свободный выход из монастыря лишь тремя способами? Первый — сдать экзамены, на что способен далеко не каждый, и не ранее пятнадцати лет ежедневного изнурительного обучения; второй — быть посланным во внешний мир по делам братии, что случается редко...

— А третий?

Монах лишь развел руками.

Дескать, третий выход — выход для всех и из любой ситуации.

— Я понимаю вас, высокоуважаемый сянъигун, — вновь заговорил преподобный Бань после паузы. — Вам подсунули сложное и неприятное дело. Расследовать его — ваш долг... но, думаю, не будет большой беды, если вы вскоре прекратите поиски. Разумеется, честно выяснив все, что представляется возможным. И мне, ничтожному, почему-то кажется, что вы это

уже выяснили: возмутительница спокойствия действовала в одиночку, без чьей-либо помощи, пребывая, по всей видимости, не в себе. И потом, она мертва — а посему кто теперь может сказать, что творилось в тот момент в голове у несчастной женщины?

— Конечно, вы правы, преподобный отец. — Судья вежливо склонил голову. — Приблизительно к тем же выводам пришел и я. Не могу не выразить радости, охватившей мою душу при известии, что мое непросвещенное мнение совпало с мнением столь достойного служителя Будды, как вы.

Они поговорили еще немного о всяких не имеющих отношения к делу вещах, хотя судья Бао прекрасно осознавал: монах уже сказал все, что хотел, дав понять, что преподобный Бань и те, кто стоит за ним, не слишком заинтересованы в подробном расследовании этого дела.

Судья догадывался — почему.

Когда преподобный Бань, откланявшись, удалился, перед глазами судьи все еще некоторое время стояли выжженные на руках монаха знаки тигра и дракона. Точно такие же, как и те, что проступили после смерти на предплечьях Восьмой Тетушки, никогда не перешагивавшей порога знаменитого монастыря у горы Сун. Точно такие же знаки, разве что не от огня, как у преподобного Баня, а опять в виде трупных пятен проступали сейчас на двух прибитых к позорному столбу руках уважаемого торговца Фан Юйши.

Который тоже никогда не был монахом.

Ни монастыря Шаолинь, никакого другого.

Глава вторая

1

Сказано в древности:

Если чаньского мастера встретишь в пути —*
Слов понапрасну не трать,
Но и мимо не вздумай пройти.
Дай ему в челюсть — и пусть говорит кулак.
Умный поймет,
А дурак обойдется и так.

* [Чаньский мастер — последователь учения чань (япон. дзэн), одного из направлений буддизма.]

— Мерзавец! — во всю глотку орал Золотой Угорь, ожесточенно стряхивая с себя вонючие брызги. — Скотина бритоголовая! Спускайся сюда, я тебе башку в плечи вколочу!

Монах, стоявший на стене, не обратил на вопли снизу ни малейшего внимания. Минуту назад он бесстыже задрал край своей шафрановой рясы и помочился прямо на голову Золотого Угря, подошедшего слишком близко к запертым воротам монастыря у горы Сун. За воротами, как рассказывали сведущие люди, начиналась тропинка, пробитая в скалах от подножия к самому монастырю, расположенному существенно выше, у вершины, но Золотому Угрю сейчас было не до скал и тропинок. Не так давно он, сын деревенского старосты из провинции Хэбей и признанный в родных местах знаток цюань-фа* [Цюань-фа — дословно «кулачный бой».], добился своего — после долгих мытарств, результатом которых явились три рекомендации от трех весьма уважаемых особ, Золотому Угрю была прислана записка с повелением (хотя Угорь рассчитывал на приглашение) явиться не позднее Праздника Холодной Пищи к внешним воротам Шаолиня.

Вот он и явился.

И почти неделю проторчал перед запертыми воротами в компании семи таких же, как он, соискателей на право принятия монашества в известном на всю Поднебесную монастыре.

Девятым был немолодой хэшан* [Хэшан — буддийский монах.] из горного храма в округе Аньдэ, только что вошедший в ворота всего после трех часов ожидания — он предъявил стражам письменное разрешение своего патриарха. Стражи долго шевелили губами, уставясь на свиток, потом переглянулись и поманили хэшана за собой.

— Вот так всегда! — завистливо вздохнул совсем еще молоденький кандидат, представившийся молочным именем Змееныш Цай. — Как нам, мирянам, так и рекомендаций куча, и жди тут невесть сколько... а как им, преподобным, — патриарх разрешил, и входи себе на здоровье! Ни дать ни взять областная канцелярия: одни с поклоном да бочком, другие верхом с развернутым штандартом!

Случись это раньше, Золотой Угорь ничего бы не ответил, про себя обозвав Змееныша Цая молокососом. Но через день ожидания спокойствие его поколебалось, через три — от выдержки остались какие-то жалкие лохмотья, а теперь, под

конец недели, казавшейся бесконечной, Золотой Угорь готов был разорвать на части любого подвернувшегося под руку.

А тут еще этот монах, решивший помочиться на горячую голову...

— Ну где же ты?! Испугался?!

Ворота медленно, со скрипом отворились. В проеме стояли два монаха-стражника: рослые, плечистые, с синими от ежедневного бритья головами, похожие друг на друга, как близнецы.

— Ха! — презрительно выкрикнул Золотой Угорь. — Святоша за чужие спины прячется! Тоже мне, монахи-герои! Ну, давай, налетай на удальца!

В эту минуту он совершенно забыл, что и сам явился сюда отнюдь не из соображений благочестия или желания отринуть суету мирских иллюзий; нет, если что и влекло Золотого Угря в хэнаньский Шаолинь, так это слава колыбели воинских искусств, чьи питомцы гремели от Восточной вершины Бошань и до Западного Рая Владычицы Сиванму!

Змееныш Цай испуганно дернул Золотого Угря за рукав блузы, указывая на приближающихся стражей, но это ничуть не смутило разъяренного кандидата.

Дождавшись, пока медлительные стражи дойдут до него, Золотой Угорь демонстративно принял малоизвестную на Юге позицию «маленького черного тигра» и с резким выдохом нанес сокрушительный удар кулаком в живот ближнему стражнику.

— Ты чего? — удивленно спросил монах, глядя, как Золотой Угорь скачет на месте, с воем хватаясь за едва не вывихнутое запястье. — Умом тронулся?

— А-а, знаю! — Второй стражник хлопнул себя по бритой макушке. — Это он тебе, преподобный Цзяо, их северянские ухватки показывает! Как же, помню... «худой облезлый тигр»... нет, не худой — маленький! Маленький и черный! Точно! Маленький черный тигр!

— Тигр? — Изумлению первого монаха не было предела. — Маленький и черный?! Разве такие бывают?!

— У них бывают. Хорек — слыхал о таком? Маленький и черный, а злющий — куда там тигру!

Первый монах недоверчиво покачал головой, после ухватил Золотого Угря за шиворот и потащил к лестнице, начинавшейся в десяти шагах от ворот.

Не слишком высокая лестница, ступеней пятьдесят, не больше.

Золотой Угорь точно знал, что не больше.

Когда бьешься головой о каждую, трудно ошибиться в счете.

Остальные кандидаты следили за происходящим в полной тишине, если не считать бурчания семи животов: за пропитанием несчастных в течение недели ожидания никто не следил, и приходилось довольствоваться принесенным с собой, если кто позаботился о харчах заранее, или собирать ягоды и коренья в окрестностях.

Неделя впроголодь — это тебе не павлин начихал…

Вернувшись, монахи-стражники оставили створки ворот открытыми и исчезли за стеной.

— Заглянуть, что ли? — спросил сам себя Змееныш Цай.

И тут же прикусил язык: заглянешь, а тебя вот так, с лестницы вверх тормашками…

День близился к полудню, когда из ворот снова высунулась лоснящаяся физиономия стражника.

— Эй, жрать хотите? — поинтересовался он;

Все дружно закивали головами, даже не подумав указать стражнику на то, что разговаривать с людьми полагается в несколько более вежливом тоне; особенно монаху, которому Будда не рекомендовал даже молиться в смятении чувств, не говоря уж о гневе.

— Ну тогда заходите, — и стражник приглашающе махнул рукой.

«Ну и зашли», — подумал Змееныш Цай, заходя и оглядываясь по сторонам.

За воротами действительно не было ничего, кроме тропинки, ведущей куда-то вверх через бамбуковую рощицу и вскоре теряющейся в скалах.

А еще…

Запах, вздымавшийся над котлом с горячим варевом, мог бы быть и поаппетитнее, но изголодавшимся кандидатам хватило и этого, чтобы бурчание в животах стало подобным извержению вулкана. Вся семерка немедленно сгрудилась вокруг старого бронзового треножника, в углублении которого синими проблесками мигали раскаленные уголья, и как завороженные уставились на укрепленный поверх треножника котел.

Один Змееныш Цай не торопился. То ли был менее голодный, чем другие (мать снабдила его в дорогу внушительным узелком с припасами, да и охотиться на змей и ящериц он умел с детства), то ли по молодости постеснялся при стражах-монахах кидаться к еде подобно неразумному варвару.

Но стражники, казалось, и впрямь были настроены доброжелательно. Один из них приволок из сторожки стопку щербатых глиняных мисок, другой порылся в суме и извлек добрый десяток ячменных лепешек. Каждому кандидату было

выдано по миске и лепешке — и Змееныша Цая не обошли вниманием, — после чего тот стражник, что спускал по лестнице вверх тормашками Золотого Угря, вооружился огромной шумовкой и встал у котла.

— Ну, почтенные, кто из вас самый голодный?! — расхохотался монах, зачерпывая похлебку.

«Бобовая, — по запаху определил Змееныш Цай, глотая слюнки. — И с мясом. Много мяса небось...»

Говорливое брюхо, видать, туманило мозги: ему даже не пришло в голову, что буддийским монахам убоины вкушать не положено, значит, в похлебке вроде бы мясу и не место.

Двое самых голодных — или самых нетерпеливых — мигом подставили миски, безуспешно пытаясь одновременно с этим отгрызть кусок от невероятно черствой лепешки. Варево шлепнулось в посуду, и двухголосый вой всполошил птиц в кроне ближайших деревьев: дно мисок было сделано из тонкой бумаги, выкрашенной в грязно-коричневый цвет и оттого даже на ощупь напоминавшей шероховатую глину, — так что вся замечательная бобовая похлебка с мясом, прорвав ложное дно, вылилась на живот и колени торопыгам.

Чем громче кричали пострадавшие, тем больше веселились монахи. Хрюкали, повизгивали, утирали слезы и в изнеможении падали на землю, дробно стуча пятками. Смех их, что называется, «сотрясал Небо и Землю». Ворота до сих пор стояли незапертыми, и Змееныш Цай уже всерьез подумывал о том, чтобы повернуться и уйти. По крайней мере именно такое желание было написано на его скуластом лице, и всякий мог этим желанием всласть налюбоваться. Наконец он, закусив губу, оторвал бумагу-обманку, подложил под миску вместо дна выданную лепешку и решительно направился к котлу.

Где и выяснил, что не один он такой умный: в очереди за похлебкой Цай оказался пятым, то есть последним.

Пока все хлебали из мисок, спеша и обжигаясь, а потом усердно жевали размягчившиеся от горячего варева лепешки, — те двое, что ошпарились, сидели неподалеку, поскуливая вполголоса.

Наконец один из них встал и, спотыкаясь, побрел к воротам.

— Это несправедливо, — шептал его собрат по торопливости, постепенно повышая голос, — это несправедливо... несправедливо!..

Казалось, он помешался на справедливости, потому что повторял это раз за разом, не в силах замолчать и уйти.

Монах-стражник поднял его за шкирку, как напроказившего котенка, и потащил к выходу.

— Эй, ты! — заорал страж после того, как выставил несчастного наружу. — Да-да, именно ты! А ну-ка иди сюда, почтеннейший!

Тот торопыга, что ушел сам, не взывая к справедливости, обернулся. Потоптался на месте, удивленно пожал плечами и вернулся. С опаской прошмыгнул мимо стражника — вдруг наподдаст или еще что! — потом подошел к котлу, взял у Змееныша Цая предложенную последним половину размякшей лепешки и принялся машинально жевать.

— Это несправедливо! — с удвоенной силой возопил выставленный кандидат из-за ворот. — Несправедливо это!

— Понятное дело! — согласился стражник и запер ворота.

А его напарник принялся во всеуслышание горланить, что собравшиеся здесь проглоты и бездельники могут валить на все четыре стороны, а если даже в одной из этих четырех сторон и лежит вход в монастырь, то он ничего об этом не знает, а даже если и знает, то не скажет, а даже если и скажет, то такое, чего лучше не слышать сыновьям мокрицы и древесного ужа.

— А Будда, говорят, был добрым, — вздохнул Змееныш Цай, направляясь к скалам, возвышавшимся неподалеку.

— Так то ж Будда... — отозвались сзади.

И никто из шестерки соискателей не видел, как монахи-стражники деловито переглянулись, а потом один из них неспешной рысцой побежал вдоль стены и левее, туда, где глухо рокотал разбивающийся о камни водопад.

2

На проклятые скалы Змееныш Цай убил около суток с лишним. Даже ночевать пришлось на каком-то крохотном карнизе, поужинав украденными из гнезда яйцами дикого голубя, и сон ежеминутно обрывался всплеском нутряного страха — вот сейчас ненароком пошевелишься и загремишь кубарем в пропасть глубиной никак не меньше двадцати чжанов* [Чжан — мера длины, около 3,2 метра.]!

Еще у первых ворот кандидаты разделились, потому что каждый был убежден: именно он абсолютно точно знает, как добираться до входа в монастырь, а остальные представляют из себя сборище тупиц и невежд. Последнее скорей всего содержало в себе изрядную долю истины — два раза Змееныш слышал совсем неподалеку захлебывающийся вскрик и шум

скатывающегося оползня. Самому ему повезло: всего однажды пришлось убедиться в неверности выбранного направления и вернуться почти к самым воротам. Впрочем, возвращение было гораздо труднее, ибо спускаться всегда опасней и утомительней, чем подниматься. Особенно если при каждом шаге ты заставляешь себя не думать об очевидном — следующая избранная тобой тропа может точно так же вести в тупик, как и предыдущая!

Но мудрецы правы, говоря, что усилия доблестных рано или поздно вознаграждаются успехом («Ох, лучше бы раньше, чем позже», — вытирая пот, подумал Змееныш Цай). К полудню следующего дня впереди, за еще одной бамбуковой рощей, замаячила белая монастырская стена. Даже отсюда хорошо просматривались окружавшие ее старые ивы и кряжистые ясени, а также остроконечные синие вершины конических крыш и башня, возвышавшаяся, по всей вероятности, над воротами и украшенная сверкавшими на солнце золотыми иероглифами.

Облегченно вздохнув, Змееныш Цай двинулся напрямую через рощу, но не успел он пройти и пятидесяти шагов, как внимание его привлек глухой стон.

Юноша остановился и вслушался.

Нет, не наваждение — стон повторился снова, хотя был столь слаб, что напоминал скорее журчание заблудившегося между двумя камнями ручейка.

Свернув на восток и совсем чуть-чуть попетляв между узловатыми стволами, молодой кандидат очень скоро заметил яркое пятно шафрановой рясы, резко выделявшееся среди окружающей зелени.

Это был тот самый хэшан, который первым вошел в ворота, предъявив стражам разрешение своего патриарха. Сейчас он лежал на земле, скорчившись подобно младенцу в утробе матери, и левая нога монах, была наспех замотана окровавленной тряпицей.

— Осторожно! — хрипло выкрикнул раненый, когда Змееныш Цай, не разбирая дороги, бросился к нему. — Смотри под ноги!

К счастью, у Змееныша хватило ума вовремя последовать совету, иначе и он бы наступил на срезанный почти у самой земли и специально заостренный стебель бамбука. Ступня в результате этого наверняка оказалась бы проколотой насквозь, как у неудачливого хэшана, и в роще лежало бы два человека, так и не добравшихся до входа в монастырь.

Впрочем, в таком случае они могли бы утешаться содержательной беседой об истинной природе просветления.

Только сейчас остолбеневший Змееныш Цай заметил, что

предплечья и бедра его иссечены в кровь жесткими краями листьев бамбука, словно вместо безобидных растений в этой зловещей роще были специально высажены копья и ножи!

— Чем вам помочь, преподобный? — пробормотал Змееныш, добравшись наконец до монаха, на что у него ушло гораздо больше времени, чем предполагалось вначале.

— Попасть в монастырь, — запекшимися губами улыбнулся хэшан. — И прислать потом ко мне кого-нибудь из слуг. Монахов не шли — не пойдут. Но будь осторожен, мальчик, — тут дальше скрыты ямы с кольями на дне. Я чуть не угодил в одну из них — и в итоге наступил на бамбук...

Змееныш Цай потоптался на месте, явно не желая оставлять раненого одного, потом посмотрел поверх листвы на воротную башню самого знаменитого во всей Поднебесной монастыря.

Пестрый ястреб кругами ходил над его головой, высматривая добычу.

— Это... это подло, — еде слышно прозвучало в бамбуковой роще.

— Нет, — снова улыбнулся монах, и по улыбке этой было видно, каких усилий ему стоит каждое слово. — Ты просто не понимаешь, мальчик... И если хочешь, чтобы патриарх Шаолиня назвал тебя послушником, забудь эти слова.

— Какие?

— Справедливость и подлость. Человеческая нравственность заканчивается у ног Будды, и не думай, что это плохо или хорошо. Это просто по-другому. Совсем по-другому.

Змееныш Цай не ответил. Он смотрел на иероглифы, украшавшие башню, лицо его отвердело, скулы стали отчетливей, гусиные лапки залегли в уголках глаз, и выглядел он сейчас гораздо старше. Настолько старше, что раненый хэшан засомневался: правильно ли он только что назвал этого человека мальчиком?

И нужны ли этому человеку чьи бы то ни было поучения?

Рядом с проколотой ногой хэшана, деловито поблескивая чешуей, потекла куда-то крохотная змейка, очень похожая на древесного ужа, но с еле заметными желтыми пятнышками на шее.

Совсем маленькая; почти змееныш.

Хэшан прекрасно знал, чем заканчивается укус такой змейки.

3

Пострадавший был прав: монахов звать не стоило. Потому что, выйдя из каверзной рощи, Змееныш Цай почти сразу увидел, как к парадному входу в Шаолинь спешит-торопится троица удачливых кандидатов (Змееныш даже издалека узнал среди них того торопыгу, что был возвращен стражником и которого юноша угостил куском своей лепешки). Торопыга первым добежал до входа и начал тарабанить в него кулаками.

— Я дошел! — визгливо кричал он, захлебываясь радостью. — Я дошел! Открывайте!

Часа через три — остальные кандидаты, включая подоспевшего Змееныша Цая, к тому времени давно сидели неподалеку, устав от его воплей, — к торопыге подошел человек в одежде слуги и с коромыслом на плечах.

Сгрузив свою ношу на землю, слуга объяснил охрипшему соискателю, что парадный вход открывается только для особо важных гостей, каким он, шумный торопыга, ни в коей мере не является; также через эту дверь свободно входят и выходят преподобные отцы, успешно сдавшие выпускные экзамены и прошедшие Лабиринт Манекенов, — и если крикун претендует на подобное звание, то слуга немедленно доложит кому-либо из преподобных отцов, чтобы тот, в свою очередь доложил патриарху, чтобы тот, в свою очередь...

Когда очередь дошла до патриарха и Лабиринта Манекенов, торопыга осекся и замахал на слугу руками.

После чего вместе с остальными потащился в обход монастыря — искать, более подобающую случаю и положению дверь.

Змееныш Цай задержался — объяснял разом посерьезневшему слуге, где искать в роще раненого хэшана. Закончив, он хотел было спросить, почему монастырь вообще содержит слуг, если патриарх Байчжан говорил в древности: «День без работы — день без еды!»

Некоторые утверждали, что на самом деле патриарх сказал: «Кто не работает, тот не ест!», но это вряд ли — говорил-то Байчжан не о людях вообще, а о себе конкретно, а себя представить неработающим больше чем день старый учитель Закона не мог.

Хотел спросить Змееныш — и не спросил. Последние дни приучили его держать язык за зубами; во всяком случае, именно так он и сказал позже остальным кандидатам, когда догнал их. Иначе, дескать, и прикусить недолго. А пока что только и узнал по-быстрому от слуги, что живет последний вместе с семьей и остальными вольнонаемными жителями окрестных деревень в

поселке на нижней территории монастыря, сразу за опоясывающей обитель стеной внешних укреплений. Туда-то и можно будет заглянуть, справиться о здоровье раненого.

Потом слуга подхватил свое коромысло и побежал в рощу, ловко раскачиваясь, чтоб не пролить ни капли воды из двух небольших бадей; а Змееныш Цай побрел за сотоварищами.

Сотоварищи к тому времени выяснили, к общему огорчению, что не для них и боковая дверь — через нее ходили те монахи, кто выпускных экзаменов еще не сдал, но по решению общины и повелению патриарха должен был на время покинуть обитель и вернуться к мирским делам.

Из-за двери у кандидатов язвительно поинтересовались, не в прошлом ли перерождении они уходили из монастыря, выполняя волю общины, если теперь сдуру ломятся куда не следует, — и пришлось продолжить свое унылое движение в обход вожделенного монастыря.

А потом еще сидеть у задней двери, у черного, так сказать, хода, до самой ночи, потому что внимания на кандидатов никто не обратил, двери им не открыл (к чему они постепенно начали привыкать), если не считать за знак внимания вываленный сверху горшок помоев, к счастью плюхнувшихся мимо.

Когда остальные кандидаты дружно захрапели, завернувшись от ночной прохлады в удачно прихваченные накидки, Змееныш Цай посидел еще немного у еле-еле горящего костришка, который сам и сложил, а потом решительно встал и поплелся по тропинке вниз — туда, куда удалился днем слуга с коромыслом. Видимо, юноше подумалось, что ночевать лучше бы в поселке, где даже если и не пустят под крышу, то уж наверняка найдется место в какой-нибудь копешке сена.

Не у всех же накидки...

***

Поселок, где жили слуги и их семьи, спал. Редкие собаки лениво брехали на Змееныша из-за низких заборов — воровство было здесь вещью совершенно немыслимой, а если так, зачем отгораживаться и держать злобного пса? И то сказать: хотя монахи Шаолиня относились к наемным работникам без церемоний, в свою очередь, вынуждая слуг всячески демонстрировать глубочайшее почтение к бритоголовым отцам, тем не менее терять по собственной глупости выгодную работу не

хотел никто. От лишнего поклона спина не отсохнет! Зато положение человека, приближенного к знаменитым монахам, сулило немалые выгоды — население провинции исправно поставляло в поселок слуг продукты, ткани и связки медных монет в обмен на обещание замолвить за них словцо перед милостивым Буддой, то бишь перед преподобными в шафрановых рясах.

Опять же слуги и члены их семей имели полное право покинуть монастырь согласно собственному желанию или необходимости, а потом вернуться обратно — в отличие от тех монахов, кто не сдал выпускные экзамены или не получил на то особого разрешения патриарха.

Пройдя тихий поселок из конца в конец, Змееныш Цай так и не решился постучать в какие-нибудь ворота и собрался было уходить, когда внимание юноши привлекло светящееся окно в низком кособоком домишке на южной окраине. Оглядевшись, Змееныш птицей перемахнул через забор и в следующее мгновение уже стоял у заинтересовавшего его окна, боком прижимаясь к нагревшейся за день и еще не остывшей стене.

Створки оконной рамы были слегка приоткрыты, и доносившиеся изнутри протяжные стоны вполне могли бы принадлежать больному или раненому, тщетно пытающемуся забыться сном, но... Одного взгляда, брошенного внутрь, вполне хватило любопытному Цаю, чтобы беззвучно хмыкнуть и растянуть рот в улыбке.

Посторонний зритель мог бы подумать, что малоопытному юноше не приличествует такая хитрая понимающая улыбка, достойная скорее зрелого мужа, но посторонних зрителей, кроме самого Змееныша, поблизости не наблюдалось.

И вслед за первым взглядом немедленно последовал и второй.

Слева от окна, вполоборота к невидимому Змеенышу Цаю, на застеленной лежанке сидела обнаженная женщина. Этакая толстушка средних лет, с пышной грудью, украшенной бутонами крупных сосков, с широкими бедрами, словно созданными для любовных утех и деторождения; и Змеенышу сперва показалось, что женщина эта прямо у него на глазах решила снести яйцо, что естественно для кур и уток, но весьма странно для представителей рода человеческого. Яйцо — гладкое, лоснящееся, отливающее синевой — копошилось у стонущей женщины меж чресел, и каждое его движение вызывало у мучающейся толстушки очередной стон, а ладони несчастной судорожно поглаживали блестящую скорлупу яйца. Через некоторое время яйцо издало долгий чмокающий звук и приподнялось над

раскинутыми в разные стороны ляжками, заставив роженицу выгнуться ударенной кошкой; и на яйце обнаружилось лицо.

Ничего особенного: нос, рот, глаза... лицо как лицо, разве что излишне мокрое от пота.

Монах, чье тело было до того скрыто лежанкой и женскими бедрами, утомленно поднялся на ноги и зашлепал к столику в дальнем углу. Взял полотенце, насухо вытерся и швырнул скомканный кусок ткани в окно, чуть не попав в отпрянувшего Змееныша. Потом преподобный развратник потрогал пальцем чайничек, стоявший на переносной жаровне, счел его достаточно теплым и принялся наполнять две крутобокие чашки вином или чаем — в зависимости от того, что изначально крылось в нем. Сам монах был явно немолод, но жилист, сухопар, и при каждом движении узкие жгуты мышц так и играли на его тощем, отнюдь не изможденном теле. Когда над чашками закурился легкий парок, монах искоса глянул на толстушку, в изнеможении раскинувшуюся на лежанке, недовольно поджал узкие губы и полез в валявшуюся рядом котомку. Некоторое время рылся там, наконец извлек бумажный пакетик и вытряхнул себе на ладонь маленькую пилюлю. Подумал и вытряхнул еще одну. После чего с пилюлями в одной руке и чашкой в другой направился к своей подружке.

— Выпей, родная, — сладким голосом пропел монах, протягивая снадобье женщине. — Выпей и давай-ка еще разок сыграем с тобой в «тучку и дождик»! Ну что же ты?!

— Отстань, неугомонный! — Женщина махнула в сторону приставучего дружка рукой, что далось ей с трудом. — Не могу больше!

— Не тревожься, булочка! — донеслось до Змееныша Цая. — Кому, как не тебе, знать: мы, златоглавые архаты* [Архат — святой.], люди запасливые! Проглоти два зернышка «весенних пилюль» — и будешь готова предаваться любовным утехам до самого рассвета!

Что ответила женщина, Змееныш Цай не услышал: топот множества ног по ту сторону забора разом заглушил все.

Через мгновение щеколда на воротах отлетела в результате мощного удара снаружи, сами ворота широко распахнулись, и во двор ворвался десяток стражников — таких же бритоголовых, как и владелец замечательных «весенних пилюль», но гораздо больших размеров. Внушающие почтительный трепет силачи, способные с одного удара перерубить пополам коня той самой алебардой, которую каждый из них имел при себе, — они отбирались лично патриархом и подчинялись только ему. В прошлом именно такими «железными людьми» заменил в

Шаолине императорский гарнизон тогдашний патриарх Мэн Чжан, бывший разбойник, многократно приумноживший за время своего патриаршества и славу, и богатство обители. В общем-то, основной задачей богатырей-стражников было следить за тем, чтобы никто не мог без разрешения покинуть пределы Шаолиня, но «железные люди» также частенько устраивали облавы в поселке слуг, где некоторые любвеобильные красавицы были готовы принять преподобных отцов в любое время.

Похоже, ублажавший толстушку монах прекрасно понимал, что означает внезапный шум во дворе. К чести златоглавого архата, он не терял времени даром: как был, голый, выпрыгнул в окно и стремглав кинулся вокруг дома к калитке черного хода.

Но стражники оказались проворней, дружно заступив ему дорогу, и один из блюстителей нравственности огрел блудодея поперек спины древком своей алебарды. Огреть-то огрел, но святой отец мигом присел, избежав справедливой кары, а когда он снова поднялся, то в руках у него была большая корзинка из ивовых прутьев, в какой удобно носить рыбу с рынка или отложенное для стирки белье. Впрочем, корзинка оказалась удобной и для других, не столь мирных дел — донышко ее весьма чувствительно ткнулось в физиономию ближайшего стражника, и тут же жесткий край ударил второго «железного человека» под ребра. Тот согнулся с нутряным уханьем, доказав всю относительность собственного прозвища, а монах уже вертелся в гуще тел, вовсю размахивая своей ужасной корзинкой и пытаясь любой ценой прорваться к заветной калитке.

Высунувшаяся из окна толстушка подавилась пилюлей и испуганным вскриком: огромное лезвие чуть было не отсекло незадачливому любовнику не то руку, без которой ему пришлось бы плохо, не то иную часть тела, только похожую на сжатую в кулак руку и гораздо более ценную, если учитывать склонность святого отца к ночным похождениям. Но монах выгнулся почище толстушки в момент «пролившегося из тучки дождя», алебарда со свистом прошла мимо, два столкнувшихся меж собой древка громыхнули вплотную к бритой монашеской голове, а корзинка успешно подсекла чьи-то ноги, и стражник с воплем грохнулся наземь, заодно сбив еще одного из своих приятелей.

Сыпля проклятиями, оба вскочили и снова кинулись было в свалку — но мерный стук, раздавшийся от ворот, отрезвил дерущихся почище грома и молнии Яшмового Владыки, когда тот катит по небу на своей бронзовой колеснице.

Около распахнутых ворот стоял маленький бес.

Во всяком случае, такое лицо могло быть только у беса. Черный безгубый провал рта, перекошенного самым невероятным

образом, вместо правой щеки — сплетение рубцов и шрамов, исковерканный двойным переломом нос и огромные отеки под глазами, еле-еле блестевшими из-под набрякших век.

Маленький бес медленно подошел к стражникам и прижавшемуся к забору монаху-блудодею, поставил рядом с последним большой деревянный диск, который до того держал под мышкой, и властно протянул руку.

Не говоря ни слова, монах отдал бесу свою корзинку. Урод повертел ее, пару раз подкинув и ловко поймав за ручку, потом прошелся туда-сюда, о чем-то думая.

— Старый Гао смотрит на море, — глухо донеслось из страшного рта.

И корзинка описала замысловатую петлю над головой беса.

— Старый Гао удит хитрую рыбу. — Корзинка метнулась вверх, но остановилась на полпути, вылетела из руки, перевернулась, была подбита ногой и схвачена за торчащий сбоку конец прута.

Стражники подобрали алебарды и смотрели на это представление, изумленно качая головами.

— Старый Гао гоняет ветер. — Бес ловко запрыгал на одной ноге, время от времени приседая до самой земли и крутя корзинку вокруг себя.

Вдруг, так же неожиданно, как и начал, он прекратил забавляться с корзинкой, швырнул ее голому монаху и направился обратно к воротам, прихватив по дороге свой диск.

— Преподобный Фэн! — заорал вслед бесу блудливый монах. — Погодите! Умоляю — покажите еще раз! Преподобный Фэн!..

И вылетел за ворота следом за бесом.

Стражники даже и не подумали его останавливать.

...Когда двор окончательно опустел, толстушка захлопнула окно, но тут же распахнула его снова и высунулась по пояс — ей показалось, что какая-то тень мелькнула снаружи.

Нет, никого.

На всякий случай толстушка глянула вверх. Да нет, в крохотном закутке над окном под самой стрехой могла поместиться только ласточка, а ласточек достойная женщина не боялась.

Если бы ей сказали, что этой ласточкой был Змееныш Цай, она бы очень удивилась.

Великий учитель Сунь-цзы, которого без устали обязан цитировать любой, мнящий себя стратегом, сказал:

— Тонкость! Тонкость! Нет такого дела, в котором нельзя было бы пользоваться лазутчиками.

***

Почтенное семейство, из которого вышел уже знакомый нам Змееныш Цай, было полностью согласно с этой мудростью, проверенной веками. И впрямь: немногие дела, о которых потом долго толковали простолюдины на рынках и в харчевнях, обходились без участия кого-либо из профессиональных лазутчиков Цаев. Прадед Змееныша немало поспособствовал тому, что предводитель восставших «красных повязок» Чжу Юаньчжан сумел в невероятно быстрые сроки завладеть Пекином — потом это свалили на помощь духов будущему государю — основателю династии, и старый Цай весь остаток своей незаметной жизни втихомолку посмеивался, вспоминая, как однажды три дня просидел в выгребной яме на окраине будущей Северной Столицы* [Пекин — по-другому Бэйцзин, т. е. «Северная Столица».]. Бабка Змееныша столь усердно собирала подаяние в северных провинциях, что двое тамошних наместников скоропостижно скончались от заворота кишок, так и не успев обдумать до конца детали будущего заговора. Отца своего Змееныш Цай не знал, и вряд ли во всей Поднебесной нашлось бы более трех человек, которые знали в лицо Ушастого Цая, даже к жене приходившего с замотанной в башлык головой; да и за самим Змеенышем водилось много такого, о чем не стоило болтать при посторонних.

Об этом вообще не стоило болтать.

Судья Бао, один из немногих, в силу должности посвященный в тайну семейства Цаев, не раз повторял слова древнего трактата:

— Пользование лазутчиками насчитывает пять видов: имеются лазутчики местные, встречаются лазутчики внутренние, бывают лазутчики обратные, существуют лазутчики смерти и ценятся лазутчики жизни. После чего обязательно добавлял:

— Лазутчики жизни — это те, кто возвращается с донесением.

Змееныш Цай был лазутчиком жизни.

Когда он выскользнул из чрева матери, его бабка, по праву

считавшаяся опытной повитухой, взяла кричащего младенца на руки, хлопнула по красной, как у обезьяны, попке, наскоро оглядела и заявила, ткнув толстым пальцем в точку «дэнчху»:

— Змееныш!

— Вы уверены, матушка? — устало спросила роженица.

Бабка только расхохоталась и, закурив трубку, отправилась полоскать белье. В северных провинциях последние лет восемь было тихо, и поэтому старухе не было никакой необходимости продолжать собирать там милостыню.

Мыли новорожденного в холодных настоях на ханчжоуских хризантемах, недозрелых плодах унаби, щечках щитомордника и многих других компонентах, полный перечень которых весьма удивил бы даже опытного лекаря, попадись он ему в руки; кормили дважды в сутки, на рассвете и после заката, рано отлучив от груди и обязательно заставляя срыгивать после кормления; многократно разминали крохотное тельце, из которого, как из дикобраза, во все стороны торчали тончайшие иглы, какими бабка Цай умела дарить жизнь или смерть, по собственному выбору; туго пеленали и сильно раскачивали колыбель, ударяя ею о стены и вынуждая младенца от страха и сотрясения сжиматься в комок. Дальше в ход пошли более сильнодействующие средства и способы. Годовалый Змееныш выглядел пятимесячным, шестилетний — по меньшей мере вдвое моложе, одиннадцатилетний подросток смотрелся лет на семь, не больше, что вынудило семейство Цай во избежание кривотолков покинуть дом и переехать в Нинго, поселившись в безлюдной местности за городом…

Сейчас Змеенышу Цаю, лазутчику жизни, тому, который возвращается, было сорок два года.

За спиной его была дюжина-другая успешно завершенных дел и десятка полтора излишне рьяных во время их последнего существования покойников, недооценивших наивного юношу.

Змееныш Цай искренне надеялся, что следующее перерождение несчастных будет удачней.

Но прошлой зимой его настиг тяжелейший приступ, едва не закончившийся параличом, и лазутчик жизни спешно принялся «сбрасывать старую кожу».

Время можно обманывать, но нельзя обмануть. Это он знал хорошо. Еще он знал, что за все нужно платить. Если вовремя не принять мер, не опомниться и не оглядеться, если не почувствовать острую необходимость вернуться к естественному образу существования, кожа из юношески упругой за год с небольшим превратится в старчески дряблую, одеревеневшие мышцы перестанут повиноваться приказам, искрошатся и выпадут

зубы, до сих пор белоснежные и здоровые, как у юноши, суставы потеряют подвижность, сочленения закостенеют, нальются свинцом, а вчерашний мальчик с быстротой обвала в горах станет сегодняшним стариком.

И послезавтрашним покойником.

Время нельзя обмануть, но с ним можно рассчитаться, вернув старые долги с процентами. Вновь многострадальное тело усеяли стальные и костяные иглы, пробуждая от спячки внутренние потоки, взламывая сковавший их лед, заново прочищая русла; вновь изнурительные упражнения заставляли Змееныша плакать от боли в меняющейся плоти, тщетно пытаясь забыться недолгим и не приносящим облегчения сном; вновь секретные мази покрыли лицо и руки, вновь чередовались массаж и травяные примочки — змееныш мало-помалу становился змеей.

И вдруг старую кожу пришлось натянуть заново.

Потому что великий учитель Сунь, которого без устали обязан цитировать любой, мнящий себя стратегом, сказал не только:

— Все пять разрядов лазутчиков действуют, и нельзя знать их путей. Это называется непостижимой тайной.

Он еще и сказал:

— Знание о противнике можно получить только от людей.

Судья Бао Драконова Печать повторил эти мудрые слова Змеенышу Цаю, прежде чем отправить его в Шаолиньский монастырь с тремя подлинными рекомендациями от трех весьма уважаемых людей.

Судье Бао снились по ночам руки с клеймом тигра и дракона.

Судье Бао казалось, что эти страшные трупные пятна, скалясь по-звериному, способны расползтись по всей Поднебесной, если уже не сделали этого.

И Змееныш Цай совершил чудо: за месяц с небольшим натянул почти сброшенную кожу, отправившись в Хэнань, к знаменитому монастырю у горы Сун.

Только состарившаяся мать, которую посторонние считали бабкой, а то и прабабкой розовощекого юноши с молочным именем, знала истинную цену поступка своего первенца.

А в узелке Змееныша были укрыты скляночки и флакончики с мазями на желатине из ослиной кожи, кожаный чехол с набором игл, три мешочка с яньчуньдань, «пилюлями, продлевающими молодость», и полынные трубочки Для прижиганий.

Неделя без этого — да что там неделя, и четырех дней хватит, не приведи князь Преисподней Яньло! — и вчерашний юноша уже не станет просто стариком.

Он умрет, завидуя настоящему змеенышу, свалившемуся в

котел с крутым кипятком.

Но лазутчики жизни обязаны идти и возвращаться

Пусть обратного пути нет — идти и возвращаться.

И неважно, что великий учитель Сунь, которого без устали должен цитировать всякий, мнящий себя стратегом, не высказывался по этому поводу.

5

К полудню следующего дня задняя дверь монастыря открылась перед кандидатами, и Змееныш Цай во шел во внутренний двор...

МЕЖДУГЛАВЬЕ

Свиток, найденный птицеловом Манем в тайнике у западных скал Бацюань

Почему-то отчетливей всего мне запомнился момент собственной смерти — словно вся моя жизнь была только прелюдией к этой бессмыслице.

Я позавтракал, свалил посуду в мойку, бриться не стал, усмотрев в этом некий вызов — правда, непонятно кому, — и, накинув куртку, вышел из квартиры. В подъезде, как всегда, пахло кошачьей мочой и застарелым сигаретным дымом, дворничиха тетя Настя пожаловалась мне на нехороших людей, справляющих здесь же свои естественные потребности, я осудил этих мерзавцев, слившись с дворничихой в экстазе морального единения, и выскочил на улицу.

«Вольво» шефа уже стоял у подъезда. Так бывало всегда, когда шеф собирался подкинуть мне новую работенку, о которой весь сонм его дипломированных вдоль и поперек комп-экспертов уже успел отозваться коротко и внятно:

— Безнадега!

Как правило, после такого диагноза шеф лично звонил мне, лил патоку в телефонную мембрану и на следующее утро заезжал собственной персоной.

Поначалу это льстило моему самолюбию.

Телохранитель шефа по кличке Десантура помахал мне из-за руля медвежьей лапой и оскалил в приветливой улыбке сорок восемь с половиной золотых зубов. Когда-то я наголову обыграл его в карты, не похваставшись этим ни единой живой душе, и с тех пор Десантура мне симпатизировал. Я был вторым человеком в мире, кому Десантура симпатизировал, — первым был он сам. По-моему, он меня жалел и часто спрашивал после утреннего кофе:

— Слушай, Гений, ты и впрямь цвета не различаешь?

Я устал объяснять ему, что дальтоники цвета в принципе различают, не различая оттенков, и мир не выглядит для них, то есть для нас, потрепанным черно-белым фильмом, но Десантура не верил.

— А какого цвета вон тот «жигуль»? — спрашивал он.

— Красного, — отвечал я и уходил.

— А вот и врешь! — радостно орал мне в спину Десантура. — «Жигуль» и вовсе оранжевый! Врешь, Гений!

И потом у него до вечера было хорошее настроение.

Я — дальтоник. Вернее, сейчас правильнее было бы сказать: я был дальтоником. И еще у меня нет музыкального слуха. Совсем. Неловкая акушерка, вытаскивая меня из моей вопящей мамаши, коряво наложила щипцы и не пожалела силушки — в результате чего головка невинного и некрещеного младенца оказалась изрядно сплющена с левой стороны. Сейчас это практически не видно; да и чудо-Верка, моя личная парикмахерша, настолько приловчилась прятать эту асимметрию, что я даже иногда нравлюсь девушкам. На первых порах. На вторых же они говорят, что я — бездушное чудовище, которому недоступна истинная красота.

Пожалуй, это правда.

Я был бездушным чудовищем.

И еще я был компьютерным гением.

— Добрейшее утречко! — бодро выкрикнул шеф, выбираясь из машины.

Его круглое щекастое лицо растянулось во все стороны самым добродушным образом, я уже почти дошел до него — и в этот момент «вольво» набух сизо-огненным шаром, из которого нелепо торчала голова Десантуры, пламя скомкало шефа целиком, как бумажную фигурку, я почувствовал, что мне очень жарко, и увидел в сердцевине пылающего ада чью-то руку.

Она махала мне, словно приглашая войти.

Странная такая рука: тощая, жилистая, безволосая, покрытая необычной татуировкой... Я постарался приблизиться, чтобы рассмотреть татуировку, и мне это удалось — на предплечье гостеприимной руки скалился усатый дракон, топорща спинной гребень.

Потом я оглянулся и увидел самого себя.

Я лежал ничком около чадящей машины, рядом со мной валялась оторванная взрывом голова Десантуры, блестя золотыми зубами, под моим правым ухом торчал зазубренный осколок, а от подъезда ковыляла причитающая дворничиха тетя Настя.

Я увидел это и запомнил навсегда — потому что я никогда ничего не забываю.

Это мое проклятие и моя работа.

Когда-то я прочитал в одной умной книженции, что «полушария человеческого мозга по-разному обеспечивают контакт с различными областями внешних раздражителей». Имелось в виду, что левое полушарие занимается логическими и аналитическими операциями, раскладывая все по полочкам и приклеивая к каждой полочке соответствующий ярлычок; стихия же правого полушария — целостное восприятие реальности, интуиция, пространственные и музыкальные представления, то

есть алогичное и бессознательное.

Там же было написано, что левое, логическое полушарие у младенцев практически не функционирует, развиваясь в процессе социализации будущего члена общества. Видимо, неловкая акушерка изрядно повредила правую часть скрытого в моей бедной головке глобуса — в результате чего левая, компенсируя дефект, стала развиваться излишне поспешно. Оттенки и обертоны оказались для меня тайной за семью печатями — зато учителя в школе и университете ходили на ушах при виде студиозуса, способного процитировать учебник слово в слово с любой страницы и с любой строки на выбор. Они не понимали, что для меня это так же просто, как для них обнаружить разницу между алым и малиновым или не перепутать «до» и «фа», причем в разных октавах.

А после университета меня подобрал шеф.

...Дракон на тощей руке подмигнул мне, радостно вызверясь блестящим острозубьем, отчего стал ужасно похож на безвинно пострадавшего Десантуру, — и оба полушария моего мозга растеклись киселем.

А когда я пришел в себя — я усиленно кланялся, держа в руках странного вида инструмент со многими струнами, и смотрел на кого-то снизу вверх, видя только четырехугольную шляпу с широкими полями и презрительно сжатый рот, до которого не доставала тень от громоздкого головного убора.

Здесь это называлось Безумием Будды, но я еще ничего не знал и решил, что это просто безумие.

Потому что мир был цветным и звонким.

часть вторая
МАЛЕНЬКИЙ АРХАТ

В одном положении наносятся три удара, один удар вызывает три повреждения, изменения многочисленны и непредсказуемы.

Из поучений мастеров

Глава третья

1

Итак, не соблаговолит ли прекрасная госпожа ответить на несколько вопросов ничтожного канцеляриста?

«Прекрасная госпожа» Сюань, не оборачиваясь, молча кивнула и тихонечко всхлипнула. Судья Бао оценил грациозность кивка и своевременность всхлипа отставной наложницы, после чего немного помолчал, собираясь с мыслями. С одной стороны, он втайне сочувствовал красавице Сюань, еще несколько дней назад — всесильной фаворитке сиятельного Чжоу-вана, которую принц теперь отсылал с глаз долой в ее родной уездный городишко. И вне всяких сомнений, там Сюаньнюй Беспорочную (при этом словосочетании судья не удержался от мимолетной улыбки, но тут же вновь стал серьезным) вскорости выдадут замуж за какого-нибудь мелкого чиновника, и будет Дева Девяти небес прозябать в провинции до конца дней своих, нещадно пиля муженька и рассказывая всем встречным-поперечным о блистательной прошлой жизни, которая, увы...

Но, с другой стороны, это все личные заботы госпожи Сюань. А ему, судье Бао, даже на руку, что недавняя фаворитка Чжоу-вана отныне впала в немилость — как же, дозволил бы принц допросить свою любимицу до того, как Восьмая Тетушка залила личико Сюаньнюй собственной кровью, вдобавок украсив наложницу собачьим трупом!

Так что судья внутренне встряхнулся, приводя мысли в порядок и отстраняясь от бренных чувств, туманящих холодное зеркало рассудка — а это он умел делать не хуже бритоголовых служителей Будды, если не лучше иных из премудрых хэшанов — и участливым тоном задал первый вопрос:

— Как вы полагаете, госпожа Сюань, зачем покушавшейся злоумышленнице понадобилось убивать вашу собачку?

Вопрос звучал наивно, но задать его было необходимо.

Пауза.

Точно рассчитанная, не короткая и не длинная, как раз в меру.

— Не знаю! — Рыдающий вскрик, заламывание тонких рук и новая череда всхлипываний, похожая на небрежный перебор струн циня. — Эта ужасная женщина, эта бесовка, эта... убийца с немытыми от рождения волосами — ее подослали!

— Вы подозреваете, кто это мог сделать? — Выездной следователь слегка приподнял правую бровь.

Всякий, увидевший эту бровь, этот понимающе-ироничный излом, должен был мигом сообразить: сказанное до того — чушь, пустозвонство, и продолжать не стоит.

Но Сюаньнюй Беспорочная не интересовалась в данный

момент чужими бровями и намеками.

— Да! Подозреваю! — Забывшись, она наконец повернулась к судье лицом, и Бао Драконова Печать увидел: красные, распухшие от слез веки, грязные потеки туши на щеках, прорывшие бороздки в обильном слое белил, посиневшие, трясущиеся губы, запавшие в уголках глаз морщинки... Нет, ничуть не походила эта страдающая женщина на ту надменную утонченную красавицу Сюань, которую судье пару раз доводилось лицезреть в несколько иной обстановке. — Я не могу назвать вам имен, высокоуважаемый сянъигун, но это сделали враги сиятельного Чжоу-вана! Более того — это сделали враги Поднебесной!

«Так уж прямо и Поднебесной?» — еле удержался, чтоб не спросить, судья Бао.

Вместо этого он пододвинул бывшей красавице переносную жаровенку в виде растопырившей лапы черепахи, и Дева Девяти небес судорожно принялась отогревать над угольями зябнущие не по погоде руки.

— Тогда что мешало врагам государства приказать злоумышленнице убить самого принца? Она вполне могла бы это сделать, — резонно возразил судья. — И, полагаю, убийство кровнородственного вана на глазах у нингоусцев было бы гораздо большей потерей для Поднебесной, чем трагическая гибель вашей собачки — простите за откровенность.

Сейчас он мог позволить себе подобную откровенность — павшие фаворитки и чучела тигров не опасны.

— Не знаю, — пролепетала госпожа Сюань, скривившись подобно маленькой девочке. — Я...

Тут до нее, видимо, дошло, как она сейчас выглядит, и женщина поспешно отвернулась.

— Извините меня, господин Бао, я вернусь через минутку. — И она почти выбежала из комнаты.

Судья Бао не последовал за ней — сидел, оглядывал покои дома, подаренного фаворитке принцем Чжоу года два тому назад. Изысканный вкус хозяйки был виден во всем: шторы оттенка весенних цветов мэйхуа, на стенах пейзажи работы Ван Мэя, стоившие целое состояние, мебель инкрустирована перламутром, по углам — узкогорлые вазы с изображениями невинных отроков и небесных полководцев...

Увы, ничто не постоянно в мирах Желтой пыли, и самое преходящее — милость сильных мира сего!

Вернулась госпожа Сюань действительно на удивление быстро, и судья Бао в очередной раз изумился, как разительно может измениться женщина за столь короткое время. Исчезли слезы и потеки туши, лицо выглядело шедевром живописца,

прическа была искусно приведена в порядок, и только неестественно блестящие и припухшие глаза выдавали состояние красавицы Сюань.

— Я не знаю, господин Бао, почему эта ужасная женщина не убила сиятельного Чжоу-вана, — с порога заговорила Сюань, помахивая перед собой дымящейся палочкой благородного сандала. — Но на это, видимо, были свой причины. Вы, достойнейший сянъигун, несомненно, знаете свое дело лучше любого из судейских и успели раскрыть немало преступлений, но интриги, которые плетут враги Сына Неба и его сиятельного брата, бывают столь коварны и запутанны...

Продолжая говорить, она присела за невысокий изящный столик, стоявший в дальнем конце комнаты, картинным жестом воткнула сандаловую палочку в выгнутый колокольчик курильницы и принялась машинально перебирать многочисленные коробочки из полированной яшмы, нефритовые флаконч
ики и украшенные орнаментами шкатулки с бальзамами, благовониями, притираниями, украшениями и еще неизвестно чем, которыми он был заставлен. Госпожа Сюань сидела вполоборота к судье, и тот невольно залюбовался ее печальным профилем, отчетливо вырисовывавшимся на фоне приоткрытого окна.

— ...Столь коварны и запутанны, что проследить их цель даже такому проницательному человеку, как вы, господин Бао, будет непросто. Быть может, сиятельный Чжоу-ван нужен злоумышленникам живым, чтобы использовать принца в своих гнусных целях; тем более теперь, когда меня уже не будет с ним. — Глаза Сюаньнюй Беспорочной вновь наполнились слезами. — Кто вдохновит сиятельного Чжоу-вана изысканными стихами и достойными примерами для подражания?!

Явно увлекшись, госпожа Сюань неожиданно заговорила глубоким мелодичным голосом, и произносимые нараспев слова сразу наполнили комнату, невольно заставляя вслушиваться и внимать каждому звуку с трепетом душевным, так что судье Бао стоило некоторого труда избавиться от этого наваждения.

— Кто напомнит кровнородственному принцу о смелом Цао Пэе* [Цао Пэй — сын известного полководца Цао Цао; после смерти своего отца в 220 г. силой низложил императора Сянь-ди, последнего представителя династии Хань, и, объявив императором себя, основал новую династию Вэй, просуществовавшую до 264 г.], благородном Су Цине* [Су Цинь (IV в. до н. э.) — известный дипломат и государственный деятель, объединивший и возглавивший силы шести княжеств для борьбы с могущественным княжеством Цинь. Достигнув власти, остался

великодушным и честным человеком, за что и заслужил любовь народа.] или пылком У-ване* [У-ван — основатель династии Чжоу (1122 — 247 гг. до н. э.), свергший последнего императора предшествующей династии Шан Чжоу Синя.]?! Кто поддержит великого Чжоу в трудную минуту советом и утешением? О, теперь в его душе навеки поселятся осенние ветры, которые будут шептать ему холодные слова отчаяния и злобы, и некому отныне...

Поняв, что больше от убитой горем женщины ничего не добьешься, выездной следователь поспешил откланяться. Что-то крылось в словах отвергнутой фаворитки, какие-то неуловимые нити, на которые следовало бы обратить внимание, но достойный сянъигун никак не мог вытащить это «что-то» на поверхность темного пруда своего рассудка, а потому решил временно отложить размышления на эту тему.

На сегодня у него был намечен еще один визит.

Пожалуй, не менее важный.

2

Цзюйжэнь Тун, чью замечательную тигровую орхидею вдребезги изорвал сошедший с ума торговец Фан Юйши, был болен. Он пластом лежал в кровати, укрытый, несмотря на теплый день, двумя шерстяными одеялами и еще легким покрывалом, и время от времени издавал протяжный стон. Одеяла были натянуты до самого подбородка, а на лбу у цзюйжэня Туна покоилось пропитанное яблочным уксусом полотенце, время от времени сменяемое его младшей женой, — так что из всех тридцати восьми частей тела несчастного цзюйжэня виден был лишь один не в меру длинный нос, которым Тун страдальчески шмыгал.

Судья -Бао невольно хмыкнул при виде этой душещипательной картины, и ему пришло в голову, что господин Тун сейчас весьма смахивает на заплаканную наложницу Сюань. Это сравнение сразу же загнало внутрь уже готовую было проступить на губах выездного следователя улыбку. Он давно привык доверять случайно всплывающим в голове мыслям, пусть даже и не оформившимся до конца в уверенную догадку. Неспроста пришло оное сравнение на ум дотошному следователю, не первый год и даже не первое десятилетие «Поддерживающему Неустрашимость»! Небо свидетель,

существовала некая скрытая связь не только между этими двумя дурацкими происшествиями, но и между двумя пострадавшими людьми, чиновником Туном и наложницей Сюань. И судья Бао твердо решил эту связь выяснить.

— Как ваше драгоценное здоровье, уважаемый господин Тун? — вежливо поинтересовался следователь, присаживаясь рядом с постелью больного в плетеное кресло, услужливо пододвинутое младшей женой.

И еле заметного кивка хватило, чтобы понятливая хозяйка выскользнула из комнаты.

— Ох, и не спрашивайте, господин судья! — хнычущим голосом простонал цзюйжэнь из-под одеяла. — Когда я обнаружил то непотребство, что сотворил проклятый варвар с моей любимой орхидеей, — думал, рассвета уж не увижу! А ведь я ее растил, лелеял, берег пуще сына родного, потому что готовил в подарок для сиятельного Чжоу-вана...

Сердце слегка екнуло в груди судьи, но высокоуважаемый сянъигун не подал вида, насколько взволновало и заинтересовало его это известие.

— Так вы заранее выращивали подарок сиятельному принцу? — с воодушевлением, подобающим случаю, переспросил он.

— Разумеется, господин Бао! Не один месяц готовился я к этому знаменательному дню, когда смогу вновь увидеть столь горячо любимого всеми нами, и мною в особенности, сиятельного Чжоу-вана, дабы преподнести ему взлелеянную мной орхидею несравненной красоты и прочесть специально к этому случаю сочиненные вашим ничтожным собеседником стихи!

Досточтимому Туну едва хватило дыхания, чтобы произнести этот потрясающий, но несколько длинноватый пассаж.

— И вот из-за подлого варвара, достойного казни бамбуковой пилой на деревянном осле, все мои труды пропали даром! Нечего подарить мне принцу, да и сам я занемог и не в силах теперь отправиться в Столицу на сдачу экзаменов, к которым столь старательно готовился дни и ночи!

— Не отчаивайтесь так, уважаемый господин Тун. — В голосе судьи звучало неподдельное сочувствие, хотя такового он отнюдь не испытывал к этому заносчивому неженке, не привыкшему стойко сносить удары судьбы. — Вы обязательно поправитесь и успешно сдадите экзамены в следующем году. Я уверен, весь Нинго еще будет гордиться вами! А что касается подарка сиятельному Чжоу-вану, то у вас ведь остались стихи? Кто же мешает вам усладить утонченный слух принца изящнейшими строками, перед коими наверняка меркнет слава стихотворцев прошлого?

— Да, стихи... — растерянно промямлил цзюйжэнь Тун, пряча под одеяло и нос, словно стыдясь солнечного света. — Но не могу же я явиться к принцу без подготовленного мной дара, каковым являлась моя не имеющая себе соперников орхидея! Стихи предполагались лишь в качестве дополнения к ней, не более... Нет, нет и нет! И не уговаривайте меня!

— Но вы позволите хотя бы мне, недостойному, насладиться дарами вашего поэтического таланта? — вкрадчиво поинтересовался судья, и не собиравшийся уговаривать возбужденного Туна. — Разумеется, они предназначались не мне, низшему из низших ценителей — но теперь, когда ваш тонкий план по воле судьбы потерпел неудачу, неужели ваши прекрасные стихи должны пропасть втуне? Неужели вы лишите меня несравненного удовольствия прочесть их?

— О, не стоит об этом, — зардевшийся цзюйжэнь был явно польщен. — Впрочем, если вы так настаиваете...

Судья постарался покинуть дом цзюйжэня Туна как можно скорее, унося под мышкой продолговатую шкатулку, украшенную затейливой резьбой. В ней лежал длиннющий свиток, испещренный мелкими каллиграфическими иероглифами в стиле «бутонов и плодов». На чтение сего труда должно было уйти немало времени, но судья твердо решил ознакомиться с ним сегодня же вечером.

И во всех подробностях.

Выездной следователь чувствовал, что он на верном пути.

В канцелярии, как всегда, было душно, так же монотонно жужжали мухи и сюцай Сингэ Третий. Впрочем, за десять с лишним лет службы в Нинго судья Бао успел привыкнуть и к мухам, и к сюцаю, воспринимая их примерно одинаково — то есть просто не воспринимая. Более того, монотонное жужжание и беспрерывный поток нудных рассказов Сингэ Третьего создавали некий фон, которым судья как бы отгораживался от внешнего мира, сосредоточиваясь на своих мыслях.

Увы, на этот раз сосредоточиться ему не дали. Сначала судье пришлось-таки на скорую руку разобраться с ворохом скопившихся на его столе жалоб, прошений и заявлений, игнорировать которые и далее он уже просто не мог — в конце концов, повседневные служебные обязанности судья должен выполнять независимо от расследования, навещенного на него принцем Чжоу!

Как раз в тот момент, когда судья Бао дописывал свое решение на последней жалобе и собирался передать весь ворох ненавистных бумаг тихо зудевшему в углу сюцаю — так сказать, к исполнению, — в дверь вежливо, но настойчиво постучали. Через

мгновение стук повторился, и на пороге появился давешний распорядитель сиятельного Чжоу-вана. Судья тяжело вздохнул, отодвигая в сторону бумаги, и до его ушей долетела последняя фраза неугомонного сюцая:

— Вот тут-то и вошел к нему демон, и потребовал...

Что именно потребовал демон и от кого, судье узнать так и не довелось. Потому что Сингэ Третий, подняв голову от собственных ногтей, которые тщательно полировал крохотной пилочкой, узрел вошедшего и обалдело захлопнул свой рот — что с сюцаем, надо заметить, происходило крайне редко.

Сразу же выяснилось, что придворный почитатель Конфуция зашел справиться о ходе порученного судье расследования. Судья туманно сообщил об «опросе свидетелей, проведенном освидетельствовании трупов, сборе улик, а также некоторых других предпринимаемых следствием шагах, о результатах которых говорить пока еще преждевременно», — и распорядитель, недвусмысленно напомнив, что сиятельный принц Чжоу крайне заинтересован в скорейшем раскрытии этого дела, наконец удалился.

Судья Бао перевел дух, с нескрываемым злорадством лично сгрузил рассмотренные бумаги на стол пребывавшего в ступоре сюцая и снова попытался сосредоточиться на расследуемом деле.

— ...А еще, говорят, — мигом опомнился Сингэ Третий, — престранная собака по городу бегает: воет под окнами, честным людям в глаза заглядывает — аж мороз по коже! — и все лапой на земле чертит, вроде как иероглифы старого головастикового письма; да что там собака — вон сюцай Лу Цзунь, что из аптекарской управы, рассказывал вчера, будто к нему говорящий леопард приходил, весь в квадратных пятнах! Рыкнул ругательски, откусил у его, Лу Цзуня, любимой козы ногу, поблагодарил и ушел...

«Кто б тебе язык откусил, — подумал выездной следователь, извлекая из шкатулки свиток со стихами, — я бы того сам поблагодарил!»

И Бао Драконова Печать углубился в изучение поэмы в честь сиятельного вана, отрешившись от болтовни Сингэ Третьего.

***

Было уже поздно, когда высокоуважаемый сянъигун осилил наконец поэму словообильного цзюйжэня. Тем не менее судья,

быстро зайдя домой, проглотив ужин и прикрикнув на жену, не хотевшую отпускать мужа на ночь глядя, снова вышел на улицу. Он очень надеялся, что Лань Даосин до сих пор в городе — а с кем еще, кроме Железной Шапки, мог поделиться своими догадками выездной следователь? Только мудрый даос, ежедневно соприкасавшийся с незримым миром духов и демонов, знающий и видящий многое, недоступное обычным людям, мог выслушать его без улыбки и, возможно, даже чем-то помочь. А помощь судье Бао сейчас была ой как нужна!

Тем не менее, направляясь к окраине Нинго, где находилось временное жилище даоса, судья продолжал терзаться сомнениями. Конечно, Лань Даосин человек мудрый и уважаемый, даже, можно сказать, его друг, который не станет трепать языком на площадях и базарах, как, к примеру, Сингэ Третий, но все же он, судья Бао, не вправе доверять постороннему сведения, являющиеся служебной тайной.

Это с одной стороны.

А с другой стороны, он, судья Бао, явно зашел в тупик. Сведений от посланного лазутчика в ближайшее время ждать не приходится, всевозможные факты и улики собраны, выводы сделаны — а далее следствие в его лице уперлось в непреодолимую стену.

Непреодолимую обычными методами.

А мягко говоря, «необычные» методы Лань Даосина не единожды помогали судье прийти к разгадке, о чем выездной следователь Бао регулярно забывал упомянуть в своих отчетах. Возможно, и на этот раз даосский маг сумеет разобраться со сверхъестественным — а уж с повседневным судья Бао и сам разберется!

В конце концов, ведь он собирается прибегнуть к помощи Железной Шапки в интересах следствия! И не все ли равно будет потом принцу Чжоу, да и всем остальным, каким способом судья Бао распутал это дело?!

Главное — результат, а не препятствия и борьба с ними...

Вот на этой самой мысли препятствие возникло не только на пути следствия, но и на пути самого судьи.

И оно, то бишь вышеупомянутое препятствие, имело вид двух изрядно подвыпивших оборванцев, вывалившихся из дверей харчевни, мимо которой как раз проходил судья.

— А вот, братки мои разлюбезные, и толстый чиновник, у которого наверняка водятся денежки! — радостно возопил один из забулдыг, нетвердой рукой извлекая из ножен короткий кривой меч (кстати, совершенно не полагавшийся ему по чину и званию). — Эй, толстячок, тряхни мошной, одолжи-ка нам

связочку-другую медяков, а еще лучше пару ланов* [Лан — слиток серебра, служивший с древних времен весовой денежной единицей.] — и мы с удовольствием выпьем за твое драгоценное здоровье, чтобы ты стал еще толще!

И оба проходимца радостно захохотали над этой шуткой, подступая к судье вплотную.

Это и было их ошибкой. Меч, пускай даже короткий, все же хорош на некотором расстоянии. А судья Бао, хоть с виду и впрямь был грузен и неуклюж, в свое время особо отмечался столичным наставником при Академии Истинной Добродетели во время сдачи очередного экзамена по кулачному бою.

Оружия сянъигун не носил — но его и не потребовалось. Перехватив руку с мечом за запястье, он коротко рванул ее обладателя на себя, одновременно нанеся ему мощный тычок в локоть, от которого любитель чужих ланов с криком покатился по земле, не успев заработать ничего, кроме двойного перелома.

Завладеть мечом судья не смог. Но пока второй быстро трезвеющий грабитель судорожно извлекал откуда-то из-за спины два широких ножа-«бабочки», в воздухе успела весело присвистнуть тяжелая серебряная печать на витом синем шнуре, которую судья всегда носил на поясе, — и второй любитель выпивки на дармовщинку тихо улегся рядом со своим истошно орущим товарищем; а всякий желающий мог всласть налюбоваться багровеющим отпечатком дракона, кусающего собственный хвост, на лбу пострадавшего.

Но следующую ошибку совершил уже сам судья Бао.

Вместо того чтобы поспешить за стражниками, он нагнулся над поверженными противниками, опрометчиво собираясь связать их собственными поясами. В этот самый момент из дверей харчевни и вывалила целая компания вооруженных молодцов, привлеченных криками своего приятеля.

Сколько их было, судье сосчитать не удалось. Да он, собственно, и не пытался считать врагов. Подхватив с земли оброненный первым грабителем меч, Бао наискось рубанул по лицу ближнего нападающего, в обратном движении зацепил еще одного, пытавшегося зайти сбоку — но тут судью сбили наземь, вырвали из рук оружие и стали остервенело пинать ногами.

«Убьют!» — обреченно понял судья, захлебываясь кровью и криком.

— Эй, братки, а может, хватит? — вдруг нерешительно остановился один из дебоширов. — Смотрите, какая у толстяка печать — небось судья местный! А за судью нас и в горах достанут, и в лесах отыщут...

— Судья, значит? — Сухопарый крепыш в рваной безрукавке

и широченных штанах подскочил к говорившему и схватил его за грудки, сверля своего насмерть перепуганного братка безумным взглядом.

На самом дне этих горящих глаз покачивались дымные облачка, как бывает у всех злоупотребляющих опиумом.

— А ты посмотри, что твой судья сделал с Лысым Фаном! — заорал он, топорща растрепанную жидкую бороденку и брызжа слюной. — Он ему голову напополам разрубил! А Чжао-Умнику руку в двадцати местах сломал! Клянусь чужой мамой и не своими детьми, плевать мне на то, кто он такой, — я никому не позволю убивать и калечить моих людей!

Отшвырнув менее решительного товарища, крепыш — явно главарь шайки, приехавшей в Нинго по своим темным делишкам, — растолкал всех и, рванув с пояса секирку с короткой ручкой, взмахнул ею над головой, намереваясь раскроить сянъигуну череп.

Лезвие полыхнуло в сумерках отраженным светом заката, судья Бао увидел накрывающее его желтое облако и решил, что он уже умер.

К счастью, он снова ошибся.

Из желтого облака в какой-то неуловимый момент выросли две жилистых руки с очень знакомой татуировкой, и облако молча и деловито свернуло шею главарю разбойников.

Это судья Бао еще успел заметить. А что произошло потом, он заметить не успел — и не только потому, что лежал на земле, кашляя и плюясь багровой слюной, а один глаз у него заплывал основательным кровоподтеком. Просто удивительное желтое облако внезапно превратилось в размазавшийся по небу драконий хвост, и к тому времени, когда этот хвост вновь собрался в одном месте, судья Бао только-только начал вставать, нашаривая на земле оброненный меч, чтобы помочь нежданному спасителю, — но тут выяснилось, что помощь не требуется. Те же сухие жилистые руки, будто высеченные из железного дерева, без труда поставили не до конца пришедшего в себя судью на ноги — и выездной следователь Бао увидел, что разбойники лежат на земле в самых разнообразных позах.

Мертвые.

Все.

— Да простит меня высокоуважаемый сянъигун за то, что я лишил его возможности предать этих негодяев справедливому суду, — смиренно произнес преподобный Бань, с поклоном подавая судье его печать и шапку. — Но у меня просто не оставалось иного выхода.

Монах помолчал и добавил:

— Еще раз великодушно прошу простить ничтожного инока.

4

Наверное, после этого прискорбного происшествия судье следовало бы вернуться домой и позвать лекаря — но выездной следователь Бао недаром носил почетный титул Господина, Поддерживающего Неустрашимость.

Говорить было больно, но можно. Дождавшись появления уже спешивших на шум стражников и отдав им все необходимые распоряжения, доблестный сянъигун наотрез отказался от настойчивых предложений Баня-спасителя проводить его до дома. Дескать, тридцать и еще три раза благодарен вам, милосердный бодисатва* [Бодисатва — святой, вплотную подошедший к Нирване, но отказавшийся от состояния Будды ради спасения всех живущих на земле (и не только) существ.], но уж лучше вы проводите стражу до канцелярии и проследите за ходом освидетельствования, а я зайду в лавчонку напротив, умоюсь и поплетусь себе в одиночестве.

Что?

А, конечно... дойду, дойду, не тревожьтесь, все цело... ну, в крайнем случае, пошлю лавочника за носильщиками с паланкином!..

Насчет того, что у него все цело, судья изрядно привирал. Тучность, о которой уже было говорено, и впрямь спасла сянъигуна Бао от многих неприятных последствий, но колола в боку этакая опаска по поводу одного-двух сломанных ребер, время от времени вынуждая сплевывать в сторону слюной цвета столь любимой даосами киновари. Да и членораздельно объясняться с преподобным Банем становилось все труднее — давали о себе знать разбитые губы и несколько потерянных зубов.

Впрочем, настойчивость судьи — при всех его благодарностях, многократно высказанных вслух, — наконец дала свои результаты. Стражники удалились, таща на волокушах из копий и плащей тела лихих молодцов, преподобный Бань после некоторых сомнений последовал за ними, а судья действительно зашел в лавку. Там испуганный старик торговец помог ему умыться и перетянуть двумя полотенцами болевший все сильнее бок, после чего достойный сянъигун похромал дальше.

Продолжим свой так удивительно прерванный путь к жилищу мудрого даоса — ибо, кроме как жилищем, то есть местом, где в

принципе жить можно, но не стоит, сие странное сооружение назвать было трудно.

И всю дорогу судья Бао размышлял: случайно ли нападение на него гулящих людишек и откуда так своевременно объявился преподобный бодисатва из тайной канцелярии всемогущего Чжан Во, монах-убийца с клеймом тигра и дракона на руках?!

Лань Даосин, к счастью, был дома. Не спрашивая, что произошло с судьей (впрочем, об этом можно было догадаться, и не обладая сверхъестественными способностями), даос мигом заставил гостя раздеться догола и усадил в огромную лохань с подогретой водой. После чего быстро и умело обработал все обнаруженные на теле достойного сянъигуна повреждения, не обращая внимания на кряхтение и стоны своего подопечного, смазал разбитое лицо остро пахнущей мазью и сунул в руки разомлевшему Бао глиняную чашку с какой-то подозрительной мутноватой жидкостью.

Когда даос отошел к большому чурбану, служившему магу столом, и взял оттуда кусок пчелиного воска, напоминающий по форме лошадиный череп, принявшись машинально сдавливать воск пальцами в разных местах, судью Бао поразила перемена, происшедшая с магом мгновенно и неотвратимо, будто удар молнии.

Лань Даосин стоял, не делая ничего особо примечательного, — невысокий, худой, даже, можно сказать, щуплый человек в драном полосатом халате, сандалиях с плетеными завязками и в неизменной железной шапке, похожей на рыбий хвост, но сквозь весь этот невзрачный облик явственно проступало нечто темное и страшное, как поднимающееся из прозрачных глубин морское чудовище.

— Они умрут, — тихо бросил даос, и пальцы его судорожно сжались, комкая череп из воска.

Судья Бао не спросил, о ком идет речь. И так было понятно. Он даже не успел произнести ни слова, как вдруг гримаса нечеловеческой досады исказила лицо Железной Шапки.

Словно невидимые пальцы повторили с лицом даоса то же, что он сам мгновение назад сотворил с восковым черепом.

— Жаль! — почти выкрикнул маг. — Ах, как жаль, друг мой Бао!..

— Что жаль? — Судья так и не понял: спросил он это вслух или только подумал? Но Лань Даосин ответил:

— Жаль, что они уже умерли. Преподобный Бань перестарался. Ну да ничего...

И на этот раз судья решил не интересоваться, что имеет в виду даос-чародей.

— А чем это ты поишь меня, о Мудрец Белых Облаков? — шутливо перевел выездной следователь опасную беседу в иное русло.

— Соломоцвет двузубый, клей из оленьих рогов, — думая о своем, машинально ответил Железная Шапка, — ветви коричного дерева, щит черепахи, кардамон, пион светлый, пророщенные зерна проса...

Тут он опомнился и замолчал, а судья Бао поспешил отхлебнуть из выданной ему чашки, хотя перечисленные компоненты не вызвали у него особого доверия.

Наконец Лань Даосин расслабился, бросил бесформенный кусок воска обратно на чурбан и, усевшись на циновку, приготовился терпеливо слушать.

— Для начала хочу попросить прощения, что в очередной раз обеспокоил тебя, святой Лань, — начал судья, прихлебывая терпкую горячую настойку, оказавшуюся удивительно приятной на вкус. — Мало того, что всякий раз помогаешь ты мне, как, например, только что облегчил мои телесные страдания, — так я, недостойный, снова обращаюсь к тебе за содействием. И не за таким, которое ты уже оказал мне, а за другим, куда более существенным! Смею ли я надеяться...

— Надеяться — смеешь. Говори.

Реплика даоса прозвучала столь неожиданно, что судья на мгновение сбился, потеряв нить своих мыслей.

— Хорошо, уважаемый Лань, я ценю твое время и потому постараюсь быть кратким, — проговорил он, быстро справившись с собственным замешательством. — Ты слышал о недавнем нападении на принца Чжоу и его охрану?

— Только глухой мог об этом не услышать, — проворчал даос. — Но все это суета, не интересующая бедного отшельника. Особенно сейчас, когда в мирах Желтой пыли творятся куда более любопытные вещи...

— И тем не менее позволю себе обратить твое внимание на некоторые особенности нападения. — Судья Бао был вежлив, но тверд, и Лань Даосину пришлось выслушать краткую историю этого действительно удивительного дела в изложении судьи Бао.

И впрямь:

Я знаю —
Змеи впереди меня
И яростные тигры
Позади.
Дверь в ад уже открыта —

Заходи
И окунись
В неистовость огня.

Лань Даосин выслушал.

Подумал немного, ничего не сказал и налил гостю еще полчашки своей настойки, от которой Бао действительно чувствовал себя значительно лучше — особенно сидя в лохани с медленно остывающей водой.

Выездной следователь истолковал намек правильно, отхлебнул глоток и продолжил.

— А слышал ли ты, светоч Дао, о бесславно погибшей тигровой орхидее цзюйжэня Туна? — задал он в достаточной мере риторический вопрос, после чего снова принялся рассказывать.

Лань Даосин выслушал и это повествование. По его отрешенному лицу невозможно было выяснить, заинтересовало ли мага услышанное хоть в малейшей степени.

— Ну а теперь я позволю еще немного испытать твое терпение, святой Лань. И поведаю тебе, к каким выводам я пришел, расследуя эти два преступления, которые на самом деле кажутся мне звеньями одной очень длинной цепи.

Маг благосклонно кивнул, давая понять, что отнюдь не против узнать, к каким же выводам пришел судья.

«Интересно, хоть чем-то тебя пронять можно? — подумал судья Бао. — Ну ничего, главный-то подарок я приберег под конец!»

Рассказ Судьи Бао, или Отрывок из «БЕСЕД В ЛОХАНИ», составленных через десять с лишним лет после описываемых событий даосским отшельником Лань Даосином

— Так вот, в обоих происшествиях — казалось бы, внешне ничем не связанных, — есть общая суть. И не только их кажущаяся нелепость и бессмысленность; не только то, что в обоих случаях преступники, исполнив задуманное, покончили счеты с жизнью, хотя и этого достаточно, чтобы предположить наличие некоей внутренней связи между случившимся в разное время и в разных местах. Главное не это: оба происшествия косвенно связаны с принцем Чжоу! Безумная женщина,

одержимая неведомо каким духом, силой прорывается к кровнородственному вану — но вместо брата Сына Неба убивает собачку его любимой наложницы, после чего перерезает себе горло! В результате сиятельный Чжоу-ван мгновенно охладевает к своей недавней фаворитке. Конечно, лишившаяся чувств Сюаньнюй Беспорочная, с искаженным от страха лицом, залитым чужой кровью, и с дохлой собачонкой на груди, — далеко не самое приятное зрелище! Особенно когда принц привык видеть в наложнице утонченную поэтическую натуру, чуждую земной грязи как в прямом, так и в переносном смысле! И тут — с небес да в отхожую яму, как метко выражаются простолюдины...

Заметим, что красавица Сюань обладала немалым влиянием на принца — я сам недавно имел возможность убедиться, какое поразительное действие оказывает на слушателя ее замечательный голос. О да, она действительно любит сиятельного Чжоу-вана; она, как могла, помогала ему советами, вдохновляла примерами из жизни древних правителей... с моей точки зрения, весьма достойными и весьма своеобразными примерами: Су Цинь, У-ван, Цао Пэй — крайне любопытные образцы для подражания! Ведь все они, при прочих неоспоримых достоинствах, пришли к власти насильственным путем, свергнув предыдущего законного правителя!

Не думаю, что госпожа Сюань сознательно подталкивала принца к мысли о захвате престола или убийстве собственного брата, но выбранные ею герои древности наводят меня, скудоумного, на некоторые размышления...

Что же касается тигровой орхидеи господина Туна, то именно этот цветок он намеревался преподнести сиятельному Чжоу-вану в честь его возвращения в удел! А ведь тигровая орхидея, о мудрый Лань, не только символ красоты и изысканности — но также знак силы и власти! Особенно в сочетании с вот такими стихами:

Ты — герой Лю Ван в наши дни!
Ты — мудрец Чэн Тан в наши дни!
Великаны прошлых времен
Стали Чжоу-вану сродни!

— Надеюсь, моему уважаемому собеседнику излишне объяснять, кто такие Лю Бан и Чэн Тан, упоминаемые в этом выкидыше поэтической утробы, и каким путем они пришли к власти? А там есть еще много других прелюбопытнейших

фрагментов, которые я, к сожалению, не запомнил в их оригинальном виде. Подобные намеки-восхваления вкупе с тигровой орхидеей и влиянием госпожи Сюань...

Впрочем, все это только могло произойти. Но не произошло — благодаря необъяснимому, но крайне своевременному безумию, охватившему тишайшую женушку безвестного красильщика Мао, а также почтенного торговца Фан Юйши. В результате чего прекрасная госпожа Сюань больше не станет подталкивать принца Чжоу к ненужным для кровнородственного вана мыслям; да и вообще все, связанное с бывшей фавориткой, теперь наверняка будет вызывать у сиятельного Чжоу-вана легкую брезгливость. Чего, заметьте, не произошло бы, если бы госпожа Сюань была убита и принц скорбил бы о безвременно погибшей возлюбленной! Ну а стихи, восхваляющие все истинные или мнимые достоинства и доблести Чжоу-вана, теперь никогда не будут услышаны принцем; а его неумеренный поклонник господин Тун не поедет в этом году в Столицу сдавать экзамены — и, следовательно, не сможет претендовать на более высокую ученую степень и повышение по службе.

Кстати, не далее как сегодня я имел возможность лично убедиться, на что способен сопровождающий принца преподобный Бань, когда дело доходит до серьезной схватки, и теперь я начинаю думать: не слишком ли промедлил достойный монах, когда Восьмая Тетушка ломала шеи охране принца? С его-то мастерством...

***

...Судья умолк, давая понять собеседнику, что сказал достаточно.

Некоторое время Лань Даосин тоже молчал.

— Слишком тонкий расчет, — пробормотал он наконец. — Это не похоже на методы преподобного Чжан Во, главы тайной службы Поднебесной. Конечно, наставник Чжан — человек умный и знающий толк в интригах, но он скорее приказал бы просто-напросто убрать сиятельного Чжоу-вана без лишнего шума, разом решив все проблемы.

«А святой Лань разбирается в делах нашего суетного мира куда лучше, чем стремится показать», — отметил про себя судья.

— Но принц Чжоу мог быть зачем-то нужен им живым. — Судья вспомнил слова красавицы Сюань, одновременно не став

уточнять, кому именно — «им».

— Не исключено, — слегка наклонил голову даос, и его железная шапка тускло сверкнула, поймав пригоршню лунных бликов, — ночь снаружи давно вступила в свои права. — Не исключено. Однако те, кто задумал и осуществил подобный заговор, должны обладать просто божественной проницательностью, доступной лишь немногим из познавших Истинное Дао, или, как говорят служители Будды, сподобившихся Просветления! Но употребить столь великий дар ради достижения столь суетной цели... Сомневаюсь. Вдобавок невидимка, стоящий за всем случившимся, обладает весьма необычными способностями, природа которых пока не ясна даже мне.

— Возможно, то, что я сейчас скажу, отчасти поможет тебе прояснить природу этих сил, — с замиранием сердца произнес судья. — Ответь, святой Лань: знакомы ли тебе изображения тигра и дракона, которые можно увидеть на предплечьях монахов, прошедших знаменитый Лабиринт Манекенов монастыря у горы Сун?

— Разумеется.

— Тогда знай, что именно эти изображения в виде отчетливо видимых трупных пятен проявились на предплечьях Восьмой Тетушки и торговца. Фан Юйши на второй день после их смерти!

На сей раз даос молчал долго.

Очень долго.

И вода в лохани совсем остыла.

Судья Бао подумал-подумал, выбрался наружу и стал, постанывая и кряхтя, одеваться.

— Ты знаешь, друг мой Бао, — произнес наконец Железная Шапка, — наверное, я еще далек от Истинного Пути.

— Почему, друг мой Лань? — Последние слова вырвались у судьи сами собой, и вспухший бок словно стал болеть вдвое меньше.

— Потому что я самонадеянно полагал, что уже разучился удивляться. Твой рассказ удивил меня. Более того, он меня заинтересовал. Что ж, друг мой Бао, тайна за тайну. Я расскажу тебе, что беспокоит меня последние несколько месяцев, на что я пытаюсь — и пока не могу — найти ответ. Может, мы попробуем найти его вместе. И, может быть, в какой-то мере это будет ответ и на твои вопросы.

Рассказ Даосского Мага Лань Даосина, записанный судьей Бао той же ночью, но так и не включенный впоследствии в отчет о расследовании удивительного покушения, имевшего место в городе Нинго

Думаю, не стоит напоминать тебе, друг мой Бао, о том, что творится в последнее время в Поднебесной, — впрочем, насколько мне известно, почти не затронув остальные миры Желтой пыли. Странная болезнь, о какой ранее никто не подозревал, получившая среди простолюдинов неверное название «Безумие Будды»; не могущие обрести покоя бесы, ищущие себе замену среди живых; а еще звери-оборотни, летающие на облаке якши-кровососы, с ног до головы поросшие длинными белесыми волосами, демоны Преисподней, что без разрешения Владыки Темного Приказа выходят в мир живых...

Да, я не сомневаюсь, что ты обо всем подобном много слышал, а кое-что и видел собственными глазами.

Я же наоборот: многое видел, к моему сожалению, ибо предпочел бы доживать свой век в неведении; а кое о чем слышал.

И впрямь:

Я хочу смешать с землею небо,
Слить всю необъятную природу
С первозданным хаосом навеки.

Раньше такие случаи, нарушающие гармонию предопределенности, происходили раз в десять-двадцать лет, а сейчас — чуть ли не ежедневно! Все (вернее, почти все) думают, что наши беды начались в последний год, но это не так, поверь слову бедного отшельника — просто в последний год это начали замечать даже слепцы! А те, кто в меру сил пытается следовать Пути, и неважно, как мы зовем этот Путь — Безначальным Дао или Учением Будды... Мой учитель, небожитель из Западной Земли Пэнлай, говаривал, что Закон Кармы взбаламутили около полувека назад, примерно, когда из Поднебесной изгонялись остатки варваров-монголов и сокрушалась династия Юань; я склонен ему верить, как верил до сих пор. Но тогда никто не придал этому особого значения: даосов, плавящих киноварные

пилюли бессмертия, не слишком интересовала суета людей и нелюдей, последователи Кун-цзы совершенствовали себя и ритуалы, не в силах усовершенствовать мир, бритоголовые хэшаны настойчиво искали просветления и иногда находили, а остальным... остальным было все равно.

Теперь же я начинаю опасаться, что мы опоздали, упустив время сомневаться и раздумывать. Ибо мне кажется, будто на нас неотвратимо надвигается хаос из не существовавших прежде, и под его натиском потускнела отчасти даже изначальная чистота великого Дао — хотя раньше я считал, что такое невозможно!

Я и сейчас так считаю.

Но сейчас я верю в невозможное.

Что-то безнадежно разладилось в самой основе мироздания, сдвинулся какой-то маленький камешек — и мы с криками барахтаемся под вызванной им лавиной, грозящей погрести под собой всю Поднебесную. Возможно, именно в этом и состоит сейчас Путь Истины — понять, что происходит, и попытаться устранить причину. Попытаться, даже зная, что наши слабые потуги обречены на провал. Недеяние — не значит вообще не действовать, лежа на циновке или резном ложе и обреченно глядя в потолок. Недеяние — это действие, не отягощенное чувствами, без горечи при поражении и радости при победе. Чистое зеркало отражает все, пока на него не ляжет пыль ложных страстей... впрочем, я отвлекся. Где-то на этом Пути лежит и та частная истина, которую ищешь ты, расследуя порученное тебе дело. Уверен: если мы сможем понять целиком, что происходит в Поднебесной, то легко сумеем решить и твою загадку.

То, о чем поведал ты: властные знаки Тигра и Дракона* [Тигр и Дракон олицетворяли в числе прочего власть (в том числе и власть императорскую) и связь двух противоположностей, из которых складывается мироздание. Дракон — начало Ян, государь, восток и т. п.; тигр — начало Инь, запад, полководец и т. п.], проявившиеся на руках преступников после смерти, дало новый толчок скудным мыслям бедного отшельника. Возможно, мы действительно на шаг приблизились к разгадке. Ведь искусство боя, которому не была обучена Восьмая Тетушка, но которое неожиданно проявилось в ней, сродни тому, что люди называют «Безумием Будды»! И поведение торговца Фан Юйши, покончившего с собой над уничтоженной им же тигровой орхидеей, свойственно скорее героям древности, нежели обычному торговцу сладостями. Не были ли эти двое орудиями в чьих-то руках? Орудиями, выращенными, быть может, еще в прошлой или даже более давних жизнях, когда на их предплечьях и появились вышеупомянутые знаки? Что, если кто-то из людей,

бесов или небожителей (пока это не столь важно) нашел ключ к Закону Кармы и теперь безраздельно и безнаказанно пользуется им?! Ведь столь тонкий расчет, как тот, о котором ты мне поведал, невозможно сделать, не зная — вернее, не чувствуя наперед, куда протянутся от каждого нового узла нити судеб. А для этого... для этого обыденного знания недостаточно!

Как недостаточно его и нам, чтобы осознать причину надвигающегося на мир хаоса.

Ты принял два правильных решения, друг мой Бао: послал лазутчика в монастырь у горы Сун и пришел ко мне за помощью.

Все, что можно увидеть глазами, услышать ушами и осмыслить разумом или сердцем, узнает и поведает нам твой лазутчик.

Ну а мы попробуем тем временем иной способ. Он небезопасен, но другого выхода я не вижу.

Нам придется нанести визит Владыке Восточного Пика.

***

— Полагаю, ты хотел сказать — владыке Преисподней Яньло? — уточнил судья Баб, внимательно выслушав даоса.

— Я сказал именно то, что хотел сказать, друг мой Бао. Нам следует поговорить с Тем, в чьем ведении управа Перерождений и судьи загробного мира. А это и есть Владыка Восточного Пика, хозяин горы Тайшань, именуемой в народе Величайшей.

— А я-то всегда считал, что перерождениями ведает князь Темного Приказа, господин Яньло, — пробормотал себе под нос выездной следователь.

Но спорить с магом не стал, справедливо решив, что тому виднее. Несомненно, даосу было известно многое. Как, к примеру, Железная Шапка узнал о засланном в монастырь лазутчике, судья даже представить себе не мог, а потому почел за благо не заострять внимания на опасной теме.

— Но почему ты не сделал этого ранее, друг мой Лань? — поинтересовался он.

— На то было несколько причин, — неохотно отозвался Лань Даосин, налив и себе лечебной настойки. — Во-первых, до того как я услышал твою историю, я еще не был до конца уверен в необходимости такого рискованного шага. Во-вторых, как я уже говорил, это небезопасно — за все надо платить, и нельзя предугадать заранее, какую именно плату потребует Владыка. А

отказываться или торговаться будет поздно. В-третьих... у нас, идущих по Пути Дао, свои отношения с мирами теней, демонов или духов; мы не всегда можем напрямую обратиться к их властелинам — нужен человек, который бы поручил нам это и от имени которого мы могли бы действовать. Кстати, такой человек будет подвергаться не меньшей опасности, чем, к примеру, я, — так что советую тебе еще раз как следует подумать, друг мой Бао, прежде чем решиться на подобный шаг! Ну и, наконец, для того чтобы попасть на прием к Владыке Восточного Пика, нам понадобится свежий покойник, умерший ненасильственной смертью, которого мы возьмемся сопровождать.

Судья ничего не успел ответить своему другу, потому что в следующий момент дверь в жилище даоса распахнулась самый непочтительным образом, и на пороге возникла растрепанная молодая женщина, вся в слезах, которая немедленно пала на колени при виде судьи и мага.

В этой женщине судья с удивлением и тревогой узнал служанку Мэйнян из собственного дома.

— Господин судья, господин судья! — пролепетала служанка с пола. — Ваш племянник... молодой господин Чжун... он только что умер!

И, выговорив это, она дала волю с трудом сдерживаемым рыданиям.

Судья и маг посмотрели друг на друга, и оба, не сговариваясь, слегка кивнули.

Оба поняли, что это — судьба.

6

Выехать из Нинго на рассвете, как хотел даос, не получилось: судье сперва пришлось выдержать неравный бой со всей своей убитой горем родней, не ставшей, однако, от этого более покладистой. Родня вопила, ссылалась на все традиции, которые только существовали с того дня, когда стрелок И сбил с неба девять солнц из десяти, и наотрез отказывалась отпускать покойного Чжуна куда бы то ни было из родного Нинго. Лишь клятвенное обещание, что он, судья Бао, вместе со святым Ланем отыщут наиболее благоприятное с точки зрения геомантии место для захоронения юноши, после чего испросят у князя Яньло особого благоволения для безвременно усопшего — лишь это возымело наконец свое действие.

Затем выездной следователь (который под конец препирательств с родней начал чувствовать, что его вот-вот хватит заворот мозгов) направился отдавать распоряжения своему заместителю, тинвэю* [Тинвэй — чиновник, ведающий уголовными преступлениями.] Фу. К счастью, заместитель у судьи был толковый, так что Бао вполне мог на него положиться.

Потом — сборы в дорогу. Впрочем, выезжать из города судье приходилось нередко, так что собираться он привык быстро.

В общем, незадолго до полудня повозка судьи, запряженная низкорослой каурой лошадкой, остановилась возле жилища Лань Даосина на окраине Нинго. У входа в это странное сооружение, не устававшее поражать воображение судьи, был привязан меланхолично жующий сено упитанный ослик с мордой существа, давным-давно познавшего Дао. Ослик наверняка принадлежал магу, но откуда он у него взялся, судья понятия не имел.

Едва слуга судьи Бао, на этот раз исполнявший роль возницы, остановил голубую, разукрашенную золотыми и розовыми лотосами повозку — на пороге жилища мигом возник Железная Шапка собственной персоной, оценивающе окинул взглядом повозку и сидящих на ней людей.

— Ты, друг мой Бао, прямо не на похороны, а на Праздник Фонарей Юаньсяо собрался! — заметил он, подходя к повозке.

— Извини, друг мой Лань, — развел руками выездной следователь, — другой повозки у меня не нашлось, а перекрашивать эту не было времени.

— Ничего, — пробормотал даос, склоняясь над лежащим в повозке покойником, — так даже лучше. Может быть, посыльные Янь-вана не так быстро учуют нас и не явятся за твоим племянником раньше времени.

— Янь-вана? — переспросил судья, наблюдая за тем, как Лань Даосин сосредоточенно водит руками над телом покойного и на лбу даоса постепенно проступают мелкие капельки пота.

— Именно так следует называть Владыку Темного Приказа во время встречи с ним. — Голос мага был глух и невнятен. — И не вздумай назвать его просто Яньло — разгневается...

Наконец Железная Шапка прекратил свои загадочные действия, устало вытер пот со лба и, коротко бросив: «Поехали!» — принялся отвязывать своего ослика.

— А куда мы, собственно, направляемся, друг мой Лань? — осведомился судья Бао, когда даос ловко оседлал ослика-мудреца, повесил позади себя на спину безропотного животного две связанные ремнем сумки из темно-красной кожи со странным орнаментом по краю и поравнялся с уже тронувшейся с места повозкой.

— В провинцию Сычуань, уезд Фэньду, — коротко бросил даос и умолк, явно сочтя дальнейшие пояснения излишними.

Пояснения действительно были излишними. Почти любой житель Поднебесной, включая и выездного следователя Бао, прекрасно знал, что именно в уезде Фэньду провинций Сычуань находится спуск в ад Фэньду, где и стоит дворец Сэньло Владыки Яньло, которого в глаза лучше называть Янь-ваном.

А то разгневается.

Видимо, Владыка Восточного Пика в то «время, когда не сидел на своей горе Тайшань, обитал где-то поблизости.

А вот где именно в уезде Фэньду находится спуск в обиталища обоих Владык — это было известно отнюдь не многим. Впрочем, судья надеялся, что Лань Даосин должен входить в число людей, осведомленных в этом вопросе.

Они уже почти выехали из города, когда внимание судьи привлекло некое странное движение на обочине дороги. Придержав возницу, судья, охнув от вспышки боли в пострадавшем боку, слез с повозки. После чего принялся во все глаза разглядывать удивительное существо, кружившее как заведенное в дорожной пыли.

Это была большая собака неопределенной масти, вся покрытая толстым слоем грязи. Хребет у собаки был перебит, потемневший и тоже успевший покрыться пылью язык вывалился из пасти, задние лапы бессильно волочились по земле, но пес упорно двигал свое умирающее тело по кругу, из последних сил перебирая передними лапами.

На земле был хорошо виден этот совершенно правильный круг, вычерченный в пыли собачьим телом.

Заслышав шаги судьи, пес с трудом повернул голову, взглянул в лицо подходящему человеку — и судья Бао невольно вздрогнул от этого взгляда, настолько человеческим он ему показался, столько боли и муки было в нем. Но не только страдание и ожидание медлящей смерти — было во влажной глубине еще что-то. Предчувствие скорого избавления? Надежда на нечто, непонятное другим? Досада от всеобщего непонимания? Или иная тайна, какую невозможно выразить известными людям словами?

По телу собаки прошла судорога, глаза закатились, подергиваясь мутной пленкой, — но последним усилием пес привел в движение еще слушавшиеся его передние лапы, и они с трудом вывели в пыли несколько совершенно неуместных в данной ситуации знаков.

Потом тело собаки вытянулось и застыло.

Судья сделал шаг, другой — и наконец смог разобрать, что

именно начертил в пыли пес, вложив остатки жизни в это последнее усилие.

Иероглифы.

Два старых иероглифа, написанных головастиковым письмом: «цзин» и «жань».

Так и запомнился судье его отъезд из Нинго, в одной повозке с покойником и в сопровождении хмурого даоса: идеально ровный круг, вычерченный в дорожной пыли, мертвый пес, замерший с совершенно человеческим выражением умиротворения на собачьей морде, — и два вписанных в круг иероглифа; «цзин» и «жань». Чистое и грязное.

Глава четвертая

1

Мясо было таким жестким и жилистым, что сразу становилось ясно: эта корова умерла своей смертью после долгих лет существования впроголодь.

Нож был таким тупым, что сразу становилось ясно: оселок не прикасался к его лезвию по меньшей мере в течение трех предыдущих жизней этого куска железа.

Змееныш Цай обреченно скрипел проклятым ножом по проклятому мясу, прекрасно понимая, что выполнить приказ — до полудня разделать выданные ему полутуши говядины — он не сможет даже в случае особого расположения милостивого Будды.

Впрочем, он уже привык к подобным заданиям.

Таскать воду дырявым ведром; мыть полы, по которым время от времени прохаживалась толпа монахов в грязных сандалиях, беседуя исключительно о высоком; покорно выслушивать обвинения то в воровстве, то в непочтительности, то еще в чем-то, кланяясь и не предпринимая малейших попыток оправдаться — за такие попытки больно били палкой и продолжали обвинять с удесятеренным рвением; по сто раз на дню доставлять преподобным отцам забытые ими где попало веера и мухобойки, вместо благодарности получая оплеухи...

Во многом это напоминало службу в Шаньдунском гарнизоне, где Змееныш Цай служил около года в качестве вольнонаемного пехотинца. В результате этой службы господин тайвэй, начальник гарнизона, имевший дурную привычку убивать молоденьких солдат в случае отказа возлечь с ним на ложе, был неожиданно предан суду, жестоко бит плетями и сослан на юг с лишением

должности и звания.

Подробные донесения Змееныша, которому для этого дважды пришлось уступить развратному тайвэю, сыграли в опале военачальника не самую малую роль.

В Шаньдуне старые солдаты издевались над новобранцами ничуть не меньше, чем шаолиньские монахи — над претендентами на рясу и дхарму* [Претендовать на рясу и дхарму (в данном случае на закон, учение) — стремиться стать буддийским монахом.]. Но эти шутки, зачастую весьма злые, чем-то неуловимо различались меж собой, и пилящий жесткое мясо тупым ножом Змееныш все время думал: в чем же разница?!

Ему казалось, что именно в этом неуловимом различии, как в скрытом под жесткой скорлупой ядре ореха, кроется если не ответ на вопрос, то хотя бы часть ответа.

Все чаще и чаще он вспоминал слова раненого хэшана, услышанные в страшной роще, достойной укрощать скорее варварские земли, чем окрестности благочестивой обители:

— Если хочешь, чтобы патриарх Шаолиня назвал тебя послушником, — забудь эти слова.

— Какие?

— Справедливость и подлость. Человеческая нравственность заканчивается у ног Будды, и не думай, что это плохо или хорошо. Это просто по-другому. Совсем по-другому.

Шаньдунские старослужащие многократно восхваляли свою собственную справедливость и подлость глупых новобранцев, упрямо не желающих понимать, что для них зло, а что — благо.

Шаолиньские монахи никогда не говорили об этом, словно человеческая нравственность, столь любимые мудрым Кун-цзы правила морального и культурного поведения «ли» вообще не существовали для преподобных бойцов, лучшие из которых пополняли ряды тайной службы могущественного Чжан Во!

Они не издевались над соискателями и молодыми монахами, хотя поведение их донельзя напоминало именно издевательства; они даже не «учили жизни», как любили говаривать солдаты-шаньдунцы, — со стороны могло показаться, что искушенные последователи Будды просто-напросто выполняют какую-то скучную работу, которую непременно надо завершить к назначенному сроку.

Чем?

Чем должна была завершиться эта работа?!

Учитывая тот замечательный факт, что как только молодой монах допускался к общим занятиям в Зале Закона, где практиковались «вэньда» — диалоги между наставником и учениками, помогавшие достичь духовного пробуждения, — так

вот, с этой самой минуты прекращались все издевательства над человеком, хотя бы раз преступившим порог Зала Закона!

Ответить на этот вопрос было труднее, чем справиться с коровьей полутушей при помощи тупого ножа.

Особенно зная; что монахи не вкушают убоины, и поэтому работа Змееныша вдвойне бессмысленна.

***

Увесистый подзатыльник вернул Змееныша Цая к действительности. Он захныкал для пущей убедительности, потер затылок и опасливо повернулся к ударившему.

За последний месяц лазутчик жизни успел привыкнуть к страшному лицу преподобного Фэна, главного повара монастырской кухни, и не шарахаться в сторону от полусумасшедшего старика монаха с неизменным деревянным диском под мышкой.

Диск был сделан из полированного ясеня, в поперечнике достигал примерно локтя и весь был исписан углем. Однажды, приглядевшись, Змееныш Цай обнаружил, что покрывавшие игрушку преподобного Фэна иероглифы, мелкие-мелкие, как муравьиные письмена, представляют из себя знаки всего двух видов: иероглиф «цзин», то есть «чистое», и иероглиф «жань», то есть «грязное». Время от времени старый монах стирал часть знаков и дописывал на их место новые — но всегда одни и те же, просто в другом порядке.

Цзин и жань, грязь и чистота.

Что это должно было означать, Змееныш Цай не знал, да и не очень-то стремился узнать.

Мало ли какие причуды могут быть у похожего на беса преподобного Фэна?!

Повар аккуратно поставил диск в угол, кинул на стол пучок зелени и молодого чеснока, а потом прищелкнул пальцами и выразительно покосился на Змееныша. Дескать, закончишь возиться с мясом и покрошишь все это меленько-меленько вон в ту миску. Если бы тогда, во дворе любвеобильной толстушки, Змееныш Цай не слышал собственными ушами, как преподобный Фэн припевал себе под нос историю про старого Гао, одновременно вытворяя всякие чудеса с ивовой корзинкой, он скорее всего счел бы изуродованного повара немым. Во всяком случае, за истекший месяц Змееныш не услышал от преподобного

Фэна ни единого слова. Жесты и гримасы, от которых старик выглядел еще более похожим на беса, вот и все.

Один из слуг — тот самый, который бегал в бамбуковую рощу за раненым хэшаном и проникся после этого к Змеенышу особым расположением, — как-то рассказал Цаю историю неразговорчивого повара. Оказывается, когда позапрошлый настоятель Шаолиня Хой Фу после долгих раздумий решил-таки откликнуться на просьбу предводителя «красных повязок» Чжу Юаньчжана и послать к нему в армию шестерых монахов для обучения восставших воинскому искусству — одного из святых бойцов сопровождал совсем еще молоденький монашек Фэн.

В первой же битве около озера Желтого Дракона, увлекшись в пылу сражения и не услышав приказа об отступлении, юный Фэн оказался окружен десятком монголов, и один из них, изловчившись, сумел ударить Фэна копьем в рот. Узкий наконечник разворотил несчастному губы и вышел из правой щеки, попутно повредив язык, но дальше случилось невероятное. Пробивавшийся к своему служке опытный монах-воитель собственными глазами видел, как яростно ревущий Фэн перекусил древко копья — к счастью, не окованное железом у наконечника, — и с торчащим прямо из лица железным жалом, мотая головой подобно дикому зверю, кинулся на врагов.

Монголы в страхе бежали, а еле живого Фэна выволокли из горнила боя и успели оттащить в безопасное место.

Видимо, срок для следующего перерождения юного монаха еще не наступил — опытные лекари сумели спасти Фэну жизнь, но лицо его с тех пор отвращало от себя взгляды окружающих.

Вернувшись в монастырь, преподобный Фэн больше никогда не покидал его в течение полувека с лишним, прошедшего со дня сражения у озера Желтого Дракона. Многое успело совершиться за это время: захватчики бежали в северные степи, вождь «красных повязок» Чжу Юаньчжан стал императором Хун У, монахи-воители были назначены высшими сановниками императорского двора, а тому монаху, которого сопровождал несчастный Фэн, была поручена реставрация Великой Стены; знаменитому монастырю у горы Сун указом нынешнего императора Юн Лэ были переданы в подчинение земли четырех окрестных обителей...

А в Шаолине усердно трудился на кухне уродливый монах, ставший в конце концов главным поваром и научившийся делать из злаков и овощей блюда, по вкусу, запаху и внешнему виду неотличимые от мясных, — что до невозможности радовало некоторых преподобных отцов, получивших таким образом возможность потакать своему чреву, одновременно соблюдая

заповеди Будды и древних патриархов.

Единственное, о чем спорили иногда в монастыре: деревянный диск, исписанный иероглифами «цзин» и «жань», появился у повара Фэна до того, как произошло решающее сражение, заложившее зерно будущей смены династий, или после?

Спорили долго и безрезультатно.

Сам Фэн не отвечал.

Он вообще почти не разговаривал.

Но ему и не требовалось этого: готовить пищу можно и молча. Зато когда похожий на беса монах выходил на глинобитную площадку близ внутреннего двора, где обычно проводились общие занятия по кулачному бою, обитатели Шаолиня всех семи рангов старшинства лишь всплескивали рукавами, дивясь невозможному, не правдоподобному искусству повара.

Потом преподобный Фэн останавливался — зачастую на середине какого-нибудь тао* [Тао — комплекс формальных упражнений какого-либо стиля воинских искусств.], так и не доведя его до конца, — подбирал свой неизменный диск и уходил на кухню.

И всем оставалось только недоумевать: почему отец Фэн никогда даже не пытался сдать экзамены на право клейма тигра и дракона, подав патриарху прошение разрешить официальное посещение Лабиринта Манекенов?!

По общему мнению, если уж кто и должен был пройти эти испытания без особых трудностей, так это преподобный Фэн, молчаливый монах с изуродованным лицом и деревянным диском под мышкой.

2

Гроза налетела внезапно.

Косматые тучи тайком подкрались с запада, ночью — и небо рухнуло ливнем на вздрогнувшую в лихорадочном ознобе гору Сун. Видимо, божественный полководец Гуань-ди, ниспровергающий бесов, сильно разозлился на досаждающую этому миру нечисть, потому что ветвистые молнии следовали почти без перерыва одна за другой, пламенными многозубцами поражая невидимых врагов, а хриплые раскаты грома заставляли трепетать даже самые отважные сердца.

Дождевые струи неистово плясали по крышам и плитам, которыми был вымощен внутренний двор, подкрадывались к Залу тысячи Будд и гневно стучали в плотно прикрытую дверь — небось тоже хотели пройтись в боевых стойках по знаменитому каменному полу, где за прошедшие века остались цепочки выбоин от тысяч ног обучающихся монахов. Небесные драконы резвились в сизой пелене, взмахивая чешуйчатыми бородами, и конца-края этому буйству стихий не предвиделось.

Уставших за день монахов, спящих в сэнтане* [Сэнтан — дословно «монашеский зало, помещение, где спали и занимались индивидуальной медитацией; питаться к этому времени стали не здесь, а в монастырской трапезной.], не больно-то интересовали игры драконов и ярость Гуаньди, ужаса бесов. Спи, пока дают, — ведь в конце пятой стражи* [Пятая стража заканчивалась в пять часов утра.] так или иначе подымут и заставят идти во двор, под большой двускатный навес, лишенный стен, где и посадят в двухчасовую медитацию, которая должна напоминать обитателям Шаолиня о девятилетнем сидении великого Пути Дамо* [Пути Дамо (инд. Бодхидхарма, яп. Бодай-Дарума) — двадцать восьмой буддийский патриарх и первый (во всяком случае, в Китае) патриарх Чань, в VI в. н. э. пришедший в Поднебесную и обосновавшийся в Шаолине.], Бородатого Варвара, Патриарха-в-одной-сандалии. И уж наверняка наставники с палками жестоко вразумят тех ленивцев, кого станет клонить в сон или кого обеспокоят посторонние мысли о сырости и холоде. Ударят дважды, по одной палке на каждое плечо провинившегося, не жалея сил и рвения, а ты кланяйся да благодари учителей со всем тщанием за рачительную заботу о твоей личности!

Так что спите, братья, пока спится, сбросив монашеское платье на внешний край узкой скамейки-ложа, представлявший из себя полированный оловянный выступ!

Спите и не интересуйтесь тем глупцом, который теряет драгоценные часы, медленно пробираясь из внутреннего зала в зал внешний, неразличимой тенью мелькая в просветах между колонн перехода. Ну, приспичило кому помочиться невзирая на ливень — так что ж теперь, всем из-за этого не спать?!

Во всяком случае, Змееныш Цай очень надеялся, что никто из отдыхающих монахов не станет тратить редкие минуты сна на наблюдение за ним, ничтожным кандидатом; а уж по части умения неслышно перемещаться в любом незнакомом помещении лазутчик жизни мог дать фору матерой лисе, забравшейся в курятник. Змееныша вместе с остальными соискателями только прошлым вечером пустили в сэнтан и разрешили там ночевать, а до того они спали во дворе под навесом, мучаясь от ночной

прохлады и насекомых. Никто ведь и не знал, что бабка лазутчика Цая с пеленок приучала внука к весьма своеобразному способу ночного отдыха, вымотавшему бы иного неподготовленного человека до предела: заснув, Змееныш непременно просыпался после трети отведенного для отдыха срока, затем бодрствовал одну четверть общего времени и снова засыпал, мгновенно проваливаясь в небытие и вставая в точно назначенную самому себе минуту.

Сейчас это просто спасало лазутчику жизнь — ведь он не рискнул бы на глазах у преподобных отцов демонстрировать свое знакомство с тайнами мазей и иглоукалывания, особенно когда ты не имеешь права говорить вслух об истинной цели подобного рода занятий!

А жить-то хочется...

Вот и ходил Змееныш каждую ночь тайком в Храм теплой комнаты, где монахи обрызгивали по утрам себя и друг друга подогретой в чанах водой. Глотал пилюли, продлевающие молодость, мучил тело иглами, втирал в кожу мази и сбрызгивал каплями отваров, с ужасом видя, что принятые меры смогут продлить его ложную юность в лучшем случае еще на полгода.

Значит, это и есть тот срок, в течение которого надо выковырять из монастырских щелей ответы на вопросы судьи Бао. Выковырять, в руках подержать, сунуть за пазуху — и, что самое главное, суметь с ними вернуться.

Ну что ж, значит, так тому и быть...

Ползи, Змееныш!

***

Возвращаясь обратно из Храма теплой комнаты и подставляя разгоряченное после притираний лицо дождевым струям, Змееныш Цай вдруг резко остановился — и через мгновение растворился в мерцающей водяной завесе. Распластавшись всем телом на шероховатой стене сэнтана всего в десяти шагах от входной двери, куда лазутчик не успел нырнуть, он с удивлением выяснил, что не одинок в своей любви к ночным похождениям.

Более того: не узнать в бредущем через весь двор монахе преподобного Фэна с его неизменным диском под мышкой мог только слепой.

Старый монах шел, не оглядываясь по сторонам, неестественно выпрямив спину, ступая подчеркнуто твердо — в

отличие от его обычного мягкого, слегка крадущегося шага. Змеенышу даже показалось сперва, что монастырский повар страдает одержимостью, ибо так ходят люди, чьим телом насильно завладел бес или дух умершего.

А учитывая то, что творилось сейчас в Поднебесной...

Преподобный Фэн наискось пересек внутренний двор, некоторое время постоял под ливнем, чернея каменной статуей в синих вспышках молний, и уверенно направился к западному крылу монастыря — туда, где находились патриаршие покои. Вход в эти помещения был закрыт для всех, включая и самого уродливого повара. Это не распространялось на нескольких особо доверенных лиц и высших иерархов братии, а остальные члены общины могли только мечтать о подобной привилегии.

Пеньковые сандалии повара глухо шлепали по мокрым плитам, а за маленькой фигуркой с деревянным диском неслышно и невидимо крался Змееныш Цай, время от времени нервно принюхивавшийся, словно поймавшая след охотничья собака.

Но близко подходить к запретному входу в покои патриарха преподобный Фэн не стал. Обогнув западное крыло, он той же уверенной походкой двинулся к решетчатым, никогда не запирающимся воротам, за которыми начиналась массивная каменная лестница, ведущая в монастырские подвалы. Согласно правилам обители, все двери в монастыре были открыты для любого монаха, будь он новичком или опытным наставником Закона, — за исключением все тех же покоев патриарха. Но подвалы Шаолиня... Ведь именно там, в этих смертельно опасных подземельях, располагался знаменитый Лабиринт Манекенов, созданный гениальным механиком древности, который, по слухам, и сам не всегда знал, каким образом срабатывает его детище!

И Змееныш Цай, ни минуты не колеблясь, последовал за странным поваром, когда тот принялся спускаться по блестящим от дождя ступеням во мглу подземелья.

Внизу царила непроглядная темень, но для двоих людей, оказавшихся в сыром коридоре, свет не был так уж необходим: отец Фэн явно ходил здесь далеко не в первый раз, а умение видеть в темноте испокон веку числилось в списке талантов семейства Цай. Поэтому Змееныш не упустил того момента, когда преподобный повар остановился и принялся совершенно бессмысленно тыкать краем своего диска в оказавшуюся перед ним дверь.

Змееныш Цай нырнул в тень удачно подвернувшейся ниши — темнота темнотой, а осторожность еще никому не повредила — и

пригляделся.

На двери просматривались смазанные следы от множества печатей — наложенных, а затем не особо тщательно соскобленных, словно хозяин этой двери знал: опечатывать дверь придется еще неоднократно, так что стараться не стоит.

За этой дверью и начинался Лабиринт Манекенов.

И именно эту дверь опечатывали за спиной вошедшего внутрь монаха — потому что обратного пути для сдающего высшие экзамены не было.

Обратный путь вел разве что в канцелярию владыки Преисподней, князя Яньло, где трусу назначат следующую жизнь по мерке его дрожащей душонки.

Повар еще несколько раз ткнул диском в дверь, отозвавшуюся недовольным гулом, и присел на корточки. Вынул из-за пазухи тряпку и принялся елозить по своему диску. Стер часть написанного, потом отцепил от пояса привешенный к нему берестяной короб, извлек из короба кусочек уголька и задумчиво уставился в слезящийся потолок.

Уголек ткнулся в полированную деревянную поверхность — сперва неуверенно, как новорожденный кутенок вслепую ищет материнский сосок, затем все настойчивей...

«Пишет, — догадался Змееныш. — Цзин и жань, чистое и грязное. Как же у него дождем-то все иероглифы не посмывало?.. Или посмывало все-таки?! Но тогда что он стирал тряпкой?»

Монах через некоторое время удовлетворился результатом и гнусаво захихикал. Смех его внезапно заполнил весь коридор, скрытые за дверью подземелья радостно откликнулись, преисполнившись сумрачного веселья. Но так же неожиданно, как и возник, смех странного монаха Фэна смолк.

На мгновение оторопевший Цай завертел головой и проворонил тот миг, когда преподобный Фэн подпрыгнул, как тощий облезлый кот, трижды ударив в стену рядом с дверью. Для этого монаху пришлось извернуться всем телом, потому что иначе не было никакой возможности сперва пнуть ребром левой стопы в ничем не примечательный камень на уровне пупка, потом левой ладонью звонко шлепнуть наотмашь о выбоину чуть повыше лица — и тут же, словно оттолкнувшись от воздуха, взмыть на добрый локоть, крутануться волчком и подошвой правой ноги влепить добрую пощечину выщербленному кирпичу, напоминавшему оскаленную морду сказочного зверя гунь.

Дверь в Лабиринт Манекенов подумала-подумала, обиженно заскрипела и стала открываться.

Приземлившийся и замерший на корточках отец Фэн неслышно захлопал в ладоши, подобно играющему ребенку, затем

подхватил с земляного пола свой диск и бегом кинулся в темноту, где незримо крылись тысячи смертей.

3

Дверь за спиной монаха немедленно захлопнулась, не оставляя Змеенышу Цаю выбора: оставаться здесь или же набраться смелости и последовать за поваром.

Наверняка именно в Лабиринте, откуда выходили с клеймом тигра и дракона на руках или не выходили вовсе, и крылась разгадка головоломки, мучившей судью Бао, но Змееныш был далек от того, чтобы переоценивать собственные силы.

На всякий случай он подошел и надавил на дверь.

Нет.

Дверь не поддавалась, а открыть ее тем же способом, что и старый Фэн... Вот они, потайные «ключи»: ребристый камень на уровне пупка, выбоина на ладонь выше лица и кирпич с мордой голодного гуня. Всех-то дел — повторить прыжок преподобного повара! А промахнешься или ударишь не с той силой — и свалится тебе на голову какая-нибудь мраморная плита или откроется под ногами бездонный колодец, до дна которого лететь дольше, чем до адской канцелярии владыки Яньло...

Сверху послышался осторожный шорох, и кто-то стал потихоньку спускаться по лестнице в монастырские подвалы, повторяя недавний путь повара Фэна и лазутчика жизни.

Видимо, тех, кто не спал этой грозовой ночью в обители близ горы Сун, было больше, чем двое.

Змееныш мгновенно вжался спиной в спасительную нишу, прекрасно понимая, что будет, если его застанут здесь, у двери в Лабиринт Манекенов. Небось еще и откроют, и внутрь пригласят: иди, уважаемый, а мы тут за твоей спиной вход опечатаем и забьем крест-накрест... Мысль о сражении с незваным гостем в случае разоблачения даже не пришла лазутчику в голову, причем отнюдь не потому, что Змееныш трусил.

Он никогда не трусил — не умел; он осторожничал и прикидывал.

За его плечами были обманчивость внешнего облика, тайны семейной школы Цай-цюань и наука покойной бабки; за плечами шаолиньского монаха, покрытыми священной кашьей... Нет, Змееныш прекрасно понимал: он без особого труда справится с новичком, еще не получившим почетную веревку-пояс из рук

преподобного наставника, с «опоясанным» бойцом придется драться насмерть, а против стражника патриаршего отряда или знатока-шифу* [Шифу — дословно «учитель искусства».] у лазутчика не будет ни единого шанса.

И как раз тут на лестнице мелькнуло спускающееся пятно света, Змееныш пригляделся и с облегчением перевел дух.

Битва или смерть откладывались на неопределенный срок.

В течение прошедшего месяца Змееныш собственными глазами не раз видел восьмерых монахов-детей, шестеро из которых по разным причинам и воле знатных родителей посвятили себя Будде лет с трех-четырех, а двое родились в поселке слуг и были благосклонно одобрены патриархом для дальнейшего обучения в обители. Эти преподобные дети, которым сейчас было рукой подать до того дня, когда их станут называть подростками, не раз тайком забегали на кухню в попытках поживиться чем-нибудь съестным — и Змееныш, втихаря балуя их остатками еды, еще тогда выделил для себя одного из вечно голодных монашков.

Которого то ли в шутку, то ли всерьез местные бритоголовые отцы прозвали Маленьким Архатом.

Ребенок был красив, как иногда бывают красивы деревенские дурачки. Тонкие, почти прозрачные черты лица, напоминающие лики небожителей с картин Сюци, и при этом — безвольно скошенный подбородок, слегка отвисшая нижняя губа...

И глаза.

Глаза отнюдь не дурачка, но и не небожителя.

Два скованных льдом озерца, в которые смотреть — и то зябко.

***

Маленький Архат спустился до конца лестницы, поднял крохотный светильничек над головой, но оглядываться по сторонам не стал — на счастье Змееныша, который застыл в спасительной нише, приняв совершенно неестественную для человека позу.

Зато и силуэт лазутчика смотрелся скорее бесформенным комком сошедшей с ума тьмы, нежели прячущимся соглядатаем.

Маленький Архат подошел к двери и поставил свой светильник на землю. Потом полез в складки кашьи и через некоторое время извлек веревку. Встал как раз на то место, с которого не так давно прыгал преподобный Фэн, постоял, подумал и бросил веревку вверх.

«А парень-то не промах!» — оценил Змееныш, наблюдая, как со второго раза веревка зацепилась за выгнутый крюк, торчавший из потолка и до последней минуты не замеченный лазутчиком.

Маленький Архат подергал свою замечательную веревку, скрутил на свисающем конце петлю («Повеситься хочет, что ли?» — подумалось Цаю) и продел в нее правую руку по локоть.

После чего подпрыгнул, уцепился левой рукой чуть повыше и повис, словно горная обезьяна.

Змееныш Цай чуть не ахнул, когда малыш в рясе ловко раскачался и выбил пятками тройную дробь по нужному камню, выбоине и скалящемуся кирпичу — сделав это с гораздо меньшими затратами сил, чем уродливый повар Фэн.

А потом тихо засмеялся, соскочил на пол и пошел себе мимо открывшейся двери во тьму Лабиринта Манекенов.

Лазутчик жизни еще только начал размышлять над двумя вещами — почему эхо не захотело на этот раз подхватить смех Маленького Архата и почему это таинственный Лабиринт превратился чуть ли не в проходной двор? — а во мраке подземелий вдруг послышался сдавленный детский вскрик и шорох, какой бывает даже не от падения тела, а от медленного оседания наземь...

И Змееныш Цай совершил непростительную для профессионального лазутчика ошибку, одну из тех ошибок, которые способны напрочь провалить или неожиданно раскрыть порученное дело, — дверь все почему-то медлила закрыться, и Цай сломя голову ворвался в преддверие Лабиринта Манекенов.

Ему повезло.

Почти сразу он споткнулся о скорчившееся на сыром земляном полу детское тельце.

И успел выволочь Маленького Архата, потерявшего сознание неизвестно отчего, наружу.

Знакомое гнусавое хихиканье эхом прокатилось где-то в самой сердцевине Лабиринта, следом за ним послышался глухой грохот и сухой треск, какой бывает от столкновения дерева с деревом или с рукой, похожей на дерево, но Змееныш Цай уже не слышал этого.

Он нес по лестнице мальчишку с лицом деревенского дурачка и глазами, похожими на две ледышки.

Когда они были уже на самом верху, эти глаза открылись.

4

...Ливень наполнил до отказа все кухонные бочки, предусмотрительно выставленные во двор. Но преподобного Фэна — повар, как ни в чем не бывало перед самым восходом объявился в своих чревоугодных владениях — дождевая вода чем-то не устроила.

И он мигом погнал Змееныша Цая к источнику, вооружив последнего коромыслом и парой объемистых бадеек.

Самым простым способом раздобыть воду было пробежать через растущую неподалеку сосновую рощу, которая некогда и дала название знаменитому монастырю* [Шаолинь — дословно «молодой лес»], и вскоре оказаться близ разбивающегося о камни небольшого водопадика, дарующего прохладу в зной, но в здешней обители очень не любили простые способы достижения чего бы то ни было. Тем более что и сам водопад был не простой, а освященный в прадавние времена самим Сыном Неба, императором Сяо Вэнем, и вследствие несомненной святости этой воды в ней запрещалось даже купаться — не то что бадьями таскать.

Вот и бегал Змееныш по ста тридцати шести ступеням к дальнему ключу.

Каждые три ходки он останавливался на полдороге и тщательно брызгал на обнаженное до пояса тело водой, а приближаясь к кухне, начинал спотыкаться и тяжело дышать. Такому юноше, как он, не вошедшему еще в полную мужскую силу, должен быть в тягость путь к источнику и обратно, особенно по жаре и с тяжелым коромыслом на плечах. И неважно,

что все обитатели Шаолиня, включая повара Фэна, предаются сейчас рассветной медитации — если на чем и ловятся лазутчики, так это на самых ничтожных мелочах!

«И еще на добрых поступках», — зло подумал Змееныш, в очередной раз подбегая к источнику и еще издалека видя там знакомую детскую фигурку.

Вчера, когда он оставлял только-только пришедшего в себя Маленького Архата у входа во второй сэнтан, Цай очень надеялся, что ребенок его не запомнит.

Запомнил, проклятый!

И кстати — почему он не медитирует вместе со всеми?!

Что это за поблажки?!

Малыш посмотрел на подбегающего Змееныша своими льдистыми глазками, прикусил сорванную травинку крепкими, выпирающими вперед зубами и заявил ни с того ни с сего:

— Через два-три дня тебя вызовет к себе патриарх. Понял, дубина?

Не ожидающий подобного начала Змееныш чуть не уронил коромысло.

— Будет беседовать с тобой. — Мальчишка жевал травинку и говорил словно даже и не со Змеенышем, а с самим собой. — Вопросы задавать станет, так ты не хитри и не умничай. Выгонит. Если ударит — закройся, но не до конца. Вроде как от испуга. Впрочем, до конца ты и не сможешь... ну да ладно, не о том речь.

Маленький Архат ненадолго замолчал, а Змееныш оторопело смотрел на своего собеседника.

На самом деле он не был столь уж удивлен словами Маленького Архата — и не потому, что ожидал чего-либо подобного. Просто Змееныш разучился удивляться еще тогда, когда нынешнее перерождение мальчишки не то что не началось, а даже еще и не было задумано.

Но личина Цая почти всегда требовала удивленно раскрытого рта и часто-часто моргающих глаз, так что это стало его второй натурой.

Некоторые уже неживые люди могли бы подтвердить: да, стало и в свое время производило большое впечатление.

— Чаю тебе предложит, — продолжил после паузы монах-ребенок. — Да не моргай ты, а слушай! Чаю, говорю, предложит — так ты не бери, а взял, так не пей! Понял?! Обвинят в незнании этикета и животной грубости, после чего выпрут взашей! Отойди себе смирненько в уголок, там тумба стоит, с фигурками и бумажными деньгами... ну, низенькая такая!..

— Алтарь предков, — машинально поправил Змееныш, на этот раз действительно удивясь: не столько тому, что малыш так

осведомлен в делах патриарших, сколько его последним словам про алтарь предков.

Да любой сопливый мальчишка в любом селении никогда не скажет про известное с рождения священное место: «Тумба... с фигурками и бумажными деньгами...»

— Точно, — обрадовался Маленький Архат, выплевывая свою травинку Змеенышу под ноги. — Короче, поставишь туда чашку, поклонишься, после повернешься и поклонишься еще и патриарху. Потом жди. Выпьет глава Шаолиня свой чай — считай, все у тебя в порядке, можешь зваться монахом. Дошло?

— Дошло, — кивнул Змееныш. — А что ж это ты, преподобный...

Лазутчик колебался. Одну ошибку он уже совершил, когда вытаскивал этого непонятного ребенка из Лабиринта Манекенов; и сейчас ему очень не хотелось ошибиться во второй раз. Сделай он вид, что вчерашней ночью ничего не было, кроме грозы, и вся юношеская личина Змееныша мигом начнет трещать по швам и лопаться — мальчишка умен, как бес, и сразу поймет, что пухлогубый юнец-кандидат не должен бы уметь держать язык за зубами. Особенно окажись сей юнец в завидной роли спасителя. Затей же лазутчик разговор о вчерашнем происшествии, начни интересоваться похождениями Маленького Архата, и это неизбежно потянет за собой повара Фэна и самого Змееныша, преследующего уродливого монаха с диском под мышкой.

— Чего это я шляюсь у источника, когда остальные сидят в медитации под навесом? — ухмыльнулся Маленький Архат, и лицо его на миг стало совсем глупым, но только на миг, так что Змееныш не понял: притворялся его собеседник или на самом деле обладал способностью прыгать от глупости к мудрости, как лягушка от лужи к луже?

Вон одна, зеленая, в пятнах, скачет, радуется... точь-в-точь Серебряная Жаба на Луне, когда тучи от нас ее дворец закрывают!..

— Понятное дело. — Мальчишка не спеша подошел к одной из бадеек (коромысло давно уже стояло у ног Змееныша), опустил детские ладошки внутрь, где на донце оставалась лужица воды, и каким-то безмерно усталым жестом ополоснул лицо. — Какой же я Маленький Архат — я просто маленький нахал! А может, меня, человеческого детеныша, их святейшество патриарх всем сердцем возлюбил?! Может, великий наставник Закона в нем, то бишь во мне, души не чает?! И позволяет то, чего другим ни-ни! Что скажешь, парень?

— Ты... — запнулся Змееныш, не очень хорошо уяснив смысл слов «человеческий детеныш» в применении к Маленькому

Архату, а также отметив про себя крайне странный титул для патриарха Шаолиня — «его святейшество».

Но раз начал говорить, надо договаривать; тем более сплетни о неприглядных эпизодах личной жизни монахов уже давно раскатились горохом по всей Поднебесной.

— Ты его мальчик для удовольствий? И Маленький Архат не обиделся. Только плеснул остатками воды в физиономию Змееныша.

Незло плеснул, играя; но играя не по-детски.

— Для удовольствий, — кивнул монах-ребенок, и лед его глаз немного оттаял, потек по краям голубыми разводами. — Только не для тех, о каких ты подумал.

Вдруг он сорвался с места и побежал к ступеням, ведущим к монастырской кухне.

Остановился на третьей снизу, со щербиной посередине, и негромко бросил:

— Послезавтра Фэн-урод снова пойдет диск к Лабиринту примерять. В то же время, ночью. Ты его не бойся, он когда в подземелья идет, ничего вокруг себя не видит, не слышит! Ты другого бойся...

Не договорил.

Дальше побежал.

Ступеней через сорок остановился, поглядел сверху, как Змееныш из источника воду набирает, как пристраивает коромысло на скользких плечах; как делает первый шаг к лестнице.

— Жили-были два китайца, — пробормотал себе под нос Маленький Архат, — одного звали Сунь, а второго — Высунь...

Но Змееныш не слышал этого.

Да и никто не слышал, а услышал бы, так не понял.

До того места, где поняли бы язык Маленького Архата, была не одна сотня ли* [Ли — китайская верста, примерно 576 метров.] и не одна сотня лет.

5

Косвенным образом слова Маленького Архата о том, что Змееныша в ближайшем будущем ждет приглашение к патриарху, подтвердились почти сразу.

Причем весьма своеобразным образом: если не считать беготни к источнику и уже вошедшей в привычку работы на

монастырской кухне, то до самого вечера никто и ничем Цая не обижал. Не мыл грязных рук в набранной для похлебки воде, не требовал найти и немедленно принести веер, утерянный неизвестно где и неизвестно когда; не заставлял в тридцать восьмой раз поймать белого кролика и приготовить из него жаркое с сычуаньской лапшой и молодыми бамбуковыми побегами — Змееныш уже устал объяснять, что ни при каких обстоятельствах не может ничего приготовить из священного животного даже под страхом пытки. Однажды он попытался для разнообразия сказать, что монахам мяса есть нельзя, и, не успев договорить «нельзя», был больно бит монашескими тапочками на твердой деревянной подошве...

Короче, день прошел тихо и безобидно.

И это настораживало больше, чем ставшие привычными издевательства.

Маленький Архат в свободное от занятий кулачным боем и постижения Чань время крутился где-то неподалеку, но в разговоры не вступал.

Повар Фэн вообще не интересовался ничем, кроме котлов и своего диска, на котором за сегодня так ничего и не написал.

У Змееныша Цая даже появилась минутка-другая отдохнуть и в очередной раз задуматься над скрытым смыслом постоянного издевательства и всевозможных обид-насмешек над кандидатами. Неужели такой удивительный обычай существует с седых времен Пути Дамо, сурового Бодхидхармы; неужели именно Бородатый Варвар приказал силой вытряхивать из новичков все зерна человеческой морали и нравственности, делая в мешке их представлений о жизни все новые и новые дырки?

Ведь монаху-любострастнику, по всему видать, главным было не соблюдать монастырские правила, отказываясь от женщин, а не попадаться стражникам с поличным! Но если уж попался, не дать доставить себя к патриарху, уходя от облавы силой, хитростью, чем угодно, но уходя... Опять же грязные сандалии по чистому полу, грязные ладони в воде для похлебки, белый священный кролик, бессмысленные обвинения в воровстве и непочтительности — всего и не перечислить!

И при этом говорят в Поднебесной: «Опрятен, как чаньский монастырь!» — правильно говорят, в чем Змееныш имел возможность убедиться сам.

И при этом говорят в Поднебесной: «Суров к себе, как чаньский монах!» — что тоже правда, истинная правда!

Всем ведомо, как Бородатый Варвар в гневе вырвал себе веки (по иной версии, только ресницы), когда те смежились и помешали ему предаваться внутреннему созерцанию! А

последователи Пути Дамо помнят об этом, каждодневно попивая чаек — чайный куст вырос-то из отвергнутой плоти великого Бодхидхармы! — и щеголяя ревностностью в постижении Учения.

Может быть, дальновидный Пути Дамо, первый патриарх Чань, из каких-то тайных соображений хотел, чтобы вступающих в ряды его монахов-воинов покинули все людские представления о хорошем и плохом, о правильном и не правильном в понимании смиренных крестьян, гордых министров и яростных воинов — покинули, чтобы быть замененными...

На что?

И тогда становится ясным, почему теряющего или потерявшего мораль человека, из которого под ноги сыплются правила «ли», стуча о дорогу подобно зернам проса... почему такого человека нельзя выпускать за пределы обители!

Он не сможет жить в знакомом ранее мире: мир остался прежним, а он изменился! Как собака, выжившая в волчьей стае, не может вернуться в прежнюю конуру, где есть миска и нет свободы. В ней, в бывшей собаке, теперь безраздельно царят новые правила, не привнесенные снаружи, а выросшие сами собой, из глубин, из корней; и среди волчьих правил «ли» может, к примеру, найтись и такое: нельзя перекусывать подставленное горло сдающегося соперника!

Многие ли императоры и полководцы могут похвастаться подобной волчьей моралью?!

***

...И тут мысли Змееныша Цая были прерваны приветственным возгласом и увесистым хлопком по плечу.

— Здорово, браток! — весело рявкнул собрат по кандидатскому званию, тот самый торопыга, которому невероятно везло от самых внешних ворот обители.

Торопыга был велик, громогласен, телом дороден и грузен и любил хвастаться тем, что везуч и что земляки прозвали его еще с детства Луань Дайтоу, что на ханьчжоуском наречии значит «голова смутного времени».

Змееныш так и не понял, что хотели сказать этим земляки и чем тут хвастаться. Особенно если у двух иероглифов, составляющих «луань дайтоу», есть и второй смысл — «мешочек с яичками».

Или, если отбросить церемонии, попросту «мошонка».

— Мы тут подумали-подумали, браток, и решили, что надо бы тебя тоже позвать, — блестя плоскими широкими зубами, какими хорошо жевать репу, загудел Голова Смутного Времени. — Все-таки ты наш, хотя и сторонишься, вроде как брезгуешь; и звание монашеское вскоре вместе примем, так что ни к чему нам чиниться да избегать один другого! Я и Малыш Сун (второй кандидат, еще остававшийся в обители) со здешними молодыми иноками сдружились, так они нас сегодняшней ночью на дружескую пирушку зовут. Как говорится меж образованными людьми, в Зеленые терема* [Зеленые терема, они же Чусские павильоны или Циньские башни — злачные заведения.]! Короче, я за тобой, браток! Уснут все в твоем сэнтане — выходи, собираемся у заднего выхода с кухни! Молодые иноки сказывали, что знают нужные тропы в поселок слуг... ох, и погуляем!

Голова Смутного Времени гудел еще что-то, скабрезно подмигивая, а Змееныш уже понимал: «Влип!»

И лихорадочно соображал, как отвертеться от столь лестного предложения.

По всему выходило, что не отвертеться никак. Такой юнец, каким представлялся окружающим лазутчик жизни, просто не мог отказаться от подобного, истинно мужского предложения. А даже если Змееныш и попробует увильнуть, сославшись на необходимость соблюдать Пять Запретов, пусть и не став полноправным монахом, Голова Смутного Времени мигом превратится в Мошонку, препаскудно ухмыльнется и спросит:

«Трусишь, браток?»

После чего Змееныш окажется прижат к стене собственным ложным возрастом, умеющим отвечать на обвинение в трусости одним-единственным способом.

Сделать все, что предлагают, и вдвое больше.

— Хорошо, браток, — кивнул Змееныш, грустно вздохнув про себя и покоробившись от собственного «браток». — Нынче же ночью.

6

— А я-то думала! — досадливо скривилась Матушка Сиванму, прозванная так в честь Владычицы Западного Рая за свои исключительные способности на стезе разврата.

Говаривали знатоки из преподобных: Матушка если приголубит ста двадцатью пятью из ста двадцати трех известных

людям любовных игр, то мигом попадаешь в Западный Рай, даже и не вкусив дарующих бессмертие персиков.

— А я-то думала! Кандидатишек сопливых привели! Патлатеньких! Головы не обрили, а туда же: к порядочным женщинам!

— Чем тебе их головы не нравятся, Матушка! — расхохотался один из молодых монахов, подбивших трех кандидатов на сей опасный, но сулящий немалые радости поход.

— Вот у тебя, красавчик, голова правильная — бритенькая да гладенькая! Прижмешь такую к себе, ладошкой гладишь, не нагладишься! Круглая да крепкая! А у этих проведешь ладонью — не то собака, не то дерюга... Ну и вся любовь кошлатым мехом-смехом и выходит! Разве что мальчика попробовать, порадовать себя молоденьким мясцом? Эй, юнец, ты хоть целовался с нашей сестрой до сегодняшней ночки?!

И любвеобильная Матушка Сиванму обеими руками приподняла свои пышные груди, вызывающе глянув в сторону Змееныша.

— Не довелось, Матушка, — потупившись, ответствовал Цай, одновременно припоминая, как больше месяца прятался от лихих братьев из шайсинских лесов. Их вожака Змееныш сдал властям живьем для заказанной публичной казни на деревянном осле. Самым надежным местом для укрытия — увы! — оказался Зеленый терем на окраине Шайсина, с чьей хозяйкой Змееныша связывали кое-какие делишки. В результате все остались довольны: и хозяйка, получившая изрядную мзду, и певички, сновавшие к замечательному постояльцу по двое, по трое за раз, и сам Змееныш — хотя иногда ему хотелось выйти и отдаться в руки лихим братьям.

Смерть казалась не такой утомительной, как внимание певичек.

— Тогда договорились, сынок! — На круглом лице Матушки появилось плотоядное выражение, как ни странно, сделавшее ее довольно привлекательной. — Пошли, поучим тебя уму-разуму!

И Змееныш покорно поплелся в соседнюю комнату, раздумывая по дороге: воспользоваться наукой бабки Цай и одними руками незаметно довести Матушку до блаженного изнеможения (авось отстанет!) или продолжать разыгрывать юнца до, так сказать, победного конца?

Последний вариант смущал лазутчика. Любовь юноши и любовь зрелого мужчины сорока с лишним лет сильно отличаются между собой. И опытная певичка только по времени, прошедшему от снятия одежд и до того мига, когда «тучка проливается дождем», может определить истинный возраст своего

любовника с точностью до трех-четырех лет. Можно, конечно, замедлить или ускорить происходящее, но нажимать на точки «цилунь» и «баньши» в присутствии Матушки Сиванму...

— Ишь, какой мяконький! — призывно шепнула Матушка, и Змееныш обнаружил, что уже лишился изрядной части своего одеяния, а Матушка стоит перед ним на коленях, явно готовясь «сыграть на нефритовой флейте».

И сыграла.

Да так сыграла, что, наверное, небожители Яшмового дворца долго потом обсуждали подробности этого поединка: Матушка Сиванму изо всех своих немалых сил старалась затянуть удовольствие и успеть продемонстрировать пухлогубому мальчику все совершенство многолетнего опыта, а Змееныш Цай напрягал последние силы, пробуждая от спячки Великого Змея Шэн и пытаясь уложиться в то время, какое истинно надобно шестнадцатилетнему юноше для завершения первого соития.

В результате оба остались довольны друг другом.

Включая любопытных небожителей.

И если бы не шум на улице, прекрасно знакомый Змеенышу по его первому, тайному визиту в поселок слуг...

***

Монастырская стража, как выяснилось позже, явилась отнюдь не за блудодеями. В соседнем доме, примыкающем ко двору жилища Матушки Сиванму и ее подружек, проживал молодой бондарь, поставлявший на кухню заказанные ему бочки, — и бондарь этот днем был замечен в смертном проступке.

Он издалека подглядывал за монахами — причем не за рядовыми иноками, а за знатоками-шифу! — когда последние совершенствовались в воинском искусстве. Такие прегрешения карались смертью: провинившегося забивали палками, сперва удостоверясь — случайно ли заглянул грешник в святая святых или намеренно пытался проведать тайны мастерства преподобных отцов из обители возле горы Сун?!

Бондарь смотрел намеренно — ибо в пятый раз не подглядывают случайно.

И богатыри-стражники явились за преступником.

К сожалению, Голова Смутного Времени потерял от страха голову, напрочь превратившись в Мошонку и выскочив на улицу в чем мать родила, — в результате Мошонка был изгнан пинками с

территории обители, потеряв возможность когда-либо приобщиться к Учению Будды в стенах Шаолиньского монастыря.

Сказано в древности: «Дуракам Закон не писан!»

Остальные иноки и Малыш Сун, кандидат-приятель Мошонки, были вовремя укрыты женщинами в тайных погребах.

Про Змееныша все как-то забыли и не вспомнили до следующего утра.

Ни молодые иноки, ни Матушка Сиванму с подружками, ни собрат-кандидат... ни монастырские стражники, хотя последние тщательно обыскали окрестные дворы и дома сверху донизу.

Маленький Архат, притащившийся вместе со стражей смотреть на арест бондаря, принимал самое деятельное участие в этих поисках. Видно было, что монах-ребенок пользуется несомненным расположением стражников — вот только неясно, с чего бы это?! А потом, когда стража удалилась, таща за собой избитого бондаря и вопящего Мошонку, Маленький Архат встал посреди пустынного двора Матушки Сиванму и обратился в пространство.

— Я знаю, что ты где-то здесь, — весело сказал ребенок. — Извини, но мне надо было проверить — действительно ли ты лазутчик из внешнего мира? Поймай они тебя и изгони отсюда, — значит, я ошибся, а я ошибаюсь редко. Еще раз извини, но, по-моему, ты гораздо старше и умнее, чем выглядишь, Змееныш! Проследи за собой: в минуты задумчивости у тебя слегка западают щеки и начинают играть желваки на скулах, отчего ты становишься отнюдь не юношей... и еще: те волосы, что у тебя на груди — белесые. Может быть, они седые?

Никто не ответил Маленькому Архату.

7

Через день Змееныша вызвал к себе патриарх Шаолиня, сменивший на этом посту знаменитого Сюаня Цзигуаня, присутствовавшего на церемонии восшествия на престол нынешнего императора Юн Лэ.

После полуторачасовой беседы кандидату была милостиво предложена чашка чаю; и когда Змееныш Цай в точности выполнил все советы Маленького Архата, патриарх одобрительно улыбнулся и не торопясь отхлебнул из своей чашки.

К вечеру Змеенышу наголо обрили голову.

А последний кандидат, приятель печально известного Головы

Смутного Времени, был изгнан сразу же после того, как гордо сделал первый глоток предложенного напитка.

Чай, кстати, оказался плохонький, жидко заваренный...

МЕЖДУГЛАВЬЕ

Свиток, найденный птицеловом Манем в тайнике у западных скал Бацюань

Мне дважды повезло — если в данном положении вообще можно говорить о везении.

Во-первых, мой мальчик оказался дурачком. Не дебилом — от такого соседства я рехнулся бы через час, подтвердив общее правило, что «Безумцы Будды» долго не живут. Но мой мальчик (до сих пор не понимаю — на беду себе или на счастье вспомнил он мое перерождение?!) на кое-что годился, только это «кое-что» было весьма своеобразным. Например, он мог вполне успешно сопровождать слепого гадателя, время от времени поколачивая колотушкой в переносной гонг и оповещая таким образом обывателей о том, что пора бы встряхнуть сосуд с дщицами и выкинуть оттуда очередное предзнаменование — наверняка доброе, потому что за злые пророчества платили тумаками. И пусть мальчишка на глаз различал все сто двадцать четыре оттенка закатной полосы над озером и чувствовал себя как дома во всех пяти тональностях здешней музыки, с легкостью переходя от «гун» к «шан», а от них обоих к «цзяо», — ему было трудно сосчитать монеты в лавке так, чтобы не ошибиться вдвое или втрое, и разговаривать он мог, только глупо улыбаясь.

Я забился в самый краешек его куцего сознания и благодарил фортуну за фарт, что, прожив тридцать лет, и три года (не на печи, но все-таки...) с урезанным судьбой-индейкой правым полушарием, сейчас способен быть более или менее холодным наблюдателем.

Видать, судьба была рождественской индейкой.

Иногда мне казалось, что вот оно, мое левое полушарие, мои усеченные искусство и интуиция — слюнявый полуидиот, никогда не промахивающийся мимо нот и искренне любующийся цветущей ханчжоуской ивой.

Наверное, я был не прав.

Я наверняка был не прав.

И однажды в лавке не утерпел: вылез наружу, отодвинув привыкшего слушаться кого бы то ни было мальчишку, и ухватил

за руку гада-лавочника, когда тот самым наглым образом обсчитывал моего мальчика и его слепца-гадателя.

— Дщица с твоей судьбой уже готова вывалиться из костяного стаканчика! — сказали мой мальчик и я. — Ты уверен, о достойный господин, лишь по воле случая похожий на скупердяя и мздоимца, что она не сулит тебе восемь бед и сорок несчастий?

Лавочник подумал-подумал и решил, что не уверен.

Мне повезло дважды: мой мальчик был дурачком и потянулся ко мне (к себе?) со всей силой не знающего ласки ребенка. Или, если хотите, со всей силой противоположного полюса. И поскольку нас было всего двое, причем обоим было крайне неуютно в окружающем мире...

Это все еще было во-первых.

А во-вторых, мы отлично ужились вместе.

И, как я вскоре понял, это оказался уникальный случай — «Безумцы Будды» и впрямь долго не живут.

А мы прожили год довольно-таки сносно — до того дня, когда наш гадатель занемог и вскоре отправился в мир иной, а мы остались без дела.

И без куска хлеба.

Хотя здесь говорили: без чашки лапши.

Ну и дрянь эта гречневая лапша, доложу я вам...

Стоя на набережной в Ханси и любуясь цветными фонариками, формы которых спорили окраской и разнообразием с осенней листвой, я на миг отстранялся от моего мальчика и представлял сам себя этакой резидентной суперпрограммой, которая наслоилась на чужой мозг, превратившись в операционную среду и вовсю пользуясь прежними файлами; потом понимал, что никогда раньше не отличал алый фонарик от малинового, и уж тем более не ощущал смутной гармонии их слегка матового свечения и звуков от старого цина, когда уличный музыкант стучал крохотным билом по каменным пластинам...

Потом я и мой мальчик, резидентная суперпрограмма и слюнявый эстет, получали оплеуху от раздраженного нашим видом купчины, выгуливавшего неподалеку целую свору верещащих певичек, — и шли думать и любоваться в другое место.

Впрочем, на голодный желудок думается лучше, а если я что и умел, так это думать. И в первую очередь меня до рези в желудке интересовало «Безумие Будды» (из сугубо корыстных интересов!). В отличие от аборигенов, которые валили все на причины метафизические и в этом деле были большие доки, мне

оно сильно напоминало давно знакомых дружков-вирусов, изредка забиравшихся в мой замечательный «Пент» и норовивших натворить чудес или перекроить все по своему образу и подобию. Года жизни в местной Поднебесной — то, что это не совсем наша Поднебесная, о которой я читал в разных умных книжках, я понял чуть попозже — мне хватило, дабы уразуметь одну простую и не шибко приятную истину.

Здешний космо-комп именовался Законом Кармы* [Карма (санскрит.) — плод действия; Закон Кармы — воздаяние за любые поступки, влияющее на следующее перерождение. Обычное, повседневное сознание отягощено страстями, которые переносит на поступки и поэтому все время создает карму; сознание измененное, просветленное действует бесстрастно, т. е. кармы не создает.].

Бред?

Возможно.

И Закон Кармы впервые за века своего существования и бесперебойной работы в макромасштабе нарвался на вирус.

Чушь собачья, хвостатая?

Не исключено.

А не чушь, не бред то, что я после осколка за ухом сижу себе преспокойненько (вру, не так уж преспокойненько) в дурачке-китаезе за полтыщи лет и невесть сколько километров от моего подъезда и тети Насти, обеспокоенной некультурностью жильцов?!

То-то же...

На фоне этого кармические законы в образе дисков винчестера и обалдевшие файлы-перерождения, путающие время и место, выглядят безобидными забавами.

Что и требовалось доказать.

часть третья
ВЛАДЫКИ ТЕМНЫХ ПРИКАЗОВ

Кто способен вовремя остановить свой собственный удар, тот наверняка сумеет в нужный момент ударить с полной силой, сокрушающей горы.

Из поучений мастеров

Глава пятая

1

Судья Бао неодобрительно глядел на окружавшие их хмурые скалы. Вернее, скалы были даже не то чтобы хмурые, а скорее какие-то болезненные: изъязвленные ветром и временем, покрытые желто-бурой с прозеленью коростой лишайника, растрескавшиеся и изогнутые под совершенно немыслимыми углами. Из трещин местами торчали такие же кривые и чахлые деревца с колючими жесткими листьями, напоминая гениталии малайских идолов — судье как-то раз довелось видеть изделия южных варваров, и они еще тогда поразили его своим вызывающе-нездоровым уродством.

Под копытами ослика и запряженной в повозку судьи лошади хрустели сухие кости. В основном звериные, но изредка попадались и человеческие. Теперь судья думал, что понимает, почему даос назвал их предприятие «опасным». А Железная Шапка тем временем размышлял, что если судья полагает, будто это уже настоящая опасность, то заблуждение выездного следователя велико и необъятно, подобно Восточному океану; и вообще зря он, бедный отшельник, связался с такого рода предприятием, потому что «драконы и единороги» еще только ждут их впереди, и отнюдь не в мире живых...

Ущелье резко свернуло вправо, и в лицо судье пахнуло вонью горящей серы. Сразу же перехватило дыхание, судья надсадно закашлялся, но тут новый порыв пронизывающего ветра отогнал удушливый запах, и выездной следователь со своим слугой-возницей с трудом перевели дух. Лошадь храпела, пятясь к выходу из ущелья, в то время как ослик даоса просто стал как вкопанный.

— Приехали, друг мой Бао, — сообщил Лань Даосин, слезая с ослика и перекидывая через плечо ремень с походными сумками. — Соблаговоли покинуть повозку, поскольку дальше мы пойдем втроем.

— Дальше? Втроем? — не понял судья. — Но ведь дальше нам не пройти — мы просто задохнемся! Кроме того, нас и так трое...

Бао имел в виду себя, даоса и возницу; но, услышав, как ослик весьма отчетливо хмыкнул, не стал продолжать.

— Не беспокойся, мы пройдем сквозь Дыхание Нижних Пределов: ты, я и твой племянник Чжун. Это я и подразумевал, говоря: втроем. А твой слуга пусть отведет лошадь к выходу из ущелья и ждет нас там три дня.

— Лошадь? А как же ослик, друг мой Лань? Неужели он...

Даос лишь приложил палец к губам; ослик же осклабил желтые зубы, повернулся к судье задом и бодро затрюхал прочь.

Бао молча кивнул и слез на землю; потом, взглянув на проступавшие впереди сквозь дым груды костей, выездной следователь тяжело вздохнул, закашлялся и принялся вместе со слугой снимать с повозки заранее приготовленные носилки.

В душе судья очень надеялся, что его приятель Лань не вознамерился покончить жизнь самоубийством, прихватив с собой за компанию и своего друга Бао. Хотя, с другой стороны, это был наиболее простой способ попасть на прием к князю Янь-вану или Владыке Восточного Пика — но, увы, он судью Бао абсолютно не устраивал.

Наконец выездной следователь и Железная Шапка осторожно уложили на носилки тело Чжуна — и судья в очередной раз поразился тому, что его племянник скорее напоминает спящего, чем мертвого. Иногда выездного следователя даже начинали брать сомнения, но нет: сердце Чжуна не билось, дыхание отсутствовало, и тело несчастного юноши оставалось холодным. Тем не менее за неделю пути разложение ни в малейшей степени не коснулось мертвеца, хотя погода стояла теплая и влажная. Трупные пятна тоже не появлялись, а члены покойного сохранили гибкость, вопреки всему не подвергшись окоченению.

Зато даос за время пути заметно сдал, хотя все время ел за троих: глаза мага ввалились и горели лихорадочным огнем, кожа на лице и руках словно бы высохла, истончилась и приобрела землистый оттенок; и судья не раз замечал, как дрожат руки его друга, хотя раньше за Лань Даосином такого никогда не водилось. Нелегко давалось магу поддерживать вокруг покойника ауру живого, не выпуская все девять его душ из тела и в то же время мешая слугам Янь-вана явиться за положенным!

Как сказал сам даос еще в Нинго: «За все надо платить».

— Пожалуй, я мог бы на время оживить его, — обмолвился как-то по дороге Лань Даосин. — И в течение примерно шести-семи дней Чжун был бы почти прежним. Но потом... Очень трудно уловить момент, когда рассеиваются три духовных начала и сгущаются шесть плотских; а также когда остаточное «ци» претерпевает необратимые изменения, и оживший мертвец уже не в силах сдерживать темные страсти. Этим я наверняка испортил бы ему карму, да и мы не могли бы чувствовать себя в безопасности рядом с твоим племянником. А сейчас время для него остановилось, он как бы спит — и хотя добиться этого куда труднее, чем поднять свежего покойника и заставить выполнять чужую волю, я избрал именно этот способ. Так и твой племянник не испытывает мучений, и мы находимся в относительной

безопасности...

При словах о безопасности даоса слегка передернуло, что не укрылось от острого взгляда судьи Бао.

Лань Даосин открыл одну из своих сумок и извлек из нее нефритовый флакон с притертой пробкой и два куска грубой ткани. Обильно смочив ткань темно-красной жидкостью из флакона, даос передал один из кусков судье, а вторым, сложив его вдвое, плотно обмотал лицо, завязав концы на затылке. Судья поспешил последовать примеру мага. Жидкость имела приятный аромат полевых трав и цветов с небольшой примесью мускуса и еще чего-то, неизвестного судье, но не вызывавшего неприятных ощущений.

Маг молча ухватился за ручки носилок спереди, у головы покойного, и судья поспешил занять свое место позади Лань Даосина.

— Жди нас три дня. Потом, если мы не появимся, — еще два дня в деревне, которую сегодня проезжали на рассвете. Если мы не объявимся через пять дней, возвращайся в Нинго, — приказал Бао из-под повязки слуге.

Тот молча поклонился, показывая, что все понял.

Лань Даосин словно только и ждал этого — едва замолк приглушенный повязкой голос судьи, даос двинулся вперед, увлекая за собой выездного следователя. Через несколько шагов они вступили в пелену серного дыма.

***

Повязка с лихвой оправдывала возлагаемые на нее надежды. Дышалось на удивление легко, приятный запах смочившей ткань жидкости даже в некоторой мере успокаивал — и через несколько минут пути в смрадном тумане судья Бао окончательно уверился, что опасность задохнуться им теперь не грозит.

После чего начал с интересом оглядываться по сторонам.

Дым тонкими струйками сочился из трещин в окружающих скалах, словно под ними дремали десятки огнедышащих демонов, глухо сопя в щели, в любой момент готовые проснуться, проломить непрочную каменную скорлупу огромного яйца Преисподней и выбраться наружу. «Еще год-два — и это вполне может случиться», — подумалось мельком судье Бао. Под ногами хрустели сухие кости, местами приходилось перебираться через целые завалы из ребер, черепов, хребтов и других частей

скелетов. Большую часть костей судье удавалось опознать или хотя бы сравнить с чем-то более-менее известным, но встречались и останки каких-то совершенно неведомых выездному следователю животных. Особенно поразил его большой рогатый череп с тремя глазницами и несколькими рядами мелких, но явно острых, как бритва, зубов, среди которых выделялись восемь зловещего вида клыков, каждый в добрый палец длиной.

Судья еще подумал, что даос наверняка тоже заметил этот череп. И потом, когда (если!) они выберутся из ядовитого облака, надо будет обязательно спросить мага, что это была за тварь.

И не встретится ли она где-нибудь на их пути.

Скалы вокруг были абсолютно голые, на них ничего не росло, за исключением пучков черных суставчатых травинок, похожих на паучьи ноги, изредка торчавших из расщелин.

Через некоторое время у судьи начали слезиться глаза, и почти тотчас же в его голове раздался отчетливый шепот Лань Даосина:

— Закрой глаза и смотри так...

Судья не понял, как можно смотреть с закрытыми глазами, но тем не менее послушно прикрыл веки и попытался всмотреться в мгновенно окружившую его тьму.

И действительно, почти сразу выездной следователь увидел перед собой лиловый светящийся силуэт даоса. Силуэт светился все ярче, словно раскаляясь изнутри, и постепенно судья Бао стал вновь различать дорогу: кости отблескивали медной прозеленью, скалы казались темно-багровыми, струйки ядовитого дыма расплывались вокруг голубоватыми облачками, а носилки вместе с телом племянника Чжуна оказались прикрыты полупрозрачным бледно-палевым коконом, по которому время от времени пробегали радужные разводы.

Это было красиво.

Это было непривычно.

И немного страшно.

Или даже много.

Некоторое время судья предавался новым ощущениям, а потом свечение, исходившее от фигуры даоса, начало постепенно меркнуть, и в голове выездного следователя вновь раздался голос Лань Даосина:

— Можешь открыть глаза, друг мой Бао. Мы уже пришли.

Словно в подтверждение этих слов, маг остановился, и судья с некоторым удивившим его самого сожалением открыл глаза.

Отравленное сернистыми испарениями ущелье осталось позади. Они с магом стояли у входа на идеально круглую скальную площадку, со всех сторон окруженную круто

уходящими вверх базальтовыми стенами.

Это походило... больше всего это походило на кратер вулкана!

— Мы уже в царстве Янь-вана? — спросил судья.

— Нет. Но мы у входа в него. И судья Бао подумал, что они, наверное, первые, кто так торопится попасть на тот свет.

2

Костер горел более чем странно: почти бесшумно, без треска и гула, а также на удивление ровно. Время от времени в сердцевине тяжко-багрового пламени вспыхивали лазоревые, алые, ослепительно белые, а то и вообще какие-то легкомысленные фиолетовые язычки. Впрочем, странности эти были вполне оправданы — Лань Даосин уже около получаса, стоя у разведенного посреди каменной площадки кострища, нараспев читал ритмичные стихи на неизвестном судье Бао языке. И после каждой строфы подбрасывал в костер щепотку-другую содержимого бесчисленных коробочек, флакончиков, горшочков и мешочков, расставленных вокруг в некоем известном только магу порядке. От даосских приношений огонь то вспыхивал ярче, то внезапно бледнел, словно от испуга, то чуть ли не взрывался, как от хорошей порции пороха, то ежеминутно менял цвет — а Лань Даосин все голосил нараспев свою песнь-заклинание, которой, казалось, не будет конца.

«Ну, выучить слова — это еще ладно, — думал судья, невольно поддаваясь колдовскому очарованию происходящего. — Но как запомнить, которое снадобье и в какой момент надо кидать?»

Это было выше его понимания.

Они стояли спиной к ядовитому ущелью, глядя сквозь мешающий видеть огонь на противоположный край кратера; между ними лежало пластом недвижное тело Чжуна. Солнце давно опустилось за скалы, ночные тени сгустились за пределами трепещущего светового круга, и вот сейчас Железная Шапка открывал вход в ад Фэньду, только вход все почему-то не открывался. Судья Бао видел, что силы мага уже на исходе и даос держится лишь на упрямстве и отшлифованном годами учения мастерстве, но он не знал, чем помочь другу, боясь, наоборот, все испортить...

Вдруг судья почувствовал, как что-то незаметно изменилось.

Игривой певичкой подмигнуло пламя. костра, из ниоткуда налетел порыв леденящего ветра, темнота оскалилась дружелюбной ухмылкой зверя Чисань, который имел скверную привычку из двух дерущихся обычно съедать невиновного; и выездному следователю показалось, что он начинает различать смутный контур на почти невидимой черной стене впереди.

Или это ему только примерещилось?

А потом судья Бао неожиданно для самого себя обнаружил, что он уже отнюдь не стоит и наблюдает, а. идет, покорно переставляя ставшие удивительно тяжелыми ноги. Идет вместе с Железной Шапкой прямо сквозь огонь, оказавшийся холодным и щекотным, к высящейся перед ними стене, где к тому времени ясно проступили очертания прохода, освещенного бледным зеленоватым светом. Судью почему-то не удивило, что между ним и даосом движется его любимый племянник Чжун, покойный племянник Чжун, только что смирно лежавший у костра, и силуэт Чжуна то ли двоится, то ли троится, хотя судья был абсолютно трезв. Доблестный сянъигун задумался было: «С чего бы это подобная напасть?!» — но тут оказалось, что они уже вступают в открывшийся проход, и перед ними вырисовывается неприветливая гигантская фигура, загораживающая путь внутрь.

Судья присмотрелся внимательнее и с трепетом признал в негостеприимной фигуре обладателя того самого трехглазого черепа, о котором он хотел спросить Лань Даосина — да так и не спросил.

Теперь же всякие расспросы оказались излишними: рогатый демон, ростом раза в два выше любого человека, стоял перед ними, и все три его глаза недобро горели пламенем ядовито-оранжевого цвета.

— Ответствуйте, земная плесень: кто вы такие и зачем явились в Темную Обитель Хуэйань?! — грозно, но в то же время как-то неуверенно вопросил демон. И судья неожиданно почувствовал, как сковавший его липкий страх постепенно улетучивается: раз это страшилище разговаривает, вместо того чтобы сразу наброситься на них и сожрать, значит, с ним можно договориться!

А что грубит — так стражники у ямыня* [Ямынь — областная или уездная управа.] ничуть не вежливей... пока мзду не получат.

— По просьбе высокоуважаемого сянъигуна Бао я, недостойный отшельник Лань Даосин, привел заблудшие души, по недоразумению оказавшиеся в теле его племянника Чжуна, к Владыке Восточного Пика с нижайшей просьбой рассмотреть наше ходатайство и лично разобраться в этом запутанном деле, исправить допущенные ошибки, наказать виновных, а также

зачесть невинно пострадавшим их мучения, которые должны искупить часть их кармы и приблизить...

Похоже, даос мог говорить еще долго — судья и не подозревал в своем друге способности к столь многословному и путаному красноречию. Но большая и наверняка лучшая часть заготовленной магом речи пропала втуне: трехглазый демон протянул восьмипалую лапищу, куда Железная Шапка мигом что-то сунул, потом страж Темной Обители глянул себе в ладонь, без видимой причины со стоном схватился за кошмарную голову и как сквозь землю провалился.

Впрочем, в данном случае не «как», а именно провалился и именно сквозь землю!

Пораженный столь неожиданным эффектом даосской речи и даосской взятки, судья остолбенело застыл, глядя на то место, где только что находился ужасный привратник, но Железная Шапка уже тянул его за руку:

— Торопись, друг мой Бао, время не ждет! Сэньло, Дворец Владыки, находится в Пятом аду, а путь туда неблизкий. Так что поспешим, если ты хочешь вернуться вовремя... да и вообще вернуться.

Последнее замечание мигом вывело высокоуважаемого сянъигуна из состояния прострации, куда ввергло его исчезновение демона-мздоимца, — и судья поспешил вслед за своим другом. Обнаружив, к немалому своему удивлению, что теперь их сопровождает целая компания совершенно незнакомого народа: например, некий грозного вида воин в полном боевом доспехе времен эпохи Тан, с укрепленным на спине изрубленным штандартом и с двумя боевыми топорами «шуан» за кушаком. На голове у удивительного воина была красная, словно бы окровавленная повязка, а на доспехе отчетливо выделялись несколько стальных заплат. Затем судью постоянно дергала за рукав молодая девица весьма вульгарного вида, ярко, но безвкусно одетая и похожая на дешевую нахальную певичку. На ходу девица все время препиралась с надменной госпожой средних лет в дорогом платье, со множеством золотых и серебряных украшений; госпожа старательно делала вид, что полностью игнорирует наглую певичку, но время от времени не выдерживала и огрызалась не хуже обворованной базарной торговки, чем вызывала новый неиссякаемый фонтан язвительного остроумия со стороны девицы.

Как понял судья, его дергали за рукав с целью привлечь к разговору в привычном качестве, то есть в качестве судьи.

Увлекшись наблюдением за этими тремя колоритнейшими личностями, судья Бао не сразу обратил внимание на лысоватого

человечка в кургузом кафтанчике, похожего на мелкого провинциального чиновника, а также на старика крестьянина в домотканой рубахе и широких штанах с дыркой на левом колене; ну и, наконец, — на собственного любимого племянника Чжуна, одетого в ту самую одежду, в которую его обрядили перед отъездом из Нинго.

Любимый племянник с крайним удивлением озирался по сторонам и что-то бормотал себе под нос. Потом Чжун увидел своего дорогого дядюшку и немедленно поспешил к нему:

— Дядюшка Бао! Неужели это вы?! Значит, я все-таки жив? Или... — Бледное лицо юноши мгновенно омрачилось. — Или вы тоже умерли? Скажите мне — где это мы?

— Можешь объяснять ему все, что хочешь, только, ради бодисатвы Дицзана* [Бодисатва Дицзан дал обет собственным подвижничеством освободить из ада души грешников, за что его прозвали Наставником Темного Мира.], не отставайте! — крикнул им Лань Даосин, успевший уйти довольно далеко вперед.

— Что, и святой Лань тоже помер? — изумленно пробормотал Чжун и перестал задавать вопросы.

Коридор (или скальный тоннель?), которым они шли, тем временем уводил в глубь горы, пологой спиралью спускаясь вниз, в саму Преисподнюю — куда вся компания, собственно, и направлялась. Свечение впереди постепенно разгоралось, из зеленоватого становясь ярко-охряным, а по краям начиная зловеще багроветь.

— И ты не жив, мой несчастный Чжун, и я не умер, — понуро буркнул судья. — Мы с досточтимым Ланем взялись сопровождать тебя в Темный Приказ владыки Янь-вана, чтобы испросить для тебя снисхождения по поводу твоей безвременной кончины, а заодно... а заодно уладить и кое-какие свои дела.

— Вы так добры, дядюшка! Значит, я все-таки мертв?! Знаете, дядюшка Бао, а это, оказывается, не так страшно, как я себе представлял! Хотя я и раньше... — Чжун и сам не знал, что он хотел сказать, а посему запутался, застеснялся и на некоторое время снова умолк.

— А это кто... вместе с нами? — поинтересовался он шепотом после долгой паузы. — Мне кажется, дядюшка, что я их вроде бы знаю, но я не вполне уверен...

Несмотря на то, что Чжун говорил шепотом, даос прекрасно расслышал все сказанное покойным юношей.

— Это те несчастные, кто делил с тобой твое тело последний месяц, — бросил маг на ходу. — «Безумие Будды»... Как же! Если бы и впрямь было так, то все они были бы твоими собственными

перерождениями, то есть разными жизнями одной и той же личности, и сейчас ты бы слился с ними и был един! А это — души совершенно других людей, случайно оказавшиеся в твоем теле. Слишком много жителей в одном доме, да еще таких склочных и неуживчивых — к чему дивиться, что дом не выдержал, рухнул, и все оказались здесь?!

Пока даос говорил, все спутники судьи и мага внимательно слушали его, стараясь не пропустить ни слова. Даже женщины угомонились и перестали ругаться, что еще мгновение назад казалось невозможным. И после того как Железная Шапка умолк, они еще некоторое время продолжали путь в молчании, чему судья был весьма рад.

А потом перед ними внезапно открылась огромная присутственная зала, и времени на пустую болтовню не осталось. Вот тут-то судья Бао и понял, что наконец для них начались настоящие опасности, о которых совсем недавно говорил его друг Лань.

Они прибыли в Темный Приказ.

3

С первого взгляда адская канцелярия Фэньду не слишком отличалась от любой из канцелярий Нинго, в том числе и от судейского приказа, в котором не первый год служил достойный сянъигун. Столы, чернильницы с тушью, кипы бумаг с печатями и водяными знаками или без оных, полки с бесчисленными свитками, шуршание кисточек по бумаге, шуршание передаваемых документов, бирки на арест или дознание, спорящие между собой чиновники, опасливо жмущиеся в углу просители...

Только сейчас в роли просителей выступали они с Ланем и целой толпой душ, вывалившихся из расшестерившегося Чжуна, а в роли чиновников — соответственно...

Судья Бао и сам не первый год являлся чиновником, причем довольно высокого ранга. А посему был прекрасно осведомлен, как его коллеги зачастую обходятся с просителями, вынимая из них всю душу скрупулезным занудством и следованием букве закона; здешние же чиновники, похоже, могли вынуть душу в буквальном смысле, причем не прибегая к особым крючкотворским ухищрениям.

И впрямь:

Там у князей по девяти рогов,
Острее их рога всего на свете,
Их спины толсты, пальцы их в крови,
И за-людьми они гоняться любят —
Трехглазые, с тигриной головой,
И тело их с быком могучим схоже.

Ближе всех, за невысоким потертым столом, украшенным по краю затейливой, но довольно-таки бестолковой резьбой, восседал черномазый черт племени лоча. Похож он был на здоровущего медведя, если бы не многочисленные рога и шипы, в изобилии торчавшие из его косматой головы в самых неожиданных местах. Чем-то эти украшения напоминали резьбу на столе. У черта-лоча было четыре глаза (видимо, на зависть безвременно сгинувшему привратнику): красный, желтый, зеленый и мутный — всеми этими четырьмя глазами он сейчас как раз уставился на непрошеных гостей.

Впрочем, несмотря на жуткий вид, выражение на шипасто-рогато-клыкастой морде черта читалось однозначно: «Ну вот, еще какие-то приперлись, и как раз перед самым обедом! Клянусь Владыкой Янь-ваном, до чего же вы мне все надоели!»

За соседним столом, по правую руку от черта-лоча, восседала совершенно невообразимая даже с перепою тварь, отдаленно похожая на шестилапую рыбу-переростка. Красивый серебристый цвет чешуи чиновной рыбы удивительно не гармонировал с рассыпанными по всему телу под слеповато-слезящимися глазками.

Все глазки на этот раз были одинаковы — неприятного грязно-бурого оттенка, с сильно насурьмленными ресницами.

Разнообразие рыбой не поощрялось.

Позади виднелось еще много всякого, а за самым дальним, самым огромным столом с инкрустациями из благородной яшмы и перламутра восседал, по-видимому, начальник этой канцелярии: благообразного вида демон с седой тигриной головой, в семиугольной шапке с твердыми полями. Адский булан* [Булан — начальник крупного ведомства.] неторопливо перебирал лапой с покрытыми киноварью когтями лежавшие перед ним бумаги, время от времени макал тонкую барсучью кисточку в проломленный череп с тушью и выводил очередную резолюцию на документе, который, с его точки зрения, заслуживал внимания.

В позе, движениях и выражении скучающей тигриной морды демона-начальника было что-то настолько знакомое, что судья Бао всмотрелся повнимательнее.

И в следующее мгновение невольно улыбнулся: подобный вид иногда любил напускать на себя перед посетителями он сам, судья Бао из города Нинго, выездной следователь по прозвищу Драконова Печать!

— Назовите свои имена, включая молочные, дарованные, прозвища и клички; также из какой вы семьи, где жили, когда и какой смертью умерли, — скучным голосом проскрипела Серебряная Рыбка, явно в многотысячный раз повторяя заученную фразу. — Говорите внятно и по очереди, начиная с...

Тут рыба посмотрела на вновь прибывших всеми своими глазами, моргнула сотней век и на некоторое время умолкла, не в силах решить, с кого лучше начать.

Вот этой-то паузой и хотел воспользоваться Лань Даосин, видимо, чтобы повторить свою заранее подготовленную речь, произведшую столь неизгладимое впечатление на трехглазого демона-стража, но тут случилось то, чего не ожидал никто, включая и многомудрого даоса.

Притихшая было певичка, про которую все успели забыть, подскочила к моргающему рыбодемону и, ухватив его (ее?) за две передние лапы, заголосила:

— А, так вот из-за какой дряни вся эта пакость приключилась! В прошлой жизни всем мужикам угождала, никому не отказывала, ничего утонченного, окромя их «нефритовых стеблей», согни их и разогни в три погибели, не видела — и снова-здорово! Не успела в новое тело попасть, там уже эта старая жаба сидит! — яростный кивок в сторону надменной госпожи, тщетно пытавшейся сделать вид, что ее это не касается. — И добро б она одна! Целая шайка тут как тут! Разве ж это жизнь?! Я вас спрашиваю, судьи не праведные — жизнь это или издевательство над честной женщиной?! Да и той жизни всего месяц дали — и что, опять сюда?! Я тебя запомнила, рыба с глазами! Я тебя еще с прошлого раза запомнила! Все, с меня хватит! Делай теперь так, чтоб я родилась дочерью Сына Неба, и никак не меньше! Не то я потружусь во имя справедливости, я глазищи-то повыцарапаю, повыдергаю, на пол брошу и растопчу!.. я вас всех тут...

Поначалу несколько обескураженные маг и судья теперь с трудом сдерживали улыбки: выездной следователь уже начал сочувствовать рыбной демонице-чиновнику, а Лань Даосин прикидывал втихомолку, что эффект от неожиданной выходки певички, пожалуй, будет не хуже, чем от его речи, а то и лучше.

И действительно — глава приказа, тигроглавый демон в фиолетовой с золотом накидке, с золоченым поясом и в семиугольной шапке тонкого шелка* [Фиолетовая одежда, золоченый пояс и шапка тонкого шелка — атрибуты высших чиновников.] уже спешил к ним по проходу между столами.

— Как ты, ничтожная, смеешь приставать к добросовестному Син Тяню, чтобы оно дало тебе то, чего оно дать не в силах?! — строго осведомился адский булан, подходя к вновь прибывшим.

Это «оно», относящееся к рыбе, окончательно доконало судью и мага, единым взмахом стерев с их лиц возникшие было ухмылки.

— А кто мне обещал, что все мои страдания до самой маленькой капельки зачтутся мне в следующей жизни?! — нимало не смутившись, обернулась к старшему демону нахальная девица. — Вот он... то бишь оно и обещало! Еще и приставало, говорило: уступи, крошка, родишься в хорошем доме!

— Вот тебе и зачлось, — не удержалась нарядная госпожа, но певичка на этот раз не обратила на нее внимания.

— Опять Неуспокоенные! — зашелестело между столами, за которыми сидели чиновники Преисподней. — Яшмовый Владыка, будет этому конец или нет?!

— Что, неужели снова ошибка? — Седые брови тигроглавого демона страдальчески поползли вверх. Шум разом смолк.

— Вас несправедливо обидели при Распределении? — обратился глава приказа к новоприбывшим. — Дали не то перерождение?

— Более того, засунули в одно тело с этой, как два стебля в один горшок. — Певичка сделала неприличный жест в сторону старшей госпожи. — И еще с этими вонючими козлами! Ишь штандарт привесил (последнее относилось к побагровевшему воину) и думает, что обгадил семь небес! Если это не «ошибка», то я...

— Понял, понял, я все понял и приношу свои самые искренние извинения, — заспешил адский булан, явно опасаясь нового взрыва красноречия девицы. — Разумеется, это вам зачтется, и в следующем перерождении вы можете рассчитывать...

— Дочь Сына Неба! — твердо заявила девица, подбоченившись. — На меньшее — не согласна!

— А вот это уже не тебе решать, — строго одернул ее тигроглавый демон, и девица поспешно умолкла, ощутив некоторый перебор в своих требованиях. — И даже не мне. Кажется, тут без Владыки не обойтись. Это небось в палате Высшего Суда что-то напутали, а на нас, как обычно, свалили, — обратился он к судье Бао, шестым чувством угадав в нем коллегу.

Судья понимающе кивнул и решился заговорить:

— В таком случае, досточтимый булан, позднорожденные* [Позднорожденные — то есть младшие по возрасту; почтительная форма упоминания о себе.] просят выделить им сопровождающего, который проводит назойливых гостей к Владыке Восточного Пика — мне, ничтожному, мнится, что наше дело находится в его компетенции.

Начальник приказа как-то странно посмотрел на выездного следователя и пробормотал:

— Вообще-то я имел в виду великого Янь-вана, Владыку Темного Приказа...

— Разумеется, вам виднее, о гордость Преисподней. — Даос незаметно толкнул судью Бао локтем в бок, и доблестный сянъигун едва удержался от стона или соответствующего возгласа — друг Лань угодил как раз в не до конца зажившее ребро.

— И если этот вопрос в компетенции великого Янь-вана...

— Отправляйтесь к князю Янь-вану, — принял окончательное решение тигроглавый. — А дальше пусть Владыка сам решает. В конце концов, в моем приказе обед или не обед?! Эй, Ли Иньбу, проводи их к Владыке!

Судья Бао уже начал понемногу понимать хитрый замысел даоса: как же, удалось бы им, двум живым, добраться до Владыки без этой толпы несправедливо обиженных душ! Нингоуских (и не только) коллег-чиновников Бао знал предостаточно, а теперь имел возможность убедиться, что и в Преисподней они ничуть не отличаются от своих собратьев из мира живых.

Впрочем, как выяснилось, Лань Даосин тоже неплохо разбирался в канцелярских порядках и успел заранее подготовиться.

Бао искренне надеялся, что теперь они без особых помех доберутся до Владыки, но что-то мешало ему целиком отдаться этой надежде.

***

В провожатые им выделили того самого похожего на медведя черта-лоча с шипастой башкой, который сидел за крайним столом в приказе тигроглавого.

— Ну вот, чуть что, так сразу Ли Иньбу! — сердито проворчал черт, но тем не менее, обреченно махнув мохнатой лапой, отправился выполнять распоряжение своего начальника.

Бао, Лань Даосин и немного присмиревшие души последовали за хмурым провожатым; и судья Бао наконец смог вздохнуть чуть свободнее и попытаться осмотреться.

А посмотреть было на что.

Поначалу они шли коридором, из которого через многочисленные широкие проемы без дверей можно было видеть целый ряд комнат, весьма напоминавших ту, где они только что побывали: адская канцелярия Фэньду оказалась обширной, со множеством палат и приказов, так что теперь судье Бао оставалось только удивляться не тому, почему весь этот сложнейший бюрократический механизм разладился, а тому, почему этого не произошло раньше?!

— ...И убеди уважаемого Чжуаньлунь-вана* [Чжуаньлунь-ван (Чакравартин) — буддийское божество, вращающее диск (Колесо Сансары), к которому Владыка ада Янь-ван (Яньло-ван) направляет души умерших для нового рождения.] крутить колесо помедленнее — и так с жалобами справляться не успеваем! — донеслось до ушей судьи из последней палаты, когда они проходили мимо.

А потом канцелярия кончилась и начался какой-то жуткий лабиринт, из которого дорога выныривала, прижимаясь к отвесной скале; по левую руку зияла бездонная пропасть, на дне ее что-то шипело, полыхало, подыхало и лязгало — но дорога вновь ныряла в сплетения темных тоннелей, и лишь неожиданные вспышки высвечивали корчащуюся обнаженную фигуру, сквозь которую медленно прорастало ветвистое дерево, или женщину, сладострастно стонущую под огромным драконом с горящими глазами (глаза, кстати, горели у обоих), или вообще что-то невообразимое: мещанину шевелящихся в густой черной крови-смоле отрубленных рук, ног, голов, внутренних органов...

— Какая селезенка! — восхищенно пробормотал даос, но судья Бао не разделил его радости.

Потом все снова поглощала тьма, и притихшие путники шли дальше.

Наконец под ноги легла аккуратная желтая брусчатка. На объявившихся по бокам стенах появилась тонкая резьба, вскоре сменившаяся искусно выполненными прямо на кирпиче цветными картинами, изображавшими то Небо Тридцати Трех Подвижников и рай Будды Амитабхи, то, наоборот, муки Преисподней, урывки которых путники имели «счастье» только что лицезреть воочию.

— Мы уже в Пятом аду, — шепнул на ходу даос судье Бао. — Скоро дворец Сэньло. Теперь молчи и делай то, что я скажу.

Выездной следователь неторопливо кивнул, что, видимо, вполне удовлетворило его друга Ланя.

Еще один поворот — и перед путниками возникли огромные ворота из слоновой кости, украшенные золочеными барельефами. Судья невольно вздрогнул и поспешно дернул за рукав Железную Шапку, дабы привлечь внимание друга. Но это оказалось излишним: маг и так уже увидел то, на что хотел обратить его внимание судья.

На левой створке ворот был изображен оскалившийся зеленоглазый тигр, а на правой — огненноязыкий дракон.

Судье были хорошо знакомы оба изображения: они почти в точности повторяли те самые трупные пятна, которые и привели его сюда.

— Пришли! — громко возвестил проводник Ли Иньбу. — Это вход во дворец Сэньло владыки Янь-вана.

И, подойдя к воротам, черт-лоча громко постучал.

4

Открыли черту далеко не сразу. Поначалу он долго препирался с привратником, открывшим зарешеченный глазок и допытывавшимся: кто явился и зачем? Наконец Ли Иньбу удалось-таки убедить привратника в важности своего визита, но ворот последний так и не открыл, а отворил небольшую боковую калитку, столь искусно замаскированную, что обнаружить ее было практически невозможно.

— Как же, — злорадно буркнула певичка, косясь на черта-лоча, — разогнались... Яньло, открывай, медведь пришел!

Ли Иньбу побагровел рогами, но сделал вид, что не расслышал.

А судья Бао прикинул, что потайных ходов вроде калитки здесь должно быть еще немало.

Привратник был с головы до ног закутан в бесформенное лиловое покрывало, так что рассмотреть его толком не удалось, не считая зловещего вида алебарды в чешуйчатых руках.

— Говорят, лик его столь ужасен, что он вынужден прятать его от посетителей, и откроет себя лишь в случае, если во дворец будут ломиться враги из иных миров — тогда увидевшие его падут замертво, — прошептал Лань Даосин на ухо судье.

Выездной следователь кивнул, подумав про себя: «Интересно, какие такие враги способны напасть на дворец Владыки Преисподней?!»

— А почему ты сегодня один на часах стоишь? —

поинтересовался черт-лоча у привратника, прежде чем вести всех дальше. — Где же духи-хранители ворот? Опять приношений перебрали?!

— Очередные неприятности в Седьмом аду, — глухо прозвучал из-под одежд голос привратника. — Вот и пришлось Владыке отправить духов туда — больше никого под рукой не оказалось.

Ли Иньбу понимающе прицокнул языком — язык оказался знатный, вроде доброй лопаты, — и повел всех в глубь дворца.

Довольно долго они двигались по темным коридорам, проходили через какие-то огромные палаты, своды которых терялись в вышине; время от времени слышались лязг и скрежет чудовищных механизмов, отдаленные голоса, перекличка стражи... Судье Бао уже начало казаться, что дворец Сэньло чуть ли не больше всей остальной Преисподней, вместе взятой (хотя всей Преисподней он еще не видел и искренне надеялся, что не увидит!); время остановилось и улеглось в углу, свернувшись калачиком, остались только мерно отсчитываемые шаги, гулкие коридоры, бесчисленные повороты, залы, которым не было конца...

«Уж не сбился ли с пути наш провожатый?» — нервно подумал выездной следователь. И почти сразу же, свернув в очередной раз, вся процессия остановилась перед высокими лакированными дверями красного дерева.

— Приемная великого Янь-вана! — торжественно объявил Ли Иньбу. — Входите и преисполнитесь благоговения!

Распахнув дверь перед оторопевшими живыми и мертвыми, черт-лоча поспешно отступил назад.

Воин в залатанном доспехе выразительно посмотрел на провожатого и не торопясь первым шагнул в приемную.

Остальные последовали за ним.

Это оказалась длинная пустая зала с полом, покрытым навощенным паркетом все того же красного дерева; стены были завешаны шелковыми свитками с искусными изображениями «гор и вод», а также бамбуковых рощ и одиноких пагод. А в дальнем конце залы, имевшей не менее пятнадцати чжанов в длину и до трех чжанов в ширину, по обе стороны еще одной двери располагались два стола: слева — поменьше, справа — побольше.

За столами восседали драконы: поменьше — лазоревого цвета, с прилизанным набок гребешком; и побольше — темно-пурпурный, длинноусый и узкокрылый.

Очевидно, они выполняли обязанности секретарей Владыки Темного Приказа.

Вошедшие замялись было на пороге, но Лань Даосин

уверенно направился к драконам-секретарям, за ним поспешили судья и воин с топорами, а следом — и все остальные. Подходя, судья Бао услышал голос меньшего дракона, показавшийся выездному следователю на удивление знакомым:

— ...И тогда явился к Медяному Гао Ци-ши, что служит в Палате наказаний Второго ада, Солнечный чиновник* [Солнечный чиновник — высокопоставленное должностное лицо.] и потребовал отпустить якобы безвинно страдающую душу его брата. Только Гао Ци-ши не мог этого сделать, а потому сказал, что должен посоветоваться со...

Вот тут-то судья Бао и вспомнил, чей голос напоминает ему визгливое бормотание младшего дракона-секретаря; да и не только голос — а вся эта бесконечная нудная история, которую Бао, похоже, уже однажды имел удовольствие слышать.

«Увы, в каждой канцелярии, даже адской, есть свой сюцай Сингэ Третий!» — обреченно подумал сянъигун.

— ...посоветоваться со своим буланом, Беспощадным господином Дай Ци-чао, но Солнечный чиновник... кстати, среди этих, что только что вошли, есть двое живых, — как бы между делом заметил младший дракон. И без перерыва продолжил, трепеща гребешком:

— Так вот, Солнечный чиновник...

Явление живых в приемную Янь-вана явно не слишком взволновало лазоревого дракона. Куда больше он был заинтересован досказать старшему коллеге свою историю, не отвлекаясь на всякие досадные мелочи.

Однако старший дракон был определенно иного мнения на сей счет.

— Живые? — с несомненным интересом переспросил он, оборачиваясь к вошедшим и испытующе втягивая ноздрями воздух.

Видимо, запах подтвердил худшие опасения пурпурного.

— И вправду живые! — изумленно констатировал он, не слушая больше лазоревого и начиная выползать из-за стола, не забыв при этом звякнуть в установленный на столешнице серебряный колокольчик.

И с этого момента судья Бао перестал ожидать от судьбы чего-либо хорошего и согревающего сердце.

— Кто пропустил? — зловеще прошипел пурпурный дракон, завивая усы колечками. Ответа не последовало.

— Кто позволил живым входить во дворец Владыки Янь-вана?! — Взгляд немигающих глаз безошибочно уперся в судью и даоса.

Судья почувствовал, как мурашки бегут табунами по его телу.

— Лазутчики из мира живых во дворце Владыки Преисподней?! Взять их!

Железная Шапка уже открыл было рот, намереваясь объяснить разгневанному дракону истинную цель их визита, но тут со всех сторон, прямо из увешанных свитками стен, полезли самые разнообразные, но однообразно отвратительные чудовища, более всего напоминавшие якшей-людоедов, — заросшие белесыми волосами и облаченные в ржавые панцири, со многими копьями и секирами в руках.

Вне всяких сомнений, дворцовая стража, вызванная не в меру бдительным секретарем.

— Не давайся им, друг мой Бао! — предупреждающе крикнул Лань Даосин, с невероятной скоростью манипулируя листом плотной рисовой бумаги и миниатюрными бронзовыми ножничками, которые Железная Шапка умудрился извлечь непонятно откуда.

Но маг не успевал. Два первых якши были уже совсем рядом, один из них даже успел протянуть косматую лапу, дабы ухватить за ворот подлого лазутчика из мира живых — и тут на пути стража возник воин в залатанном панцире и с окровавленной повязкой на голове. Да, он был мертвым, да, он попал в саму Преисподнюю и надеялся на лучшее перерождение... но воин и в аду оставался воином!

Особенно если ты в свое время пал в неравном бою у Черепаховой заводи, прикрывая отход князя, а варвары-кидани после отказались есть твою печень, боясь, что их разорвет от скрывавшейся в ней храбрости.

Ну а спутники и в аду оставались спутниками.

Размытыми полукружьями сверкнули боевые топоры «шуан» — и протянувшаяся к даосу лапа, выпустившая когти-кинжалы, в мгновение ока оказалась разрублена на несколько частей. Якша в изумлении застыл, глядя на заливающую паркет черную зловонную кровь, хлещущую из вен, — а топор безымянного воина уже с хрустом врубался в основание шеи второго стражника.

В следующее мгновение от рева искалеченного якши содрогнулись стены залы. Рев этот подхватили остальные стражники и дружно бросились вперед, с яростью размахивая своим оружием. Судья заметил, что они остались втроем: он, даос и воин с топорами — остальные души, включая любимого племянника Чжуна, словно унесло порывом внезапно налетевшего ветра, отшвырнув в дальний угол залы, где они и сгрудились, со страхом наблюдая за разворачивающимся побоищем.

Железная Шапка успел в последний момент: скороговоркой пробормотав неразборчивое заклинание, он дунул на кучку бумажных фигурок, образовавшуюся у него на ладони, — и фигурки, похожие на маленьких человечков, взлетели в воздух, стремительно увеличиваясь в размерах, обретая объем и плоть, и у каждого в руках тускло блеснул цзяньгоу — обоюдоострый меч-крюк с изгибом на конце и кастетной рукоятью.

Оружие мастеров.

И «бумажная» гвардия даосского мага мигом пришла на помощь обладателю боевых топоров, схватившись с якшами дворцовой стражи. Надо заметить, дрались ожившие фигурки ничуть не хуже Крылатых Тигров, личного отряда охраны самого императора. Даос и судья оказались внутри кольца сражающихся, но, к счастью, прикрытые от врагов колдовскими защитниками. Со всех сторон слышались яростные крики, звенела сталь, время от времени на пол, заливая все вокруг своей кровью, не ставшей за это время ароматнее, валились изрубленные якши; но в горнило боя спешили все новые и новые стражники, появляясь прямиком из стен залы — и вот уж один из воинов Лань Даосина с тяжелым вздохом осел на пол, в падении превращаясь в груду бумажных обрезков, за ним — второй...

— Нам надо прорываться ко вторым дверям, — прошептал маг на ухо судье.

Воспользовавшись тем, что сражающиеся с «бумажными» противниками стражи на время забыли о них, Лань Даосин и судья Бао попытались незаметно проскользнуть к дверям, возле которых обалдело застыл пурпурный дракон (лазоревого вообще нигде не было видно). Правильно поняв их маневр, воин в залатанном доспехе поспешил следом, на ходу отбиваясь свистевшими в его руках топорами от наседавших якшей.

Они были уже почти у цели. И скорее всего успешно проскочили бы мимо впавшего в оцепенение дракона-секретаря, когда на пути у них возник здоровенный (чуть ли не в два раза выше остальных стражников) якша с поясом тайвэя — начальника стражи.

Криво ухмыльнувшись и обнажив ряд желтых клыков, якша-тайвэй не спеша занес над головой огромную шипастую палицу.

— Печать, друг мой Бао, печать! — истово выдохнул даос.

И судья, плохо соображая, что делает, шагнул вперед и с силой вдавил висевшую у него на поясе печать в самую середину необъятного живота якши.

После чего, опомнившись, проворно отскочил назад.

Палица на секунду зависла в воздухе, якша с удивлением глянул вниз — что там такое удумал этот дрянной человечишка?

— и почти сразу же прямо из потолка с оглушительным громовым раскатом ударила синяя молния о восьми зубцах, угодившая как раз туда, куда судья Бао только что приложил государственную печать.

Вот уж и впрямь: не успела просохнуть тушь...

Все произошло очень быстро: только что зубастый тайвэй стоял с занесенной над головой палицей — и вот уже обгорелая палица с грохотом катится по паркету, а на месте припечатанного якши догорает кучка дымящегося пепла.

На какое-то время в зале воцарилась полная тишина, бойцы замерли, словно окаменев, — и в этой тишине прозвучал полный ужаса вопль лазоревого дракона, прятавшегося, как оказалось, под своим столом:

— Солнечный чиновник!

— Солнечный чиновник... — бледнея, повторил старший дракон, пятясь к дверям.

Вот тут-то закрытые до сих пор двери неторопливо, с вальяжным скрипом отворились — и в проеме возник дородный мужчина с проседью в длинной косе, свисающей ниже пояса, и с усами по меньшей мере в полтора чи* [Чи — мера длины, около 32 см.] каждый. Одет он был в малиновый атласный халат, подпоясанный голубым кушаком с золотыми кистями, на голове красовалась шапка из шелка не просто тонкого, но тончайшего; однако в руках вместо полагающейся столь высокому сановнику таблички из слоновой кости мужчина держал небольшой фарфоровый чайник.

За его спиной виднелся еще один сановник: высокий, тощий, в темно-зеленом халате и в шапке кирпичиком, с чашкой в руке.

Оба имели вполне человеческий (хотя и весьма раздраженный) вид, отнюдь не походя на демонов.

— Что здесь происходит? — строго спросил дородный мужчина у пурпурного дракона-секретаря, который от страха побледнел до светло-розового цвета.

— Вот это и есть князь Преисподней Янь-ван, — шепнул Лань Даосин на ухо судье. — А позади — Владыка Восточного Пика, — добавил он, когда оба друга разом поспешили согнуться в почтительном поклоне.

Сановники потустороннего мира гневно взглянули на болтуна.

— Нам повезло, что они оба здесь, — оптимистично заметил маг, склоняясь еще ниже.

И судья Бао искренне позавидовал оптимизму своего друга.

5

— ...Итак, вы явились сюда в надежде выяснить причину удивительных безобразий, что творятся в вашем мире, — не спросил, а скорее подытожил усатый князь Янь-ван, внимательно выслушав рассказы даоса с судьей и наполнив опустевшие чашки гостей.

Судья еще с первого глотка отметил: вино у Владык выше всяких похвал — такого он не пробовал даже в Столице.

— Однако, высокочтимый Янь-ван, — склонил голову даос, устремив рыбий хвост своей шапки прямо на Князя Преисподней, — эти «удивительные безобразия», насколько позднорожденные успели заметить, творятся не только в мире живых.

— Ах, как вы правы, достопочтенный Лань! — откликнулся Владыка Восточного Пика. — Беспорядки у вас и у нас — это две стороны одной дщицы! И поверьте, мы с князем Янь-ваном не менее вас заинтересованы в прекращении подобных несуразностей!

— Неужели... неужели даже вы не всеведущи, о мои Владыки? — не удержался судья Бао.

— К сожалению, это так, высокоуважаемый сянъигун, — развел руками Янь-ван, и его усы понуро обвисли...

***

Они беседовали уже не первый час. Позади остались быстро сменившие друг друга возмущение, удивление и искренний хохот Владыки Преисподней, когда он оценил причину и результаты учиненного в его приемной побоища. Пурпурный дракон икал и сокрушался, шепча извинения на ухо Владыке Восточного Пика (заговорить с самим князем Янь-ваном ретивый секретарь все еще опасался). А его младший лазоревый коллега все ахал, изумлялся, ужасался и явно предвкушал, как будет рассказывать всему аду новую замечательную историю, очевидцем которой на этот раз был он сам, — и пусть кто-нибудь попробует не поверить!

«А ведь не поверят!» — подумалось мимоходом судье.

Геройски погибшие якши-стражники были немедленно возрождены в прежних должностях, за исключением тайвэя: оплошавший великан был смещен и отдан в подчинение новому начальнику стражи — угрюмому воину с топорами, столь

своевременно пришедшему на выручку судье и даосу. Владыки по достоинству оценили его верность спутникам и воинское мастерство; да и владелец пары топоров, похоже, остался вполне доволен своим новым назначением.

Только выездного следователя убедительно попросили не ставить больше государственных печатей на обитателей ада Фэньду.

Все складывалось чуть ли не наилучшим образом. И когда судья Бао вместе с Железной Шапкой были приглашены в личные апартаменты Владыки Темного Приказа, выездной следователь начал уже разделять оптимизм своего друга Ланя.

Как выяснилось, несколько преждевременно.

Нет, лично двум друзьям, осмелившимся нанести визит самому Князю Преисподней, сейчас и впрямь ничего не грозило, беседа текла мирно, и сами Владыки были весьма заинтересованы рассказом двух спустившихся к ним из мира живых.

Но...

Беседа беседой, но судья и даос пока что ни на шаг не приблизились к разгадке, ради которой они, собственно, и проделали весь этот трудный и опасный путь!

***

— ...Мы отнюдь не всесильны и не всеведущи, — поддержал Янь-вана Владыка Восточного Пика. — Мы даже на самом деле отнюдь не таковы, какими вы нас представляете. Поймите, доблестный сянъигун: зовя нас Владыками, вы правы — мы действительно в определенной мере властны над Преисподней и над перерождениями. Но в то же время мы служим Высшему Закону, который вы, люди, именуете Законом Кармы, Колесом Сансары, Безначальным Дао, и вся тьма названий — лишь крохотная частица этого Закона... В какой-то степени мы — лишь внешние руки этого Закона, его проявления! — Однако эти проявления в свободное время совсем не прочь приговорить чайничек-другой хорошего вина с умными и смелыми людьми, рискнувшими проделать подобное путешествие!

— Руки Закона... — задумчиво пробормотал себе под нос судья Бао. — Руки с изображениями тигра и дракона на предплечьях, которыми украшены и ворота дворца Сэньло!

— О чем это вы, высокоуважаемый сянъигун? — нахмурился Адский Князь.

— Да так, сиятельный Янь-ван, размышляю вслух. Я ведь уже упоминал о странных трупных пятнах на руках преступников. В то же время достоверно установлено, что в последней своей жизни они никак не могли заслужить эти знаки, коими украшены и ворота вашего дворца, — любопытное совпадение, не находите? Нет, я далек от намеков — я просто хочу установить связь...

— Увы, — грустно улыбнулся Янь-ван, — изображения на воротах Сэньло, о которых вы упомянули, находятся там, с момента постройки самого дворца. А он намного старше, чем, к примеру, ваша Поднебесная. Люди переняли эти символы власти существенно позже... выпейте вина, мой дорогой Бао, и успокойтесь: никаких совпадений здесь просто не может быть!

— И тем не менее это произошло, — отрезал судья.

Он сам удивился своей жесткости; но сегодняшний разговор был настолько далек от привычных способов и форм общения с правителями...

— Да, — кивнул Владыка Восточного Пика. — Я верю Господину, Поддерживающему Неустрашимость. И, думаю, нам стоит объединить усилия.

— Объединить усилия? — изумленно встопорщил усы Янь-ван, отчего стал похож на поставленный стоймя трезубец. — Друг

мой, я ценю вашу проницательность, но теряюсь в догадках: чем нам в силах помочь эти смертные, несмотря на все мое к ним уважение?

Ответить Владыка Восточного Пика не успел: раздался почтительный, но тем не менее настойчивый стук в дверь. И князь Яньло, жестом остановив уже готового возразить ему даосского Владыку, раздраженно крикнул:

— Ну, кто там еще?!

Вошедший демон походил на сухое дерево: скособоченный, словно перекрученный, с жилистыми суставчатыми руками, весь какой-то серый и снаружи вроде бы даже покрытый корой. Однако одет он был в одежды чиновника шестого ранга, причем все необходимые атрибуты были при нем — посетитель явно отличался аккуратностью.

Низко поклонившись не менее семи раз, древо-демон проскрипел:

— Я, недостойный Инь Гун-цзо, приветствую великого князя Янь-вана и Владыку Восточного Пика, да будет вечным их правление! Великодушно прошу простить, но опять куда-то пропала часть свитков с деяниями душ эпохи Юань! Потом Владыки спросят булана Шао Юня Неразборчивого, возглавляющего Шестую канцелярию: «Почему у тебя нет порядка? Почему из-за тебя мы все время получаем жалобы?!» Владыки спросят, Владыки сурово накажут булана Шао Юня Неразборчивого — и таки будут правы! А потом булан Шао Юнь Неразборчивый спросит с несчастного Инь Гун-цзо: «Куда подевались свитки? Что теперь делать с этими душами, если мы не знаем их заслуг и прегрешений? Кем они были и кем будут?!» Господин булан спросит, господин булан сурово накажет бедного Инь Гун-цзо — и он таки тоже будет прав! Все будут правы, только Инь Гун-цзо от этого не станет легче — потому что Инь Гун-цзо не трогал этих свитков: вот только что они имели место быть — и вот они уже не имеют этого места! И такое случается уже не в первый раз, смею вас уверить, великий Князь! Вот я, скудоумный, и решил лично известить вас заранее…

— Думаю, стоит взглянуть, — тихо проговорил Владыка Восточного Пика.

Князь Янь-ван кивнул и быстро поднялся на ноги.

— Вы разрешите позднорожденным сопровождать вас, высокочтимый Янь-ван? — вежливо поинтересовался судья Бао.

В Нинго уже знали: когда выездной следователь говорит таким вкрадчивым тоном — отделаться от него труднее, чем снести гору Тайшань.

— Сопровождайте! — Скорее всего Владыке Преисподней

просто не хотелось тратить время на препирательства с Солнечным чиновником.

Но даос уловил в этом «сопровождайте» легкую усмешку и обеспокоено поджал губы.

Тут же, вместо того чтобы проследовать к двери, Владыка Янь-ван в два шага очутился возле ближайшей стены и скрылся в ней; Инь Гун-цзо поспешил броситься за ним; а судья с даосом остановились в нерешительности посреди комнаты — сквозь стены не умел просачиваться даже премудрый Лань, не говоря уже о выездном следователе.

— Действительно, к чему плутать по коридорам, когда жизнь коротка и вино остывает? — философски изрек Владыка Восточного Пика, подходя к двум смертным и обнимая их за плечи. — Идемте, друзья мои, и не говорите потом, что вас плохо принимали во дворце Сэньло!

Стена надвинулась, на мгновение пространство вокруг стало серо-черным и шершавым — и стена уже осталась позади: они были в длинном, слабо освещенном коридоре. Однако по коридору идти не пришлось: Владыка Восточного Пика поспешил увлечь их за собой в следующую стену.

«К чему тогда засовы, привратник и стража, если каждый может вот так запросто... — уныло думал судья, просачиваясь между каменными блоками. — Нет, не каждый, но все-таки...»

Додумать дальше высокоуважаемый сянъигун не успел — миновав очередную стену, они прибыли на место.

***

На вид эта канцелярия ничем особо не отличалась от других: те же столы, бумаги, черепа с тушью, полки со свитками... Правда, в данный момент канцелярия пустовала — чиновники Преисподней поспешили убраться подальше, учуяв приближение разгневанного начальства.

И они таки были правы, пользуясь выражением древо-демона.

В палате находились только Владыка Темного Приказа и Инь Гун-цзо.

— Вот здесь, вот здесь они были! — причитал демон, указывая на пустое место по центру одной из полок. — Я только отвернулся, глядь — а их уже нет! Не иначе как нечистая сила!

Подобное предположение в устах несчастного Инь Гун-цзо звучало, мягко говоря, странновато, и судья Бао изумленно

приподнял бровь: кого же это в Преисподней считают «нечистой силой»?!

Но тут внимание выездного следователя привлекло некое движение на соседней полке. Мыши? Нет, не похоже... Быстро взглянув туда, судья со второго раза успел заметить, как прямо из воздуха — вернее, из темного заполочного пространства — возникли две жилистых руки, оплетенные тугой сетью вен, и принялись сноровисто перебирать лежащие на полке свитки. Судья невольно шагнул ближе — нет, ему не померещилось: на предплечьях возникших из небытия рук были хорошо видны глубоко выжженные изображения тигра и дракона!

— Это что — кто-то из ваших? — не оборачиваясь, осведомился Бао у Инь Гун-цзо.

— Где? — удивленно завертел головой демон, явно не понимая, о чем спрашивает его Солнечный чиновник.

— Да вот же! — Судья указал прямо на таинственные руки без туловища и всего остального, как раз в этот момент деловито собиравшие свитки в охапку.

— Ох! — выдохнул демон. — Бумаги!

— Какие бумаги?! Руки — видишь?! Чьи они?

Вместо ответа демон с визгом бросился вперед — но было поздно: руки не спеша, но и без лишнего промедления убрались восвояси в серый заполочный сумрак, унося с собой дюжину свитков с чьими-то судьбами.

— Свитки! Деяния! — истошно запричитал Инь Гун-цзо, больно ударившись лбом о край полки.

Судья Бао подошел к стеллажам, отстранил в сторону хнычущего демона и заглянул в опустевший проем. За полками была обычная каменная стена, без каких бы то ни было признаков дверцы или потайного хода. Судья на всякий случай потрогал стену рукой, потом постучал по ней в нескольких местах — нет, никаких скрытых пустот за стеной не наблюдалось.

Потом высокоуважаемый сянъигун обернулся и обнаружил, что все собравшиеся, затаив дыхание, наблюдают за ним.

— Вы видели? — поинтересовался выездной следователь скорее для порядка.

И впрямь: мало ли какие руки шарят в Преисподней?

Что удивительно для ничтожного Бао, то проще простого для князя Янь-вана!

— Вы видели? — повторил судья.

И был полностью обескуражен ответом.

— Нет, — покачал седеющей головой Янь-ван.

— Нет, — горбясь, очень серьезно произнес Владыка Восточного Пика.

— Ничего мы не видели! — проскулил совершенно потерявший присутствие духа Инь Гун-цзо.

— Мне кажется... я видел две призрачных руки, — медленно проговорил Лань Даосин. — Но поручиться не берусь...

— Так вы что же, ослепли? — вконец растерялся судья.

— Свитки! Они исчезли! Растворились прямо в воздухе! — стенал Инь Гун-цзо; и никто не стал его опровергать.

— А две руки?! Две жилистых руки с синими венами и изображениями тигра и дракона?! — не выдержал выездной следователь. — Они перебирали свитки, а потом сгребли их и утащили... я не знаю, куда. И сами исчезли!

— Мы ослепли, — занавесив глаза косматыми бровями, ответил Владыка Восточного Пика. — А ты — нет. Возможно, потому, что ты — Солнечный чиновник из мира живых. А мы привыкли видеть, взамен частично разучившись смотреть; даже твой друг, приобретя тайные знания, кое-что утратил — за все надо платить...

— За все надо платить, — эхом отозвался Лань Даосин.

— Теперь ты убедился, друг мой Янь-ван, что я был прав? — обратился Владыка Восточного Пика к Владыке Темного Приказа. — Солнечный чиновник и его спутник могут быть нам полезны. Тем более что у тебя в подчинении в основном канцеляристы, а высокоуважаемый сянъигун явно хорошо знает свое дело.

В последних словах крылся какой-то намек, но судья Бао не уловил — какой именно.

— Вечно ты прав, — незло проворчал Янь-ван. — Хотя хороший судья мне бы действительно не помешал. А посему я уже на всякий случай послал своего секретаря проверить их линии жизни. — Князь Преисподней лукаво усмехнулся. — Должен сообщить вам, глазастый сянъигун, что проживете вы еще достаточно долго — если, конечно, не отягчите вашу карму чем-нибудь неподобающим. И тем не менее... Предлагаю: днем вы занимаетесь своим делом в мире живых, а ночью, когда спите, — работаете здесь. Взамен: к возможностям Солнечного чиновника прибавятся возможности чиновника Темного Приказа. Поверьте, высокочтимый Бао, это немало! Итак?

Даос снова ткнул судью локтем в бок — к счастью, не попав на этот раз в больное ребро, — но выездной следователь уже и сам понял: отказываться от предложения Владыки Янь-вана нельзя.

— Согласен, — с обреченным вздохом выдавил судья, уже предчувствуя те горы адских бумаг, которые поспешат свалить на него местные крючкотворы.

— Но у нас тоже есть некоторые условия, — тотчас же

поспешил добавить даос.

— У нас? — поднял брови Янь-ван, в то время как Владыка Восточного Пика незаметно подмигнул друзьям. Теперь-то судья Бао понимал, почему Лань Даосин хотел иметь дело именно с ним!

— У нас, — ничуть не смутившись, подтвердил даос. — Ведь я взялся представлять интересы высокоуважаемого сянъигуна и намерен делать это и впредь. Так вот, за нашу помощь мы нижайше просим...

6

...Судья с трудом разлепил каменные веки.

Светало.

Рядом заворочался, приходя в себя, Лань Даосин.

И тут судья Бао разом вспомнил, где они и зачем.

Вспомнил последний разговор с Владыками перед отбытием, обещанную ему помощь — и его собственное обещание. Или все это были лишь видения, вызванные дурманными порошками, которые его друг Лань бросал в костер, открывая вход в Преисподнюю?

Судья поспешно сунул руку за пазуху. Нащупал там толстый свиток и шершавый точильный круг, которые выдал ему перед расставанием Владыка Янь-ван. Судья помнил, как пользоваться этими вещами и для чего они нужны, но искренне надеялся, что воспользоваться ими ему не придется.

Значит, все это — правда.

«Полномочий у меня теперь — даже подумать боязно! — ознобно передернулся выездной следователь. — Вот только толку от них пока...»

Судья закряхтел и поднялся на ноги.

В результате чего обнаружил, что пострадавший бок совершенно не болит.

Кострище было холодным, коробочки, мешочки и флакончики даоса в беспорядке валялись вокруг, из некоторых высыпалась часть содержимого; а тело Чжуна бесследно исчезло...

— Пожалуй, нам пора возвращаться, друг мой Бао, — услышал судья за спиной голос Железной Шапки. — А то, боюсь, отпущенный твоему слуге срок истечет, и нам придется добираться до Нинго своим ходом.

***

Действительно, когда маг и судья спустились в деревню, выяснилось, что они отсутствовали четыре дня.

На обратном пути в Нинго ничего существенного с друзьями не приключилось; разве что судья купил в одной из деревень у бывшего там, как и они, проездом птицелова по имени Мань весьма странный свиток. Свиток был исписан никому не известными значками, прочесть которые не представлялось возможным. Однако птицелов клялся, что нашел этот свиток близ монастыря у горы Сун, в окрестных скалах Бацюань, что значит «восемь кулаков» — и это сразу же насторожило судью. Сочтя свиток не меньше как тайным заветом Бодхидхармы, Мань попытался продать его монахам — но те, не разобрав ничего из написанного, вышвырнули Маня вон вместе со свитком. Тем не менее птицелов пребывал в уверенности, что свиток представляет немалую ценность — иначе зачем бы писать его тайнописью и прятать в скалах?

Судья был с ним отчасти согласен. И на всякий случай купил свиток, еще не зная, зачем он ему может понадобиться. Нутром чуял — надо.

Впрочем, это не помешало судье выторговать свиток за совершенно смешную цену.

Пошедшая на него бумага — и та, наверное, стоила дороже!

Разумеется, судья был человеком далеко не бедным, но зачем платить дорого, если вещь можно сторговать куда дешевле?! А по лицу Маня судья сразу понял — тумаки шаолиньских монахов не увеличивали стоимости находки.

***

По возвращении в Нинго судья с удивлением узнал, что на их семейном кладбище появилась свежая могила с надгробием, на котором было выбито имя его племянника Чжуна.

Однако долго удивляться у судьи не было времени: новые события последовали столь неожиданно и фатально, что на удивление уже просто не оставалось времени.

Глава шестая

— Спину ровнее!

И бамбуковая палка с треском обрушивается на многотерпеливый позвоночник Змееныша.

Он ждал этого удара. Первые этапы обучения кулачному бою в стенах обители близ горы Сун мало чем отличались от науки бабки Цай, тоже частенько подкреплявшей свои слова весомым аргументом — хлесткими и болезненными тумаками. Особо часто для этого применялась длинная курительная трубка из одеревеневшего корня ма-линь, до которой старуха Цай была большая охотница. Коленки плохо гнутся у мальчика — трубкой по ним, горбится любимый внучек в стойке «змеи, скользящей в рассветных травах» — трубка гуляет по хребту и плечам; запястья крошки недостаточно ловко поспевают за точными и молниеносными выпадами бабушки, все норовившей сунуть морщинистые пальчики то в глаз, то в самую мужскую гордость, — трубка и здесь весьма успешно объясняла непонятое.

Не раз потом вспоминал Змееныш суровую науку неласковой и язвительной бабки, не раз благодарил за язвительность да неласковость, утерев пот со лба, юношески гладкого и чистого; и всегда, где бы ни был и чем бы ни занимался, жег бумажные деньги и искренне возносил мольбы в день смерти бабушки, которую иначе как с трубкой и пред ставить-то не мог.

Своей смертью умерла покойница, тихо отошла, дома, в постели — а это в семье Цай о многом говорило.

Вот и сейчас: главной трудностью для Змееныша было не столько высидеть в стойке «лошади» положенное время, ни капли не пролив из чашек, установленных на макушке, бедрах и плечах. Сиживал, знаете ли, сиживал, и не с такими чашками, как молодые иноки, а с наполненными свеженьким, крутозаваренным чайком... ох, хорош был кипяточек, а когда остывал, то бабка новенький подливала! Главным было в точности воссоздать все те классические ошибки, которые на первых порах преследуют любого новичка: ссутулившиеся плечи, далеко ушедшие вперед колени, срывающееся дыхание или выпячивающаяся на вдохе грудь... что еще? — ах да, спина с каждой минутой все больше клонится вперед...

— Спину ровнее!

И треск бамбуковой палки.

Чем мысли занять? Тем ли, что в северных провинциях стойку «лошади» привыкли ошибочно называть стойкой «всадника»? Очень северяне обижаются, когда поправляют их, а того не

замечают, что, сядь всадник таким образом на лошадь, и жена его к себе после первой же поездки близко не подпустит! Зачем жене муж-немогуша, с отбитым об коня да седло корешком?! Пусть сам торчит в своем «всаднике» хоть от зари до зари, а к женщинам и не приближается! И лошадке, опять же, всю спину сотрет до крови... разве что посоветовать северным мастерам — пусть переименуют «всадника» в «железного всадника»! Железному все равно как сидеть...

— Спину ровнее!

И треск бамбуковой палки.

Третий слева монах не выдержал, упал, закатив глаза. Змееныш мельком покосился, придал лицу удивленно-испуганное выражение — вот сейчас и меня, упавшего от усталости, подымут пинками да усадят заново! — после чего продолжил лениво размышлять о разных мелочах. Именно такие, неторопливые и пустяковые размышления и выводили чаще всего лазутчика жизни к ясным догадкам, словно медленное течение реки — к нужной излучине. Тем более что Змееныш четко осознавал собственную уникальность, даже будучи далеким от того, чтобы заблуждаться относительно своих возможностей. Но ведь и вправду: кто еще, кроме него, в наше смутное время приходил и оставался в Шаолиньской обители, абсолютно не собираясь постичь сокровенные тайны Чань и кулачного боя? Кто не ставил задачи завоевать почетные знаки тигра и дракона; кого не интересовало продвижение по ступеням монастырской иерархии или получение звания сановника императорского двора?!

Кто становился монахом просто так, по ходу дела?! Змееныш подозревал, что никто. Во всяком случае, за последние десятилетия. И это давало ему определенные преимущества. Лазутчик жизни был в состоянии не учиться, а наблюдать; не постигать, а размышлять; не добиваться результатов, а делать выводы. Кроме того, за истекшие пять недель его монашества он уже четыре раза ходил вместе с Маленьким Арха-

Том в Лабиринт Манекенов, преследуя отрешенного от всего земного повара Фэна. И... Нет.

Сейчас Змееныш не собирался думать об этом. Стремнина этой реки пока что была слишком строптивой.

— Колени не гнуть!

Здравствуй, подруга-палка...

***

Пять недель жизни с бритой головой.

Подъем на рассвете и двухчасовая медитация под навесом без стен. Хорошо, что сейчас лето... Тело пребывает в неподвижности, но дух бодрствует. Еще бы — попробовал бы он, этот склонный к лени дух, не бодрствовать! Мигом вразумят и подтолкнут в нужном направлении, то есть к просветлению... Но вот сидение завершается, и воспрянувшие иноки дружно приступают к Вэй-дань, Внешнему эликсиру, именуемому еще «Руки Бодхидхармы». Кровь быстрее бежит по жилам, хотя сами монахи двигаются очень мало, подолгу застывая на месте в каждой из восемнадцати канонических позиций, посвященных восемнадцати архатам-подвижникам. Жилы вспухают на лбу, дыхание то шумно вырывается изо ртов, подобно морскому прибою, то еле слышно тянется тоненькой ниточкой, заметной только для опытного наставника; усталость и онемение после долгого пребывания в недвижимости уходят, уплывают, покидают иноков...

И все гуськом тянутся в Храм теплой комнаты и в Храм света и холода, по дороге поминая имя великого врачевателя древности, учителя Хуа То, заповедавшего лечить все сорок восемь видов болезней правильным образом жизни. Пар уже курится над лоханями в Храме теплой комнаты, иноки помоложе с радостью плещут горячей водой друг на друга, монахи постарше смотрят на это баловство сквозь пальцы и неторопливо омывают тело, тщательно чистят зубы щеточкой, смоченной в настое из нужных трав. Зато в Храме света и холода, где обитатели Шаолиня массируют Друг друга, молодые иноки притихнут и будут внимать наставлениям старших: какая мазь побеждает боль, а какая — утомление, почему кашица из «гусиных лапок» и луковиц нарцисса хороша для открытых ран, а для ожогов не годится...

Не брезговали и ядами.

Мало ли зачем может пригодиться в жизни умение изготовить отраву почти из чего угодно?!

И, закончив очищение плоти, шли в Зал духа.

Очищать сердце.

Джатаки-сказания о различных перерождениях Будды Шакьямуни, наставления патриарха и старших братьев; гун-ань и вэнь-да, вопросы и диалоги, внешне абсолютно бессмысленные и даже поначалу раздражающие — приходилось по сто раз давать наставнику разные ответы на заданный вопрос, а наставник хмыкал и уходил, или давал оплеуху, или тыкал пальцем в небо, или... Обыденное, мирское сознание изнывало от бессилия понять, «что есть хлопок одной ладонью» или «в чем смысл

прихода патриарха на восток», и никакие знания не могли помочь справиться с подобной задачей. Некоторые иноки не выдерживали, сходили с ума, принимаясь выкрикивать бессмыслицу или ходить по двору, не видя никого и ничего. Такое называлось «чаньской болезнью»; бывали случаи, когда больной тихо умирал в медитации, и это замечалось далеко не сразу — сидит себе и сидит, а потом выясняется, что он уже и окоченел...

Впрочем, такие случаи происходили редко — на пути к просветлению много опасностей для неискушенного, подобного слепцу на неизвестной тропке, так что опытный поводырь обязан медленно и осторожно вести незрячего к прозрению.

Куда торопиться? Этой жизни не хватит, в следующей дойдем!

Но вот патриарх покидает свое возвышение, а следом за старшими братьями и прочие монахи выходят из Зала духа.

Братии пора приступить к общему для всех уроку цюань-фа, кулачного боя, шлифуемого в обители вот уже почти тысячелетие — более чем почтенный срок. Иноки выстраиваются рядами, согласно семи рангам старшинства, а перед бритоголовыми учениками уже стоит главный наставник воинского искусства с четырьмя шифу-помощниками. Поклон, ритуальный выкрик — и до самого полудня будет только пот и труд. Не менее трех лет упорного овладевания наукой мудрых шифу, искушенных в любых способах членовредительства и убийства ближнего своего, понадобится новичку, чтобы главный наставник снисходительно улыбнулся и вручил достойному веревку для опоясывания. Теперь у «подпоясавшегося» монаха будет только одна привилегия: заниматься в десять раз больше, даже не заикаясь о снисхождении.

Терпи, сэн-бин, монах-воитель... и помни: истинному человеку Будды запрещено носить оружие и убивать, но в умелых руках и палочки для еды — оружие, а для прозревшего сердца и меч подобен кисти для каллиграфии! Что же касается насилия, то напавший на монаха-подвижника недостоин имени человека, и творящий зло покушается не на жизнь, чужую — на гармонию мира покушается он! Вот гармония эта и обрывает нелепую жизнь злоумышленника святыми руками со знаком тигра и дракона! Глядишь, в следующем перерождении зачтется глупцу, что был он убит достойным архатом...

Пот и труд, и суровость наставника.

Ровно в полдень — трапеза.

Чай и злаки вместо горячительных напитков и мяса; рис, соя и кунжут, травы и коренья, молодые побеги бамбука и дикая капустка — хвала повару Фэну, хвала его искусству,

позволяющему, несмотря на запреты и ограничения, ощутить в утробе рай Будды Амитабхи!

И после трапезы — один час для отдыха.

Всего один, невозможно короткий час.

В первый же день монашества Маленький Архат незаметно подсказал Змеенышу, задержавшись на миг около Цая и шепнув, ни к кому вроде бы конкретно не обращаясь:

— Новички не отдыхают. Как правило, первым делом они идут осматривать оружейную...

И Змееныш покорно двинулся осматривать Большой Зал Оружия.

Да, в этом арсенале хватало всякого добра, чтобы пять раз вооружить до зубов всех монахов, невзирая на ранги старшинства, а потом еще трижды снабдить вооружением слуг с домочадцами. Молодые иноки как завороженные переходили из палаты в палату, время от времени поднимая какую-нибудь алебарду-юэ или боевой клевец, геройски размахивали кривыми мечами-дао и прямыми клинками-цзянь, недоуменно вертели в руках диски с прорезями или боевые кольца совершенно странной конструкции...

Час пролетал подобно мигу.

И вновь наступал черед воинского искусства, но уже не общий для всей братии: отдельно строились новички, отдельно — «опоясанные веревкой», отдельно от тех и других — знатоки-шифу, хранители секретов и умений.

И — что сразу заинтересовало Змееныша — в отличие от мирских школ и школ иных обителей, здесь никогда не допускали свободного поединка (пусть даже и учебного, пусть по договоренности!), если монах-воин провел в усердных занятиях менее трех лет.

До того — нет тебе соперника, нет тебе помощника!

Сам трудись!

Воистину:

Пока готовится рука
Для ноши кулака —
Пройдет снаружи год иль два,
В душе пройдут века!

— Спину ровнее!

И треск бамбуковой палки.

...Змееныш пятую неделю смотрел и размышлял, поглаживая бритую макушку. Он видел невероятно богатую обитель, обладавшую собственными землями, которые обрабатывали тысячи крестьян; имевшую филиалы по всей Поднебесной, включая даже государство вьетов и Страну Утренней Свежести; Шаолиню подчинялись четыре окрестных монастыря — Ба Ми-сы, Ен Дай-сы, Хуэй Сань-сы и Бай Лоу-сы — подобно тому, как феодалы-хоу и князья-ваны подчиняются Сыну Неба, и да простят нас за рискованное сравнение!.. А вдоль стены внешних укреплений благочестивой обители близ горы Сун постоянно дежурили стражи.

Скорее это напоминало Училище Сынов Отечества или Академию Ханьлинь, привилегированнейшие учебные заведения Северной Столицы; если только влиятельность Сынов Отечества и славу мужей-ханьлиней увеличить десятикратно.

И все равно над обителью, превратившейся в колыбель чиновников тайной службы, стояла уже изрядно потускневшая и развеянная северным ветром, но еще достаточно грозная тень Пути Дамо, Бородатого Варвара, заложившего основы нынешних славы и влияния.

Чего хотел великий Бодхидхарма?!

Неужели — всего лишь процветания?!

2

— Сегодня ночью наш друг Фэн опять пойдет в Лабиринт, — негромко бросил Маленький Архат, шаркая сандалиями по сухой опавшей хвое.

Змееныш Цай не ответил.

Лазутчик жизни никогда не жаловался на память. Он способен был с одного прочтения запомнить наизусть свиток длиной в два чи, слово в слово повторить единожды услышанное донесение, опознать мельком виденную птицу в шумной говорливой стае, но понять связь меж теми внешне бессмысленными причинами, на основе которых Маленький Архат предугадывал грядущий поход повара в Лабиринт, было выше его сил.

— Как ты догадался? — спрашивал поначалу Змееныш.

И Маленький Архат начинал обстоятельно излагать, что если на рассвете было пасмурно, но к полудню распогодилось; если у главного воинского наставника пробивалась привычка

ежеминутно чесать кончик носа, а у занимающегося с новичками шифу — привычка отрываться на учениках чаще обычного; если к патриарху приезжали важные гости из внешнего мира, но, в свою очередь, если повар Фэн с утра не менее двух раз вносил изменения в записи на своем деревянном диске, то гости из внешнего мира не так важны, зато рассветная облачность становится почти обязательной, а главный воинский наставник при этом может прийти к новичкам с целью лично проверить успехи, но может послать кого-нибудь из помощников, и тогда уродливый повар непременно притащится тоже, будет стоять, смотреть и в конце сотрет на диске всего один знак, хотя ничего взамен не напишет; впрочем, если в Зале духа при этом патриарх заговорит о монахах-воителях, способствовавших изгнанию монголов...

В конце концов Змееныш, даже честно запомнив весь ворох причин, напрочь терялся и предпочитал изменить тему разговора.

Малыш в рясе иногда казался ему небожителем, олицетворением ледяной нечеловеческой рассудительности; иногда — запертым в тюрьму детского тела преступником, ожидающим очередного пятидневного* [Каждые пять дней, согласно правилам ведения следствия, несознавшемуся преступнику усиливали степень пыток.] приказа об усилении пыток; иногда — просто ребенком.

Последнее случалось редко.

Солнце пригревало, пахло смолой и цветущим сафлором, в кустах гордо свиристела невзрачная пичуга, считавшая себя по меньшей мере близкой родственницей огненной птицы фэнхуан; час отдыха подходил к концу, и оба — Змееныш и Маленький Архат, — не сговариваясь, двинулись прочь из сосновой рощи.

В просвете между ближайшими стволами мелькнула чья-то фигура, и вскоре монах лет тридцати с небольшим подбежал к ним.

— Как играть на железной флейте, не имеющей отверстий?! — брызжа слюной, торопливо спросил он у Змееныша.

Лицо монаха, интересующегося флейтой, напоминало яблоко, давно выедаемое изнутри прожорливым червем.

— Понятия не имею, — честно признался Змееныш.

— Не имею, — забормотал монах, — не имею... не имею понятия... не имею!

Он захлопал в ладоши, запрыгал на месте, потом низко-низко поклонился Змеенышу и побежал прочь.

— Не имею! — выкрикивал он на ходу хриплым, сорванным голосом. — Не имею!..

— Близок к просветлению, — без тени усмешки сказал

Маленький Архат, прикусывая очередную сорванную травинку. — Вся логика подохла, одни хвосты остались. Подберет их — станет Буддой.

Змееныш знал, что его спутник не шутит.

Он только не знал, что означает странное слово «логика».

— А что, — неожиданно для самого себя поинтересовался лазутчик, — монахов, сдающих выпускные экзамены, так прямо берут и засовывают в Лабиринт? Сразу?

— Как же, — звонко расхохотался малыш-инок, — сразу! Берут за ворот и кидают! Сперва монаха-экзаменующегося пытают с усердием...

— Пытают? — не понял Змееныш.

— Ну, вопросы задают. Садится патриарх со старшими вероучителями и давай спрашивать: кто такой Будда, чем «великая колесница» отличается от «малой», почем нынче лотосы в пруду...

У Змееныша возникло неприятное ощущение, что Маленький Архат над ним издевается.

— ...И никогда заранее неизвестно: что лучше — отвечать, или помалкивать, или вообще сыграть на железной флейте без отверстий! Удовлетворится патриарх, кивнут наставники, и ведут тогда монаха в Палату грусти и радости... сказки слушать.

Ощущение издевательства окрепло и разрослось.

— ...Сидит монах и слушает, а ему то историю о бедной Лицзы расскажут, то анекдот о «новом китайце из Хэбея»! И если наш друг-испытуемый хоть раз засмеется или пустит слезу — гонят его взашей, до следующей переэкзаменовки! Ну а если выдержит — идет сперва в Палату мощи, где рубит руками гальку и черепицы, камни таскает и всякое такое... после в Палате отмщения с братией машется: с голыми руками против четверых невооруженных, с посохом — против восьми с оружием, с деревянной скамейкой против наставников-шифу, и, наконец, если экзамены сдают двое — один на один со своим же братом экзаменующимся! Говорят, что после этого оставшийся неделю залечивает раны, а потом идет в Лабиринт...

И Змееныш нутром почувствовал: правду говорит малыш-инок, а что ерничает, так это от страха.

Себя на месте монаха представляет.

Маленький Архат вдруг побежал вперед, так же неожиданно остановился и трижды нанес в воздух удар «падающего кулака», который вот уже больше недели получался у него из рук вон плохо, вызывая негодование наставника-шифу.

«Падающий кулак» и на этот раз вызвал бы такое же негодование, окажись требовательный наставник под боком.

Змееныш воровато огляделся, подошел к мальчишке и быстро поставил ему на место поднятое вверх плечо. Наткнись Маленький Архат на реальное препятствие — его собственный удар скорее вывихнул бы монаху-ребенку плечевой сустав, чем причинил бы вред кому-нибудь,

— Понял? — только и спросил Змееныш.

Лицо Маленького Архата осветилось каким-то совершенно детским интересом и восхищением; лазутчик еще подумал, что уж чего-чего, а проявлений ребячества он не ожидал от своего вынужденного союзника, несмотря на нежный возраст последнего.

Хотя Цаю доводилось видеть подобный свет и на лицах взрослых людей: так смотрят не умеющие петь на уличного сказителя с цином в руках или не способные ходить на бегуна-скорохода.

Так смотрят лишенные на обладающих.

Воображая себя на их месте.

— Слушай, Змееныш, — тихо спросил Маленький Архат, виляя взглядом, как собака хвостом, — ты ведь... ну, я раньше никогда не заговаривал с тобой о твоей жизни — понимаю, что ты все равно ничего не расскажешь, а и расскажешь, так соврешь! Ты не думай, я не обижаюсь... но ведь ты должен уметь драться не хуже любого из местных громил! А на занятиях гляну в твою сторону — ну оболтус оболтусом! Что ж это получается, Змееныш?!

Цай еще раз огляделся — нет, поблизости и впрямь никого не было, — потом мигом припал на колено и ткнул мальчишку в бедро сложенными щепотью пальцами. Тычок вышел несильный, боли не причинил, и Маленький Архат удивленно глянул на лазутчика жизни, поднял густые брови домиком, хотел что-то спросить...

Не спросил.

Рухнул плашмя, лицом вперед, как подрубленная сосна — ноги куда-то исчезли, словно и не бывало, и стоял непонятно на чем, и родился без ног, и жизнь без них прожил!

В последний миг Змееныш придержал мальчишку, иначе тот непременно расшиб бы себе все лицо.

Погладил по вихрастому затылку и несильно нажал где-то у основания черепа.

Раз нажал, два, три...

Маленький Архат полежал-полежал, пошевелил пальцами ног — сандалии свалились с него во время падения — и опасливо поднялся;

Понимание заливало его льдистые глаза весенним разливом.

— А... их? — Он махнул рукой в сторону монастырских построек. — Их так можешь?

— Их не могу, — усмехнулся Змееныш. — Вернее — многих не могу.

— Но почему?! Это же так легко! Ткнул пальцем — и победа!

Иногда Маленький Архат, этот святой насмешник с телом ребенка и характером склочного отшельника, вызывал у Змееныша чуть ли не отеческие чувства.

— Потому что они не дадут. Чтобы искусство сюда-фа* [Сюда-фа — искусство «медленной смерти» или «убийственного касания».] проявлялось в полной мере, удар надо наносить в определенное место, с точным расчетом силы в зависимости от возраста, телосложения и здоровья противника, в нужное время суток и так далее. Но опытный боец, прошедший многолетнюю школу такого уровня, как здешняя, не подпустит меня к себе, а даже если и подпустит, не позволит ударить как надо и куда надо. И буду я подобен лекарю, вышедшему с сонным снадобьем на тигра. Выпьет тигр — заснет, да только пить он не захочет. А заставить тигра проглотить снадобье у лекаря сил нет. Поверь, самое изящное — не всегда самое полезное. И упаси меня Яшмовый Владыка пробовать мое умение, к примеру, на главном наставнике. Думаю, он сумеет превратить мою смерть в достойное поучение для своих подопечных...

Маленький Архат кивнул, уже явно думая о чем-то своем. Змееныш проследил направление взгляда своего спутника и понял, что монах-ребенок глядит в сторону восточной стены, туда, где располагался парадный вход в монастырь. За время пребывания Змееныша в стенах обители эти ворота не открывались ни разу, и он привык смотреть на них, как смотрят скорее на непроходимое препятствие или часть стены, чем как на вход-выход для живых людей.

И, конечно же, не увлекись Цай объяснением (лазутчик мысленно сделал себе выговор), он обязательно обратил бы внимание на непривычную суматоху близ парадного входа.

На высокой воротной башне, украшенной белой табличкой с золотыми иероглифами, стояло два — а не один, как всегда, — стражника, что-то кричавших своим собратьям внизу; от западного крыла, со стороны патриарших покоев, приближалась процессия из пяти-семи пожилых монахов, среди которых... среди которых Змееныш сразу узнал сухощавую фигуру самого патриарха и идущего рядом с ним главного воинского наставника; огромный дубовый брус, окованный медью и служивший засовом, медленно пополз из пазов, лег на землю около ворот — и створки парадного входа начали со скрипом

отворяться.

После чего некоторое время ничего не происходило.

И наконец в ворота вошел человек.

Один-единственный.

Через мгновение его ярко-оранжевая кашья, такая же, как и рясы остальных иерархов, включая патриарха и главного наставника, влилась в идущую навстречу процессию — словно ручеек в полноводную реку.

И монахи неспешно двинулись обратно, к патриаршим покоям.

Пух цветущих ханчжоуских ив, высаженных за стеной, несся по их следам подобно облаку, на каких любят раскатывать небожители.

— Это кто-то из «тигров и драконов», — уверенно заявил Маленький Архат. — Их всегда впускают через эту дверь.

Змееныш не ответил.

Он стоял, хмурясь, и смотрел вслед почетному гостю, явившемуся в обитель.

Если лазутчик жизни видел кого-либо хотя бы раз, то уже не забывал никогда.

А преподобного Баня, монаха из свиты Чжоу-вана, приставленного к кровнородственному принцу тайной службой всемогущего Чжан Во, Змееныш Цай видел не раз.

Короткий час отдыха закончился.

3

...И тьма Лабиринта Манекенов поглотила их.

Маленький Архат шел босиком, почти беззвучно, и идущий следом Змееныш мельком подумал, что из ребенка мог бы получиться неплохой лазутчик — попади он в хорошие руки. При этом Цая не оставляла удивительная мысль, что Маленький Архат скорее играет в какую-то игру, правила которой придумал сам для себя, чем реально рискует жизнью, окунаясь в грозящую сотнями опасностей темень.

Не впервые они были здесь; кроме того, Змееныш неплохо видел в темноте, что давало ему неоспоримые преимущества. Но до сих пор он не уставал поражаться умению монаха-ребенка наблюдать, сопоставлять и делать выводы, основываясь на тысячах незаметных мелочей.

Впрочем, когда они знакомились, то есть когда лазутчик

выволакивал из Лабиринта бесчувственного монашка, Маленький Архат все-таки умудрился про колоться, решив, что знает все о первых пятидесяти саженях Лабиринта. В результате чего и получил по башке неожиданно упавшим камнем. К счастью, камень пришелся вскользь, только оглушив, а иначе врядли довелось бы лазутчику шляться по Лабиринту Манекенов в компании монаха-ребенка.

Теперь же присутствие Змееныша с его весьма своеобразным, но крайне полезным в данном случае опытом, значительно ускорило изучение Лабиринта Маленьким Архатом.

Земляные стены сочились влагой, от сырости и тяжелого духа подземелий перехватывало дыхание, между ног то и дело шуршали наглые сытые крысы, чувствовавшие себя здесь как дома. Да они и были дома, равно как и чешуйчатые ящерицы, мотавшиеся прямо по стенам с поразительной для этих животных скоростью; ноги скользили по глинобитному полу, но Змееныш по-прежнему ступал след в след за Маленьким Архатом, настороженно внимая темноте.

Поворот.

Еще один поворот.

По левую руку вроде бы начинает мерцать зыбкое, неуверенное сияние, но туда ходить нельзя, там тупик, там ложь и обман для робких, и об этом Маленький Архат уже успел предупредить в свое время. Холод забирается под одежду, шарит там сотнями обжигающих пальцев, леденит кровь, вынуждая идти быстрее, только быстрее идти никак нельзя, и даже не потому, что где-то впереди бесшумно движется уродливый повар Фэн, преподобный безумец с деревянным диском под мышкой...

Просто впереди, ровно в двухстах пятидесяти трех с половиной шагах от двери в Лабиринт, начинается колодец.

Который в обители прозвали «купелью мрака».

Двое людей, один из которых маленький, да и второй не очень-то большой, останавливаются. Одновременно. Сдвигаются вправо: на один чи, на два... на два с четвертью. И присаживаются на корточки. Нет, сперва меняются местами — тот, что побольше, становится первым, а маленький кладет правую руку на плечо своему спутнику — как слепец верному поводырю. И вот так, на корточках, держась один за другого и ступая скорее на кончиках пальцев, чем всей ступ-

Ней, они движутся вплотную к стене. Шаг в шаг. Шаг в шаг. Шаг...

Идти в полный рост нельзя — на середине пути в стене торчит бритвенно острое лезвие, как раз на уровне горла взрослого человека. А невзрослому человеку вроде маленького

этот подарок темноты вполне может искромсать лицо или лишить глаза.

Шаг в шаг.

Шаг в шаг.

На корточках.

С рукой на плече,

На кончиках пальцев.

И с прямой спиной — потому что сгорбившегося или наклонившегося вперед ждет пропасть, разверзшаяся по левую руку; «купель мрака», из которой тянет мертвечиной, словно спящие там скелеты неудачников медленно пробуждаются и радостно потирают костяные ладони в предвкушении прихода гостей.

Будет о чем поговорить в долгие годы ожидания, когда сверху только и происходит, что мелькает силуэт с диском под мышкой!..

Верно сказано:

И ясному солнцу,
И светлой луне
В мире
Покоя нет.
И люди
Не могут жить в тишине,
А жить им
Немного лет.

Но вот дыхание смерти отдаляется, можно сперва выпрямиться, потом снять руку с плеча... однако останавливаться нельзя, потому что сегодня непременно надо пройти мимо падающего наискось камня, скатывающегося по невидимому желобу, затем остановиться точно перед натянутым поперек прохода шнурком, взять горсть земли и швырнуть в шелковую преграду — если попадешь точно в центр, то за шнурком обрушится сверху сучковатое бревно, а если земля толкнет шнурок слева или справа, то поначалу не будет ничего, а потом, через два долгих-долгих вздоха, вдоль шнура скользнет копье и, подобно растревоженной змее, исчезнет в своей норе.

А еще надо обойти три сети и один капкан-западню.

Причем успеть избежать последней ловушки до того, как повар Фэн уйдет слишком далеко. За капканом начинается незнакомая территория, а Маленькому Архату непременно надо

понять, что делает уродливый повар в стремлении избегнуть неведомых опасностей.

Или хотя бы каким образом он их преодолевает.

Змееныш будет смотреть, а малыш в рясе — запоминать, сопоставлять и думать.

Может быть, в следующий раз они пройдут дальше.

И игра со смертью продолжится.

Ползи, Змееныш!..

***

На обратном пути Маленький Архат был счастлив — ему удалось выяснить, что после западни коридор светлеет, и дальше он может полагаться не только на слух и чутье, а также на ночное зрение Змееныша Цая, но и на собственные глаза.

Поэтому, просто брызжа радостью, он был весьма удивлен, когда крепкая пятерня лазутчика запечатала ему рот. Одновременно с этим Цай прижал мальчишку к себе, не давая шевельнуться.

Только чуткие уши лазутчика жизни могли уловить звук чьих-то шагов снаружи, по ту сторону от слегка приоткрытой двери в Лабиринт Манекенов.

Таинственный незнакомец постоял у самого входа, зачем-то ковырнул ногтем стену — Змееныш отчетливо слышал его дыхание, ровное, безмятежное, преисполненное спокойствия и уверенности — и негромко рассмеялся.

— Опять старый Фэн шалит, — прозвучал низкий, слегка рокочущий голос. — Ну что ж...

И шаги двинулись в обратном направлении.

А в глубине Лабиринта Манекенов уже раздавался сухой отчетливый треск — уродливый повар дошел наконец до деревянных воинов...

4

Солнце припекало вовсю, и Змееныш уже успел изрядно взмокнуть, в сотый раз повторяя неизвестные ему ранее и весьма утомительные «шаги хромого Аня», когда прямо перед ним на

утоптанный песок заднего двора упало несколько теней.

Сегодня новичков заставили отрабатывать пройденный урок самостоятельно, учитель-шифу куда-то ушел еще час назад, да и сам Змееныш Цай неожиданно увлекся новым для себя способом боевого перемещения и поэтому остановился не сразу. Прыгнул влево, вправо, отшагнул скособочившись, словно и впрямь был хромым — а уже после этого замер, тяжело дыша.

Последнее далось ему легко.

Перед Змеенышем Цаем стоял патриарх Шаолиня. Сухопарый высокий старик с реденькой бородкой, росшей на самом краешке выпяченного подбородка, чуть-чуть сутуловатый и оттого напоминающий высматривающего зазевавшуюся жабу журавля.

Взгляд патриарха не выражал ничего, кроме легкой заинтересованности — если можно себе представить почти абсолютно равнодушную заинтересованность.

Выходило, что можно.

За патриархом стояли двое: главный наставник воинского искусства, человек гигантского роста и соответствующего телосложения, любивший сражаться одновременно алебардой и короткой секирой; и худой, почти хрупкий, но при этом невероятно жилистый монах лет пятидесяти.

Почетный гость, перед которым открывали парадный вход.

Преподобный Бань.

— Вы уверены, достойный Бань, — патриарх говорил так, словно Змееныш и не находился рядом, а был где-нибудь за тысячу ли от монастырского двора, — что именно сей юный инок должен сопровождать вас в Столицу?

— А почему бы и нет, отец-вероучитель? — пожал узкими плечами преподобный Бань. — Или у вас есть сомнения на этот счет?

Главный воинский наставник нетерпеливо затоптался на месте.

— Если досточтимый Бань прикажет, — заявил он, — я пошлю сопровождать его кого-либо из своих старших помощников. Мне кажется, именно они достойны проводить человека, облеченного высочайшим доверием, до ворот Северной Столицы!

— Вы полагаете, я нуждаюсь в охране? — спросил человек, облеченный высочайшим доверием, таким тоном, что у главного наставника разом пропала охота предлагать что бы то ни было.

Во всяком случае, у скромно потупившегося Змееныша возникло именно такое впечатление.

Лазутчик жизни метнул от самой земли короткий и острый взгляд, подобно броску ножа, — и взгляд разбился вдребезги,

налетев на лицо преподобного Баня. Лицо это состояло из сплошных выступов, впадин и нагромождений, подобно тем скалам, через которые упрямо пробирался Змееныш Цай на пути к монастырю; и приветливо мерцавшие угольно-черные глаза не могли ввести в заблуждение лазутчика.

В трясине этих глаз было весьма просто утонуть.

— Не будь вы так заняты на службе Сыну Неба, — с улыбкой добавил патриарх, оглаживая бородку, — и согласись вы задержаться в обители хотя бы на год, я думаю, что наставник Лю был бы счастлив вашему присутствию на занятиях братии. Мы еще не забыли ваших выпускных экзаменов, когда вы более часа продержались с деревянной скамейкой в руках против десяти вооруженных братьев. Наставник Лю не раз говаривал в моем присутствии, что преподобный Бань — единственный, кому он доверил бы руководство обучением иноков.

Наставник Лю смущенным кивком, так не вязавшимся с его грозным обликом, подтвердил сказанное.

А Змееныш внимал этому крайне вежливому разговору с замирающим сердцем. Никогда ранее не слышав, каким голосом разговаривает преподобный Бань, лазутчик тем не менее сразу узнал этот рокот, это низкое звучание, напоминающее ворчание дремлющего тигра.

Нынешней ночью он уже слышал, как этот голос произнес:

— Опять старый Фэн шалит. Ну что ж...

И удаляющийся смех.

Оказывается, именно монах из тайной канцелярии стоял у двери в Лабиринт Манекенов, но почему-то не вошел — не вошел туда, где уже однажды побывал, вынеся почетное клеймо на обеих руках! Тогда зачем в подвале он заговорил про Фэна? Просто так, беседуя сам с собой — или сознательно желая, чтобы его услышали?!

Кто?

Вернее, кому предназначалось сказанное, если оно и впрямь кому-то предназначалось?!

И случайно ли это появление трех высших иерархов перед ничего не смыслящим новичком?

Опять же — сопровождать в Бэйцзин, Северную Столицу...

— И все-таки я не понимаю, — спокойно продолжил патриарх, — вашего выбора, достойный Бань.Не берусь судить, но и понять не в силах. Тогда, когда любой из братьев будет горд сопровождать вас, вы говорите, чтобы я отправил с вами самого юного — не возрастом, но временем монашества — инока, не успевшего постичь основы учения Чань и не способного выстоять нужное время в любой из двенадцати канонических стоек! Или

замысел ваш столь сложен, что суть его выскальзывает из моих слабых пальцев, или... Развейте мои сомнения, достойный Бань!

Преподобный Бань легко шагнул вперед — Змееныш поразился мягкости его шага — и столь же легко потрепал лазутчика жизни по потному плечу.

— Мне нужен самый безобидный из монахов, отец-учитель, — весело сказал он. — Самый-самый безобидный. И мне кажется, что для этой роли наилучшим образом подходит именно тот инок, который совсем недавно сложил с себя звание кандидата. А что касается обучения — в дороге я сам, лично займусь с ним всем, чем положено! Как ваше просвещенное мнение, отец-вероучитель и наставник Лю: сумею ли я, скудоумный, просветить сего юношу в азах Учения и кулачного боя?

И Змееныш понял, что сейчас все молодые иноки на площадке смотрят на него с плохо скрываемой завистью.

***

Патриарх, главный воинский наставник и преподобный Бань уже уходили, а лазутчик все смотрел им вслед, и вернувшийся шифу не прерывал его задумчивости. Видимо, понимал: после такого у любого, даже более зрелого монаха способна закружиться голова.

Голова Змееныша и впрямь кружилась, но совсем от другого.

Меньше всего ему хотелось сейчас покидать монастырь, куда он с таким трудом попал, и отправляться в Северную Столицу вместе с преподобным Банем, монахом из тайной службы.

Опять же: что имел в виду почетный гость, говоря о самом безобидном иноке?

Только то, что хотел подчеркнуть?

5

К вечеру Змеенышу вручили патру, кружку для сбора подаяний с выжженным на боку знаком Шаолиня — официальное разрешение на время покинуть обитель в связи с выполнением некоего задания.

Расследование, равно как и походы в Лабиринт Манекенов,

где, по мнению Змееныша, и крылся корень всех тайн, откладывалось на неопределенный срок.

И Змееныш сделал то, за что судья Бао должен был бы приказать казнить его путем расчленения на деревянном осле.

Он рассказал Маленькому Архату все, касающееся порученного ему дела, и почти все, касающееся его самого.

Малыш-инок выслушал не перебивая, зачем-то взял правую ладонь Змееныша и крепко сжал ее обеими руками.

— Я буду искать, Змееныш, — только и ответил Маленький Архат.

И лед в его глазах затвердел.

МЕЖДУГЛАВЬЕ

Свиток, найденный птицеловом Манем в тайнике у западных скал Бацюань

...Так хреново мне уже давно не было. То есть, конечно, я болел, и не раз, и неприятности у меня бывали всякие, включая осколок за ухом, который, собственно, и привел меня сюда. Но чтоб вот так, все сразу!.. Дело явно шло к тому, что второй осколок или его местный аналог не заставит себя долго ждать: слишком уж много навалилось, чтобы это могло сойти за простую случайность.

Однако по порядку.

Сначала заболел я. Вернее, мы — вместе с моим маленьким музыкантом. Брюхо пучило без перерыва, нас рвало черной желчью, все тело ломило и кидало попеременно, в жар, в холод; ощущение было такое, что мы больны всеми известными болезнями, включая родильную горячку и воду в колене, а также десятком неизвестных.

От такого, наверное, умирают.

Но мы выжили.

Потому что слепой старец-гадатель — в то время еще бодрый — начал деятельно заботиться о своих ходячих глазах в нашем лице, чего раньше за ним особо не водилось. Еще бы: я и мой мальчик теперь серьезно подорожали, и доходы гадателя за последнее время резко возросли.

К нам был вызван лекарь из потомственной семьи врачевателей, отправивших на тот свет немало китайцев, учитывая плодовитость последних. На лекаря старик не пожалел денег — и лекарь честно старался их отработать. Какой только

дрянью он нас не поил! А также растирал, колол иголками, обкуривал пахучей мерзостью, весьма смахивавшей на анашу...

К моему удивлению, мы выжили.

И тут свалился старик, — видимо, подхватил что-то из нашего букета.

Этого ему хватило: хотя мы истратили на того же лекаря последние ляны, слепец-гадатель не протянул и недели.

На похороны денег у нас не осталось — как, впрочем, и на пропитание, — и мы с моим мальчиком, едва оправившись от болезни и с трудом передвигая ноги, принялись зарабатывать игрой и пением старику на гроб и себе на чашку супа.

Дважды нас били местные мальчишки и отбирали всю выручку. Мы отбивались как могли, но силы были слишком неравны.

А потом я понял, что я и мой мальчик сходим с ума.

Оба.

Конечно, два сознания в одной голове — это уже сумасшествие, раздвоение личности, шизофрения, — но до сих пор мы как-то уживались. А сейчас вдруг ни с того ни с сего начали ссориться из-за всякой ерунды, иногда замолкая прямо посреди словесной или музыкальной фразы или застывая поперек улицы — из-за чего разок чуть не попали под вывернувшую из-за угла повозку. В такие моменты я ощущал жар, словно возвращалась недавно отступившая болезнь, мысли путались, наслаиваясь друг на друга, все тело снова начинало ныть, раздираемое на части двумя хозяевами...

К тому времени я уже знал, что это такое.

«Безумие Будды».

Когда в одном теле поселяется сразу несколько личностей, рвущих носителя на части.

Подобные безумцы жили месяц — от силы два.

Это при нормальном уходе за телом и под присмотром убитой горем родни.

А тут — какой уж тут уход и присмотр!

Однако помирать не тянуло. Не успел обосноваться в новом теле — и снова? Дудки! Может, это перерождение — и не самое лучшее, но от добра добра не ищут: ведь то, что у меня полностью сохранилась моя личность, — это же редкая удача. Которой я скорее всего обязан какому-то сбою в «кармическом компьютере» — и сейчас Система явно стремится этот сбой ликвидировать, отправив меня обратно в небытие!

При этом мало интересуясь моим мнением, а также мнением моего адвоката.

Что ж, придется сыграть в эдакую логическую суперигру,

ставка в которой — моя душа.

Я — против взбесившегося Закона Кармы. Круто!

Но не безнадежно.

***

Итак, в «кармическом компьютере», который ведает системой перерождений (убедился на собственном опыте!), завелся некий вирус. Кто это или что — пока не важно, но результаты деятельности этого мерзавца налицо: эпидемия «Безумия Будды», восставшие из могил мертвецы (ну и пакость, глаза б не глядели!), оборотни, и еще всякая лабуда в виде разнообразной местной чертовщины. Очень напоминает частичное перемешивание фат-таблицы каким-нибудь зловредным вирусом: было у меня пару раз такое — и врагу не пожелаю! Половину файлов на диске вообще не найдешь, а те, что находишь — умом трехнулись: то кусок «отгрызен», то, наоборот, три файла в один слиплись, то внутри одного фрагменты другого колом торчат...

В общем, родное и до боли знакомое.

Ну а если эта радость подцепилась к Закону Кармы? Тогда как раз и получается, что при поисках нужных записей Система то и дело ошибается, считывает не те файлы и кидает их не туда, куда надо. Налево кинуло — зомби, направо — «безумец Будды»; прямо легло — бес замену себе ищет.

Выходит, я и мой мальчик — и есть такой запорченный, «перемешанный файл».

Но, с другой стороны, почему это «безумцы Будды», в голове которых угнездилось несколько сознаний, быстро дохнут? Вон обычные шизофреники — живут себе преспокойно со своим раздвоением-растроением личности, и ничего им не делается! До глубокой старости родственникам и психиатрам головы морочат! А тут месяц-другой — и на кладбище!

Почему?

Три классических вопроса: что происходит, кто виноват и что делать?

А потому, что любой нормальный комп время от времени гоняют тестами, антивирусами, «лечат» запорченные файлы, оптимизируют хард-диски и т. п.! Не знаю, как насчет антивирусов, а вот тест-программы в этом «кармическом компьютере» определенно имеются. И они исправно выявляют запорченные файлы, — в частности, всяческих «зомбей» и

«безумцев Будды», вроде нас, начиная их «лечить». От жизни лечить.

Ничего себе задачка для меня и моего мальчика — выйти из-под действия Закона Кармы!

Вопрос: на кого Закон Кармы не действует?

Ответ: на тех, кто вышел за колесо Сансары* [Сансара — реальное бытие, «суетный мир», в отличие от лишенной вещественности Нирваны.] (то есть на Будд и бодисатв всех мастей, а также на приобщившихся к Истинному Дао). И заодно на тех, кто не совершает кармообразующих поступков, не переделывает мир в соответствии со своими страстями и на практике придерживается философии недеяния. В общем, просветленные — напрямую подключающиеся в Систему и хотя бы отчасти сливающиеся с ней. Последнее нам пока не светит — скорее дуба дадим.

Бодисатва из нас...

Но, с другой стороны, проклятущий вирус, из-за которого вся эта неразбериха началась — он ведь небось тоже жив-здоров! И Система никак на него не реагирует, не пытается его отловить и уничтожить, а если и пытается, то не может.

Значит, еще один вариант — стать подобным «вирусом». Лихо, спору нет — да только как это сделать?

Может, оно и к лучшему, что не знаю, как — я бы им тут в Системе нарулил! Не то что мертвецы и шизофреники — слоны бы по небу полетели!..

Просветленные.

Что ж, попробуем с другого конца.

Вопрос: где не действует Закон Кармы?

Ответ: а я откуда знаю?

Но строить предположения с достаточной долей вероятности вполне могу.

На всяком диске есть загрузочный «бутовый» сектор. Вот там-то Закон Кармы, тестирующий обычные файлы-души, и не должен действовать — иначе он бы этот «бут-сектор» запорол в момент! Опять же, не исключено, что именно там и сидит наш разлюбезный приятель-вирус — иначе почему эта «тест-программа» его до сих пор не вычислила?!

Так, это уже интереснее.

Теперь — где этот самый загрузочный сектор местного винчестера может располагаться? Географически и, так сказать, ментально?

Варианты «на том свете», «в раю», «в аду», «в Нирване» и «у черта на куличках» не рассматриваем.

Стоп!

Те, кто «ловит У», то бишь просветление, и входит в Систему — через что они в нее входят?

Да через этот самый загрузочный сектор и входят!

Вопрос: где людей готовят к просветлению, помогают идти вперед по Пути и где они это треклятое просветление в конце концов обретают?

Ответ: в монастырях!

В монастырях!!!

И чем известнее и «святее» монастырь, тем скорее он может претендовать на роль бут-сектора (или его части)!

Да, все сходится.

И тут память услужливо подсунула мне последний недостающий фрагмент: ведь сколько раз слышал я разговоры, что в монастыре у горы Сун, знаменитом Шаолине, и слыхом не слыхивали о «Безумии Будды», бесах, призраках и прочих непотребствах!

«Святое место! Святые люди!» — с благоговением и завистью шептались крестьяне и лавочники.

Может, и святое. А может, именно там и окопался таинственный «вирус», заблокировавший вокруг себя все тест-программы, создавший собственную защитную оболочку, сквозь которую не могут пробиться ни тесты, ни вторичные эффекты его же разрушительной деятельности.

Очень похоже было, что Система «глючила» по всей Поднебесной за исключением монастыря у горы Сун. И я понял, что нам надо туда.

***

До сих пор не понимаю, как нам удалось добраться до Хэнаня и подойти к подножию горы Сун.

Но мы, я и мой мальчик, это сделали.

Где я и выяснил, что это только так говорится: «обитель близ горы Сун». А на самом деле это целая гористая цепь на юге Хэнаня, в уезде Дэнфэн, и именно цепь носит название Сун-шань, а сам монастырь расположен ближе к вершине одной из гор, прозывающейся Шаоши. Впрочем, вся эта совершенно никчемушная информация лишь подтвердила общее правило: люди склонны упрощать, а потом забывать, что правда совсем иная, нежели та, к которой все привыкли.

Короче, пришли и пришли.

Представляю недоумение монахов-стражников, когда к внешним воротам приблизился оборванный дурачок-десятилеток, скрестив ноги, уселся прямо под цветущей ивой — пух осыпал нас щекочущей нос пеной — и принялся играть на свирели.

Цин, оставшийся после слепца-гадателя, пришлось продать по дороге.

Свирель звучала почти до заката.

Наконец один из монахов-стражников подошел ко мне и моему мальчику, остановился в двух шагах и насмешливо прищурился.

— Оборвыш! — сказал этот монах, ужасно напоминавший покойника-Десантуру. — Сидя здесь и дудя в эту дудку, ты надеешься выклянчить немножко еды?

Было видно, что, получив утвердительный ответ, монах расщедрится на лепешку.

— Лысый осел! — ответили я и мой мальчик. — Стоя здесь и подпирая эти ворота, ты надеешься достичь Нирваны?

После чего мы встали и ушли не оглядываясь.

Хотя лично мне очень хотелось оглянуться и полюбоваться выражением лица стража.

Назавтра мы снова сидели под ивой и играли на свирели.

Монахи молча слушали, приоткрыв воротные створки.

К вечеру они вынесли плошку с похлебкой, полторы лепешки и пучок зелени; поставили это рядом и опять же молча удалились.

Так продолжалось около недели.

И всю эту неделю я не испытывал никаких проблем ни со здоровьем, ни с душевным равновесием, что еще раз подтверждало мои догадки: в монастыре Шаолинь кроется загрузочный сектор здешнего кармо-компа или гнездится поразивший его вирус (впрочем, одно другому не мешает). Если только местные святоши и впрямь не сумели достичь такого уровня недеяния и заархивироваться, что в результате ими теперь не интересуется ни одна из кармических тест-программ вселенского макро-компа!

Когда мы, я и мой мальчик, в очередной раз расположились под ивой, из ворот вышли двое и направились к нам.

Высокий худой старик, похожий на журавля; и огромный детина самого свирепого вида — оба в шафрановых рясах.

— Отрок! — ласково поинтересовался старик. — Позволишь ли ты бедному монаху задать тебе один вопрос?!

Я и мой мальчик были далеки от того, чтобы обмануться этой ласковостью. От старика через минуту вполне можно было ожидать приказа стражам спустить нас с лестницы. И приказ

начинался бы: «Бедный монах стократно сожалеет о...»

— Чем сходны отроки и старики? — бросил я, равнодушно глядя перед собой. — Одним: и те, и другие спрашивают словами.

Похожий на журавля старик ласково смотрел на меня и моего мальчика.

И я пока не мог истолковать смысл его молчания — но приказ спустить нас с лестницы, похоже, откладывался.

— О чем ты будешь спрашивать? — добавил я после того, как мой мальчик исполнил на свирели сложнейший пассаж из «Напевов хладной осени». — Если кто-то спросит меня о том, где и как искать Будду, в ответ я предстану перед ним в состоянии чистоты. Если кто-то спросит о бодисатве, в ответ я появлюсь в состоянии сострадания. Если меня спросят о просветлении, я отвечу состоянием чистого таинства. Если меня спросят о Нирване, я отвечу состоянием умиротворенного спокойствия. Но...

Я выдержал длинную паузу.

— Но боюсь, что все это тоже слова; также боюсь, что спрашивающий бессмысленно вытаращится на меня, раскрыв рот. Тогда я отвечу ему, что осел не может выдержать пинка слона-дракона, и позволю ему уйти с воплями: «Я познал Чань, я познал Путь!» Так о чем же ты хочешь спросить меня, человек, похожий на журавля?

Старик смотрел на нас, меня и моего мальчика, все с той же ласковостью — но теперь в ней что-то неуловимо изменилось.

А я понимал, что невозможно рискую — почти дословно цитируя «Записи бесед чаньского наставника Линьцзи Хуэйчжао из Чжэньчжоу».

Я случайно читал их однажды — и навсегда; потому что я ничего не забываю.

Я ничего не забывал.

Именно в этот день я понял, что нахожусь в чужой Поднебесной. Потому что здесь никогда не жил сумасбродный наставник Линьцзи, ни в девятом веке, ни в каком другом, и никогда он не называл Будду куском засохшего дерьма, Нирвану и просветление — невольничьими колодками и не говорил, что для истинного прозрения надо совершить пять смертных грехов.

Потому что слова есть слова, и слово «Будда» не отличается от себе подобных.

Но мне повезло, как никогда раньше.

— Позволь, отец-вероучитель, — вмешался огромный детина и шагнул к нам, ко мне и моему мальчику, с такой плавной быстротой, что я ощутил колотье под ложечкой, — я спущу этого бродягу с лестницы!

«Дождались», — мелькнуло в голове у меня и моего мальчика.

В глубине души я предполагал, что этим дело и закончится.

— И это тоже слова, наставник Лю. — От сказанного седым журавлем у детины отвисла челюсть. — Вели лучше стражам пропустить сего отрока в обитель.

— Этого... этого маленького нахала?! — Удивлению громадного наставника Лю не было предела.

— Нахала? — пожал вздернутыми плечами журавль. — Маленького нахала?..

Он подумал и весело добавил:

— Или маленького архата? Как вы полагаете, наставник Лю?

К вечеру нам, мне и моему мальчику, обрили голову.

А кличка Маленький Архат, с легкой руки патриарха Шаолиня, приклеилась к нам намертво.

И прошло чуть больше года, прежде чем в обитель близ горы Сун приполз Змееныш...

книга вторая
ЭПОХА ОБШИРНОГО БЛАГОДЕНСТВИЯ

часть четвертая
БЕЛЫЙ ТИГР И СИНЯЯ ВОРОНА

Не бойся яростной схватки и помни: малым можно победить великое...

Из поучений мастеров

Глава седьмая

1

— А вот и еще один толстый дармоед, которого принц-казнокрад откармливает на наши денежки! — гнусаво раздалось из-под шаткого забора.

Это была первая фраза, которой встретили судью при въезде в Нинго. Голос родины, так сказать. Выездной следователь, не меняя выражения лица, неторопливо повернул голову. Он намеревался как следует запомнить говорившего, чтобы потом при случае...

Случай, как предполагал судья Бао, не должен был заставить себя ждать.

— Гляди, братва, он еще и косится! — радостно прокомментировал это движение пьяный солдат в расстегнутом пыльном халате и без шапки, предававшийся безделью в тени окраинного забора. Вообще-то солдатиков было трое, и занимались они деянием предосудительным и никак не полагающимся во время несения службы: явно не в первый раз пускали по кругу объемистый глиняный жбан, где булькала определенно не родниковая вода и не кислое молоко.

— Глаз, глаз-то какой — вороной! Канцелярский глаз! Ждет, крыса чиновная, что я от страха подохну!

— А вон еще чучело на осле вместе с ним, — заметил другой служивый, вообще голый по пояс, зато в залихватски сбитой на затылок форменной шапке. — Лоб медный, покрышка железная! Чародей небось! Эй, чародей, порадей! Сотвори-ка нам еще жбан

винца!

И острослов довольно заржал, почесывая обеими руками волосатую, как у обезьяны, грудь.

Судья и даос молча проехали мимо, не обращая больше внимания на зубоскалящих вояк, но в душе судьи уже появился некий малоприятный осадок.

Конечно, служивый люд и раньше, тяготясь суровостью гарнизонной службы, бегал в самоволки, приставал к женщинам попроще и не брезговал дешевым вином, а также частенько бивал «рожденных в травах»* [Рожденные в травах — простолюдины.] — но чтобы вот так, с самого утра, на виду у всех?! Опять же, неприкрытые намеки на принца и тех, кого Чжоу-ван содержит...

Жилище Лань Даосина находилось неподалеку от городских ворот, так что судья Бао распрощался со своим другом на окраине, пообещав вскоре наведаться в гости; после чего ткнул возницу в спину и поехал дальше, обуреваемый дурными предчувствиями.

Улицы Нинго были на удивление пустынны. Лавки и павильоны в большинстве оказались закрыты, бродячих торговцев, наперебой предлагающих финики в меду или пирожки с маковой начинкой, вообще видно не было; зато со стороны центральной части города доносился явственный шум многих голосов. В любом случае, чтобы попасть хоть домой, хоть в канцелярию, куда выездной следователь намеревался наведаться позже, судье надо было двигаться в ту сторону.

Подъезжая к площади Двух Рыб, судья еще издалека расслышал выкрики:

— На что будет жить моя семья, если нам второй месяц не выдают ни риса, ни денег?! — возмущался кто-то под гул сочувствующих и одобрительных реплик. — Где хлебное жалованье?! Где денежное довольствие?! Что, побираться идти?! Не дождетесь!

Толпа гулом подтвердила: и впрямь не дождутся, даже ждать — и то не станет!

— А нам, думаешь, легче?! — взвился высокий плаксивый тенорок. — Ты хоть государеву родичу служишь, можешь надеяться на послабление! Глядишь, откроют войсковую житницу или еще что... А мне на кого надежду лелеять?! Слыхали небось, какими податями теперь всех обложили?! Невзирая на чин и звание! Да я лучше сожгу свою черепичную мастерскую и пойду по миру с чашкой для подаяния, чем...

— Пейте, солдатики, пейте, тешьте душеньку, не стесняйтесь! Я — не Чжоу-ван, мне не жалко!

— Да я их... зубами, зубами!..

— Кого — «их»?

— Ну, этих... зубами!..

— Ох, дождется принц Чжоу грома с ясного неба!

— Бунт, горожане, бунт!.. Гарнизон нас поддержит...

— Штуку шелка с каждой поставки! Уж сразу приказал бы: веревку на шею или в пруд головой!

— Зубами!..

Запыленная повозка судьи, изукрашенная золотыми и розовыми лотосами, вывернула из-за угла, и судья в недоумении воззрился на столпотворение, царившее на площади Двух Рыб.

Бурлящее скопище возов и тележек, людей и обезумевших от шума собак с лошадьми, кучки яростно спорящих, вовсю дерущих глотку и размахивающих руками нингоусцев; солдаты гарнизона (по большей части без оружия, но встречались и с копьями или алебардами!) вперемешку с местными торговцами, ремесленниками, крестьянами, мелкими чиновниками...

Причина волнений была ясна как погожий день.

Все-таки за годы своей нелегкой работы выездной следователь научился быстро сопоставлять события и делать выводы. А сейчас для понимания сути дела не понадобилось и сотой доли его проницательности.

Принц Чжоу в очередной раз не выплатил солдатам жалованье. То ли кровнородственный ван снова проворовался, то ли в казне не оказалось денег по какой-либо иной причине, но факт был налицо. Солдаты не получили риса и денег, семьи служивых голодали, оставшись без средств к существованию, и командиры уже не могли (да и не хотели) утихомиривать своих подчиненных.

За подобные шалости Чжоу-ван трижды лишался жалованного удела — и трижды государь Юн Лэ сменял гнев на милость, возвращая нечистому на руку братцу все девять почетных регалий удельного князя.

Запряженный конями экипаж, церемониальное платье, свирельщиков и флейтистов, право красных ворот, право парадного крыльца дома, положенную свиту, лук и стрелы, топор и секиру, и жертвенные сосуды.

Принц Чжоу кланялся государю, забирал регалии и возвращался в Нинго.

Чтобы начать все сначала.

Как, например, сейчас.

И не надо было иметь семи пядей во лбу, не помещающихся под чиновничью шапку, чтобы понять: надеясь изыскать необходимые средства для выплаты солдатского жалованья, Чжоу-ван издал указ об увеличении налогов.

Предполагая, что уж лучше возмущение мирного люда, чем гнев военных.

Последствия оного указа, по-видимому, совсем недавно обнародованного, были опять-таки налицо. Лавки мгновенно закрылись, до того вполне мирно настроенные горожане резко прониклись сочувствием к несправедливо обиженным солдатам; кое-кто (а именно — «абрикосовые флажки», хозяева питейных заведений) уже приступили к обязательному в таких случаях подпаиванию недовольных вояк — короче, все это основательно попахивало возможным бунтом. И в самом скором времени. Разумеется, в итоге в Нинго будут присланы правительственные войска из ближайших округов, бунтовщикам (в первую очередь солдатам!) не поздоровится — но не поздоровится заодно и самому Чжоу-вану, когда выяснится, что именно явилось причиной беспорядков. Император в очередной раз отстранит своего брата от управления уделом, подати будут временно снижены, торговцы и солдаты, которые останутся живы после усмирения, восславят мудрость и доброту Сына Неба...

Такое уже бывало. Разумеется, неизбежны издержки, какие обязательно случаются при волнениях — ну да что поделаешь: чем-то (и кем-то) всегда приходится жертвовать!

— ...А не пора ли нам, братки, самим взять тот рис и денежки, что не хочет нам давать Чжоу-мздоимец?!

— Пора!

— Давно пора!

Еще несколько малотрезвых голосов поддержали крикуна, но большинство почли за благо промолчать. Впрочем, это не очень-то смутило горлопана.

— Молчите? Ваших жен потащат во дворец к кровнородственному прелюбодею, ваших малых детушек заставят помирать на рудниках, у вас самих вырвут последний кусок изо рта, да еще и кангу на шею навесят, а вы и тогда засунете язык в срамное место! Гляньте лучше, на каких повозках раскатывают сановники проклятого Чжоу! — Крикун, громогласный детина изрядного росту, в порванном халате со шнуром тунлина* [Тунлин — низший военный чин.], устремил корявый и немытый указательный палец в сторону экипажа судьи Бао.

Однако на этот раз баламута, против его ожидания, не поддержали вовсе. И даже наоборот: доходчиво объяснили, что это — отнюдь не сановник проклятого Чжоу-вана, а всем известный судья Бао, по прозвищу Драконова Печать, человек честный и находящийся на государственной службе. Так что нечего тут поливать грязью порядочных людей, а если у кого язык длиной в два чи и он хочет его почесать, то пусть, возьмет

грабли...

Или засунет туда, куда только что сам говорил!

Судьба десятникова языка мало взволновала судью Бао, и доблестный сянъигун спокойно проследовал дальше, без всяких приключений добравшись до своего дома.

Где и был встречен любимыми женами со слезами радости и упреками в долгом отсутствии. После чего, принимая ванну с дороги, судья и узнал об удивительном появлении на их родовом кладбище могилы Чжуна.

— Геоманта вызывали! — всплескивали рукавами женщины, подсыпая в горячую воду вьетских благовоний. — Самого лучшего! Фэншуй сяньшэна, то есть «господина ветер-вода»! Открыл он трактат «Книга Захоронений», читал-читал и сказал, что более удачного места для могилы и не найти! Счастье, счастье-то какое!

Судья в меру поудивлялся, оценив нежданно привалившее счастье, мысленно поблагодарил за заботу Владыку Темного Приказа и едва успел выбраться из ванны, насухо обтереться огромным мохнатым полотенцем и облачиться в чистую одежду...

Во дворе нежданно-негаданно раздался взрыв стонов и причитаний, и обеспокоенный сянъигун поспешил на эти крики, дабы узнать, что еще случилось.

Почему-то ему казалось, что он уже разучился удивляться.

2

Прямо посреди двора на земле лежал человек. Человек ворочался и стонал, что-то бессвязно бормоча, а вокруг него, причитая, суетились младшая сестра судьи и две служанки. Выездной следователь, не сходя с крыльца, уже хотел было прикрикнуть на бестолково мечущихся и голосящих женщин, но вместо этого почему-то сделал шаг вперед и вгляделся повнимательнее.

Посреди двора в совершенно непристойном виде валялся его любимый старший сын и наследник Вэнь!

Причем пребывал любимый сын и наследник в весьма плачевном состоянии, которое живо напомнило судье его собственное состояние после стычки с бандой лихих молодцов накануне отъезда в...

Отъезда в ад.

Судья молча спустился по ступенькам во двор, так же молча

отстранил вопящих женщин, коротко приказал ближайшей служанке бежать за лекарем и склонился над избитым Вэнем.

Вся левая половина лица Первого Сына представляла из себя сплошной лилово-багровый кровоподтек. Пострадавший глаз заплыл до такой степени, что не открывался — хотя, по-видимому, уцелел; правая же половина лица практически была нетронута, если не считать пары царапин, и являла собой разительный контраст с левой. Нос Вэня вспух чусской грушей и был, похоже, перебит. Ощупав стонущего сына, судья определил, что у Вэня сломаны также левое запястье и одно или два ребра.

Крови было не очень много, да и та в основном из разбитого носа.

Но тут выездного следователя привлекло некое странное обстоятельство, которое он поначалу не принял во внимание.

Обычно люди, избитые до такой степени, пребывают без сознания и могут лишь негромко стонать в забытьи; будучи же в сознании, они ругаются или, по крайней мере, говорят что-нибудь вполне осознанное.

Однако в данном случае уцелевший глаз Первого Сына Вэня был закрыт (о пострадавшем левом и говорить нечего!); юноша несомненно был в беспамятстве — однако, кроме вполне понятных стонов, с губ его время от времени срывались обрывки фраз, более всего похожих на бред. Один раз Вэнь даже попытался запеть — и в душу выездного следователя закралось нехорошее подозрение.

Судья Бао поспешно наклонился к самому лицу сына и принюхался к его дыханию.

Так и есть!

Этот запах был хорошо знаком выездному следователю, и спутать его с чем бы то ни было он не мог. Это был запах опиума! И Первый Сын Вэнь сейчас явно находился под воздействием изрядного количества этой отравы!

Сомнительно, чтобы злоумышленники, избившие несчастного Вэня, заставили его предварительно накуриться дурманного зелья!

«Вот этого мне только и не хватало для полного счастья! — в сердцах подумал сянъигун. — Мой наследник — курильщик опиума! Дожил...»

— Несите Первого Сына в дом, — приказал судья садовнику и двум подошедшим слугам. — И, смотрите, осторожнее! Сами видите, в чем душа держится... Кстати, а кто Вэня сюда доставил? — вдруг спохватился он.

— Какой-то незнакомец. — Младшая сестра судьи все еще стояла рядом, комкая платок, словно не в силах сдвинуться с

места. — Видать, добрый человек. Вы, старший братец, только подумайте: принес наследника Вэня, уложил посреди двора, молча поклонился и ушел. Даже благодарности не захотел выслушать. Разве что улыбался как-то странно, уходя...

— Этот добрый человек не объяснил, что случилось?

— Нет, старший братец. — Сестра по-прежнему смотрела в землю. — Он вообще все время молчал. По-моему...

И сама умолкла, словно заразившись от неведомого доброго человека.

— Договаривай! — забывшись, рявкнул на нее Бао.

И мгновенно устыдился своего порыва.

Сестра-то при чем? Тихая, безответная женщина... овдовела пять лет назад, до сих пор в белом ходит, в трауре; свахи замуж выдать пытались, достойную партию сулили — не пошла... орать-то зачем?

— ...По-моему, тот добрый человек тоже недавно курил опиум. Глаза у него были такие... безумные. И будто дымный туман на самом дне. Еще улыбался он — мне прямо страшно стало! Как неживой.

— А ну-ка, сестрица, опиши мне поподробнее этого доброхота. — Смутное волнение начало овладевать судьей.

— Коротышка, с меня росточком, но крепкий, жилистый; безрукавка на нем еще была рваная, широкие штаны, пояс из кожи... борода, помню, редкая, словно выщипанная; да, голова у него все на плечо клонилась, словно с шеей что-то не так!.. И на поясе топорик болтался. А что, старший братец? Он — преступник? В розыске?

— Может быть, — задумчиво проговорил выездной следователь. — Все может быть. Если еще раз увидишь его — не вздумай подходить и мне обязательно сообщи!

Резко повернувшись, судья пошел в дом.

— Тоже еще — подходить! — фыркнула ему вслед сестра, но беззлобно, скорее копируя манеру старшей жены. — Ума покамест не лишилась! Небось и впрямь — разбойник! Даром, что ли, топор на поясе висел? С кем же это Вэнь связался? Может, коротышка его и избил?!

Это предположение отнюдь не показалось судье, расслышавшему сказанное сестрой, невероятным. Особенно, если учесть, что описание таинственного незнакомца весьма напомнило выездному следователю человека, которого он однажды уже видел: главаря шайки в рваной безрукавке и с безумными глазами, готового разрубить судье Бао голову своей секиркой.

Правда, тот крепыш с топором был мертв. Судья

собственными глазами видел, как преподобный Бань свернул ему шею.

Но тут доблестного сянъигуна прошиб пот — ему пришли на ум слова сестры: «...и голову как-то странно держал, все она у него на плечо клонилась, словно с шеей что-то не так...»

Судья вытер лоб, глубоко вздохнул, припомнил еще кое-что из того, что довелось ему видеть в последние месяцы; и понял: смерть крепыша в данном случае — обстоятельство несущественное...

Вроде муравьиного следа.

***

Старшую жену судья Бао застал у постели сына. С трудом сдерживая рыдания, та прикладывала травяную примочку к пострадавшей половине лица Вэня.

Первый Сын так и не пришел в себя, но лежал смирно, даже не стонал, только изредка улыбался кривой страшной ухмылкой и пытался поднять руки.

— Давно наш сын пристрастился к опиуму? — негромко осведомился судья.

Женщина вздрогнула, испуганно вжала голову в плечи:

— По-моему, уже больше месяца. Но я не уверена.

— Это началось после моего отъезда? Или до?

Молчаливый кивок.

Судья не стал переспрашивать. Понял — до.

Скрывали...

— Почему? В чем причина?! Отвечай!

— В прошлый раз он долго бредил, о мой господин... и я кое-что разобрала. Первый Сын никак не может забыть ту девушку, с красным платком.

— Бесовку?!

— Да, мой господин. Вэнь помнит ее такой, какой увидел впервые. А тот жуткий труп, что мы гнали персиковой метлой... Первый Сын, кажется, так и не поверил до конца, что это была она же! По-моему, он даже пытался искать ее, расспрашивал на улицах и базарах...

— Защити его, милостивая Гуань-инь! — прошептал судья.

— ...С горя пристрастился к опиуму, — продолжила жена тихим и почти спокойным голосом; но Бао понимал, какой ценой дается ей это спокойствие. — Видел свою бесовку в грезах,

улыбался, в чем-то пытался убедить... Я пробовала поговорить с ним, но Первый Сын ничего не хотел слушать! А ты, мой господин, был занят делом, и я не осмелилась тебя тревожить.

— Ясно, — бросил выездной следователь. — Первому Сыну отныне из дома ни ногой! Выздоровеет — найду ему порядочную жену! Нет, все-таки правы были наши предки, заключая браки без согласия жениха и невесты! Вот мы с тобой живем — и ничего: ты не вешаешься, а я опиум не курю. Или я не прав, и тебя тоже надо персиковой метлой?

И жена наконец нашла в себе силы улыбнуться.

— Ну, где здесь умирающий?! — раздался позади голос лекаря по прозвищу Семипилюльник, хорошо известного среди нингоусцев своей тактичностью.

— Скорпиона тебе в рот! — пробормотал в сердцах судья Бао и удалился.

3

Обедать судья не стал. Кусок не лез в горло! Стоит по делам отлучиться из города — и на тебе! В Нинго смута, сын сохнет по бесовке, курит опиум, а вдобавок кто-то, подозрительно похожий на покойного разбойника, приносит его домой, предварительно избив до полусмерти! Интересно, что еще хорошего успело произойти за время отсутствия выездного следователя?!

Дабы выяснить это, судья направился в свою канцелярию.

При виде входящего сянъигуна сидевший в его любимом кресле тинвэй Фу поспешил вскочить и поклониться. После чего, неприязненно покосившись на рассыпавшегося в любезностях и приветствиях Сингэ Третьего, увлек выездного следователя в заднюю комнату, предоставив рассыпавшемуся сюцаю собирать себя в одиночестве.

Новости явно были важными, а следовательно, ничего доброго предвещать не могли.

— Прошу простить мою дерзость, высокоуважаемый сянъигун, — надрывно шептал господин Фу, косясь на неплотно прикрытую дверь, — но за время вашего отсутствия на ваше имя пришло... пришла спешная депеша!

Еще раз оглядевшись по сторонам, тинвэй извлек из рукава свиток со сломанной печатью.

— Сами знаете: депеша из Северной Столицы, по судейским каналам... Решив, что здесь, возможно, содержится нечто срочное

и не терпящее отлагательств — я взял на себя смелость вскрыть и ознакомиться... поскольку вы сами поручили мне на время вашего отсутствия исполнять обязанности... еще раз прошу простить великодушно...

Многоречивость господина Фу привела судью в замешательство. Тинвэй, чиновник по уголовным деяниям, был человеком немалых достоинств, достаточно храбрым, не раз лично возглавлял Быстроруких при задержании вооруженных разбойников! А теперь заместитель судьи Бао был явно напуган, что на него совсем не походило.

Судья молча взял протягиваемый ему заместителем свиток и развернул его.

Это было послание от бывшего однокашника и друга, занимавшего теперь видный пост в Бэйцзине, в Училище Сынов Отечества. Бывший соученик интересовался здоровьем судьи и его семьи, желая им благополучия и долгих лет жизни, сетовал на участившееся вмешательство потусторонних сил в жизнь государства, — мол, уже и в Столице житья не стало от бесов и оборотней, а тут еще и «Безумие Будды» косит людей, невзирая на чины и заслуги... Вот с этого момента судья Бао и начал читать очень внимательно, стараясь не пропустить ни одного значения даже самого безобидного иероглифа, одновременно сопоставляя вторые и третьи смыслы некоторых знаков с общим содержанием текста.

Не так уж часто получал выездной следователь письма, запечатанные печатью училища Гоцзыцзянь, — его высокий друг никогда не переводил время и бумагу просто так!

«...Невзирая на чины и заслуги, и даже государь, Сын Неба Юн Лэ, подвержен ныне этой опасности, так что сердце мое наполняется скорбью при одной мысли о том, что подобное несчастье может случиться...»

И судья Бао побледнел от сумасшедшей до.гадки: это уже случилось! Государь, владыка Поднебесной, император Юн Лэ, подхватил «Безумие Будды», и теперь дни Сына Неба сочтены! Как давно это произошло?! Насколько быстро гонец доставил известие от однокашника судьи из Училища Сынов Отечества? Когда тот решился написать письмо, надеясь заранее предупредить судью?

Выходило, что на все потребовалось никак не меньше месяца. Это в лучшем случае. Значит, жить нынешнему государю оставалось всего ничего.

Грядет смена власти. И еще неизвестно, как отнесется новый император (судья сразу прикинул, кто может им стать, выделив мысленно двух наиболее вероятных претендентов) ко многим

ставленникам своего предшественника! Вполне возможно, что вскоре полетят шелковые чиновничьи шапки — и не исключено, что вместе с головами!

Конечно, Нинго — не Столица, и вряд ли новая власть будет так уж усердствовать в провинции. Но тем не менее друг-покровитель счел нужным предупредить судью, а к предупреждениям подобного рода судья привык прислушиваться.

Теперь понятен испуг господина Фу — он прочел то, что ему отнюдь не предназначалось, и опасается последствий.

В первую очередь гнева непосредственного начальства.

— Зря, конечно, вы, любезнейший господин Фу, поторопились и прочли адресованное мне письмо. — Судья обернулся к своему заместителю и улыбнулся как ни в чем не бывало. — Однако, полагаю, большой беды в этом нет. Поскольку вы просто исполняли свой долг, и я на вашем месте сделал бы то же самое... Выкиньте из головы ненужные мысли, и давайте-ка приступим к работе! Думаю, за время моего отсутствия у нас накопилось немало дел.

Господин Фу вздохнул с таким явным облегчением, что выездной следователь невольно усмехнулся еще раз, хотя на душе у него было совсем не весело.

***

Как ни странно, за время отсутствия высокоуважаемого сянъигуна дел накопилось не так уж много: тинвэй успешно и весьма добросовестно справился с возложенными на него обязанностями. И теперь судья с удовлетворением просматривал закрытые дела и вполне разумные резолюции на жалобах и прошениях.

В углу, как обычно, монотонно зудел сюцай Сингэ Третий. Жизнь возвращалась в свое обычное русло, журча на перекатах.

Впрочем, нет. В журчание вплеталась тревожная нотка, на дне крылись коряги с острыми рогами-сучьями — и дело было даже не в назревающих беспорядках и не в избиении сына Вэня; пожалуй, даже не в «Безумии Будды», поразившем самого Сына Неба, было дело...

— ...Воистину правы святые отцы-хэшаны, служители великого Будды! Ибо теперь мы непосредственно можем убедиться, что истинное прозрение своей сущности, которое принес людям Шакьямуни, превыше всех земных радостей! Сам

государь (сто двадцать лет ему жизни!) воззвал к Опоре Закона, не проникнув в тайны собственной души — вот и стало ему прозрение болезнью, «Безумием Будды» называемой! Горе нам, горе, сочтены теперь дни государя Юн Лэ, и остается лишь молить милостивого Будду, чтобы новый император...

— Что это ты там болтаешь? — оторопело переспросил выездной следователь, глядя на увлеченно вещавшего в пространство Сингэ Третьего. — «Безумие Будды» у Сына Неба?! Да ведь за такие поносные слова с тобой знаешь что могут сделать?!

— Что, высокоуважаемый сянъигун? — живо заинтересовался сюцай. — На деревянном осле тупой пилой пилить станут? Тогда ведь придется, наверное, добрую половину Нинго распиливать — все только об этом и говорят! Работы палачам — не позавидуешь!

«Вот тебе и тайное предупреждение из Столицы! — с досадой подумал судья Бао. — Мне, значит, тайно сообщают, а полгорода уже государя похоронило! Если об этом знает Сингэ Третий, то будет удивительно, если о том же не залают все собаки Поднебесной, включая псов сопредельных держав! Одно неясно: откуда сам сюцай пронюхал о болезни государя? Что-то я на улице подобных разговоров не слышал...»

Однако в этот момент мысли высокоуважаемого сянъигуна были прерваны требовательным стуком в дверь. Не дожидаясь ответа, дверь распахнулась, и на пороге возник уже хорошо знакомый судье распорядитель принца Чжоу.

Вот уж кого выездной следователь хотел сейчас видеть в последнюю очередь — так это достойного последователя Кун-цзы и его позднейших толкователей!

«И откуда он взялся на мою голову?! — обреченно подумал судья. — Не успел приехать — нате, встречайте!»

Кто успел доложить распорядителю принца о возвращении в Нинго выездного следователя Бао? Это так и осталось для последнего загадкой; а вот зачем явился к оному следователю вышеупомянутый распорядитель, было ясно и без слов.

А со словами, которые не замедлили последовать, еще яснее.

Принц Чжоу весьма интересовался результатами расследования. Прошла уже уйма времени — а кроме очевидных фактов следствием ничего не установлено. Привез ли высокоуважаемый сянъигун какие-нибудь новые сведения по этому делу? И когда сиятельному Чжоу-вану будет представлен подробный доклад о проведенном следствии с соответствующими выводами судьи?

Под словом «когда» явно подразумевалось «немедленно!» или «не позднее чем завтра!», и судья Бао это прекрасно понял.

Когда кипевший и с трудом сдерживавшийся распорядитель Чжоу-вана удалился, судья едва перевел дух. И подумал, что обстановка накаляется подобно щипцам палача, которые выездной следователь видел уже достаточно отчетливо.

Придется писать доклад. Делать выводы рискованно, но можно — вот только понравятся ли сиятельному Чжоу-вану выводы высокоуважаемого сянъигуна? Особенно в той части, которая касается возможных мотивов странного покушения Восьмой Тетушки? Да и в остальных частях...

Тем более что писать придется не один, а два доклада: один, сокращенный в определенных местах, — для принца Чжоу, а другой, полный, — для передачи в Столицу, лучше всего бывшему однокашнику из Училища Сынов Отечества.

Только всей правды не напишешь и в полном докладе: Владыку Темного Приказа и руки, шарящие в Преисподней, к делу особо не пришьешь, хотя разгадка находится как раз рядом с ними!

Кивнув господину Фу и Сингэ Третьему, судья Бао вышел из канцелярии и отправился прогуляться, дабы как следует поразмыслить над создавшейся ситуацией.

4

Ноги сами несли судью подальше от всегда шумных, а теперь еще и небезопасных центральных кварталов Нинго. И выездной следователь даже не заметил, как оказался поблизости от родового кладбища семьи Бао на юго-востоке города.

«Что ж, для размышлений место более чем подходящее, — подумал судья, обнаружив, куда забрел. — Заодно проведаю могилу племянника».

И он принялся неторопливо обходить кладбище.

По обе стороны каменной стены, которой было кладбище обнесено, тянулись насыпные холмы. Центральная аллея вела прямо к выложенной из белого кирпича Зале Предков со священным алтарем, где всегда стояли курильницы и подсвечники. Вход же венчала кипарисовая доска, где крупными знаками было начертано:

«Усыпальница предков чиновника третьего ранга, сянъигуна Бао».

Но Зала Предков сейчас мало интересовала судью.

Он шел не к предкам, а скорее к потомкам.

Могила Чжуна обнаружилась довольно быстро. Действительно, свежий холмик, еще даже не успевший порасти травой, с аккуратным гранитным надгробием, на котором уставным письмом кайшу было выбито имя Чжуна и годы его жизни. Опять же похоронные свитки, бумажные деньги, свечи... Выездной следователь даже не усомнился, что тело его племянника покоится именно под этой плитой, и еще раз мысленно поблагодарил Владыку Янь-вана.

Искренне пожелав племяннику более удачного перерождения, судья Бао направился было дальше, но не успел он сделать и трех шагов, как застыл, не веря своим глазам.

Вдоль самой границы кладбища тянулась глубокая борозда, шириной локтя в два, а глубиной существенно больше! Гладкие пласты вывороченной наружу жирной земли матово лоснились в лучах предзакатного солнца, среди влажных комков копошились белые личинки и какие-то жучки...

— Становая жила! — ошарашено прошептал выездной следователь.

Он был прав: загадочная борозда перерезала становую жилу его родового кладбища! А это означало, что отныне род Бао будет хиреть, нищать, на них обрушатся всевозможные беды и не видать теперь судье и его родственникам ни богатства, ни удачи, ни продвижения по службе.

Если только...

Если только в месячный срок не перенести кладбище на новое место!

— Прошу простить ничтожного путника, высокоуважаемый сянъигун Бао, но я вижу, что на вас и вашу семью свалилось страшное бедствие!

Судья резко обернулся — так резко, что незаметно подошедший к нему сзади человек с длинным крючковатым носом и хитрыми глазками, подобно двум черным паучкам прятавшимся в паутине морщинок, невольно отшатнулся.

— Кто ты такой и откуда меня знаешь? — строго спросил судья.

— Я — фэншуй сяншэн, странствующий геомант, по мере моих скромных сил помогаю людям. Вот и сейчас, по моему непросвещенному мнению, вы нуждаетесь в помощи — вам необходимо перенести кладбище на новое место. Я охотно помог бы вам найти такое место за совершенно символическую плату, — скажем, в сто лянов. Что же касается вашего имени и должности, высокоуважаемый сянъигун, то плох бы я был, как геомант, если бы не смог узнать их!

— Благодарю за предложенную помощь, но я и сам как-

нибудь справлюсь со своими заботами! — не слишком вежливо прервал судья незваного помощника и, повернувшись к геоманту спиной, направился прочь.

— Подождите, высокоуважаемый сянъигун! — взвыл за спиной Господин Ветер-Вода. — Вы совершаете непоправимую ошибку! Без меня вам не определить наиболее благоприятное место для перезахоронения! И ваш род станут преследовать беды и неудачи! Да погодите же!

— В тюрьму захотел? — не оборачиваясь, на ходу внятно поинтересовался судья; и причитания назойливого геоманта мгновенно смолкли.

Выездной следователь искренне надеялся, что никогда больше не увидит этого типа. Судья не без оснований подозревал, что столь «своевременное» появление геоманта на кладбище отнюдь не случайно и крючконосый хитрец наверняка имеет самое непосредственное отношение к борозде, перерезавшей становую жилу.

К сожалению, доказательств у судьи не было и вряд ли бы геомант в чем-то сознался даже под пыткой — а заняться этим шустрым субъектом всерьез у выездного следователя не было ни времени, ни желания.

За всеми этими невеселыми раздумьями соображения по поводу доклада начисто вылетели из головы несчастного сянъигуна. Последнее он обнаружил, лишь подходя к собственному дому, — и зародилась у выездного следователя удивительная мысль, граничащая с безумием.

5

Дома судья решил пока ничего не говорить о неприятном происшествии на кладбище. Однако не тут-то было! Домочадцы непонятным образом уже знали обо всем и немедленно набросились на судью с требованиями бежать за геомантом и искать место для нового кладбища. Не сдержавшись, судья наорал на жен и сестру, а служанки — те вообще попрятались по углам, едва лицо выездного следователя стало наливаться нехорошим багрянцем. С трудом удалось извлечь одну из ее тайного убежища в чулане и приказать нести ужин.

Сидя в ожидании трапезы и с трудом успокаиваясь, судья думал: зря он все-таки не задержал расторопного геоманта! Правда, у того не иначе крылья выросли — оставалось загадкой,

как он успел побывать в доме судьи и сообщить о случившемся его родне?

А потом удивительная мысль, зародившаяся в голове выездного следователя при подходе к дому, снова вернулась в облюбованную ей голову и даже более или менее оформилась. И судья совершенно явственно подумал, что все свалившиеся на него несчастья, начиная от избиения Вэня и его же пристрастия к опиуму, включая перерезание становой жилы их родового кладбища, и заканчивая беспорядками в Нинго и болезнью Сына Неба, — так вот, все эти несчастья отнюдь не случайны и, похоже, имеют своей целью любым путем не дать высокоуважаемому сянъигуну довести до конца начатое им расследование или хотя бы составить промежуточный доклад и отправить его куда следует.

Мысль была длинная и совершенно невероятная.

Судья Бао думал эту удивительную мысль, подозрительно хихикая, — ибо не может быть, чтобы «Безумие Будды» поразило Сына Неба исключительно для того, чтобы не дать выездному следователю Бао...

Принесли ужин. Судья отдал должное тушеной утке под острым соусом по-сычуанъски, с немалым удовольствием обсасывая утиные косточки и все же одновременно размышляя над предстоящим докладом.

Вот тут-то судья Бао и ощутил некое раздвоение личности: вроде бы он — все тот же выездной следователь Бао, который сидит у себя дома и ест утку по-сычуаньски; но в то же время он — еще кто-то! Этот незваный «кто-то» властно надвинулся, оттеснив судью Бао в сторону, — и перед глазами человека, который мгновение назад был выездным следователем, полыхнула сталь...

***

...Полыхнула сталь, и помощник цензора Е Чжу понял: засада! Не зря предупреждали и господина цензора, и его самого: не езжайте по Фучжоуской дороге, неладно там! И ведь правы оказались умные люди — еще неизвестно, случайные ли это разбойнички или...

Первый удар помощник цензора отбил вполне успешно и, не дожидаясь второго, наискось полоснул выхваченным тесаком по груди вновь замахнувшегося удальца. Разбойник захрипел,

пошатнулся, пытаясь зажать ладонью разваливавшуюся на глазах рану — но в следующий момент хрипел уже и господин Е Чжу, потому что вокруг его шеи обвилась тугая волосяная петля. В глазах потемнело, а высокий худой человек с длинной косой, оскалясь, все тянул веревку на себя, но Е Чжу нашел в себе силы поднять непослушную руку вместе со ставшим непомерно тяжелым тесаком и обрушил тяжесть отточенного клинка на душившую его веревку...

***

— ...Веревку намыль, — коротко бросил угрюмый палач своему молодому помощнику.

— Сию минуту, господин Ши-цю, — отозвался помощник и принялся старательно выполнять указание.

Ху Сюй знал, что невиновен. Он также знал, что это никого не интересует. Приговор уже вынесен: публичная казнь через повешение. И подлец Цзо останется безнаказанным, а невиновного Ху Сюя...

Палач рывком поднял приговоренного на ноги, подвел к деревянному чурбану, над которым молодой помощник уже прилаживал свеженамыленную петлю.

— Подыми повыше, — буркнул палач. — Не видишь, какой он длинный? — Ногами по помосту скрести будет! А нам сказано: без мучений...

На глаза Ху Сюя навернулись слезы. Конечно, невинно казненному положено хорошее перерождение, но Ху Сюй совсем не возражал пожить еще в этом, нынешнем. Ему было страшно, и обидно, и жалко себя и жену с маленьким Цзи на руках, застывшим взглядом следившую, как ее любимого мужа подводят к деревянному чурбану, как ему накидывают петлю на шею, а сюцай из судейского приказа нудным голосом зачитывает приговор... Жена еще не верила, что все это — всерьез, что ее Ху сейчас не станет!

Наивная женщина!

Сюцай дочитал приговор и махнул рукой палачу. Палач шагнул ближе, взглянул в лицо приговоренному, спешно отвел глаза, развел руками — что, мол, я могу поделать? — и занес ногу,

И в этот самый момент на площадь вылетел, вздымая пыль, всадник на взмыленной (как петля) лошади. Его хриплый крик

разорвал зависшую над местом казни напряженную тишину:

— Отменить! Приказано отменить казнь!

Но нога палача уже двигалась к деревянному чурбану, на котором стоял окаменевший Ху Сюй. Опора ушла у казнимого из-под ног...

***

...Земля ушла у него из-под ног, осыпаясь сухими комьями, перед глазами стремительно мелькнул обрывистый берег, источенный дырами птичьих норок-гнезд, — и вода обжигающе ударила в спину, вышибая дыхание, швырнула, завертела и потащила вниз, к водопаду. Тяжелая, мгновенно намокшая одежда тянула на дно, он отчаянно бил руками по воде-убийце, как бьют смертельного врага, выныривая, судорожно глотал воздух; но рев водопада становился все ближе, и вместе с ним тонущего захлестывала волна черного, отнимающего волю и разум ужаса. Он кричал, захлебываясь водой и собственным криком, — и неожиданно ощутил...

***

...И неожиданно ощутил, как крепкая, словно высеченная из дерева, жилистая рука вцепилась в него, не давая пойти ко дну. Судья Бао мертвой хваткой стиснул эту спасительную руку, медленно, с усилием вытаскивавшую его из бурлящего потока. Несколько долгих секунд выездной следователь приходил в себя, пытаясь отдышаться и машинально подгребая свободной ладонью, потом проморгался и взглянул вверх, дабы увидеть своего спасителя.

Непомерно длинная конечность, обвитая вздувшимися от напряжения жилами, «росла» (иного слова судье на ум не пришло) прямо из неба, и утопающему следователю на миг пришло в голову: если загадочная рука все же вытащит его из реки (на что высокоуважаемый сянъигун искренне надеялся), то не вознесется ли он вместе с рукой-спасительницей прямо на Небо Тридцати Трех Будд?

А потом судья увидел нечто до боли знакомое: предплечье

державшей его руки обвивал старый приятель-дракон!

В следующее мгновение что-то с силой опустилось прямо на макушку судьи, и выездной следователь снова с головой ушел под воду, едва успев заглотнуть немного воздуха.

Рука с драконом на предплечье опять рванула его вверх, едва не вывихнув плечевой сустав, — и, оказавшись на поверхности, судья Бао разглядел опускающуюся к нему вторую руку с изображением скалящегося тигра.

Удар!

В глазах темнеет, и клокочущая пеной вода смыкается над его головой.

Рывок!

Дракон!

Тигр!

Схватка двух хищников за... добычу?

Вытягивающая жилы боль отдается во всем теле. В глаза бьет ослепительно яркое солнце; еще один судорожный глоток воздуха.

Удар.

Нет, долго он так не выдержит. В висках уже гудит, сознание мутится...

Рывок!

Сухожилия, кажется, сейчас порвутся!

Скорее от отчаяния, чем на что-то надеясь, судья из последних сил наносит хлесткий удар по стремительно падающей на него руке с изображением тигра. И немедленно рука, обвитая драконом, на миг выпускает выездного следователя и мозолистым ребром ладони рубит руку-соперницу.

Высокоуважаемый сянъигун при виде этого воет разъяренным зверем и тут же ощущает, что взлетает в воздух...

***

...Воздух! Хоть глоток свежего воздуха! Скорее!

Что-то гулко хлопает выездного следователя по спине, и склизкий кусок утиной гузки, которым подавился судья, чуть ли не со свистом вылетает из его широко раскрытого рта. Кашель сотрясает все грузное тело почтенного хозяина дома, воздух с хрипом врывается в изнемогающие легкие, и некоторое время судья Бао дышит. Просто дышит, откинувшись на спинку кресла и наслаждаясь тем, что он жив и может вдыхать упоительно свежий

воздух.

Только потом приходит боль в горле. Выездной следователь наконец открывает глаза и видит перед собой испуганное лицо слуги, столь своевременно пришедшего на помощь своему господину.

— Спасибо, Ли. Со мной уже все в порядке, — с трудом говорит судья Бао.

Он сам не уверен, что сказанное — правда.

6

Сон все никак не шел к выездному следователю, раскинувшемуся на ложе. Сон пугался лица человека в смятых простынях, а человек заново переживал события сегодняшнего дня и размышлял над тем, какое отношение могут иметь они к проводимому им следствию.

Некое чувство, которое, пожалуй, можно было бы назвать интуицией, подсказывало человеку, что — самое непосредственное.

А судья Бао, как известно, привык доверять этому не раз выручавшему его чувству.

Что касается цепочки видений, посетивших достойного сянъигуна, пока он давился утиной гузкой, то тут явно пахло «Безумием Будды». Осталось понять, почему оно столь быстро отступило, практически без всяких последствий?! Выездной следователь еще раз прислушался к своим ощущениям. Нет, никого постороннего внутри его не было.

Что же это получается? Если насланные на него видения (а в том, что они насланы, судья практически не сомневался) чуть было не погубили выездного следователя, значит, и остальные неприятности последнего времени — дело тех же могущественных и вездесущих рук? Рук, украшенных изображениями тигра и дракона, которые по своему усмотрению роются в адских канцеляриях, перекраивают людские судьбы, да и вообще жизнь всей Поднебесной?! Вот и до его скромной персоны добрались...

Но, с другой стороны, выездной следователь хорошо помнил, как «драконья» рука боролась с «тигриной», пытаясь спасти его, судьи Бао, драгоценную жизнь!

Значит, руки не всегда заодно или этих рук больше, чем две; или... Значит, есть и другая сила, которой позарез нужно, чтобы

судья довел до конца порученное ему дело!

Конечно, выездному следователю лестно было сознавать, что на его стороне не только Закон и Долг и поддержка Князя Преисподней, но также и таинственная сила, спасшая его сегодня. Хотя судья предпочел бы знать, с чем (или с кем) он имеет дело. Бывает, что и у государя семь весен в году...

Однако сегодня татуированные руки сражались между собой!

Противоборство двух устремлений?

Или же внутри одной и той же силы начался разлад, свидетелем которому оказался судья? В глубинах неизвестного вызрел зародыш противоречия — как в сокровенных утробах женского начала инь всегда содержится семя мужского огня ян, и наоборот?!

Что это было — борьба внутри или борьба между?

И если внутри — то внутри чего или кого?

А если между — то между кем или чем?

Судья понимал, что ему не ответить на эти скорее, философские, чем криминальные, вопросы; но в последнее время они все больше становились вопросами жизни и смерти.

В том числе и его собственной.

Наконец он заснул.

7

Ничего инфернального, чего втайне ожидал и боялся судья Бао, не было. Ни черного базальтового плато, ни трехглазого привратника-взяточника, ни утомительного спуска в глубины ада Фэньду...

Казалось: вот только что в очередной раз смежил веки, надеясь на забытье, — и уже к судье спешит, ловко лавируя меж столами, тигроглавый адский булан, а сам выездной следователь оторопело моргает и разглядывает...

Нет, сперва не потустороннюю канцелярию.

Себя.

Вместо уютных ночных одежд на судье была такая же фиолетовая с золотом накидка, как и на тигроглавом, голову покрыла чиновничья шляпа, у пояса болталась табличка из слоновой кости, а кисти и бляхи широкого пояса поражали тонкостью выделки.

Опытному глазу судьи все это говорило о многом. Во-первых, чином и рангом он, несомненно, равен тигроглавому; во-вторых,

князь Янь-ван с первых же минут хочет намекнуть поводу работнику, что возлагает на него определенные надежды и в случае оправдания этих надежд не поскупится; в-третьих...

— Мой дорогой коллега! — самым приветливым образом рыкнул тигроглавый. — Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас в добром здравии и готовым приступить к вашей... э-э-э... деятельности! Располагайтесь, чувствуйте себя как дома! Может быть, чаю? Черного, зеленого, желтого, красного? Темно-голубого?

Про темно-голубой чай судья Бао слышал впервые и пробовать его отнюдь не собирался.

— Не соблаговолит ли господин булан объяснить позднорожденному, в чем состоят мелкие обязанности последнего? — склонив голову, поинтересовался выездной следователь.

Похоже было, что тигроглавый обиделся.

Он долго и пространно стал объяснять судье, что считает излишними церемонии между двумя столь выдающимися существами, как он и его новый коллега, что доверие Янь-вана уравнивает всех: людей, демонов и не поддающихся классификации созданий Третьего Мира — этот мир был знаком судье не более чем голубой чай; а также что обязанности достопочтенного Господина, Поддерживающего Неустрашимость заключаются лишь в одном.

Господин должен смотреть.

И, заметив где-нибудь непоседливые руки, таскающие свитки с записями деяний, уведомлять об этом ближайшего чиновника.

— Но для того чтобы смотреть, я должен иметь доступ в разные отделы местных канцелярий? — Судья представил себе прелесть пеших прогулок по Преисподней и содрогнулся.

— Разумеется! — просиял тигроглавый. — Куда угодно! Когда угодно!

— Тогда каким образом...

— Самым простым! Наипростейшим! Идите — и придете!

— А... куда идти?

Судье на миг представилось, что тигроглавый сейчас рявкнет и подробно объяснит, куда именно судья Бао должен идти со своими вопросами.

Вопреки опасениям, выяснилось, что идти и впрямь можно куда угодно. Достаточно только коснуться таблички на поясе судьи и шагать — хоть в дверь, хоть в стену, хоть в картину на стене, лишь бы при этом представлять в уме, куда желательно прийти.

Так что первое недоразумение завершилось самым лучшим

образом.

За исключением того, что судья Бао понятия не имел, куда бы ему направиться, и решил пока остаться в канцелярии тигроглавого. Не приведи Янь-ван, заблудишься и потом до скончания вечности украшай своей печенкой какое-нибудь смоляное озеро!

Лишь теперь выездной следователь обратил внимание, что канцелярия пустует. Ни Серебряной Рыбки, ни медведеобразного черта-лоча... да и сам господин булан заторопился и сказал, что спешит на совещание, а посему вынужден оставить уважаемого коллегу в одиночестве.

И еще раз предложил не стесняться. Оставшись в одиночестве, судья Бао некоторое время бродил по канцелярии — особенно надолго задержавшись у черепа с тушью и любуясь филигранно вырезанным темечком и роскошной отделкой лба и скул. Когда же он принялся разглядывать стеллажи со свитками, то внимание его привлек дальний левый стеллаж с внушительной надписью сбоку: «ВЗЫСКАНИЯ».

— Древо-демон опасался, что с него взыщут за пропажу свитков, — пробормотал судья Бао. — И таки взыскали бы... Интересно, можно ли определить, с какого времени начались подобные взыскания?

Взяв верхний свиток, он присел за ближайший столик и принялся изучать записи. К счастью, на свитках первым делом были указаны даты, и найти нужные бумаги оказалось легче легкого. Хотя первый свиток относился к началу эпохи Сун и ничем не мог помочь выездному следователю, вскоре вокруг нового канцеляриста возвышалась гора бумаг за последние сто лет.

Более ранние сроки судью пока что не интересовали.

«Вымогательства в Палате Расчленений»... — опустим... «Попытка подкупа сменщика Стеклянной Горы с целью в рабочее время...» — тоже опустим... «Преступная небрежность, выразившаяся в проникновении в ад Одиночества...» — ерунда...

— Да что ж вы глаза-то портите! — прогудело над ухом.

Судья вздрогнул. Рядом стоял уже знакомый по первому посещению черт-лоча и приветливо улыбался. Хотя лучше бы он этого не делал.

— Это делается так. — Рогато-шипастый служака взял с ближайшего стола мухобойку из оленьего хвоста. — Смотрите...

И хлестнул мухобойкой по иероглифам «Вымогательства в Палате Расчленений».

Мигом свиток расстелился на столешнице, ударенные знаки замерцали, дрогнули — и поверх бумаги возникла картинка:

толстый якша-стражник с гордо торчащим... нет, вначале показалось, что копьем, а потом выяснилось, что мужским достоинством! — требует чего-то у женской головы и трех левых рук, лежавших перед ним на полу.

Зрелище не произвело на судью Бао эстетического впечатления.

Зато путем подробных расспросов черта-лоча выяснился способ пользования удивительной мухобойкой: хлестнешь знак — смотри картинку, хлестнешь дважды — задвигается, хлестнешь обратной стороной — поползет поперек времени обратно, ткнешь концом рукояти — замрет...

Наконец похожий на медведя советчик опомнился и исчез, а судья Бао перед самым его исчезновением успел поинтересоваться: когда же все-таки начались в аду безобразия с путаницей в перерождениях?

Ответить черт не успел, зато оставшийся в воздухе мохнатый палец ткнул в одну из полок облюбованного судьей стеллажа — и растворился вслед за владельцем.

Часа через три, когда в глазах рябило от самодвижущихся картинок, судья твердо установил: время начала безобразий отстоит от сегодняшнего дня примерно на шестьдесят пять лет.

Как раз тогда патриарх Шаолиньской обители послал на помощь «красным повязкам» шестерых монахов-воителей — и вскоре затяжная война с монголами сдвинулась с мертвой точки.

Судья Бао был практиком. И в его сознании трудно укладывалось, что шестеро даже самых великих мастеров воинского искусства могут за столь короткий срок сильно повлиять на ход сражений. Неплохо было бы просмотреть жития этих мастеров или хотя бы их участие в войне...

Но как?

— Обитель близ горы Сун, — громко выпалил судья в пространство. — Материалы по сэн-бинам, отправленным в армию Чжу Юаньчжана.

И погладил именную табличку из слоновой кости.

О чудо! Мигом на стол прямо из воздуха шлепнулись три свитка, и поверх каждого пламенела надпись: «Шаолинь-сы».

Судья Бао оценил удобства работы в аду и продолжил поиски.

8

Еще через несколько часов весьма плодотворной работы,

вконец ошалев от мелькания картин, выездной следователь точно знал: учитель Лань Даосина был прав, утверждая, что Закон Кармы взбаламутили во время последних битв с монголами. Первый вал взысканий по поводу безвременно исчезнувших свитков обрушился на Преисподнюю как раз в эти дни — примерно через месяц после сражения у озера Желтого Дракона, где на стороне восставших впервые выступили присланные монахи-воители.

Само сражение судья просмотрел трижды; последний раз, выяснив, что похлопывание мухобойкой по ладони вызывает замедление происходящего, — крайне внимательно, шаг за шагом, удар за ударом.

Особенно на него произвел впечатление молоденький инок, служка одного из сэн-бинов. Получив удар копьем в рот, инок умудрился перекусить древко у самого наконечника и растерзать монгола-копейщика голыми руками — после чего был отбит своими и в самом ближайшем времени доставлен обратно в обитель.

Повинуясь неясному порыву, судья просмотрел дальнейшую судьбу инока — звали того, как выяснилось, Фэном и был он жив до сих пор. Судья же отметил про себя две несомненные странности: очухавшийся от страшного ранения инок, едва успев встать на ноги, обзавелся деревянным диском, где углем писал иероглифы «цзин» и «жань»... а также в момент написания на диске самого первого иероглифа картинка затуманилась, последовала вспышка — и довольно долго ничего не было видно.

Потом Фэн со своим диском обнаружился уже на монастырской кухне.

И вспышки, мешающие наблюдению, стали происходить вокруг уродливого повара все чаще и чаще.

Судьба же монахов-воителей, напротив, ничем особенным не отличалась: битвы, обучение восставших воинскому мастерству, победы, воцарение династии Мин и распределение сановных шапок среди достойных иерархов Шаолиня, формирование тайной канцелярии...

Нет, ничего особенного.

Если не считать особенным возможность просмотреть во всех подробностях жизнь давно умерших людей.

Зато повар Фэн, престарелый урод с диском...

***

Судья сам не заметил, как проснулся.

В окно било солнце, Преисподняя казалась сном — правда, на удивление реальным, — а во дворе садовник подрезал кусты чайных роз.

Спустя час, умывшись и позавтракав, судья Бао сел писать доклады: усеченный — для принца Чжоу и более полный — для Столицы. Чувствовал же себя достойный сянъигун на удивление бодрым и выспавшимся.

Правда, забывшись, он время от времени хлопал своей любимой мухобойкой по бумаге и очень удивлялся, когда иероглифы отказывались оживать.

А к полудню судью отвлек шум во дворе, у самых ворот. Привратник наотрез отказывался впускать в дом такого уважаемого человека, как судья Бао, такого неуважаемого человека, как оборванец, буянивший у входа.

Оборванец скандалил и размахивал детским флажком: синим, с косо вырезанными углами.

При одном виде этого флажка выездной следователь самострельным шариком вылетел во двор, отогнал бдительного привратника — и вскоре оборванец гордо удалился, получив в обмен на дурацкий флажок пять серебряных лянов.

Оборванец уже не первый год жил в хибаре на южной окраине города и не первый год получал жалованье за одно, совершенно пустячное действие.

Он должен был регулярно заглядывать в ласточкино гнездо под стрехой своей хибары и в случае обнаружения там флажка давать знать судье Бао.

Флажок означал для выездного следователя одно: «Посланный им лазутчик — в городе!»

И ждет встречи в условленном месте.

Осталось только выяснить — брать ли на встречу даоса? Это в корне противоречило канону Сунь-цзы, главе о лазутчиках и способах их употребления, но согласовывалось с последними размышлениями судьи.

Так ничего не решив, судья Бао отправился к Железной Шапке.

***

В жилище даоса творилось невообразимое. Лань Даосин

заталкивал в чайник нечто большое и истошно верещащее.

Нечто в чайник не хотело.

— У тебя неприятности?! — заорал даос на судью, едва тот застыл на пороге, не успев даже рта раскрыть. — У тебя Западный Рай и лазоревые облака! Понял?! Неприятности у него...

Стоявший рядом с Железной Шапкой ослик-философ подцепил хвостом крышку и ловко нахлобучил ее на чайник.

Стало тихо.

— Я еще ничего не сказал... — пробормотал судья Бао. — Но если я не вовремя...

— Да? — удивился даос. — А кто только что на жизнь жаловался?

— Не я, — уверенно заявил судья.

— Не ты? — еще раз удивился даос. — Ну, значит, мне послышалось. Заходи, заходи, не стой на пороге...

И судья Бао понял, что возьмет Лань Даосина на встречу со Змеенышем.

Обязательно.

Даже вместе с чайником.

Глава восьмая

1

— Эй, почтенные! — во всю глотку возопил заезжий чародей, изрыгнув перед этим сноп синего огня. — Эй, преисполненные восьмидесяти восьми добродетелей! Да неужто вы так и проживете всю жизнь, не узрев истинных чудес и невероятных превращений?! Неужто нечего будет вам рассказать малым внукам, когда они спросят вас: что, милый дедушка, ты и впрямь, будучи в славном Нинго, поскупился дать великому магу по прозвищу Расколотая Гора хотя бы один медный (а лучше серебряный) лянчик?! Идите, смотрите и потом до конца ваших дней, да будут они длиннее русла Желтой реки, вспоминайте и цокайте языками!

Мальчик-ученик у ног Расколотой Горы застучал колотушкой, присоседившийся слепец-гадатель в надежде и самому заполучить медяк-другой усердно принялся бить в рыбий барабанчик* [Рыбий барабанчик — коленце бамбука, с обеих сторон затянутое рыбьей кожей.], а толпа собравшихся зевак разочарованно загудела.

Удивить кого-либо из нингоусцев глотанием мечей или

огненной отрыжкой было трудно; еще труднее было заставить их раскошелиться.

И Расколотая Гора понял: если он сейчас не раскачает местных скупердяев, то ему в ближайшие дни придется довольствоваться черствой лепешкой и бобовым сыром, а о нежных маньтоу с начинкой из куриного мяса и овощей он будет вспоминать исключительно в снах.

Просыпаясь от бурчания в желудке.

— Ну что ж, придется мне показать вам всю глубину постижения мною Безначального Дао и, как говорится, смешать в одном чайнике Небо и Землю! Ведом ли кому-нибудь из вас величайший трюк с золотым котлом и головой юноши?

Зеваки, собравшиеся поначалу расходиться, неуверенно затоптались на месте, а кое-кто даже швырнул в плошку чародея несколько мелких монет.

— Мало кто может похвастаться, что видел это деяние, достойное небожителей; и уж почти никто не может гордо заявить: я способен сотворить его! Потому что нужен для этого золотой котел и желтый дракон, бобовое зернышко и кипящая вода, а также отрубленная голова отрока, не достигшего полной мужской зрелости! Но не пугайтесь, почтенные, и не спешите звать Быстроруких, стражников ямыня: по истечении колдовства отрок сей встанет живехонек-здоровехонек, и вся дальнейшая жизнь его будет проходить под знаком Старца Шоусина, Звезды Долголетия! Итак?

Золотого котла не нашлось даже в близлежащей харчевне — что крайне возмутило требовательного чародея, — и пришлось удовольствоваться котлом обыкновенным, изрядно закопченным, на который спешно наклеили пять полосок золоченой фольги, благо последней было навалом и стоила она сущие пустяки. Желтого дракона, олицетворявшего ни много ни мало самого Сына Неба, также не обнаружилось — как это ни странно, император пребывал себе в Бэйцзине, а не спешил в Нинго любоваться проделками Расколотой Горы. Оплошавшего Сына Неба на скорую руку заменили каким-то «ветротекучим»* [Ветротекучий — авантюрист.] господином, сказавшимся служащим областной управы; ну а воды, Дров для костра и бобовых зернышек было предостаточно.

Когда содержимое котла закипело, чародей прекратил свои немелодичные заклинания, извлек откуда-то из-за пазухи огромный меч да-дао, неизвестно как там поместившийся, воинственно взмахнул им и воскликнул:

— Ох, будет пиршество для лезвия-дружка; ох, и покатится чья-то голова на землю, а там и в крутой кипяточек! Будет

плясать головушка по бурлящему озерцу, будет песни петь и рассказывать поучительные истории былых времен — подмигнет глазом, ухмыльнется алым ртом, блеснет белоснежными зубками! Кто увидит-услышит, в течение пяти жизней не забудет! А подайте-ка мне сюда отрока непорочного!

Увы, отрока не подали.

А те несколько юнцов-зевак, что худо-бедно могли сойти за отроков непорочных, отговорились тайными пороками и отступили в задние ряды.

И то сказать: голова своя, не дядей даренная.

— Да неужели не найду я, бедный волшебник, нужного человека? — возвысил голос Расколотая Гора, внутренне посмеиваясь. — Ну что ж, если так, то придется мне, недостойному, вырастить прямо из кипятка бобовое дерево до самого Лунного Зайца и этим ограничиться в надежде на вашу щедрость!

— Ну почему же ограничиться? — раздался чей-то низкий, рокочущий голос. — Есть у меня отрок, да к тому же отрок-инок, а значит, пороков на нем не больше, чем блох на солнце! Давай, чародей, приступай!

И тощий жилистый монах, одетый в ярко-оранжевую кашью, вытолкнул вперед совсем еще молоденького монашка в дорожной черной хламиде.

— Великий наставник, — взмолился несчастный, падая на колени, — смилуйтесь, не заставляйте голову терять! Вот вернетесь вы в обитель, спросит у вас патриарх: а куда вы, преподобный Бань, дели инока Цая, что вы ответствуете отцу-вероучителю?!

Монах в кашье только расхохотался и легонько пихнул юношу в спину — заставив птицей пролететь все расстояние от передних рядов до закипающего на разложенном огне котла.

Малость опешивший Расколотая Гора заплясал вокруг монашка, истово размахивая мечом.

— Ох, и полетит головушка в кипяточек! — орал он, изрядно повторяясь и на ходу раздумывая, как выпутаться из неприятного положения. Меч сверкал в воздухе, испуганный инок жался к котлу, рыбий барабанчик и колотушка стучали не переставая и в тот самый момент, когда Расколотая Гора окончательно прижал монашка к кострищу, попутно сыпанув в кипяток пригоршню ароматного зелья...

Пятицветная вспышка заставила всех на миг зажмуриться, а когда зрение вновь вернулось к нингоусцам, юного инока как черепаха языком слизала, а на кипящей поверхности воды плясала высушенная голова здоровенной гадюки, игриво вывалив

наружу черное жало.

— Свершилось! — сорванным голосом сообщил чародей, весьма удивленный таким оборотом дела, и был немедленно схвачен за отвороты халата монахом в оранжевой кашье.

Вроде бы и держал монах не очень крепко, и руки преподобного были худыми и на вид слабосильными, да только Расколотой Горе не нужно было объяснять: чуть-чуть озлится преподобный, и вывалится чародейский язык почище гадючьего!

Никакой меч не поможет: только отразится в клинке страшное тавро, что выжжено на монашьих руках, и враз разломится лезвие от страха на тридцать три части!

— Где мой спутник? — свистящим шепотом поинтересовался монах. — Не медли, уважаемый, отвечай, добром прошу!

— В... в чертогах Желтых Источников, — просипел полузадушенный чародей первое, что пришло ему в голову. — По приглашению самого Господина Тайбо, Хозяина Золотой Звезды! Забыл я, ничтожный, что идущих по Пути Будды бережет от чародейства их тяга к истинному просветлению, — вот и наказал меня Господин Тайбо за самонадеянность! Вы не беспокойтесь, преподобный отец, вернется ваш досточтимый спутник, к ужину и вернется, вы уж не сомневайтесь!

Если Расколотая Гора в чем и не сомневался, так это в том, что к ужину и духу его в Нинго не будет.

Монах разжал свою мертвую хватку и быстро пошел прочь.

Зеваки смотрели ему вслед и ругали преподобного за то, что сам подставил отрока, а теперь еще и хватает порядочных людей за горло; чародея ругали за оборванный на самом интересном трюк, себя же хвалили за проницательность — никто и не подумал платить) Расколотой Горе до окончания зрелища, чем все и были весьма довольны.

***

Стоявший у западного угла харчевни Змееныш Цай тоже был доволен.

Преподобный Бань очень вовремя решил пошутить, забыв, что у каждой шутки есть вторая, шершавая половинка.

До ужина у лазутчика жизни оставалась уйма времени.

2

За две недели с лишним, в течение которых монах из тайной службы и Змееныш Цай двигались через провинцию Хэнань, от обители близ горы Сун к Нинго, — за это время лазутчик жизни понял одну очень простую истину.

Он понял, что преподобный Бань — самый опасный человек из всех, когда-либо попадавшихся Змеенышу на пути.

Лазутчик мог утешаться только тем, что он и сам далеко не подарок Яшмового Владыки.

Весь первый день они молчали и шли.

Ночью Змееныш встал — остановились они на небольшой почтовой станции — и нарочито шумно отправился во двор, незаметно прихватив мешочек со снадобьями. К счастью, во дворе оказался укромный закуток, между коновязью и амбаром, так что лазутчик сумел наскоро проделать все необходимые для себя действия и так же шумно вернуться в отведенную им комнатушку.

Он ожидал недовольного ворчания, вопросов относительно того, куда это он шляется на ночь глядя; он ожидал попыток со стороны Баня исподтишка понаблюдать за ним...

Ничего подобного.

Преподобный Бань даже не проснулся.

Весь второй день они молчали и шли.

Весь третий — тоже.

К концу недели их согласились подвезти купцы из Синьганского уезда, везущие в Нинго шелк и ароматные притирания в надежде на хорошие барыши.

— Наставник, — спросил Змееныш со всей наивностью, на какую был способен, присев на край повозки рядом с преподобным Банем, — а когда вы будете меня учить?

Монах ничего не ответил.

А к вечеру неожиданно сказал:

— Когда патриарх Бодхидхарма решил покинуть обитель...

***

Когда после многих лет, проведенных в Шаолиньской обители, Бодхидхарма решил покинуть Поднебесную, он перед уходом собрал вокруг лучших учеников, дабы выяснить: что же они поняли, учась у него?

Первый ученик сказал:

— Истина находится вне «да» и «нет»; утверждение или

отрицание — лишь путь для истины. Учитель кивнул и ответил:

— У тебя моя кожа. Второй ученик сказал:

— Истина подобна взгляду подвижника Ананды на Землю Будды — он увидел ее однажды и навеки. Учитель кивнул и ответил:

— У тебя моя плоть. Третий ученик сказал:

— Истина лежит вне вещей и реальности, ибо они лишь затемняют ее. Лишь дух есть подлинная истина и реальность.

Учитель кивнул и ответил:

— У тебя мои кости.

И наконец последний ученик поклонился Бодхидхарме, улыбнулся и промолчал.

Учитель улыбнулся в ответ и и сказал:

— У тебя моя суть.

...И до темноты преподобный Бань опять не произнес ни единого слова.

А Змееныш думал, что сегодня он узнал про учение Чань больше, чем за всю свою жизнь. Лазутчик никогда не отличался религиозным подвижничеством: с людьми Дао он был даосом, с людьми Будды говорил о прозрении, кланялся и слушал высокомудрые рассуждения последователей Кун-цзы, с крестьянами и простолюдинами возносил мольбы Старцу Шоусину или персиковой метелкой гонял духа морового поветрия — но это была просто смена окраски, как у древесной пучеглазой ящерки.

Истина в молчании, потому что слова...

Всего лишь слова.

Костыли духа.

И та истина, за которой Змееныш явился в обитель; истина о мертвых руках с тигром и драконом, истина о запредельном и нереальном тоже лежит в молчании — в том, о чем не говорят.

И, возможно, даже успели позабыть.

Тайна нелепых поступков и трупных пятен вполне способна уходить корнями в почти тысячелетнее прошлое, когда Бородатый Варвар делал Шаолинь тем, чем монастырь стал; когда учил не доверять словам и знакам, а доверять своему сердцу и «рукам восемнадцати архатов»; когда на предплечьях впервые выжигалось клеймо тигра и дракона, а лихие люди Хэнаня стали предпочитать встречу с отрядом вооруженных стражников встрече с монахом малоизвестной в то время обители; и, наконец, когда тогдашний Сын Неба, прослышав о смерти патриарха, самонадеянно велел раскопать его могилу и вскрыть гроб, но там оказалась всего лишь старая сандалия.

Где окончил свои дни Бородатый Варвар, неукротимый

Бодхидхарма, ревностный Пути Дамо, сын раджи Сугандхи?

В Гималаях, где его видели едущим верхом на тигре?

В Стране Восходящего Солнца, где его встречали одиноко бредущим по дороге?

У диких вьетов, уверявших, что именно у них не раз появлялся Святой-в-одной-сандалии?

Какая разница...

«Может, это и есть прозрение?» — подумалось Змеенышу.

— Ты крепче, чем я ожидал, — неожиданно произнес преподобный Бань, одновременно принюхиваясь к просачивавшемуся сквозь ткань аромату притираний. — Девять из десяти юношей твоего возраста и телосложения еще в первый день к вечеру стали бы спотыкаться и на следующее утро запросили бы пощады. Это хорошо.

Повозка остановилась, и преподобный Бань пошел к хозяину постоялого двора договариваться о ночлеге.

А Змееныш смотрел ему вслед и понимал, что видит самого опасного человека своей жизни.

***

Наутро монах, не вставая с узенькой лежанки, метнул в голову поднявшегося Змееныша сразу два тапка.

И оба попали.

Преподобный Бань остался очень недоволен. В отличие от лазутчика, у которого были причины гордиться собой: тапки мелькнули в воздухе так внезапно и стремительно, что стоило большого труда ухватить за уздечку естественный, нутряной порыв и не дать руке отбить первый тапок, а телу — уклониться от второго. Пусть уж лучше монах будет недоволен, чем задает вопросы: отчего бы это его юный и самый безобидный из всех иноков спутник крепок телом и быстр движением?

У Змееныша был заготовлен ответ и на этот случай, но уж лучше обойтись без него.

Весь дальнейший путь, до самого Нинго, монах учил Змееныша дышать.

Только дышать, не заикаясь об основах Учения или о двенадцати канонических стойках, столь любимых патриархом и наставником Лю. Дышать беззвучно, воображая серебряную трубку вместо гортани; дышать шумно, подобно морскому прибою; дышать, раздувая живот при вдохе и опуская грудь при

выдохе; протяжно кричать — купцы, правда, быстренько попросили это прекратить, потому что лошади пугаются; дышать медленно, дышать резко, задерживая вдох, ускоряя выдох, делая паузу в самых неподходящих местах, дышать, дышать, дышать...

Змееныш честно дышал и думал, что если кто и нашел бы сразу общий язык, так это преподобный Бань и покойная бабка Цай. Мигом сошлись бы. И, наконец, они въехали в Нинго.

Глупый чародей подвернулся под руку как нельзя кстати; точно так же, как и желание преподобного Баня подшутить над своим спутником — монах, по-видимому, ничего не делал просто так, и в этой шутке тоже крылся особый, тайный смысл, но... Змееныш понимал, что судьба, иногда благосклонная к лазутчикам, дает ему неповторимый шанс уйти от монаха-убийцы, уйти законно, не подставив под удар собственную шею. Упустить такое? Ни за что!

Тем более что лазутчику кровь из носу надо было встретиться с судьей Бао и предупредить обо всем.

Если бы преподобный Бань видел выражение, мелькнувшее на лице самого безобидного из молодых монахов в тот момент, когда Змееныш вкладывал детский флажок в ласточкино гнездо под стрехой окраинной развалюхи, он бы сильно задумался, прежде чем идти с этим монашком в Бэйцзин, Северную Столицу.

Или наоборот — уверился в чем-то своем, сокровенном, и усмешливо сверкнул бы угольно-черными глазами.

3

Судья Бао привел на встречу постороннего.

Это нарушало все правила и договоренности, но Змееныш был в какой-то степени даже рад: ему казалось, что поступок судьи оправдывает поведение самого лазутчика, поведавшего о недозволенном Маленькому Архату.

Кроме того, посторонний сразу пришелся Змеенышу по душе, хотя излишней доверчивостью лазутчик жизни не страдал. Это оказался щуплый даос в драном халате из полосатой ткани и смешной железной шапке, похожей на рыбий хвост. Уж кто-кто, а Змееныш точно знал, что позволить себе выглядеть смешно и странно могут только люди воистину удивительные.

Сычуаньская парча ярка да цветаста, как глупость человеческая...

В комнату неслышно проскользнул Немой Братец, служка той

опиумокурильни, в задней комнатушке которой и была назначена встреча. Мало кто знал, что Немой Братец и есть настоящий хозяин-угуй этого притона, владеющий тайной биркой на территорию, а толстяк Бань по прозвищу Десять Тысяч нужен лишь для отвода глаз и вручения взяток Быстроруким. Но даже судья Бао не был осведомлен, что бирку на территорию Немой Братец получил лишь благодаря Змеенышу: когда вожаки Дымных Цветов хотели свернуть Немому Братцу шею, только гибель старшего Цветка, которого случайно ткнул пальцем в бок какой-то юнец-доходяга на городском базаре, отсрочила приговор. В результате Немой Братец не оплошал, шеи все-таки были свернуты, но совсем не те, что предполагалось вначале, а его опиумокурильня стала местом тайных встреч лазутчика.

И Змееныш ни на миг не сомневался: угуй опиумокурильни и отброс общества, Немой Братец скорее даст расчленить себя на семьдесят семь частей, чем сознается в своем знакомстве с лазутчиком.

Даже если знать, что немым Братец был только по прозвищу.

— Вечером я буду вынужден покинуть Нинго и отправиться в Северную Столицу, — устало сказал Змееныш Цай.

Притворяться было ни к чему, и судья Бао в очередной раз поразился: только что перед ним сидел невинный отрок-монах с юношеским пушком на щеках и вот уже за чашкой чая тянется ровесник высокоуважаемого сянъигуна, измотанный до предела и держащийся лишь на выучке и долге.

— Один? — спросил судья, не спрашивая: «Почему?»

Понимал: значит, надо.

— С преподобным Банем, — ответил Змееныш. — Я был отослан из обители по просьбе последнего, в качестве его сопровождающего.

И все трое надолго замолчали, прихлебывая крутозаваренный, слегка терпкий чай.

— Что ты сумел узнать? — спросил судья Бао.

— Немного, — отозвался Змееныш. — Я узнал, что на первых порах у монахов Шаолиня отбирают то, что мы зовем нравственностью или обыденной моралью «ли». Я узнал, что затем у иноков обители близ горы Сун отбирают обыденное сознание, которое странный малыш-инок назвал неизвестным, мне словом «логика». Взамен обыденных морали и сознания им дают способность жить не раздумывая, бить не промахиваясь, умение играть на железной флейте без отверстий и надежду на грядущее прозрение,

— Это все? — спросил даос.

— Это все, что я узнал. Впрочем, нет, не все. Еще я узнал, что

уродливый монастырский повар пишет на деревянном диске иероглифы «цзин» и «жань» (судью Бао передернуло), а также ходит в Лабиринте Манекенов как у себя дома. Следом за поваром Фэном идет ребенок в рясе по прозвищу Маленький Архат. Теперь — все. Смею ли я спросить: что узнали вы, достойный сянъигун?

— Я узнал, что в канцелярии Владыки Темного Приказа шарят невидимые демонам руки с уже знакомым нам клеймом, — невесело улыбнулся судья Бао.

— Это все? — спросил лазутчик, понимая, что сегодня можно спрашивать без церемоний.

— Нет, не все. Я узнал, что этими руками можно предупреждать неслучившееся. И что Сын Неба Юн Лэ, да продлятся его годы вечно... похоже, вскоре у нас будет новый император. Возможно, именно поэтому преподобный Бань отправляется в Северную Столицу. Теперь — все.

И все трое опять замолчали.

Судья Бао думал: стоит ли ему немедленно воспользоваться подвернувшейся возможностью и послать со Змеенышем в Столицу доклад о происходящем. Риск огромен, в первую голову для самого лазутчика, но если правильно составленный доклад попадет в руки... нет, на высочайшие руки достойный сянъигун и не рассчитывал! Просто бывший однокашник судьи Бао, преуспевший по службе, славился близостью к первому министру двора. Ума бывшему однокашнику было не занимать (не зря ж письмо прислал!), сообразительности — тоже; а старые приятельские отношения могли весьма поспособствовать правильному движению доклада. Все большую силу забирает в Поднебесной тайная служба монахов с клейменными руками, а ни одна повозка не сможет долго ехать, если одно колесо у нее гораздо объемистей прочих. Опять же: если Сын Неба и впрямь болен...

Железная Шапка думал: иногда судьбы мира зависят от таких ничтожных мелочей, что впору усомниться в правоте Безначального Дао, которое, как известно, не торопится, но всюду успевает. Интересно все же: что на этот раз скажет даосу, ввязавшемуся в суету сует, его учитель, небожитель Пэнлая, и не осердится ли за самовольство? И плохо ли то, что при виде двух измученных людей — судьи Бао и вот этого лазутчика — сердце даоса преисполняется скорбью и негодованием на жестокость бытия; а это уж вовсе недостойно бедного отшельника, собирающегося выплавить киноварную пилюлю бессмертия! Или все-таки достойно?

Змееныш Цай не думал ни о чем. Он просто наслаждался

редкой для него минутой отдыха, поскольку знал: прикажет судья Бао нести в Столицу весточку от высокоуважаемого сянъигуна, и надо будет нести.

Нести, а потом возвращаться, ибо лазутчики жизни — это те, кто возвращается.

4

— Где ты был?! — в сотый раз вопрошал преподобный Бань, кусая тонкие губы.

Угловатое лицо монаха напоминало сейчас лики архатов, искушаемых Властелином Иллюзий, князем Марой: бесстрастность боролась со страстями, и последние в данном случае побеждали.

— В чертогах, — честно отвечал Змееныш, не забывая кланяться. — В чертогах этих... как их?.. Желтых Источников. У Хозяина Золотой Звезды, господина Тайбо.

— В гостях? — не выдерживал Бань. — Чай пили?! Из фарфоровых чашек?!

— Воистину, все вам ведомо, наставник! — восторгался Змееныш проницательностью своего спутника. — В гостях и именно из фарфоровых чашек, хоть и трижды недостоин я оказанной мне чести! Но был введен безусым небожителем в чертог из белого нефрита, под чудесные напевы флейт и свирелей, после чего облачен лотосоглазыми девами в одеяния из лазоревых перьев и препровожден к господину Тайбо!

— Ну и как он выглядел, этот твой Тайбо? — не унимался дотошный Бань.

Видимо, он плохо представлял своего спутника в одеяниях из лазоревых перьев.

Расцветка не нравилась, что ли?

— О-о! — Змееныш закатил глаза и причмокнул. — Вид его был во всем подобен символу счастья! Шляпа господина Тайбо, изготовленная в форме венчика цветов сафлора, была украшена пластинами из полированной яшмы, одежда несказанной прелести подвязана желтым шнуром, на ногах красовались пурпурные туфли с загнутыми носками; а в руках господин Тайбо держал всемогущий жезл-жуи как знак того, что способен в мгновение ока достигнуть восьми сторон света.

— И многоцветные облака сопровождали небожителя, — обрывал затянувшееся описание преподобный Бань.

— Воистину, наставник, память ваша безгранична! Именно многоцветные облака и именно сопровождали! А потом господин Тайбо поведал мне, ничтожному, что в позапрошлой жизни был я одним из особо доверенных его слуг-любимцев, но разбил опрометчиво обожаемую вазу господина и был за сей проступок вынужден две жизни прожить среди смертных.

Змееныш помолчал, грустно глядя в пол.

— Вот и живу, — подытожил он. Монах только руками развел, глядя на это олицетворение скорби.

— Что еще говорил тебе господин Тайбо? — спросил преподобный Бань после некоторой паузы.

— Что если буду жить достойно, радуя его сердце и печень, то в этой жизни доживу до девяноста девяти лет, постигая учение Будды Шакьямуни. А если огорчу Хозяина Золотой Звезды — то он станет лично укорачивать нить моей судьбы, отрезая по десятилетию за раз! Я уж и молил, и на колени падал — ни в какую! Говорит: не скажу тебе, чем именно ты можешь меня огорчить, а просто стану наблюдать! И как огорчусь — сразу хвать бронзовые ножницы!..

Последняя идея пришла на ум Змеенышу только что и весьма ему понравилась. Ежели начнется у лазутчика безвременное старение, всегда можно будет свалить на гневного господина Тайбо.

А если Бань не поверит, пусть идет спрашивать Хозяина Золотой Звезды.

***

...Когда Змееныш покидал опиумокурильню Немого Братца и скрытно пробирался к постоялому двору, что близ Линьцинской заставы при въезде в город, где и остановился преподобный Бань по прибытии в Нинго, лазутчика не покидало ощущение слежки.

Замечать наблюдение за собой и уходить от него Змееныш умел еще с раннего детства, когда способность хотя бы на минутку выскользнуть из-под опеки бабки Цай вознаграждалась сдобной пышкой. Да и позднее наука эта не раз сослужила ему добрую службу — но сейчас творилось что-то странное. Лазутчик готов был поклясться, что ни одна живая душа не интересуется скромным монашком, но противный озноб не проходил, а под ложечкой сосало предчувствие неприятностей.

Это началось с того момента, когда он посвятил Маленького

Архата в подробности расследуемого дела и покинул обитель вместе с преподобным Банем. Первое, что сразу заметил Змееныш: раньше он сам никогда не вовлекался в поиски душой, честно выполняя порученную работу, но оставаясь внутри холодно-спокойным. Лазутчик, волнующийся по поводу исхода и не способный сойтись с врагом или пожертвовать союзником в случае необходимости, — это плохой лазутчик.

Это мертвый лазутчик.

Бабка Цай не раз говаривала, ссылаясь на своего сына и Змеенышева отца, Ушастого Цая, которого никто не знал в лицо:

— Тонкость! Тонкость! Мастер «листвы и ветра» равно спокойно жертвует врагом, другом и собой.

И, может быть, только благодаря этой тонкости Змееныш Цай дожил до сорока двух лет.

Но теперь... теперь Змееныш все чаще замечал за собой проявление человеческих чувств, мешающих сосредоточиться — словно на доселе чистом зеркале стали появляться туманные пятна от чьего-то дыхания.

Чьего?

Не самого ли лазутчика?!

И второе — именно с этого времени над ним будто разверзлось небо, явив немигающий глаз; куда бы Змееныш ни шел, что бы ни делал, он не мог избавиться от ощущения слежки. Слежки чуждой, при полном отсутствии интереса к лазутчику, как не интересуется кузнец пылью на копыте лошади, когда собирается набить подкову.

Смахнет походя или вообще поверх приколотит.

Змеенышу было очень трудно жить с этим глазом над головой.

***

Наконец преподобный Бань утомился и погнал своего самого безобидного инока к толстяку хозяину за переносной жаровенкой.

Змееныш обиженно вздохнул — дескать, не верят честному рассказу! — и спустился во двор, по дороге размышляя:

«Преподобный Бань числится в свите принца Чжоу, и, значит, у достойного монаха наверняка должны быть личные покои во дворце кровнородственного вана. Просто не может не быть! Даже учитывая то, что тайная служба приставила к принцу именно Баня только со дня возвращения Чжоу-вана в наново жалованный

удел. До того рядом с принцем Чжоу находился какой-то другой монах... впрочем, неважно. Значит, покои есть. Но мы останавливаемся на захудалом постоялом дворе, да еще и чуть ли не за городом, у Линьцинской заставы! И, думаю, не сегодня-завтра покинем Нинго. Не хочет, не хочет преподобный видеться с принцем — опалы ждет? Тогда чьей? Опалы вана в случае восшествия на престол нового Сына Неба; или опалы собственной? Станет ли новый император благоволить к тайной службе, как благоволит к ней государь Юн Лэ? Зачем мы идем в Бэйцзин — за пятицветной грамотой на чин или за кангой-колодкой и палаческими клещами в бок?!»

Змееныш сам удивлялся своей уверенности, что все это — от рук Восьмой Тетушки и бритой головы лазутчика до болезни государя Юн Лэ и немигающего глаза над головой — звенья одной цепи.

И цепь эта все туже обматывает Поднебесную.

5

— Я уже договорился с лодочником, — сказал преподобный Бань, выходя во двор.

Змееныш, спускавшийся следом, только поправил на плече дорожную котомку и покорно кивнул.

Ощущение слежки не пропало, а даже, наоборот, усилилось и давило на плечи гораздо хуже той же котомки.

Но никакой видимой опасности по-прежнему не наблюдалось.

Во дворе, рядом с пустыми повозками, хозяин постоялого двора во всю глотку торговался с синьганскими купцами. Последние уже успели на корню сдать весь свой товар местному перекупщику, получив барыш меньше, чем хотелось, но больше, чем предполагалось; вчерашней ночью удачная сделка была изрядно спрыснута, опустошено немереное количество чайничков с вином, часть барыша осела в рукавах нингоуских «красных юбок» — и можно было со спокойной совестью ехать дальше, пытать счастье купеческое.

Лодка, о которой говорил преподобный Бань, была нанята именно купцами. И теперь они договаривались с толстячком хозяином о цене за повозки и за тягловых волов. Договаривались, по всей видимости, давно и успешно — а шумели и рядились просто так, по привычке.

Что за торговля без крику и попыток хоть в чем-то надуть ближнего?

Змееныш подошел к колодцу и зло сплюнул: колодезный ворот валялся рядом со срубом. Зато крепежной цепи нигде видно не было. Бородатый коротышка-слуга, собравшийся чинить «кланяющегося отшельника», при помощи которого из колодца добывалась вода, куда-то делся, бросив работу на половине; и за водой надо было снова подниматься наверх.

Или идти на кухню и просить длинноязыких поварих.

Преподобный Бань, в свою очередь, подошел к купцам и хозяину, собираясь уточнить у владельцев повозок (уже бывших владельцев): если они вчера спьяну не возражали против попутчиков-монахов, то не будут ли возражать сегодня, на гудящую с похмелья голову?

Змеенышу было ясно, что преимуществами своего положения и грамотами тайной канцелярии, способными сделать покладистыми кого угодно, преподобный Бань пользоваться не собирается.

Что еще раз укрепило лазутчика в уверенности: его наставник подозревает, что путь в Столицу отнюдь не будет усеян лотосовыми лепестками, и в особенности — для людей всемогущего Чжан Во.

Который вскоре вполне может стать бывшим всемогущим...

Хотя, если не для чужих ушей, — Сыновей Неба много, а тайная служба одна!

«Для чего ж тебе я понадобился?» — обеспокоенно подумал Змееныш Цай.

То, чего он не понимал вначале, всегда на поверку оказывалось для лазутчика самым неприятным.

Неподалеку, рядом с коновязью, лежал прямо на песке один из купеческих возниц: простоватого вида парень с мозолистыми ручищами. Синюю кофту-безрукавку он нацепил прямо на голое тело, штаны забыл надеть вовсе, зато голову повязал цветастой косынкой, явно только вчера купленной. Прошлой ночью парень сильно перебрал — и винца, и певичек, — а значит, сегодня лежание на солнцепеке, по всем признакам, не должно было бы способствовать улучшению его самочувствия. Змееныш приблизился к вознице, заботливо тронул его за бугристое плечо, потом прикоснулся кончиками пальцев ко лбу...

Лоб был холодным.

Пальцы Змееныша быстро пробежались по шее парня. — нет, ни одна из жил не пульсировала.

Возница был мертв.

— Эй, — заорал лазутчик, пытаясь привлечь внимание

купцов, — эй, почтенные! Куда ж вы смотрите?! Вам не повозки продавать надо, вам...

«Вам место на кладбище покупать нужно», — хотел добавить Змееныш.

И не успел.

Ручища парня дернулась, раздавленным крабом поползла по песку, шевеля почему-то всего одним пальцем — указательным; замерла, опять двинулась, палец ковырнул песок, выгребая бороздку, другую...

Под ноготь воткнулась щепка-заноза; и эта мелочь вдруг заставила сердце Змееныша забиться вдвое чаще.

Хотя бы потому, что лицо парня по-прежнему оставалось лицом спящего или мертвого.

— Чего буянишь? — недовольно отозвался ближайший купец, прищуриваясь. Глазки у купца были такими мутными и окруженными после веселой ночки такими синячищами, что казались бельмами. Бельмастый еще раз недовольно оглядел Змееныша с головы до ног, не удостоив своего возницу даже словом, и повернулся к Баню.

— Вы б, наставник, угомонили вашего служку! — брюзгливо сообщил бельмастый. — Что ж это он, в самом деле, на честных людей кричит! Будда небось не учил язык распускать!

Но Змееныш уже не слушал купца.

Он с неподдельным ужасом следил за указательным пальцем парня. Тот за это время успел очертить на песке круг около локтя в поперечнике; и теперь белесый ноготь ковырялся внутри круга.

Иероглиф.

Другой.

Третий.

Сразу два подряд; старое головастиковое письмо, каким уже давно никто не пишет, даже мастера каллиграфии, способные на вкус отличить степень бархатистости туши; иероглиф, другой, третий...

Цзин, жань, жань, цзин, цзин, жань, цзин.

Чистое, грязное, грязное, чистое, чистое, грязное, чистое.

И, наконец, веки возницы дрогнули и раздвинулись.

Из глубоко утопленных глазниц на Змееныша смотрела темень Лабиринта Манекенов, в которой что-то ворочалось.

Лазутчик жизни отшатнулся, так и не успев осознать: примерещился ему сухой треск, какой бывает от столкновения дерева с деревом или с рукой, похожей на дерево?

А ручища возницы медленно выползла из круга, мозолистая ладонь легла на валявшийся неподалеку колодезный ворот; дубовая махина; окованная вдоль оловом, приподнялась,

оторвалась от песка...

И с маху ударила Змееныша по правому колену.

Попади ворот по живому — опираться лазутчику на костыль до конца его дней!

— Сдурел?! — Змееныш резво отпрыгнул назад, с испугом глядя на садящегося парня, — Эй, удалец, ты живой или... какой?!

Вместо ответа ворот вновь ринулся к колену лазутчика.

Но в воздухе закатным облаком мелькнула оранжевая кашья, и обе сандалии преподобного Баня опустились точно посреди ворота, прибив его к песку, как сильный дождь прибивает пыль.

— Если мой спутник чем-то не угодил вам, я искренне прошу прощения вместо этого невежи! — Бань явно хотел сказать что-то еще, но осекся, во все глаза разглядывая возницу. А не вовремя оживший парень не обратил внимания ни на удивительное появление монаха, ни на собственный промах — ворот зашевелился на песке, попутно стерев часть круга и два иероглифа «жань», после чего опять стал подниматься.

И возница тоже стал подниматься.

— Чистое, — глухо сказал возница. — И грязное. И чистое...

Он шагнул вперед и попытался кинуть ворот в ноги Змеенышу. Руки слушались парня плохо, необычное оружие упало, не долетев до цели какого-нибудь вершка; возница огорченно помотал головой, отчего косынка сползла ему на самые брови, и грузно побрел к Змеенышу.

Когда на плечо возницы легла сухонькая лапка преподобного Баня, парень попытался смахнуть ее на ходу — но не тут-то было! Лапка держала прочно. Возница остановился, развернулся к досадной помехе вполоборота и скосился на лапку у себя на плече,

— Чистое, — сказал возница, и в голосе его пробился недовольный хрип: так начинает крениться подгнившее дерево, прежде чем упасть на голову случайному прохожему. — Чистое, чистое и чистое. И грязное.

Кулачище парня с маху рубанул монаха по запястью, но был вовремя перехвачен. Огромное тело описало в воздухе красивую пологую дугу и, вздымая горы песчаной пыли, обрушилось наземь. Любой другой на месте парня, если не сломал бы себе хребет, то уж наверняка немало времени охал бы да хватался за поясницу, но возница полежал-полежал и начал вставать. По дороге он снял с себя кофту-безрукавку, обнажив мощный, слегка подзаплывший жиром торс, и отправил кофту в колодец.

— Чистое, — сказал почти голый возница. И пошел к Змеенышу.

— Что ж это творится, люди добрые! — несколько запоздало

возопил бельмастый купец, бледнея. — Это ж настоящий Великий Предел творится! Эй, Бу Цзи, немедленно прекрати! Ты это...

Бельмастый сделал шаг-другой, то ли намереваясь продолжить увещевания возницы по имени Бу Цзи, то ли собираясь лично вмешаться в творимый Великий Предел, но едва он попытался шагнуть в третий раз...

— Грязное, — неожиданно сказал торговец, и мутные бельма его неприятно потемнели. — И грязное. Ишь ты...

Он вернулся к своему приятелю, взял у него из рук мешочек с серебром, только что полученный последним от хозяина постоялого двора, и запустил увесистым мешочком в бритую голову преподобного Баня. Не попал, расстроенно хмыкнул и медленно направился к дерущимся.

Нет.

Не к дерущимся.

К Змеенышу — поднимая на ходу колодезный ворот и примериваясь к правому колену лазутчика.

Монах перехватил мешочек на лету, немедленно обрушив его на бесстрастное лицо возницы — но Бу Цзи, мертвый или живой, даже не заметил этого. Хотя сломанный нос очень трудно не заметить, особенно если это твой же собственный нос! Словно сообразив что-то, непонятное ему ранее, парень предал Змееныша забвению и пнул ногой ярко-оранжевую кашью. Удивительное дело: преподобному Баню стоило изрядного труда отвести предплечьем эту ногу! Тут же кулаки возницы замелькали вокруг жилистого монаха, как привязанные на цепях камни; преподобный Бань окунулся в эту круговерть, и посторонний наблюдатель потерял какую бы то ни было возможность следить за происходящим.

Словно два кота сцепились: один — большой, сытый, второй — тощий и драчливый; визг, мяв, кто кого и за что — не разобрать глазу человеческому!

Торговец с воротом уже к тому времени приблизился к Змеенышу. Лазутчик жизни пал на колени и принялся елозить в пыли, многократно кланяясь и хватая бельмастого за края его длинной блузы.

— Великодушный господин! — благим матом вопил Змееныш, целуя туфли бельмастого. — Не губите невинного отрока! Не сиротите моих детушек и старуху мать! Пощадите!

Никакой старухи матери и уж тем более малых детушек — во всяком случае, поблизости — у лазутчика не наблюдалось. Но такова была общепринятая формула выпрашивания милости, и не раз она спасала Змеенышу жизнь в обществе подвыпивших братков или хуньдунских лесорубов. Впрочем, если бы

посторонний наблюдатель перестал всматриваться в схватку возницы с преподобным Банем и пригляделся повнимательнее к бельмастому и Змеенышу... Его, постороннего наблюдателя, наверняка заинтересовало бы вот что: уж куда как удобно было бельмастому опустить колодезный ворот на подставленный затылок жертвы — ан нет, не опустил! Топтался, примеривался, дважды норовил ткнуть в колено, но промахивался и снова принимался топтаться на месте. А молящие руки Змееныша блудливыми кобелями гуляли вокруг бельмастого, хватая за что попало, поглаживая, нажимая, цепляя... и бельмастый вдруг охнул, глаза его посветлели и налились мукой, ворот выпал из разом ослабевших пальцев, после чего торговец рванул освободившейся рукой блузу и невнятно захрипел.

И мучным кулем осел на песок.

Преподобный Бань отошел от исковерканного тела возницы — Бу Цзи еще мелко вздрагивал, но этим дело и ограничивалось — и пристально посмотрел на своего спутника.

Змееныш честно выдержал этот взгляд.

— Видать, сильно ты по душе господину Тайбо, — бросил монах, думая о чем-то своем. — Уберег он тебя...

За спиной монаха перестал дергаться возница Бу Цзи.

***

Вызванный лекарь с трудом привел в чувство бельмастого — торговец ничего не помнил, только и делая, что кланяясь преподобному Баню и Змеенышу, — после чего лекарь дотошно осмотрел тело возницы. И уверенно заявил, что все шесть видов пульса не прощупываются, каналы «цзинь-ло» закупорены и если ему, лекарю, скажут, что сей труп только что дрался с преподобным отцом и норовил сломать колено другому преподобному отцу, он, лекарь, только пожмет плечами и прочь пойдет, не забыв получить оговоренную плату.

Что и было сделано.

Когда Змееныш и монах из тайной службы покидали постоялый двор, оба, не сговариваясь, остановились на месте недавнего побоища и долго смотрели на полустертый круг, нарисованный на песке.

В кругу еще оставались два с половиной иероглифа.

Два «жань» и поперечная полоса с завитушкой от иероглифа «цзин».

Два раза «грязное» и кусок «чистого».

— Пойдем, — тихо сказал преподобный Бань. — Лодочник ждать не будет. Нам пора отправляться в Бэйцзин...

А возницу Бу Цзи без лишнего шума зарыли на городском кладбище, у самой ограды, и никому не пришло в голову интересоваться трупными пятнами на руках парня — особенно на второй день после его двойной гибели.

Зря, конечно.

Позвали бы судью Бао...

МЕЖДУГЛАВЬЕ

Свиток, не найденный птицеловом Манем в тайнике у западных скал Бацюань.

...какая-то скотина сперла мои свиток!!! Впрочем, я даже знаю, какая — но об этом позже.

С уходом Змееныша мне и моему мальчику стало тесно в монастыре. Никогда раньше за мной ничего подобного не водилось. А сейчас я стал задумываться над правотой девушек (боже, как давно это было!), утверждавших, что я — бездушное чудовище. Все шло к тому, что я отнюдь не являюсь благодетелем моего мальчика, свалившись ему в самом прямом смысле, как снег на голову. Да, он был дурачком, да, общество слепца-гадателя сильно проигрывало пансионату для богатеньких детишек или даже общеобразовательной школе города Акпупинска... но жизнь в одной черепной коробке меняла нас обоих.

Раньше у меня не было друзей.

Теперь же... свято место пусто не бывает. Правда, Змееныш?! Нет, я прекрасно понимаю, что ты спихнешь меня в колодец, ни на минуту не задумавшись, если я чем-то буду мешать твоей правоохранительной деятельности, но зачем-то ведь ты вытаскивал нас, меня и моего мальчика, из Лабиринта?!

Или эта задача не по зубам ни моему левому полушарию, ни интуиции моего маленького музыканта?

Или просто у нас хандра?

Пустая, черная хандра, которая сведет нас в могилу гораздо быстрее любого Безумия Будды? Что-то уж очень мне плохо, а самоубийство в нашем положении — разве что средство от перхоти, и не более того.

...Видимо, я на какое-то время отключился. Первый этап Лабиринта Манекенов я проходил уже на автомате, прекрасно понимая, что главные опасности кроются не здесь, а дальше, среди неведомых галерей, скрытых комнат и деревянных воинов. Поначалу я несколько сомневался в действенности этих инженерных изысков — снобизм, подкармливаемый сотнями лет разницы во времени, искал жертву — но потом... Оказывается, здесь еще учитель Ле-цзы почти две тысячи лет тому назад приводил в пример самодвижущуюся куклу, игравшую на цине; а несколько позднее всерьез рассказывалось о механических быках, успешно перевозивших непомерные тяжести. Особенно если

учесть, что способны натворить эти китайцы за двенадцать веков, прошедших от куклы-музыканта Ле-цзы до явления в Шаолинь патриарха Бодхидхармы...

Да и треск, доносившийся издалека — оттуда, где повар Фэн рукоприкладствовал с предметами моих сомнений, — изрядно убеждал в реальности чертовых манекенов.

И вот тут-то рассеянность подвела меня. Нет, нам на голову не свалился камень, мы не угодили в капкан и не попались в сеть, я даже успел обратить внимание, что на развилке Фэн-урод свернул налево, а значит, и нам надо налево... просто я не учел, что Маленький Архат — это не один монах, а двое!

И что второй (вернее, первый) все это время точно так же, как и я, слушает проповеди журавля-патриарха, именно его тело усердствует в ежедневных занятиях, а зубодробительные вопросы «гун-ань», способные свести с ума самое левое из всех левых полушарий, словно предназначены для таких вот эстетов-музыкантов.

«Не опирайтесь на слова и знаки! — гласила местная мудрость. — Опирайтесь на собственное сердце!»

К кому в большей степени были применимы эти слова, как не к моему мальчику, никогда в своей жизни не опиравшемуся ни на какие знаки?! А сердце... я и не знал до сего мгновения, какое место в сердце этого несчастного мальчишки занимают два случайных человека.

Змееныш... и я.

Вернее, я и Змееныш; хотя бы в хронологическом порядке.

И когда сердце это вдруг распахнулось шире Лабиринта Манекенов, когда тело перестадо существовать, а душа забыла человеческие имена, которыми ее награждали на всех перекрестках Бытия; когда горы неожиданно стали горами, моря — морями, а быть или не быть — смешным вопросом, не имеющим никакого отношения к повседневности, назвавшейся Абсолютом...

Короче, я прозевал момент, когда у моего мальчика случилось Просветление.

«Поймал У», — как говаривали здесь.

***

Я не возьмусь описывать это словами; но мне больше нечем описывать. Сжавшись в комок, я сидел внутри смеющегося Бога, и

хохот этот заставлял вспыхивать и гаснуть солнца, каждое из которых было не больше светляка, и мы были всем, а все — ничем. Масло лилось на кипящее море, и вот: волны больше не ревут, пена не рвется клочьями, брызги не хлещут ошалевших чаек... гладкое блестящее зеркало от одной ладони до другой, и мириады отражений вольно гуляют по его поверхности, никак не нарушая величественного спокойствия. «Увижу светлую голову, — кричал кто-то из витой ракушки, похожей на лоб единорога, — буду бить по светлой; увижу темную — буду бить по темной»! Ослепшее «Великое сомнение», спотыкаясь, брело по заброшенному пляжу, держась за плечо «Великой смерти», которая на ходу сбрасывала одежды, превращаясь в «Великое пробуждение». А «Великая радость» махала издали рукой, держащей кувшин с розовой настойкой; и крабы, косолапя, сбегались на запах. Это мудрое безумие! Обезумевшая мудрость! Вздох предсмертный, так внезапно превращающийся в хохот! Патриархи Второго собора в Вайшали, случившемся через век после смерти Будды, пели на разные голоса: «Все, что согласно, с существующей нравственностью и духом учения Будды, должно быть признано уставным — неважно, существовало ли то с давних времен, существует ли в настоящее время или явится после!» И мухи с птицами вторили этим словам; и ад следовал за ними. «А все, что не согласно, хотя бы то существовало прежде, существует в настоящее время или явится после — должно быть навсегда отвергнуто и не считаться учением Будды!» Добро и зло бродили в обнимку по бамбуковой роще, любуясь водопадами вдалеке, и ветер доносил к ним утреннюю прохладу. Лев и агнец лежали рядом, потом лев съел агнца и ушел, а проходивший мимо путник в рваной телогрейке представил себе, что было бы, случись все наоборот, — после скорбно покачал головой и пошел себе дальше...

Нет.

Я не буду описывать это словами.

Это все произнес не я.

***

...Когда все закончилось, мы стояли в совершенно неизвестной нам части Лабиринта Манекенов.

Перед нами была открытая дверь.

Там, внутри, слабо освещенные пыльным лучом,

проникающим откуда-то сверху, сидели маленькие люди.

Недвижно.

Повинуясь неслышному приказу, мы, я и мой мальчик, вошли в комнату и остановились перед вереницей сидящих.

Перед строем мумий.

Да, это были мумии; ссохшиеся, втрое уменьшившиеся тела, каждое в привычной позиции — ноги скрещены, спина прямая, взгляд строго перед собой — и у любого из хозяев этой страшной комнаты была обрита голова.

Монахи.

Я пригляделся.

Нет.

Ни у кого на предплечьях не было выжженных знаков тигра и дракона.

Дальше всех от входа сидел большой, плотный — даже после смерти — человек с ломкой черной бородищей и серьгой в левом ухе.

Свиток с изображением этого человека висел в Зале Закона.

Первым сидел Пути Дамо, Бодхидхарма, Святой-в-одной-сандалии; слава и гордость Шаолиня.

У мумии рядом с ним не хватало руки.

Хуэй-кэ, второй патриарх, по слухам отсекший себе руку в стремлении доказать преданность Учению.

Мы стояли и смотрели друг на друга.

часть пятая
ДОРОГА НА БЭЙЦЗИН

Отвага начинает, сила решает,
дух завершает.

Из поучении мастеров

Глава девятая

1

Как обычно, судья не сразу очнулся, с трудом понимая, где он. Но знакомая кровать под балдахином говорила сама за себя, и выездной следователь со вздохом стал выбираться из постели.

Ночь службы в Преисподней закончилась. Начинался день службы в мире Желтой пыли, как выразился бы его друг Лань.

При воспоминании о даосе легкое беспокойство коснулось судьи Бао: чародей-отшельник в очередной раз исчез, никого не предупредив, и если раньше судья при подобном известии лишь пожал бы плечами, то сейчас...

«Поработайте с мое в Преисподней, — нахмурился выездной следователь, — и мигом разучитесь плечами пожимать!»

Уже восемь ночей судья Бао добросовестно исполнял возложенные на него обязанности в аду Фэньду: регулярно обходил местные канцелярии и следил, не появятся ли где злокозненные руки. Поначалу от усердия руки мерещились чуть ли не на каждом стеллаже, и трижды выездной следователь едва не поднял напрасную тревогу. «То-то конфуз бы случился!» — расстроенно думал судья, уже привычно просачиваясь сквозь стены и отвечая на приветствия очередных демонов-канцеляристов.

На вторую ночь судья в самом деле увидел шаловливые конечности — и мигом кликнул ближайшего чиновника. Пропажу свитков предотвратить не удалось, но судья с адским работником — пузатым бесом на тоненьких ножках, заискивающе щерившимся зубастой пастью, — успели записать, какие именно свитки утащили «тигро-драконьи» руки. Вскоре, когда свитки обнаружились на соседней полке, из них были немедленно удалены все изменения, внесенные туда за время отсутствия бумаг.

Судья Бао остался вполне удовлетворен результатом своих обходов, и проклятые руки перестали мерещиться ему за каждой полкой.

Теперь высокоуважаемого сянъигуна узнавали в любой канцелярии. С ним почтительно здоровались даже грозные буланы, в том числе и те, кто был рангом повыше, — судья не раз слышал за спиной шепоток: «Наконец-то! Солнечный чиновник — это вам, господа мои, не цзинь* [Цзинь — мера веса, 0,597 кг.] изюма! Этот порядок наведет! От него не скроешься...»

Разумеется, подобные разговоры льстили самолюбию судьи, но он отнюдь не переоценивал своих заслуг, а потому не почил на розовых лепестках, продолжая методично обходить территорию Фэньду, и через пару дней снова засек зловредные руки.

На этот раз, справедливо решив, что заслужил перерыв, судья Бао позволил себе небольшую пешую прогулку по аду в порядке ознакомления. Первый страх прошел, и на смену ему явилось любопытство, не раз помогавшее судье в работе, но столь же часто доставлявшее немалые неприятности.

И все же Бао решил рискнуть.

Поначалу все шло тихо-мирно, и расхрабрившийся судья не

без некоторой дрожи углубился в темный тоннель, ведший в сторону дворца Сэньло. «В случае чего ноги в руки — и мигом окажусь в канцелярии тигроглавого!» — успокаивал себя выездной следователь, то и дело проверяя наличие на поясе спасительной таблички.

Темнота обволокла судью, навалившись со всех сторон, потом, как и в прошлый раз, что-то полыхнуло, высветив слева нишу с корчившимся в ней человеком; прораставшее сквозь него дерево за истекший срок заметно вытянулось, разветвилось, выбросило новые побеги, торчавшие теперь в основном из ушей несчастного, — и судья, невольно передернувшись, поспешил дальше, успев тем не менее отметить, что он на верном пути.

В кроваво-смоляном озере высокоуважаемый сянъигун чуть не увяз и схватился было за табличку, намереваясь вернуться, но тут выяснилось, что табличка обладает еще одним любопытным свойством: едва выездной следователь ощутил под пальцами гладкую слоновую кость, как ноги его двинулись по крови, аки посуху, а на обуви не осталось и следа грязи.

— Это, конечно, неплохо, — вслух пробормотал судья, — но куда теперь идти?

И растерянно посмотрел на развилку тоннеля.

— А куда вам надо? — поинтересовалась плававшая неподалеку отрубленная голова с проломленным теменем.

— Не знаю, — машинально ответил судья.

— Тогда идите направо, — посоветовала голова и нырнула.

Выездной следователь запоздало поблагодарил и последовал совету головы.

Выйдя на дорогу, что змеилась по краю пропасти, он вскоре обнаружил не замеченную ранее лестницу и, недолго думая, принялся спускаться в лязгающую бездну.

Спуск занял чуть ли не целую вечность, выездной следователь старался не смотреть вниз дальше ближайшей скрипучей ступеньки — а потому в первый момент не сразу понял, что всему есть предел, и он стоит на дне пропасти.

Жаркий туман разогнало порывом еще более горячего ветра — и всего в десятке шагов от себя судья увидел подвешенного на дыбе голого человека. Под босыми закопченными пятками страдальца едва тлела небольшая жаровня в виде оскаленной пасти. Впрочем, зрелища пыток перестали волновать судью Бао много лет назад, еще в Академии, и достойный сянъигун спокойно направился к обитателю пропасти.

— Огонь раздуй, — проворчал пытуемый, не оборачиваясь, но явно расслышав шаги следователя.

— Раздуть? — опешил судья.

— Ну да! — раздраженно подтвердил висящий на дыбе и с некоторым усилием повернул голову в сторону судьи. — А, это вы... не имею чести быть знакомым! Вы не могли бы раздуть жаровню?

— Но ведь тогда вам станет еще хуже! — выдавил наконец выездной следователь.

— Разумеется! — согласился грешник. — Ведь я здесь должен мучиться, а не прохлаждаться!

— Но неужели вам не хочется отдохнуть от страданий? — продолжал недоумевать судья Бао.

— Если я стану отдыхать, мой срок не будет зачтен, а то и продлить могут! Нет, уж лучше честно отмучиться — и на новое перерождение! Авось больше повезет... Так вы раздуете жаровню?

— Ну, если вы настаиваете. — И судья принялся старательно выполнять просьбу сознательного грешника.

— Да-да, — комментировал пытуемый сверху, — еще немного... ой-ой-ой!.. да, вот так, хватит... ай!.. ну, теперь в самый раз... ух-х-х!.. Благодарю вас!

Судья Бао в ответ молча поклонился и хотел было отправиться дальше, когда из багрового тумана вынырнул рогатый чертяка с татуированным языком до пояса.

— Где ты шляешься, бездельник?! — набросился на него подвешенный на дыбе человек. — Жаровня еле тлеет, и если бы не безграничная любезность этого достойного господина...

Черт взглянул на судью Бао и, увидев его одежду и табличку из слоновой кости, поспешил бухнуться на колени.

— Да простит меня, недостойного, высокочтимый булан, но я отлучился всего на минутку, дабы промочить горло глотком пива — сами видите, какая здесь жара! Понятное дело, грешники должны мучиться, да только бедному черту от этого не легче, когда горло пересыхает и уже нет никаких сил раздувать проклятую жаровню... Впредь не повторится!

Судья Бао едва не начал отчитывать палача-лентяя, но передумал, погладил табличку и решил закончить на этом свой обход ада.

***

Через день (вернее, через ночь) в канцелярию тигроглавого заявились два совершенно одинаковых черта-лоча, очень похожие на Ли Иньбу, но поменьше, и принялись за работу.

И не где-нибудь, а в недавно отгороженной ширмой дальней части канцелярии, специально отведенной теперь под личный кабинет судьи Бао.

Взобравшись на принесенный с собой стол черного дерева, они принялись что-то рисовать на стене извлеченными прямо из воздуха кисточками.

— В чем дело? — осведомился судья, еще не решивший для себя, как ему воспринимать сие вторжение.

— По приказу великого Янь-вана рисуем для вас Недремлющее Око, высокоуважаемый сянъигун! — ответил, не прерывая работы, один из чертей. — Владыка в своей несказанной милости решил облегчить ваш труд и дарит вам возможность наблюдать за любой частью Преисподней и ее окрестностей, не выходя из кабинета.

— Передайте Владыке мою безмерную благодарность, — пробормотал выездной следователь и поспешил нырнуть в стену.

Когда судья вернулся после обхода, на стене красовался огромный глаз. Судья невольно залюбовался искусно выполненным изображением, отметив, правда, что глаз получился не вполне человеческий или даже вполне нечеловеческий...

И сам не заметил, как проснулся.

2

— ...О, наконец-то вы проснулись, мой господин! Уж мы ночью будили вас, будили...

— Зачем вы меня будили? Да еще ночью? — Судья Бао недоуменно моргал заспанными глазами, с трудом понимая, что говорит его младшая жена.

— Так ведь шум в городе был! Крики, грохот, потом пожар где-то занялся, но вроде потушили. Мы испугались, пробовали вас растолкать...

— Ну а теперь что? — широко зевнул судья Бао, не проявив особого интереса к столь волнующему рассказу.

— Да тихо все, улеглось, — смешавшись, пролепетала младшая жена.

— Раз улеглось, давайте завтрак. Мне скоро на службу, — добродушно потянулся судья, и младшая жена поспешила выполнять приказание.

Однако спокойно позавтракать выездному следователю не

дали.

Едва он уселся за стол, ловя носом дразнящий запах жаренного в сметане карпа, как в ворота раздался настолько громкий и непочтительный стук, что выездной следователь чуть ли не со свистом вылетел во двор, пылая праведным гневом и намереваясь лично разобраться с нарушителем спокойствия.

Каково же было удивление судьи Бао и привратника Ли, когда в приоткрытые ворота просунулась умиротворенная ослиная морда, оглядела двор, довольно оскалилась крепкими зубами и, оглушительно проорав ослиное приветствие: «И-а!» — скрылась обратно.

В следующее мгновение створки сами собой открылись шире, хотя выездной следователь мог бы поклясться, что Ли не прикасался к ним, — и вот знакомый ослик Лань Даосина уже стоит посреди двора, чудом проскользнув мимо бдительного привратника.

Склонив голову набок, ослик окинул судью оценивающим взглядом и, видимо, удовлетворившись осмотром, не спеша повернулся к нему задом, выразительно помахав хвостом.

Опешивший от такой наглости судья увидел, что к хвосту ослика розовой ленточкой привязан листок мятой бумаги.

Послания судье Бао доставляли всякими способами, зачастую весьма необычными, но ТАКОГО в его практике еще не случалось!

Тем не менее судья быстро пришел в себя и поспешил отвязать записку от ослиного хвоста.

Писавший явно торопился, иероглифы ложились на бумагу неровно, да и сама бумага оставляла желать лучшего, так что выездной следователь с некоторым усилием разобрал:

> «Меня пытались арестовать. Тебе тоже грозит опасность. Срочно уезжай из Нинго вместе с семьей.
>
> Твой друг Лань».

«Пытались — значит, все-таки не арестовали», — отметил судья.

Но кто и за что пытался арестовать безобидного отшельника, который вообще никогда не лез в мирские дела?

Выездной следователь терялся в догадках, стоя посреди двора, и пока не спешил последовать совету своего друга.

Он даже не заметил, куда исчез ослик-гонец: вот только что стоял он задом к судье и помахивал хвостом — и вот его уж нет, а совершенно сбитый с толку Ли закрывает створки ворот.

Впрочем, полностью закрыть ворота слуге не довелось: на

улице послышался быстро приближающийся грохот колес, и во двор влетела повозка.

— Беда, господин! — крикнул возница (не побоявшийся в свое время доставить судью Бао к земным границам ада Фэньду). — Смута в городе! Гвардейцы Чжоу-вана взломали войсковую государеву житницу, и теперь принц раздает рис своим солдатам в счет невыплаченного жалованья!

— Это дело принца Чжоу и областных властей, — пожал плечами выездной следователь.

— Но это еще не все, мой господин! Люди Чжоу-вана захватили городское казначейство, сам казначей арестован, и начальник уезда господин Цзинь Нань — тоже! Говорят, якобы за растраты и эти... как их?..

— Короче! — прервал слугу судья Бао, постепенно осознавая, что даос был прав и ему лучше поскорее убраться из города вместе с семьей.

— Говорят, командующего правительственными войсками, господина Чи Шу-чжао, тоже хотели арестовать, но он успел уйти из Нинго с большей частью гарнизона!

— Старого вояку не проведешь! — пробормотал судья.

— Прошу вас, господин мой, уезжайте — не ровен час...

— Пожалуй, ты прав. — Судья наконец принял решение. — Эй, Ли, помоги Паню разгрузить овощи с повозки — да не несите в кладовую, времени нет, прямо тут во дворе и ссыпайте! А ты, Мэйнян, — обернулся он к служанке, стоявшей позади и слушавшей с открытым ртом, — закрой рот и беги в дом, пусть женщины собираются сами и помогут одеться Старшему Вэню! Но быстро, быстро!..

***

Они почти успели — просто громкий требовательный стук в ворота успел раньше.

— Может, не открывать, мой господин? — неуверенно спросил возница Пань, одновременно кладя руку на черенок лопаты.

— Открой, — спокойно приказал выездной следователь. — И положи лопату — или ты хочешь лишиться головы?!

Солдат было трое. Ими предводительствовал красный и едва не лопавшийся от спеси тунлин, которого судья Бао сразу узнал: именно он чуть больше недели назад поносил Чжоу-вана на

площади Двух Рыб и призывал самим взять то, что принц не хочет отдавать добром.

— Это ты — подлый мятежник и заговорщик Бао Лунтан, до сего дня занимавший в Нинго должность судьи?! — По-прежнему корявый и немытый палец тунлина уперся в грудь достойного сянъигуна.

— Я — Бао Лунтан, чиновник третьего ранга, по велению Сына Неба — судья города Нинго, пожалованный титулом Господина, Поддерживающего Неустрашимость, — четко и раздельно выговорил выездной следователь в лицо несколько опешившему тунлину...

И не выдержал, побагровел, сорвался на крик:

— И только во власти правителя области или самого Сына Неба сместить меня с этой должности и предать суду!

Тунлин невольно отшатнулся, но тут же взял себя в руки и осклабился:

— Это ты расскажешь палачу в пыточной или сиятельному Чжоу-вану, если будешь допущен к нему! Взять его!

Судья Бао не сопротивлялся.

С достойного сянъигуна сорвали пояс вместе с висевшей на нем печатью, а также чиновничью шапку, руки скрутили за спиной, на шею накинули веревку и вывели со двора под безысходный вой женщин и угрюмые взгляды слуг.

Так его прогнали почти через весь город, и всю дорогу судья смотрел в землю, потому что ему было невыносимо стыдно. Его, уважаемого человека, ведут со связанными руками и веревкой на шее, как последнего преступника!

Позор, который нелегко пережить.

То, что судья невиновен, было несущественно.

***

Против ожидания его повели не в городскую тюрьму, а ко дворцу Чжоу-вана. Спустившись на нижний ярус, солдаты втолкнули судью в подвалы и двинулись следом по сырому, тускло освещенному коридору.

«Дворцовая темница», — понял Бао.

Его довольно долго вели все ниже и ниже. Потом последовал окрик, и судья послушно остановился перед крепкой, обитой железом дверью, ничем не отличавшейся от десятка точно таких же дверей, мимо которых они успели пройти.

Лязгнул засов, противно заскрипели дверные петли.

— Заходи.

Не дожидаясь пинка в спину, выездной следователь шагнул через порог — и застыл, обалдело глядя на узника, сидевшего в углу камеры.

Несмотря на скудное освещение, судья сразу узнал его.

Позади захлопнулась дверь, щелкнул запираемый замок.

— О Небо! — мысленно возопил судья Бао, воздев руки к слезящемуся потолку. — За что?!

Крик его души пропал втуне — Небо молчало.

В отличие от сюцая Сингэ Третьего.

3

— ...Да простит меня, недостойного, высокоуважаемый сянъигун, но испрошу я позволения дать ему еще один совет: как начнут вас допрашивать да пытать — вы уж лучше сразу во всем сознавайтесь, а то знаете, какие тут пытки? О-о, тут такие пытки, господин мой, что и во сне не приснятся, и наяву не привидятся, и в аду не додумаются!..

«Много ты знаешь, о чем в аду додумываются!» — хмыкнул про себя выездной следователь.

Время тянулось невыносимо медленно, сюцай привычно зудел в углу, но характер обычной болтовни Сингэ Третьего существенно изменился. Если он и рассказывал истории, то все больше связанные с пытками, дознаниями и казнями, а также упоминал о преступниках, чистосердечным раскаянием сумевших облегчить свою участь вплоть до полного помилования. В перерывах между этими однообразными повествованиями сюцай всячески убеждал бывшего начальника признаваться на предстоящем допросе во всем — дабы облегчить свою участь, а заодно и участь недостойного, но при этом ни в чем не повинного сюцая Сингэ Третьего...

Судья почти не слушал сюцая, но кое-что из непрекращающейся болтовни все-таки просачивалось в его сознание — и, как ни странно, навело достойного сянъигуна на некоторые весьма любопытные мысли.

Правда, совсем не те, какие пытался поселить в голове судьи Бао неугомонный сюцай.

***

То, что принц Чжоу решил любой ценой предотвратить зревший в Нинго бунт, было ясно как день. И рассуждал принц вполне здраво: если солдатам выплатить жалованье, то они снова станут послушны, а без их поддержки горожане пошумят-пошумят и раскошелятся.

Однако казна Чжоу-вана пустовала. Где же взять серебро и рис? Как где? — В областной казне и войсковой государевой житнице! Плевать, что будет потом, лишь бы поскорее утихомирить разбушевавшихся вояк!

Судья Бао нахмурился и недовольно заворочался на охапке прелой соломы — другого ложа в камере не было, — вспоминая, что подобное безобразие стало возможным лишь после воцарения нынешней династии Мин. Именно тогда возобновили древний порядок, отмененный около восьмисот лет назад при объединении Чжунго* [Чжунго — дословно «срединное государство», одно из названий Китая.] в единое государство. («Как раз вскоре после того, как Бодхидхарма явился в тогда еще никому не известный Шаолинь», — подумалось вдруг судье, но эту мысль он осторожно отложил на потом.) Победитель монголов, первый государь династии для закрепления власти правящей семьи принялся раздавать родичам ванские титулы и жалованные уделы, в результате чего единая власть в Чжунго снова распалась на две ветви: собственно центральная власть со своими войсками, имперскими чиновниками, к которым принадлежал и сам судья, начальниками уездов и местных гарнизонов, и власть кровнородственных, или областных ванов, опять-таки со своими чиновниками, военачальниками, гарнизонами от пяти до девятнадцати тысяч солдат, казной, житницей...

В итоге простолюдины оказались вынуждены кормить чуть ли не вдвое большую армию начальства — неудивительно, что по Поднебесной поначалу прокатилась целая волна бунтов. Впрочем, волнения были жестоко подавлены имперскими и ванскими войсками в первый и последний раз действовавшими рука об руку.

Теперь правительственные чиновники оказались слугами двух господ, вынужденными, с одной стороны, подчиняться начальнику уезда, а с другой — два раза в месяц являться к кровнородственному вану с заверениями в почтительной преданности и выслушивать его указания, зачастую полностью противоречившие указаниям начальника уезда.

Вот и выпутывайся как знаешь!

К тому же при любом недоразумении или оплошности кровнородственный ван и начальник уезда спешили свалить вину друг на друга, и столичным цензорам приходилось долго ломать головы в попытках выяснить: как же все было на самом деле?

Ну а теперь, когда ожидалась смена государя... Будь у Чжоувана больше сил и времени, он, возможно, и сам рискнул бы попытать счастья в борьбе за престол. Но сейчас принц прекрасно понимал: речь идет отнюдь не о возможности сесть на трон, а совсем даже наоборот — о возможности отправиться в изгнание с лишением всех регалий и изрядной доли унаследованных и наворованных богатств.

А раз самому престол не светит, значит, необходимо любыми средствами доказать свою преданность новому Сыну Неба, выставить себя радетелем о благе государства, у которого в уделе благочинность и процветание!

Ванские казна и житница пустуют? Зато у начальника уезда рис и серебро только что через край не переваливаются!

Разве это справедливо?

Разве можно законным путем так набить государственную казну, когда у принца Чжоу в амбарах одни мыши пищат, да и те скоро от голода передохнут?

Значит, что?

Значит, правдами и не правдами (и больше не правдами!) начальник уезда пополнял свою казну, обманом отбирая и то, что должно было по закону идти кровнородственному вану! И все об одном мечтал, подлец сквернопахнущий: как бы честного, но наивного принца опозорить перед государем — и казна ванская пуста, и порядка нет, солдаты бунтуют, а горожане недовольны! Отобрать у принца жалованный удел и сослать куда подальше! Чтоб не мешал всей душой преданный государю принц творить начальнику уезда свои тайные делишки.

Какие?

Первое, что на ум взбредет: опиумом приторговывать, шелк контрабандный поставлять, не платя пошлины, — мало ли что еще! Заговор, как есть заговор! Вот и покушение даже было — Будда миловал, обошлось! А не вышло с покушением — решили казнокрады-мздоимцы по-другому врага извести: интригами да лживыми наветами!..

И если в чем-то судья переусердствовал или что-то упустил, то в общих чертах план принца Чжоу был именно таким.

Арестовать проворовавшегося интригана — начальника уезда.

Вслед за ним — его пособников: главного казначея области и

командующего имперским гарнизоном.

Силой захватить казну и житницу, раздать солдатам жалованье (ибо еще день-два, и будет поздно!) — а там, глядишь, налоги в казну поступят, и можно будет восполнить недостачу. Приедет цензор из Столицы: все уже шито-крыто, деньги на месте, а что пропало — так заговорщики разворовали! Опять же. имущество их — в казну, на покрытие убытков!

Доказательства?

За то время, что до приезда цензора пройдет, палачи в дворцовой допросной из арестованных любые признания выбьют, не впервой!

Но промашка вышла — командующий-то ушел! И большую часть гарнизона за собой увел! Теперь его просто так не возьмешь, а слово его на государевом суде не меньше ванского весить будет.

Ибо недаром шестидесятидвухлетний генерал Чи Шу-чжао получил в свое время прозвище Стальной Хребет и до сих пор носил его с гордостью! Не единожды делом доказывал генерал свою преданность Поднебесной, а его честность и прямота известны были не хуже, чем неподкупность того же судьи Бао.

Теперь становилось ясным, зачем Чжоу-вану понадобился Бао Драконова Печать.

Показания достойного сянъигуна — против показаний Стального Хребта. Присовокупим протоколы допросов начальника уезда и главного казначея — этого должно хватить, чтобы убедить самого недоверчивого цензора.

Или нового Сына Неба.

Потому-то выездного следователя и не взяли ночью, вместе со всеми: если бы удалось захватить командующего гарнизоном, судья Бао был бы принцу ни к чему. Генерала казнили бы как мятежника, заткнув ему рот навсегда. Но командующий бежал, и принцу срочно понадобился противовес словам слишком хорошо известного даже в Столице Чи Шу-чжао. И тогда опять же понятно почему пытались арестовать друга Ланя: все в городе знали, что судья надолго уезжал вместе с даосом. А ну-ка, поприжать отшельничка, выбить из него письменное признание, что мятежник Бао ездил встречаться с заговорщиками по заданию начальника уезда! Тогда и на самого выездного следователя будет куда легче давить.

Но, опять же, промашечка вышла: ушел даос, только гвардейцы Чжоу-вана его и видели! Судья удовлетворенно усмехнулся. Все известные ему факты выстраивались в стройную картину, и только одному маленькому, но досадному фактику не было в ней места. Фактику по имени Сингэ Третий! Чжоу-ван

приказывает арестовать начальника уезда, главного казначея, генерала Чи Шу-чжао, судью — и сюцая Сингэ Третьего!

Опять же, аресты явно проводились в порядке важности задерживаемых лиц для принца Чжоу. Но, когда выездного следователя бросили в камеру, сюцай уже был там!

Неужели Сингэ Третий важнее для Чжоу-вана, чем он, Бао Драконова Печать?!

Судье на мгновение стало даже немного обидно.

Почему сюцай оказался в камере раньше выездного следователя? Откуда Сингэ Третий узнал о болезни Сына Неба и предстоящей смене власти? Ведь город тогда еще отнюдь не полнился слухами, как утверждал сюцай! И почему Сингэ Третий так настойчиво убеждает своего начальника признаваться во всем?

Ответ был очевиден: сюцай — провокатор!

Судья незаметно покосился на увлеченно разглагольствовавшего сюцая.

«Ну-ну, «утка», ты у меня покрякаешь!» — мрачно подумал выездной следователь, однако опускаться до придумывания планов мести сюцаю не стал, справедливо решив положиться в этом деле на волю случая.

В данный момент достойного сянъигуна значительно больше волновала собственная судьба.

Несомненно, его будут пытать. Что ж, придется держаться.

Сколько?

«Не больше месяца», — прикинул судья.

В том, что Стальной Хребет уже начал действовать, судья Бао не сомневался.

4

— ...А работает Недремлющее Око вот так: кладете руку на этот квадрат — и видите Первую канцелярию, на этот — Вторую...

Судья внимательно слушал объяснения черта-лоча (старого знакомца Ли Иньбу) и старался ничего не пропустить.

Всего разноцветных квадратов, нарисованных прямо на черном столе чертовых живописцев, было одиннадцать. Десять из них соответствовали десяти здешним канцеляриям, а в одиннадцатый разрешалось прямо пальцем вписать имя нужного человека или название местности — и требуемое изображение мигом появлялось в зрачке нарисованного глаза, который

выездной следователь немедленно про себя обозвал Адским Оком.

Наконец Ли Иньбу решил, что высокоуважаемый сянъигун все понял (в последнем судья отнюдь не был уверен), и поспешил удалиться; а судья Бао уселся за стол и принялся упражняться в пользовании новым приспособлением.

Для начала прошелся по всем канцеляриям, внимательно всматриваясь в стеллажи со свитками, — но нет, руки пока не появлялись. Затем, просто из интереса, вписал в чистый квадрат имя Ли Иньбу — и Адское Око немедленно показало ему черта-лоча: сидит за столом и, высунув от усердия лопатообразный язык, заполняет какую-то бумагу.

Судья был вполне удовлетворен результатом и от нечего делать стал рассматривать само Око.

Наконец судья понял, что было странного в этом огромном глазе: он словно бы состоял из множества отдельных ячеек, как, к примеру, пчелиные соты или глаз стрекозы.

Словно по какому-то наитию выездной следователь схватил лежавшую рядом чудодейственную мухобойку из оленьего хвоста и махнул ею, пройдясь сразу по всем квадратам.

— Я так и знал! — констатировал судья, откидываясь на спинку кресла. Он был весьма доволен, что его догадка оказалась верной: в ячейках Ока высветились изображения всех десяти адских канцелярий одновременно!

Правда, картинки получились маленькими, и разобрать на них что-либо было затруднительно.

Манипулируя мухобойкой и ладонью свободной левой руки, судья Бао некоторое время занимался тем, что уменьшал и увеличивал количество картинок в Адском Оке, и наконец выяснил: нормальной видимости можно добиться, когда картинок не более пяти-шести. На этом он решил остановиться, попеременно вызывая канцелярии с первой по пятую и с шестой по десятую.

«Теперь-то уж злокозненные руки от меня не ускользнут!» — подумал судья.

Однако еще один сектор чудесного глаза оставался незадействованным, и высокоуважаемый сянъигун задумался: что бы такое в него поместить?

Вдруг в памяти судьи всплыли слова черта-художника: «...Возможность наблюдать за любой частью Преисподней и ее окрестностей...»

Интересно, что черт подразумевал под «окрестностями»?

Выездного следователя весьма интересовало, как сейчас обстоят дела у бежавшего из Нинго генерала Чи Шу-чжао. И

судья, недолго думая, вывел имя достойного полководца в пустом квадрате на своем столе.

Пустой сектор мигнул, и в нем образовалась достаточно благожелательная физиономия Владыки Янь-вана. Судья Бао от неожиданности чуть не вылетел из кресла и поспешно проговорил:

— Нижайше прошу прощения, Владыка! Я, видимо, ошибся...

— Сообщите ваше имя, ранг и степень допуска, — не обратив внимания на оправдания судьи, спокойно произнес Владыка; и выездной следователь разглядел, что лицо Князя не настоящее, а как будто нарисованное.

— Позднорожденный не хотел вас беспокоить, сиятельный Янь-ван! — на всякий случай повторил судья. — Прошу простить великодушно скудоумного слугу...

— Сообщите ваше имя, ранг и степень допуска, — с нажимом повторил Владыка, и его нарисованное лицо грозно нахмурилось.

— Я не... — судья наконец понял, что Князь Преисподней его не слышит, да и вообще это не сам Янь-ван, а что-то или кто-то...

Сектор вспыхнул кроваво-красным светом, и исказившийся лик, в котором не осталось уже ничего человеческого, глухо прорычал в третий раз:

— Немедленно сообщите ваше имя, ранг и степень допуска!

И судья Бао, внутри которого все похолодело, торопливо приложил свою табличку из слоновой кости к квадрату, куда он столь опрометчиво вписал имя генерала Чи Шу-чжао.

«Сейчас явится стража и меня арестуют вторично», — обреченно подумал выездной следователь.

Но вместо этого зловещий красный свет внезапно померк, лицо Владыки приняло нормальный вид и вежливо улыбнулось оторопевшему сянъигуну.

— Ваш ранг и допуск соответствуют запросу. Прошу прощения за задержку, — сообщил нарисованный Янь-ван и исчез.

В следующий момент перед судьей возникло жесткое лицо генерала по прозвищу Стальной Хребет.

***

Светильник немилосердно коптил, пламя то и дело мигало, грозя угаснуть совсем, хотя масла в светильнике было вполне достаточно, фитиль подрезан...

«Небось торговец масло плохое продал», — подумалось генералу.

— Ты отправил гонцов в Столицу? — негромко поинтересовался он у своего заместителя, тайвэя Асы, сидевшего напротив.

— Да, мой генерал! Троих. И еще двух почтовых соколов. Но... вы уже спрашивали меня об этом, мой генерал!

— Знаю. Я просто пытаюсь вспомнить, чего я еще не сделал.

— Осмелюсь напомнить, что у нас уже девять тысяч войска — более тысячи солдат подтянулись сегодня из-под Нинго.

— Это хорошо, но у Чжоу-вана одиннадцать тысяч. Конечно, штурмовать с такими силами наш Тунцзин он не осмелится, но и нам Нинго пока не по зубам. Даже будь у меня тридцать тысяч, я не стал бы брать город приступом — неизбежны большие жертвы среди горожан... Чжоу-ван не стоит этого.

— Но... дозволите ли мне, недостойному, возразить вам, мой генерал?

— Возрази, — невесело усмехнулся Чи Шу-чжао, и старый шрам на его щеке словно ожил, заново рассекая лицо надвое, как это случилось много лет назад.

— Чжоу-ван — мятежник, мой генерал! Он поднял руку на законную власть, представляющую самого Сына Неба! Разве не долг армии подавить мятеж как можно скорее?!

— Долг, — неторопливо кивнул Стальной Хребет. — Только принц небось уже отправил в Столицу СВОИХ гонцов и соколов, и в ЕГО депешах мятежниками зовемся МЫ! Пока еще в Столице разберутся, что к чему — а мы тем временем захватываем Нинго! Полгорода в развалинах, на улицах гниют трупы, а принц Чжоу возьми и скройся! Потом он объявляется в Столице, и что выходит? Выходит, что мы с тобой захватили город, перебили кучу народу, а кровнородственный ван вынужден был бежать, поскольку его войск не хватило, чтобы защитить своих подданных. И кто тогда выходит мятежником?

Тайвэй Асы промолчал, понуро глядя в пол.

— Между прочим, я назвал тебе лишь самую малую причину, почему нам не стоит брать Нинго приступом. А знаешь, какая причина — главная? Не знаешь? Вот потому-то я — генерал, а ты — мой тайвэй, и никак не наоборот! Потому что за стенами Нинго нас будут ждать точно такие же ханьцы, как мы и наши солдаты. И кровь у них такая же красная. А посему мы будем ждать — и через некоторое время постараемся взять Нинго без боя.

— Как — без боя? — опешил молодой тайвэй, лишь недавно назначенный на эту должность. Он все еще не вышел из того

возраста, когда мечтают о подвигах, не очень задумываясь об их цене.

— Очень просто. Сейчас время работает на нас. Кстати, ты отправил гонцов к командирам соседних гарнизонов, начальникам уездов и областным ванам?

— Конечно, мой генерал! Все было сделано» как вы велели.

— Хорошо, Асы, хорошо. Ничего, когда-нибудь и ты станешь генералом...

***

«Скорее всего областные ваны (не говоря уже о гарнизонных командирах) поддержат старого вояку, — подумал судья Бао, наскоро проглядывая изображения адских канцелярий в поисках шкодливых рук. — Генерал дело знает, а князья-ваны не упустят случая бесплатно доказать свою преданность государству. Скоро у Чи Шу-чжао будет такой численный перевес, что Нинго откроет ему ворота. Вот только... вот только принц Чжоу в это время тоже не будет сидеть сложа руки. Кстати, о принцах!..»

И выездной следователь аккуратно вывел в пустом квадрате имя Чжоу-вана, решив до конца использовать адские возможности в личных целях.

На этот раз сообщать ранг и степень допуска не потребовалось. В правом верхнем секторе Ока возникла картинка, но она была настолько темной, что разглядеть что-либо не представлялось возможным.

— Да будет свет! — возгласил в пространство уже несколько освоившийся судья, хлопнув по столу мухобойкой.

И в темной комнате словно зажегся невидимый призрачный светильник. Однако, кроме судьи Бао, этого никто не заметил — то ли потому, что светлее стало для него одного, то ли потому, что находившаяся в комнате парочка была весьма занята.

Судья негромко хмыкнул.

На обширной кровати под роскошным балдахином с кистями принц Чжоу увлеченно играл со своей новой фавориткой в «двух мандаринских уточек». Тела любовников сплетались в самых невероятных позах, и судья Бао диву давался, как принц и наложница ухитряются проделывать такое.

«Лучше бы он этим и занимался, а не плел интриги, — думал достойный сянъигун, не в силах оторваться от увлекательного зрелища. — Видит Небо, игры в постели удаются принцу куда

лучше, чем игры в политике!»

— А теперь — «ласточка в бурю», — шептал тем временем принц Чжоу.

И ласточка мелькала в бурном небе, да так, что выездной следователь только головой качал и невольно причмокивал.

— А теперь — «хромой даос укрощает тигра». — И влюбленные снова сплелись во что-то немыслимое.

«По-моему, любой нормальный тигр так бы себе все лапы вывихнул, — смущенно пробормотал под нос судья Бао. — Интересно, скажи я Железной Шапке, как даосы тигров укрощают, — обиделся бы маг или нет?!»

Наконец «тучка (в очередной раз) пролилась дождем», и судья, очнувшись, потянулся к крайнему квадрату, чтобы убрать это несомненно захватывающее, но абсолютно бесполезное для него зрелище, когда в дверь покоев Чжоу-вана раздался негромкий стук.

Фаворитка тут же поспешила нырнуть под покрывало — только мелькнула похожая на бабочку родинка на бедре, — и Чжоу-ван недовольно бросил:

— Кого там якши носят?!

«Если стоящий за дверью после этого решится ответить и тем более войти, значит, известие действительно важное!» — оценил судья.

— Да простит меня сиятельный принц, что я, недостойный Лу А-лунь, осмелился побеспокоить его в столь поздний час, но у меня важное известие, не терпящее отлагательств.

— Хорошо, входи, — проворчал Чжоу-ван, накидывая расшитый золотыми драконами халат и махнув рукой наложнице.

Та правильно истолковала жест владыки — скользнула в дальний конец комнаты и исчезла за небольшой дверкой.

Вошедший поспешил бухнуться на колени и ткнуться лбом в пол. Принц нетерпеливым окриком поднял его, и выездной следователь узнал нового начальника ванской стражи, назначенного на эту должность после смерти тайвэя, погибшего от рук взбесившейся Восьмой Тетушки.

— Что случилось? — зло осведомился кровнородственный ван.

Злость принца была вполне понятна, зная, от какого занятия оторвал Чжоу-вана начальник стражи.

— Мы перехватили гонца сбежавшего генерала, — шепотом проговорил Лу А-лунь. — Он спешил в Столицу с донесением на имя самого Сына Неба.

— Донесение, — коротко бросил Чжоу-ван, требовательно протягивая руку.

Начальник стражи извлек из рукава небольшой свиток и с поклоном передал его принцу.

Некоторое время Чжоу-ван молча читал при свете свечи, которую держал предусмотрительный Лу А-лунь.

— Что ж, этого следовало ожидать, — проговорил он, закончив чтение и скомкав в кулаке бумагу.

— Осмелюсь предположить, сиятельный принц, — склонил голову Лу А-лунь, — что генерал Чи Шу-чжао, которого следовало бы прозвать не Стальным Хребтом, а Старой Лисой, отправил не одного и даже не двух гонцов! А возможно, и пару почтовых соколов. Так что его донесение все равно попадет в Столицу — и с этим мы ничего не в силах поделать.

— С этим — ничего, — на удивление спокойно согласился принц Чжоу, — но мы можем сделать кое-что другое. Наши депеши уже отправлены?

— Еще утром, как вы и велели, сиятельный принц!

— Хорошо. Пока в Бэйцзине будут ломать голову над тем, что происходит в Нинго, пока решат послать сюда инспектора или гонца с вызовом для разбирательства в Столице, мы успеем как следует подготовиться. С арестованными уже ведется необходимая работа?

(«Конечно, — подумал судья Бао, — инспектору он надеется всучить взятку, а в Столице у вана большие связи».)

— Разумеется, сиятельный принц! Со всеми, кроме судьи. Его мы взяли последним.

Выездной следователь весь обратился в слух.

— А вот он-то меня и интересует в первую очередь. Ты не забыл обвинения?

— Что вы, сиятельный принц! Заговор, незаконное присвоение ванских доходов, подстрекательство к бунту, организация покушения...

— Достаточно, — махнул рукой Чжоу-ван. — Главное, не забудь, что во всем этом принимал участие преподобный Бань, ставленник тайной канцелярии! Это должно подействовать. Не на арестованных, конечно... и отправь гонцов к областным ванам — они должны знать правду.

Принц Чжоу сухо усмехнулся.

«Сильный ход, — оценил судья. — Ни один ван не любит тайную службу. Это может на некоторое время удержать их от выступления на стороне Стального Хребта. Хотя...»

Дальнейшее выездной следователь додумать не успел: кто-то деликатно поскреб по отгораживавшей кабинет ширме, явно прося позволения войти.

Судья поспешно убрал из Недремлющего Ока покои Чжоу-

вана — и в тот же момент увидел знакомые руки, деловито сгребавшие свитки на левом нижнем изображении.

— Тревога! — поспешно произнес Бао договоренное слово. — Руки в Четвертой канцелярии! Второй стеллаж справа от входа, третья полка сверху. Тревога!!!

На картинке забегали суетливые муравьи, позади послышался изумленный вздох — не дождавшийся ответа посетитель решил войти без позволения, — но выездному следователю сейчас было не до него.

Впрочем, суета довольно быстро закончилась, руки убрались восвояси, утащив несколько свитков, а перед судьей неожиданно возникла такая жуткая рожа, что он невольно отшатнулся.

— Дай Ци-чао Беспощадный, возглавляющий Четвертую канцелярию, нижайше благодарит высокоуважаемого сянъигуна за своевременное предупреждение, — произнесла рожа высоким, чуть надтреснутым голосом, демонстрируя роговые пластины вместо зубов. После чего Беспощадный отодвинулся назад и исчез раньше, чем выездной следователь успел что-либо ответить.

— И я тоже присоединяюсь к достойному господину Дай Ци-чао и выражаю свое восхищение, — раздался за спиной знакомый голос, и судья с ужасом обернулся.

Неужели?!

Нет, это был не Сингэ Третий, а уже знакомый Бао лазоревый дракон-секретарь из приемной Владыки.

— От имени великого Янь-вана выражаю вам его благодарность за успешную работу на благо Преисподней, — немедленно затараторил дракон, стыдливо пуская дым из ноздрей. — Владыка Янь-ван спрашивает, удобно ли вам работать, не нужна ли какая-нибудь помощь?

— Нет, благодарю. — Судья встал и поклонился в ответ, хотя больше всего ему сейчас хотелось поскорее выпроводить дракона прочь из кабинета, пусть даже и пинком в чешуйчатый зад.

То, что лазоревый был раза в три больше судьи, значения не имело.

— Но, может быть, вам требуется помощь наверху, в мире живых? — скосил дракон на судью проницательный янтарно-желтый глаз. — Не стесняйтесь, говорите!

Что-то насторожило судью в последних словах лазоревого. Уж слишком настойчиво предлагал Владыка Янь-ван свою помощь... или это его секретарь переусердствовал в служебном рвении?

Сингэ Третий тоже все норовил убедить судью не запираться при допросе...

Судья был человеком гордым и не привык принимать подарки. Кроме того, он хорошо усвоил, что бесплатный рис

бывает только в тыкве-ловушке!

— Благодарю еще раз. — Бао церемонно сложил ладони перед грудью, после чего как бы невзначай коснулся пояса — того места, где у него обычно висела печать.

— Ну, как знаете, — смешался секретарь. — Тогда, может быть, вам нужен помощник?

— Нет! Не нужен! — рявкнул судья, отчетливо представив себе, кто именно окажется этим помощником.

И дракон моментально все понял: с поклоном скользнул назад и проворно исчез за ширмой, украшенной орнаментом из зеленых ветвей и разноцветных бутонов.

Выездной следователь перевел дух, успокаиваясь, и снова уселся на прежнее место. Вгляделся в Адское Око, ленивым движением сменил изображение, уже совсем было собрался затребовать свитки судеб Восьмой Тетушки и Фан Юйши (эх, давно пора было!) — и не успел.

Рабочая ночь закончилась.

5

Разбудил судью лязг отпираемого замка.

«На допрос», — догадался выездной следователь и не ошибся.

Трое внушительного вида стражников сразу заполнили собой всю камеру, сюцай вскочил немедля, а замешкавшийся судья Бао получил чувствительный пинок, но смолчал — ожидать вежливого обращения со стороны тюремщиков было по меньшей мере глупо.

Как выяснилось, в коридоре их ждали еще двое. Сингэ Третьего повели направо, судью же толкнули в противоположную сторону.

Шли долго; петляли еще более мрачными, чем основной коридор, боковыми проходами, и Бао раздумывал в такт шагам: действительно ли подземелья ванского дворца столь обширны, или его просто-напросто водят по кругу, мороча зачем-то голову?

Впереди послышался шум, по стенам заметалось рваное чадящее пламя факелов, конвоиры немного посторонились, вынудив и судью прижаться к стене, — вскоре мимо них, за ноги протащили хрипящего человека. Выездной следователь вгляделся и чуть не ахнул — ссадины, распухшие губы, заплывший глаз и измазавшая пол-лица кровь из разбитого носа делали начальника уезда практически неузнаваемым!

«Специально показали, дабы я заранее устрашился», — отметил судья Бао, ощущая, что, несмотря на напускное хладнокровие и попытки отвлечься от предстоящего, он действительно боится все сильнее.

«Что же ты?! — попытался пристыдить сам себя достойный сянъигун, снова шагая по коридору между конвоирами. — Тоже мне, Господин, Поддерживающий Неустрашимость! Вот и поддерживай! Хотя бы в себе, если теперь больше не в ком!»

Это немного помогло... или скорее помогло немного.

***

Первым, кого судья Бао ожидал увидеть в допросной зале, был придворный распорядитель Чжоу-вана. Кому, как не любителю Кун-цзы, вести допрос?

И судья его действительно увидел, едва не раскрыв рот от изумления. Ибо последователь Конфуция и его позднейших толкователей пребывал в зале отнюдь не за столом с бумагами, а на дыбе и облачен был не в шелковый халат, а в обернутый вокруг бедер кусок грязного холста.

На полу валялась деревянная колодка-канга; видимо, временно снятая.

«Ну конечно! — дошло до выездного следователя. — Для полного правдоподобия Чжоу-вану необходим «вражеский лазутчик», предатель, якобы постоянно вводивший принца в заблуждение!»

Вокруг стонущего на дыбе распорядителя прохаживался крепыш-палач, периодически хлеща пытуемого длинным батогом. Лениво, вполсилы — это выездной следователь определил сразу.

— Да за что ж вы меня бьете?! — причитал поклонник Конфуция. — Я ведь и так во всем сознаюсь!

— А в чем именно? — допытывался восседавший за столом старший дознатчик во всем черном, неторопливо перебирая бумаги. Дознатчик был не то чтобы убелен сединами и умудрен опытом, но всячески стремился это показать.

Убедиться и умудриться.

— Во всем! — визжал распорядитель, взывая, так сказать, у ворот дворца* [То есть жалуясь на несправедливость.]. — В чем обвиняете — в том и признаюсь! И в сговоре с городским судьей, и в том, что помогал ему... как это вы говорили?.. затягивать следствие и покрывать истинных виновников! И в том, что держал

сиятельного принца в неведении относительно...

Справа проворно зашуршала кисточка, и, скосив взгляд в ту сторону, судья Бао увидел Голубого Писца.

Наверное, писца звали все-таки по-другому; возможно, даже прозвище у него было иное, но для себя выездной следователь сразу же обозвал его Голубым Писцом.

Во-первых, одет он был во все голубое: голубой длиннополый халат с голубым же поясом, голубая шапка кирпичиком, даже остроносые туфли — и те были темно-голубые!

Во-вторых, писец был весь из себя писец: пухленький, жидкоусый, старательный, то и дело высовывавший от усердия кончик языка (напомнив судье адского Ли Иньбу); и кисточка его споро бегала по бумаге, поспевая за сказанным. Даже держал он кисть по-особому, с показным шиком, как это умеют делать только писцы в пятом поколении.

В общем, Голубой Писец — и все!

— ...На сегодня хватит, — прервал излияния распорядителя старший дознатчик.

И наконец взглянул в сторону судьи Бао, подняв брови, будто только что его заметил.

— А-а, вот и еще один заговорщик! — радостно потер он руки.

Голубой Писец явно колебался — записывать эти слова или нет? — и решил на всякий случай записать.

— Освобождай место для следующего, — приказал дознатчик палачу, и крепыш принялся снимать с дыбы охающего распорядителя.

Судья стоял, впервые в жизни глядя на процесс допроса не снаружи, а изнутри, и покорно ждал своей очереди — а что ему еще оставалось?

Наконец конфуцианца сняли с дыбы, наскоро вправив вывихнутые суставы, и волоком потащили мимо судьи — хорошо, хоть не за ноги, как начальника уезда.

— Как сказал бы благородный учитель Кун-цзы... — Судья Бао хотел подбодрить товарища по несчастью, когда того протаскивали мимо, однако бывший конфуцианец грубо выругался, добавив сквозь зубы:

— Вот его бы сюда!.. На дыбу их, мудрецов!.. На дыбу!

— Разговорчики! — строго прикрикнул дознатчик, распорядитель немедленно заткнулся, а выездной следователь подумал, что действительно с куда большим удовольствием делил бы тюрьму и пытки с учителем Куном, чем с его неверным последователем.

Дверь захлопнулась. С судьи мигом сорвали одежду, надели

освободившуюся кангу, больно прищемив при этом кожу на шее, и поставили на колени перед столом старшего дознатчика, не забыв сковать руки кандалами.

Позади возник палач с тяжелым батогом в руке.

«Батоги — с первого допроса?! — изумился Бао. — Это же вопиющее нарушение «Пыточного канона»!»

Однако смолчал.

— Итак, признаешься ли ты, мятежник и заговорщик по имени Бао Лунтан, в том, что... — донесся до него злорадный голос дознатчика, — ...выполняя обязанности судьи в городе Нинго, состоял в сговоре с начальником уезда, главным казначеем, монахом Банем, генералом Чи Шу-чжао и другими лицами, пытавшимися подло убить сиятельного принца Чжоу?

Ответа вопрос не подразумевал — такова была положенная форма зачтения обвинения, да Бао и не собирался отвечать — поэтому совершенно не ожидал обжигающего удара, обрушившегося на него.

Три удара подряд.

Тяжелым батогом.

Это было больно.

И стыдно.

И выдержать второе было куда труднее, чем первое.

— Признаешься ли ты в том, — как сквозь вату донеслось до выездного следователя, — что, используя свое положение судьи, всячески затягивал следствие и отводил подозрение от истинных виновников, сообщая Чжоу-вану через его распорядителя, который тоже был с вами в сговоре, лживые сведения?

Батог взвился и опустился.

Трижды.

— Признаешься ли ты, что составил облыжный доклад о принце Чжоу и тайком отправил его в Столицу, дабы, обвинив кровнородственного вана, покрыть истинных мятежников?

Три удара.

— Признаешься ли ты, что по поручению начальника уезда вместе с магом-мошенником Лань Даосином ездил на тайную встречу со смутьянами иных уездов, дабы передать послание начальника уезда и монаха-изменника Баня?

Три жгучих, рвущих кожу удара.

На этот раз палач не церемонился, от души хлестал.

Да сколько же пунктов будет в их обвинении?!

...Неужели все?

Чиновник молчал, и палач не спешил пускать в ход свой бич.

— Есть ли у тебя, мятежник и заговорщик Бао Лунтан, что сообщить по существу предъявленного обвинения?

— Есть! — хрипло выдохнул судья и с трудом поднял голову.

Палач глянул на дознатчика и отступил на шаг: не стоит мешать преступнику каяться!

Но на лице заплечных дел мастера отразилось нечто вроде легкого разочарования.

— Во-первых, господин старший дознатчик, я должен заявить, что вы ведете допрос с грубыми нарушениями «Пыточного канона», каковой является обязательным к исполнению всеми судебными чиновниками!

— Не пиши этого, болван! — прошипел дознатчик Голубому Писцу.

— Простите, господин старший дознатчик, но я уже записал! — испуганно ответил тот. — Замазать?

— Тогда, может быть, смутьян просветит нас в этом вопросе? — ехидно осведомился дознатчик у судьи.

— Если бы вы уделяли больше времени совершенствованию в своем деле, — едко ответил выездной следователь, — то знали бы: в первый раз гражданского преступника допрашивают без применения телесных наказаний, и лишь при непочтительном отношении к дознатчику он может быть бит плетьми — а не батогами! — и то не более семи ударов! Если же преступник упорствует в течение пяти дней, то ему назначают регулярное наказание плетьми, до двадцати ударов в день. В следующие пять дней преступника дозволяется бить тяжелыми батогами; дальше идет битье батогами с зажиманием пальцев в тиски, подвешивание на дыбу, пытка горящим веником...

О дальнейшем судье говорить не хотелось, и он умолк.

Голубой Писец увлеченно чиркал кисточкой.

— Записал? — поинтересовался дознатчик.

— Записал! — гордо подтвердил писец.

— Положи отдельно. В протокол не включай, но и не выбрасывай — пригодится.

И снова обернулся к судье Бао.

Палач же смотрел на выездного следователя с нескрываемым уважением.

Впрочем, уважаемый палачом сянъигун этого не видел.

— Мы обязательно воспользуемся вашими рекомендациями, — радушно улыбнулся чиновник, и судья про себя отметил обращение на «вы». — Но ведь никто не мешает нам и ускорить описанную вами процедуру, ведь так? Кроме того, раз мы уже начали с батогов, то глупо было бы возвращаться назад! Вы не находите?

Выездной следователь молчал.

— Однако, я полагаю, — не дождавшись ответа, продолжил

старший дознатчик, — что со столь умным и эрудированным в своей области человеком, как вы, уважаемый Бао, нам удастся договориться и без горящего веника. Вы меня понимаете?

Вторично не дождавшись ответа, дознатчик повернулся к палачу:

— Оставьте нас.

Несколько замявшись, палач приковал Бао к кольцу в стене и вслед за стражей покинул допросную залу. Голубой Писец остался на месте, а дознатчик не обратил на него никакого внимания.

«Так он не только голубой, но и доверенный», — с некоторым удивлением понял Бао.

— Итак, — дознатчик хитро сощурился, — хотя вы и обвиняетесь в серьезных преступлениях, но возглавляли заговор, конечно же, не вы. Мы уже выяснили, что за всем этим стояли начальник уезда и преподобный Бань. Главный казначей и отчасти замешанный в этом деле распорядитель принца Чжоу успели дать нам достаточно подробные показания. В том числе и касательно вашей персоны. Разумеется, мы понимаем: вы действовали под давлением начальника уезда, который обманом и угрозами втянул вас в заговор! О готовящемся покушении вы вообще могли не знать, а остальные ваши провинности не столь уж велики, так что в случае чистосердечного признания мы сумеем устроить вам явку с повинной, и вы можете рассчитывать на снисхождение. Скажем, лишение должности и звания, кратковременная ссылка — не более того; в то время как остальные преступники наверняка поплатятся головой. Вам ясен ход моих мыслей?

Судья Бао медленно поднял взгляд на подавшегося вперед дознатчика — и глумливо усмехнулся.

Несколько обескураженный чиновник умолк, Голубой Писец затаил дыхание — в допросной зале повисла напряженная тишина.

— Что ж, — после некоторой паузы продолжил дознатчик, — я вижу, вы умный человек, раз не спешите соглашаться. Хотите набить себе цену? Вполне разумно. Честность нынче вздорожала! — Он натянуто хохотнул, и Голубой Писец поспешил присоединиться. — Посему могу конфиденциально сообщить: сиятельный Чжоу-ван услуг не забывает. Так что, думаю, мы сможем обойтись без ссылки, а что касается лишения должности... Наверняка при дворе принца Чжоу найдется достойная вас вакансия! Так что вы вообще ничего не потеряете. Но, разумеется, для этого изобличение заговорщиков должно быть полным, со всеми подробностями...

Выездной следователь очень внимательно посмотрел в глаза сидевшего за столом человека и позволил себе еще одну улыбку. Краешками губ. Но и этого оказалось достаточно — старший дознатчик вновь запнулся.

Видимо, ему не приходилось допрашивать судей.

— Что, вам и этого мало? — с нескрываемым удивлением пробормотал он. — Конечно, мы можем предложить и нечто тогда большее, но вам тогда придется очень постараться!

Судья продолжал смотреть на человека за столом, а странная полуулыбка словно примерзла к лицу выездного следователя.

— Хорошо, хорошо, — махнул рукой дознатчик. — Я верю — вы справитесь. Пожалуй, вместо явки с повинной мы можем договориться о сотрудничестве. До покушения вы ничего не знали о заговоре, но, когда оно состоялось и принц Чжоу поручил вам расследовать это дело, вы специально втерлись в доверие к заговорщикам, дабы проведать их планы, а потом разоблачить! И вам это удалось! В результате начальник уезда, главный казначей и распорядитель Чжоу-вана были арестованы, а монах Бань и генерал Чи Шу-чжао бежали — но вам-то хорошо известна их роль в покушении и в заговоре против брата Сына Неба! Задержали же мы вас для отвода глаз, чтобы оставшиеся на свободе заговорщики не попытались вас убить! Ну как?

— А доклад? — негромко поинтересовался Бао.

— Какой доклад? — изумился старший дознатчик.

— Который я якобы отправил в Столицу.

— Вы меня поражаете, мой милый Бао! Настоящий доклад мог быть перехвачен по дороге заговорщиками, и вместо него отправлен другой, облыжный — но у вас ведь наверняка сохранилась копия, которую вы не замедлили передать сиятельному принцу Чжоу! Я вижу, вы уже продумываете детали нашего сотрудничества — и это хорошо! Естественно, если вы с самого начала помогали нам разоблачить заговорщиков, то ни о каком лишении должности не может быть и речи! Наоборот, вы станете героем, выведшим на чистую воду целую шайку опасных преступников, подрывавших основы государства! И сможете рассчитывать на благодарность и повышение по службе. Вы сейчас, кажется, чиновник третьего ранга? Как вы смотрите на то, чтобы получить второй ранг? У сиятельного Чжоу-вана достаточно большие связи, а учитывая ваши заслуги... Опять же, прибавка к жалованью, почетный титул... Кстати, место начальника уезда наверняка скоро освободится!..

Судья Бао подумал, что если еще немного поторговаться, то ему могут предложить занять место Сына Неба. Тем более что оно тоже скоро освободится, если уже не освободилось.

Мысль была заманчивой, однако делиться ею с воодушевившимся дознатчиком выездной следователь не стал.

— Благодарю за столь лестное предложение, — проговорил он, дождавшись небольшой паузы в речи своего собеседника. — Как вы совершенно верно заметили, я — честный человек, и это известно всем. Позвольте мне и дальше гордиться своей честью, а не влезать по уши в ваши гнусные замыслы.

— Что ты сказал? — прошипел старший дознатчик, весь подавшись вперед и сверля судью взглядом маленьких глазок, мгновенно ставших злыми и жесткими. — Как ты назвал наше великодушное предложение о сотрудничестве?

— Гнусными замыслами, — не поленился повторить выездной следователь на случай, если у чиновника плохо со слухом.

— Так ты что, считаешь нас нечестными людьми? Сиятельного принца Чжоу, его сановников, меня, его? — вкрадчиво поинтересовался чиновник, ткнув напоследок пальцем в сторону старательного Голубого Писца.

— А вы сами как считаете? — поинтересовался в ответ достойный сянъигун.

Ему уже почти не было страшно и даже отчего-то весело.

— Что ж... — задумчиво протянул старший дознатчик. — Тогда нам придется поговорить по-другому. Сейчас мы дадим вам время подумать — ибо у меня еще есть надежда, что вы образумитесь. Но если вы все же решите упорствовать в своем нежелании помочь правосудию... Вы тут очень неплохо описали положенные по канону пытки, но вы ведь остановились где-то на середине, не так ли? Я не столь эрудирован в этом вопросе, как вы, уважаемый Бао, но даже я припоминаю, что там еще предусмотрена дыба с дополнительными растяжками, иголки, раскаленные щипцы и еще много разного. Опять же, как вы понимаете, мы не станем скрупулезно придерживаться сроков, предписанных каноном. И последнее: если вас не слишком пугают пытки (во что я, простите, не верю!), то, возможно, вам стоит задуматься над судьбой собственной семьи?

Бао помимо воли вздрогнул — и это не укрылось от дознатчика.

— Вижу, вы начинаете понимать, — усмехнулся он. — Нам обоим известно, что начальник уезда шантажировал вас, пригрозив расправиться с вашей семьей, и вам поневоле пришлось выполнять его противозаконные приказы. Вам достаточно честно написать об этом в своих показаниях — и с вашей семьёй все будет в порядке. Уж мы-то об этом позаботимся.

«Похоже, Сыном Неба мне не стать», — подумал Бао, пытаясь

отгородиться от начавшей захлестывать его холодной волны ужаса. Нет, не за себя! И тем хуже ему было. «Они не посмеют!» — мелькнула мысль, но судья тут же понял, что ему не удастся обмануть самого себя.

Эти — посмеют!

— ...Но если вы будете упорствовать, с вашей семьей может случиться немало всяких неприятностей. Говорят, ваш сын в последнее время связался с нехорошей компанией? Это очень плохо для столь многообещающего молодого человека! Не исключено, что вскоре вы будете иметь возможность встретиться с ним в этой зале. Вы меня понимаете?

И тут пришла злость. Очищающая сердце от тошнотворной накипи; чистая и ледяная, как родниковая вода, злоба. Не вполне понимая, что он делает, судья в упор посмотрел на дознатчика, и чиновник вдруг умолк посередине фразы.

— Вы можете угрожать мне, можете пытать меня и моих близких, можете убить меня — все равно вы не дождетесь, чтобы судья Бао Лунтан по прозвищу Драконова Печать, которым я горжусь по праву, запятнал свою честь ложью, — отчетливо произнес выездной следователь. — Что мне ваши пытки, если после них я все равно попаду в Преисподнюю?! Поверьте, я бывал там — и вы тоже, рано или поздно, там будете! Бойтесь, господин дознатчик, бойтесь встретить в аду Бао Драконову Печать!

Голубой Писец поспешно шепнул что-то на ухо старшему дознатчику, тот согласно кивнул и, опасливо покосившись на судью, громко крикнул:

— Стража!

Почти тотчас же дверь распахнулась, и в допросную залу вбежали два давешних стражника, ожидавшие снаружи; вбежали — и остановились, недоуменно переводя взгляды с чиновника на подследственного и обратно. Арестованный находился на своем месте, явно не предпринимая никаких попыток освободиться или напасть на дознатчика и писца, а потому причина поспешного вызова была стражникам непонятна.

— Позовите палача, — срывающимся голосом бросил дознатчик. — Пусть снимет с него цепи — и уведите, уведите его обратно в камеру! На сегодня хватит.

Один из стражников кивнул и отправился за палачом.

— По-моему, ваш разум несколько помутился, — тихо обратился чиновник к судье. — Надеюсь, что отдых в камере пойдет вам на пользу. До завтра, мой не такой уж милый Бао! Советую в отведенное вам время как следует подумать.

Следовало промолчать и удалиться в сопровождении хмурых конвоиров, но Бао уже понесло. Это случалось с ним крайне

редко, но когда случалось — достойный сянъигун не мог остановиться.

— А вам, господин старший дознатчик, я тоже советую подумать, — с нажимом проговорил он. — О том, что генерал Стальной Хребет, как и я, не зря получил свое прозвище! Что он не теряет времени даром; его почтовые соколы с донесением о случившемся в Нинго уже добрались до Столицы. А гонцы генерала разносят во все стороны приказы, написанные черной тушью* [Черной тушью писались указы о призыве войск на помощь.]; уже сегодня у него девять тысяч войска, а через неделю будет двадцать, через две — тридцать! — кричал судья, увлекаемый стражниками к двери. — Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним, когда горожане сами откроют ворота Нинго перед Стальным Хребтом!

— А ну-ка постойте! — жестом остановил стражников старший дознатчик. — Откуда тебе все это известно, подлый смутьян?!

Судья Бао прикусил язык, но было поздно. Сказать правду? Так все равно не поверят, а вот пытать начнут наверняка...

И тут на судью снизошло озарение.

— Как — откуда? — Выездной следователь удивленно приподнял брови. — От моего сокамерника и сослуживца сюцая Сингэ Третьего, от кого же еще?! Он всегда все знает!

— Он не мог вам этого сказать, — неуверенно произнес дознатчик.

— Как это не мог?! — в свою очередь, изумился судья. — Еще как мог! И сказал! А откуда бы я все это узнал, по-вашему? В камеру мне докладов о последних событиях не приносили!

— Немыслимо, — пробормотал старший дознатчик. — Хотя... Он-то откуда это узнал? Это просто невозможно!

— Не скажите, не скажите, — доверительно подмигнул судья Бао. — Сколько лет он у меня в судейском приказе служит, а вот оказалось — плохо я его знал! Может, Сингэ — провидец? Волшебник, познавший Безначальное Дао?

Вид дознатчика, окончательно растерявшегося и чувствовавшего себя явно не в своей тарелке, доставил судье несказанное удовольствие.

— Вот сегодня под утро, — судья понизил голос до громкого шепота, однако все находившиеся в допросной зале прекрасно его слышали, — Сингэ поведал мне, что нынешней ночью принц Чжоу занимался любовью со своей новой фавориткой — той, у которой на левом бедре родинка, похожая на бабочку! Так вот, поначалу они сыграли в «ласточку в бурю», потом — в «хромого даоса, укрощающего тигра», ну а во время услады принца прервал

начальник охраны Лу А-лунь, явившийся к Чжоу-вану со срочным донесением! Вот я и думаю, господин старший дознатчик: откуда бы Сингэ Третьему все это знать?..

Голубой Писец увлеченно шуршал кисточкой в своем углу.

***

Сингэ Третьего притащили лишь через час после того, как судья снова оказался в камере. Сюцай был избит до полусмерти и жалобно стонал. Несколько раз он порывался что-то сказать своему бывшему начальнику, но, натыкаясь на хмурый взгляд выездного следователя, давился готовыми вырваться изо рта словами и поспешно отворачивался, глядя в пол.

Правильно делал — ибо у судьи чесалась не только исхлестанная батогами спина, но и кулаки!

Выездной следователь долго ворочался на прелой соломе, стараясь не бередить рубцы от ударов, — и сам не заметил, как заснул еще задолго до того, как стемнело.

Впрочем, в камере, которую он делил с сюцаем, царила вечная ночь.

6

— Приветствую достойного сянъигуна! — Владыка Янь-ван возник в кабинете сразу после появления в Преисподней самого судьи Бао; за спиной Князя Темного Приказа образовался и его коллега — даосский Владыка Восточного Пика, присоединившийся к приветствиям Янь-вана.

Следующие полчаса выездной следователь только и делал, что кланялся, благодарил Владык за заботу о недостойном канцеляристе — и выслушивал ответные благодарности за успешную работу на поприще предотвращения...

Когда обе стороны утомились и начали слушать вполуха, а славословить вполголоса, Владыка Янь-ван неожиданно поинтересовался, как обстоят у судьи дела наверху.

Несмотря на самый что ни на есть дружелюбный тон Князя Преисподней, выездной следователь мгновенно насторожился и бросил испытующий взгляд на стоявших рядом Владык.

Яньло улыбался невиннейшим образом, но невинность эта казалась слегка натянутой, неестественной, словно Князь Темного Приказа ждал от судьи какого-то вполне определенного ответа и был в этом ответе весьма заинтересован.

А Владыка Восточного Пика с отсутствующим видом смотрел в сторону, что было красноречивее любых слов.

Судья Бао не любил врать, а потому еще раз поблагодарил за заботу и умолк.

— Может быть, вам все же нужна помощь? Там, в мире живых? — ткнул пальцем в потолок Яньло. — Вы изрядно услужили Преисподней, так что не стесняйтесь, говорите!

Бао вспомнил о недвусмысленной угрозе старшего дознатчика относительно его, выездного следователя, семьи. Рот открылся сам собой, чтобы попросить Владыку позаботиться... но в последний момент врожденная осторожность взяла верх: в глазах Янь-вана на миг полыхнул торжествующий (как показалось следователю) огонек.

— В бессчетный раз благодарю сиятельного Владыку за безмерную заботу о позднорожденном, но я и сам справляюсь со всеми делами в Срединном мире.

Яньло слегка нахмурился и тут же начал прощаться, а Владыка Восточного Пика едва заметно усмехнулся — и Бао понял, что поступил правильно.

Наконец Владыки исчезли в ближайшей стене, а судья перевел дух, поспешив усесться в кресло.

Уже привычным жестом выездной следователь прошелся мухобойкой по квадратам стола, управлявшим Оком, наскоро просмотрел первые пять канцелярий, потом вторые пять, ничего подозрительного не обнаружил и откинулся на спинку кресла. В последний момент Бао вспомнил о своей пострадавшей от батогов спине, но боли не было. Наскоро ощупав себя и даже задрав для пущей уверенности одежду, судья убедился: все следы побоев исчезли.

«Ну да, я же сплю!» — вспомнил он, хотя происходящее настойчиво убеждало его в обратном.

Потом на ум вновь пришла угроза старшего дознатчика — и судья поспешно вывел в пустом квадрате:

«Дом судьи Бао в Нинго».

Картинка воссияла в секторе, и выездной следователь прикипел к ней взглядом.

Во дворе его дома растерянно топтались трое стражников из личной охраны Чжоу-вана. Они вяло пытались разговорить слугу Паня; из дверей выглядывали перепуганные и одновременно любопытные мордашки служанок. Больше во дворе никого не

было, только на самом краю видимости возвышалось некое странное сооружение. Его судья толком рассмотреть не сумел, но готов был поклясться: еще вчера утром этой штуки во дворе не было!

И почти сразу возникли звуки.

— ...Сколько можно, господа солдаты?! — услышал Бао ворчание старого слуги.

— Ничего, повторишь заново господину тунлину — язык не отвалится! — Один из солдат почему-то потер грудь и опасливо покосился в сторону загадочного сооружения.

— Ну, где они?! — Рядом со слугой возник грозный тунлин (старый приятель Бао), то и дело опускавший ладонь на рукоять тяжелой сабли.

— Да я вашим подчиненным, господин тунлин, уже сто раз рассказывал! — плаксиво запричитал слуга Пань. — Исчезли, как есть исчезли! А вы мне не верите!

— Что он бормочет? — обратился тунлин к ближайшему солдату.

— Говорит, что исчезли все! — И солдат снова потер грудь. Только теперь судья, к своему удивлению, обнаружил на мундире стражника, как раз на потираемой груди, грязный отпечаток здоровенного копыта — словно солдата недавно лягнула лошадь или осел.

— Изложи по порядку! — строго приказал тунлин слуге.

И Пань стал излагать по порядку.

— Значит, так: заявляется к нам с утреца осел верхом на даосе Лань Даосине...

— Ты что, пьян?! — возмутился тунлин. — Ты, наверное, хотел сказать: «Даос верхом на осле!»

— В рот не брал, господин тунлин! — обиделся слуга. — Как сказал, так и было: входит отшельник Лань; а на спине у него сидит осел и хвостом обмахивается! Сами видите, какая жарища...

Возгласы осмелевших служанок с крыльца подтвердили правоту слуги.

— Да что ж он, силач-богатырь, твой даос, чтоб ослов на себе таскать?! — Тунлин налился дурной кровью.

— Он не мой, а сам по себе! — На этот раз Пань, похоже, обиделся за даоса.

— Ну и?..

— Ну и пришел. Осла сгрузил, и начал он во дворе алтарь строить.

— Кто — осел?!

— Да нет, святой Лань! Камни из-за пазухи достал, потом глину...

— Он что, все это за пазухой принес?! — Тунлин попался просто на редкость недоверчивый.

— Конечно, принес! За пазухой. Все, кроме осла, — как ребенку, объяснил Пань насупившемуся вояке. — Короче, возвел алтарь (осел ему еще помогал, глину копытами месил!), а потом обошел вокруг алтаря и навалил восемь куч навоза на восемь сторон света.

— Кто — даос?! — ужаснулся тунлин, видимо, представив себе, как дело происходило. Служанки прыснули.

— Осел, конечно! — совсем уж разобиделся Пань на тупого собеседника. — Станет почтенный Лань кучи наваливать... Только все это добро мигом превратилось в фигурки восьми великих старцев-небожителей, те сами собой взобрались на алтарь и там остались.

Все обернулись к алтарю, изображение в Адском Оке сдвинулось, и судье наконец удалось разглядеть загадочное сооружение.

Это действительно был алтарь, высотой примерно в половину человеческого роста, сложенный из скрепленных глиной плоских камней и с восемью искусно выполненными фигурками святых-даосов по краям и углам. Сверху на алтаре были начертаны удивительные письмена и знаки.

— Ну а дальше что? — Тунлин был явно заинтригован.

— А дальше святой Лань позвал всю семью Бао: и обеих жен высокоуважаемого сянъигуна, и сестру его, и дочь, и обоих сыновей, и даже тетку, что приехала в гости три месяца назад, — так вот, собрал он их всех, заставил трижды обойти вокруг алтаря и стал читать заклинание. Только очень уж долго читал, всем надоело — даже ослу, и тут он ка-а-ак заорет!

— Кто — даос?!

— Да нет, осел! Как заорет — а потом и говорит...

— Осел?!

— Даос. Ослы не разговаривают. — Пань посмотрел на тунлина как на сумасшедшего, и тот не нашелся, что возразить. — Так вот, тогда даос и говорит: «Теперь слушайте меня и делайте, что я скажу». Подошел к ослу и открывает пасть широко-широко...

— Лань Даосин?

— Осел! — Похоже, Пань имел в виду тунлина. — А клыки у него оказались...

— У осла — клыки?!

— Ну не у даоса же! Прямо как у тигра! После даос ка-ак крикнет — и вся семья судьи Бао попрыгала к нему в пасть!

— К даосу?! — выдохнул тунлин, живо вообразив этот акт

людоедства.

— К ослу! Прыгнули — и пропали. Все.

— Ну? — выдохнул тунлин.

— Что — ну? — не понял на этот раз слуга.

— Дальше что? Куда они подевались?

— Семья Бао?

— Нет! Даос и осел!

— Святой Лань сел в свой чайник и улетел!

— А осел? Тоже улетел? В чайнике?

— Нет, ослы в чайниках не летают. Он просто ушел. Пешком.

Некоторое время тунлин молчал, переваривая услышанное. Потом хмуро покосился на слугу, явно заподозрив этого честнейшего человека во лжи, и решительно направился к алтарю.

— Не ходите, господин тунлин, не надо! — в один голос заорали все три стражника, пытаясь уберечь упрямого командира от неминуемой беды; но было поздно.

Бравый тунлин приблизился к даосско-ослиному сооружению — и вдруг с воплем отлетел назад, растянувшись на земле. Солдаты бросились спасать начальника, расстегнули на нем одежду; и судья Бао увидел красный отпечаток ослиного копыта, отчетливо проступавший на груди незадачливого вояки.

Тунлин был жив. Его быстро привели в чувство, после чего он немедленно распорядился дать слуге десять плетей (служанки благоразумно попрятались); когда же приказание было выполнено, тунлин удалился в сопровождении солдат.

Теперь судья Бао был спокоен за свою семью — Лань Даосин и его замечательный осел не дадут их в обиду!

«Ну что ж, а мне пора возобновить расследование, — подумал выездной следователь, наскоро проглядывая адские канцелярии в поисках уже изрядно надоевших ему рук. — Арест, тюрьма, допросы — это все ладно, а следствие надо довести до конца! И так сколько времени потеряно!»

И судья Бао приступил к работе.

***

Лично побеседовать с душами Восьмой Тетушки и торговца Фана выездному следователю не удалось: оба успели уйти на следующий круг перерождения. Досадуя на собственную нерасторопность, судья запросил свитки обоих и углубился в

изучение.

Восьмая Тетушка. Голоногое детство в деревне, в большой многодетной семье местного гончара; переезд в город, сговор родителей с семьей Мао о будущей свадьбе... свадьба, годы ничем не примечательной семейной жизни — эпизоды мелькали перед судьей Бао один за другим, вся жизнь женщины была как на ладони. Ага, сейчас начнется покушение... и, похлопывая мухобойкой по левой ладони, судья замедлил мелькание колеса Сансары.

Вот Восьмая Тетушка выходит из дому, направляется вместе с соседями к центральной улице Нинго; вот-вот должен проехать принц Чжоу со свитой...

Яркая вспышка на миг ослепила выездного следователя. А когда, он снова обрел способность видеть, картинки уже исчезли — жизнь Восьмой Тетушки оборвал обломок ванского меча.

Судья попробовал вернуть изображение назад, чтобы просмотреть интересующий его эпизод заново — и снова яркая вспышка чуть не отшвырнула судью прочь от свитка.

Выездной следователь нахмурился и придвинул к себе свиток торговца Фан Юйши. — Детство в семье потомственных лавочников, свадьба, смерть отца; семейное дело — в руках молодого Фана... дальше, дальше... Вот оно! Ни с того ни с сего проснувшийся среди ночи Фан непонимающе озирается по сторонам, встает с кровати и — яркая вспышка, которая длится несколько долгих мгновений.

Все.

А теперь — просмотреть предыдущие жизни этих двоих. На сто, двести, триста лет назад — сколько понадобится.

У Восьмой Тетушки это нашлось шесть рождений назад. Судья увидел молоденького паренька по имени Чжу, впервые входящего после десятидневного ожидания во внешние ворота обители близ горы Сун.

С этого момента судья Бао смотрел очень внимательно. Поначалу ничего особенного не происходило: старшие монахи всячески издевались над молодым кандидатом, сносящим любые придирки; потом — беседа с патриархом, почтительно поставленная на алтарь предков чашка чаю, а вечером счастливому послушнику наголо обривают голову. И началось: утренние медитации, диалоги с наставником, занятия кулачным боем, беседы о деяниях Будды и его учеников, распухшие ладони и гудящие мышцы... почетная веревка, затем ряса наставника-шифу...

Это случилось неожиданно, на девятом году монашества Чжу.

Короткая слабая вспышка. Через полгода — еще одна!

И вот уже умудренный личным опытом приобщения к сокровенному монах, превративший годами изнурительных тренировок свою плоть в совершенное оружие, стоит у входа в знаменитый Лабиринт Манекенов. Дверь медленно открывается перед решившимся войти в смертоносное подземелье... Вспышка!

Долгая яркая вспышка, сквозь сияние лишь изредка проступают то полутемный тоннель, то комната, сплошь заставленная оружием, то бьющие со всех сторон деревянные «руки» манекенов...

Наконец улыбающийся монах уже стоит снаружи, братья радостно поздравляют новоиспеченного сэн-бина, а сухонький шифу смазывает душистым жиром дымящиеся на предплечьях Чжу изображения тигра и дракона!

Те самые изображения, которые два с половиной века спустя проявятся в виде трупных пятен на руках Восьмой Тетушки!

Когда судья Бао просматривал свиток торговца Фана, он уже знал, что найдет в нем.

И не ошибся — почти шестьсот лет назад торговец Фан, губитель тигровой орхидеи, воткнувший себе в сердце садовый нож, был бритоголовым монахом Шаолиня по имени Дун. И заработал мастерские клейма, успешно пройдя Лабиринт Манекенов.

Как именно Дун проходил Лабиринт, выездному следователю увидеть опять не удалось: белая очищающая вспышка скрыла таинство от досужих глаз.

Теперь судья знал, что означают эти вспышки.

Знаменитое Просветление-У, к которому истово стремятся последователи Будды. В эти моменты Просветленные выпадают из круговорота Сансары, и деяния их недоступны никому.

Или, как сказал бы Лань Даосин, в эти моменты они сливаются с Безначальным Дао.

Большое У что-то делало с людьми — выездной следователь был в этом совершенно уверен.

Что-то, что могло проявиться через сто, двести, пятьсот лет в жизни совсем другого человека. Проявиться мгновенно и неотвратимо, как удар молнии. Как вспышка света; света, дарующего прозрение — и зачастую скорую смерть.

Зачастую — но не всегда.

Судья не поленился просмотреть несколько перерождений Фан Юйши и Восьмой Тетушки (теперь прекрасно понимая всю условность этих имен), лежавших между их монашеством в Шаолине и жизнями, закончившимися самоубийством несколько месяцев назад.

В некоторых из промежуточных жизней тоже встречались

знакомые вспышки.

Дважды они заканчивались смертью.

Но ни разу выездному следователю не удалось увидеть, что делали эти двое в роковые для них (и не только для них!) минуты.

Просветление прочно хранило свою тайну от непосвященных.

***

«С чего же все началось? — Судья Бао устало откинулся на спинку кресла, не вполне понимая, что имеет в виду под словами «все началось». — С постройки монастыря у горы Сун? С рождения Будды Шакьямуни? Или еще раньше, с появления рода человеческого? А может, — вдруг пронзила его догадка, — может, все началось, когда Бородатый Варвар, неистовый Бодхидхарма, явился под стены Шаолиня? Или когда в подземельях обители был воздвигнут таинственный Лабиринт Манекенов?..»

— Собственно, а почему бы мне не проверить это?! — внезапно судью осенило.

Он уже успел открыть рот, дабы затребовать свиток самого Бородатого Варвара — и тут взгляд его упал на одну из картинок в Недремлющем Оке.

Руки со знакомыми клеймами нагло загребли целую охапку свитков и явно собирались исчезнуть вместе с добычей!

Тревога!

7

Судье Бао было плохо. Ему было настолько плохо, что он уже не осознавал этого. Он чувствовал, что, наверное, скоро умрет, и лишь надеялся встретить смерть не во время допроса — просто однажды, уйдя в забытье и очутившись в аду Фэньду, он больше не вернется в мир живых.

Выездной следователь теперь жил лишь по ночам, проваливаясь, как в бездонную яму, в Преисподнюю сна, где давно ощущал себя своим. Днем он лишь отбывал тяжкую повинность существования на каторге бытия. И с каждым днем мир людей казался ему все менее реальным. О, сейчас судья

прекрасно понимал бритоголовых хэшанов, толкующих о бренности всего сущего в мирах Желтой пыли, об иллюзорности человеческого бытия и об истине, лежащей за ободом Колеса Сансары, в котором вращаются люди, раз за разом возвращаясь на круги страдания и бессмысленной суеты. Теперь выездной следователь знал это, он видел правду собственными глазами, — и медленно угасал, все дальше уходя за грань, откуда нет возврата... Нет, он не жалел об этом. Освобождение от оков плоти, прекращение мучений — для него это были не пустые слова; он ждал мига смерти почти с нетерпением.

На Небо Тридцати Трех Будд или Нирвану судья Бао не рассчитывал — да и не знал толком, что это такое. Он мечтал остаться в Преисподней и вопреки всему завершить начатое им дело. Это стало у судьи своего рода навязчивой идеей — пусть после смерти, но закончить последнее расследование! Вопреки всему, даже смерти.

Вряд ли кто-либо еще так надеялся навсегда остаться в аду!

Дни превратились для выездного следователя в один бесконечный серый кошмар; он не знал, сколько прошло времени с момента его ареста. Десять дней? Двадцать? Месяц?

Допросы и пытки тоже слились в один вечный допрос, в одну пытку, от которой судья находил спасение лишь в аду. Изредка из месива пульсирующей боли выныривало яростно брызжущее слюной (или, наоборот, приторно-слащавое) лицо дознатчика; чиновник о чем-то спрашивал выездного следователя, но Бао не отвечал — потому что, когда он не выдерживал и начинал говорить...

После подобных «ответов» его пытали с удвоенной силой.

Но молчать или отказываться с каждым разом становилось все труднее.

Преисподняя в сравнении с допросами казалась чуть ли не раем.

Однако и здесь был не рай. Хотя выездной следователь буквально оживал: исчезала боль в истерзанном теле, голова прояснялась, и мысли послушно выстраивались в нужном направлении, как атакующие солдаты, направляемые рукой умелого полководца. Тем не менее и тигроглавый булан, и старый знакомец Ли Иньбу, и время от времени навещавший судью Владыка Янь-ван — все они отмечали, что Солнечный чиновник выглядит усталым и осунувшимся; чем дальше, тем больше.

Князь Темного Приказа (видимо, осведомленный, что творится с выездным следователем в мире живых) все настойчивее предлагал свою помощь. Бао до хруста сжимал зубы, благодарил и отказывался — это было труднее, чем отказывать

дознатчику, сулившему прекращение пыток. Ведь он никого не предаст, согласившись на предлагаемую Владыкой помощь, совесть его будет чиста, а гордость... неужели гордость столь важна, когда речь идет о собственной жизни?! Все было верно, и надо было соглашаться — но губы сами собой всякий раз произносили слова вежливого отказа, Яньло хмурился, качал головой и уходил. Где-то в глубине души Бао понимал, что поступает правильно: за все приходится платить, а помощь Владыки обойдется недешево.

Чем и когда придется расплачиваться?!

Пока что они с Князем были квиты — и Бао совсем не хотелось, чтобы равновесие сместилось в пользу Яньло!

Думая об этом, он смеялся на дыбе; и дознатчик спешно прекращал допрос: еще немного — и судья окончательно сойдет с ума, а безумный сянъигун бесполезен для принца Чжоу!

***

Зато в аду работы навалилось невпроворот. Руки возникали то там, то здесь, судья едва успевал поднимать тревогу. О том, чтобы продолжать расследование в таких условиях, не могло быть и речи. Несколько раз выездной следователь замечал, что руки начинают бороться между собой: одна пыталась схватить свиток, а другая не давала, оттаскивая противницу в сторону. Однажды судья Бао не поленился шагнуть в стену, дабы вблизи взглянуть на бумагу, из-за которой разгорелась особо упорная борьба.

Каково же было удивление достойного сянъигуна, когда он прочел надпись на уцелевшем документе: «Судья Бао по прозвищу Драконова Печать из города Нинго».

Выездной следователь машинально протянул руку, чтобы взять свиток со своей судьбой («Заодно узнаю, сколько мне осталось жить», — мелькнуло в голове), но мягкая лапа тяжело опустилась на его плечо.

— Простите, высокоуважаемый сянъигун, — вкрадчиво прошипел змееголовый булан с телом пантеры. — Я полагаю, Князь будет недоволен... Вам нельзя этоговидеть.

Бао согласно кивнул и грузно провалился обратно в стену.

Судья уважал порядок. Раз не положено — значит, не положено.

— Ну вот, вы все в трудах, — вскоре по возвращении в кабинет раздался над ухом голос Ли Иньбу; и огромный черт-

лоча, не спрашивая разрешения, устало опустился рядом на покрытый толстым ковром пол.

Знал, что судья его не прогонит.

— Неприятности? — сочувственно поинтересовался судья Бао, сразу уловивший подавленное состояние коллеги.

— Не то слово! — Черт безнадежно махнул когтистой лапой. — Чернобурка из клетки сбежала!

— Чернобурка? Это лиса, что ли?

— Лиса, — буркнул черт. — Девятихвостая. Оборотень. Тыщу лет прожила! Такое творила... Не одна сотня мужиков по ее милости раньше срока окочурилась! А эти олухи, стражники! Якши камнеголовые! Знали ведь, с кем дело имеют, ротозеи! Да и то сказать: замки заперты, решетки целы, а Чернобурки нет! Кто виноват? Ли Иньбу виноват! Я, что ли, ее стеречь должен?! Я только приказ об аресте оформлял! Вот, грозятся устроить мне земное перерождение, чтоб я ее и ловил! А почему я? Сексуальные преступления — это вообще не по моему ведомству!

Судья Бао посочувствовал, черт еще немного повздыхал и ушел — и только тут до выездного следователя дошло, что в Оке уже довольно давно не видно никаких рук, а раз так...

Судья хорошо помнил, на чем он остановился в прошлый раз — через несколько мгновений затребованный свиток Пути Дамо, Бодхидхармы, Просветленного Учением, упал на его стол прямо из воздуха.

Бао бегло просмотрел все канцелярии, удостоверился, что все спокойно, и развернул свиток.

Легенды не врали. Бородатый Варвар — впрочем, поначалу никакой не бородатый, а довольно-таки милый юноша, и никакой не варвар, а сын раджи Сугандхи — благополучно родился в Индии и с младых ногтей целиком посвятил себя Учению.

Первую вспышку судья заметил еще в самом начале жизненного пути будущего Патриарха-в-одной-сандалии: юноша сидел под деревом, предаваясь медитации, — и знакомое сияние озарило свиток, скрыв от глаз следователя происходящее.

Впрочем, юность Бодхидхармы не слишком интересовала высокоуважаемого сянъигуна (хотя многие мудрецы продали бы за это душу).

Тяжелейший переход через Гималаи, время от времени озаряемый светом прозрений-У, — и вот уже не юноша, но знакомый судье по многочисленным портретам Бородатый Варвар стучится в ворота тогда еще никому не известной обители у горы Сун.

Хотя нет, не совсем знакомый: веки Бодхидхармы пока что на месте, еще не вырвал бешеный Пути Дамо куски предавшей

хозяина слабой плоти.

Эта легенда тоже оказалась во многом правдивой — выездной следователь увидел, как это произошло, — и содрогнулся.

Падавшие на землю окровавленные частицы Просветленного Учением исчезли в ослепительной вспышке.

Потом — изнурительные упражнения для тела, многочасовые медитации, короткие странные проповеди, беседы, нередко заканчивавшиеся жестокими ударами, — и все учащающиеся вспышки просветлений.

И маленький, вечно всклокоченный человечек с безумным взглядом — тот самый гениальный механик, под руководством которого сооружался в подземельях Шаолиня знаменитый Лабиринт Манекенов...

По завершении работ патриарх-индиец не стал входить внутрь на глазах у восхищенных учеников. Вечером он собрал лучших и коротко переговорил с ними. Судья не сумел расслышать сказанное, но у него создалось впечатление, что беседа мало походила на ту, которую потом сотни лет передавали из уст в уста последователи Чань.

Ночью Бородатый Варвар встал и вышел во двор.

Судье показалось, что свиток загорелся, — но нет, это было особенно сильное У! Выездной следователь физически ощутил исходящее от свитка тепло, а распространившееся вокруг него сияние с успехом освещало кабинет.

Такого судья не видел еще ни разу!

Потом на мгновение мелькнули пустая комнатушка и сидящий в дальнем углу Бодхидхарма со скрещенными ногами.

В следующее мгновение судью оглушило грохотом, невиданная доселе вспышка опалила ему лицо, и Бао опрокинулся на спину вместе с креслом, сильно ударившись затылком.

Когда он пришел в себя, по комнате метались голубоватые сполохи. Недремлющее Око трещало и искрило, безуспешно пытаясь показать хоть что-нибудь, а у судейского стола стоял высокий массивный человек с пышной бородой, кустистыми бровями и огромными глазами навыкате и без век. Человек сурово смотрел на растянувшегося на полу выездного следователя.

И все предыдущие неприятности, включая арест и пытки, показались судье под этим взглядом приятным времяпрепровождением.

Повинуясь неясному порыву, пришедшему откуда-то извне, судья Бао встал, поправил съехавшую набок шапку, отряхнул

одежду, поднял упавшее кресло и с достоинством поклонился.

Бородатый Варвар коротко кивнул и жестом подозвал судью поближе.

Выездной следователь повиновался, только сейчас заметив, что сквозь тело Бодхидхармы просвечивает противоположная стена кабинета, — и Пути Дамо вытянул бугристую волосатую руку, руку скорей плотника, чем монаха, в сторону Адского Ока.

Изображение появилось мгновенно, на все Око сразу, и было необыкновенно отчетливым. Судья Бао увидел знакомые стеллажи Шестой канцелярии. Одна из полок приблизилась, а на краю ее лежал одинокий пыльный свиток без надписи.

Бодхидхарма щелкнул пальцами — в ответ на свитке проступили крупные иероглифы: «Преподобный Фэн, повар из монастыря Шаолинь».

***

Когда судья обернулся, намереваясь засыпать патриарха вопросами, призрак Бодхидхармы уже таял в воздухе. Бао показалось, что Бородатый Варвар ободряюще улыбнулся ему — и в следующий миг видение исчезло.

А Недремлющее Око продолжало показывать свиток повара Фэна, и судья Бао понимал, что вот она — разгадка происходящего в Поднебесной, разгадка его дела о руках с изображениями тигра и дракона, ответ на все вопросы или по крайней мере на большинство из них, и теперь можно наплевать на гордость и попросить Владыку о помощи — а Владыка не откажет, нет, не откажет, тем более что это и в его интересах, и дело наконец будет завершено...

В следующий момент в кабинете судьи возник Владыка Яньван собственной персоной.

И вид у Владыки был такой, что выездному следователю сразу расхотелось просить его о чем бы то ни было.

— Что здесь... — разъяренно начал Владыка и не договорил.

Судья Бао проследил за его взглядом и увидел на своем столе совершенно чистый свиток, на котором медленно проступали иероглифы.

— Понятно, — процедил сквозь зубы Яньло, когда на листе проявилось имя Бодхидхармы.

Ничего не говоря, он отстранил перепуганного судью, и ладони. Князя замелькали над квадратами стола. Адское Око

откликнулось, и наконец Яньло с явным облегчении выпрямился.

— Ты знаешь, что произошло? — поинтересовался Владыка у судьи.

— Здесь... здесь был призрак Бодхидхармы!

— «Призрак Бодхидхармы»! — передразнил его Янь-ван. — А то, что на несколько минут ВО ВСЕХ КАНЦЕЛЯРИЯХ НА ВСЕХ СВИТКАХ ИСЧЕЗЛИ ВСЕ ЗАПИСИ, это ты знаешь?! Слава уж не знаю кому, что сейчас все восстановилось!

«Доигрался», — уныло подумал судья Бао.

Однако Владыка уже взял себя в руки. Он как-то странно посмотрел на выездного следователя и вкрадчиво проговорил:

— Впредь я попросил бы вас, уважаемый Бао, если у вас возникнет желание ознакомиться со свитками столь выдающихся людей... и других существ, — сначала посоветоваться со мной. Как вы могли убедиться, это бывает небезопасно.

Судья кивнул, судорожно сглотнув.

— Позднорожденный умоляет о прощении, — выдавил он.

— Поймите: лучше лишний раз побеспокоить меня, чем выпустить на волю что-нибудь такое, с чем вам потом не удастся справиться. Кстати, вам что-нибудь, нужно?

— Нет, благодарю вас, — твердо ответил сянъигун и посмотрел Янь-вану прямо в глаза.

— Ну, как знаете... — пробормотал Владыка себе под нос, и через секунду его уже не было в кабинете.

Некоторое время судья Бао приходил в себя, обмякнув в кресле.

А когда ему наконец удалось собрать разбегавшиеся мысли, среди них обнаружилась одна, ранее лежавшая где-то на самом краю сознания, а теперь благодаря учиненному кавардаку выплывшая на поверхность: «Как там дела у Змееныша? Надо бы посмотреть!» Судья прикинул, что Змееныш Цай навряд ли является столь выдающейся личностью, как Просветленный Учением Бородатый Варвар, и решил, что для него можно и не испрашивать особого разрешения великого Янь-вана.

А потому ничтоже сумняшеся вписал имя Змееныша в свободный квадрат.

Несколько мгновений выездной следователь, понемногу меняясь в лице, наблюдал за возникшей в Адском Оке картиной, а потом тишину канцелярии разорвал его истошный вопль:

— Ли Иньбу! Быстро сюда!

И черт-лоча ворвался в кабинет.

Глава десятая

1

— Ты служил в армии? — удивленно нахмурился преподобный Бань. — Когда? Где?

И Змееныш проклял свой язык.

***

Дорога складывалась удачно. Нанятая лодка медленно плыла по течению на север, лодочник в неизменной рваной кацавейке сидел у руля и курил трубку, три его помощника суетились с шестами у бортовых перил, а оба торговца — очухавшийся бельмастый и его приятель — вели себя, что называется, тише мертвой иволги. Суденышко оказалось из тех внешне неказистых джонок, в чьем трюме можно спрятать стадо овец и вдобавок тюк-другой контрабандного шелка; на порогах лодка вела себя послушно, не доставляя лишних неприятностей ни лодочнику с помощниками, ни пассажирам. На каждой береговой станции к ним кто-то подсаживался, чтобы вскоре сойти: то спешащий порученец из городского приказа, не раздобывший лошадь у хозяина почтовой станции, то щеголь-шалопай с молчаливой девицей, явно краденой, которую щеголь звал женушкой и заливисто смеялся; то обвешанные торбами и мешками крестьяне окрестных деревень, собравшиеся к родичам или на ярмарку. А как-то раз подсела целая шайка несомненных мошенников с такими рожами, что лодочник выкурил за день четыре полные трубки вместо обычных двух.

Впрочем, это соседство завершилось как нельзя лучше: пройдохи вели себя смирно, косясь на невозмутимого Баня, восседавшего на корме рядом со Змеенышем, и на следующий день сошли на берег, где и передрались меж собой.

И всю дорогу преподобный Бань с рвением соблюдал распорядок монастырской жизни, насколько это позволяли условия. Змееныш недоумевал: действительно ли высший шаолиньский иерарх старается придерживаться традиционного образа жизни или просто выполняет обещание научить уму-разуму юного инока, данное патриарху обители? Тем не менее: подъем в конце пятой стражи — Бань чувствовал это время, что называется, пятками, хотя никаких стражей с колотушками по берегам не наблюдалось; медитация под открытым небом,

утренний туалет и неспешный разговор об Учении. И уроки кулачного боя с перерывами на трапезу.

Часа отдыха преподобный Бань не устраивал. А также опускал изучение трав и секретов массажа. Трактовка монахом из тайной службы основ Чань и воинского искусства немало заинтересовала Змееныша. И то: было чему дивиться! Вместо монастырского разнообразия, когда одна проповедь о житии Будды Шакьямуни сменялась другой, парадоксальные вопросы сбивали с толку, а голова и мышцы пухли от обилия «кулаков» — «падающих», «рубящих», «пронзающих», «больших красных», «малых красных», «кулаков ночного демона» и прочих...

В области Учения преподобный Бань ограничивался самыми обыденными разговорами, внешне ни о чем, лишь изредка приводя в пример эпизоды жизни выдающихся людей — и примеры эти почти всегда были такими же обыденными, как и все прочее. Героев, подвижников и поучительных джатак для Баня не существовало. Словно никогда великий Будда не сокрушал Мать демонов, породившую пятьсот бесов, и не делал ее монахиней; словно бодисатва Гуань-инь никогда не разъезжала в женском облике на белом слоне! Вместо этого монах рассказывал примерно следующее:

***

Известно, что третий чаньский патриарх Сэнцань встретил смерть стоя и с приветственно сложенными руками. Когда через триста лет умирал Чжисянь из Хуаньци, он спросил:

— Кто имеет обыкновение умирать сидя?

— Монахи, — ответили ему.

— Кто же умирает стоя? — спросил Чжисянь.

— Просветленные монахи, — ответили ему.

Тогда он стал прохаживаться туда-сюда и на восьмом шаге умер.

Когда перед Алмазным гротом на горе Утайшань заканчивал свою жизнь преподобный Дэн Иньфэн, он спросил:

— Монахи умирают сидя и лежа, но умирал ли кто-либо стоя?

— Да, бывало, — ответили ему.

— Ну а как насчет того, чтобы умереть вниз головой? — спросил Дэн.

Собравшиеся пожали плечами.

Тогда Дэн Иньфэн встал на голову и умер.

Его сестра-монахиня рассмеялась и сказала:

— При жизни ты неизменно пренебрегал людскими правилами и обычаями и даже в смерти топчешь общественный порядок!

***

...Змееныш не сомневался: рассказывая ему подобные истории, способные ввергнуть в шок большинство жителей Срединного государства* [Срединное государство — досл. Чжунго, настоящее название Китая.], Бань преследует какую-то свою, пока неведомую цель.

Видимо, ту же цель монах из тайной службы преследовал, ограничив продвижение своего ученика в воинском искусстве всего двумя вещами: дыханием и малым тао «восемнадцать рук архатов» — детищем Бородатого Варвара.

— Восемнадцать рук да восемнадцать ног — это уже будет тридцать шесть, — приговаривал Бань без тени усмешки. — Да на каждой по пять пальцев — всего сто восемьдесят. Да на каждом пальце по три сустава... нет, мальчик мой, этот путь не для нас.

И в сотый раз заставлял Змееныша танцевать любимое тао патриарха Бодхидхармы.

А когда лазутчик жаловался, что на корме не хватает места, Бань больно пинался ногами и назидательно добавлял:

— Где способен улечься бык, там способен ударить кулак!

После чего все начиналось сначала.

В самом тао — надо сказать, довольно-таки коротком и внешне несложном — на первый взгляд Змееныша, не было ничего особо трудного. Шесть действий кулаком, два — ладонью, одно — для локтя, четыре действия ногой и пять захватов. Все. И полное отсутствие чего бы то ни было, хоть отдаленно напоминавшего чудеса, поражающие воображение, которые демонстрировали на площадке наставник Лю, учителя-шифу или тот же повар Фэн, когда бывал в хорошем расположении духа. Ни божественно высоких прыжков, ни тройных ударов ногами, ни мелькания почти невидимых рук, способных заморочить голову кому угодно... Простота и несокрушимость; и полное пренебрежение обманными увертками. Последнее особенно смущало Змееныша, в силу рода занятий предпочитавшего избегать открытого боя.

Он прекрасно знал: только в историях бродячих сказителей или на театральных подмостках лазутчики ежеминутно вступают в сражение, повергая толпы бестолковых врагов. На самом же деле...

Лазутчики смерти — это те, кто ценой собственного существования вводит врага в обман; лазутчики жизни — те, кто возвращается.

Но нет лазутчиков, которые дерутся на всех перекрестках Срединной империи.

А Бань все хмыкал и заставлял до изнеможения повторять «руки архатов», лишь изредка делая внешне незначительные замечания.

Не сразу, ох, не сразу поймал Змееныш за хвост вертлявую нить, на которую нанизывалась истинная суть любимого тао Бодхидхармы. Но когда поймал... Остановился, долго стоял в оцепенении — и Бань не мешал, не обрывал, не ругал глупого, — потом трижды прошел все цепочки, на миг замирая в конце каждого звена, завершил работу и сел на палубу.

А в мозгу Змееныша еще мелькали «восемнадцать рук».

«Орел впивается в горло», «монах забрасывает котомку за плечо», «стрелять из лука и высовываться из-под навеса», «дракон рушится с неба», «монах звонит в колокол, вдевает в иголку золотую нить и укладывает стропила»...

Каждая рука заканчивалась гибелью воображаемого врага.

Не победой, нет!

Смерть отграничивала «впивающегося в горло орла» от «монаха с котомкой», и их обоих — от «стрелка из лука» или от «монаха, открывающего ворота обеими руками», которым все и заканчивалось.

Воображаемый враг никогда не был повержен; он был убит и только убит.

— Вот это и есть подлинная слава Шаолиня, — вполголоса заметил преподобный Бань. — Это и только это. А все остальное... — И почти без перерыва спросил: — Когда ты еще не принял монашества — как обходились с тобой иноки в обители?

— Ну... — Змееныш замялся. Скрытый смысл вопроса был ему неясен.

— Старшие братья учили меня жизни, — наконец нашелся он.

— Учили жизни? Ты служил в армии? — удивленно нахмурился преподобный Бань. — Когда? Где?

И Змееныш проклял свой язык.

А когда начал отговариваться двоюродным братом, пехотинцем гарнизона, то монах из тайной службы уже потерял к этой теме всяческий интерес.

Лазутчик жизни стоял на корме и думал, что еще совсем недавно, когда сердце не примешивалось к выполнению задания, он ни за что не допустил бы такого промаха.

2

Впереди показалась очередная пристань.

Помощники лодочника уперлись шестами в дно, дружно крякнули, лодочник налег на руль — и судно двинулось к причалу. Когда лодка уже мостилась боком к бревенчатому, окованному металлом краю пристани, а старший помощник набрасывал на столбики кольца пеньковых канатов, Змееныша удивило поведение наставника.

Преподобный Бань, нимало не интересуясь близостью берега, глядел вдоль левого борта, туда, где ответвлялся от основного русла извилистый рукав...

Оттуда, с севера на юго-восток, под косым треугольным парусом шла чужая джонка. В общем-то, ничего особо примечательного здесь не наблюдалось; разве что джонка двигалась излишне резво, да из-под крытого дранкой навеса в середине судна доносились хриплое пение и редкие бессвязные выкрики.

Змееныш прислушался.

Расцвету государства
И паденью —
Всему своя
Приходит череда, —

донеслось до лазутчика.

И минуту спустя:

Империи позор
И пораженье
Чем объяснить
Сумели б мы тогда?!

Преподобный Бань молчал и следил за гулящей джонкой.

Наконец певец выбрался на палубу, явив себя целиком: нестарый еще мужчина, одетый по последней столичной моде. Высокая шапка из черного флера красовалась на его голове, тело покрывал халат из ярко-красной шерстяной ткани, с квадратами на груди и спине, вытканными стилем «доуню». Пояс, шириной не меньше чем в четыре пальца, украшали пластинки цзиньшанского белого нефрита, покрытые тончайшей резьбой. Обут же певец был в черные сапоги на узком каблуке, рядом с пряжкой пояса свисал золотой замок в форме рыбы, а шапку украшали хвосты соболя и крылышки цикады.

— Чем объяснить сумели б мы тогда?! — еще раз возопил изрядно подвыпивший пассажир и вдребезги разнес о палубу крутобокую чашку — только брызнули во все стороны черепки, отливавшие молочной белизной.

Лазутчику жизни не надо было объяснять, что он видит перед собой одного из высших столичных чиновников. Квадраты в стиле «доуню» с изображением драконообразной коровы украшали одежду тех, кто отмечен был Сыном Неба за особые заслуги; замок в форме рыбы символизировал сохранение государственной тайны — сановник, носящий подобное украшение, был немым и недремлющим, как рыба. О цикаде и соболе даже говорить не приходилось — такое позволяла себе только аристократия.

И неважно было, что халат сановника заляпан жиром и залит вином, что рыбий замок погнут, а соболиные хвосты на шапке истрепались.

Важно было то, что джонка его спешила с севера на юг.

Да и сам именитый певец, вне всяких сомнений, заметил лодку, на которой сидели Змееныш и преподобный Бань. Махнув своему лодочнику, сановник другой рукой указал на пристань — и джонка с навесом двинулась наискось течения. Но причаливать к пристани судно почему-то не стало. Ловко прилепившись к первой лодке, прямо вплотную к левому борту, помощники швырнули четыре бронзовых крюка — и оба судна на некоторое время стали одним целым.

— Эй, наставник! — заорал певец, обращаясь к монаху из тайной службы. — Вина выпьете?

Обращение само по себе было достаточно грубым, лаже если не предполагать в столичном чине наличия особой вежливости к нижестоящим. И Змееныш, что называется, поставил ушки торчком, когда преподобный Бань неторопливо ответствовал:

— И вина выпью, и от мяса не откажусь! Примите скромного

инока под своим навесом!

После чего перепрыгнул на борт джонки сановника.

От лазутчика жизни не укрылось, что лодочники обеих джонок уже собрались на причале, и тот, который вез сановника, взахлеб рассказывает что-то своему собрату по ремеслу.

Экипаж новоприбывшей джонки весь, как на подбор, состоял из людей кряжистых, тяжкоруких, с тусклым невыразительным взглядом, какой бывает только у тех любимцев судьбы, кто смотрел смерти глаза в глаза.

Опять же: странные слова, какими только что обменялись певец и монах, слишком уж напоминали Змеенышу уговорные фразы, заранее приготовленные для неожиданных встреч.

Змееныш Цай растянулся на корме — счастье экое привалило, наставник мучить перестал! — и зажмурился.

Ему все меньше и меньше хотелось в Столицу.

***

...Не поднимая ресниц, лазутчик ощутил рядом с собой присутствие двоих людей. От одного пахло табаком и прелым мехом — лодочник с трубкой и в кацавейке; от другого неуловимо тянуло сухими пряностями и, как ни странно, вином — преподобный Бань вернулся с чужой джонки.

Лодку слегка качнуло.

Видимо, крючья были отцеплены, и развеселый певец отправился дальше, с севера на юг.

— Вы, наставник, это... — бухтел лодочник, ежеминутно откашливаясь. — Вы, значит... не надо вам больше плыть. Мы с парнями правым рукавом пойдем, до Ханьских Пустошей, а там груз примем и обратно потащимся! Чего вам крюка давать?! Здесь если берегом — и десяти ли не будет, а там уже почтовая станция... договоритесь с кем-нибудь, наставник, подсядете в повозку и двинетесь себе ни шатко ни валко! Три поста минуете, возьмете от дороги Цветущих Холмов правее — и как раз пригороды Бэйцзина!

Лодочник помолчал и добавил глухо:

— Храни вас Будда, наставник... вас и мальчишку вашего.

И все время, пока преподобный Бань и Змееныш спускались на пристань и шли к зарослям ивняка, за которыми начиналась тропа, ведущая к почтовой станции, — все это время лодочник смотрел им вслед и кусал черенок своей трубки.

Он не видел, как, углубившись в ивняк, преподобный Бань приказал Змеенышу остановиться и начал рыться в своей котомке.

Достал сверток.

Содрал с себя оранжевую кашью.

Погладил ладонью бритую макушку и натянул на голое тело такую же черную хламиду, в какой до сих пор щеголял Змееныш.

После вынул мешочек с тесемками и извлек оттуда две гуады — именные бирки обители, где указывалось время принятия иноком монашества, имя последнего и место расположения монастыря.

Одним глазком Змееныш сумел заглянуть в написанное на гуадах — ни о каком Шаолине там речь и не шла, а сообщалось о Храме Полдневной Бирюзы в уезде Шаньду.

Невольно лазутчик скосился на руки наставника. Те глубоко утонули в широченных рукавах — и все-таки, стоило предательским клеймам хоть на минуту обнажиться, и никакая гуада не смогла бы никого переубедить!

— Вот так-то, инок, — невесело бросил Бань. — Пошли, что ли...

И больше не сказал ни слова до самой почтовой станции.

3

Рядом со станцией, непривычно пустынной и безлюдной, возвышался двухъярусный павильон.

Над входом в него красовалась вывеска:

«Совместная радость».

А чуть ниже на кипарисовой доске меленькими иероглифами, красными, как кровь:

«Охранное ведомство Ши Гань-дана».

На крылечке павильона сидел могучий старик в бумажном халате и пил просяное пиво. Годы ничего не смогли поделать с упрямцем — именно о таких мужах говорилось в древности:

«Двигаются, как водяной вал, покоятся, как горная вершина, падают, как сорока, стоят, как петух; мчатся, как ветер, валятся, как железо, защищаются, как девственница, нападают, как свирепый тигр!»

Длинные волосы старика были завязаны в два белых пучочка, поперек щеки красовался извилистый шрам, уходящий к самому горлу, жилы на шее вздувались синими червями — а на мрачном

лице не было ни одного из сорока трех признаков благожелательности.

За складчатым кушаком у грозного старца торчала сабля без ножен — та короткая сабелька, которую еще прозывают «костяной саблей» и которая с головой выдает принадлежность ее владельца не к коренным ханьцам* [Ханьцы — коренные китайцы; И — малая народность.], а к народности И. Поговаривали, что мужчины И спят с саблей чаще, чем с женой. В их селениях лучшие бойцы развлекались следующим образом: подбросив в воздух палочку, рубили ее пополам и не давали обломкам упасть на землю — подбивали клинком, как дети подбивают цурку. После чего пополам рубился каждый обломок; и так далее. Победитель превращал бедную палочку в груду щепок, прежде чем хоть одна из них касалась земли, — и все селение гордилось героем.

Лучшие из лучших проделывали то же самое — но с сидящим у них на шее приятелем, играющим на свирели.

На приветствие монахов старик ответил весьма своеобразным способом: выплеснул на пробегавшую мимо курицу пивную гущу и налил себе добавки из стоящего под рукой жбана.

Змееныш отметил, что бока жбана и глазки старика блестят одинаково негостеприимно.

— Безвестные иноки видят перед собой достойнейшего Ши Гань-дана, чье звонкое имя прославлено среди телохранителей Поднебесной? — как ни в чем не бывало осведомился преподобный Бань, еще раз низко кланяясь и складывая ладони перед грудью.

Мокрая курица с оглушительным кудахтаньем унеслась прочь, а старик хрипло откашлялся, что с равным успехом можно было считать согласием или отрицанием.

— Могут ли безвестные иноки надеяться, что достойнейший Ши Гань-дан поможет им пристать к проезжающим мимо путникам и без помех добраться до Бэйцзина?

Поколебать спокойствие Баня было трудно.

Хотя Змееныш понимал, что старик близок к этому.

Ши Гань-дан в три глотка выхлебал свое пиво, скорбно заглянул внутрь жбана и, грузно поднявшись, удалился в павильон.

Монах из тайной службы бестрепетно последовал за ним.

А Змееныш уселся прямо на землю, скинул с плеча котомку и стал ждать.

Когда-то ему довелось около полугода прослужить уборщиком в охранном ведомстве на побережье, и он неплохо изучил нравы и обычаи охранников. В подобных павильонах, что

строились близ любой мало-мальски значительной почтовой станции, оседали те мастера кулака и оружия, которые по разным причинам не открыли собственную школу, не имели близких родственников, чтобы превратить свое искусство в семейное достояние, и не были расположены к тому, чтобы сделаться бродячим учителем. Продавая за плату — и немалую! — свои услуги, они нанимались к богатым купцам или странникам, не жалующимся на достаток, но желавшим сберечь в неприкосновенности собственную шкуру и имущество. Даже жаргон у охранников был особый, чем-то напоминающий хитрые словечки лесных братков: товар звался коротко и емко — «бяо», сам охранник носил прозвище «бяо-ши», купеческая повозка — «бяо-чэ»... Ну а если отданный под охрану товар все-таки оказывался разграблен, то это называлось «кинуть бяо».

Злые языки утверждали, что «кидались» доблестные охранники в основном по предварительному сговору с бандитами. Иначе чем объяснить то, что разбойное нападение на товар или путника под охраной бяо-ши мгновенно вместо намечавшейся резни превращалось в переговоры? И лихой удалец, как правило, находил общий язык с наемным телохранителем.

А если не находил — чаще всего дело ограничивалось поединком, причем не до смертельного исхода, и победитель диктовал побежденному свои условия.

Грабители побеждали редко — что способствовало разрастанию сети охранных ведомств.

Короче, в прилепившемся к почтовой станции «Охранном ведомстве Ши Гань-дана» не было ничего удивительного.

Зато много непонятного крылось в странном безлюдье, охватившем почтовую станцию всего в трех-четырех этапах от Северной Столицы... И из молодцов-охранников тоже не наблюдалось никого, если не считать грубого старичину в бумажном халате.

***

Хриплый раскатистый хохот, раздавшийся в павильоне, вывел Змееныша из состояния задумчивости.

— Ты, бритоголовый, хочешь наняться ко мне?! — Рев старика мог напугать кого угодно; увы, сейчас поблизости не было пугливых. — Бездельник с гладкой макушкой, годный

только на то, чтобы клянчить милостыню и бубнить сутры, смеет предлагать мне, Ши Гань-дану, взять его на временную работу?! Да еще и послать с ближайшими путниками на Бэйцзин в качестве бяо-ши! О Небо, да меня засмеют первые же грабители, которые вздумают прогуляться по дороге Цветущих Холмов! Держи-ка лучше плошку с остатками вчерашних маньтоу и заткни едой свой глупый рот!

Когда преподобный Бань вновь показался на крыльце, в руках монаха действительно была плошка с зачерствевшими маньтоу — и плошку эту он походя сунул Змеенышу.

— Благодарю тебя, о благороднейший Ши Гань-дан! — трижды поклонился монах вышедшему следом старику. — Щедрость твоя велика, а поведение воистину достойно твоего славного имени! По моему непросвещенному мнению, Ши Гань-дан означает «сплав камня и дерзости»? Или проказница-память вновь подвела ничтожного инока, годного только клянчить подаяние?

Змееныш и не подозревал, что его преподобный наставник, бодисатва из канцелярии Чжан Во, тоже разбирается в жаргоне бяо-ши; но не знал этого и престарелый Ши Гань-дан.

Он осекся, лицо старика налилось дурной кровью, и не успел Змееныш откусить хоть кусок от дареных маньтоу, как старик уже сжимал в своей лапище бамбуковую жердь от стропил.

Приличная такая палка, локтя полтора в длину и почти с указательный палец в поперечнике.

Если огреть по хребту... все шло к тому, что «Совместная радость» выходила отнюдь не радостью и уж никак не совместной.

Почему-то перед глазами Змееныша встала картина утренней медитации в обители; только вместо наставников с палками расхаживали четверо совершенно одинаковых Ши Гань-данов, а из медитирующих монахов сидел один преподобный Бань. Ши Гань-даны по очереди лупили монаха из тайной службы по плечам, а тот кланялся и благодарил за заботу о его личности.

Что-то в видении было не правдоподобным, но Змееныш не успел выяснить, что именно.

— Ненавижу святош! — разом рявкнули все Щи Гань-даны; и картина исчезла, остались лишь Бань и старик с палкой в руке.

Кулак седого бяо-ши сжался, дико белея массивными костяшками, послышался хруст, треск — и когда Ши Гань-дан разжал пальцы, всем стало видно, что бамбук от его хватки оказался раздавлен, встопорщившись полосками-иглами.

— Повторишь — возьму на работу, — только и сказал старик, ухмыляясь. — Эх, запакостили Поднебесную...

И не договорил.

Бросил искалеченную палку и вновь умостился на крыльце.

Преподобный Бань низко-низко поклонился в очередной раз, после чего присел возле Змееныша и взял из плошки немного еды.

— Шутить изволите, мастер? — с набитым ртом поинтересовался монах. — Вы и я — как буйвол и мышь; куда нам, отказавшимся от мира, с героями спорить? За науку спасибо, век не забуду, а насчет Поднебесной... Может, и правы вы, мастер, только ведь сплав камня и дерзости не всегда на быстрине выплывает — случается, что и тонет! Не сочтите за обиду, конечно...

Седой бяо-ши уже собрался ответить — не в привычках Ши Гань-дана было отмалчиваться! — но события нежданно развернулись к монахам и главе охранного ведомства совсем иным боком.

4

Откуда успели подойти шесть носильщиков, несущих одностворчатый паланкин с плетеной крышей? Ведь минуту назад дорога была совершенно пуста!

Не с неба же свалились? Делать больше небу нечего, как таких вот гостей вниз спихивать... тоже нам, небожители в лазоревых перьях — носильщики с паланкином! Или просто-напросто трое людей у павильона так увлеклись происходящим с ними, что прозевали и паланкин, и носильщиков, и вообще все на свете?!

Змееныш наскоро огляделся, и его весьма смутила девственность пыли на дороге. Ни тебе следов, ни тебе... Впрочем, если носильщики вывернули из-за здания почтовой станции — тогда и впрямь можно было незаметно приблизиться к охранному ведомству.

И все же: ну не мог лазутчик проморгать... а проморгал.

Дюжие парни поставили свою ношу на землю и принялись разминать друг другу затекшие плечи; занавеска из тонкой искрящейся ткани отдернулась — и из паланкина легко выпорхнула женщина.

Была она не первой молодости, лет эдак тридцати с небольшим, но если падал на госпожу мужской взгляд, то долго не мог оторваться, как каторжник и рад бы сбросить шейную

кангу-колодку, да не может — эх, приросло-прикипело!

Одета госпожа была в кремовую кофту с широкими рукавами и юбку из жатой камки, кирпично-розовую в крапинку. Из-под края юбки кокетливо выглядывали носки туфелек — фениксовых клювиков. На подоле были в изобилии нашиты жемчужины, умеряющие своей тяжестью и без того крохотный шажок женских ножек, подобных лотосу. Пояс-обруч, украшенный прозрачными бляхами из носорожьей кости, свисал ниже талии — и мнилось, будто сама милостивая бодисатва Гуань-инь сошла на землю!

— Зачесанные назад пряди смоляных волос госпожи, лишь едва тронутых благородной сединой, напоминали паруса, полные восточным ветром; чудилось, что и не волосы это, а легкий дым или прихотливый туман. Спереди прическу украшали шпильки-единороги с аметистом и бирюзовые подвески; в ушах же колыхались серьги редкой работы.

Вот какая это была женщина!

И впрямь:

Весна на лиловой аллее прекрасна,
Пленительна музыка в башенке красной!
Без радостей наша недолгая жизнь
Пуста и напрасна!

Не удостоив монахов даже взглядом, благородная госпожа подплыла к крыльцу павильона и мило улыбнулась старому Ши Гань-дану.

От такой улыбки скалы плавятся — да неужто сердце могучего старика тверже скалы?!

— Я спешу в усадьбу моего брата, инспектора Яна Ху-гуна. — Тон приезжей, даже ласковый и приветливый, выдавал в госпоже привычку скорей приказывать, нежели просить. — Не сомневаюсь, что почтенный глава охранного ведомства выделит для моего сопровождения самых отборных молодцов! Только учтите, почтеннейший, я крайне тороплюсь!

Ши Гань-дан поспешно встал и поклонился — довольно-таки неуклюже. То ли старческий позвоночник гнулся не лучшим образом, то ли ему вообще редко доводилось кланяться.

— Если благородная госпожа соблаговолит пройти в павильон и обождать не более двух часов, — лицо старого бяо-ши расплылось в любезной гримасе, не сделавшей его привлекательней, — то как раз должен вернуться с дороги мой внук Ши-меньшой! Он и еще двое наилучших охранников к тому

времени будут в вашем распоряжении!

— Но я не могу ждать! — капризно топнула ножкой госпожа. — Сами видите: дело близится к полудню, неумеха-лодочник припоздал, доставив нас к этой пристани совсем не тогда, когда было уговорено... Нет, я решительно не могу ждать! Сегодня вечером я непременно должна быть в усадьбе моего брата! Надеюсь, вам знакомо имя инспектора Яна?!

Физиономия старца стала еще любезней, видимо, ему было абсолютно неизвестно имя уважаемого инспектора Яна.

— Увы, благородная госпожа! — развел руками Ши Гань-дан. — К моему сожалению, все молодцы оказались в разъезде, и единственное, что я могу вам предложить, — это дождаться Ши-меньшого, под чьей защитой вы будете в полной безопасности; или...

Он помолчал, машинально оглаживая рукоять своей сабельки (словно коня успокаивал) и насмешливо разглядывая монахов, не спеша поглощавших дареные маньтоу.

— Или же удовольствоваться сопровождением сих преподобных отцов, один из которых совсем недавно просил меня принять его на временную службу!

Похоже было, что благородная госпожа усмотрела в этом предложении издевку.

И была права.

Она уже готовилась перечислить нахалу Ши Гань-дану, этому языкатому сплаву камня и дерзости, весь перечень возможных неприятностей, какие в силах устроить ее чиновный братец, инспектор Ян... как его? Ху-гун, кажется? — но преподобный Бань вдруг перестал жевать, легко поднялся на ноги и в три шага оказался рядом с паланкином.

Как раз в это время старший носильщик придирчиво осматривал дверную занавеску и сокрушенно цокал языком. Поперечная жердь, на которой крепилась занавеска, провисла с одного конца — крепежные кольца разогнулись в месте стыка, и жердь грозила с минуты на минуту отлететь. Никакого инструмента для починки под рукой не оказалось, и единственным решением было отыскать поблизости две короткие бамбуковые палки — после чего вставить их в петли занавески, трижды закрутить и укрепить концами в боковых пазах.

До усадьбы инспектора Яна это вполне могло продержаться.

А то сперва занавеска отлетит, потом капризная красавица примется кричать, что ее замечательные глазки полны пыли, и начнет вымещать злость на всех, подвернувшихся под горячую руку!

Старый бяо-ши груб или не груб — это, в конце концов, его

заботы, а тащить паланкин в этакую даль, чтобы не получить и пяти связок монет...

Нужная бамбуковая жердь уже была найдена старшим носильщиком — благо валялось их близ павильона немало (крышу чинили, что ли?). Осталось только разрубить ее чем-нибудь острым на две половинки, потому что попытка сломать жердь о колено успела с треском провалиться.

И треск-то вышел слабенький; позорище, а не треск!

Короче, преподобный Бань поспел как раз вовремя. Носильщик уже стал с подозрительным вниманием поглядывать на сабельку Ши Гань-дана, явно намереваясь попросить ее для хозяйственных работ. А вспыльчивость народа И — особенно если дело касалось их традиционного оружия! — была известна всем.

Кроме, видимо, старшего носильщика.

— Позвольте взглянуть? — Преподобный Бань взял бамбук из рук носильщика и внимательно его осмотрел.

Палка была несколько тоньше той, что не так давно раздавил глава охранного ведомства «Совместная радость», А длины примерно такой же — около полутора локтей.

Золотой ворон солнца слетел пониже и долбанул горячим клювом голову монаха. На бритой макушке выступили капельки пота, преподобный Бань слегка подергал палку, как дергают полотно, проверяя его на прочность; в наступившей тишине было отчетливо слышно, как хмыкнул старый Ши Гань-дан...

Мгновенное напряжение сковало жилистое тело монаха, обвив его змеиными кольцами стальной проволоки; преподобный Бань страшно оскалился, издав резкий гортанный выкрик, шея монаха вросла в плечи, вспухнув жилами, на миг обнажились побагровевшие руки, явив любопытным взорам яростного тигра и свирепого дракона, — и вдруг все закончилось.

Змееныш закашлялся, подавившись куском маньтоу.

Он никогда не верил, что подобное возможно. Он и сейчас в это не верил.

— Бродячий инок нижайше просит принять его скромный дар. — Преподобный Бань с поклоном передал ошалевшему носильщику обломки бамбуковой жерди.

Которую только что разорвал пополам, словно гнилое сукно.

После чего обернулся к белой, как снег, госпоже.

— Итак, вам нужны сопровождающие? — осведомился монах.

***

Когда паланкин, за которым неторопливо брели Змееныш и монах из тайной службы, скрылся за поворотом дороги, старый Ши Гань-дан принес новый жбан пива и присел на крылечко.

— Дурак! — незло буркнул старик, наливая себе очередную кружку. — Тоже мне, сэн-бин, монах-воитель... нашел перед кем вола раздувать! Перед старым Ши Гань-данем! Столько лет прожил, ума не нажил... и Будда не вразумил!

Глава «Совместной радости» отхлебнул пива и замолчал.

Он не мог дать волю языку.

В павильоне, в потайной каморке, уже третий день сидел помощник столичного цензора, востроносый человечек с личиком мышки-полевки и глазами хорька.

Оттого и пустовала станция; оттого и были в разгоне все молодцы бяо-ши — кому охота...

Тс-с-с!

Старый Ши Гань-дан и так сделал для пришлого монаха все, что мог, грубостью и намеками пытаясь вынуть из-под монашеских сандалий опасную дорогу на Бэйцзин.

Значит, судьба...

За всем этим как-то подзабылось, что ни о каком инспекторе Яне старик и слыхом не слыхивал. Зато шаман их селения не раз вечерами рассказывал о хитреце Яне по прозвищу Ху-гун.

То есть Лисий Господин.

Что ж, значит, судьба еще раз...

5

Дело шло к вечеру.

Полупрозрачный серпик месяца робко замаячил в нахмурившемся небе, явив миру Хладный Дворец, где живет-поживает грустная богиня Чанъэ; воспрянувшие душой цикады запиликали вразнобой, празднуя прохладу, и птичья мелочь, вторя им, затянула грустные напевы своих цинов. Дорога петляла меж пологих холмов из желтого лесса, кое-где неопрятно обросших сосняком и зарослями дикого папоротника, сворачивала к рощам криптомерии и сбегала в распадки,

притворяясь то собачьим хвостом, то ошалевшей в брачную пору гадюкой. Неутомимые поначалу носильщики стали все чаще сбиваться с шага, встряхивая паланкин и вызывая шумное неудовольствие госпожи, а обещанной усадьбы инспектора Яна все не было видно.

Монахи шли позади.

— Ты удивительный человек, — сказал вдруг преподобный Бань, разглядывая юношеский профиль своего спутника.

Змееныш споткнулся. Личина лазутчика требовала этого — еще бы, услышь кто нечто подобное из уст наставника, рвущего вот такенные бамбучины, так и вовсе ума бы лишился!

На самом деле Цай всю дорогу от Нинго к этим холмам ждал чего-нибудь подобного.

— Ты удивительный человек, — без нажима повторил бодисатва из тайной канцелярии. — Я совершенно не могу запомнить твоего лица. Вот когда смотрю — все ясно: высокие скулы, чуть припухшие веки, нос с горбинкой, ямочка на подбородке... А отвернусь, и мгновенно забываю! То есть, конечно, помню: ямочка, высокие скулы... но эти слова перестают складываться в лицо. Интересно, если сейчас кто-нибудь напомнит о тебе патриарху или наставнику Лю — смогут ли они воссоздать в уме внешность своего инока?!

— Да что вы такое говорите, наставник! — Чуть не плача от обиды, Змееныш наскоро огляделся. — Вот нападут на нас злые грабители, убьют меня в неравной схватке, а вы потом скажете, плача и стеная: несправедлив я был к молодому иноку, обижал его почем зря! Ругал ругательски, упрекал невесть за что! Явитесь вы в столицу, к мудрому наставнику Чжан Во, правой руке Сына Неба, «обнимающему голову морской черепахи»* [Обнимать голову морской черепахи — занимать высокий пост.], и повинитесь — дескать, взял себе в служки бедного юнца и загубил молодую жизнь! Казните меня страшной казнью!

Неся всю эту чепуху, Змееныш исподтишка озирался по сторонам. Даже в случае возможного разоблачения ему и в голову не приходило пытаться мериться силами с преподобным Банем. Все равно что совать руку в пламя в надежде, что не обожжет! Зато... вон ущельице меж двумя холмами, и если припустить вдоль колючей стены можжевельника, после нырнуть в глинистый распадок, а там и холмы нужные тут как тут!..

Змееныш должен был попасть в Бэйцзин.

А с Банем или без — это уж как получится.

— Явлюсь я в Столицу, к мудрому наставнику Чжан Во, — улыбнулся монах, катая желваки и словно напрочь забыв о предыдущей теме разговора. — Явлюсь и скажу... Интересно,

юный мой инок, каким ты себе представляешь наставника Чжана?

— Каким? — Змееныш сделал вид, что смешался, внутренне обрадовавшись безобидному вопросу. Похоже, бегство откладывалось. Надолго ли?

— Каким? — еще раз задумчиво прищурился Цай. — Ну, огромным, как дракон... или как главный воинский наставник Лю! Что называется, могуч и славен, глаза треугольные, ребра что бревна, голова словно башня! Чело задумчивое, покрыто шапкой из тончайшего шелка, лицо и уши удлиненные, подобно лику милостивого Будды... Стоит наставник Чжан у верхней ступени трона, дает государю мудрые советы, радеет о благе Чжунго! И вид наставника Чжана во всем подобен... да вот вашему и подобен, наставник Бань! Точь-в-точь, как одна мама рожала!

Преподобный Бань смеялся.

Он смеялся так заливисто и открыто, что даже носильщики ни с того ни с сего приободрились и затянули мерным речитативом:

Все новые песни да танцы подай богачу —
С недугом пора богачу обратиться к врачу!

Наконец монах отсмеялся и утер слезы.

— Тебе не в иноки, тебе б в сказители податься! — чуть охрипшим голосом бросил преподобный Бань. — То-то радости у базарных зевак было бы! А в общем, ты прав... и глаза треугольные, и уши удлиненные, и о благе радеет. Так радеет, что все время в разъездах! Явится в одну провинцию, явится в другую и давай сразу же местных силачей на помост звать! Выходите, герои и удальцы: один на один, трое вооруженных на одного безоружного, скопом против деревянной скамейки да палочек для еды! Трижды кланяюсь и нижайше прошу! И что ты думаешь, милый мой инок, — выходят...

Веселье Баня как ветром сдуло, что-то болезненное, злое пробилось в словах; и Змееныш почувствовал — не в нем, не в лазутчике жизни дело!

В другом, сокровенном, о чем только вот с дураком служкой и поговоришь...

— Выходят герои! Каждому птица Пэн в огузок клювом сунула — лестно великого мастера с клейменными руками прилюдно победить! А потом гудит по Срединной стоустым эхом: наставник Чжан чудеса на помосте творил, ан после его чудес местные князья да знатные хоу не своей смертью помирают! Того

на охоте случайно подстрелили, этот от темной горячки скончался! Небось заговор против государя плели! Государю от смерти непокорных польза, наставнику Чжану — почет да слава, а Поднебесной — сплошные напасти и «Безумие Будды»! Гневается Будда-то — почему монах, от мира ушедший, в миру козни творит?! Скажешь, не слышал? Отвечай!

Последнее явно относилось к Змеенышу.

И лазутчик понял: надо отвечать, причем отвечать быстро и настолько честно, насколько это возможно в его положении.

А иначе один выход — вон ущельице... и то вряд ли поспеешь.

— Слышал, наставник, — потупился Змееныш. — Не глухой... Всем болтунам рты не заткнешь!

— То-то, что не заткнешь! Бремя налогов простолюдинам облегчили — хоть бы одно благодарственное моление в ответ, сутяг да мздоимцев из канцелярий железной метлой — одни стенания, что невинных последней лепешки лишили; Великую Стену облицевали камнем и достроили — зря деньги тратим! Столицу в Бэйцзин перенесли — геоманты воют, что место неудачное! Посланцев, в обители обученных, повсюду разослали, от Сиама до дальнего острова Окинавы — небось опять Чжан-кознодей темные клинья подбивает! Ты тоже так думаешь? Что бесы с мертвецами из-за наставника Чжана и его людей встают?! Отвечай!

Змееныш только робко пожал плечами. Но на этот раз, как выяснилось, преподобный Бань и не ждал ответа — умолк, остыл, помахал рукой обеспокоенному старшему носильщику: дескать, все в порядке, молодого инока уму-разуму учу!

Клинок месяца резче проступил в небе, окончательно набухшем бархатной тушью; от сосен резко тянуло смолой, и вершины холмов казались макушками великанов древности, от собственной тяжести ушедших под землю.

Монах из тайной службы шел молча, зачем-то разглядывая собственные руки, украшенные легендарным клеймом, — словно впервые их видел.

Лазутчик еще подумал, что с таким брезгливым выражением рассматривают скорее дохлую змею.

— Почти два десятка лет тому назад я проходил Лабиринт Манекенов, — тихо сказал преподобный Бань. — Тебя тогда еще небось и на свете не было.

Змееныш обратился в слух, машинально прикидывая: монаху эдак с полета годков, значит, он старше лазутчика на восемь лет; чем Цай занимался почти двадцать лет тому назад? Кажется, в округе Аньдэ в свите правителя уезда младшим отгонялой

служил, шел себе впереди и блажил на всю улицу, чтоб с дороги убирались...

Вскоре в уезде новый правитель принимал грамоту на должность.

— Все в обители знали, что я его пройду, — продолжил Бань, — нет, не все; я не знал. Но прошел. Как — о том умолчу, тебе это слышать запретно. А в самом конце, когда обнял я раскаленный кувшин и, вдыхая запах собственной паленой плоти, смотрел на открывшийся мне выход... Вот оно, впереди — великое будущее, улыбка Будды, парадная дверь обители, радостный патриарх, восторженные братья! Шагни к ним, сэн-бин, монах-воитель, сотворивший неслыханное и немногим доступное, будь славой Шаолиня! Слушай меня, мальчик, — никому я о том не рассказывал до сего дня... Стою я, руки горят, сердце горит — и вдруг как ладонь душу сдавила: хочу назад вернуться! Не к славе, не к жизни, даже не к Учению; в ту смертельную темень, где познал я себя самого! Мнится мне: там, среди деревянных воинов и бездонных пропастей, стоит Бородатый Варвар, неистовый Бодхидхарма, великий Пути Дамо; стоит и манит пальцем. Дескать, еще не поздно, еще есть время выбирать! Знаю, что глупо, невозможно глупо, да только тянет, сил нет!.. Не вернулся. Вышел наружу, подставил руки, брат Лю — он тогда еще не был главным шифу — ожоги мне мазью смазывает, братия хвалы воздает... А за спиной вход в Лабиринт закрывается. Медленно так, словно ждет — передумает Бань-зазнайка, кинется в последний момент, ударит телом в щель, вернется... нет, не вернулся.

Бань откашлялся и быстро пошел вперед.

Змееныш не прибавил шага — глядел в сутуловатую спину монаха и чувствовал, что сейчас он ближе к разгадке тайны Шаолиньской обители и Лабиринта Манекенов, чем когда бы то ни было.

Вот только не потому ли заговорил о сокровенном бодисатва-Бань, что знал: никому не поведает сего юный инок!

И не пора ли — вон оно, ущельице... нет, прошли.

И впереди уже видны крыши усадьбы инспектора Яна.

6

...Присланный хозяевами короб с едой был великолепен.

В восьми его отделениях лежало все, что способно вызвать

трепет у истинного чревоугодника. Были там маринованные гусиные потроха с водяными орехами, вяленые цыплячьи ножки и серебрянка в коричном соусе. По бокам привлекали взор маленькие тарелочки с блинами на пару, шиповником и сладкой рисовой кашицей. Жареные голуби благоухали, дымились пельмени с курятиной, плакало янтарной слезой соленое мясо с ягодами шелковицы; тут же стояли серебряный кувшинчик с виноградным вином, и еще один — с жасминной настойкой.

Змееныш взял ломтик солонины, откусил и принялся неторопливо жевать. За последнее время он отвык от мясной пищи. Забытое казалось новым, и поначалу лазутчик не мог понять: то ли он наслаждается мясом (и отсутствием в выделенной им комнате Баня), то ли солонина ему не по душе и стоит приняться за кашицу с плодами.

***

Налившийся желтым соком месяц насмешливо ткнулся в окно рогами и завис над празднично гомонящей усадьбой.

Госпожу в паланкине явно ждали. Прибывших немедленно обступила толпа слуг, носильщиков сразу же куда-то увели, а явившиеся следом за слугами домочадцы наперебой принялись прославлять приехавшую даму.

Создавалось впечатление, что весь праздник и готовился-то исключительно в ее честь.

— Святая Сестрица! — только и слышалось со всех сторон. — Ах, Святая Сестрица! А мы уж заждались, истомились! Боялись — неладное в дороге приключилось!

Святая Сестрица кивала направо-налево, объясняя причину задержки, а стоявший сбоку Змееныш дивился прозвищу госпожи и глазел по сторонам.

Инспектор Ян Ху-гун был явно не беден. В обнесенном стенами дворе повсюду сновали какие-то люди — таская корзины, зажигая цветные фонари, накрывая столы и украшая беседки; над парадным залом светилась огненная «триграмма», левый флигель, скорее всего служивший жильем управляющему поместьем, затенялся тремя роскошными кипарисами, беседочные столбы покрывала изящная резьба, а в галереях и павильонах все новые и новые родичи всплескивали широкими рукавами и счастливо голосили:

— Святая Сестрица! Ах, Святая Сестрица!

Удаляясь в сопровождении инспектора Яна (седого представительного чиновника), Святая Сестрица походя потрепала Змееныша по щеке и немедленно пригласила преподобного Баня следовать за ней. Дескать, кому, как не опытному учителю Закона, положено вознести благодарственное моление по поводу благополучного возвращения домой?! А Святая Сестрица и ее родня присоединят свои голоса к голосу архата.

Змееныш сперва задумался: при чем тут возвращение домой, если госпожа, судя по ее же словам, приехала в гости? Но тут бойкая служаночка велела ему идти в отведенную для монахов-охранников комнату.

Первое, что Змееныш заметил, войдя в комнату, была кровать. На таком ложе должны сниться воистину государевы сны. Инкрустированная перламутром, с загородками сзади и по бокам, кровать эта стоила никак не меньше шестидесяти лянов серебром. Сверху с навеса ниспадал красный шелковый полог, поддерживаемый парчовой лентой; развешанные вокруг на серебряных крючках ароматические шарики наполняли воздух благоуханием.

«А сыграть на подобном ложе в «двух мандаринских уточек» или в «Гуань-инь идет за полог»... да вот хоть с этой провожатой!..» — мелькнуло в голове Змееныша, обдав все тело обжигающим вихрем, и Цай сам поразился такому мальчишескому порыву.

Лазутчик повернулся было, чтобы сказать: негоже юному иноку спать на эдаком великолепии, и нет ли какой драной подстилки? Но служаночка вильнула тугим задом и исчезла.

Как не бывало.

А спустя треть часа принесли и роскошный короб с едой.

Вот и стоял Змееныш, жуя солонину и глядя в окно.

Отсюда ему была видна часть сада, густой кустарник и ухоженная лужайка с беседкой. Как ни странно, беседка оказалась пуста, огней рядом тоже не горело, и в свете месяца внимание Змееныша привлекла маленькая тень подле стены кустов.

Тень можно было принять за остромордую собачку с редкостно пушистым хвостом, если бы она не двигалась ритмично и монотонно, как заводная игрушка столичных мастеров-ремесленников.

Подойдя к окну, Змееныш пригляделся.

Видно было плохо, да и месяц разобиделся, спрятавшись до половины за облако, но лазутчику удалось разобрать: да, похоже, действительно собачка, и вдобавок кланяется. Кланяется, раз за разом, тыкаясь мордочкой в землю, а на макушке у странной

собачки отсвечивает некая блестящая шапочка. Отсвечивает и не падает, хотя должна была свалиться еще при первом поклоне. Впрочем, дрессированные собачки и удивительные шапочки мало заинтересовали уставшего за день Змееныша. Он зевнул, потянулся и собрался было отойти в глубь комнаты...

Месяц распорол облако надвое, плеснув на лужайку и кусты пригоршни светящейся влаги, — и лазутчику удалось разглядеть, что за шапочка красовалась на голове у собачки.

Это была верхняя, теменная часть человеческого черепа!

Змееныша словно ветром отбросило от окна, дыхание перехватило, а когда лазутчик привычным усилием заставил сердце забиться ровно и вернулся на прежнее место — перед окном уже никого не было.

Только кто-то из прислуги — видимо, только что подошедшей — зажигал матовые фонари в беседке.

Померещилось, что ли?!

В спину пахнуло холодом, и волосы Змееныша встали дыбом. Мгновенно обернувшись, он увидел, как чья-то тень отшагнула в сторону от потрясающей кровати; остановилась, почти невидимая, резче проступило старушечье лицо, ехидные морщинки у глаз, поджатый рот... корявые пальцы, сжимающие трубку из одеревеневшего корня ма-линь...

— Бабушка? — прошептал Змееныш, падая на колени.

И впрямь.

***

Не плоть, не тень, не мгла, не туман, ветром кружится, до костей пробирает, холодом веет, леденит душу. Мрачно вокруг, страшно вокруг. Сразу померк и чуть теплится яркий светильник перед дщицей покойного, жертвенные свитки по стене мечутся, флаг погребальный трепещет, усопшего душу сокрыв.

***

Перед тем как исчезнуть, призрак погрозил Змеенышу трубкой, и по щеке бабки Цай медленно сползла почти неразличимая слеза.

7

На лестнице послышались шаги.

Легкая поступь, воздушная, но, вне всяких сомнений, — человеческая.

Змееныш еле успел перевести дух, когда дверь без скрипа отворилась, и в комнату впорхнула Святая Сестрица собственной персоной.

Змееныш ожидал кого угодно: в первую голову преподобного Баня, во вторую — вертлявую служа-ночку; но явления, госпожи он не предполагал.

Святая Сестрица уже переоделась с дороги. Сейчас на ней была газовая светло-коричневая кофта с креповой каймой вокруг ворота и юбка из лощеного шелка, из-под которой выглядывали атласные туфельки. Прическу же украшали серебряная с чернью сетка и перья зимородка — а выглядела госпожа по крайней мере лет на десять моложе.

Последнее мало удивило Змееныша — он-то выглядел моложе по меньшей мере вдвое с хвостом по отношению к своему истинному возрасту.

В руке госпожа держала богато изукрашенный цин.

Пройдясь по комнате, Святая Сестрица уселась за низкий, отделанный мрамором столик и, не говоря ни слова, стала глядеть на лазутчика поверх бронзовой курильницы.

— Позволено ли мне будет спросить, — после явления призрака голос плохо слушался лазутчика, и звук вышел сиплым, — когда явится мой наставник?

Зажурчал, потек, наполнил комнату тихий смех.

Госпоже было весело.

— Наставник? — игриво переспросила она. — А в чем же он тебя наставляет, мой милый инок?

— В Учении, — со всей возможной твердостью ответил Змееныш. — В Учении и... во многом другом.

— Но ведь не подобает в постижении Учения, а также «многого другого» пренебрегать и прочими способами раскрытия сокровенной сути? — мурлыкнула Святая Сестрица, беря звучный аккорд на своем цине. — Хочешь, я спою тебе сутру? Священную сутру как раз для таких милых иноков, как ты? И запела, умело аккомпанируя себе:

Детина, прямо скажем, лучший сорт:
То в обращенье мягок он, то тверд;
То мается-шатается, как пьяный,
А то застынет вроде истукана.
Ютится он в Обители-у-Чресел,
Два сына всюду неразлучны с ним,
Проворен и отзывчив, бодр и весел,
Красотками он ревностно любим.

Нельзя сказать, чтобы Змееныш Цай не слышал этой сутры раньше. Ее не раз певали девицы во многих чертогах луны и дыма, прежде чем приступить к ублажению гостя — то есть к игре с тем самым замечательным детиной, о котором шла речь в песенке.

Но здесь и, главное, — от кого!..

— Ну как, нравится тебе моя сутра? — Святая Сестрица порывисто встала, оставив цин на столике, и подошла к лазутчику. — Это еще что, милый мой монашек! Мы с тобой сейчас познаем Учение, что называется, трижды со всех сторон! Ах, как долго я томилась, как долго ждала, о юный инок!.. Ты не можешь представить себе, у тебя не хватит воображения... и что бы ни говорил старший братец Ян — эта ночь моя!

Змееныш отшатнулся — ему показалось, что сквозь аромат притираний и благовоний вдруг осязаемо потянуло мертвечиной.

Кровать разделила лазутчика и госпожу.

Святая Сестрица расхохоталась; Змееныша покоробило от этого смеха.

— А если я возьму ивовый прут? — непонятно спросила она, обращаясь к напрягшемуся лазутчику. — Если я возьму ивовый прут и сделаю из него фигурку мужчины?!

И в руке Святой Сестрицы невесть откуда появился желтый ивовый прут, через мгновение превратившийся в крохотное подобие Змееныша.

— Я свяжу ему члены сорока девятью шелковыми нитями, я покрою ему глаза лоскутом кровавого шелка... сердце наполню полынью, руки проткну иглами, ноги склею смолой...

Змееныш почувствовал, как тело отказывается ему служить — впервые за всю жизнь.

Нет — во второй раз; первый был во время приступа, чуть не отправившего его на тот свет, после которого лазутчик принялся «сбрасывать кожу».

— Я напишу киноварью заветный знак и прикажу: с полынью*

[Полынь и любовь по-китайски звучит одинаково — «ай».] в сердце обрати на меня свою любовь, с иглами в руках не шевели даже пальцем во вред мне, со склеенными ногами не ходи куда не надо, с завязанными глазами не смотри по сторонам...

И когда Святая Сестрица, смеясь, подошла к лазутчику — Змееныш не смог двинуться с места.

Неукротимое желание охватило его, плоть восстала, набухла, требуя немедленного удовлетворения; сладко заныло в паху, и чей-то голос забубнил прямо в уши, хихикая и сопя:

***

Уточка и селезень сплели шеи — на воде резвятся. Феникс прильнул к подруге — в цветах порхают. Парами свиваясь, ветви ликуют, шелестят неугомонно. Алые губы жаждут поцелуя, румяные ланиты томятся без горячего лобзанья. Взметнулись высоко чулки из шелка, вмиг над плечами возлюбленного взошли два серпика луны. Упали золотые шпильки, и изголовье темной тучей волосы обволокли...

***

Хламида сползла с Цая, горячее тело прижалось к нему, обволокло, повлекло к ложу — а в ушах все смеялся чужой, навязчивый голос, повизгивал зверем в течке:

***

Любовники клянутся друг другу в вечной страсти, ведут игру на тысячи ладов. Стыдится тучка, и робеет дождик. Все хитрее выдумки, искуснее затеи. Кружась, щебечет иволга, не умолкая. Страстно вздымается талия-ива, жаром пылают вишни-уста. Колышется волнами нежная грудь, и капли желанной росы устремляются к самому сердцу пиона...

***

Словно удар курительной трубки из одеревеневшего корня ма-линь обрушился на теряющего сознание Змееныша, и на какое-то мгновение он почти пришел в себя. Не заботясь ни о чем — ни о сохранении личины, ни о жизни Святой Сестрицы, — лазутчик вцепился обеими руками в обнаженные плечи госпожи, рядом с точеной шеей, большими пальцами нащупал точки «янчжень» над ключицами, средними же уперся в основание черепа и тройным посылом ударил всем внутренним огнем, какой у него еще оставался. Навалившееся следом изнеможение лазутчик отшвырнул в сторону, как отбрасывают надоедливого щенка; госпожа вздрогнула, лицо ее неуловимо исказилось, ощерилось белоснежными зубами, заострилось, будто у животного...

Пальцы Змееныша опалило страшным холодом — словно в подтаявший лед сунул.

Святая Сестрица стояла перед ним и улыбалась.

Искусство Змееныша было бессильно — ибо нельзя убить неживое.

— Нет уж, милый мой инок, — глухо пробормотала госпожа (видимо, ей тоже крепко досталось). — Нет, дорогой мой, ты все-таки будешь меня любить... а там придет черед и твоего наставника.

В следующую секунду лазутчик был опрокинут на кровать, и срывающая последние остатки одежд госпожа вспрыгнула на Змееныша сверху.

Цай почувствовал, что умирает.

«Лазутчики жизни — это те, которые возвращаются!» — толчком ударило изнутри.

Прости, судья Бао...

8

— Ах ты, потаскуха! — гневно плеснуло от двери.

Змееныш ощутил, что не в силах пошевелиться — но убивающая тяжесть слетела с него.

Преподобный Бань негодовал. Мало того, что вместо предложенного совместного моления монаха сперва уговаривали выпить вина, после целое сонмище служанок норовило потереться о шаолиньского иерарха то пышной грудью, то

пухленьким бочком, а сановный негодяй, инспектор Ян, только посмеивался и предлагал не стесняться — так еще и эта дрянь насилует доверенного Баню юного инока!

— Пакость! — Монах замахнулся, чтобы отвесить наглой девке затрещину, но рука его была перехвачена.

Святая Сестрица цепко держала Баня за запястье, и монах вдруг понял отчетливо и страшно — не вырваться.

Стальной обруч.

Как в государевых казематах.

— Бритый осел! — зашипела женщина, брызжа слюной. — Ты... ты смеешь?! Что ж, ты еще будешь молить меня о пощаде, ты будешь ползать на брюхе и взывать к своему Будде, чтобы он выбрался из Нирваны и спас твое тело от моих игр! Лови, сэн-бин!

Ладони Святой Сестрицы с нечеловеческой скоростью простучали по груди монаха — так бьет лапами кошка или лиса, — и преподобного Баня швырнуло через всю комнату, ударив спиной о стену.

Смех.

Звериный и человеческий одновременно.

Такой удар сломал бы обыкновенному человеку позвоночник.

Но монах встал.

Голая женщина обеими руками сжала свои груди — и из набухших темно-вишневых сосков брызнули струи кипящего молока. Монах пытался увернуться, но жидкость хлестала со всех сторон, прижимая к полу, опаляя, сшибая наземь...

Смех.

Монах встал.

Курильница в виде журавля пролетела через всю комнату, и острый клюв вонзился преподобному Баню под ключицу. К счастью, неглубоко. Тут же сверху обрушился сорвавшийся полог, всей тяжестью ударив по плечам; смех гулял по комнате, отражаясь от стен, и любопытный месяц за окном отшатнулся в ужасе.

Монах встал.

А на лице Святой Сестрицы отразилось изумление.

— Держись... — прохрипел Змееныш, пытаясь сползти с проклятого ложа. Тело пронзали тысячи невидимых игл, сознание мутилось, кожа словно плавилась, мышцы то вспенивало острой болью, то отпускало, бросая в пот. «Приступ!» — обреченно подумал лазутчик.

Приступ для него означал то же, что и похоть Святой Сестрицы, — смерть.

Но совсем рядом, под убийственный смех твари, в который

уже раз падал и вставал монах из тайной канцелярии, сэн-бин с клейменными руками, наставник и насмешник, — падал и вставал, не давая проклятой блуднице приблизиться к беспомощному Змеенышу.

Падал.

И вставал.

Пол изо всех сил пнул лазутчика в лицо, вкус соленой крови на миг вырвал из мглы беспамятства, отрезвил, облил пылающий мозг прохладой.

— Держись...

Изогнувшись перебитым червем, лазутчик непослушной рукой дотянулся до Святой Сестрицы, и ладонь его мертвой хваткой сжала стройную женскую лодыжку. Точка «сань-ху» была такой же ледяной, как и предыдущие, но Змееныш и не ждал иного: он гнал в отдающую мертвечиной пропасть последние искры, последние, судорожные, за гранью плотского бытия. Пальцы лазутчика были твердыми и беспощадными, как трубка из корня ма-линь, трубка покойной бабки Цай — и в чужом леднике что-то треснуло, нехотя стало плавиться, потекло каплями, солеными, как кровь, как слезы, как пот...

Святая Сестрица охнула и припала на одно колено.

Взгляд ее, полный безмерной ненависти, полоснул по Змеенышу, и лазутчик обмяк у ног госпожи.

Зато встал монах.

И курильница, похожая на журавля или на патриарха обители близ горы Сун, смоченная кровью выжившего в Лабиринте Манекенов, с маху ударила в голову твари.

Заставив отлететь назад.

Хотя бы на шаг от поверженного Змееныша.

Все на миг застыло, как иногда на пейзаже работы известного мастера в падении застывает водопад, и кажется — вот сейчас, сейчас случится нечто, и вся окаменевшая под кистью вода обрушится вниз, смывая свиток, стену, реальность, возомнившую о себе невесть что...

Змееныш понимал, что умирает.

Стены комнаты ушли далеко-далеко, горами возвышаясь на горизонте, и на одной из стен возникла картина: канцелярия, столы, полки со свитками, человеческий череп с тушью на дальнем столе, и похожий на медведя черт-лоча, гневно встопорщившийся многочисленными рогами-шипами.

— Ах ты, потаскуха! — взревел черт, словно задавшись целью воспроизвести недавний выкрик Баня. — Мы тут с ног сбились, недоумеваем — замок цел, решетки целы, а Девятихвостой нет как нет! Из ада Фэньду бегать вздумала, скотина чернобурая?!

Так я тебе побегаю, поскачу! Стража!

Святая Сестрица съежилась, выгнула спину горбом, отскочила за кровать, как раз туда, где не так давно от нее же прятался Змееныш; но черт-лоча кинулся следом, вихрем вынесшись из картины на стене, и принялся оглушительно свиристеть в висевший у него на косматой шее свисток.

Свисток и впрямь был адский — аж уши закладывало.

Картина ожила: поросшие белесой шерстью великаны-якши являлись один за другим, громыхая ржавыми доспехами, а первым несся во всем подобный обычному человеку воин в изрубленном доспехе, со штандартом за спиной и с двумя боевыми топорами в руках.

Преподобный Бань еле успел откатиться в сторону — иначе непременно затоптали бы!

И кольцо алебард сомкнулось вокруг Святой Сестрицы, затравленно озиравшейся со стороны.

— Взять негодницу! — командовал вконец озверевший черт-лоча, тыкая якшей рогами в оттопыренные зады. — Головами ответите! Душу выну, вставлю и опять выну! Взять! В тюрьму ее! Под неусыпную охрану! Живо!

Обнаженную женщину волоком потащили к картине, и странное дело: с каждым шагом тело ее менялось, сжимаясь, обрастая густой шерстью, уменьшаясь в размерах, — вскоре якши во главе с воином-начальником заталкивали в картину черно-бурую лисицу о девяти хвостах, а та истошно скулила и норовила лизнуть лапу неумолимому черту-лоча.

Но куда там! — адский чиновник был при исполнении.

Перед тем как окончательно потерять сознание, лазутчик жизни увидел: там, в картине, в стороне от стражей, черта и девятихвостой лисы, стоит грузный канцелярист с табличкой на поясе и невесело улыбается, глядя на разгромленную комнату и почти бесчувственного Змееныша.

«Прости, судья Бао!..» — еще раз хотел сказать Змееныш Цай.

И не смог.

9

Темень обрушилась мгновенно и сокрушающе.

Монах застонал, присел на корточки и, оторвав подол хламиды, стал бинтовать раненое плечо.

Никакой усадьбы вокруг и в помине не было. Ни павильонов,

ни огней, ни слуг с хозяевами; одни светляки из немногих силенок боролись с ночью, да тускло светился на невидимых деревьях гриб линчжи, якобы дарующий долголетие.

Последнее сейчас очень бы не помешало монаху.

Туго перебинтовав плечо, он принялся шарить руками вокруг себя.

Заливистое тявканье лисьей своры заставило монаха вздрогнуть, но тут же он пересилил себя и вновь принялся за поиски.

Камень.

Грубо обтесанный, с полукруглым верхом, с выбитыми знаками, сбоку обломан, выщерблен... надгробие.

Еще одно.

Заброшенное кладбище.

Лисы тявкали уже совсем близко — словно смеялись.

Монах провел ладонью по земле, собрал пригоршню камешков и прикрыл глаза, чтобы неверное свечение гнилушек не морочило, не обманывало...

Слева.

Камешек прошуршал в кустах — и немедленно раздался обиженный скулеж, сопровождавшийся звуками бегства.

Когда ладонь монаха опустела, лисы тявкали и скулили довольно-таки далеко.

Грустная богиня Чанъэ преисполнилась любопытства, и насмерть перепуганный месяц решился высунуть один рог.

У ног монаха, весь обсыпанный лунной пылью, лежал человек без возраста.

В его распахнутых глазах отражался Хладный Дворец.

Высокие скулы, набрякшие веки, ямочка на подбородке... седые то ли от месяца, то ли от жизни волосы, возникающие и тут же пропадающие морщины, запавшие щеки... Тело вздрагивает, временами выгибается дугой, опадает, пальцы скребут мох...

— Ко... — шевельнулся рот человека без возраста, словно темница, в глубине которой мучительно ворочается распухший язык-узник. — Котомку...

Было видно, каких усилий ему это стоило.

Монах кивнул и начал озираться по сторонам. Месяц услужливо подсветил, и котомка вскоре нашлась — совсем неподалеку. Доставая из нее мешочек с иглами и крохотные коробочки с пилюлями и мазями, монах на миг остановился, угловатое лицо его, словно вырубленное из цельного куска дерева, дрогнуло, исказилось... и стало прежним. Вернувшись к человеку без возраста, монах присел рядом на корточки и стал ждать.

Потом повертел в руках коробочку, извлек одну пилюлю; подумал, извлек вторую и третью.

Еще подумал.

Лизнул, покрутил в пальцах... едва заметно поджал губы.

И затолкнул пилюли, одну за другой, в рот человеку без возраста.

— Иглы! — неожиданно громко выкрикнул человек, дергаясь как припадочный. — И... глы!..

Достав из мешочка иглы — не обычные, длинные, а коротенькие, чуть меньше палочек для еды, с колечками на тупом конце, монах внимательно поглядел на человека без возраста.

Попробовал притронуться иглой к сгибу локтя.

Остановился.

Рука человека без возраста скребла по земле, обдирая ногти, — словно чего-то требовала.

Монах вложил в чужие пальцы иглу и стал ждать.

Меняющееся лицо человека без возраста отвердело, подобно надгробию на заброшенном кладбище, изъеденному ветрами и временем, но еще непоколебимому; и рука с иглой медленно двинулась к лицу-надгробью.

Так, должно быть, ползет собака с перебитым хребтом.

И игла вонзилась точно под нижнее веко: на треть!.. Нет, показалось — едва на одну пятую.

Монах вложил в руку вторую иглу.

Спустя вечность, полную боли и муки, острие до середины погрузилось под левую грудь.

В сердце.

Третья игла.

Четвертая.

Восьмая.

Когда дыхание человека без возраста стало ровным, а тело перестало дергаться, монах осторожно извлек иглы, снова долго их рассматривал, еле заметно качая головой; наконец собрал все в котомку и закинул ее за спину.

Еще постоял.

Потом взвалил человека без возраста на плечи и, шатаясь, побрел в темноту.

Вслед обиженно тявкали лисицы.

***

На рассвете они вышли к полуразвалившейся хибаре, от которой была видна почтовая станция.

Монах уложил человека без возраста в углу развалюхи, пощупал пульс и только потом позволил себе потерять сознание.

10

Редкий косой дождь время от времени прохлестывал сквозь рваную крышу, трепетными касаниями оглаживая воспаленное лицо, роняя каплю-другую в пересохший провал рта, рассказывая о невозможном...

Змееныш и сам понимал, что этого не может быть.

Не может быть дождя, не может быть рваной крыши, чудом удерживающейся на покосившихся стропилах; не может быть лица, рта...

Жизни быть не может.

И все-таки жизнь была.

Потому что лазутчики жизни — это те, кто возвращается; а жизнь ведь тоже иногда благоволит к своим змеенышам.

У Цая даже хватило сил мысленно обругать себя за доверчивость. Ведь сотню раз слышал:

«...достигнув пятидесяти лет, лиса может превращаться в человека; в сто лет — обретает способность узнавать, что делается за тысячу ли от нее; в тысячу лет — способность общаться с Небесами. Справиться с такой лисой человеку не под силу. Нрав же у нее непостоянный, превращения бесконечны, и обольщать она умеет...»

И еще слышал:

«...собираясь превратиться в женщину, лиса берет теменную кость умершей женщины; если же лис желает превратиться в мужчину, он берет такую же кость, но мужскую. Возложив эту кость себе на макушку, они принимаются кланяться луне. Ежели превращению суждено совершиться, кость удержится на голове при всех поклонах. Ну а коли не удержится — значит, не судьба!»

И всегда добавлялось: противостоять оборотню в силах лишь высоконравственные мужи и целомудренные женщины.

Змееныш улыбнулся от мыслей о собственных нравственности и целомудрии и невольно застонал. Три плотины воздвиг он на пути половодья разбушевавшейся «ци», которую Святая Сестрица сосала из него, как из юноши, — и все три были снесены потопом. Хвала Баню...

Лазутчик застонал снова — почти неслышно. Мешочек с иглами, пилюли яньчунь-дань, его нынешняя внешность, какой бы она ни стала... тут рассказом о господине Тайбо не отделаешься! Бань не то что не глуп — он изрядно умен, и если в душе монаха крылись подозрения по поводу обманчивой невинности инока, то сейчас они переросли в уверенность.

Интересно, монах сам станет пытать лазутчика или доставит беспомощного Цая в Столицу и только там отдаст приказ палачам тайной канцелярии?

Пыток Змееныш не боялся.

Он просто знал, что в руках опытного мастера заплечных дел говорят все — трусы, храбрецы, герои, мокрицы... все.

Поэтому лазутчики умирают перед входом в пыточную.

Змееныш попытался заворочаться.

Нет.

Сейчас он был беспомощней младенца — тот хоть кричать в силах...

Снаружи послышался шум, топот не одного десятка ног, громыхание доспехов и оружия. Дождевая капля упала на лоб Змееныша, и он замер от обжигающе острого прикосновения, понимая: это, пожалуй, последнее ощущение, которым ему дозволено наслаждаться. Все дальнейшее было известно до мельчайших подробностей — вызванный преподобным Банем караул свяжет лазутчика и доставит в Бэйцзин для подробного разговора, но они не будут везти его с кляпом во рту. Не так уж трудно заставить себя откусить язык, и кровотечение забьет гортань лучше любого кляпа — а там уж удушье не заставит себя ждать.

Интересно все-таки: в какой ад попадают лазутчики?

Грохот стих. С минуту царила тишина, нарушаемая лишь солдатским сопением («Почему они не входят?!» — недоумевал Змееныш), и наконец раздался голос.

Моложавый, звонкий, как полковой рог, голос:

— Я — дафу* [Дафу — буквально «большой муж», придворный.] Летящий Вихрь, командующий сотней Золототыквенных* [Золототыквенные — охрана императорского двора; прозвана в связи с тем, что их полковой штандарт напоминал золотую тыкву на красном древке.] бойцов! Именем государя...

И Летящий Вихрь замолчал, так и не войдя в хибару.

Змеенышу польстило, что за ним была послана отборная сотня императорских охранников под командованием Большого мужа.

Приятно, когда тебя ценят...

— Ничтожный инок превратился в слух, — рокотом отдался в ушах лазутчика ответ невидимого Баня.

— Именем государя вы арестованы! Вот бирка на задержание. Окажете сопротивление?

— Ничтожный инок склоняется перед повелением Сына Неба и готов следовать за военачальником.

Пауза.

— Вы... вы один?!

— Вы полагаете, господин дафу, что я нуждаюсь в охране?

Этот ледяной тон был прекрасно знаком Змеенышу.

— Тогда следуйте за мной.

— Кто умирает сидя? — неожиданно сказал преподобный Бань и рассмеялся, ответив сам себе:

— Монахи. Кто умирает стоя? Просветленные монахи. Не все ли равно, как умирать — сидя, стоя или на голове, — если умирать придется всем! Но что значит смерть для чаньского монаха? Временное недоразумение на вечном Пути. Тогда откуда явятся хлопоты и откуда возникнет беспокойство? Пойдемте, достойный военачальник!

И лязгающий топот удалился, вскоре сменившись отдаленными ударами копыт оземь.

Змееныш лежал, ловя губами редкие капли; а в ушах все звучали слова бодисатвы из тайной канцелярии и удаляющееся шарканье монашеских сандалий на вощеной подошве.

Змееныш Цай знал, к кому была обращена последняя проповедь преподобного Баня.

К вечеру лазутчик заставил себя встать.

Из лужи на него смотрело лицо мужчины лет тридцати с небольшим; лицо человека, вставшего со смертного одра.

Лазутчик понимал, что это ненадолго.

Хозяин почтовой станции и его громила-конюх ни в какую не соглашались дать лошадь бродяге и оборванцу, не способному даже внести залог. «За все надо платить!» — упирался хозяин, и вторил ему ржущий, подобно мерину, конюх. «За все надо платить!» — говаривал в свое время даосский маг Лань Даосин. Он был прав.

Хозяин и конюх заплатили жизнями за свое упрямство.

Через полтора дня лошадь пала у Осенних ворот Бэйцзина.

Бэйцзин стал постоянной столицей Поднебесной четыре года тому назад.

Центр города с его гармоничным способом застройки вступал во внутреннее противоречие с хаотичностью переулков окраины; но именно противоречия делают все сущее жизнеспособным. Главный проспект завершался у северных ворот башнями Колокола и Барабана, крепостные стены с яркими надвратными павильонами строго очерчивали столичные границы, не так давно Бэйцзин втянул в себя южные предместья — но сегодня казалось, что вся громадная столица собралась у Запретного Города, района вокруг государева дворца, чтоб полюбоваться на невиданное зрелище.

Хотя что там было рассматривать? Бамбуковый частокол, возведенный на скорую руку?

Разве что украшавшие частокол человеческие головы привлекали внимание бэйцзинцев.

— Я, Одинокий, император Хун Ци, проникшись скорбями народа... — сорванным голосом выкрикивал глашатай в сотый раз, стоя у желтого щита, где вывешивались государевы указы.

Зеваки ахали и разглядывали мертвые головы на частоколе. Головы были бритые, с полустершимися священными знаками на темени — монашеские головы.

Все.

И под каждой головой крест-накрест были прибиты отрубленные руки.

Клейменные тигром и драконом.

Все.

Змееныш, стоявший в первых рядах, никак не мог оторвать взгляд от головы, украшавшей самый высокий шест.

Под жутким навершием была вывешена табличка:

«Чжан Во, монах обители близ горы Сун, бывший глава ведомства сношений с отдаленными провинциями и сопредельными государствами, изменник и преступник».

На Змееныша Цая, словно высеченное из цельного куска дерева, смотрело мертвое лицо преподобного Баня.

Как умирают монахи?..

Три дня назад был объявлен девиз нового правления.

Эпоха Обширного Благоденствия.

***

...Далеко на северо-западе англичане начали Орлеанскую кампанию, двигаясь вдоль Луары и щелкая, как семечки, последние верные Карлу Седьмому замки. Но в народе уже ширилось пророчество о скором явлении Девы, и недалек тот час, когда прозвучит клич: «Все, кто любит меня, — за мной!»

Гуситы успешно громили католиков, справляя кровавую тризну — годовщину по своему вождю, неистовому слепцу Яну Жижке.

По Руси шла чума, не щадя ни смердов, ни князей. Только что умер Василий, сын Дмитрия Донского, и его чадо, Василий Васильевич, начал свару с дядьями, которая приведет к четвертьвековой драке и ослеплению воинственного князюшки, прозванного за то в народе Темным.

Норовил короноваться Витовт, Великий Князь Литовский.

По всей Азии взахлеб резали друг друга внуки и правнуки Тимур-ленга, Железного Хромца, в клочья раздирая великую державу предка.

В Стране Восходящего Солнца, шокируя всех, женился и зачал сына монах и великий мастер дзэн Иккю Содзюн; видно, неугомонному Иккю было мало того, что и сам он — незаконнорожденное дитя государя-микадо.

В Чжунго новый император Хун Ци казнил монахов тайной канцелярии.

Над миром стоял год Эпохи Обширного Благоденствия.

Первый и последний год правления государя Хун Ци, первый и последний год этого девиза.

А также одна тысяча четыреста двадцать пятый год со дня рождения некоего Иисуса из Назарета, которого мало кто знал в Поднебесной.

Не знал его и Змееныш.

МЕЖДУГЛАВЬЕ

Свиток, не найденный птицеловом Манем в тайнике у западных скал Бацюань

...надо затеряться в священном сумраке, где радость освобождает человека от него самого. В бездне мрака, где любовь зажигает огонь смерти, я вижу зарю вечной жизни. Благодаря этой необъятной любви нам дается радость умереть для самих себя и выйти из себя, растворившись в жгучей тьме.

***

Это не я!

Честное слово, это не я...

Вы когда-нибудь жили вместе с Просветленным?

Причем «вместе» в самом буквальном смысле, потому что между «жить под одной крышей» и «жить под одной шкурой» — две большие разницы.

Тогда вы не поймете меня.

Я смотрел на ряд мумий, проводивших свой многовековой досуг в потайной комнате Лабиринта Манекенов; они равнодушно глядели на меня — и все мы понимали: вот он, родимый, загрузочный сектор Закона Кармы.

Несчастный, ты получил то, чего хотел!

Это обо мне.

Такого одиночества я не испытывал никогда. В чем-то это напоминало состояние человека, замурованного в склепе с мертвецом. Я имею в виду не мумий — даже если не интересоваться: почему они давным-давно не разложились? От них не тянуло тлением во всех отношениях. Я говорю о моем мальчике. Теперь становилось понятно, что имел в виду журавль-патриарх, говоря о «Великой смерти». Сейчас мой мальчик был мертв. Мертв как личность; как грязный оборвыш, поводырь слепца-гадателя, как «Безумец Будды», как гостеприимный хозяин, разделивший свой кров с незваным гостем... Просветление требовало полного отказа от собственной личности, даруя взамен нечто огромное и неназываемое.

Прямое подключение к Закону Кармы.

И это лишь капля правды.

Думаю, за всю историю Срединной это был первый в своем роде случай: мое банальное ничтожное и эгоистичное «я», от которого мне было бы трудно (если не невозможно) отказаться, получало право наблюдать за действием безличного и внеморального Абсолюта.

Я чувствовал, что тело мне не подчиняется, как было в самом начале нашего знакомства. Я чувствовал, как Система — за неимением лучшего я прозвал это Системой — касается меня, бережно (но не с целью уберечь), осторожно (но не из боязни повредить), пробуя на вкус, на цвет, на запах, на совместимость...

Господи! Впервые я понял, что мог бы чувствовать текстовой файл, когда его редактируют.

Краем глаза я успел заметить, что наше тело уже подошло к мумии Бодхидхармы, опустилось напротив на колени и

поклонилось, стукнувшись лбом об пол. Под нашим лбом что-то слабо подалось... и мы встали. Перешли к однорукому Хуэй-кэ и повторили поклон. Снова пол дрогнул от прикосновения мальчишеского лба. Потом поклоны шли выборочно: пятая мумия, седьмая, восемнадцатая...

Не помню, на какой именно за нашей спиной послышался скрип.

И тело, где царствовал Абсолют и жался в угол испуганный кутенок, двинулось в открывшуюся дверь.

Галерея.

Сводчатая галерея.

Потолок чуть выше нашей макушки; взрослому человеку пришлось бы нагибаться...

Я чувствовал, как с каждым шагом некое знание оседает в моем сознании, как Система примеряет к ситуации новые возможности — не сомневаюсь, что мой мальчик, выйдя из этого состояния, не вспомнит ничего; зато я... Впрочем, меня никто не спрашивал, хочу ли я этого?

Галерея сворачивает, идет наклонно вверх...

Сколько мы уже шагаем?.. Час?.. Два?.. Сколько?!

Усталости не было. Ее не было и тогда, когда мы уперлись в тупик, но над головой была дыра и оттуда сияло солнце.

Наше тело подпрыгнуло, уцепилось за перекладину, укрепленную рядом с дырой, подтянулось и выглянуло наружу. Моему мальчику было все равно, время и место сейчас не имели для него никакого значения, он даже не подозревал об их существовании, но я сразу понял, где мы находимся.

Что уж тут понимать — замаскированное снаружи отверстие (век ищи... да что там век, пустяки какие!) лепилось меж замшелых валунов. Отсюда вдалеке просматривалась стена внешних укреплений монастыря и та самая ива, под которой мы наигрывали на свирели, мороча головы стражникам.

Галерея из комнаты мумий выводила за пределы Шаолиньской обители.

Но наше тело отказалось лезть наружу.

Мальчику было все равно, Системе — не все равно, а мое мнение в расчет не принималось.

И мы пошли обратно.

Мертвые патриархи встретили нас как родные — благостно улыбаясь и приветливо молча. В общем, я не был уверен, что они совсем мертвые: за последнее время мои представления о жизни и смерти основательно дали трещину, и в трещину эту мигом нарос мох сомнений и лишайник допущений. Или, если хотите, лотосы сомнений и гиацинты допущений. Не хотите? Ну и не

надо...

Мы вышли из комнаты, захлопнув дверь за собой, и пошли по Лабиринту.

Я ни секунды не сомневался: сейчас я и мой мальчик в состоянии пройти этот проклятый Лабиринт из конца в конец, по диагонали и наискосок, куда угодно и как угодно.

Если только я не буду мешать.

А я и не мешал.

Я забился в угол, а Система все трогала меня равнодушными пальцами, все делала что-то, что должно было остаться на потом — а я, дурак, боялся, что навсегда...

***

На следующий день, прогуливаясь по внешнему дворику, я и мой мальчик наблюдали за интереснейшей картиной: монахи-стражники взашей гнали по ступеням крикливого типа, обвешанного клетками с пичугами. Пичуги голосили, тип взывал к справедливости, стражники беззлобно ругались — и вся эта шумная процессия вскоре скрылась из виду.

— Кто это? — спросил я у старшего стража, оставшегося во дворе.

— Птицелов. Приволок отцу-вероучителю какой-то свиток, сказал, что тайный завет самого Пути Дамо... Наставники смотрели-смотрели, ничего не разобрали, а в конце там еще рожа была пририсована, с высунутым языком — так они разгневались и велели дурака птицелова гнать из обители. Вот и гоним...

Надеюсь, мы отошли от стража с достаточно безразличным выражением лица.

Уж я-то знал, что это была за рожа с языком — я сам пририсовал ее на полях своих записей! Один из слуг был благодарен мне и моему мальчику за то, что мы неделю просидели над постелью его больного сына, играя на свирели. Патриарх не возражал, остальные сочли это очередной поблажкой Маленькому Архату-любимчику, а нам просто было жаль пацана... он так славно засыпал под нашу свирель.

И, кстати, довольно быстро выздоровел — что слуга отнес на наш счет.

Долг платежом красен — этот же слуга мгновенно согласился выносить за пределы обители мои тайные записи и прятать их неподалеку, в тайнике у скал Бацюань. В последнем не было

особой необходимости — сомневаюсь, что во всем мире сейчас нашелся бы человек, способный прочитать этот свиток, но береженого, как говорится, Бог бережет.

Не сберег.

Одно утешение: представляю выражение лица патриарха, когда он пытался прочесть про шефовский «вольво» и про покойника-Десантуру, а также смотрел на языкатую рожу!

Я, конечно, не художник, но рука у моего мальчика была уверенная, а рисовали-то мы его, отца-вероучителя...

***

Прошла неделя.

Другая.

Половина третьей.

Мой мальчик был прежним, но я не мог отделаться от ощущения, что внутри его образовалась потайная комната, такая же как в Лабиринте, и стоит открыть дверь — вот она, Система, смотрит без глаз, слышит без ушей, никуда не спешит и всюду успевает.

А однажды ночью я пришел в себя посреди Лабиринта.

Мы направлялись в покои мумий.

И я знал своим новым знанием, что сейчас мы зайдем к древним учителям, поклонимся как следует, дальше ноги понесут нас по галерее наружу...

И дороги Поднебесной расстелятся перед нами.

Мы, я и мой мальчик, должны были отыскать Змееныша или судью Бао, о котором нам рассказывал лазутчик.

Более того, я прекрасно понимал: отказаться или передумать — не в нашей власти.

Лучше было идти и не думать о том, что вне обители... впрочем, что-то внутри меня подсказывало: никаких бед от Закона Кармы не предвидится.

Мы, я и мой мальчик, теперь были частью загрузочного сектора.

А я подозревал вдобавок, что мы еще и являемся частью наскоро создаваемой антивирусной программы,

Я и мой мальчик.

Маленький Архат.

В ближайшем селении мы украли чьи-то обноски и переоделись — Системе было на это наплевать, но беглого

несовершеннолетнего монашка без бирки-гуады взяли бы первые Быстрорукие, встретившиеся ему на пути.

А в следующем селении нас заставили петь прямо на сельской площади — сказался бродячим сказочником (простите за каламбур!), значит, отрабатывай! Развлечений у пахарей мало, за песню накормят, за сказку переночевать дадут...

Мы пели.

А потом мой мальчик выдохся — и верьте или не верьте, но я сочинил песню.

— «Легенда о кулаке», — громко объявили мы, и мой мальчик принялся переводить с моего на местный.

Шел монах за подаяньем,
Нес в руках горшок с геранью,
В сумке сутру махаянью
И на шее пять прыщей.
Повстречался с пьяной дрянью,
Тот облил монаха бранью,
Отобрал горшок с геранью
И оставил без вещей.

— Еще! — восторженно требовали сельчане, хотя в переводе песня сильно проигрывала оригиналу. И мы дали еще:

И стоит монах весь драный,
И болят на сердце раны,
И щемит от горя прана,
И в желудке — ничего.
И теперь в одежде рваной
Не добраться до Нирваны
Из-за пьяного болвана,
Хинаяна мать его!

И монах решил покамест
Обратиться к Бодхидхарме,
Чтоб пожалиться пахану
На злосчастную судьбу,
И сказать, что если Дхарма
Не спасет его от хама,
То видал он эту карму
В черном поясе в гробу!

Мы шли по Поднебесной, а слава «Легенды о кулаке» бежала впереди нас. Я был ужасно горд, мальчик изощрялся в аккордах (мы купили новый цин!), и при каждом очередном исполнении мы изо всех сил старались превзойти прошлое:

И сказал Дамо:
— Монахи!
Ни к чему нам охи-ахи,
А нужны руками махи
Тем, кто с ними незнаком.
Пусть дрожат злодеи в страхе,
Мажут сопли по рубахе,
Кончат жизнь они на плахе
Под буддистским кулаком!

Патриархи в потных рясах —
Хватит дрыхнуть на матрасах,
Эй, бритоголовых массы,
Все вставайте, от и до!
Тот, чья морда станет красной,
Станет красным не напрасно,
Не от водки и от мяса,
А от праведных трудов!

Один раз нас даже пригласили к правителю уезда. Вкус у последнего был невзыскательный, и пришлось польстить его патриотизму:

Лупит палкой тощий старец,
Восемь тигров, девять пьяниц,
Эй, засранец-иностранец,
Приезжай в наш монастырь!
Выкинь свой дорожный ранец,
Подключайся в общий танец,
Треснись, варвар, лбом о сланец,
Выйди в стойку и застынь!

У кого духовный голод,

Входит в образ богомола
И дуэтом или соло
Точит острые ножи,
Кто душой и телом молод,
Тот хватает серп и молот,
Враг зарезан, враг расколот,
Враг бежит, бежит, бежит!

Я и мой мальчик шли по Поднебесной.

Шел монах за подаяньем,
Нес в руках горшок с геранью,
В сумке — палку с острой гранью,
Цеп трехзвенный и клевец.
Повстречался с пьяной дрянью,
Ухватил за шею дланью,
Оторвал башку баранью —
Тут и сказочке конец!

Финал неизменно встречался взрывом восторга. Любопытные люди, эти ханьцы...

часть шестая
ШАОЛИНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН

Воинское искусство — это важное государственное дело, основа рождения и гибели, путь жизни и смерти, и его нельзя не изучать.

Из поучений мастеров

Глава одиннадцатая

1

Лошадь испуганно заржала, кося недоверчивым лиловым

глазом, и мальчишка поспешил отойти в сторонку — еще лягнет копытом, с нее станется!

— Это что за город? — Оборвыш поправил котомку, откуда торчал гриф восьмиструнного цина, весь в облупившемся лаке, и повернулся к заржавшему почище лошади конюху.

— Тунцзин, — булькнул конюх, всласть отсмеявшись над пугливым пареньком. — Тоже скажешь — город! Крепостца окраинная...

— А почему столько солдат? — Мальчишка попался на редкость любопытный.

— А потому, что кончается на «У»! — И конюх снова заклокотал горлом.

— Для кого кончается, — с достоинством ответил юный бродяга, — а для меня только начинается. И подсказывает, что это — войска генерала Чи Шу-чжао по прозвищу Стальной Хребет. А еще подсказывает, что ты в следующей жизни непременно будешь драным мерином. Готовься, учись ржать. — С этими словами он проследовал мимо обалдевшего конюха к ближайшему костру, на котором солдаты как раз готовили свой нехитрый ужин.

Подойдя, мальчишка молча уселся на единственное свободное место и под обстрелом недоуменных взглядов извлек из котомки цин.

— «Легенда о кулаке», — во всеуслышание объявил он и, выдержав паузу, заставил струны весело вскрикнуть, подобно певичке, ухваченной за ляжку богатым гостем.

Солдаты придвинулись поближе, и мальчик запел.

Со всех сторон к костру уже спешили заинтересованные слушатели, кто-то тугоухий спрашивал у стоявших рядом, что за песню поет удивительный пришелец. Те принимались объяснять, на них шикали, грозя надавать тумаков, — а мальчик пел, и даже самые тупые и лишенные слуха наконец поняли, что это — знаменитая «Легенда о кулаке», а оборвыш с цином... Яшмовый Владыка, неужели он — именно тот, кому приписывается авторство песни?! Глядите, а ведь точно — все приметы сходятся!

И когда в финале монах наконец доблестно оторвал «башку баранью», последовал взрыв одобрительного хохота, а солдат, помешивавший в котелке аппетитно пахнущее варево, щедро насыпал в плошку добрую горку риса с прожилками говядины.

— Ешь, парень, заработал! — Кашевар, протягивая еду, одобрительно хлопнул мальчишку по плечу. — Неужто сам сочинил?

— Угу, — кивнул мальчишка, уплетая рис за обе щеки,

— Ну да! — не поверил молодой пехотинец с мосластыми

руками-оглоблями, нелепо торчащими из куцых рукавов. — А где ж тогда еще один куплет?

— Какой? — чуть не подавился мальчишка.

— А вот такой! — И солдат, немилосердно фальшивя, пропел:

Коль монаху плохо спится,
Бьет ладонью черепицу;
Коль монах намерен спиться —
Крошит гальку кулаком!
А приспичит утопиться —
Схватит боевую спицу,
Ткнет во вражью ягодицу —
И с хандрою незнаком!

— Не было такого, — категорично заявил мальчик. — Это народное творчество. Хотя и неплохо.

— Как тебя хоть зовут-то, парень? — Хлебосольный кашевар явно проникся к юному певцу симпатией.

— Так, как тебе и не выговорить, — невесело усмехнулся оборвыш. — А прозвали в свое время Маленьким Архатом. Если хочешь — так и называй.

— Ишь ты! — усмехнулся усатый толстяк со шнуром тунлина. — Архат, он брюхат, а ты тощ, как хвощ!

Мальчишка не обратил внимания на перл тунлинского остроумия, поглощая честно заработанный ужин.

Интерес к странному пареньку постепенно угасал, песен пока не предвиделось (с набитым ртом не очень-то попоешь!), часть слушателей разбрелась к своим кострам, а оставшиеся затеяли игру в «тройные» кости — где перебор ведет к проигрышу еще вернее, чем недобор.

Закончив трапезу, Маленький Архат некоторое время внимательно следил за игрой, а потом достал из котомки пару медяков и решительно бросил их на кон.

— Не лез бы ты... — попытался было отговорить мальчика кашевар, но поздно: игра уже началась.

Паренек взвесил на ладони замызганный стаканчик, уверенно встряхнул кости, коротко глянул на выпавшие очки...

— Бросай еще! — ожег ухо шепот усатого тунлина.

— Хватит, — отрезал Маленький Архат. И впрямь хватило, да еще с избытком: не прошло получаса, как вся «облачная казна» перекочевала к юному певцу, расчетливому не по годам, словно дух игорной удачи Син-тянь.

— Все, достаточно. — Вслушавшись в настороженное молчание, мальчишка отложил кости. Затем отделил от выигрыша пять мелких монет, завернул в платок и сунул в котомку, а остальное придвинул к растерявшемуся тунлину.

— Пошли кого-нибудь за корчагой-другой вина — я угощаю! А мне пусть возьмут сладких колобков с маком и полцзиня чищеных орехов! Только не перепутай — мне сладкое, а вам вино.

Солдатня радостно загомонила, и Маленький Архат улыбнулся тайком — в его планы отнюдь не входило ссориться с людьми Стального Хребта из-за горсти медяков.

Мосластый пехотинец, усомнившийся в авторстве «Легенды о кулаке», был за свое неверие отряжен в Тунцзин, к лавочникам, а мальчик тем временем снова взялся за цин.

«На подоле, сто жемчужин, никому подол не нужен...» — шутливо забренчали струны.

— Под подолом лишь одна, не видна, но хочу достать до дна! — разом откликнулся хриплый хор. День обещал быть удачным.

***

Вечерело. Выгоревшая голубизна неба наливалась фиолетовой глубиной, мерцающей искрами первых звезд. Слегка захмелевшие солдаты сгрудились у костра, предусмотрительно потеснившись, чтобы не помять своего гостя.

— Завтра придется брать в рот палочки, — вздохнул тунлин.

— Ну и что? — не понял мальчик. — Есть будем... Солдаты беззлобно засмеялись.

— Выступаем завтра, — пояснил тунлин, топорща усы. — А палочки в рот — чтоб не болтали на ходу, тишину соблюдали.

— А-а-а, — понимающе кивнул Маленький Архат. — На Нинго выдвигаетесь?

— Точно, — подтвердил мосластый, после щедрого угощения отринувший всякие сомнения относительно авторства «Легенды...». — Пора поставить сукина сына Чжоу на место!

— Ты погляди, как заговорил, — вызывающе хмыкнул тунлин. — Давно ли сам принцу-мятежнику служил?

— Давно, — согласился мосластый. — Три дня назад. А как понял, к чему дело идет, так и решил уйти, пока не поздно! Что я, петухом клюнутый?! Почитай, треть ванского гарнизона здесь — кому охота потом под государевыми батогами выть! У Стального Хребта тысяч тридцать войска, если не больше, а у Чжоу-вана — и

семи не осталось! Кто к генералу свалил, а кто вообще в бега пустился...

— Так ты что же, три дня как из Нинго? — Слова мосластого явно заинтересовали Маленького Архата. — И что слышно в городе? Говорят, Чжоу-ван кучу народу арестовал?

— Точно, арестовал, еще в первый день мятежа, — подтвердил мосластый перебежчик.

— А кого именно?

Подобный интерес мальчишки мог бы показаться подозрительным, но разомлевших после выпивки солдат переполняло благодушие.

— Ну, перво-наперво начальника уезда, потом главного казначея... Да, еще ванского распорядителя — дескать, в сговоре был; дальше кого-то из судейских... Хотели и генерала Чи Шу-чжао схватить, только шиш лапшовый — не вышло!

— А из судейских — кого?

— Кого, кого... судью городского и арестовали! Бао или Лао — запамятовал! Я не нингоусец, меня за неделю до мятежа из Хаоляна перевели.

— Судья Бао по прозвищу Драконова Печать, — тихо проговорил Маленький Архат.

— Точно! — обрадовался солдат. — А откуда ты его знаешь? Может, родственник тебе?

— Родственник. Дальний, — глухо подтвердил бледный мальчик. — А что с ними... ну, с арестованными — не знаешь? Живы?

— Вот уж чего не знаю, — покачал головой мосластый. — Может, живы еще, а может, и померли в ванских-то темницах! Но казнить их не казнили — это точно. При мне, по крайней мере.

— Мне надо в Нинго, — решительно заявил Маленький Архат. — Можно завтра с вами? — обратился он к тунлину.

— Ну... — замялся тот. — Вообще-то не положено. Вот если сотник разрешит...

— Если я разрешу, — раздался позади чей-то насмешливый голос, и солдат как ветром подняло, а на лицах невидимая кисть мигом нарисовала уставную бдительность.

— Сидите, храбрецы, отдыхайте, — махнул рукой подошедший, высокий седовласый мужчина в парчовом халате и с поясом, украшенным золотыми бляхами с гравировкой.

Маленькому Архату не надо было объяснять, что перед ним — сам генерал Чи Шу-чжао по прозвищу Стальной Хребет, лично обходящий расположение своего войска.

— Я, недостойный, приветствую достославного полководца, да будут дни его долгими, а предстоящий поход — быстрым и

победоносным. — Мальчик встал и неторопливо поклонился:

— Полагаю, что герой-военачальник слышал наш дерзкий разговор и мою нижайшую просьбу. С трепетом адресую ее мудрому командующему и молю о снисхождении.

Однако при этом во взгляде Маленького Архата было что угодно, но только не трепет и смирение.

— Речи странника изысканны, как и подобает словам сочинителя «Легенды о кулаке», — в тон ответил Стальной Хребет. — Это правда — то, что я слышал у предыдущего костра?

— Смотря что вы слышали, достославный генерал, — пожал плечами мальчишка.

— Что, усладив солдатские уши, ты потом обыграл в кости с полдюжины взрослых мужчин.

— Увы, правда.

— Тогда я предлагаю тебе сыграть со мной. — У генерала сегодня было отличное настроение, как всегда перед тщательно подготовленным походом. — Выиграешь — возьму в обоз. Нет — не обессудь.

— Хорошо, — серьезно кивнул Маленький Архат, но глаза его при этом хитро сверкнули. — Только, по моему скудному разумению, игра в тройные кости недостойна достославного генерала!

— Ну, если ты так считаешь, мы можем сыграть и в более достойную игру. К примеру, в облавные шашки.

Солдаты понимающе переглянулись, заранее сочувствуя пареньку — Стальной Хребет слыл истинным знатоком древней игры полководцев.

— В шашки так в шашки, — лихо подбоченился мальчишка. — Объясните мне правила, и сыграем. Пять партий — так, кажется, положено?

На объяснения не понадобилось много времени, и у генерала возникло подозрение, вскоре переросшее в уверенность, что мальчишка прекрасно осведомлен о правилах и просто валяет дурака.

«Солдаты любят редкую доступность полководца», — подумал Стальной Хребет, расставляя шашки на доске.

И пошел ближней юго-западной шашкой.

Первую партию мальчишка проиграл. Расставляя шашки заново, генерал воссоздал в голове финальную позицию — и неожиданно ему показалось, что он увидел сложнейшую комбинацию, ведущую к победе юного певца... и еще Стальной Хребет увидел свой собственный проигрыш от гораздо более простой атаки по восточному флангу.

Во второй партии Маленький Архат сразу же повел

массированное наступление по всему фронту, и Чи Шу-чжао постыдно проморгал «лисий клин» на том же восточном фланге — после чего исход партии стал ясен.

Генерал с нескрываемым удивлением посмотрел на своего юного соперника и снова наклонился над доской.

На этот раз военачальник играл куда осторожнее, удачно избежал «трех ловушек духа Хы», расставленных Маленьким Архатом, и благополучно угодил в четвертую, с опозданием поняв: сей исход был предопределен еще ходов восемь назад.

— Прости, но я не верю, что ты раньше никогда не играл в эту игру, — негромко произнес Стальной Хребет.

— Я тоже в это не верю, — спокойно ответил мальчишка, и генералу даже не пришло в голову, что его соперник дерзит.

А тот и не дерзил: как известно, за шашечной доской не существует чинов и рангов — только личное мастерство.

Сегодня игроки были достойны друг друга.

Четвертую партию мальчишка снова выиграл, и Чи Шу-чжао уж совсем было решил, что перед ним — небожитель или бес, принявший на время детский облик; ибо кто из смертных способен шутя просчитывать сотни вариантов на много ходов вперед?!

Последнюю партию можно было не играть — Маленький Архат уже заработал себе место на одной из обозных телег, но генерал не стал отказывать себе в удовольствии. «Учиться можно у прохожего», — не раз говаривал Стальной Хребет. А у этого прохожего было чему поучиться!

В тот момент, когда рука мальчика потянулась к рядам расставленных шашек, генерал быстро оторвал взгляд от доски и посмотрел прямо в лицо сопернику. Мальчишеская физиономия неуловимо изменилась: разгладился наморщенный в раздумье лоб, чуть отвисла нижняя губа, обнажая крепкие и корявые зубы, в глазах быстро таяли колючие льдинки, и сквозь них проступал радостно-безмятежный взгляд другого существа, словно бы только сейчас рождающегося на свет.

Взгляд дурачка или святого.

А потом мальчишка сделал ход — совсем не тот, которого ждал генерал.

Он делал немыслимые, не правильные, совершенно невозможные ходы, которые неминуемо вели к проигрышу; он с легкостью жертвовал шашки направо и налево, без цели и смысла, как ветер расшвыривает палую листву, — и лишь в самом конце Чи Шу-чжао понял, что снова проиграл!

А мальчик, улыбнувшись совсем по-детски, вскочил и поклонился до самой земли.

— Но это... это просто немыслимо! — растерянно выдохнул генерал, и застарелый шрам на его щеке дернулся. — Можно быть великим мастером в десять-одиннадцать лет, но играть в двух совершенно разных стилях с одинаковым успехом... Мне кажется, я узнал последнюю манеру: говорят, так играл Чжан Чжи-кэ* [Чжан Чжи-кэ — один из святых даосского пантеона.] под конец своей земной жизни, перед тем как обрел бессмертие! У кого ты учился?

— У великого Будды и Безначального Дао, — ответил мальчишка, и Чи Шу-чжао увидел, что в его глазах вновь застывает насмешливый лед.

— Оставьте нас, — генерал обернулся к потрясенным солдатам.

Через мгновение вокруг них уже никого не было.

— Ты можешь ехать с нами к Нинго, — помолчав, бросил генерал, глядя мимо Маленького Архата. — Но это уже не важно. Я бы попросил тебя, когда смута закончится, зайти ко мне. Тебя пропустят — я распоряжусь. Было бы жаль, если бы столь выдающиеся способности пропали втуне. Не скитаться же тебе до старости по Поднебесной, зарабатывая на чашку лапши бренчанием на цине. По-моему, ты заслуживаешь лучшей судьбы.

«Ага, шеф тоже с этого начинал, — подумал тот, кого покойник-Десантура любил в шутку звать Гением. — Тоже, помню, все обещал устроить мою судьбу... А что — и впрямь устроил!»

Однако вслух он вежливо поинтересовался:

— И каким же образом вы намерены это сделать, достославный генерал?

— Если, кроме игры в шашки и кости, а также сочинения песен, ты знаешь грамоту и счет...

— Знаю.

— ...то я мог бы пристроить тебя в одно из военных училищ. У тебя явный талант стратега, а я, поверь мне, редко ошибаюсь в таких вещах.

— Верю, — кивнул мальчик.

— Такие люди нужны Чжунго.

Мальчик сорвал травинку, прикусил ее, и при виде этого Стальной Хребет отчего-то смутился, что случалось с ним крайне редко.

— Конечно, у тебя нет средств и, наверное, родственников, которые смогли бы оплатить обучение, но я возьму эти расходы на себя. Или добьюсь для тебя статуса линьшэна — студента-стипендиата...

Пригоршня холодной воды из льдистых глаз заставила

генерала умолкнуть. И за мгновение до того, как прозвучал ответ Маленького Архата, Стальной Хребет понял: все, что он предлагает, не интересует это странное существо с телом ребенка и глазами змеи.

— Разве Будде нужна стипендия? — Мальчишка повернулся и пошел прочь, ни разу не оглянувшись.

***

Весь день Маленький Архат провалялся на обозной телеге, мерно переваливавшейся на ухабах. Изредка он выныривал из дремы и ненадолго соскакивал на землю, чтобы справить нужду или размять ноги. На привалах его кормили вместе со всеми, и никто не задавал никаких вопросов. Солдаты косились на мальчишку с опаской и благоговением: шутка ли — обыграть в шашки самого Стального Хребта! А беседа без свидетелей?! Нет, парень не так прост, и вообще, мало ли кто он на самом деле...

Маленькому Архату было на это наплевать. Его везли к цели путешествия, кормили и не трогали.

Вполне достаточно.

На рассвете следующего дня войска подошли к Нинго и встали под стенами, обложив город со всех сторон. На стенах время от времени показывались люди, но почему-то все больше в цивильной одежде и без оружия: выглядывали и исчезали, а вместо них объявлялись новые.

Потом створки городских ворот медленно отворились, и открывшие их — опять-таки мирные горожане — поспешили вернуться обратно, оставив ворота без присмотра.

Генерал искренне надеялся, что это как раз то, на что он рассчитывал, — добровольная сдача. Но, с другой стороны, здесь могла крыться ловушка; и умудренный опытом полководец не спешил. В итоге Стальной Хребет выслал делегацию парламентеров (и по совместительству разведчиков) во главе со своим заместителем тайвэем Асы.

Делегация настороженно прошла по улицам Нинго к ванскому дворцу, где и выяснилось, что ночью Чжоу-ван вместе с большей частью двора и гвардии бежал в неизвестном направлении. Однако дворец охраняла верная принцу стража, отказавшаяся пустить парламентеров внутрь. Приказ есть приказ, даже если приказавший и бежал. Вот если генерал Чи Шу-чжао лично явится ко дворцу и повелит снять караул — тогда...

Оставшиеся солдаты ванского гарнизона, а также кое-кто из городской бедноты тем временем занимались откровенным грабежом, и никто этому не препятствовал.

О чем тайвэй Асы незамедлительно доложил генералу по возвращении в ставку.

Конечно, следовало бы ввести войска в город и прекратить безобразия, но осторожный Чи Шу-чжао решил подождать. Грабят? Насилуют? Бывает. Пограбят — и успокоятся. А незаконнорожденные плоды насилия так же марают пеленки, как и прочие. Надо будет — уважаемые граждане сами обратятся к нему за помощью. А не обратятся — так он, Стальной Хребет, навязываться не собирается.

По сведениям, доставленным генералу соколиной почтой, со дня на день в Нинго должен был приехать инспектор из Столицы.

***

Но все это уже не слишком интересовало Маленького Архата, успевшего проскользнуть в городские ворота вместе с парламентерами.

2

Дорогу к дому судьи Бао Маленький Архат нашел быстро — подсказали встречные горожане, недоуменно косившиеся вслед юному бродяге. Была некоторая, хотя и слабая, надежда, что судью уже выпустили из тюрьмы в связи с бегством Чжоу-вана, о котором болтал весь Нинго. Кто-нибудь из тюремщиков, желая выслужиться перед имперскими властями, вполне мог открыть камеры и освободить узников принца.

Впрочем, с тем же успехом принц, перед тем как скрыться, мог приказать казнить заключенных.

Ворота нужного мальчишке дома оказались распахнутыми настежь, и во дворе царило полное разорение: вытоптанный цветник, изрубленные кусты жасмина, груда поломанных стульев и кресел, ворох измазанных нечистотами одежд...

А те проходимцы, что мелькали в окнах, никак не походили на слуг или домочадцев.

Искать здесь судью не имело смысла.

Тем не менее Маленький Архат вошел во двор и направился к дому. Навстречу ему из дверей вывалился солдат в распахнутой форменной куртке и с объемистым узлом на плече. Воровато оглядевшись и погрозив мальчишке кулаком, солдат зарысил к воротам, но он, пробегая мимо алтаря с искусно выполненными фигурками даосских святых, вдруг подпрыгнул и с воплем покатился по земле. Впечатление было, будто кто-то невидимый дал мародеру хорошего пинка. Вскочив, солдат поспешно подхватил узел и исчез со двора с удвоенной скоростью.

Мальчик внимательно посмотрел на загадочный алтарь и счел за благо обойти его стороной.

У западной веранды высился целый завал из всякого барахла, явно выброшенного сверху: треснувший при падении стол на гнутых ножках, несколько письменных приборов, опахало, ворох свитков, шкатулки, ящички...

Особенно бросалась в глаза средних размеров шкатулка, покрытая черным лаком и украшенная инкрустациями из перламутра, серебра и слоновой кости. Мальчик сделал шаг и поднял заинтересовавшую его вещь.

К сожалению, шкатулка держалась на честном слове и грозила с минуты на минуту развалиться окончательно.

— Эй, ты что там делаешь? Воруешь?! — громыхнуло над головой.

Из окна выглядывал краснорожий вояка-тунлин, устремив на юного бродягу обличающий перст.

Вдобавок перст был корявый и грязный.

— А ты сам у судьи в гостях сидишь? — поинтересовался мальчик. — Чаи по комнатам гоняешь?!

— Да я тебя!..

Мальчишка ловко уклонился, быстро подобрал брошенное тунлином точило и уже собрался послать сей метательный снаряд обратно, но вовремя заметил, как недобро сузились глаза мародера, и понял, что лучше уносить ноги.

Что и сделал с завидной резвостью, заодно прихватив с собой шкатулку и точильный камень — точило пригодится в любом случае, а шкатулка... ну, красивая она, и все тут!

Уже снаружи, на улице, в безотказной памяти Маленького Архата всплыла фраза мосластого перебежчика: «Может, и живы еще, а может, и померли в ванских-то темницах!»

***

...На одиннадцатилетнего оборванца, спрашивающего, как пройти к ванскому дворцу, смотрели как на помешанного, однако в совете не отказывали, так что через полчаса Маленький Архат был у цели.

Вокруг дворца стояла хмурая стража. И перед наружными воротами, и дальше, у парадного входа. Остальные лазейки наверняка тоже были перекрыты, а одного взгляда на служак-гвардейцев хватало, чтобы отбить всякую охоту задавать им вопросы. В лучшем случае — обругают и прогонят, в худшем — могут и алебардой навернуть, и хорошо еще, если древком!

«Эх, Змееныша бы сюда!» — с сожалением подумал бывший монах.

Но Змееныша рядом не было.

Время подгоняло — Маленький Архат нутром чуял, что необходимо спешить, но ничего умного в голову не приходило. Еще раз окинув взглядом дворец и решительно настроенных стражей, мальчик повернулся и пошел прочь с намерением отыскать укромный уголок и перекусить — пару лепешек и кусок вяленой говядины ему успел вручить давешний кашевар, а тыква-горлянка с родниковой водой была всегда при нем.

На сытый желудок и думается лучше.

Подходящее место нашлось неподалеку, в переулке: чей-то разграбленный дом, покинутый хозяевами. Мальчик уселся прямо на ступеньки, расстелил относительно чистую тряпицу и разложил на ней свой небогатый провиант.

Откусил кусок лепешки, прожевал, запил водой из тыквы. С некоторым сомнением повертел в руках мясо.

— Ясное дело, монахам убоины вкушать не положено, — пробормотал он себе под нос, — но мы-то теперь просветленные, а потому правила не для нас! Кроме того, в первый раз, что ли? — И извлек из котомки ножик с костяной рукояткой.

— Ага, примерно так у нас в Шаолине и издеваются над новичками, — заключил Маленький Архат после третьей попытки отрезать кусок жесткой говядины тупым, как полено, ножом.

Прервав на время трапезу, мальчишка достал украденный точильный камень и усердно заелозил по нему лезвием, то и дело высекая искры. Затем, обтерев лезвие полой кургузого халата, снова попытался сделать надрез. На сей раз упрямое мясо соизволило чуть-чуть поддаться, но далее дело вновь застопорилось.

— Что ж, точим дальше, — пожал плечами Маленький Архат и снова взялся за камень.

А кто-то взялся за него самого.

Возникшая из-за плеча мохнатая лапища ловко подцепила злополучную говядинку и в мгновение ока располосовала ее кривыми когтями на тонкие ленточки. После чего лапа исчезла, унося с собой одну мясную ленту, а остальной харч оказался перед бродягой в готовом к употреблению виде.

— Кушай, мальчик, — добродушно рыкнули откуда-то сверху. — Чтобы вырасти большим и сильным, надо хорошо кушать.

Вслед за этой сентенцией послышалось удовлетворенное чавканье — и мальчишка набрался храбрости обернуться.

Тот, кого он увидел, явно в детстве отличался завидным аппетитом.

Огромный, косматый, похожий на медведя черт-лоча, голова которого была «украшена» многочисленными шипами и рогами.

Желтые клыки задумчиво жевали полоску вяленого мяса, а янтарные глазищи с интересом оглядывались по сторонам.

— Говорили мне умные дяди — не играй в «DOOM» по ночам, — пробормотал Маленький Архат на совершенно неизвестном в Чжунго языке, судорожно пытаясь отодвинуться подальше. — А я, дурак, их не слушал!

При этом пальцы мальчишки с невероятной скоростью шарили по костлявым коленкам, словно пытаясь нащупать и нажать что-то невидимое — но так ничего и не нашли.

— А где мой друг, прозорливый судья Бао? — поинтересовался наконец черт-лоча.

И Маленький Архат мгновенно пришел в себя.

— В тюрьме, — ответил он.

— В тюрьме?! — изумился черт. — За что? И как он тогда меня вызвал?

На лице мальчишки мелькнула тень внезапного понимания и он повертел в руках столь пригодившееся точило.

— Давай-ка по порядку, — заявил мальчишка. — Имя, должность, звание?

— А почему ты со мной так грубо разговариваешь? — Косматый собеседник был явно обижен. — Вот ты кто такой? Бродяга и нахал, у которого молоко на губах не обсохло! А я — уважаемый черт из племени лоча, чиновник четвертого ранга Первой канцелярии ада Фэньду, и зовут меня Ли Иньбу.

— А бродягу и нахала зовут Маленьким Архатом, и это именно он тебя вызвал. Понятно?

— Да чего уж тут непонятного?!

— Ну вот и чудненько, раз понятно. Значит, теперь ты подчиняешься мне. — Тот, кого раньше звали Гением, хорошо помнил сказки про джиннов.

— С какой это стати? — искренне изумился Ли Иньбу.

Видимо, сказки про джиннов не входили в образование чиновника четвертого ранга из уважаемого племени лоча.

— Но ведь это Я тебя вызвал!

— Ну и что? Это камень судьи Бао, а не твой, и подчиняюсь я соответственно ему!

— Камню?

— Нет, судье!

— Договорились! — неожиданно заключил мальчишка и улыбнулся. — Тогда тем более ты должен помочь мне его выручить! Как я тебе уже говорил, судья Бао — в тюрьме.

— Нет, погоди... — соображал черт не слишком быстро. — Ведь я же его видел совсем недавно!

— Где?! — чуть не подпрыгнул Маленький Архат.

— Да у нас, в Преисподней!

— Он что, умер? — Сердце мальчика на мгновение остановилось.

— Почему умер? Он, когда спит, работает у нас, в аду, а днем — здесь, в мире живых.

— А когда ты его видел?

— Да с полчаса назад...

— Но ведь сейчас день! Какого черта он днем дрыхнет?

— Не ругайся, — наставительно произнес черт. — И в самом деле? — тут же задумался он.

— Полагаю, что судье Бао сейчас очень плохо, — тихо произнес мальчик. — Тем, кто проводит в забытье весь день, обычно немного остается жить. По себе знаю.

Черт-лоча прикусил губу — такую губу, как у Ли Иньбу, просто грех было время от времени не прикусывать.

Действительно, судья стал появляться в аду все чаще и задерживаться все дольше, при этом выглядя осунувшимся и усталым. А Владыка Янь-ван, ранее чуть ли не ежедневно навещавший достойного сянъигуна и настойчиво предлагавший ему свою помощь, теперь оставил Солнечного чиновника в покое.

Надеется, что судья скоро помрет и останется у него навсегда?

Похоже на то! Судья, значит, каждую ночь трудится на благо Преисподней, а Владыка и пальцем не шевелит, чтобы помочь ему! Конечно, Владыке не терпится окончательно заполучить ценного работника, и воля Янь-вана — превыше всего, но...

За последнее время черт-лоча искренне привязался к своему коллеге; кроме того, Ли Иньбу был в долгу перед судьей за удачно изловленную Чернобурку. С другой стороны, гнев Янь-вана... Только если Ли Иньбу сейчас уйдет — Князь наверняка будет доволен, зато сам чиновник четвертого ранга перестанет

уважать себя на всю оставшуюся вечность!

И Ли Иньбу принял решение.

Которое грозило осложнить его и без того адскую жизнь.

3

Дворец Чжоу-вана находился рядом, однако по дороге Ли Иньбу успел-таки насмерть перепугать двух прохожих, сломя голову бросившихся наутек.

«Хорошо бы и стражникам взять с них пример», — подумалось Маленькому Архату.

Однако стражники его надежд не оправдали. Поначалу они действительно малость струхнули и подались назад, но пришедший в себя командир рявкнул на гвардейцев, и охрана мигом ощетинилась лезвиями алебард.

— Вольно! — весело гаркнул черт во всю немалую глотку. — Пр-р-ропустить нас!

— Ну да, разогнался! — не слишком решительно ответил командир, наставив на Ли Иньбу алебарду. — Никого пускать не велено.

— В таком случае — смена караула! Кр-р-ругом марш! — Ли Иньбу был вполне уверен в себе, но Маленький Архат уже понял, что нахрапом стражников не возьмешь.

— Ну, и где же смена? — ехидно поинтересовался командир, малость приходя в себя. — Ты, что ли, медвежья твоя морда, сменять нас будешь?

— Я не медвежья морда, а чиновник четвертого ранга ада Фэньду! — поправил Ли Иньбу. — А посему...

— Мы штатским не подчиняемся. Даже адским, — перебил черта начальник караула. — Ишь раскомандовался! Вот я тебе сейчас брюхо-то пощекочу! — И не слишком сильно ткнул черта в живот острием алебарды.

— Туповата твоя жестянка, чтоб меня щекотать, — оскалился Ли Иньбу, выпячивая невредимое брюхо. — Подточить надо!

И выхватил у Маленького Архата точильный камень, который мальчишка все еще держал в руке.

Это неожиданное предложение раззадорило бравого начальника, и следующий удар он нанес уже в полную силу. Однако черт с неожиданной для его телосложения ловкостью отбил удар точилом.

Брызнули искры, и Маленький Архат увидел, как за спиной

Ли Иньбу прямо из воздуха материализовался здоровенный якша в ржавом панцире, открытом шлеме и с двуострым копьем в волосатых ручищах.

Однако увлеченный поединком начальник караула не обратил на это внимания. Не прерывать же на полпути замечательный танец с алебардой, пользоваться которой командир был большой мастак! Особенно, если Ли Иньбу ничего не имел против. Лезвие сверкало подобно молнии, удары градом сыпались на черта, однако мохнатый лоча всякий раз успешно уворачивался, точильный камень искрил почище фейерверка, а за спиной черта один за другим возникали воины-якши, выстраиваясь в ровную шеренгу.

Наконец озверевший от постоянных промахов начальник караула рубанул наискосок из какого-то немыслимого выворота, и на мгновение Маленькому Архату показалось, что теперь-то Ли Иньбу уж точно конец: будь шкура черта и его рогато-шипастый череп даже из брони — этот удар неминуемо должен был расколоть надвое голову адского чиновника.

Однако в последний момент Ли Иньбу исхитрился возложить себе на макушку многострадальное точило, искры брызнули фонтаном, и лезвие алебарды с треском сломалось пополам.

Вместе с точильным камнем.

— Хороший удар, — похвалил лоча, растирая ушибленное темечко. — А вот сталь никуда не годится!

Начальник караула растерянно переводил взгляд со сломанного оружия на черта и обратно — и только: тут до него дошло, что его подчиненные опасливо, жмутся к воротам.

Еще бы не жались, если перед ними застыла шеренга мрачных якшей в полном вооружении, впереди которой находился вполне человеческого вида воин в изрубленном и залатанном панцире, с красной повязкой на лбу и с двумя топорами «шуан» за поясом.

— Ты спрашивал, где смена? — довольно осклабился Ли Иньбу. — Вот, явилась! Слушай мою команду...

— Что это значит, Ли? — строго осведомился воин с красной повязкой. — Нам запрещено вмешиваться в дела живых!

— Кроме особых случаев, уважаемый господин тайвэй, — обернулся к нему черт. — Мы все здесь по вызову.

— Чей вызов?

— Судьи Бао. Точнее, этого достойного малыша, но судья в темнице, так что я позволил себе...

— И правильно сделал, — кивнул тайвэй. — Нужно сменить караул?

— Совершенно верно. Мне они подчиниться не пожелали.

Воин с топорами молча отстранил Ли Иньбу и вышел вперед.

Начальник караула невольно попятился.

— Я — генерал Сян Хай-чжун, доблестно погибший в битве у Черепаховой заводи, ныне — тайвэй дворцовой стражи Владыки Янь-вана! — прогремел над замершей площадью суровый голос воина.

Начальник караула невольно вытянулся, как не вытягивался даже перед принцем Чжоу.

— Как старший по званию, приказываю сдать пост! Слушай мою команду: напр-р-ра-во! Шаго-ом марш!

Почти сразу Маленький Архат успел отметить, что стража у парадного входа во дворец поспешила последовать примеру внешней охраны, не дожидаясь особого распоряжения. Якши уже занимали оставляемый солдатами пост, а Ли Иньбу и Маленький Архат, не теряя времени, проследовали ко входу во дворец. Позади топал один из якшей, приставленный к ним в качестве сопровождающего предусмотрительным Сян Хай-чжуном.

Во дворе Маленький Архат немедленно изловил за ухо дворцового повара, неудачно пытавшегося прикинуться статуей, и приказал:

— Веди нас в темницу. И быстро! А то съем.

Повар и не подумал сомневаться.

4

Допросы прекратились несколько дней назад. Казалось, об узниках все забыли: их даже перестали кормить, и лишь изредка сердобольный старик-тюремщик приносил кувшин с водой и горсть заплесневелых корок.

«Решили уморить голодом», — отстранение думал иногда судья. Впрочем, эта мысль уже не вызывала у него никаких чувств. Не все ли равно, от чего умирать: от голода или от пыток? В допросную залу выездного следователя не таскали, но обожженное и истерзанное тело не желало выздоравливать, лелея собственные раны, как залог смерти-избавительницы — жизненные силы были на исходе.

Почти все время Бао пребывал в забытье, в аду Фэньду — но и там его мысли путались, мешая сосредоточиться на работе, и судья не раз пропускал появление злокозненных рук или, наоборот, поднимал ложную тревогу.

Иногда он приходил в себя. Чаще — в Темном Приказе, реже

— в своей камере. В один из моментов просветления он попытался связно изложить Владыке, кто повинен в безумии, лихорадившем оба мира все сильнее.

Яньло грустно смотрел на судью.

— К сожалению, здесь я бессилен, — развел руками Князь Преисподней. — Шаолинь недоступен для меня и моих слуг. Теперь лишь живые способны остановить этого безумца.

— А может быть... — судья вспомнил явившийся ему призрак Бородатого Варвара. — Может быть, найти того, кем стал сейчас великий Бодхидхарма? Мне кажется...

— Вы плохо просмотрели его свиток, уважаемый сянъигун. У Просветленного Учением больше не было перерождений.

«Вот и все, — подумал судья Бао, провожая удаляющегося Князя взглядом. — Я раскрыл это дело, но остановить происходящее не в моей власти. Янь-ван бессилен, Бородатый Варвар навсегда ушел в Нирвану или куда-то еще, а я медленно гнию в тюремной камере».

Но и эта мысль не взволновала его, вызвав лишь мимолетное сожаление.

Теперь оба мира представлялись судье Бао одинаково размытыми и нереальными. Он все чаще барахтался в омуте воистину чудовищных видений, не имевших отношения ни к Преисподней, ни к миру живых: ему виделись странные твари, отдаленно похожие на бесов, но не являвшиеся ими; в бреду он разговаривал с людьми и нелюдями — живыми или давно умершими, иные из которых были ему абсолютно незнакомы; грань между двумя мирами и горячечным миражем становилась все более зыбкой, и судья почти не сознавал, где он на самом деле находится.

Но что-то еще держало его, не давая слететь с вертящегося Колеса Сансары, ведь когда Сингэ Третий, окончательно сошедший с ума от голода, попытался перегрызть судье горло и напиться свежей крови... выездной следователь, очнувшись, сумел оттолкнуть сюцая ногой — и теперь Сингэ Третий жалобно скулил в углу, сверкая оттуда безумными глазами.

Бао понимал: в следующий раз у него может просто не остаться сил, чтобы оказать сопротивление своему бывшему подчиненному.

Ну и пусть.

Лязгнул засов, и дверь в камеру неторопливо отворилась.

Или это снова видения?

Судья попытался сосредоточиться.

В дверном проеме мелькнул свет, и в камеру вошел коренастый человек со свечой в руке. Тусклый огонек ослепил

отвыкшего от света выездного следователя, но он все же успел заметить удавку в другой руке вошедшего.

Палач.

Вот теперь — действительно все.

Но в следующий миг палач почему-то кувырком полетел в угол, словно площадной акробат, а перед судьей Бао возникла знакомая физиономия Ли Иньбу.

«Вот я и умер, Ли», — хотел сказать выездной следователь, но губы его только беззвучно шевельнулись.

Смерть оказалась странной: судью подняли и куда-то понесли, бережно прижимая к мохнатой груди, — после чего он надолго перестал воспринимать что бы то ни было.

***

Они успели в последний момент. Насмерть перепуганный повар плутал в лабиринте дворцовых подземелий, несколько раз им приходилось возвращаться обратно и начинать путь заново — и когда нужная камера наконец отыскалась, дверь в нее оказалась приоткрыта, а в темноте мелькнуло колеблющееся пламя свечи.

Опередив черта, Маленький Архат ворвался в темницу, увидел спину человека с удавкой, склоняющегося над узником, лежащим на куче прелой соломы, — и тут выяснилось, что мальчишка не зря полтора года постигал нелегкую науку «цюань-фа» под руководством наставника Лю. Еще раньше, чем Маленький Архат успел что-либо сообразить, тело его словно само собой взвилось в воздух...

Если бы палач оказался размером с Маленького Архата или наоборот, Маленький Архат весил примерно столько же, сколько и заплечных дел мастер, у последнего, без сомнения, был бы перебит крестец. Но и так пинка обеими ногами хватило, чтобы палач перелетел через судью и шлепнулся на взвывшего сюцая, после чего скорчился в углу, не помышляя о дальнейшем сопротивлении.

Доведись наставнику Лю увидеть этот удар, он остался бы доволен.

Впрочем, один ценитель поблизости все же нашелся — возникший в дверях Ли Иньбу одобрительно хмыкнул, вваливаясь в камеру. Потом черт легко, как ребенка, подхватил на руки судью Бао, огляделся и, обнаружив под палачом хрипящего Сингэ, скомандовал якше-сопровождающему:

— А ты бери этого — не оставлять же его здесь!

Знал бы добряк лоча, КОГО он спасает!

5

Лежать было мягко и удобно; это пугало. «Как дома», — подумалось судье. Он попытался шевельнуться, стряхнуть сонную одурь — сразу закружилась голова, и некоторое время Бао просто лежал, не открывая глаз и прислушиваясь к собственным ощущениям. Слабость. Головокружение. Тепло. Покой.

Голод! Но не прежний, животный, терзающий душу и тело, сводящий спазмами живот. Выездной следователь чувствовал себя изрядно проголодавшимся, но отнюдь не умирающим от истощения.

Умирающим. «Так я все-таки умер или нет?» — этот вопрос неожиданно взволновал его, хотя волнение было чувством забытым и чужим; и судья Бао поспешил открыть глаза.

Потолок. Знакомый, украшенный лепниной в стиле «макушка журавля». Где он его видел? В своем адском кабинете? Нет, не похоже. Скорее — дома, в собственной спальне!..

Бао с усилием повернул голову.

Столик. Невысокий столик на гнутых ножках, столешницу которого почему-то рассекала уродливая трещина. Раньше ее не было. На столике громоздились кувшинчики, горшочки, чашки и прочая утварь.

«Дома! Жив!» — радостно екнуло сердце.

Правда, над кроватью теперь отсутствовал балдахин, но с этим можно будет разобраться позже.

Это прекрасно — возможность с чем-нибудь разобраться, причем непременно позже!

Подчиняясь налетевшему, как вихрь, порыву, судья громко позвал жену.

Вернее, хотел громко, а получилось пискляво и еле слышно, но буквально через мгновение за стеной прошуршали торопливые шаги, и перед следователем возникла его младшая жена.

— Вы очнулись, мой господин! — Она упала рядом с кроватью на колени. — Наконец-то! Радость, радость-то какая! А мы тут...

— Потом, — напрягшись, просипел Бао. — Есть давай! Я голоден, как восемь тигров!.. Или как четыре дракона, — добавил он, подумав.

Жена не совсем поняла, при чем тут драконы и тигры, но в руках ее мигом появился пузатый горшочек, и в губы судьи ткнулась серебряная ложечка, предназначенная специально для кормления тяжелобольных. Выездной следователь втянул в себя содержимое, едва не прихватив заодно и ложку, но тут же скривился и выплюнул все обратно.

— Что это за дрянь?! — возмутился он уже почти нормальным голосом.

— Целебная питательная кашица из пророщенных семян проса и ячменя, которую прописал вам лекарь, — испуганно ответила жена.

— А что еще он мне прописал? — с нехорошим предчувствием поинтересовался судья.

— Молоко, отвар...

— Пусть сам это и пьет! — не выдержал выездной следователь, с детства питавший отвращение к молоку. — И заедает целебной кашицей! Значит, так: свинину под кисло-сладким соусом, карпа, жаренного в сметане... ну, можно вареного, потом вина, и обязательно подогреть!..

Разумеется, ни вина, ни жареного карпа, ни тем более свинины под кисло-сладким соусом ему не дали. Пришлось удовольствоваться вареной щукой, куриным бульоном и жиденьким чайком — что, впрочем, судью вполне устроило.

Обсасывая рыбий хребет и запивая еду бульоном прямо из чашки — ложечка выскользнула из жирных пальцев и закатилась под кровать, — судья слушал рассказ жены.

Собравшаяся вокруг семья (в полном составе, включая до сих пор не уехавшую тетку) с умилением взирала на выздоравливающего хозяина дома, то и дело дополняя, перебивая, перекрикивая и споря, что отнюдь не способствовало вразумительности повествования.

Вкратце дела обстояли так.

На следующий день после ареста судьи во двор заявился даос вместе с ослом («Знаю», — махнул рукой Бао, но родичи сочли, что глава дома шутит или что-то путает), и когда святой Лань завершил магический ритуал, то в пасти осла открылась сверкающая жемчужная лестница с яшмовыми перилами, все семейство ступило на нее и вскоре оказалось в некоей чудесной стране, которая, как им сказали, называется...

— Ослиная Задница, — пробормотал себе под нос выездной следователь и из-за этого не услышал более благозвучного варианта названия чудесной страны.

Там высились дворцы из чистого хрусталя, коралловые пагоды, гиацинтовые беседки, благоуханный аромат чайных роз

разносился над шелковистой травой, и лазоревые птицы щебетали в ветвях деревьев, под сенью которых звенели прозрачные ручьи...

Одним словом, рай.

«Вот он, значит, где находится», — подумал судья Бао, к которому уже начала возвращаться его обычная язвительность.

А какие яства там подавали!

А какие прекрасные девушки прислуживали, услаждая по вечерам слух и взор пением и танцами!

А какие...

Судья слушал и искренне радовался за своих близких, одновременно столь же искренне завидуя: пока прекрасные девы развлекали семью в райских дворцах, он, глава дома, благополучно подыхал в застенках принца Чжоу!

Однако это было уже не важно: мытарства закончились, он дома, в кругу семьи, и теперь все будет хорошо. «Все обязательно будет хорошо!» — убеждал себя судья Бао, так и не сумев увериться в этом до конца.

— ...А Старшенький Вэнь совсем оправился от хворей: раны телесные за три дня зажили сами собой, а напевы райских дев исцелили его душу (при этих словах Старший Вэнь покраснел и смущенно потупился — дело явно было не в одних напевах).

В глубине дома послышался шум, и вскоре раздался знакомый бодрый фальцет:

— Ну, где наш умирающий? Что, еще жив? И даже поел?! Странно, странно... — И в дверях возник самый тактичный в Нинго лекарь Семипилюльник.

Быстро изгнав из комнаты всех, кроме младшей жены — вдруг понадобится какая помощь! — лекарь приступил к осмотру больного.

Несмотря на вредный характер и бесцеремонность, Семипилюльник свое дело знал, и Бао это было хорошо известно.

Ловко ворочая судью с боку на бок, лекарь осмотрел зарубцевавшиеся следы побоев и ожогов, усердно пощупал пульс, качая лысой головой, потом заставил больного широко открыть рот, долго думал, словно собираясь запрыгнуть внутрь, оттянул веки, рассматривая белки глаз...

— Я умру? — поинтересовался выездной следователь, все еще не вполне уверовавший в свое чудесное спасение.

— А как же! — радостно возвестил Семипилюльник. — Непременно умрете! И в самом скором времени! Лет эдак через тридцать-сорок, если будете соблюдать умеренность в еде, вине и исполнении супружеского долга. Или вы намерены приобщиться к Безначальному Дао и стать бессмертным?

Подобного намерения у судьи отродясь не было, и лекарь, вполне удовлетворенный осмотром и платой, поспешил откланяться.

— А теперь, — Бао придержал младшую жену за полу халата, — расскажи-ка мне, сколько дней я провалялся в беспамятстве?

— Почти две недели, мой господин. — Жена присела на скамеечку у постели больного. — Когда мы вернулись из хрустальных чертогов, вы уже были дома, и лекарь вместе со святым Ланем сообща боролись за вашу жизнь. Потом даос удалился, оставив вас на попечение родни. Наш дом был разграблен, но многое уже вернули, слуги навели порядок...

— В городе, в городе-то что? — нетерпеливо перебил судья. — Кто правит? Где Чжоу-ван? Что тут вообще творится? Раз я дома и жив, значит, в Нинго перемены!

— Ох, и не говорите, мой господин! Генерал Чи Шу-чжао взял Нинго, причем, говорят — без боя; нас-то тогда здесь не было!.. Чжоу-ван со свитой бежали — вроде бы в юго-восточные провинции, но точно неизвестно. А начальника уезда, главного казначея и ванского распорядителя удавили в темнице по велению принца-кровопийцы! Нам рассказали, что хотели казнить и вас с бедняжкой Сингэ, но вас спас один мальчик...

— Мальчик? — изумился выездной следователь, пропустив мимо ушей «бедняжку Сингэ».

— Воистину так! — подтвердила жена. — Это вообще очень странная история: якобы мальчику помогал то ли бес, то ли, наоборот, небожитель Пэнлая... О, это просто чудо, что вы живы, мой господин!

— А где этот мальчик сейчас?

— В нашем доме. Мы ему ни в чем не отказываем, но он все ждет, когда вы придете в себя, — хочет с вами поговорить.

— Пригласишь его ко мне чуть попозже, — задумчиво проговорил судья Бао. — Что еще произошло?

— Когда принц Чжоу бежал, в городе начались беспорядки, и граждане Нинго отправили делегацию к генералу Чи Шу-чжао с просьбой навести порядок. Десяток мародеров казнили, остальным дали плетей — и все успокоилось. А на следующий день приехал государев инспектор из Северной Столицы! И с ним — новый начальник уезда, назначенный Сыном Неба. Слыхала я, генерал вручил им некую бумагу: вроде бы признание Чжоу-вана в казнокрадстве, злоумышленном захвате города, кровосмешении и содомском грехе (только никто не знает, что это за грех такой, — видать, больно страшный!) — и все это заверенное личной подписью и печатью принца! Вы представляете, мой господин?!

— Не представляю, — честно ответил судья. — Он что, с ума

сошел?

— Кто — генерал?

— Нет, принц!

— Не знаю... — растерялась женщина. Тут снова послышался какой-то шум, и в комнату вбежала перепуганная и взволнованная старшая жена.

— К вам гость, мой господин! — выдохнула она.

— Кто? — досадливо поморщился порядком уставший судья.

«Сегодня поистине день визитов», — подумал он.

— Господин инспектор! Из Столицы!

— Нижайше проси его войти, — вздохнул Бао и попытался сесть ровнее.

***

Инспектор был высок ростом, сухощав, подтянут, с живыми умными глазами на гладком (несмотря на далеко не юный возраст) лице и сразу понравился судье. Он был не при параде — в дорогом, но строгом халате из лиловой шерсти с яркой каймой по подолу, такой же лиловой семиугольной шапке, но носки инспекторских туфель легкомысленно загибались кверху, а положенная табличка на поясе и вовсе отсутствовала.

— Лежите-лежите! — Инспектор замахал руками на попытавшегося было приподняться Бао. — Вам надо набираться сил! И вообще, я к вам пока неофициально.

Бао указал гостю на кресло с высокой спинкой, и тот, вежливо поклонившись хозяину дома, присел.

— Рад видеть досточтимого Бао в сознании и почти в добром здравии, — мягко улыбнулся инспектор. — Искренне надеюсь, что через день-другой слово «почти» можно будет опустить.

— Благодарю за заботу, господин инспектор. Для меня большая честь...

— Не стоит, — снова махнул рукой гость. — Скрупулезное соблюдение этикета, мой дорогой Бао, утомит вас, и мне придется уйти раньше времени. Поговорим как старые друзья — тем более что я о вас немало слышал.

— Как скажете, — пожал плечами судья. Недоверчивость к столичным штучкам боролась в нем с расположением к приветливому гостю.

— Вот так-то лучше. Разрешите представиться — инспектор Ван Инь, чиновник второго ранга, прибыл из Бэйцзина по поручению государя. Ах да, вы, наверное, еще не знаете — в Чжунго новый Сын Неба, живи он вечно! Недавно на престол взошел божественный Хун Ци...

«Как я и предполагал!» — с удовлетворением отметил судья Бао.

— Он провозгласил девиз правления: Эпоха Обширного Благоденствия. Надо сказать, что молодой государь решителен и тверд: обнаружив ряд несомненных злоупотреблений, допущенных монахами из тайной канцелярии преподобного Чжан Во и ведущих к подрыву устоев государства, император повелел безжалостно покарать виновных. Все высшие иерархи тайной канцелярии в один день были казнены, а головы злодеев-монахов выставлены для обозрения простолюдинами на площади...

«Вот это новость! А ведь в их число вполне могли попасть и Змееныш с преподобным Банем!»

— ...Но Сын Неба, в несказанной мудрости своей, сурово карает лишь изменников и врагов Поднебесной. Тех же, кто верно служит Чжунго, государь не обходит высочайшей милостью и достойно награждает за заслуги и стойкость в исполнении долга.

Ван Инь выдержал небольшую паузу.

— Я счастлив сообщить вам, что ваш доклад о расследовании происшествия в городе Нинго был особо отмечен государем...

«Значит, Змееныш жив!»

— ...А когда до государя дошли известия о случившихся здесь прискорбных событиях и вашем беспримерном мужестве, то мне было поручено...

Инспектор снова выдержал паузу, на этот раз куда более торжественную.

— ...Поручено уведомить вас, что императорским указом вам пожалован второй ранг, а также почетный титул Вельможи Несокрушимого Спокойствия и личный памятный знак государя!

— Я... нижайше благодарю... — У судьи перехватило дыхание, и Ван Инь жестом остановил его.

— Не сейчас. Вы сможете выразить свои чувства на церемонии официального вручения регалий, которая состоится через неделю. Кстати, спешу сообщить, что ваш мужественный сослуживец, разделивший с вами тяготы заключения и пыток сюцай Сингэ Третий, также не обойден высочайшим вниманием...

При этих словах судье лишь ценой огромного усилия удалось сохранить вежливо-почтительное выражение лица.

— ...Ему заочно присвоена степень цзюйжэня, он повышен в ранге и пожалован титулом Мужа Достойного и Славного.

(Забегая вперед, следует отметить, что бывший сюцай, а с того времени — цзюйжэнь Сингэ Третий до. глубокой старости продолжал честно служить в судейском приказе судьи Бао и в оставшиеся годы прославился молчаливостью и крайним недоверием ко всякого рода сомнительным историям, за что был искренне уважаем своим начальником, который нередко ставил Сингэ Третьего в пример другим.)

— ...Однако, я думаю, вам не терпится взглянуть на памятный знак, которым вас жалует Сын Неба? — вывел судью из состояния задумчивости голос инспектора.

— Да-да, конечно, — поспешил согласиться выездной следователь. — Если мне будет позволено до официальной церемонии...

— Будет, — улыбнулся Ван Инь, извлекая из рукава украшенную бериллами самшитовую шкатулку и откидывая

крышку.

На дне шкатулки, до половины погрузившись в алый бархат, покоился некий плоский белый предмет.

Судья принял из рук инспектора императорский дар, взглянул на него — и едва не выронил реликвию.

Он держал небольшой диск из белой полированной яшмы, на который были нанесены всего два иероглифа.

«Цзин» и «жань».

«Чистое» и «грязное».

6

Мутный поток противоречивых образов, напоминающих былые видения, захлестнул сознание выездного следователя. Подыхающий пес, последним усилием выводящий в пыли два старых иероглифа; деревянный диск безумного повара Фэна, испещренный теми же знаками; и вот теперь — дар Сына Неба!

Совпадение?!

Но судья давно уже не верил в подобные совпадения.

Тогда откуда император узнал о загадочных знаках? И как сумел прийти к столь далеко идущим выводам, что решил немедленно казнить высших чиновников-монахов тайной канцелярии?

Может быть... тигр и дракон?! Противоборство двух клейменых рук в Преисподней; безумный Фэн и новый Сын Неба; возможно ли?!

— ...Что это означает, господин инспектор? — выдавил наконец судья.

— Дар государя и, по-видимому, новый символ императорской власти, — развел руками Ван Инь. — Во всяком случае, божественный Хун Ци почти никогда не расстается с точно таким же диском, только большего размера, и в минуты раздумий выводит на нем иероглифы. Совершенно верно, именно «цзин» и «жань», во всевозможных сочетаниях.

Тигр и дракон.

«Чистое» и «грязное».

Инь и ян.

Монах и император.

— Я вижу, вы задумались. Действительно, в этой истории немало странного, но стоит ли удивляться, зная, что сейчас творится в Поднебесной? К примеру, история вашего спасения из

ванской тюрьмы тоже представляется мне весьма загадочной. Все признают, что вас спас мальчик с удивительным прозвищем Маленький Архат...

«Маленький Архат, Маленький Архат...» — прозвище казалось знакомым, но после долгого беспамятства голова соображала плохо, и выездной следователь никак не мог вспомнить, где и от кого он это слышал.

— ...Я говорил с ним. Мальчик утверждает, что спас вас в одиночку, при помощи точильного камня и разбитой шкатулки, однако подробнее объяснить отказывается. С другой стороны, многие свидетели заявляют, будто мальчику помогала чуть ли не сотня вооруженных якшей...

Точильный камень и шкатулка! Бао начал кое-что понимать, однако не спешил делиться своими соображениями со столичным инспектором.

— Кстати, как я узнал, именно этот мальчик и передал доблестному генералу Чи Шу-чжао (также не забытому государем) свиток с подробными, хотя местами и не вполне понятными, признаниями Чжоу-вана. Я приказал проверить печать и подпись принца — они оказались подлинными! Насколько мне известно, сей отрок проживает в вашем доме и ждет возможности поговорить с вами. Так вот, если вам удастся выяснить у него некоторые обстоятельства, о которых я упомянул, я бы очень просил вас, уважаемый Бао, сообщить их мне. Возможно, ими заинтересуются и в Столице, включая... В общем, вы меня понимаете.

— Разумеется, господин инспектор! Как только мне станет известно что-либо касающееся этого дела, я немедленно...

— Вот и отлично. Я вижу, мы поняли друг друга. Что ж, не буду вас больше утомлять. Выздоравливайте, набирайтесь сил — и через неделю жду вас на церемонии награждения, которая состоится в бывшем дворце принца Чжоу.

И инспектор поспешил откланяться.

Некоторое время судья просто отдыхал, откинувшись на изголовье и пытаясь привести в порядок разбегавшиеся мысли.

Потом он заснул и, засыпая, успел подумать еще об одном удивительном факте: одиннадцать дней он провел в забытьи — однако все эти дни он не был в Преисподней!

Почему?

С этой мыслью он заснул.

***

Первым, кого судья увидел, проснувшись, был мальчик.

Мальчик был одет в кафтан Старшего Вэня, довольно удачно перешитый специально для него и подпоясанный черным с серебром кушаком, а также в темно-зеленые шаровары.

Грызя здоровенное яблоко, ребенок с интересом наблюдал за судьей Бао.

— Добрый вечер, — заявил он, увидев, что. больной открыл глаза.

— Добрый вечер... Маленький Архат. Похоже, именно тебе я обязан жизнью?

— В некоторой степени. А также точильному камню и своему коллеге Ли Иньбу.

— Я так и думал! — удовлетворенно заметил следователь, усаживаясь на кровати. — Что ж, искренне благодарен! Мой дом — в твоем полном распоряжении...

— ...Уже около двух недель, — закончил Маленький Архат. — Благодарности оставьте на потом. По-моему, нам есть о чем поговорить.

— И по-моему, тоже, — согласно кивнул судья Бао. — Позволь задать тебе несколько вопросов, мой юный спаситель.

— Позволяю. Грех не уступить просьбе больного. У судьи возникло ощущение, что мальчишка над ним издевается.

— Тогда ответь: как к тебе попали точило и свиток?

— Свиток нашел в разбитой шкатулке под окнами вашего дома. А точилом в меня запустил один из мародеров.

— Второй вопрос: что за бумагу ты вручил генералу — которую он потом передал господину инспектору?

— А-а, это! — ухмыльнулся мальчишка. — Все в той же шкатулке я нашел чистый свиток с личной печатью и подписью принца Чжоу. Я так понимаю, что принц выдал вам эту бумагу совсем для другого, ну а я решил использовать ее по-своему! И вписал туда все, что успел услышать о Чжоу-ване, да еще и от себя кое-что добавил! Неплохо получилось, а? Пусть теперь попробует отвертеться!

Мальчишка вдруг засмеялся, словно вспомнив что-то забавное.

— Я когда отдавал бумагу генералу, случайно свитки перепутал, — пояснил он в ответ на недоуменный взгляд выездного следователя. — Так Стального Хребта чуть удар не хватил, когда он подпись Князя Преисподней увидел!

Однако у Бао создалось впечатление, что мальчишка «перепутал» свитки отнюдь не случайно, а желая полюбоваться результатом.

И полюбовался.

Маленький Архат тем временем извлек из рукава бумагу, заверенную подписью Яньло, и положил ее на столик перед судьей.

— Понятно, — кивнул судья. — Ну и третий вопрос: там, в шкатулке, было не два свитка, а три. Один — чистое «разрешение» с печатью и подписью Чжоу-вана, второй — грамота Владыки Преисподней; и третий — составленный тайнописью или на никому не известном языке. Где он?

— У законного владельца, — нахально сообщил мальчик. — Этот подлец-птицелов стащил его из моего тайника в скалах, так что я всего-навсего вернул себе свою собственность.

— Значит, его написал ты. — Это был не вопрос, а утверждение. — И что же в нем?

— Вы не поймете, судья, — очень серьезно и тихо произнес Маленький Архат. — Прошу вас, не обижайтесь. Я был бы рад все объяснить вам, но в языке Чжунго еще просто нет таких слов. И не будет в ближайшие пятьсот лет... Итак, это все, что вы хотели узнать?

— Да, все или почти все. Ты — Маленький Архат, бежавший из обители у горы Сун. Тебя послал ко мне Змееныш Цай. И ты далеко не мальчик.

Маленький Архат долго и с нескрываемым интересом смотрел на судью Бао, но теперь к этому интересу вместо насмешливой иронии была примешана немалая толика уважения.

— Я недооценил вас, судья. Возможно, я не прав, и вы сумеете понять изрядную часть того, для чего здесь еще не придумали слов. Но об этом — после. А сейчас слушайте то, ради чего я бежал из Шаолиня.

Рассказ мальчишки был недолгим, и выездной следователь оценил умение собеседника выделять только существенные факты и связи между ними, опуская ненужные подробности и отметая любые личные эмоции.

«Такого бы — да к нам, в судейский приказ», — мелькнула мысль.

Когда Маленький Архат закончил, оба некоторое время молчали. Потом мальчишка стряхнул с себя задумчивость и потянулся за очередным яблоком, рукавом зацепив при этом свиток, который не замедлил свалиться со стола.

Неожиданно свиток сам собой развернулся и замерцал голубоватым светом.

— Это еще что?! — Мальчишка на всякий случай отодвинулся подальше, однако ничего страшного не случилось. Свиток померцал-померцал и погас, снова свернувшись в трубку.

Маленький Архат опасливо потрогал свиток ногой, затем, убедившись, что тот никак не реагирует, поднял его и развернул, присев на край кровати. А судья Бао поспешил заглянуть в бумагу через плечо мальчишки.

Подпись и личная печать Владыки Янь-вана были на месте, однако текст свитка полностью изменился.

Это было официальное приглашение. Судья Бао Лунтан, отшельник Лань Даосин и юный монах по прозвищу Маленький Архат приглашались на День Рождения Владыки Преисподней князя Янь-вана! По этому поводу в аду объявлялся всеобщий праздник с суточной амнистией для грешников; а состояться все это торжество должно было в ближайшую ночь, то есть через несколько часов.

— Здорово! — искренне восхитился Маленький Архат. — В ад, да еще и на именины к Владыке! Как на Яньванские именины испекли мы... только как мы туда попадем?

— Очень просто. Спать ляжем. — И судье Бао доставило истинное удовольствие то растерянное выражение, которое возникло на физиономии Маленького Архата после этих слов.

7

Судья крепко держал Маленького Архата за руку, иначе мальчишка наверняка затерялся бы в этом поистине адском столпотворении — ищи его потом с помощью Недремлющего Ока! А Маленький Архат только и делал, что вертел головой во все стороны в тщетных попытках успеть разглядеть все сразу и время от времени восторженно цокал языком.

И то сказать — поглядеть было на что!

Они оказались сразу в присутственной зале дворца Сэньло, которую выездной следователь помнил пустой и гулкой, погруженной в зловещий сумрак. Сейчас же повсюду — на стенах, на потолке и прямо в воздухе — сияли разноцветные огни, играя бликами на полированном дереве стенных панелей, и эта иллюминация никак не соответствовала представлениям судьи и мальчишки о торжестве в Преисподней.

Зато публика подобралась соответствующая: буланы канцелярий, бесовки-письмоводительницы, черти на побегушках, мохнатые лоча и белесые якши, духи всех видов и рангов — по случаю праздника вырядившись кто во что горазд, они щеголяли друг перед другом пышностью одеяний, раззолоченными и

посеребренными рогами-когтями, искусно заплетенными в косички гривами (у кого было, что заплетать); по полу шуршали чешуйчатые хвосты с гравировкой на каждой чешуйке, а обладатели хвостов попушистее, особенно дамы, грациозно подметали ими паркет; сверкали острозубые улыбки, демоны церемонно раскланивались, встречая знакомых, спеша обменяться любезностями и новостями...

На возвышении восседал вполне человеческого вида сказитель, до самых хитро прищуренных глазок заросший седеющей бородой. Корявые пальцы перебирали струны цина — Маленький Архат сразу оценил мастерство бородатого, — а рядом стояла изрядных размеров чаша с жасминной настойкой (край чаши почему-то был обгрызен), к которой певец прикладывался в перерывах между песнями.

— Я пил из Чаши Бытия... — донеслось до судьи и мальчишки.

Они протолкались поближе.

— Кто это? — поинтересовался судья Бао у случайно оказавшегося рядом тигроглавого булана, предварительно приветствовав коллегу.

— Как, разве вы не знаете, коллега? Это известный поэт эпохи Сун, отшельник Жэнь Лю-кин. Ему уже пора уходить на новое перерождение, но по личной просьбе Владыки он согласился ненадолго задержаться, дабы порадовать гостей своим искусством. Вам нравится?

— О, да! — одновременно ответили судья и Маленький Архат.

Наверное, они бы еще долго слушали то безудержно веселые, то щемяще-грустные песни отшельника Жэня, но тут рядом объявился Владыка Восточного Пика.

— А, вот вы где! Князь Янь-ван уже заждался, идемте скорее. — И потащил обоих через толпу гостей в дальний конец залы, где девять ступеней вели к высокому креслу, вырезанному из цельной глыбы розовой яшмы. На нем и восседал величественный, как никогда, Владыка Преисподней.

Приветствия, поздравления, поклоны — это длилось достаточно долго и утомило всех, включая и самого Янь-вана, но воистину: «Храбрость без ритуала — дерзость, а мудрость без ритуала — самонадеянность!»

Маленький Архат вел себя вполне достойно и на радость судье не учинял никаких выходок; понимал — не время и не место.

Затем судья Бао преподнес Владыке свою печать, с которой при, мягко говоря, необычных обстоятельствах и началось их

знакомство (в связи с новым титулом и рангом судье должны были выдать другую печать, кроме того, подарок-то делался во сне, что ни говори!).

— Сколько же исполнилось лет справедливому Владыке? — осмелился поинтересоваться выездной следователь.

— Янь-вану столько лет, на сколько он выглядит, — хитро усмехнулся Князь Преисподней.

Как выяснилось, у Маленького Архата тоже нашелся подарок для Янь-вана.

— Прошу принять от ничтожного скромный дар, — мальчик протянул Владыке небольшой футляр из резной слоновой кости. («И где он достал его?» — успел подумать выездной следователь.) — Здесь — послание из будущего. Попытайтесь прочесть его веков через пять-шесть — и вспомните сегодняшний день.

«Свиток, украденный птицеловом!» — догадался Бао.

Янь-ван с плохо скрываемым недоумением повертел в руках футляр, вежливо поблагодарил, затем снова перевел взгляд на судью Бао и, как показалось выездному следователю, немного смутился.

— Я виноват перед вами, досточтимый Бао, — неожиданно заявил Владыка.

— В чем? — изумился следователь.

— Понимаете, не так давно мы с моим другом, Владыкой Восточного Пика (стоявший рядом даосский Владыка согласно кивнул), бились об заклад. Умолчу, какова была ставка, но зато суть заклада... Я утверждал, что вы, досточтимый Бао, непременно попросите у меня помощи в мире живых — и когда оная помощь будет вам предоставлена, попадете после смерти в мое полное распоряжение, согласно законам Преисподней; мой же друг уверял, что помощи вы просить не станете ни при каких обстоятельствах, — и, как видите, оказался прав! Хотя мои подчиненные и принимали участие в вашей судьбе, вы сами здесь абсолютно ни при чем. Так что поздравляю вас с благополучным окончанием всех мытарств и желаю долгой и счастливой жизни! Поверьте: пожелания Князя Темного Приказа имеют обыкновение сбываться! А там уж вы сами вольны будете выбирать, где остаться после смерти. Но сразу хочу заметить, место чиновника второго ранга для вас свободно всегда! На ближайшее же время я решил предоставить вам возможность отдохнуть от работы в аду.

«А, так вот почему в последние дни я спал как убитый и никуда не переносился», — понял следователь.

— Благодарю сиятельного Янь-вана и вас, Владыка Восточного Пика, за столь высокую оценку презренного крючкотвора. — Судья склонил голову. — В оставшиеся мне годы

жизни я подумаю над вашим предложением. Кстати, позвольте спросить: здесь ли мой друг Лань Даосин?

— Я его не видел, — развел руками Яньло. — Впрочем, он предупреждал, что может задержаться. Я бы попросил вас об одном одолжении, досточтимый Бао: не могли бы вы заглянуть в свой кабинет и с помощью Недремлющего Ока разыскать вашего друга?

— Разумеется!

— А я вынужден временно покинуть вас: в зале объявилась блистательная бодисатва Гуань-инь, и я спешу приветствовать ее — нечасто здесь появляются такие гости!

Владыка Восточного Пика также поспешил откланяться, присоединившись к Яньло (у судьи сложилось впечатление, что даосский Владыка неравнодушен к блистательной бодисатве) — и выездной следователь обернулся к своему юному спутнику.

— Ну что, хочешь посмотреть мой здешний кабинет?

— Конечно! — Сейчас Маленький Архат, как никогда, напоминал обычного мальчишку, впервые попавшего в балаган, где выступают чародеи и акробаты.

И судья решил показать мальчишке побольше — когда-то еще он попадет в ад?! А если и попадет, то, возможно, при совершенно других, куда менее приятных обстоятельствах.

Однако выяснилось, что и самому выездному следователю есть на что посмотреть. Ад полностью преобразился: повсюду горели огни, принарядившиеся грешники славили амнистию и именины Владыки, распивая горячительные напитки со своими вчерашними и завтрашними палачами; многие уже вовсю заигрывали с наиболее соблазнительными грешницами — в общем, ад праздничный ничуть не напоминал ад повседневный, знакомый судье Бао.

— Если здесь все время так, я бы не отказался попасть сюда после смерти, — ухмыльнулся Маленький Архат.

— Янь-ваны рождаются не каждый день, — вздохнул Бао. — В остальные дни здесь мучают и мучаются.

— Я, в общем-то, догадался, — кивнул мальчик.

Знакомое судье кроваво-смоляное озеро сегодня было наполнено пенящимся пивом, а посреди него пускала пузыри давешняя голова-советчица, вдрызг пьяная.

Наконец они добрались до пустовавшей в праздник Первой канцелярии и вошли в кабинет судьи.

— Класс!.. — тихо пробормотал мальчишка незнакомое судье слово, но выездной следователь не обратил на него внимания.

Он гордо уселся в рабочее кресло, кивнув Маленькому Архату на стоявший рядом стул, и привычно прошелся мухобойкой по

квадратам Адского Ока.

Для начала судья бегло просмотрел все канцелярии, но у повара Фэна, видимо, сегодня тоже был выходной — во всяком случае, ничего подозрительного выездной следователь не обнаружил. Тогда он потянулся к свободному квадрату и пальцем вывел в нем имя Лань Даосина.

Недремлющее Око замигало, вихрем замелькали всевозможные картинки — и наконец засветилась надпись: «На территории Фэньду отшельник Лань Даосин не обнаружен».

— Ищи в мире живых! — громко приказал судья, досадуя на собственную недогадливость.

Снова — беспорядочное мелькание изображений, вскоре завершившееся рядами иероглифов: «В мире живых отшельник Лань Даосин не обнаружен».

Бао растерянно смотрел на Око.

Где же в таком случае находится святой Лань?

— А что у нас еще есть, кроме ада и мира живых? — неожиданно вмешался Маленький Архат. — Рай? Небо Тридцати Трех Будд? Нирвана?

— Да, наверное... — пробормотал судья. — Только сомневаюсь, чтобы Лань находился там. Хотя... я слышал еще о каком-то Третьем мире.

— А ну-ка, дайте я! — И не успел выездной следователь опомниться, как Маленький Архат бесцеремонно согнал его с кресла, уселся за стол и быстро начертал что-то в пустом квадрате.

В следующий момент на все Око возникла нарисованная физиономия Янь-вана, осведомившись:

— Сообщите ваше имя, ранг и степень допуска.

— Ух ты! — радостно возопил мальчишка. — Защитка! Сейчас мы ее сделаем! — И раньше, чем судья успел использовать служебную табличку, с невероятной скоростью захлопал мухобойкой по всем десяти квадратам, одновременно чертя свободной рукой какие-то иероглифы в одиннадцатом.

— Погоди!.. Табличка...

— Не мешай! — досадливо дернул ухом Маленький Архат. — Сиди и молчи!

Руки мальчишки так и летали, все сектора Адского Ока уже светились ярко-голубым пламенем, не поспевая выполнять приказы, некоторые из ответов Маленький Архат тут же воспроизводил в свободном квадрате, и лицо мальчишки при этом напоминало морду кота, по самые усы обожравшегося краденой сметаной.

Судье Бао оставалось только смотреть и пускать слюнки от

зависти.

— ...Сообщите ваше имя... сообщите!.. имя, ранг и... Нижайше прошу прощения, Владыка! Ваш высочайший ранг и допуск подтверждены. Начинаем поиск в Третьем мире.

Нарисованный Яньло исчез, трепеща усами, и в Недремлющем Оке вновь началось мельтешение.

Мальчишка откинулся на спинку кресла и победно улыбнулся.

— Как... как ты смог? — судья Бао с трудом подбирал слова.

— А, ерунда! — махнул рукой Маленький Архат, явно немного рисуясь. — Тут пароли китайские, я их быстро расколол. Да, извини, что я так... бесцеремонно — но твоего допуска все равно бы не хватило. Я проверил.

Судья понял далеко не все, хотел было попросить разъяснений, — но тут на весь глаз вспыхнуло изображение, заставившее обоих мгновенно умолкнуть и прикипеть взглядом к открывшейся картине.

На заднем плане, за дымкой желтой пыли поверх холмов, угадывались размытые контуры островерхих пагод Поднебесной, а ближе, как бы заслоняя их собой, стоял воздевший над головой руки Лань Даосин. По искаженному нечеловеческим напряжением лицу даоса градом катился пот, а губы дергались, словно в припадке падучей, произнося неслышные слова.

Потом нахлынули звуки: топот, конское ржание, хриплые крики, лязг оружия, нечленораздельный рев... Изображение сместилось, стали видны ряды бумажных воинов, вооруженных мечами «цзяньгоу», насмерть рубившиеся с четверкой жутких всадников: один — бледный, с обтянутым пергаментной кожей ликом, больше похожим на скалящийся череп, на таком же мертвенно-бледном коне и с боевой косой в руках; другой — на гнедом жеребце, разивший длинным мечом направо и налево, и противостоящие ему воины падали, рассыпаясь бумажными обрезками; третий — на белоснежной кобыле, в сияющем венце, вооруженный луком; четвертого, на вороном скакуне, судья не успел как следует рассмотреть, потому что в этот момент послышался громоподобный рев, изображение испуганно дернулось, и выездной следователь увидел дракона.

Нет, такого дракона судья Бао еще не встречал, хотя в аду успел насмотреться всякого. Багрово-красный, семиглавый, рогатый, извергающий дым из всех семи пастей, похожих на львиные, с медвежьими мохнатыми лапами и длинным хвостом скорпиона — подобное чудище судья не мог себе представить даже в самом страшном кошмаре!

Дракон спешил на помощь всадникам, подминая стонущую

землю.

А на спине чудовища... прямо в ложбине, поросшей жестким волосом, восседала соблазнительная девица явно легкого поведения, наряженная в багряницу (под цвет дракона, что ли?!) и с ног до головы увешанная украшениями и жемчугом!

В руке девица держала золотую чашу, время от времени игриво отхлебывая из нее; и красные капли стекали по точеному подбородку с ямочкой.

Вино?

Кровь?

Дракон бежал весьма резво, сотрясая холмы топотом, и судья еще подумал: «Как эта певичка с него не падает?!» Однако девица каким-то чудом держалась, а за спиной дракона уже шевелилась земля, из разверстых могил вставали полуразложившиеся трупы с горящими глазницами и шли следом — медленно и неотвратимо...

— Армагеддон! — прошептал рядом Маленький Архат, но Бао было сейчас не до него.

Потому что перед надвигающимся драконом внезапно возник... осел!

До боли знакомый осел, в свое время доставивший святого Ланя к вратам ада Фэньду!

Только теперь ослик не казался кротким и покорным: куда там, это был огромный разъяренный ослище, размерами почти не уступавший чудовищу из неведомых краев!

На мгновение Око затуманилось, и судье показалось, что вместо осла он видит перед собой статного небожителя в лазоревых одеждах, сжимающего в руках длинный стяг с изображением... все того же осла!

А потом туман исчез, осел недобро оскалился, высоко подпрыгнул — и с оглушительным ревом: «И-и-а-а-а!» — засадил дракону всеми четырьмя копытами сразу по четырем ближайшим головам!

Дракон отшатнулся, из пострадавших голов брызнула темная мокрота, слипаясь комками; девица таки не удержалась и с визгом слетела со спины зверя, облив все вокруг содержимым чаши... Осел снова заревел, задрав хвост, но дракон не стал дожидаться повторения атаки: с обиженным ворчанием он проворно развернулся и бросился наутек, едва не растоптав устремившуюся следом девицу и сметая по дороге восставших из могил мертвецов, нерешительно сгрудившихся позади.

Всадники, надо отдать им должное, отступали организованно, отбиваясь от воспрянувших духом и яростно наседавших на них воинов Лань Даосина, но исход битвы был уже

ясен.

Железная Шапка обернулся и устало вытер пот со лба.

Судья вгляделся — и увидел в глазах даоса... собственное крохотное отражение.

— Здравствуй, друг мой Бао. — Лань нашел в себе силы улыбнуться. — Ну что: скорее мы их, чем они нас?! Пока, во всяком случае... Передай Владыке, что я скоро буду, и да простит он мне мое опоздание — сам видишь, раньше я прийти никак не мог!

— Вижу, — кивнул судья.

Изображение подернулось рябью и исчезло.

— Надеюсь, он действительно скоро будет, — пробормотал Маленький Архат. — Мне бы очень хотелось...

Судья Бао не ответил — потому что на стол перед ними упала огромная крылатая тень.

***

— Ну что, вы отыскали почтенного Ланя?

— Разумеется, Владыка. Он передавал вам свои глубочайшие извинения и сказал, что вот-вот будет.

— Благодарю вас, досточтимый Бао. Однако, судя по выражению вашего лица, случилось еще что-то?

— Вы, как всегда, правы, Владыка. В мой кабинет приходили двое... похожи на демонов: крылья, рога, копыта... но, по-моему, не местные. Один представился Лю Ци Фэном, а другой — кажется, Сатанандой. Из Индии, что ли? Так вот, эти пришельцы имели дерзость заявить, что являются Владыками Преисподней!

— Очень интересно! — поднял брови Яньло. — И что же вы им ответили?

— Разумеется, я сообщил, что они заблуждаются и Владыка Преисподней — сиятельный князь Янь-ван, у которого как раз сегодня День Рождения! Но они упорствовали, утверждая, что Преисподней владеют именно они, поскольку являются воплощениями Абсолютного Зла!

— Абсолютное Зло? — еще более удивился Яньло. — А разве такое бывает?

— Вот высокоуважаемый судья Бао и объяснил им, что нет! — не выдержал Маленький Архат. — Он долго убеждал незваных гостей, что как внутри женского начала инь всегда присутствует зародыш мужского ян, и наоборот, так и Зло с Добром просто не

могут быть Абсолютными! И в конце посоветовал этим двоим поискать в себе ростки добра; они, мол, ростки эти, непременно отыщутся!

Мальчишке почему-то было весело, но ни судья, ни Яньло никак не могли понять — почему?

— В общем, эти господа почесали в затылках и ушли, пообещав поискать в себе что-нибудь доброе! Но заявили: дескать, если не найдем — вернемся! — закончил Маленький Архат.

— Ну и пусть их! — махнул рукой Янь-ван. — Шляются невесть кто! Скоро Преисподняя превратится в проходной двор!

Однако развить эту мысль Владыка не успел: в воздухе послышался свист, гости поспешно расступились, и перед розовым креслом опустился здоровенный расписной чайник. Крышка чайника поднялась вверх, вырвался легкий парок, и наружу выбрался усталый даос в запыленной одежде.

— Волшебный чайник Даосина! — хмыкнул мальчишка.

Железная Шапка поспешно поклонился, рассыпавшись в извинениях по поводу своего опоздания; попутно он щелкнул пальцами, что привело к мгновенному уменьшению чайника до нормального размера.

После чего даос с еще более низким поклоном вручил чайник Владыке Янь-вану.

Князь Преисподней остался весьма доволен подарком и долго благодарил святого Ланя, а Маленький Архат пробормотал себе под нос:

— Похоже, чайники нынче в цене!..

Почти сразу возникли уже изрядно подвыпивший Ли Иньбу в обнимку с тайвэем Сян Хай-чжуном; оба уважительно поздоровались с мальчишкой и долго поздравляли судью с выздоровлением и окончанием бед, после чего двинулись дальше — искать других знакомых.

Вскоре всех пригласили к столу, и гости отдали должное изысканному и обильному угощению, а также вину; Маленький Архат, пристроившийся рядом с даосом, вина пить не стал, сославшись на нехорошего духа по имени «Бо-Дун», который будет мучить его, если он выпьет, и больше к нему не приставали.

Между мальчишкой и даосом вскоре завязался оживленный разговор, но судья к нему особо не прислушивался, и до него лишь изредка долетали отдельные реплики: «Серебро... осина?..», «Нет, против Зверя не поможет, но против зомбей... ну, которые из могил вылазят...», «Нет, этот знак рисуется не так!», «Да, понял! Святой Лань, а как вы...» — и в том же духе.

Когда даос куда-то отошел, судья не выдержал и

поинтересовался у своего юного спасителя:

— О чем это вы столь увлеченно беседовали со святым Ланем?

— Да так, — мальчишка явно не был склонен особо распространяться о содержании их беседы, — я поделился с ним некоторыми известными мне способами борьбы с той напастью, которую мы сегодня видели, а в ответ святой Лань любезно прочел мне краткий курс «Дао для чайников».

Видимо, это была шутка, но Бао ее не понял.

Вернулся даос.

— А не выпить ли нам, друзья?! — воззвал уже изрядно захмелевший Бао и наткнулся на отрезвляюще холодный взгляд льдистых глаз мальчишки.

— Нет, — заявил Маленький Архат. — Нам пора. Пора собирать всех. Времени почти не осталось.

— Змееныш? — понял мгновенно протрезвевший выездной следователь.

— Не только. Нам понадобится еще преподобный Бань.

И судья не стал спрашивать: «Для чего понадобится?» или: «Почему ты так решил?» Понял: раз это странное существо так говорит — значит, знает.

Поэтому он произнес совсем другие слова.

— Возможно, преподобный Бань уже мертв, — сказал он.

— Значит, он присоединится к нам мертвый, — жестко отрезал Маленький Архат.

Глава двенадцатая

1

Паланкин Государева Советника медленно продвигался...

***

Нет.

Мы начнем не так.

Ни к чему уподобляться бардам Туманного Альбиона, коих в первую голову интересовало действие: «и поскакал сэр Парцифаль, и устремил копье, и поразил...»

И певцы-чангиры знойной Азии нам не указ, ибо носителей тюрбанов и тюбетеек увлекало исключительно описание: «Губы ее подобны ширазскому рубину, ряд зубов — ряд жемчужин, ресницы острее дамасских клинков...»

Опять же иной путь у аэдов Пелопоннеса, наследников слепого Гомера, предпочитавших обстоятельства: «Дико взревел бурный Эвр, паруса напрягая, море покрылось барашками волн крутобоких, а небо...»

И уж наверняка не стоит прозревать будущее: «Я еще надеру тебе задницу!» — думал Государственный Советник, выруливая к проспекту Дацзыбао...»

Стыдно нам, истинным ханьцам, уподобляться варварам былого и грядущего, повторяя их напевы.

Итак?

***

Начнем с того, что первыми вообще шествовали повара и поварята, несшие короба с сухим рассыпным чаем и сластями. Всем этим они щедро одаривали собравшийся люд, и радости бэйцзинцев не было предела. Еще бы: получить щепотку чаю и пригоршню изюмных колобков в день назначения Сыном Неба Хун Ци своего нового советника! Съешь такое — и удача станет бегать за тобой по пятам, как ручная собачонка!

И можно спокойно шевелить челюстями, дожидаясь того заветного мига, когда вдали на мосту, отделяющем Запретный Город от центра Столицы, покажется конный вестовой с развевающимся стягом.

За гордым всадником, также верхами, ехали Золототыквенные телохранители — в железных шлемах и с иероглифами «Храбрец» на латах и налобниках. Под доспех герои надевали зеленые стеганые кофты из полушелка, а под пояс — набрюшники кирпично-розового цвета. Набедренники их делались из кожи оленя-двухлетки, на ногах красовались сапоги с четырьмя швами; и казалось — едет свора тигров верхом на свирепых драконах.

А уже вслед за Золототыквенными скакали обычные дворцовые стражники, вокруг которых по обеим сторонам дороги двигались блюстители порядка — все как на подбор, здоровенные бородачи.

Когда приветственные крики достигли апогея, на мосту

возникли отгонялы — детины хоть куда, в трубообразных шапках, видных издалека, и с бамбуковыми палками в руках. Толпа попятилась, расступилась, не дожидаясь привета подруги-палки, а бравые отгонялы ускорили шаг, приподняв одну полу халата.

Наконец появился паланкин новоявленного Государева Советника — открытый, устланный жалованной тигровой шкурой, несомый восьмеркой носильщиков, а еще восемь рысцой трусили рядом, дожидаясь своей очереди.

Ну а потом уже двинулись письмоводители и секретари, писцы и канцеляристы, щеголи и распутники, кичащиеся кто дорогим седлом, кто — уздечкой, подаренной щедрым покровителем, а кто — потупив взор и втайне рассчитывая на будущие милости.

Воистину славен тот, кого отличает государь, и символы успеха — синий дракон с пестрой сорокой — склоняют головы к его ногам!

Выезд этот был во многом подобен возвращению Чжоу-вана в наново дарованный Нинго, случившемуся не так давно; только вот появление незнакомца в свите сановника не сопровождалось столь разрушительными последствиями, как вторжение озверевшей Восьмой Тетушки.

Потом отгонялы утверждали, будто дерзкий мелькнул среди них, — но бросил пару слов, прикрикнул на оплошавшего горожанина, чуть не попавшего под копыта, мимоходом поправил кому-то сбившееся набок оплечье... и все, не сговариваясь, решили: этот парень из своих, новонанятых!

Стражники же в один вой голосили, что вообще никого не видели, не замечали; а носильщики и вовсе поначалу приняли как должное — идет себе и идет, вроде так и надо!

Только оно было совсем не надо: чтобы рядом с паланкином Государева Советника шел никому не ведомый человек лет сорока пяти, с абсолютно незапоминающимся лицом.

Как ни странно, сам Государев Советник и был первым, кто всерьез обратил внимание на незваного гостя.

Крохотной лапкой тронул край занавески, блеснул глазом-бусиной из тени...

До назначения на столь высокий пост Государев Советник служил почетным наставником в Училище Сынов Отечества. Многие знатные студенты, впервые видя его, презрительно хмыкали и не подозревали, что жестоко ошиблись — но не все же сведущи в чтении скрытых признаков! Воробей себе и воробей! Маленький, лысенький, вечно встрепанный и рассеянный, с тоненькими ручками-ножками, клювастый и влажноглазый. Уже гораздо позднее выясняли непочтительные студенты, что именно

этот воробей и был автором знаменитого трактата «О пяти видах наказаний», где доказывал, что все наши беды проистекают из глубокой древности. Дескать, гуманисты эпохи Тан легкомысленно отказались от прежнего канона — клеймение лба, отрезание носа, кастрация, отрубание ног и смертная казнь, — заменив его на опасные нововведения. Ну скажите, можно ли устрашить преступников и вразумить злоумышленников таким набором, как битье легким бамбуком, битье тяжелым бамбуком, ссылка на определенное расстояние, ссылка на определенный срок и только потом уж — смертная казнь!

Неудивительно, что нравы падают и падают...

Видимо, незнакомец у паланкина был не чета студентам-оболтусам из родовитых семей — едва уловив блеск советникова глаза, он почтительно склонился, приложив руки ко лбу, и одними губами произнес:

— Отчаянный дерзец лишь выполняет приказ: передать высокому сановнику весточку от далекого друга! Уста не карают за произнесенное — виноват сказавший!

— Зато иногда отрезают излишне длинный язык, — как бы невзначай чирикнул воробей. — Ты, я вижу, не боишься смерти?

И шевельнул пальчиком опомнившейся страже — не трогать! Раньше суетиться надо было.

— Осмелюсь спросить: как вы догадались?

— По твоему голосу, чужой гонец, — он совсем не изменился.

— Но ведь и вы, о опора Чжунго, по моему ничтожному разумению, не дорожите вашей драгоценной жизнью!

Во взгляде сановника промелькнуло что-то, отдаленно напоминающее интерес.

— И как же ты определил это, удалец?

— По вашему лицу, господин: оно не изменилось.

Более прозрачного намека и быть не могло: «Окажись я наемным убийцей, досточтимый сановник, и вам бы оставалось гордиться новым титулом лишь посмертно».

Носильщики успели сделать не меньше тридцати шагов, прежде чем бескровные губы учителя Сынов Отечества снова шевельнулись:

— Говори.

Но даже привычные ко всему носильщики вздрогнули и сбились с ритма, когда незнакомец вдруг заговорил звучным, хорошо поставленным баритоном, свойственным скорее человеку дородному, грузному и, судя по интонациям, облеченному властью:

— Я, подданный, безрассуден и глуп. Подавая трону доклад, я употребил в нем непочтительные выражения. Если определять

мне наказание, то и десяти тысяч смертей окажется мало. Надеюсь, государь с состраданием отнесется к глупости верного слуги и простит ему безрассудную прямоту... — Незнакомец замолчал и добавил уже прежним бесцветным голосом:

— Пославший меня сказал: если вынудят докладывать при людях, то этих слов будет достаточно.

— И мой друг Бао по прозвищу Драконова Печать, как обычно, оказался прав. — Улыбка Государева Советника казалась чужой на махоньком личике, совершенно не приспособленном для таких широких и искренних улыбок. — Узнаю стиль — уничижение паче гордыни... Впрочем, я полагаю, у тебя сыщутся и другие доказательства, кроме стиля и краденого щебета?

— Досточтимый господин, чье имя вы только что произнесли, повелел: если спросят, напомни о неких отроках, сбежавших с занятии по «Заново составленному описанию Пяти династий» и попавшихся в лапы сыщикам подле Зеленого терема, что на углу улиц Изначального Покровительства и Златоудельной.

Улыбка сановника стала еще шире.

Он даже сбил на затылок шапку — сбил лихим юношеским движением, сверкнув очами, порывисто приподнявшись на сиденье...

И снова замер — прямой, маленький, строгий.

— Уйди к писцам, — приказал Государев Советник. — Скажешь: я велел после трапезы привести тебя ко мне в кабинет. Там и зачитаешь доклад.

Змееныш Цай кивнул — и через мгновение у паланкина никого не было.

Запасные носильщики даже сделали из пальцев колечко — от нечистой силы.

— Слава! — кричали в толпе, нимало не заботясь явлением гонцов с тайными докладами. — Слава Государеву Советнику! Слава мудрецу, подсказавшему Сыну Неба истребить проклятых монахов! Долгие лета губителю тайной канцелярии!

Сановник в паланкине слушал эти крики и зябко кутался в шерстяную накидку, хотя на улице было более чем жарко.

2

Кабинет Государева Советника состоял из трех помещений; Змееныша сановник принял в первом, где находилась летняя кровать с мраморной основой и перилами из темного,

инкрустированного золотом бука. В углу располагался лаковый столик для игры на цитре; рядом — складной стул, украшенный перламутром. Вместо цитры на столике валялись визитные карточки и учетные книги, где регистрировались подарки, полученные в Праздник Средины Осени.

Книги же были навалены грудами в беспорядке.

Сановник расположился на махоньком табурете по ту сторону кровати, и Змеенышу были видны только четырехугольная шляпа, поблескивающие глазки и породистый клюв, время от времени трепещущий ноздрями.

Лазутчику еще подумалось, что все это очень удобно для допроса: окна позади Государева Советника были затенены зеленым флером, а сам Змееныш сидел как раз на освещенной половине, за музыкальным столиком.

— Я слушаю, — тоном, не терпящим возражений, бросил воробей из-за кровати.

Змееныш Цай прикрыл глаза, сосредоточился и чужим голосом принялся пересказывать доклад — тот самый, который ему прочел судья Бао в притоне Немого Братца.

Медленно.

Внятно.

Слово в слово.

***

В столице Цай находился уже вторую неделю.

Еще в первый день, еле заставив себя уйти от страшного частокола, лазутчик отправился возобновлять старые связи. В Бэйцзине он бывал в последний раз лет эдак пятнадцать тому назад — а значит, можно было воспользоваться тогдашним именем, под которым его в ту пору знали здесь. Никого из прежних знакомцев не должен был удивить нынешний вид Змееныша. Постарел? Ну и что?! Мало ли отчего выпадает в жизни человеку сомнительное счастье выглядеть хуже, чем следовало бы? А в тех местах, куда побрел за пристанищем лазутчик, не было принято подробно расспрашивать о превратностях судьбы.

И к вечеру Змееныш «плюхнулся в тину».

В свое время ему довелось самовольно встрять в щекотливое дельце с подставной партией опиума-сырца и умудриться решить его без крови, к обоюдному удовольствию схлестнувшихся сторон.

В результате умельцу-доброхоту было даровано почетное право тройного щелчка пальцами; всякий раз — наособицу. Первый раз — тайным знаком рыночного «бугра» Аня Захребетника, второй раз — личным щелчком Монашка У, главы «сидящих спокойно», третий же раз — с присвистом, как завещала Змеенышу Гиблая Доченька, негласная хозяйка всех столичных борделей, пережившая дюжину мужей.

После этого, когда в любой харчевне Бэйцзина против Змееныша обнажался нож, достаточно было воспользоваться почетным правом — и если забияка не исчезал сам после первого щелчка, то после третьего его тихо-мирно закапывали на заднем дворе.

Сейчас же лазутчик был уверен: он может лежать «в тине», даже не шевеля ухом, — в подобные схроны столичные сыщики не заглядывают, а привилегии отребья долговечнее милостей государя.

С рассеянной отрешенностью манипулируя иглами и мазями, Змееныш Цай знал: у него есть неделя, чтобы подарить самому себе восьмой день свободного и почти безболезненного передвижения. К концу этой недели он будет выглядеть дет на пятьдесят; после дня, во время которого надо будет успеть разобраться с порученным докладом, лазутчику может не хватить сил добраться до укрытия, но это и не важно.

Потому что до утра он скорее всего не доживет.

Змееныш Цай не боялся смерти; он и жизни-то не боялся.

Но судьба распорядилась иначе.

Ночью Змеенышу приснились мертвый детина-возчик с постоялого двора и Святая Сестрица. Покойник и лиса-оборотень злобно рычали и тянули к лазутчику когтистые лапы, но перед Цаем смерчем крутилась взбесившаяся мошкара, и неживая плоть обугливалась в мечущемся рое. Следующей ночью кошмар повторился, но с той разницей, что на руках возницы и оборотня появились знаки тигра и дракона. Клейменые руки разгребали тучи жалящего гнуса, сшибались, сталкивались и в конечном итоге передрались меж собой.

Третью ночь Змеенышу снился он сам. Посреди пустого двора, похожего на двор монастырской кухни в Шаолине, он стоял в очерченном круге, а мошкара замедляла свое движение и оседала к его ногам.

Цаю удалось поймать несколько мошек на ладонь и внимательно рассмотреть.

Это были меленькие иероглифы «цзин» и «жань».

«Чистое» и «грязное».

Со слюдяными крылышками.

Утром Змееныш проснулся бодрым, и эта невероятная, невозможная бодрость не покидала его до момента встречи с Государевым Советником — да и тогда не покинула.

Сейчас он выглядел, как много повидавший мужчина лет сорока с небольшим, изрядно седой, истощенный и замученный, но вполне годный для того, чтобы еще пожить всласть.

И Змееныш с испугом подумал, что это — жалованье.

Жалованье от неведомого нанимателя, властного над жизнью-смертью и пожелавшего приобрести для своих целей опытного лазутчика.

А жалованье, как подсказывал тот же опыт, нужно отрабатывать.

***

...Лазутчик замолчал, и в тот же момент прекратилось ровное шуршание кисточки по бумаге.

Доклад был переписан.

Оставалось только недоумевать, почему сановник разложил письменные принадлежности на кровати, а не на более подобающем для таких целей столе.

Тишина надолго воцарилась в кабинете.

Только мухи суматошно бились об оконный флер,

— Удивительно, — сказал Государев Советник и помахал лапкой в воздухе, — Воистину достойно удивления...

Змееныш скромно потупился. На самом деле он уже давным-давно стал равнодушен к похвалам, но люди, кому он передавал донесения, что называется, «из уст в чернильницу»... эти люди, невзирая на чин и положение, всегда восторгались памятью лазутчика.

На паркете обнаружился сучок, похожий на детскую ухмыляющуюся рожицу; Цай вспомнил сумасшедшую память Маленького Архата и вдруг понял — если Государев Советник сейчас похвалит лазутчика, то Змеенышу это будет неприятно.

Почему? В подробности лазутчик решил не вдаваться.

— Только сейчас я понял, почему толстый студент-стипендиат Бао, — неожиданно для Цая донеслось с той стороны кровати, — закончив с отличием Академию, не захотел остаться в Столице, взяв курс новых студентов. Ему сулили прекрасное будущее, звание академика-ханлиня, высокий чин в самом скором времени... «Нет, — сказал он мне, — я умею учиться, но не умею

учить. И потом — дело надо крепко держать в руках, а это...» И не договорил. Тогда я не понял его. Что ж, всему свое время... жаль лишь, что поздно!

Змееныш почувствовал: пора удаляться.

Сановник не походил на человека, способного на откровенность с посторонним. Если у Государева Советника сейчас развяжется язык — впоследствии он пожалеет об этом и перестанет любить Змееныша, присутствовавшего при минуте слабости. Тогда уйти из Столицы незамеченным будет гораздо сложнее.

— Я похож на человека, откровенного с незнакомцами? — спросил Государев Советник.

На лице Змееныша не отразилось ничего.

Ему непросто далось спокойствие.

Мысли он читает, этот опорный столб Чжунго, что ли?

— Слушай и не перебивай. — Воробей неожиданно оказался совсем рядом, мигом перепорхнув через кровать, и пристально заглянул в глаза лазутчику — головы стоящего сановника и сидящего Змееныша были практически на одном уровне.

— Слушай и не перебивай. Ты передал мне слова моего друга Бао, ты говорил его голосом — и заслуживаешь поощрения. Когда я закончу, я выполню любую твою просьбу, если это будет в моих силах. А сейчас запоминай мои слова и молчи. Когда судья Бао вновь увидит тебя... я надеюсь, что, услышав мой голос из чужих уст, он поймет меня, как понимал раньше.

Сановник помолчал.

— Поймет и не осудит, — добавил автор трактата «О пяти видах наказаний».

Рассказ Государева Советника, или Частичный ответ на вопрос «КАК УМИРАЮТ МОНАХИ»

Чернь есть чернь.

Сегодня она готова целовать пыль из-под твоих сандалий, завтра же будет с удовольствием глазеть на твою отрубленную голову; сегодня прославляет, через неделю — проклянет.

Воистину:

Хотел бы уйти я
В небесный дым,

Измученный
Человек.

Но такие, как я, не уходят из неубранного дома.

Ты, незнакомец с никаким лицом и чужим голосом, наверняка слышал, как бэйцзинцы пели мне хвалу. «Слава! — надрывались они. — Слава тому, кто подсказал государю истребить проклятых монахов!» Завтра наступит похмелье, они увидят, что головы монахов-кознодеев протухли на колах, а налоги остались прежними, «Безумие Будды» и не подумало отступить, небо выглядит небом, а грязь — грязью. Что они закричат тогда? Кому воздадут по заслугам?! Не тому ли, кто подскажет распилить бездарного советника бамбуковой пилой или сварить в кипящем масле?!

Знаешь ли ты, как я дал государю Хун Ци совет, приведший к уничтожению тайной канцелярии Чжан Во? В тот день я был в Академии Ханлинь с целью сверки результатов выпускных экзаменов у них и у нас. Когда я вернулся обратно, в Училище Сынов Отечества, меня поразила царящая во дворе суматоха. «Внезапный приезд императора! — объяснили мне. — Государь нагрянул, как гром с ясного неба, собрал всех почетных наставников, носящих титул «тайчан боши», и уединился с ними в присутственной зале. И вам было передано сразу по приезде отправляться туда».

— Я поспешил в присутственную залу, что называется, «между вдохом и выдохом».

Еще от дверей меня поразила тишина. Сын Неба стоял на возвышении, рядом с ним находились трое телохранителей из Крылатых Тигров, а почетные наставники, потупившись, кусали губы и дергали себя за бороды.

— Итак, я жду! — гневно вопросил государь, сдвинув брови. — Неужели я не получу нужного совета? Тишина царила в зале. Тут император обратил внимание на меня.

— Тогда ответь хоть ты! — крикнул он, ткнув в мою сторону пальцем. — Только не тяни и не мямли, как эти мудрецы! Ответствуй, явившийся невовремя: как должно поступить государю, только что поднявшемуся по красным ступеням* [Красные ступени вели к трону.]?!

— Государь должен поступать так, как подсказывает ему его собственный разум, — не найдя ничего лучшего, ответил я. — Ибо сказано древними: тело правителя — тело государства, душа правителя — дух народа, помыслы правителя — чаяния

подданных.

— Вот! — возопил радостно Сын Неба, а я поймал на себе несколько косых взглядов коллег. — Вот те слова, которые я хотел услышать; вот он, нужный совет! Я был не прав — ты явился вовремя, муж достойный и величественный, и именно ты, как никто другой, достоин титула Государева Советника!

Через минуту в зале никого не было — государь выбежал прочь, а следом, грохоча сапогами, пронеслись телохранители.

Позже мне объяснили: император Хун Ци, открывший Эпоху Обширного Благоденствия, спрашивал у наставников Училища Сынов Отечества:

«Стоит ли мне без промедления уничтожить тайную канцелярию наставника Чжана и поставить на место зарвавшуюся братию Шаолиньской обители?!»

Вскоре я был приближен к трону.

Мне вручили почетную дщицу из слоновой кости, цвет придворной знати склонился передо мной — а я видел бамбуковый частокол и бритые головы на нем.

Поверь мне — я отнюдь не щепетилен и не робок. Если по зрелом размышлении я пришел бы к необходимости уничтожения сановников-монахов, я сказал бы об этом кому угодно: государю, Будде, Князю Темного Приказа! Но знать, что цена твоему опрометчивому слову, вовремя подвернувшейся на язык цитате, сдобренной лестью, — несколько десятков отрубленных голов...

Выслушав из твоих уст доклад судьи Бао, я еще раз изумился проницательности моего друга и всеведению государя: теперь, пожалуй, я понимаю смысл поступка Сына Неба. Стремительная жестокость Хун Ци превратилась в обдуманные меры предотвращения. Если и впрямь есть сила, способная влиять на человеческие поступки нечеловеческими путями еще до того, как они свершились... сегодня я бы и сам приветствовал казнь Чжан Во и его людей. Но сегодня. И это ничуть не умаляет моей вины. Ни перед Поднебесной, ни перед казненными... перед самим собой.

Когда ты будешь рассказывать об этом моему другу Бао, передай: я не прошу о снисхождении, я даже не молю о понимании — я лишь хочу, чтобы меня не презирал единственный человек, которого я безоговорочно уважаю.

Потому что в течение недели я подготовлю дела для своего преемника и выпью яд на пороге присутственной залы Училища, на том самом месте, где мой язык стал палачом.

Толстый студент Бао много лет назад говаривал:

«Невелика месть, невелика заслуга — повеситься на воротах дома обидчика».

Может, и так — но я не вижу иного выхода.

Я просил тебя слушать и молчать! Слушать и молчать! Ты сейчас не человек! — Ты мой посмертный голос и крылья моих почтовых соколов. Уговаривая меня жить дальше, ты оскорбляешь все поколения моих предков! Поэтому сиди и запоминай.

Или ты полагаешь, что я не читал трактата великого Сунь-цзы, главу о пяти видах лазутчиков? Там ни слова не говорится о лазутчиках, дающих непрошеные советы...

Напоследок добавлю: закончив церемонию возведения в ранг, государь помолчал, повертел в руках диск из белой яшмы, исписанный иероглифами «цзин» и «жань»... Ты вздрогнул, мой участливый гость? Бэйцзинцы еще не успели рассказать тебе о причуде нового Сына Неба? О том, что он всегда носит с собой этот диск и время от времени пишет на нем иероглифы, всегда одни и те же?! — Он пишет их черной тушью, какой пишутся указы о призыве войск на помощь. Впрочем, я отвлекся, и не в диске дело — даже если ты полагаешь, что я не прав.

Так вот, государь повертел диск в руках и сказал внятно, с явной угрозой, не стесняясь присутствия множества людей:

— Шаолинь должен быть разрушен!

После чего... недостойно судить правителя, но мне показалось, что он смешался. Оглянулся по сторонам, будто государю показалось, что он уже когда-то произносил подобные слова — пусть не точно эти, пусть при других обстоятельствах или в других жизнях, но вкус их был знаком государю, вне сомнений, знаком!

— Шаолинь должен быть разрушен! — еще раз повторил Хун Ци и показал мне, что аудиенция и церемония возведения в ранг закончены.

Когда он удалялся, я смотрел ему в спину и думал: вот идет судьба.

Но тогда я не понимал, чья именно: только моя или всей империи.

Я и сейчас этого не понимаю.

3

...А мухи все бились о флер окна, все жужжали наперебой, трепеща крылышками.

Лето, раздолье для мух.

Змееныш смотрел в пол, на паркетину с рожицей Маленького

Архата, и думал: «Пожалуй, Будда прав. Наша жизнь действительно переполнена страданием. И есть выход. Только Будда предложил выход для всех или хотя бы для многих, а этот несчастный воробей — для одного себя. Я не осуждаю его. Нет. Не осуждаю». За дверью послышались шаги, и звонкий голос доложил:

— Гонец от императора к Государеву Советнику!

— Просите немедленно войти! — после некоторой паузы отозвался сановник. И повернулся к Змеенышу.

— Спрячься за той ширмой, — властно приказал он. — Нет, за павлиньей! Я хочу, чтобы ты знал как можно больше о последних днях моей жизни, когда встретишься с моим другом Бао. Но если послание Сына Неба окажется сугубо конфиденциальным...

«Ты на всякий случай прикажешь оскопить меня и отрезать мне ноги, — чуть не вырвалось у Змееныша. — А перед тем как выпить яд, пошлешь своих людей доставить меня в Нинго».

— ...Я попрошу гонца прерваться, сославшись на необходимость принять лекарство, а ты исчезнешь из кабинета. За ширмой находится дверца — не думаю, что тебе стоит что-то объяснять. Обратишься к любому из слуг от моего имени — и тебя определят на ночлег.

Уверенный тон сановника не предполагал и тени сомнения в том, что Змееныш поступит именно так, как приказывают, а не исчезнет, к примеру, навсегда и в неизвестном направлении.

Видимо, бывший тайчан боши, а нынешний Государев Советник и впрямь отлично изучил трактат Сунь-цзы, главу о лазутчиках. Уж если судья Бао доверил сему человеку опаснейший доклад. В общем, в худые бурдюки не льют доброе вино!

И вот тут-то досточтимый сановник оказался не совсем прав — не насчет бурдюков, а насчет намерений Змееныша Цая.

Скрываясь за шелковыми павлинами, прогуливающимися на шелковом лугу, лазутчик всерьез подумывал о том, чтобы немедленно воспользоваться указанной дверцей.

Но гонец от государя...

От государя с яшмовым диском, исписанным иероглифами двух видов!

— Тебя накормили? — негромко спросил Государев Советник, мелкими шажками прохаживаясь по кабинету в ожидании посланца.

— Да, — шепотом отозвался Цай. — Премного благодарен.

Его действительно накормили. И Змееныш сам не понимал, почему наотрез отказался от мяса и курятины, ограничившись

баклажанами, маринованными рисом и морковью. Опять же чай — чашки три выхлебал... Змееныш боялся признаться самому себе, что Пять Запретов* [Пять Запретов, иначе Пять Заповедей Будды: не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не лжесвидетельствовать, не пьянствовать.] и распорядок жизни Шаолиня въелись в него гораздо крепче, чем можно было предположить. Даже «лежа в тине», он регулярно просыпался в конце пятой стражи, положенное время высиживал у стены, выпрямив спину и думая ни о чем; после чего тщательно омывал тело и приступал к «рукам восемнадцати архатов».

Орел впивался в горло, монах вдевал в иголку золотую нитку, порхала упрямая птица Луань, руки ткали смертоносную паутину, совмещая науку сурового Бодхидхармы и науку строгой бабки Цай — а Змеенышу все казалось, что вот-вот из-за спины прозвучит низкий рокочущий голос:

— Где способен улечься бык, там способен ударить кулак!

Лазутчик втайне ждал этого голоса, этих слов человека, чья голова весело скалилась на бамбуковом колу; и танцевал до изнеможения.

Только потом, взмокнув и изгнав из сознания ненужные мысли, лазутчик жизни брался за пилюли, мази и иглы.

Ему невыносимо хотелось обрить голову.

***

Гонцом неожиданно оказался рыхлый евнух. Лицо его представляло собой мешанину жировых складок и морщин, но маленькие колючие глазки напоминали иглы из котомки лазутчика.

— Скромный письмоводитель счастлив склониться перед мужем достойным и величественным...

Змееныш весьма сомневался, что евнух — письмоводитель, да еще и скромный; видимо, сановник разделял эти сомнения, потому что нетерпеливо всплеснул лапками — к делу, любезнейший!

Будто мы не знаем, что скопцы неоднократно занимали не только посты «больших мужей-дафу», но и надевали шапки цинов-министров!

— Государь велит вам, господин советник, нынче же вечером, едва прозвучат гонги и барабаны первой стражи, прибыть в Восточные казематы, в верхнюю допросную залу. Сын Неба

поручает вам инспекцию проведения дознания по делу монаха-изменника, захваченного на дороге Цветущих Холмов. Ваши выводы и предложения необходимо будет представить в докладе на высочайшее имя не позднее чем завтра,

— Он до сих пор молчит? — поинтересовался Государев Советник, и в тоне его пробилась нотка уважения.

— Увы, господин советник, — молчит. Поэтому, памятуя про вашу осведомленность о мерах наказания времен прошлых и нынешних... Государь приказал до конца недели получить от монаха-изменника подробные сведения о внешних и внутренних укреплениях обители близ горы Сун, о количестве подготовленных сэн-бинов в Шаолине, о состоянии монастырского арсенала, а также о наличии боеспособных слуг-мирян и каналах связи с филиалами монастыря. Осмелюсь добавить от себя: Сын Неба был очень разгневан, когда ему докладывали об упрямом молчании монаха! И трижды назвал Шаолинь гнездом смуты и козней. По-моему, чиновник-дознатчик всерьез рискует не только должностью, но и...

— Коновалы! — презрительно бросил Государев Советник. — Цирюльники для кровопускания! Между прочим, когда я еще в позапрошлом году предлагал учредить стипендии на факультете наказаний, открыв специальный курс «развязывающих языки», — меня упрекнули в отсутствии гуманности! А теперь какой-то монах смеется над государевыми чиновниками! Позор! Стыд и позор!

— Вот поэтому, господин советник, именно вам и поручается...

Спасительная дверца была совсем рядом, но Змееныш не трогался с места. Монах, захваченный на дороге Цветущих Холмов?! До сих пор молчит? Быть не может! Лазутчик собственными глазами видел голову преподобного Баня на колу, — правда, как голову наставника Чжан Во, главы тайной канцелярии... Ну и что? Не все ли равно, под каким именем ты восходишь на эшафот; не все ли равно, как тебя звали при жизни и назовут после смерти? Даже если Бань и был переодетым наставником Чжаном...

Опять же: сведения, которые должен дать монах-изменник, кем бы он ни оказался, могли означать только одно — готовится штурм обители правительственными войсками.

— Выходи! — приказал Государев Советник, и Змееныш послушно вышел. Они были одни в кабинете.

— Ты слышал?! — возмущению сановника не было предела. — Так и передай моему другу Бао: грядет конец света! Бездельники из Восточных казематов почти две недели не могут

разговорить простого монаха! Впрочем, не надо, не передавай... к делу это отношения не имеет.

Змееныш же полагал обратное:

— Позднорожденный осмеливается спросить: разве не всех преподобных отцов из столичной тайной канцелярии казнили для устрашения?

— Не всех. Этого доставили на следующий день после публичного умерщвления, и государь повелел сохранить ему жизнь. Разумно, хотя и с опозданием: стоило оставить в живых троих-четверых — глядишь, у кого-то язык оказался бы не столь неповоротливым! Впрочем, не мне, скудоумному, судить поступки Сына Неба...

Змееныш кончиками пальцев взъерошил оперение шелкового павлина.

— Позднорожденный дерзко напоминает: высокий сановник обещал исполнить его просьбу!

— Проси, — кивнул Государев Советник.

— Я, подданный, безрассуден и глуп, — повторил Змееныш первые слова доклада судьи Бао. — Если определять мне наказание, то и десяти тысяч смертей окажется мало...

Лазутчик помолчал, машинально погладил макушку и брезгливо отдернул руку — ощутить под ладонью мокрые от испарины волосы было неприятно.

— Я прошу разрешения присутствовать при инспекции Восточных казематов, — твердо закончил он.

— Зачем? — Неприятно прозвенела сталь; и нахохлившийся воробей снизу вверх заглянул в глаза Змеенышу.

Лазутчик не отвел взгляда.

— Я слышал, под пытками говорят все. И поэтому хочу увидеть человека, сумевшего промолчать. Полагаю, если подождать до того дня, когда Шаолинь и впрямь будет разрушен, — мне и вовсе не доведется лицезреть подобное чудо.

Сановник медленно подошел к окну и неуловимым движением сцапал самую назойливую муху.

Подержал в кулаке, прислушиваясь к жужжанию, и резко сжал пальцы.

«Сейчас склюет!» — подумалось Цаю; но он не стал уточнять, кто склюет и кого именно.

Тишина.

— Хорошо, — только и ответил Государев Советник, автор трактата «О пяти видах наказаний»; человек, не способный выпить яд, прежде чем не подготовит дела для сдачи преемнику.

— Хорошо. Ты поедешь со мной. И крохотный трупик мухи упал на паркетину с рожицей Маленького Архата.

4

В допросной зале было невыносимо жарко.

Всем: чиновнику-дознатчику, время от времени снимавшему шапку и утиравшему лоб огромным платком; сидевшему в углу писарьку, бумагомараке весьма преклонного возраста, клевавшему носом над чернильницей с тушью; помощникам палача, возившимся подле дымящихся жаровен с инструментом...

Двоим мастерам заплечных дел — ну этим, пожалуй, было жарче остальных (если не считать, конечно, пытуемого)! Попробуй-ка в эдакое пекло намахаться от души батогами, особенно если тебя насквозь сверлит взгляд чиновника, а треклятый узник даже не стонет, мешая определить степень устрашения и готовности ответить на вопросы! А еще раз! А сплеча! И с оттяжкой! Да тише ты, недоумок, пришибешь под горячую руку — с тебя же и спросят шумным спросом!

Ох и жарища...

Сегодня к тяжелым батогам добавилось усиление пыточного довольствия: с узника не стали снимать шейную кангу, а прямо с колодой поставили на колени и зажали в тиски кончики пальцев. Обычно это помогало сразу: дергаясь под батогами, человек с кангой на шее вынужден был мучительно напрягать плечи и заодно причинять дополнительную боль самому себе — тиски держали крепко, и нередко судорога от ласки батога приводила к вывиху суставов пальцев.

Но дело близилось к вечеру, а толку было чуть — один еле слышный стон за все время.

— Огнем надо! — тихо бурчал подмастерье-заплечник, раскладывая на холстине ряд щипцов и клещей. — Огонек — он завсегда говорило развязывает... самое милое дело! Помню, года три назад, еще при девизе Вечной Весны, изменщика-телохранителя работали — ох и детинушка был! Батог отскакивал! А как каленую спицу сунули туда, где у него не кругло, — мигом запел: винюсь, каюсь, злоумышлял и готов претерпеть!.. Вот и этого бы, преподобного, — огоньком...

— Жаль, Сым-Хватала слег, — вторил ему собрат по ремеслу. — Старенький он, Хватала, забывать все стал, я ему одно, он мне другое... а как пытуемого увидит — куда годы и деваются! Орел! Закогтит, и клещей не надо! Одна беда — учеников не берет. Болтали караульщики, будто девку какую-то учит... врут небось!

А я просился — так он мне в рожу дал! Несильно, правда... он старенький, а я ж не пытуемый, чтоб мне со всей силушки прикладывать...

И оба подмастерья согласно закивали головами, — видно, уважали слегшего Сыма-Хваталу, и жалели, что не берет тот учеников.

А насчет девки — это, конечно, враки...

В толстую дубовую дверь забарабанили кулаками. Нет, даже не кулаками, а древками алебард. Чиновник мигом нацепил шапку и принял достойный вид, а палачи покосились на него и приостановили махание батогами. Мало ли кого принесла нелегкая, ежели так колотят?!

— Государев Советник с инспекцией! — рявкнули от входа (писарек, невзирая на почтенный возраст, уже успел метнуться и поднять засов).

Палачи переглянулись и обрадованно утерлись — перерыв, значит!

Самое время отдышаться и водички попить.

Перерыв и впрямь вышел долгий. Явившееся начальство церемонно приветствовало начальство пребывавшее, и Государев Советник углубился в протоколы дознания. Его интересовало все: последовательность усиления пыток, имена и стаж работы заплечников, причина отсутствия знаменитого Хваталы, время и степень воздействия на пытуемого, состав пищи узника и частота кормления; чиновник-дознатчик почтительно стоял рядом и изредка комментировал описанные события. Временами вспыхивала дискуссия. Только и слышалось:

— Ничтожный глубоко убежден: двойное кормление вредно сказывается...

— Осмелюсь возразить: ослабевший от голода пытуемый теряет изрядную толику чувствительности...

— И все же позднорожденный утверждает: если в приказе говорилось про необходимость избежать членовредительства!..

— Согласно высочайшему рескрипту... — Методы духовного устрашения...

— Но он же монах! Клейменый сэн-бин! Сами знаете, высокомудрый, — шаолиньская братия...

— Оказывал сопротивление?

— Что вы! Просто молчит!

— Просто молчит? Или дознатчики недостаточно усердны?

— Переворачиваем горы!.. Про дом забыли, ночуем в допросной зале, трапезничаем тут же... рук не покладая...

— Со своей стороны я порекомендовал бы...

Наконец Государев Советник отложил протоколы и

задумался.

Трое людей его свиты лениво стояли у двери, прислонившись к стене; четвертый же находился на шаг впереди прочих и напряженно всматривался в пытуемого монаха.

Змееныш Цай понимал, что умирает.

Умирает, как лазутчик.

Тонкость! Тонкость! Мастер «листвы и ветра» равно спокойно жертвует врагом, другом и собой.

Эта тонкость сейчас рвалась в клочья — и впрямь, где тонко, там и рвется! — Ошметки прежних навыков метались в сознании Цая мошкарой из сновидений, и глаза слезились без причины, а сердце грозило разорвать грудную клетку. Кого он сейчас видел перед собой? Преподобного Баня? Наставника Чжана, главу тайной службы? Чья голова торчала на колу; чьи руки скрещивались под ней?! Кто сейчас жестоко страдал в колодках?! С этим ли человеком они покидали Шаолинь, ехали в Нинго и плыли к Бэйцзину?! Или все пять чувств подводят измученного Змееныша, чудом оставшегося в живых?!

Какая разница?!

Уйти! Немедленно уйти и этой же ночью отправиться обратно в Нинго, потому что лазутчики жизни — это те...

***

Ладони Святой Сестрицы с нечеловеческой скоростью простучали по груди монаха — так бьет лапами кошка или лиса, — и преподобного Баня швырнуло через всю комнату, ударив спиной о стену.

Такой удар сломал бы обыкновенному человеку позвоночник.

Но монах встал.

***

Уйти! Вот она, дверь — и словно не было ни дороги на Бэйцзин, ни старого Ши Гань-дана, ни Святой Сестрицы, ни преподобного Баня... Ничего не было! Бабушка, помоги! — Я больше не в силах оставаться прежним юношей с душой змеи и сердцем старика! У меня седая голова, я должен был подохнуть к

завтрашнему утру, но, видать, не подохну, и значит, это уже не моя жизнь, а дареная, с чужого плеча, медяк в плошке!.. Яшмовый Владыка, почему я не даю себе сделать этот шаг, почему всматриваюсь в лицо пытуемого, еле видное из-за канги, и ноги не хотят меня слушаться, а в мозгу хохочет взбесившийся нетопырь: «Шаолинь должен быть разрушен!» Почему?!

***

Но совсем рядом, под убийственный смех твари, в который уже раз падал и вставал монах из тайной канцелярии, сэн-бин с клеймеными руками, наставник и насмешник — падал и вставал, не давая проклятой блуднице приблизиться к беспомощному Змеенышу.

Падал.

И вставал.

***

Ползи, Змееныш!

Прочь!

Вычеркни из памяти прошедшие дни, вычеркни события, недостойные лазутчика из семьи Цай: ты не спасал Маленького Архата, не учился у сэн-бина из тайной службы, не ловил губами редкие капли дождя, слушая, как шаркают вощеные подошвы монашеских сандалий, уводя их хозяина — того, кто не сдал тебя Золототыквенным! — к бамбуковому колу или к допросной зале...

Забудь!

Не было!

Лазутчики жизни — это те...

***

Достав из мешочка иглы — не обычные, длинные, а коротенькие, чуть меньше палочек для еды, с колечками на тупом

конце, — монах внимательно поглядел на человека без возраста.

Рука человека без возраста скребла по земле, обдирая ногти — словно чего-то требовала.

Монах вложил в чужие пальцы иглу и стал ждать.

***

Ползи, Змееныш! Как умирают монахи? Как?!

Так же, как и лазутчики.

Змееныш Цай, бывший лазутчик жизни, криво усмехнулся и вышел на середину допросной залы.

— Я, рожденный в травах, безрассуден и глуп, — сказал он, поклонившись, и Государев Советник вместе с чиновником удивленно посмотрели на дерзкого. — Но по моему ничтожному разумению, дело кроется в нерадивости палачей и неумении добиться большого малыми средствами. Если мне будет дозволено, я осмелюсь продемонстрировать, как «птица Пэн склевывает алмазный столб».

Чиновник-дознатчик моргнул и собрался было спросить мнения Государева Советника относительно сего нахала, но высокий сановник заинтересованно кивнул: дескать, поглядим, поглядим!

А после и подумаем, чем платят за необоснованную дерзость: что там сгоряча отменили в эпоху Тан? — кастрация, отрубание ног...

Змееныш еще раз поклонился и приблизился к узнику. Посмотрел сверху на его макушку, давно не бритую и заросшую мутно-белесой порослью, провел ладонями по истощенным рукам, зажатым в тиски... взялся за клейменые предплечья, что-то нащупывая...

— Как умирают монахи? — громко спросил Змееныш и резко усилил хватку.

Тело узника против его воли выгнуло бьющейся на берегу рыбой, он гортанно вскрикнул, хватая ртом воздух, тщетно пытаясь вырваться, но канга, тиски и новоявленный мучитель держали крепко.

— Как умирают монахи? — повторил Цай. Повторил все: и вопрос, и пытку.

— По-всякому... — прохрипел узник.

Это были первые слова, произнесенные пытуемым за все время.

— А ты говорил — девку! — восторженно прошептал один подмастерье другому. — Вот кого небось Хватала учил!.. Какой же он девка?!

***

Государев Советник не возражал, когда дознатчик чуть ли не на коленях стал умолять его оставить этого мастера в Восточных казематах — хоть на неделю!

Только искоса посмотрел на Змееныша.

И удалился.

Следом за ним старший палач увел Цая — оформлять в нижней канцелярии бумаги о вступлении в должность.

У самой двери Змееныш вздрогнул и обернулся. В спину словно дротиком ударили — но нет, никто особо не интересовался новым работником, если не считать завистливых физиономий подмастерьев.

Чиновник утирает пот, узник недвижим, писарь шуршит кисточкой...

Когда дверь уже закрывалась за лазутчиком, старик писарь еле заметно поднял голову от бумаг, и бритвенно-острый взгляд снова полоснул по удаляющемуся Змеенышу.

5

Сквозняки гуляли по Восточным казематам. Шарили в заброшенных подвалах, куда не решались заглядывать самые отъявленные смельчаки-стражники; самовольно просачивались в камеры узников, мимоходом стряхивая со стен соленую росу-испарину; вихрем влетали в кабинеты начальства на верхнем ярусе, перебирали свитки с протоколами допросов, смеялись шелестящим присвистом над суетой людишек... Не скоро, ох, не скоро, никак не раньше правления под многозначительным девизом Эра Завершенного Преобразования, станут поговаривать, что и не сквозняки это вовсе, а неуспокоенные духи безвинно убиенных монахов-воителей, бритоголовых праведников, радетелей Поднебесной!

***

И впрямь: не те это сквозняки, чтоб отмахнуться походя! Не дворцовые лизоблюды, покорно плещущие шелковыми занавесями на забаву аристократам, не окраинные пройдохи, вынюхивающие сомнительный аромат темных делишек, не чинные дуновения храмов и пагод, колеблющие язычки свечей и оглаживающие жертвенные свитки. В казематах, пропахших кровью, прячущих по углам эхо истошных криков, такие гулены долго не уживаются — здесь место сырым, тяжелым, смрадным порывам, берущимся неизвестно откуда и исчезающим в никуда.

Положи на ладонь жизнь человеческую — сдует, швырнет в погреба да там и похоронит без перерождения!

Словно демоны тайком крадутся по Восточным казематам...

***

— А я тебе говорю — демоны! Крадущиеся демоны! Тамошние островитяне так их и называют! — на языке Ямато получается «ниндзя»! От слов «красться» и «демон»! Понял, дубина?!

И начальник караула, дородный плешивец с неуместно тоненьким голоском, довольно утер пот, свысока взирая на подчиненных.

Продемонстрировать свою ученость перед нижестоящими никогда не бывает лишним.

— А-а, лазутчики-пролазы! — презрительно осклабился один из стражников, молодой здоровяк с рябой физиономией. — Тоже мне, демоны! В любую дыру затычка, тащись, куда пошлют, — хоть у нас, хоть у варваров, хоть у этих... на островах Ямато в Восточном море! Гляди, братва, складно выходит: там Восточное Ямато, здесь — Восточные казематы!

И стражник плюнул на пол, желая подчеркнуть свое отношение к заморским шпионам.

— Вот уж чего не люблю, так это когда язык поперек ума суется, — начальник заговорил медленно и степенно, что предвещало грозу для осмелившихся поддержать рябого болтуна. — Ладно уж, поучу вас, безмозглых... Сошелся я тут на днях с одним монашком, из изменников — всего-то сутки с лишним и просидел, попутчик Будды, прежде чем повели его топором телегу

рубить* [Знаки «рубить топором» и «телега» составляют иероглиф «казнить».]!

Начальник на миг расплылся в ухмылке — нечасто доводится вовремя блеснуть подслушанным изречением!

— Ну, да не в этом дело... Остановился я вечерком у его решетки, чтоб помочиться — не со зла, так, смеху ради, ну и приспичило опять же!.. Слово за слово, струя за струю — разговорились. Ночи в казематах длинные, я ему про жизнь караульную, про задержку жалованья, про жену-стерву; он мне — про то, как лет пятнадцать тому назад плавал по указу тайного наставника Чжана аж на самый остров Рюкю! С тамошними сянь-иноками* [Имеются в виду японские монахи-ямабуси, что означает «спящие в горах». Иероглиф «ямабуси» полностью идентичен китайскому иероглифу «сянь», то есть «святой», «совершенномудрый». Монахам-ямабуси приписывались тесные связи с разведчиками-ниндзя и авторство трактата «Сюгэн-до» («Путь обретения могущества»).] связи налаживать, привет от горы Сун ихним горам передать!

— Где еще и доведется с образованными людьми повстречаться! — льстиво бросил из угла Змееныш Цай. — Вот уж и вправду: только в казематах!

Начальник нахмурился, усмотрев в сказанном некий намек, но решил не связываться с новым палачом-любимчиком.

Ночевать Змееныш остался прямо здесь. Заплечных дел мастер, сопровождавший Цая в канцелярию, по дороге проникся расположением к умелому да удачливому собрату по ремеслу и до глубокой ночи провозился вместе с ним в пыточных каморках-чуланах — инструмент по руке подбирали. Заодно и поговорили о наболевшем: узники пошли то худосочные, на десятом батоге водой отливать приходится, то деревяшки бесчувственные, пили-строгай, а все без толку — ну а начальство торопит, покрикивает, жалованье урезать грозится... Тяжела ты, работенка заплечная!

И впрямь:

Не рубите, почтенные люди, сплеча,
Не спешите, друзья, осуждать палача:
Как подумаешь о недостатке деньжишек —
Руки так и спешат к рукояти меча!

Расположившись в караулке, Цай ковырялся в собранном мешке, лязгал, громыхал, временами извлекал на свет какую-нибудь хитромудрую железяку и покручивал в пальцах. В

подобные моменты взглянувший на него солдат передергивался, как будто кислого хлебнул, и норовил мигом отвести взгляд.

Один начальник абсолютно не интересовался новым работником — все взахлеб рассказывал про далеких шпионов-ниндзя, о которых услыхал от монаха-изменника. Уж очень нравилось начальнику все заморское: от малайских подштанников до крадущихся демонов.

Да еще, пожалуй, был равнодушен к Змеенышу старикашка писарь. У этого разнесло всю щеку от больных зубов, половина писарской рожи была криво замотана ватным полотенцем, и доносившиеся из-за ткани стоны выходили гулкими и протяжными — ни дать ни взять заблудшая душа стенает от горя!

Похоже было на то, что писарь вообще живет в казематах. Во всяком случае, у почтенного крючкотвора нашлись в заначке и поношенный тюфячок, и латаное-перелатаное одеяльце, и изголовьице из обожженной глины — запасливый старичок оказался!

Стонал, сердечный, а ушко востро держал, топорщил из-за полотенца!

Небось надеялся отвлечься от скорбей зубовных рассказом про удивительных лазутчиков...

— Вверх прыгают — на верхушку клена с одного прыжка! Под водой сидят — сутками! В замок прокрадутся — утром встанешь, а ты уже зарезан! Собственную руку изо всех суставов вынимают! В три раза длинней становится! Треснешь такой ручищей из-за угла, и гирьки на цепи не надобно! Вот они какие, ниндзя!

И начальник еще раз со вкусом повторил название иностранных чудо-шпионов.

— А по небу они, случаем, не летают? — поинтересовался рябой стражник, тщетно пытаясь выдоить из пустой корчаги хоть каплю вина.

Пить на посту запрещалось, но караульщикам было не впервой обходить запреты — особенно если новый палач сам выставляет разгонное угощеньице!

— Летают! — с уверенностью подтвердил рассказчик.

— И все укусить норовят, — рассеянно добавил Змееныш, обматывая паклей треногу крохотных тисочков.

— Что?!

— Да ничего, это я просто... племянник у меня есть, маленький совсем — как комара или муху увидит, давай криком кричать: «Летает! Летает! Укусить хочет!» Вот к слову и вспомнилось...

Возмущению начальника караула не было предела. Змееныша осудили, заставили тридцать три раза извиниться, подтвердить,

что ничего худого и в мыслях не держал, что просто оговорился с устатку и непонимания, а в наказание пришлось выслушать длиннейшую историю про славного ниндзя, который неделю просидел в отхожем месте, дыша через трубочку, дабы приколоть копьем местного князя.

Змееныш выслушал и восхитился.

К этому времени старик писарь уже давно храпел в своем уголке, следом за ним стали мирно посапывать и стражники, начиная с рябого; один начальник все крепился, все рассказывал...

Наконец заснул и он.

Змееныш неслышно поднялся на ноги и в два шага оказался возле стола. В руках Цай держал объемистую тыкву-горлянку с водой. Он тщательно промыл винные корчаги, а опивки слил обратно в тыкву и засунул ее в мешок.

Лазутчику вовсе не улыбалось, чтобы завтра какой-нибудь опытный следователь учуял на дне корчаг остатки сонного снадобья, которое он, не жалея, насыпал в вино.

А так — ну, упились охраннички, с них и спрос...

Вскинув на плечо мешок с инструментом, Змееныш даже не стал обыскивать спящих с целью отыскать ключи от темниц. Просто постоял немного над начальником и подумал, что покойная бабка Цай наверняка не одобрила бы методы удивительных «крадущихся демонов». Слишком сложно... хотя во многом правда — полжизни сидишь в дерьме по самую макушку!

И все-таки — руку из суставов... ишь ты!

Надо будет попробовать.

Небось спину такой рукой чесать, особенно если ногти длинные, — одно удовольствие!

6

...Канга невыносимо давила на истерзанные плечи.

Когда в замочной скважине заскрипело — осторожно, испытующе, словно змейка со стальной чешуей скользнула в незнакомый лаз, — монах даже не шевельнулся.

Он сидел у стены, скрестив ноги; исхудавший, прямой, неподвижный, и постороннему взгляду трудно было определить, дышит он или уже давно покинул сей приют скорбей.

Лицо, вырубленное из угловатого куска дерева неизвестной породы, оставалось отрешенно-равнодушным, и холод сырой

стены поглаживал зябкими ладонями спину, обласканную батогом.

Назойливая змейка с легким скрежетом продолжила исследование замка, покусывая металлические внутренности острыми зубками, выгрызая крупицы неподатливой плоти, заставляя осыпаться мельчайшие частицы... язычок жала на миг показался в дверной щели и тут же выскользнул, а с той стороны донеслось слабое погромыхивание — так отзывается гром из-за горного хребта, когда грозой еще даже не пахнет, и только сухие зарницы изредка пробегают по безмятежному небосводу.

Дверь открылась без скрипа.

Змееныш спрятал инструменты обратно в мешок и неожиданно для себя самого вспомнил свое первое дело. Тогда ему поручили тайно выкрасть из областной темницы Линъаня знаменитого гадальщика по прозвищу Бирюзовый Дин. Гадальщик прогневал местного правителя уезда — напророчил ему неприятности по службе, и те не замедлили явиться, — в результате чего Дин был ложно обвинен в краже чужой жены и брошен за решетку. К несчастью, в Линъань почти сразу же приехал столичный цензор (как продолжение служебных неприятностей), и правитель испугался разоблачения в лжесвидетельстве и самоуправстве — у Бирюзового Дина могли найтись влиятельные покровители.

Собственно, именно правитель и поручил Змеенышу инсценировать побег и отвезти Бирюзового Дина в Шаньси, где гадателя уже ждали в дарованном ему домике.

Домика и всякого прочего имущества должно было с избытком хватить, чтобы гадатель, во-первых, прекратил скитаться и открыл собственное дело; а во-вторых, чтобы раздумал обижаться на опрометчивый поступок правителя.

Именно во время первого дела Змееныш выкрал у стражи связку ключей и долго ковырялся в замке, подбирая нужный; естественно, нужным оказался самый последний ключ, но ржавый замок и ему-то не захотел подчиниться сразу, и пришлось сперва прикидывать силу нажима, потом угол поворота...

Эх, молодо-зелено!

Лазутчик сунул весьма пригодившийся ему палаческий инструмент обратно в мешок и подошел к монаху.

Тот по-прежнему не двигался.

Змееныш замялся: он не знал, как ему называть узника — преподобным Банем или наставником Чжаном? В конце концов Цай решил не забивать себе голову подобной ерундой. Из Шаолиня он выходил с Банем, значит, и в Восточных казематах сидит именно Бань.

— Вставай, — просто сказал Цай. — Пошли.

Угольно-черные глаза монаха раскрылись и спокойно оглядели стоявшего напротив Змееныша с ног до головы.

Если вначале у Цая и были сомнения насчет того, что монах узнает его в новом обличье, то теперь они развеялись полностью.

— Зачем ты это делаешь? — негромко спросил преподобный Бань.

Спросил с интересом, не торопясь, как если бы увидел на дороге малыша, лепящего из песка маньтоу с глиняной начинкой.

— Потому что ты невиновен, — ответил Змееныш.

В темнице стало совсем тихо — стены, потолок, крысиные норы и капли воды на пористых стенах прислушивались к небывалому разговору двух человек, один из которых был в шейной канге-колодке, другой же — с палаческим мешком в руках.

— Ты не прав. Я виновен во многом. И поэтому не пойду с тобой. Подумай еще раз — зачем ты это делаешь?

— Потому что ты спас мне жизнь. А я привык платить долги.

— Я спас жизнь многим. И отнял у многих. Твои долги меня не интересуют. Это не повод менять одно жилище на другое. Подумай еще — может, найдется хоть одна причина.

— Ты — мой наставник.

— Тогда ты должен слушаться меня, А я говорю: уходи.

— Мы вместе вышли из Шаолиня. И вместе вернемся... или не вернемся.

Монах еле слышно рассмеялся:

— Я уходил из обители с безобидным иноком, спасал от смерти лазутчика, отвечал в допросной зале палачу — и у всех этих людей был один и тот же взгляд. Уходи.

Змееныш не ответил.

Он полез в мешок, извлек тисочки, молоток, клещи... затем приблизился к монаху и стал возиться с его кангой.

Бань не мешал, но и не помогал.

Через некоторое время канга упала на пол.

Монах не пошевелился, хотя любой на его месте стад бы разминать затекшие шею и плечи.

— Что ты собираешься делать теперь? — с любопытством спросил он у Змееныша.

— Немного отдохнуть, — ответил Цай. — А потом увести одного лысого дурака силой. Я волоком протащу его от Бэйцзина до Хэнаня, заставлю сосчитать лбом все ступеньки монастырских лестниц и верну патриарху. А потом пойду и полдня буду отмывать руки родниковой водой.

Бань в голос расхохотался и поднялся на ноги.

Пошатнулся.

Но устоял.

— Пошли, — сказал монах. — Вернемся в обитель — выдам тебе официальную гуаду о просветлении. Будешь показывать тем, кто не поверит.

— Все равно не поверят, — проворчал Змееныш.

7

И сквозняки шарахнулись, скуля, когда две тени беззвучно ринулись по коридорам.

Змееныш Цай слегка придерживал шаг — чуть-чуть, ровно в меру, чтобы измученный пытками монах этого не заметил. Таких людей, как сэн-бин, было труднее всего вытаскивать из разных переделок. Лазутчик имел в виду не только что состоявшийся разговор — хотя и это, конечно... Проще всего спасать самого обычного человека: лавочника, гадателя, краденую жену — ты всегда знаешь предел их скромным возможностям, рассчитывая исключительно на себя, но зато и не ждешь от спасаемых никаких неожиданностей. Их надо перетаскивать через ямы, защищать от врагов, прятать, ждать, пока они восстановят дыхание или прекратят жаловаться на несправедливости жизни; но при этом ты уверен, что гадатель не кинется в безнадежную драку, а краденая жена не станет бравировать перед тобой своей выносливостью и в результате вывихнет себе лодыжку.

Простые люди — словно промасленный фитиль: всегда видно, сколько сгорело и сколько еще осталось.

Гораздо хуже возиться с героями-недоучками, норовящими все время доказать своему спасителю, что могли бы обойтись и без него. Ну, в крайнем случае, считают на равных с собой — и тогда приходится спасать пустозвона и от опасностей, и от него самого.

Эти горят, как праздничный фейерверк: то вспышка, то темнота, то что-то не вышло, и вместо разноцветных искр — вонь и шипение.

Но истинное проклятие — работать с такими людьми, как преподобный Бань. Во-первых, невольно расслабляешься, чувствуя рядом действительно мощную поддержку; во-вторых же, никогда не знаешь заранее, в какой момент наступит предел немалым силам твоего спутника.

Вот еще мгновение назад он смеялся в лицо палачу и бегал

после пыток резвей вспугнутого зайца, а вот уже сидит, привалившись к стене, и улыбается мертвым лицом.

Как щепоть пороха: мгновенное полыхание — и конец.

На бегу Змееныш машинально прислушивался к дыханию монаха. Ровное, ритмичное... как учил тогда, на лодке, так сам и дышит... хотя, пожалуй, еще месяц назад лазутчику вообще не удалось бы ничего расслышать. Значит, еще немного сбавим ход... теперь по лестнице, направо, налево, снова по лестнице... за углом караулка, где спят доблестные охранники... Змеенышу повезло.

А может быть, Цай счел это везением за неимением лучшего.

Когда из караулки неожиданно выбрался человек, лазутчик двигался достаточно медленно, чтобы это не застало его врасплох, и достаточно быстро, чтобы не дать вмешаться преподобному Баню. Монах непременно свернул бы шею старику писарю, а это уж было бы и вовсе ни к чему: лучше пусть потом очухавшийся старикашка поможет рассказывать оплошавшему начальнику о «крадущихся демонах», нагрянувших в Восточные казематы со своих далеких островов.

Язык без костей, его из суставов вынимать не нужно...

Походя Змееныш Цай мазнул ладонью по писарскому горлу, остро и уверенно коснувшись дряблой, стариковской плоти — пусть отдохнет крючкотвор, пусть забудет до утра и о больных зубах, сколько их там у него еще осталось, и о ночных призраках...

Пол ушел у лазутчика из-под ног, стены накренились, словно прогневавшиеся демоны Преисподней качнули темницу, решив всласть натешиться человеческой кутерьмой; в глазах на миг стало темно, и чужие холодные пальцы беспощадно уперлись в ямочку между ключицами и в основание черепа.

Святой Сестрице, тысячелетней развратнице-оборотню, наверное, сейчас икнулось в тюрьме ада Фэньду — Чернобурка отлично помнила похожую хватку!

Монах замер, что называется, на середине прыжка. Уж кому-кому, а преподобному Баню не надо было объяснять: еще движение, и ему доведется бежать из Восточных казематов в одиночестве. Потому что удивительного писаря монах непременно отправит к предкам, нет в Поднебесной таких писарей, чтоб выдержали открытый бой с клейменым сэн-бином! — но Змееныша это не оживит.

Устоявший перед сонным зельем старик писарь молчал, удерживая согнутого в три погибели Цая, и пристально смотрел на монаха.

Взгляд его сильно напоминал взгляд древесного удава: рыбьи

чешуйки между припухших век, стоячий омут, в котором ничего нельзя прочитать.

Обмотанное полотенцем лицо странным образом усиливало сходство с большой змеей.

Сытой?

Голодной?

Охотящейся?!

— Вы не туда бежите, — бесцветным голосом произнес старик. — Верхними ярусами вам не выбраться — там как раз смена караула. Разве что через допросную залу... пойдемте, я попробую провести.

И, отпустив Змееныша, неспешной рысцой затрусил по коридору в обратном направлении.

Слегка задев плечом окаменевшего Баня.

Вторым мимо монаха пробежал Змееныш Цай, на ходу растирая ноющую шею.

Преподобный Бань вздохнул и продолжил прерванный путь к свободе.

Они опоздали.

Когда все трое влетели в допросную залу — через другую дверь туда же вошли семь стражников, идущих сменить уснувших собратьев.

Шедший впереди начальник отшвырнул ногой дубовый табурет, на котором еще вечером сидел один из подмастерьев, коротко скомандовал — и семь лезвий тяжелых алебард уставились на непрошеных гостей.

Полукруг отточенной стали грозно двинулся вперед, тесня замешкавшихся людей.

Двоих.

Потому что писарь мгновенно исчез, растворился в сумраке углов, затканных ажурной паутиной.

Отброшенный табурет прогромыхал по грубым плитам пола и ударил преподобного Баня в колено.

Монах задумчиво посмотрел на стражу и наклонился.

Когда Змееныш Цай, монах обители близ горы Сун и объявившийся невесть откуда старик писарь вышли из допросной залы, там оставалось семеро стражников и одна треснувшая табуретка.

— Наставник Лю был бы очень недоволен, — пробормотал преподобный Бань, вытирая кровь с плеча, оцарапанного алебардой.

— Что? — не понял Змееныш.

— Ничего. Сунь-цзы тоже был великий полководец, но зачем же табуреты ломать?

И монах зло покосился на свои руки, украшенные знаками тигра и дракона.

Руки слегка дрожали.

Взгляд монаха окаменел, и дрожь унялась.

8

— Вас догонят, — скучно сказал писарь, когда они оказались во внутреннем дворе казематов и приблизились к забору высотой в полтора человеческих роста. — Если будете бежать оба, вас обязательно догонят.

Сказав это, он немного постоял, потом размотал полотенце и в упор взглянул на Змееныша.

— Ты знаешь, что делать? — тихо спросил старик писарь, немощный бумагомарака с абсолютно незапоминающимся лицом.

Высокие скулы, чуть припухшие веки, нос с горбинкой, ямочка на подбородке... а отвернешься, и мгновенно забыл! То есть, конечно, помнишь: ямочка, высокие скулы... но эти слова перестают складываться в лицо.

— Ты знаешь, что делать? — повторил писарь, и звук его голоса неожиданно отвердел, как черенок длинной трубки из одеревеневшего корня ма-линь.

— Знаю, — ответил Змееныш.

Лазутчику очень хотелось добавить еще одно слово — простое и привычное даже для годовалого младенца! — но он не мог. Язык не поворачивался, губы немели, и в горле вставал шершавый комок.

— Хорошо, — кивнул старик и не спеша пошел обратно.

В глубь Восточных казематов, разбуженных грохотом боя в допросной зале и начинавших шумно закипать, как забытый на жаровне чайник.

Промедли — и обжигающий пар сорвет крышку. вырвавшись наружу.

— Кто это был? — Бань тронул Змееныша за руку.

— Мой отец.

Непроизнесенное миг назад слово вдруг далось легко и просто.

— Как... как ты узнал?!

— По клейму на руках, — непонятно отозвался Змееныш.

И позволил себе еще несколько драгоценных секунд смотреть вслед Ушастому Цаю, которого никто не знал в лицо; даже его

жена, даже его сын.

Впрочем, теперь уже нет — сын знал.

***

...Не слушая возражений, Змееныш Цай подсадил монаха на забор и наскоро сообщил ему, куда следует направиться, выбравшись на южную окраину.

Потом торопливо извлек из-за пазухи маленькое лезвие без рукояти — палаческий мешок с инструментом Цай опрометчиво оставил в темнице.

Скрести макушку насухо было изрядно больно, порезы кровоточили, но сейчас, ночью да еще при спрятавшемся за облачко месяце, это было неважно.

С криками вывалившая во двор стража отчетливо увидела, как голый по пояс человек неуклюже карабкается на забор, — именно так и подобает двигаться тому, кто изнурен заключением и пытками.

Когда беглец оказался на гребне забора, звездный свет отразился от бритой головы — и стражники уверенно кинулись в погоню.

Если монаху-изменнику удастся его безумная затея — не поздоровится никому. Государь не простит коменданта казематов, комендант не простит начальников караулов, начальники не простят...

Ничего, после недели батогов далеко не уйдет!.. Вон он, вон, за угол свернул!.. Держи смутьяна!

Вскоре по всем близлежащим кварталам застучали колотушки и гонги: ночные Быстрорукие бросали обход и спешили присоединиться к увлекательнейшему занятию — охоте на человека.

9

Лысый Карлик, матерый вышибала из клана «сидящих спокойно», был очень удивлен, обнаружив бесчувственного монаха у самых дверей заведения, где имел сомнительную честь служить. Шел третий час после полуночи, и было трудно

предположить, что инок-гулена собрался выкурить на сон грядущий трубку-другую опиума. Особенно, если он только что ножищами вовсю пинал дверь — и весьма громко, надо заметить! — а теперь валяется, падаль падалью, и готов с минуты на минуту удалиться в свою Нирвану.

Подсветив себе лампадкой, Лысый Карлик уже собрался уйти, оставив монаха на произвол судьбы, но тут взгляд Карлика упал на правую руку странного гостя.

Вышибала вихрем метнулся назад в притон и в самом скором времени выбежал обратно с самострелом в руках. Причем заряженным не обычным шариком из твердой глины, предназначенным для успокоения шумных клиентов, а свинцовым, боевым.

Явись сейчас прямо сюда Князь Темного Приказа, Владыка Яньло, и предложи: «Подойди-ка, друг-вышибала, к несчастному да помоги ему оказаться под крышей!» — Лысый Карлик ухмыльнулся бы щербатой, как изношенный топор, ухмылкой и ответствовал:

— Нет уж, уважаемый! Посули вы мне даже возродиться Первым министром, и то я не подошел бы близко к клейменому сэн-бину, особенно после того, что сотворил с тайной канцелярией Сын Неба, государь

Хун Ци!

А так, с самострелом и издалека, — совсем другое дело!

Дверь скрипнула, и наружу выбрались двое дружков Лысого Карлика; вернее, дружок и подруга, рыночный сборщик мзды Хоу Жадная Утроба и доверенная воспитанница Гиблой Доченьки, имени которой никто не знал, а называли просто: Доченька-Вторая.

Жадная Утроба тоже тащил с собой заряженный самострел, а руки Доченьки-Второй прятались за отворотами халата, там, где скрывалась кожаная перевязь с метательными ножами.

— Вот он! — победно рявкнул Лысый Карлик. — Лежит, паскуда! А ну-ка, братки, давайте свяжем его как следует и сдадим завтра Быстроруким! Я думаю, государевы люди не поскупятся на награду за поимку беглого кознодея!

Идея пришлась всем по сердцу, однако связывать не торопились — никто не спешил подходить первым.

Доченька-Вторая предложила было позвать на подмогу кого-нибудь еще, но Жадная Утроба категорически не захотел делить возможную награду.

Сошлись на том, что связывать будет Лысый Карлик, а Жадная Утроба с Доченькой-Второй станут внимательно следить за монахом и в случае чего примутся стрелять и бросать ножи.

Но зато и из будущих денег Лысый Карлик возьмет себе половину, а остальные поделят что останется.

Как ни странно, исполнить задуманное оказалось проще простого: не прошло и пяти минут, как монах был связан по рукам и ногам.

Запарившийся Карлик вытер лоб — поди, навяжи сто и еще восемь узлов! — и подмигнул дружкам.

— Готов! — весело хмыкнул он. — Теперь не развяжется!

— Понятное дело! — так же весело ответили ему. — Сам не развяжется, так ты поможешь! Давай, плешивый, не мнись, скреби ногтями!

Сперва Лысый Карлик не понял. Мало-помалу до него дошло, что Доченька-Вторая и приятель Хоу оторопело вертят головами, потому что никто из них этих слов не произносил.

Сам монах заговорил, что ли?

Да нет, лежит себе, спеленутый, как девичья ножка* [В Китае женщинам с детства бинтовали ноги, считая маленькую ступню признаком красоты.].

Тень колодезного «отшельника» неприятно зашевелилась, сгустилась и превратилась в человека. Когда незнакомец приблизился к лежащему монаху и трем ловцам удачи — Лысый Карлик обратил внимание на изрезанную макушку человека, словно гость совсем недавно в приступе безумия самовольно принимал обеты служения Будде.

Сумасшедший?

Непохоже...

Всех окрестных сумасшедших Лысый Карлик знал поименно.

Карлик приподнял самострел, все еще колеблясь — опыт подсказывал вышибале, что именно «темные лошадки» всегда оказываются самыми трудными клиентами, но тут случилось непредвиденное.

Незнакомец лихо прищелкнул пальцами, и самострел Лысого Карлика поднялся еще выше — но уставился при этом на Жадную Утробу.

А что оставалось делать? Если сухой стук щелчка приказывал от имени самого Монашка У: слушаться этого человека, как меня самого! Вот возьмет Утроба, стрельнет, а потом Монашек У спросит Лысого Карлика: «Почему недоглядел?!»

Незнакомец же, заметив движение вышибалы, звонко расхохотался и присвистнул, вновь щелкая хитро сложенной щепотью. Доченька-Вторая вздрогнула, перебрала пальцами за пазухой, словно лаская собственную грудь, и стала вполоборота к побелевшему Утробе.

Сборщик мзды уже подумывал от греха подальше исчезнуть

за дверями притона, но незнакомец прищелкнул в третий раз, сложив ладонь раковинкой... и Жадная Утроба, не колеблясь, поднял свой самострел, целясь в Карлика, и одновременно шагнул поближе к Доченьке-Второй. Глядишь, промахнется девка — а в рукопашной она Утробе не соперник!

Да и то — погибни сборщик Хоу, так рыночный «бугор» Ань Захребетник семью за послушание по гроб жизни обеспечит!

Змееныш Цай рассмеялся в голос, закашлялся от рези в спаленных погоней легких и встал между тремя людьми, готовыми по одному его знаку вцепиться друг другу в глотку.

— Несите монаха внутрь, — приказал он.

И никто не осмелился ослушаться.

10

Что труднее всего почесать всласть? Да так, чтоб больше не чесалось!

Языки столичных болтунов.

Всего недели хватило им, чтобы трижды облизать со всех сторон дерзкий побег монаха-воителя из Восточных казематов. Отвага неизменно вызывает приязнь и уважение: вот и посмеивались втихомолку бэйцзинцы, глядя на шарящих повсюду Быстроруких, на вывешенные объявления о награде в тысячу лянов за поимку беглого архата, на усиленные караулы, выставленные поперек дорог, на истошно орущих глашатаев... Умолкли глашатаи, осталась невостребованной награда, угомонились сыщики — и свежая новость затмила собой малость поднадоевший побег. Государев Советник, обласканный новым императором, без всякой видимой причины покончил с собой на пороге присутственной залы Училища Сынов Отечества — того самого учебного заведения, которому несчастный воробей посвятил лучшие годы своей жизни.

Эй, господа бэйцзинцы, чем завтра языки-то чесать станем?!

Известие о самоубийстве Государева Советника застало Змееныша и преподобного Баня во дворе надежного схрона, где оба и пребывали с той памятной ночи. Лазутчик и монах как раз спорили о наилучшем составе для укрепления сил; на отваре женьшеня и ароматного гриба-сянжу сходились и тот, и другой, но Змееныш настаивал на добавлении экстракта корицы, а Бань — на лотосовом семени.

В результате добавили и семя, и корицу одновременно.

А когда Лысый Карлик, вовсю выпячивающий жалованную Монашком У поощрительную татуировку, сообщил о происшествии в Училище — Змееныш на миг замер, глядя на монаха остановившимся взглядом, и негромко произнес высоким, чирикающим голоском:

— Поверь мне — я отнюдь не щепетилен и не робок. Если по зрелом размышлении я пришел бы к необходимости уничтожения сановников-монахов, я сказал бы об этом кому угодно: государю, Будде, Князю Темного Приказа! Но знать, что цена твоему опрометчивому слову, вовремя подвернувшейся на язык цитате, сдобренной лестью, — несколько десятков отрубленных голов...

Бань выслушал, не перебивая и не удивляясь, после чего пошел в дом.

Монах еще слегка кособочился при ходьбе, но силы быстро возвращались к нему.

Недаром тот же престарелый Монашек У, глава клана «сидящих спокойно», через Лысого Карлика предложил преподобному Баню открыть тайную школу и взять на себя обучение людей Монашка кулачному искусству.

Намек был более чем прозрачен: к чему вам возвращаться в Шаолинь, достойный сэн-бин, если обитель в опале, и не сегодня-завтра — в осаде?! А «сидящие спокойно» не поскупятся, с лихвой оплатят уроки клейменого мастера...

Бань не ответил ни да ни нет.

Лысый Карлик решил, что скорее «да»; Змееныш подумал, что скорее «нет», а сам Бань...

Что имел в виду монах, так и осталось невыясненным.

Потому что на исходе второй недели после побега Змееныш Цай пошел во двор умываться.

Наклонившись над огромной деревянной бадьей, он уже плеснул было себе в лицо водой, но засмотрелся на собственное отражение. В бадье, рядом с небритой физиономией лазутчика, колыхался совершенно неуместный здесь даос — щуплый, в рваном полосатом халате и железной шапке, похожей на рыбий хвост.

Даос улыбался и манил Змееныша пальцем.

Змееныш на всякий случай огляделся — нет, за плечом никакого даоса не наблюдалось.

Снова глянул в бадью — вон он, подлец, которого судья Бао притащил на тайную встречу, стоит, смеется и палец крючком гнет...

Лазутчик приблизил лицо к поверхности воды, чтобы повнимательнее рассмотреть странного даоса, и тут из бадьи выметнулись две худых руки, ухватили Змееныша Цая за шею и

силком потащили в воду.

Невозможным, невероятным прыжком преподобный Бань, чудом случившийся неподалеку, достал мелькнувшие в воздухе ноги лазутчика, мертвой хваткой вцепившись в щиколотки Цая... но из бадьи мигом высунулся ужасно длинный ослиный хвост, тройным кольцом обвил талию монаха — после чего оба, Бань и Змееныш, шумно плюхнулись в воду и исчезли.

Когда хозяин схрона со слугами подбежал к бадье — она была пуста.

Если не считать оставшейся воды, меньше половины, и колышущихся отражений хозяина и слуг.

Самым удивительным было то, что отражения внутри бадьи глумливо хохотали над людьми, испуганно застывшими снаружи; и с того дня хозяин схрона всегда непроизвольно хихикал, когда видел колеблющуюся поверхность воды.

Даже чай пил, хихикая.

МЕЖДУГЛАВЬЕ

Свиток, не найденный птицеловом Манем в тайнике у западных скал Бацюань

Человече, познай сам себя!

А если не так?

Если перефразировать?!

Система, познай сама себя!

Хрен собачий она вам себя познает.

Это я заявляю с полной ответственностью, как Маленький Архат, просветленный буддист-шизофреник с нетрадиционным поведением.

Эта кармическая зараза действует уже невесть сколько веков, так и не сумев понять одного: почему она действует именно так и можно ли действовать иначе?!

Не для этого ли моя подружка Система, изловчившись, захватила душу «однополушарного гения» и сунула ее в тело девятилетнего дурачка? — Ей позарез нужен был именно я, человек из «сети», из совсем другой реальности, со свободным мышлением, не скованным форматом и установками здешнего диска.

Хорош диск — земля на трех китах, или на чем она тут держится?

На Великом Змее Шеша?

Только сейчас, отдыхая в доме милейшего судьи Бао на всем готовеньком, я вдруг понял, почему в Поднебесной никогда не наблюдалось войн на религиозной почве.

Ведь у любой Системы есть два языка: внутренний и внешний, то есть понятный ей самой и понятный пользователю. В нашем случае внешний язык «Кармо-компа» надцатого поколения — это и есть Преисподняя и Западный Рай, князь Яньло и Яшмовый Владыка, демоны и небожители, то место и те существа, которые конкретно воздают по заслугам. Родимый двоичный код: оппозиции святой — грешный, ангел — черт, рай — ад... «цзин» и «жань». Скажи ханьцу: «Твой Яньло — это мистико-магический пласт; адаптированное для тебя, прохвоста, отображение работы Системы Закона!» Кивнет ханец, тупо ухмыльнется и решит, что перед ним мудрец, познавший Безначальное Дао. Мудрецы, они все примерно так выражаются... А скажи ему: «Будешь себя вести хорошо — возродишься в раю Будды Амитабхи; а не станешь папу-маму слушаться — и прижжет тебе Адский Князь седалище за сыновнюю непочтительность!» — все понятно, ханец рад и счастлив.

Вот потому-то остальные, не такие, как мы, — варвары!

Из другой Системы, из непонятной хоть снаружи, хоть изнутри.

Зато те, кто наши...

Маг-даос, выплавивший свою любимую киноварную пилюлю, просто-напросто подключается к внешнему языку; отсюда вся его магическая мишура, радующая глаз и устрашающая сердца. Он, в сущности, оператор, ловко владеющий программами, плавающий в виртуальной реальности, как рыба в воде; вовсю пользуется возможностями, играет в игры и время от времени показывает народу чудеса на экране. Правда, внутрь Системы даос не лезет, основ не колеблет — Дао неизменяемо и ему надо лишь следовать.

Зато поймавший У правоверный буддист — этот подключается сразу к языку внутреннему, и никаких чудес народу не являет, кроме собственных заморочек. И впрямь: Будда вращает Колесо Закона. Вот кто у нас системный программист, вот кто работает с внутренней конфигурацией, вот откуда непонятности поведения — как же без внешнего языка бестолковому ханьцу уразуметь, что да как меняет в программе ушлый бодисатва. Не зря ж клянутся: не уходить в Нирвану, пока последнее живое существо не будет спасено!

Ну и конфуцианцы-грамотеи, электронщики, ремонтники и наладчики: эти вообще работают снаружи, так сказать, «с железом», с самими людьми. В Систему не лезут, возможностями

ее не пользуются, зато организуют господ китайцев в правильные цепочки: сын — отец, государь — подданный, учитель — ученик...

Эй, файлы с секторами, слушай мою команду: согласно этике-морали в шеренгу по одному стройся!

И строятся.

Небось нигде так не строятся, как в Поднебесной...

Не явись вирус, росли б себе три Пути из одного корня, и горя б не знали!

Я прямо проникся к подлому вирусу грандиозной нелюбовью: надо ж, какую стройную картину испоганил! Веками налаживали, а он с ходу хлоп, и в дамки! Теперь одна панацея, даже грохнув террориста, — заново диск форматировать, очищать его перед новой загрузкой.

А то, что от такого очищения куча народу в гроб ляжет, — это Системушке без разницы! Системулечка плотскими категориями не мыслит, ей отрубленная ножка или там выколотый глазик — вещь абстрактная. Один труп от миллиона трупов отличается лишь количеством и сроками работы. Не бойтесь убивающих тело, души же убить не могущих! Она, Системочка, и не боится — ей запорченный диск очищать надоть, и от вируса, и от всего-прочего!

На ее век душ хватит.

Вот только сам, без помощи извне, родимый «Кармо-комп» собственный диск отформатировать не в состоянии. Это вам не мастурбация, тут свои тонкости! Приходится запрашивать дружков по сети: эй, как там у вас диски очищают? Конец Света, говорите? Апокалипсис?! Ох, что-то слово не наше, не ханьское, варварством попахивает... ну да ладно, сойдет. Что-что? Страшный Суд?! Пришить материальное человечество и уже потом отделять овец от козлищ?!

А подать нам сюда Всадников Апокалипсиса!

И подают — сам видел. Высылают, так сказать, очищающие программы. Они других не знают, у них там ни кармы, ни перерождений нету, без трубы восьмого ангела и озера серного не обойтись. К сожалению, вся эта прелесть в нашей-то Системочке уже успела пройти из языка внутреннего в язык внешний, в магически-адаптированный! Встали чародеи-даосы стеной, рубятся насмерть операторы-герои, блокируют чуждый способ очистки диска, как могут... понимают то, что Системушке невдомек: такая очистка разрушит все.

Совсем все.

Как теркой по младенцу: снимет опрелость вместе с кожей.

Только ни даосу, ни Системе не объяснишь: жесткое форматирование есть способ физического воздействия, и не дай

бог откликнется Бог. Чужой для Поднебесной Бог, какой-нибудь Саваоф, Аллах или Иегова, вселенский программист во всем своем всемогуществе и с санкции дуры Системы!

Сами ж просили!

Возьмет и отформатирует диск под себя!

Будда вращает Колесо Закона; а Вседержитель — спицы отдельно, обод отдельно...

Не покажется ли тогда Апокалипсис санаторием?..

Вопрос: кто в силах устроить мягкое очищение диска изнутри?

Ответ: не знаю.

Пока не знаю.

книга третья
ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА

часть седьмая
ЛАЗУТЧИКИ КАРМЫ

Добро творится добрыми.

Из поучений мастеров

Глава тринадцатая

1

Прекрасна жемчужина Северной Столицы — Зал Высшей Гармонии, главный парадный павильон Тайхэдянь, предназначенный для государственных церемоний. Вознесенный над гладью мощеных площадей, над ступенчатыми белокаменными террасами, полными воздуха и света, Тайхэдянь потрясает мощью резного цоколя из светлого мрамора, яркостью колонн и изгибами массивных крыш, устланных золотистой черепицей.

Именно отсюда открывается чудесный вид на Западный парк с озерами, Угольный Холм Мэйшань и Белую пагоду Байта... впрочем, высшим сановникам Срединной империи, собранным государем на большой совет, сейчас было не до любования красотами.

Господин канцлер тревожно посмотрел на сидевшего рядом главнокомандующего левым крылом седого генерала, и незаметно пожал плечами. Трудно перечить государю.

Еще трудней перечить государю новому, не так давно поднявшемуся по красным ступеням и оттого чаще, чем следовало бы просвещенному правителю, напоминающему о собственной непогрешимости.

Вот и сейчас: Сын Неба посмотрел на господ сановников, дописал что-то на своем белом яшмовом диске — причуда, о которой вполголоса поговаривала вся Столица, — и бесцветным голосом произнес:

— Шаолинь должен быть разрушен!

Но не это взволновало господина канцлера — не в первый раз

за последние месяцы слышал он эти слова и относился к ним снисходительно-равнодушно.

Слова есть слова; очередная причуда, вроде яшмового диска.

Но следующие слова уже перестали быть просто словами, ибо некоторые из них в устах императора имеют силу грянувшей грозы.

— Когда подует золотой ветер* [Золотой ветер — символ осени.], повелеваю силами пяти военных округов выступить на обитель близ горы Сун.

И по-прежнему бесцветно:

— Я сам поведу войска.

Вот тут-то и переглянулись снова господин канцлер с главнокомандующим левым крылом: а Первый министр — с начальником отряда Крылатых Тигров и советником Чэном.

Казнить монахов из тайной канцелярии, любимчиков прежнего императора, обвинив их во всех возможных и невозможных грехах, — это дело более-менее понятное для молодого государя; да и ханьцы, от ванов до простолюдинов, единодушно поддержали благое начинание. Но двинуть стотысячное войско на святую обитель?! Народ не поймет — настроения переменились, казнь сторонников Чжан Во не принесла желаемых результатов, и в харчевнях все чаще стали поговаривать: подняли руку на святых хэшанов, попутчиков Будды, отсюда и усиление бед с напастями! Государь полагает, что обитель вынашивает коварные замыслы? Ну, вызови в Столицу патриарха для судебного разбирательства, а не явится, так пошли за мятежным настоятелем цензора и стражников... не пустят дерзкие Быстроруких в обитель — вот тогда и будет повод прибегнуть к армии!

Даже Сыну Неба непозволительно вызывающе топтать букву закона и дух древних уложений!

Террором попахивает, бунтом — а там и гражданской войной!

Все это в самом почтительном изложении и было высказано самонадеянному государю.

Хун Ци, Сын Неба, безразлично поглядел на сановников, полоснул наискось кисточкой по исчерканному диску и приказал расходиться.

Дескать, Зал Высшей Гармонии — не для пустословья.

Но пятерым велел остаться.

Начиная с канцлера и заканчивая начальником Крылатых Тигров.

А потом зачитал им доклад судьи Бао из города Нинго.

Кивнули высшие сановники: велика прозорливость государя!

Если и впрямь есть такая сила, что способна вне государственного контроля... только сила, может, и есть, а доказательств нет. Здесь секретными докладами и Князьями Темных Приказов не обойтись. Преисподнюю к делу не пришьешь, и вообще: если действительно все написанное в докладе — правда, хорошо бы и нам самим заполучить подобных союзников.

А то как бы чего не вышло.

— Вы уверены, что мы не имеем таких союзников? — тихо спросил государь, и слушавшие его потом рассказывали: поднял Сын Неба над головой диск из белой яшмы, и неясная дрожь пробежала по собравшимся, словно даже качнув громадный Тайхэдянь.

Страшно улыбнулся государь и добавил:

— Готовить войска. Цель похода пока не разглашать. Подует золотой ветер — тогда и посмотрим. И удалился.

***

Прекрасен Зал Белых Одеяний в монастыре Шаолинь — резное лицо Будды Шакьямуни благостно улыбается с алтаря на возвышении, перед алтарем на каменном столике дымятся благовония, горят свечи и источают аромат свежие цветы; и расписные ширмы стоят полукругом за спиной отца-вероучителя.

Вот только скорбны лики собравшихся: весть о подлом умерщвлении братьев уже долетела с севера на юг, из Бэйцзина к стенам обители. Не потому ли и сам патриарх вместо поучительных джатак поведал братии о правителях не праведных, кознями которых рушились империи и гибли государства?

Негоже буддийскому хэшану скорбеть или радоваться, сердце его подобно сохлому дереву, а душа — развеянному пеплу... отчего плачете, братья мои?!

Будда простит...

На следующее же утро приказом отца-вероучителя было увеличено время занятий кулачным боем за счет сокращения проповедей и постижения Закона. Наставник Лю мучил монахов нещадно, все больше заставляя упражняться с оружием всех восемнадцати видов, нежели с голыми руками; пот ручьями лился под ноги, но братия стиснула зубы и молчала. Один из наставников-шифу, выслушав журавля-патриарха, отправился в поселок слуг. После недолгого разговора жены и дети, а также слабовольные и малосильные покинули пределы обители,

разъехавшись кто куда (говорили, что на земли подвластных Шаолиню монастырей!), а остальные занялись ремонтом обветшавших стен внешних и внутренних укреплений. После строительных работ со слугами проводились учения по стрельбе из лука и пользованию пращой... даже азы рукопашной, вопреки старым заповедям, стали преподавать отважным мирянам.

Грудью встанем за родной монастырь!

Вскоре ушли бритоголовые посланцы в ближайшие обители — и не прошло и двух недель, как к Шаолиню двинулись обозы с провиантом на случай осады. Также на дорогах Хэнаня, и не только Хэнаня, объявились невиданные прежде толпы бродячих монахов. Они вяло просили подаяние, не обижаясь на отказ, и без устали вещали простолюдинам о святости обители близ горы Сун и вечном проклятии, что обрушится на любого, поднявшего на монастырь нечестивую руку. «Рожденные в травах» чесали в затылках и соглашались. Опять же мимо красноречивых монахов и мышь не проскользнула бы незамеченной, не говоря уж о стотысячном войске.

И все чаще стала открываться парадная дверь Шаолиня. Возвращались клейменые сэн-бины, опытные воители, в прошлом обласканные императором Юн Лэ и приставленные казненным наставником Чжаном к ванам да князьям. Вдохновленные столичным примером, областные и кровнородственные ваны и сами принялись было рубить головы бритоголовым соглядатаям-убийцам, но провинциальные сэн-бины оказались менее верноподданными, чем их бэйцзинские братья, и добровольно на смерть не пошли! Некоторых застали врасплох, и дорого заплатили ванские солдаты за одну бритую голову, так дорого, что уже после и сами князья задумывались: не дешевле ли было дать проклятому монаху бежать?! А прочие поспешили исчезнуть без шума и вернуться в Шаолинь, где их приняли с распростертыми объятиями.

Поднаторевшие в делах государственных, сэн-бины из бывшей тайной службы мигом предложили отцу-вероучителю путь отмщения. Недостойно после подлого убийства братьев покорно ждать осады — государь-кровопийца еще проклянет тот миг, когда в его голову пришла мысль о разгроме всесильной службы!

Патриарх колебался и не отвечал ни да, ни нет.

В начавшейся кутерьме как-то прошло незамеченным, что монастырский повар, преподобный Фэн с диском, днюет и ночует в Лабиринте Манекенов, почти не выбираясь на поверхность. Изредка маленький урод поднимался в кухню, растерянно бродил по ней, чуть не плача от отчаяния, и все что-то писал-стирал на

своей игрушке. Но кому до того было дело?! Впрочем, если кто-нибудь ночью, когда в Лабиринте раздавался сухой треск, сумел бы одновременно заглянуть в государеву спальню, — этот провидец наверняка был бы в изумлении. Император поднятым зверем метался по покоям, сражаясь с невидимым противником, его руки мелькали подобно облачным клочьям в бурю, он вскрикивал и умолкал, нападал и отражал, а потом безумно смеялся и шуршал кисточкой по белой яшме своего диска.

И снова кидался в бой; но уже больше атакуя, чем защищаясь.

Увы, монахам Шаолиня было не до причуд повара, а Крылатым Тиграм-телохранителям — не до ночных выходок Сына Неба.

***

Прекрасны даосские храмы в горах, когда лето только идет на убыль, но дыхание осени уже колеблет листья деревьев, вплетая в зелень ало-золотистые* [Ало-золотой цвет считался традиционным для одежд даосских матов и алхимиков.] нити!

Только вот судачили в городах и деревнях: пропали даосы! Пустуют хижины отшельников и пещеры мудрецов, большие обители заперты, лишь доносятся изнутри странные песнопения и возносится к небу сизый дым курений, но посторонних внутрь не пускают, а по ночам, говорят, бродят вокруг небесные полководцы и огненными трезубцами отгоняют любопытных.

На призыв организовать моление о дожде не откликнулся ни один из магов, а раньше состязания устраивались, и бились в небесах бородатые драконы, покорные слову даосских чародеев! Одни шарлатаны остались в городах, тешат дураков пустыми фокусами...

В растерянности ученики: где учителя, постигшие Дао, где наши наставники, где высокомудрые?! Вот только что были здесь, рядом с нами — и словно ветром сдуло! Сбивая ноги в кровь, искали ученики исчезнувших отшельников, срывали горы, вспахивали землю, моря ложкой вычерпывали — тщетно! То ли ученики плохими оказались, то ли и впрямь не сыскать ушедших... Один из брошенных учеников добрался даже до самого ада Фэньду и после долгих мытарств был принят Владыкой Янь-ваном. Молил помочь, не разлучать с любимым наставником, где бы тот ни был!

Князь Темного Приказа долго смотрел на незваного гостя,

после подвел того к Адскому Оку и показал, где его учитель.

Долго смотрел ученик, дольше Князя. Наконец, пригладив волосы, ставшие за этот срок седыми, твердо ответствовал:

— Тогда тем более я должен быть рядом! Наверное, это был не самый плохой ученик...

Прекрасна Преисподняя, когда... впрочем, неважно.

В запустении ад, все десять канцелярий засыпает пылью бездействия, главные демоны куда-то запропастились — грешники уж истомились в ожидании, цепляются к пробегающим бесам:

— Где мучители? Скоро ли объявятся?!

— Некогда, — отвечают спешащие мимо, — не до вас! Сами мучайтесь!

И то: раз ждать помощи не приходится, отчего бы и не помучиться в охотку?

Пособим друг дружке?! Авось год за два зачтут... кто тут в прошлых жизнях палачом да мясником трудился?

Прекрасен Западный Рай владычицы Сиванму...

Раздумья В Ночи, или о чем не писал литератор Цюй Ю, автор «Новых рассказов у горящего светильника» и позапрошлый чиновник-распорядитель Чжоу-вана, сосланный в пограничный гарнизон Баоанъ и возвращенный из ссылки императором Хун Ци по ходатайству Государева Советника в ночь описываемых событий

2

— ...Сохранение рода? — спросил судья Бао, разливая в чашки круто заваренный красный чай. — Может быть, сохранение семьи? Или государства? Но тогда при чем тут тигры?!

— Ни то, ни другое, ни третье, — ответил Маленький Архат, с ногами забираясь в кресло. — Я не очень хорошо представляю, как вам все это объяснить, но я попробую.

Он хмыкнул и непонятно добавил:

— Мы попробуем.

РАЗДУМЬЕ ЗАБЛУДШЕЙ ДУШИ

Я знаю, что это карма,
И против нее не попрешь.

Борис Гребенщиков

Я не знаю, в какой именно момент обезьяне пришло в голову стать человеком; но я знаю, что она приобрела и что утратила в этот миг.

Приобрела мораль; утратила же инстинкт выживания вида.

«Шоу должно продолжаться любой ценой!» — сказала Мать-Природа.

«А почему это?» — подозрительно спросила обезьяна и подобрала с земли камень.

Хороший такой кремешок, с острым краем...

И перерезала пуповину, связывающую ее с инстинктом выживания вида; или, если хотите, с Законом Кармы. Не хотите? Полагаете, что Закон воздаяния за действия, отягченные человеческими страстями, не имеет ничего общего с выживанием вида?!

Вы неверно полагаете!

Волк никогда не додумается вырвать глотки всем полкам соседнего леса только потому, что ему не нравится окрас их шерсти или горбинка на носу. Его волчья карма просто не позволяет ему так думать. Не лезь на мою территорию, а в остальном живи и давай жить другим!

«Фивы зарвались!» — говорит какой-нибудь Александр Македонский, и сожженный город посыпается солью прямо поверх трупов горожан.

Олени бодаются за самку, и самый сильный гордо уходит сотворять потомство. Остальные расстроенно смотрят вслед рогатому красавцу и не прикидывают, как бы выкопать ему на дороге яму с заостренным колом посередине, а потом скопом изнасиловать вдову-олениху.

«Аллах не против!» — сопит недорезанный халиф Гарун аль-Рашид, и в гарем к престарелому импотенту волокут очередной десяток юных девственниц.

Подрубленное дерево вдруг расцветает и при последнем издыхании щедро расшвыривает во все стороны семена; Каин убивает Авеля, Иван Грозный — своего сына, Генрих не помню какой — жену, католики — гугенотов, сунниты — шиитов, фермер — вора, укравшего целых три кочана червивой капусты...

Шоу должно продолжаться!

«А почему это?!» — подозрительно спрашивает безволосая обезьяна и тянется за кремешком; за ножом, топором, автоматом, атомной бомбой...

Закон Кармы оберегал жизнь, любую жизнь; человек вырвал штеккер, объявив себя царем природы и созданием Бога.

Выясняющие отношения тигры не пускают в ход когти, обмениваясь оплеухами, ссорящиеся кобры не применяют свой яд — просто поднимаются на хвосте, кто выше, и расползаются удовлетворенными; играют в гляделки раздраженные гориллы — кто первым отвернется?!

Зато голуби частенько затаптывают друг дружку до смерти; и гибнут травоядные в брачных поединках.

Случается...

Хищник силен и агрессивен по натуре — и потому менее жесток вне стихии смертельной битвы. У хищника есть страшное оружие, но и не менее могучая узда, он не рвет горло сдавшемуся конкуренту и не догоняет проигравшего собрата; хищнику достаточно показать силу.

Зато слабый изначально слаб и поэтому жесток истерически: слабому постоянно надо силу доказывать!

Слабому человеку разум дал силу сильного, но, увы! — забыв при этом дать и сдерживающую уздечку могучего хищника.

Знающий не доказывает, доказывающий не знает — господа, мы бы с нашим характером тихо и незаметно вымерли!

Но человек понадобился Закону Кармы.

Своим разумом, душой, если хотите, волей и упрямством, своей противоречивостью и способностью вертеть Колесо Закона, расширяя возможности этого «чертова колеса».

«Кармо-комп» решил стать машиной следующего поколения.

И Карма прикрыла уродство человечества снаружи и изнутри. Инстинкт выживания вида заменили мораль и этика, нравственные заповеди, костыли, не позволяющие бегать, но дающие возможность хоть как-то передвигаться. Это сложно, это громоздко, требует постоянных изменений и дополнений — кого можно резать и предавать анафеме, а кого нельзя и по каким причинам?! — но худо-бедно работает. «Добродетель появляется после утраты Пути; человеколюбие — после утраты добродетели; справедливость — после утраты человеколюбия; ритуал — после утраты справедливости. Ритуал — признак отсутствия преданности и доверия. В ритуале — начало смуты».

А ты был весьма прозорлив, старый учитель Лао...

Снаружи же Система восприняла сохранность человеческого вида не как сохранность тел, но как сохранность душ. Именно души Карма принялась сохранять и изменять для выживания тернового «венца творения». Фиксация кармообразующих поступков — и посмертно-прижизненный вывод: стабилизация опасных пиков прошлого существования! Был диктатором или

садистом — поживи прачкой или уткой, поднаберись терпения и пугливости. А там, глядишь, начнется перенаселение, и понадобится парочка Чингисханчиков для сокращения числа лишних ртов.

Система человеческой моралью не отягощена; ей вид сохранять надобно.

Не бойтесь еще раз убивающих тело, души же убить не могущих!

Не боимся, шеф!

И под козырек.

К аспекту вида выживания
Относятся: укус, жеванье,
Глотанье и пищеваренье.
Кто сочинил? Венец творенья.

Зато души, очистившиеся от человеческих страстей (повторяю, от человеческих! — а не от страстей вообще), перестают совершать кармообразующие поступки!.. Они подключаются в святая святых и, являясь отныне частью Закона Кармы, непонятны людям, потому что люди ковыляют на костылях, а они бегут со всех ног!

Полагаю, я тоже непонятен файлам, вызванным на экран монитора.

Вывод?

Очень простой: наш приятель Фэн умудрился подключиться к Системе, но при этом каким-то чудесным образом не лишившись ДО КОНЦА чисто человеческих страстей. В результате он стал моральным вирусом во внеморальном Законе, но при этом и частью Системы, как раковая опухоль является частью организма.

И притом довольно активной.

Вот тебе, бабушка, и бой рук друг с другом: заварил повар крутую кашу, Система подвисает в противоречии и борется, по сути, сама с собой.

Но все же у меня остается один вопрос: почему именно Шаолинь стал загрузочным сектором «Кармо-компа»?

И ответ выскальзывает из рук.

Остается лишь пожать плечами и переложить все это языком Ли Бо и Конфуция.

— ...Разрыли могилу, а она пуста, — ни с того ни с сего произнес преподобный Бань. — Одна старая сандалия, и никакого тебе патриарха. Ищи-свищи Бородатого Варвара от Тибета до Окинавы... кому придет в голову наведаться в Лабиринт, да еще туда, где никто не ходит?

Змееныш Цай гонял мокрые разлапистые чаинки от одного края чашки к другому.

— Понятное дело, — согласился лазутчик. — Прятаться надо там, где не ищут. Даже если ты Просветленный Учением...

РАЗДУМЬЕ ЛАЗУТЧИКА

Тот, кто хорошо обороняется,
прячется в глубины Преисподней;
тот, кто хорошо нападает,
действует с высоты Небес.

Сунь-цзы

Великий учитель Сунь-цзы, которого без устали обязан цитировать любой, мнящий себя стратегом, был не прав.

— Пользование лазутчиками насчитывает пять видов: имеются лазутчики местные, встречаются лазутчики внутренние, бывают лазутчики обратные, существуют лазутчики смерти и ценятся лазутчики жизни.

Прости, знаток древности, — я, Змееныш Цай, лазутчик жизни и монах Шаолиня, утверждаю: есть шестой вид.

Лазутчики Кармы.

Лазутчики жизни — это те, кто возвращается.

Но возвращаются не они одни.

Патриарх Бодхидхарма, Просветленный Учением, был гениален, превратив захудалый монастырь во врата Закона.

Давно забыт истинный смысл созданного Бородатым Варваром способа обучения лазутчиков Кармы, но сэн-бины Шаолиня и по сей день идут тропой Патриарха-в-одной-сандалии.

Разве что по обочине.

Пришедший в обитель кандидат волей-неволей попадает в оборот: из-под него силой вышибают костыли нравственных правил «ли». Бедняга качается, готовый в каждую минуту упасть и больно удариться, он судорожно ищет оправдание ужасному

поведению монахов, он готовит жаркое из белого кролика и моет загаженный пол... все, что согласно прежним канонам было хорошо или плохо, правильно или не правильно, почтенно или недостойно, — все это полыхает сухими дровами в жарком огне!

Изучающие Путь! Нет святого Будды и грешного демона Мары! Бейте их обоих, и Будду, и Мару — если вы будете любить священное и ненавидеть обыденное, то вам придется вечно барахтаться в океане смертей-и-рождений! Это правда.

Бывший мирянин робко делает шаг к Закону. Он беспомощен, как младенец, но это его шаг. Он отказывает или соглашается не потому, что так учил Кун-цзы или «Книга Перемен»; так велит ему его сердце, так приказывает искренность текущего мгновения!

И шелуха прежних заблуждений мало-помалу сползает с него, иначе ему не обреют головы. Я прошел через это.

Далее у молодого монаха каленым железом выжигают обыденное сознание. Не опирайтесь на слова и знаки, не верьте учителю только потому, что он зовется учителем; если ты согласен с чужой мудростью — это твоя мудрость, а если не согласен, то не все ли равно, кто ее высказал первый?! Это единственный способ услышать «хлопок одной ладонью», познать «смысл прихода патриарха на Восток» и узреть весь мир на ладони.

Сойди с ума! Сойди, ибо уму невыносимо тяжело. Когда Будду Шакьямуни уговорили прочитать проповедь, он вдохнул аромат цветка и улыбнулся. Старец Махакашьяпа, единственный из собравшихся, улыбнулся в ответ.

Так родилось учение Чань.

Эту улыбку дарują молодому иноку Шаолиня вместо рассудка лавочника и привычек домохозяина. Надо думать, как думает ветер — дуновением. Я видел это.

И монах восходит на третью ступень — ступень воинского искусства. Безоружному дают оружие, которое нельзя отнять при его жизни; слабому дают непреодолимую мощь; ежедневно ставят перед смертью лицом к лицу, чтобы он мог понять: это иллюзия. Монах-воитель отращивает когти тигра и клыки дракона, но одновременно в нем исподволь, незаметно для него самого, прорастают и глубинные цепи, не позволяющие тигру перервать горло сдающегося соперника.

Лишь имея возможность убить, понимаешь, что можно и не убивать.

Самое опасное создание на свете — слабый трус в выигрышном положении.

Я убежден в этом.

И наконец — впереди возникает Лабиринт Манекенов. Ты можешь демонстрировать чудеса на учебной площадке, быть непревзойденным мастером парадоксальных бесед и топтать мораль «ли» по сто раз на дню... сейчас это неважно. Сейчас ты на грани своей собственной жизни и смерти и говоришь себе — это тоже иллюзия. Пройдя через стократную гибель, оставшись живым там, где жить нельзя, ты выходишь к славе и почету, к клеймам тигра и дракона! Но Бодхидхарма не был бы Просветленный Учением, если бы завершил на этом Путь.

У Пути нет конца.

Лабиринт нельзя пройти, если ты не забыл себя и не стал частью Закона Кармы. Пройдя же Лабиринт, ты идешь дальше — к прежней жизни. Так поступают лучшие ученики. Но те, кто перестал быть учеником... они проходят через смерть к жизни, но у самого выхода останавливаются, отказываясь от почетных клейм, — и возвращаются.

В смерть.

Вернее — некогда они возвращались.

Маленький Архат стоял на пороге места их упокоения.

Лазутчики Кармы — те, кто прошел Лабиринт Манекенов и вновь погрузился в круговорот существований. Карма в состоянии затребовать их в любой момент их будущей жизни; они подчинятся и сделают то, что необходимо.

Они вернутся.

Как Восьмая Тетушка.

Но Суть Закона, отдающая приказы, — их мумии до сих пор сидят в Лабиринте, там, куда не ходят сдающие экзамены сэнбины; а в свитках Преисподней у них не бывает новых записей.

Познавшие иллюзорность смерти и иллюзорность жизни; Руки Закона и Душа Закона.

Но все же: если человеческие страсти не дают нам войти в Карму, как кандалы не дают каторжнику бежать, то почему преподобный Фэн, повар-урод, сумел приобщиться к Закону таким, какой он есть?!

Что за бешеная страсть владеет поваром с диском?

И ответ выскальзывает из рук.

4

— ...Одной лишь думы власть, — хмуро буркнул Маленький Архат. — Одна, но пламенная страсть...

И украдкой покосился на Змееныша, стоявшего у окна.

Видимо, никак не мог привыкнуть к новому облику лазутчика; как, впрочем, и выездной следователь.

Судья Бао грузно поднялся на ноги и неторопливо стал прохаживаться по комнате.

В последнее время он старался чаще ходить — ноги после гостеприимства ванской темницы отекали и плохо слушались.

— Страсти — это по моему ведомству, — на восьмом шаге бросил выездной следователь.

РАЗДУМЬЕ СУДЬИ

Не меняются только самые мудрые и самые глупые.

Конфуций

Я — судья.

Когда хромая дочка зарезанного торговца И истерически кричит, что убийца — ее муж, а соседи в один голос утверждают, что мужа-пропойцы уже вторую неделю не видели дома, включая и день убийства... в такие минуты трудно рассуждать о Колесе Закона и Безначальном Дао.

Гораздо полезнее выяснить, что дочь торговца охромела в раннем детстве от пинка покойного папаши, да и муженек ее спился, не вынеся побоев и тиранства почтенного господина И.

Это позволяет отыскать истину, не прибегая к пыткам.

Искать всегда надо у истоков — именно там незаметный камешек перегораживает русло, чтобы гораздо позднее река прорвалась паводком.

Я — судья.

А шаолиньский повар Фэн — монах.

Если верить написанному в его Преисподней свитке — монах с четырех лет, с раннего детства.

Иной жизни, кроме монастырской, он не знал.

Интересно, задумывался ли кто-нибудь над тем, что самое великое свое деяние инок Фэн совершил в юности, уговорив одного из шестерых сэн-бинов взять его с собой, в армию повстанцев?!

Только вдумайтесь: отец-вероучитель наконец соглашается открыто выступить против династии Юань, шестеро самых знаменитых монахов уезжают из обители к «красным повязкам» спасать отечество — и с героями едет ничем на тот момент не

прославленный служка Фэн!

Это вам не дорога на Бэйцзин!

Надо быть истинным ревнителем Чжунго, чтобы настоять на своем перед лицом сурового патриарха Хой Фу и отправиться плечом к плечу с клейменными монахами-воителями в абсолютно неизвестный для юного монашка мир!

Страсть Фэна звалась патриотизмом.

Невероятной, неистовой любовью к родине.

Перекусить вражеское копье, получив жестокий удар в рот, и после этого не упасть замертво, а растерзать копейщика и кинуться в одиночку на полчища врагов... я не слышал подобного даже в песнях о подвигах седой древности!

И когда тяжело раненный служка после первого же сражения был возвращен в обитель — сжигавший его огонь более не находил выхода. Пламя грозило пожрать мечущегося на ложе Фэна, но закаленный клинок нелегко расплавить; в бушующем горниле любовь к отечеству и сокровенная сущность юного монаха срослись воедино.

Как волнистый узор переплетения стальных полос намертво впечатывается в тело меча.

Он ощутил себя Поднебесной; он сошел с ума.

Вспышка Просветления-У не дала мне рассмотреть, как именно это произошло. Но я глубоко убежден: однажды ночью, скорее всего грозовой ночью, юноша-инок с похожим на беса лицом встал с постели. В бреду, обессиленный, еще не полностью пришедший в себя после ранения, он самовольно открыл дверь Лабиринта Манекенов и встал на пороге.

Что мерещилось ему в этот миг?

Что впереди — проклятое сражение у озера Желтого Дракона? Что деревянные манекены — это ненавистные варвары-монголы, только теперь все произойдет совсем иначе? Что каждый его удар отбрасывает врагов на север, все дальше от границ империи?! Как бы то ни было, он прошел через Лабиринт — вернувшись через ту же дверь, в какую вошел! — и его руки легли на обод Колеса Закона.

Карма приняла патриота-безумца.

Я не знаю — почему; но было так.

С этого часа дела Поднебесной пошли на лад. Шестеро монахов превратили армию «красных повязок» в армию опытных воинов, и никто не задумался: можно ли за столь короткий срок человеческими методами вшестером обучить многотысячное войско?! Волна внезапных предательств подорвала династию Юань, и Пекин был очищен от монгольских ставленников, но победителям не пришло в голову: почему этого не произошло

раньше?! Монахи-воители стали сановниками при дворе, даже не подумав отказаться от чина и вернуться в родную обитель, — что двигало «ушедшими от мира», когда они тонули в болоте мирской суеты?! И в самом скором времени Шаолинь стал означать для ханьцев чуть ли не единственную опору государства.

А в Лабиринте все гулял по ночам странный урод, все сражался с деревянными манекенами... для него война еще не кончилась.

С одной стороны, последние пятьдесят с лишним лет и впрямь были благоприятны для империи — расцвет ремесел и торговли, великие морские плавания, наладились связи с сопредельными державами, отстроились города...

Любовь к отчизне расцветала пышным цветом; но завязь цветка крылась в темных глубинах Лабиринта Манекенов, а корни высасывали последние капли влаги.

Карма не может любить или не любить Поднебесную.

Приняв в себя безумца, Закон начал сходить с ума.

Фэн требовал — то есть часть самого Закона требовала! — и лазутчики Кармы на миг возрождались в безобиднейших людях, дабы предотвратить неслучившееся. Я не знаю, сколько возможных мятежей было предотвращено, я не знаю, отчего умирали те или иные сановники и простолюдины, сколько было уничтожено любимых собачек и тигровых орхидей... я и не могу знать этого.

Карма лелеяла государство; сумасшедшая нянька качала колыбель, ударяя ею о стены.

И все больше сходила с ума.

«Безумие Будды», встающие мертвецы, беспорядок в перерождениях, оборотни и демоны, надвигающийся конец света — итог безумств Закона.

Чтобы выжить, Закону пришлось схватиться с собственной частью, помешанной на патриотизме; нож лекаря вторгся в собственное тело, и клейменые руки прошлых жизней оказались в одновременной власти противоборствующих сторон.

Тигр схватился с драконом, не понимая, что делает.

Недаром для противовеса безумцу-повару Закону пришлось путем «Безумия Будды» убрать императора Юн Лэ и посадить на трон государя-безумца Хун Ци! Два диска с иероглифами «цзин» и «жань»; один из белой яшмы, второй из полированного дерева... И не случайно первым деянием государя было уничтожение шаолиньских монахов в Столице, вторым же шагом стал приказ двинуть войска на Шаолинь! Полагаю, Карма не различает отдельных людей — для нее сейчас очагом внутреннего разлада является вся обитель; вернее, все монахи с почетным клеймом на

предплечьях и все иноки, близкие к этому.

Однако: неужто одной песчинки хватило, чтобы заклинить Колесо Закона, и неужели одного монастырского повара оказалось достаточно для болезни Кармы?!

И ответ выскальзывает из рук.

5

...Преподобный Бань остановился у стены и долго смотрел на нее, словно там висел пейзаж работы великого художника или это была стена, которую девять лет созерцал великий Бодхидхарма.

— Когда твою голову выставляют на бамбуковом колу для обозрения зеваками, — тихо сказал монах, — это очень помогает отрешиться от суеты и по-другому взглянуть на собственные поступки. Впрочем, я не стал бы советовать многим идти этим путем.

Собравшиеся хотели было возразить, но раздумали.

И были правы.

РАЗДУМЬЕ ХЭШАНА

Бодисатвы видят, что они мужественны, здоровы, в броне, с оружием, величественны. Все зло и все разбойники могут быть захвачены и сломлены.

«Сутра золотого света»

На девятый год правления первого государя династии Мин к внешним воротам обители подбросили годовалого младенца.

Ребенка осмотрели, убедились в его здоровье и отдали в поселок слуг, одной из женщин.

Через полгода у ворот был обнаружен второй младенец.

Сперва это сочли неблагоприятным признаком, но патриарх был человеком несуеверным, и та же самая женщина приютила второе дитя.

В пятилетнем возрасте все, от мала до велика, путали подкидышей, даже их приемная мать.

А в шесть лет патриарх Сюань велел обрить малышам головы.

И осень успела двадцать один раз сменить лето, а на трон взошел государь Юн Лэ, прежде чем подкидыши вошли в Лабиринт Манекенов и прошли его до конца.

Первый — утром; второй — вечером.

А за две недели до того мы сражались друг с другом за право сдавать выпускные экзамены, и это был единственный случай в обители, когда после трехчасового поединка учителя-шифу прервали схватку и допустили к сдаче обоих.

Я не скажу вам, кто я на самом деле — преподобный Бань или наставник Чжан Во.

Не скажу потому, что под отрубленной головой было написано имя Чжана; не скажу потому, что остался один.

Один, как повар Фэн, но теперь я понимаю, что это не правда. Фэн тоже не одинок, иначе ему никогда бы не удалось натворить все то, что он совершил. Виноваты мы все. Над монастырем больше полувека висела аура мирской суеты, клубящейся сейчас в душе безумца повара. Обитель уже давно стала превращаться в академию сановников, училище светских воинов и советников; я говорю крамолу, но говорю ее искренне — патриарху Хой Фу не стоило вмешиваться в борьбу монголов и «красных повязок».

Карма вне человеческой морали; она не знает завоеванных и завоевателей.

Дух Чань, как улыбка Будды, как жизнь и смерть, не знает различий.

Моя вина!

Я ничем не отличался от прочих.

И Столица приняла меня с распростертыми объятиями.

Не спорю, тайная канцелярия сделала много добра для Поднебесной, но в ушедших от мира монахах, творящих миру осязаемое, плотское добро, крылся зародыш будущего сумасшествия Закона Кармы — а уродливый повар все сражался в Лабиринте с деревянными манекенами...

Дух, заповеданный Бородатым Варваром, выхолащивался, Рук Закона становилось все больше — мы проходили Лабиринт и шли дальше, к славе и великой цели! Но Душ Закона, возвращавшихся в комнатку мумий, больше не было.

Многорукое существо с куцей душой... мы имеем то, что имеем.

Ведь и я сам не вернулся в Лабиринт.

Я поехал в Бэйцзин и встал за спиной государя.

Да что там! Совсем недавно я убеждал судью Бао отказаться от выяснения подробностей покушения Восьмой Тетушки... предполагая банальный заговор в стенах родной обители, я предпочитал во всем разобраться сам, нежели позволить

постороннему, что называется, выносить огарки из пагоды!

Император Хун Ци прав: Шаолинь должен быть разрушен!

Сердце хэшана скорбит, смиряясь перед необходимостью.

Но я в недоумении: почему бы нам не обождать, оставаясь в Нинго, пока правительственные войска сожгут обитель и в Поднебесной воцарится прежняя тишина?

И ответ выскальзывает из рук.

6

...Все смотрели на Железную Шапку.

А даос молчал и деловито кромсал лист бумаги бронзовыми ножничками; ужасные существа выстраивались перед магом на столешнице, они шевелились, тоненько взлаивали, норовя разбежаться, — но чародей обмакнул палец в чай и очертил вокруг собственных порождений мокрый круг.

Любое из бумажных чудовищ, ткнувшись в липкую границу, отступало назад и продолжало бесцельно бродить в поисках выхода.

А даос все резал и резал, существ становилось больше и больше, а чайная граница высыхала, грозя исчезнуть совсем...

РАЗДУМЬЕ ДАОСА

Безначальное Дао не торопится, но никогда не опаздывает. Я — не Дао.

Лань Даосин

Им хорошо: они видят только то, что видят.

Для них мир — это мир, даже если он и раздроблен на Западный Рай, ад Фэньду и скобяную лавочку соседа Фу.

Я же вижу мир, как учил меня видеть мой учитель, небожитель Пэнлая, — подобно виноградной грозди.

Каждая ягода достойна собственного мироздания.

Но если кто-то захочет получить вино...

Я вижу, смежив веки: гроздь медленно и неумолимо сдавливается в чужом кулаке, и та ягода, в которой мечется крохотная Поднебесная, грозит лопнуть. Ягоды-товарки, более

зеленые, но зато и более плотные, напирают крутыми боками, и наша тонкая кожица из последних сил сдерживает этот напор.

Если кожица прорвется хотя бы в одном месте — вместо ягоды получится каша, остро пахнущая давленым виноградом.

Увы! Я, недостойный отшельник Лань Даосин по прозвищу Железная Шапка, являюсь частицей кожицы.

Я и подобные мне, кто в силах распознать опасность и увидеть если не всю гроздь целиком, то хотя бы ближайшие ягоды, — мы сдерживаем напор, но силы наши на исходе.

И все чаще за спинами чуждых вестников, глашатаев надвигающегося конца света мнятся бедному даосу две страшные фигуры, одна — в белом траурном одеянии, другая — в черном плаще из кожистых крыльев.

Добро и Зло.

Две крайности, два начала, отвергнувшие друг друга; оспаривающие друг у друга этот мир, не знающий ни чистого Добра, ни чистого Зла.

Как мне объяснить судье, монаху, лазутчику и ребенку, что ждать больше нельзя?

Что уже вчера было поздно?!

Глава четырнадцатая

1

Они шли гуськом, сгибаясь в три погибели.

Все, кроме Маленького Архата.

Высота потайной галереи позволяла мальчишке идти в полный рост — вот он и шел, ровно, размеренно, ни секунды не задумываясь о том, куда поставить ногу или куда свернуть; малыш-инок был сейчас похож скорее на небожителя, прогуливающегося в облаках, чем на одиннадцатилетнего монашка-беглеца, предательски ведущего в самое сердце Шаолиня целую ватагу, двое из которой были чужаками, один считался мертвым, да и прочие...

Все-таки хорошо, что Маленький Архат шел первым и впереди не было никого, кто мог бы заглянуть ему в глаза. Например, даоса весьма заинтересовал бы этот бездонный и безмятежный взгляд, где нет-нет да и пробивалась тревожная нотка: словно случайный прохожий то и дело выглядывал из-за спины просветленного архата.

Но даос шел третьим и не имел возможности заглянуть в

глаза мальчишке.

Судья Бао шел вторым. Крохотный светильничек в его руке скорее создавал иллюзию света, чем действительно светил; язычок пламени плескал на стены тенями, ноги еще плохо слушались выездного следователя, и он без стеснения положил свободную ладонь на плечо юного проводника.

Плечо на ощупь напоминало сглаженный край речного валуна.

Лань Даосин настаивал, чтобы судью вообще оставили дома и не брали с собой в Шаолинь. В намечающейся стычке с безумным Фэном от измученного Бао, чувствовавшего себя далеко не лучшим образом, было мало толку; это признавали все, включая самого судью. Даос долго высказывался по этому поводу, потом Маленький Архат тоже высказался совершенно непонятными словами, но суть сводилась к одному: идти должны все, иначе ничего не получится! Змееныш молчал, преподобный Бань неожиданно поддержал даоса, но в конце предложил и самого Лань Даосина оставить в Нинго вместе с судьей, после чего все переругались...

А судья Бао встал и ушел во двор.

Где приказал домашним к утру собрать его в дорогу.

Тем спор и кончился.

Всю дорогу выездной следователь был весел, шутил и приставал к встречным женщинам, что, в общем, было на него не очень-то похоже; Железная Шапка озабоченно хмыкал и ночами ворожил над спящим другом.

Вот и сейчас — даос шел сразу за судьей, и его знаменитая шапка размазывала по металлу маслянистые блики. Перед самым Хэнанем почтенный Лань изменил своему драному халату из полосатой ткани, облачившись в традиционное одеяние магов, постигших Безначальное Дао, и алые цвета отливали в темноте кровавым багрянцем, а золото тускнело и покрывалось плесенью.

В таких подземельях только рванье и носить...

Шаг в шаг с даосом беззвучно ступал Змееныш. Лань Даосин даже оглядывался несколько раз — идет ли за ним кто-нибудь? Идет... скользит, с пятки на носок, переливается во тьме... тень хоть отбрасывает?! Не понять... Даос поворачивал голову обратно и шагал дальше, а лазутчик жизни все вслушивался — не раздастся ли где-нибудь вдалеке сухой деревянный треск, не подскажет ли, есть сейчас в Лабиринте уродливый повар или пока что не сподобился покинуть кухню?

Тишина.

Только еле слышно шуршит за спиной ряса-кашья преподобного Баня, замыкающего шествие.

— Похоже, нету нашего дружка Фэна, — вдруг тихо бросил Маленький Архат, словно отвечая на тайные мысли Змееныша. — Иначе уже трещал бы как сорока...

— Может, у дверей стоит? — поинтересовался судья Бао.

— Может, и стоит... а захочет войти, так наш лазутчик его мигом учует. Повар тихо входить не умеет, он сперва дискету к Лабиринту примеряет...

Малыш-инок замолчал, а судья Бао обратил внимание: во время недолгого разговора плечо мальчишки стало мягким, обычным, человеческим, а теперь опять окаменело. Как если бы в поводырях у выездного следователя был не один, а два человека, и оба они изредка менялись местами.

Но размышлять над этим уже было некогда, потому что Маленький Архат опять остановился, что-то сделал — и дверь, только что бывшая частью стены, начала без скрипа поворачиваться, открываясь.

Через мгновение в комнатке мумий стало тесно от живых.

***

Потом все забудется.

Ну, не все — но многое. Одно останется в памяти у пятерых навсегда: как преподобный Бань тихо прошел вдоль застывшего ряда добровольно ушедших в Карму, от могучего Бодхидхармы до неизвестного монаха с родимым пятном во всю щеку; беззвучно шепча то ли молитву, то ли... прошел, долго стоял у пустого места в конце ряда и наконец сел на пол, скрестив ноги и завалив угольные озера своих глаз валунами век.

Что видел он в этот миг? Как стоит у выхода из Лабиринта, на предплечьях его дымятся священные знаки, впереди ликует братия, а за спиной ждет вот это самое пустое место в конце безмолвного строя? Ждет, нагревается втайне — одумается Бань, вернется... не вернулся.

Нет, вернулся.

Только поздно.

— Не трогайте его. — Маленький Архат вздохнул и двинулся прочь, из места покоя дальше в Лабиринт. — Не надо. Он сам нас догонит.

И они двинулись гуськом: малыш-инок, судья Бао, оставив погасший светильник у стены, сумрачный даос и идущий за ним

след в след Змееныш Цай.

А мумии улыбались вдогонку людям неподвижными лицами...

2

Тишина обманула их.

Подлая, густая, как парное молоко, тишина того места, где боковая галерея встречалась с основной; совсем неподалеку от примолкшего строя деревянных манекенов.

Просто из молчания и пыльного мрака беззвучно возникло лицо беса и каменно-твердый кулачок, стремительно летящий в голову Маленькому Архату.

В мягкий мальчишеский висок.

Преподобный Фэн уже третьи сутки вообще не покидал Лабиринта.

Не правда, что в такие минуты время начинает ползти медленно-медленно и можно успеть сделать очень много всякого, прежде чем... Ложь! Или заблуждение неопытных. В бою время мчится подобно стреле, мгновения вспыхивают горстью пороховых песчинок, и только потом, гораздо позже ты в состоянии понять, что было и было ли что-то... если, конечно, останешься в живых.

Медленно время тянется в темнице.

Судья Бао даже в лучшие годы не сумел бы отразить удар шаолиньского монаха. А сейчас, изнуренный длительным заключением, не обладая ночным зрением Змееныша и будучи вынужден полагаться лишь на собственную ладонь на плече малыша-инока — сейчас он был беспомощен. Он даже не догадался, что цель похода настигла их сама и в кулаке из темноты зажата тихая смерть. Просто сердце сбивчиво екнуло, воздух стал горьким и шершавым, а тело наполнила вялая слабость; Бао ничего не успел увидеть и понять, кроме одного.

Впереди опасность, а между опасностью и судьей стоит Маленький Архат.

Маленький.

И выездной следователь сделал единственное, что было в его силах.

Не останавливаясь, он резко шагнул вперед, всем весом налетев на своего поводыря. Не ожидая толчка сзади, да еще толчка преизрядного — даже исхудавший на ванских харчах

судья был трижды дородней мальчишки! — Маленький Архат оказался сбит с ног. Пропахав носом землю, малыш кувыркнулся и вскочил уже в основной галерее с запоздалым воплем негодования...

А кулак повара Фэна наискось угодил в грудь судьи, туда, где только что находилась голова Маленького Архата.

Ударил, прилип на миг, на неуловимо короткое мгновение, страшно выпятив мраморные грани, — и отдернулся.

Как не бывало.

Выездной следователь еще удивился, что боли не было. Ничего не было — ни боли, ни крика, ни мигом отнявшихся ног... ничего. Просто глинистый пол сперва глухо толкнулся в колени, потом — в плечо и затылок... и вот тут проклятое время решило все-таки замедлиться, а то и вовсе остановиться.

Совсем ненадолго.

Ровно на секунду, чтобы повнимательнее рассмотреть упавшего судью, скорчившегося подобно младенцу в утробе матери, и монастырского повара-урода, наклонившегося перерезать пуповину.

Пуповину, связывающую судью Бао с жизнью.

Но смертоносные руки монаха на полпути заплела паутина ало-золотистых рукавов, сухие пальцы сноровисто перебрали воздух, словно струны цитры; и с досадливым взвизгом — словно клинок скользнул по доспеху — повар Фэн отскочил назад.

За массивным телом судьи настороженно пригнулся щуплый даос в одеянии магов-алхимиков и в железной шапке, похожей на рыбий хвост.

На колдовство времени не оставалось, да и не знал почтенный Лань — возможно ли колдовство в Лабиринте Манекенов? Не знал он этого, а проверять не хотел. Опаздывали небесные полководцы, бумажная гвардия оставалась невырезанной и бесполезной, тайные слова присохли к языку — а у ног грузно ворочался обеспамятевший друг. И если бы Безначальное Дао приказало Железной Шапке: «Уйди прочь!» — лишенный страстей даос лишь оскалился бы по-волчьи и не уступил дороги.

Вечерним листопадом плыли рукава, алые с золотом, грозно и трепетно колебля невидимые пряди... плыли, летели, кружились над хрипящим судьей.

На стороне Лань Даосина сейчас было тайное мастерство отшельников с гор Удан-пай и неожиданность вмешательства — но второе кончилось. А первого не хватило.

Исполосованное страшными рубцами лицо внезапно взмыло в воздух, босая ступня на лету сшибла с замешкавшегося даоса его

шапку, и та покатилась с глухим звяканьем, а вторая ступня подобно жалу шершня прорвала осеннюю паутину, разбрызгав в стороны лопнувшие нити, — и судья Бао успел застонать, прежде чем захлебнулся.

Потому что на судью рухнул бесчувственный даос.

Гнусавое хихиканье раздалось в попятившейся тьме; смеялись галереи, влажные стены, хохотала «купель мрака», отзывались деревянные манекены, усмешливо рыкнул тигр на левом предплечье Фэна, отшвыривая прочь кинувшегося было в свалку Маленького Архата... призрачное ликование охватило Лабиринт.

И с яростным весельем отозвалась змея, в жалящем броске распластавшись над баррикадой из тел судьи и даоса.

Они переплелись, покатились, разорвав смертельное объятие уже в основной галерее, почти сразу же вскочив на ноги, — и замерли друг против друга, Фэн и Змееныш Цай, повар и лазутчик, монах и... монах.

Не дожидаясь, пока урод повар разорвет его на части ста тридцатью возможными и тремя невозможными способами, Змееныш прыгнул вперед; и орел попытался впиться в горло, как учили лазутчика по дороге на Бэйцзин.

Ребро левой ладони сбило мелькнувший кулак повара в сторону — эхом отдалось в плече, чуть не вылетевшем из сустава от соприкосновения с плотью безумца! Но растопыренные когти правой уже почти вцепились в торчащий кадык, острый бугор на жилистой шее... Промах! Ногти Змееныша лишь слегка пробороздили кожу повара, ближе к выпирающей ключице, царапины мигом набухли кровью... И это означало, что второй попытки у лазутчика скорее всего не будет.

Не такое здесь место, не для того строился Лабиринт Манекенов, чтобы давать неудачникам вторые попытки...

Что же ты медлишь, безумец Кармы?!

Фэн не спешил нападать.

Он стоял, задумчиво скребя пальцем рубцы щеки, потом наклонился и поднял валявшийся неподалеку диск.

Рукавом стер один иероглиф.

Писать ничего не стал.

— Не так, — наставительно сообщил повар, зажимая диск под мышкой. — Не так...

И, не выпуская диска, повторил движение Змееныша.

Повторил со сноровкой подлинного мастера, завершив смертоносный захват орлиных когтей в воздухе, и, казалось, темнота вскрикнула от боли.

— Нет, не так, — еще раз повторил повар то ли себе, то ли лазутчику.

Деревянные манекены захлебнулись восторгом, когда орел снова впился в горло.

Повар покосился на Змееныша — смотрит ли? внимает ли? — и продолжил демонстрацию.

Словно забыв, где он и кто перед ним.

И спустя мгновение когти щелкнули у самого лица лазутчика жизни.

— Не так...

Орел помедлил, глухо захрипел и стал расправлять крылья.

***

Говорят, перед смертью человек видит всю свою жизнь; всю, без остатка.

Возможно.

Змееныш ничего не видел. То ли жизнь у него оказалась не такой, чтоб просматривать ее в последний момент, то ли еще что... но причина странного поведения повара стала внезапно ясна для лазутчика.

Карма в лице государя не различала отдельных людей и требовала уничтожения всех монахов обители. Карма в лице монастырского повара твердо знала; монастырь Шаолинь есть благо Поднебесной! Вся братия без исключения! А Змееныш принял монашество в обители близ горы Сун так же, как и все, честным путем — правда, с не совсем честными намерениями! — и для безумца повара лазутчик жизни был в первую очередь шаолиньским монахом.

Тем, кого надо учить, а не убивать.

Именно поэтому, повинуясь приказам учуявшего опасность безумца, Змееныша по дороге на Бэйцзин в первую очередь пытались остановить! Остановить, сломать ноги, вывести из строя...

Но почему Фэн только что пытался нанести смертельный удар Маленькому Архату?! — увы, Цаю не хватило времени вскрыть и этот нарыв.

Да и не смог бы понять многоопытный лазутчик, что малышинок для безумного повара являлся двумя людьми, и если одного из них надо было учить и оберегать, то второй заслуживал немедленной смерти!

Нет, прошедшей жизни Змееныш не видел. Просто он успел недоуменно пожать плечами, пока орел напротив него выяснял

разницу между своим и подброшенным птенцом, расправляя крылья.

3

...Вздрогнул Лабиринт.

Шевельнулся глинистый пол под ногами, отряхнулись брызгами стены, и лазутчик судорожно зажмурился — ослепила вспышка ороговевших пальцев-когтей, полыхнувшая совсем рядом.

Ослепила, обожгла...

Но и с закрытыми глазами Змееныш продолжал видеть Лабиринт, где крался вместе с Маленьким Архатом вслед за безумным поваром... Лабиринт, галереи, суровый строй манекенов-убийц, и рядом с каждым — еле различимый силуэт.

Ближе всех стояли двое: безвекий и однорукий.

Бодхидхарма и его преемник, второй патриарх Шаолиня Хуэй-кэ.

«Если у второго патриарха нет руки, — вдруг подумалось Змеенышу, — то где же у него выжигались почетные клейма?!»

Мысль была настолько глупой, что умирать с ней не хотелось: ни у кого из обитателей тайной комнаты не было мастерских клейм — они не покидали Лабиринта, не обнимали раскаленный кувшин при выходе и не нуждались в знаках-подтверждениях.

Змееныш открыл глаза.

Прямо перед его лицом тигр сцепился с драконом.

Правая рука — с левой.

Преподобный Бань успел вовремя.

А призраки все стояли в обнимку с манекенами, все смотрели на копошащихся во тьме людей...

***

Они замерли друг против друга — два лучших бойца Поднебесной.

Припавший к земле клейменый сэн-бин, мирской символ Шаолиня последних десятилетий, сражавшийся на всех помостах империи, и никому не известный вне обители повар, взмывший

вверх и распластавший руки-крылья под самым потолком, сочившимся влагой.

Дети Лабиринта.

И виделось небывалое: на предплечьях Фэна синеватым светом отблескивали такие же тигр и дракон, какие были выжжены на руках монаха из тайной службы, — только мастерские клейма повара больше походили на трупные пятна.

Казалось, улыбки пробежали по вырезанным лицам манекенов, и бесстрастно усмехнулись призраки: никогда за всю историю Шаолиня в Лабиринте не сражались человек с человеком, монах с монахом.

Но умерла минута, затем другая, и тряпка разочарования мигом стерла чудовищное веселье, как иероглифы с деревянного диска, — повар-урод вдруг неуклюже качнулся, крылья опали двумя плетями, дико задергались рубцы на щеке, приоткрылся провал искаженного рта...

— Наставник Чжан? — робко прозвучало во тьме.

Монах из тайной службы не двинулся с места.

— Наставник Чжан? — Слова падали из черной пропасти рта в черную сырость, и от каждого слова деревянные манекены пробирала неведомая им дрожь. — Это вы? Это действительно вы?.. Мальчик мой...

В боковой галерее ворочался, пытаясь встать, даос.

Беззвучно стонал судья Бао.

Прижался к стене малыш-инок.

Утонул в туши, пролитой из чернильницы Закона, лазутчик жизни.

Скалились звери с рук монаха; скалились мертвой усмешкой, словно отрубленная голова на бамбуковом колу.

— Мальчик мой... мне снилось, что ты погиб!.. Что твои прославленные руки прибиты на потеху зевакам... Я не верил! Я знал — это ложь!.. Я знал... то был злой сон!.. Злой...

Сухой стук — диск с иероглифами вывалился из-под мышки повара, но преподобный Фэн не заметил этого. Едва волоча ноги, словно на него разом навалились все восемьдесят пять прожитых лет, изуродованный повар двинулся к монаху.

Тот не шевелился.

Лишь сутулился — едва заметно, как под кангой Восточных казематов.

Приблизившись вплотную, повар внезапно рухнул на колени и припал бледными губами-шрамами к ладони монаха.

— Наставник Чжан... — скорбно прошуршало по Лабиринту. — Ах, наставник Чжан...

Одинокая слеза мутным высверком запуталась в рубцах,

вильнула в сторону, к шевелящимся губам; смешала соль свою с солью еле слышного шепота и омыла чужую ладонь.

— Мне снился сон, наставник Чжан...

В это мгновение Змееныш ужалил.

4

— Если хочешь, теперь ты можешь убить меня, — сказал лазутчик преподобному Баню, глядя на поверженного повара — крохотную скорчившуюся фигурку, тщетно пытавшуюся только что дотянуться до своего диска.

— Он мертв? — после долгого молчания спросил Бань, отворачиваясь.

— Еще нет. Обычный человек после «змеиной жемчужины» лежит в оцепенении до получаса и лишь потом уходит к предкам; этот протянет не меньше часа.

Подошедший сзади Маленький Архат тронул плечо монаха. Для этого малышу даже не пришлось тянуться — преподобный Бань все еще находился в боевой стойке, словно готовясь к несостоявшейся схватке.

Детская ладонь погладила напряженные жгуты мышц, двинулась по еле зажившим шрамам от канги — и преподобный Бань шумно вздохнул и расслабился.

— Что же теперь? — спросил он.

— Не знаю, — ответил лазутчик.

Он и вправду не знал.

Лань Даосин удостоверился, что судья Бао еще дышит, подобрал любимую шапку, нацепил ее на макушку и принялся ворожить над раненым другом.

— За все надо платить, — бросил даос, не отрываясь от своего занятия. — За все...

— Это ты о нем? — Змееныш мотнул головой в сторону недвижного Фэна.

— Нет. Это я о нас. Мы сделали предначертанное и теперь можем не радоваться победе и не унывать от поражения. Потому что мы победили и проиграли. Одновременно. Смерть безумца повара ничего не изменила. Смотрите.

Железная Шапка порывисто встал и, не глядя, мазнул рукавом по ближайшей стене. Ослепительный свет заставил всех зажмуриться, а когда глаза вновь обрели способность видеть — стены не было, и медный диск солнца купался в желтой пыли,

покрывавшей равнину...

***

И день отшатнулся от равнины Армагеддона, поля Рагнаради и места Судного Дня.

Плечом к плечу стояли они на холмах, скудной цепью ограждая миры Желтой пыли — чародеи-даосы в ало-золотистых одеяниях, лазоревые небожители Пэнлая и Западного рая, ощетинившиеся демоны ада Фэньду, Яшмовый Владыка, Князь Темного Приказа, грустная богиня Чанъэ, бодисатва Гуань-инь, царь обезьян Сун У-кун, старец Шоусин...

А на них, волна за волной, накатывалось неведомое.

Трубил рог Хеймдалля, предвещая всеобщую гибель, и вторили ему трубы Дня Гнева, звезда Полынь рушилась в пенящиеся водоемы, пес Гарм с обрывком привязи на шее несся рядом со всадником бледным, имя которому — смерть; железнокрылая саранча расплескивала валы озера серного, мертвые вставали из могил, Число Зверя проступало на чешуйчатом небосводе, а за неисчислимыми рядами атакующих колоннами возвышались две фигуры: одна в белом трауре, вторая в черной коже.

Ждущие своего часа Добро и Зло.

Только Добро и только Зло.

«Кар-р-рма!» — хрипел гигантский ворон, чуя поживу.

И Владыка Янь-ван еще успел лихо закрутить ус и наклониться к Владыке Восточного Пика, чтобы подбодрить друга перед последним сражением...

Они стояли скудной цепью на холмах.

Они еще стояли.

***

— Скоро нас не будет, — тихо добавил Лань Даосин, и видение исчезло.

Темнота ослепила замерших людей; темнота была ярче света.

— Очищение диска, — выдохнул Маленький Архат. — Жесткое очищение...

Никто не поинтересовался: что имел в виду малыш-инок?

К чему?

— Должен быть другой способ... — бормотал мальчишка. — Должен быть... не может не быть...

Он вдруг вскрикнул и вцепился в отвороты халата лазутчика.

— Мессия! — Слюна брызгала в лицо Змеенышу, но тот не отворачивался, завороженный сияющими глазами Маленького Архата. — Мессия очищает диск! Без светопреставления! Слышишь, ты, змей ползучий, — Мессия очищает диск! Своей гибелью искупая грехи живущих!

Змееныш слышал.

И все слышали.

Что с того?

Пальцы Маленького Архата разжались, дитя-инок мешком опустился на землю и заплакал. Сидя рядом с парализованным поваром, он рыдал от бессилия, от невозможности объяснить кому бы то ни было в этой чертовой Поднебесной, что значит — Мессия.

Никогда за века существования Чжунго здесь не возникала идея Спасителя, Сына Божьего, но и Сына Человеческого, способного умереть за людей, взяв на себя их прегрешения!

На короткий миг очистив диск Закона ценой собственной страшной смерти.

5

...Мне было плохо, как никогда.

Мне было хуже всех.

На самом краю пропасти успеть остановиться, лишь мельком заглянув в открывающуюся бездну, с облегчением перевести дух, вытереть со лба ледяной пот — и услышать за спиной грозную поступь начавшегося оползня!

Вот он, у моих ног, у наших с моим мальчиком колен — поверженный вирус, бедняга повар, свихнувшийся в проклятом Лабиринте, вот он, изуродованный жизнью корень всех зол, только Системе этого мало, ей надо все или ничего, а наши боль и отчаяние она в лучшем случае запишет и сбросит в архив за миг до светопреставления!

Сволочь!

Колесо бесчувственное!

Дай мне неделю... дай мне хотя бы день! — и я наизнанку

вывернусь, а заставлю умников ханьцев понять, попробовать, попытаться сотворить чудо! Не может быть, чтобы не нашлось выхода, чтобы они не сумели понять такие простые и такие сложные слова:

«МЕССИЯ ОЧИЩАЕТ ДИСК!»

Не может быть...

«Конечно, — беззвучно ответил мне мой мальчик. — Конечно...»

Я чуть сгоряча не окрысился на него, чуть было не взорвался фейерверком несправедливой злобы, едва не восстал на того, в чье сознание попал волей случая и чье тело делил третий год... я чуть было не натворил бед.

Не успел.

Потому что сердце дурачка музыканта привычно распахнулось, впуская в себя весь мир, и ужас объял меня, и объяли меня воды до души моей.

Я забыл, с кем имею дело.

И когда вспышка прозрения ослепила глупца прагматика, прячущегося в чужой сути, как мышь в амбаре, когда тело вновь перестало существовать, а душа забыла человеческие имена, которыми ее награждали на всех перекрестках Бытия; когда горы неожиданно стали горами, моря — морями, а быть или не быть — смешным вопросом, не имеющим никакого отношения к повседневности, назвавшейся Абсолютом...

«Нет! — кричал я, захлебываясь первобытным страхом. — Не делай этого! Остановись! Пусть Поднебесная катится в тартарары, пусть Система очищает диск как ей заблагорассудится, только, умоляю, не делай этого...»

«Конечно, — тихо отозвался мой мальчик, — конечно...»

Единственный, кто успел услышать меня; услышать и понять.

Он шел умирать.

Умирать, впустив в себя весь испоганенный мир.

Умирать, как представлял себе это я, — страшно.

Как и подобает Мессии.

«Не делай этого! Я... я боюсь!.. подожди...»

«Конечно...»

И я, бесчувственное чудовище ископаемых времен, завизжал обезумевшим животным под ножом мясника, — на одну судорогу обретя и тут же снова утратив власть над телом, когда мой мальчик встал, улыбнулся ничего не понимающему Змеенышу и сделал первый шаг.

Но второго шага ему сделать не удалось. Потому что пальцы уродливого повара цепко охватили нашу щиколотку.

После «змеиной жемчужины» не встают.

Змееныш это знал наверняка. Он знал это, кубарем летя от беспощадной подсечки, выдернувшей из-под лазутчика землю вместе с ногами; он знал это, сшибая Маленького Архата, упавшего ловко и легко, как малыш-инок не падал никогда; он знал это, видя отчаянный рывок преподобного Баня, успевшего вырвать изрядный клок из поварской рясы-кашьи, прежде чем безумный Фэн оказался вне досягаемости...

После «змеиной жемчужины» люди не встают.

А бесовское лицо уже скалилось в трех шагах от ближнего манекена, гостеприимно открывавшего строй.

Фэн на мгновение задержался, обернувшись, — знал повар, нутром чуял, что никто не последует за ним к деревянным убийцам!.. Лишь монах из тайной службы сдвинулся на пядь и сверкнул угольным пламенем из-под век.

Но и преподобный Бань остановился, замерев рядом с лазутчиком, потому что обоих поразил облик сбежавшего безумца Кармы.

Тьма ласковыми прикосновениями сглаживала уродство повара, вспухшие рубцы казались тенями, невесомо павшими на человеческую плоть, провал рта не напоминал более «купель мрака», и смутная обреченность проступила в сухой старческой фигурке.

Обреченность и решимость.

А в глазах зажившегося на земле монастырского повара тихо светились усталость и покой, оплывающий восковыми слезами покой, какой изредка стынет во влажной глубине взгляда загнанной лошади, когда ее наконец перестанут хлестать и милосердно оставят подыхать на обочине, без кнута и хрипа запаленных легких.

Змеенышу еще показалось, что улыбка мимоходом растянула безгубый рот, умиротворенная улыбка лика над алтарем, намек на потаенную радость, зародыш учения Чань, единственного учения, полагающего смех не только полезным, но и жизненно необходимым... впрочем, так это было или не так? — какая разница, если босая ступня повара уже поползла по земле, пересекая грань между «сейчас» и «никогда».

Грубо вырезанный воин на ребристом столбе скрипуче крутнулся, размоталась невидимая до того цепь с шипастым ядром на конце, и ровный свист рассек тишину Лабиринта Манекенов. В последний момент Фэн прогнулся назад, дробно

переступив ногами, и ядро миновало его голову, а мелькнувший снизу брус злобно щелкнул, не сумев ударить по голеням, — но когда уже безобидное ядро пошло на второй круг, повар неожиданно вскинул руку.

Левую.

Потому что в правой он держал невесть когда поднятый с земли диск.

И торчащий шип ядра вспорол предплечье безумца до кости.

Крови видно не было. Темнота скрадывала почти все, сам Фэн не издал ни звука, словно не его тело только что раскромсала отточенная сталь, и кинулся вперед, как ребенок всем телом рушится в набегающую волну.

Увернувшись от проволочной плети, зажатой в медном кулаке раскрашенного демона, повар смахнул в сторону граненый молот, принадлежащий кому-то высокому и узкоплечему, присел на широко расставленных ногах... острые концы плети пробороздили ему спину, когтями вздыбив кашью вместе с кожей, а молот удивленно издал сухой треск, перебив уже искалеченную шипом руку в локте.

Повар счастливо расхохотался, неловко сунул диск под мышку и отправился дальше.

Он плясал в месиве взрывающихся клинков, дубин, цепей и рычагов, манекены хрипло вскрикивали от недоумения и били наотмашь, промахиваясь и попадая, раскручивая пружину и повинуясь приказу умершего восемь веков назад механика, не понимая, что происходит, готовые в любую секунду рассыпаться и похоронить под собой невероятное существо, сроднившееся с ними, с деревянными экзаменаторами, с легендой Шаолиня; а человек смеялся над куклами, заставляя делать то, чего хочет он, и только он.

Он хотел умирать по своему выбору, и делать это так долго и страшно, как это только возможно.

И даже как невозможно.

А Змееныш мертвой хваткой вцепился в преподобного Баня, удерживая того от вмешательства, и бодисатва из тайной службы рычал и выплевывал соленые ругательства портового сброда, соленые от слез и крови из прокушенной губы, потому что мастерства клейменого мастера сейчас не хватало, чтобы заставить взбесившуюся змею разжать кольца, окаменевшие на нем.

И вздрагивал Маленький Архат, словно каждый удар, попадавший по повару, попадал по нему.

«Каким путем поведете вы этого беспутного, Просветленного, владеющего безграничными сферами, — эхом отдавалось под

сводами Лабиринта Манекенов, и весь Шаолинь испуганно внимал гулу судьбы, — у которого победа не превращается в поражение и чья побежденная страсть уже не продолжается в этом мире?!»

Безумец Кармы полз — идти он больше не мог, последний удар раздробил ему колено, и обнажившаяся кость страшно белела во мраке.

Но он полз.

И волочил за собой диск.

«Каким путем поведете вы этого беспутного, — кричали восемь столетий, пронесшиеся над обителью, и скорбно молчали призраки во главе с Бородатым Варваром, — Просветленного, обладающего безграничными сферами, у которого нет ни привязанностей, ни желаний, сбивающих с дороги?!»

Каким путем?

А манекены все били и били...

Исковерканное существо выбралось из мелькания и грохота на том конце галереи; оставляя за собой кровавый след, полураздавленный червь рывками двинулся дальше, подолгу оставаясь на одном месте и содрогаясь в агонии, но время шло, червь дергался и полз вперед.

Волоча за собой диск, чудом оставшийся невредимым.

Вскоре он скрылся из виду.

***

...Долго, очень долго люди в Лабиринте не могли шевельнуться.

Каким путем вы поведете...

Застывшие манекены молчали.

Они тоже не знали — каким?

Наконец Маленький Архат шевельнулся, неловко сделал первый шаг, словно забыв, как это делается, и побрел обратно, в тайную комнату мумий.

Малыш-инок не оглядывался, да это было и ни к чему: остальные послушно шли за ним.

Лань Даосин поддерживал судью Бао; несколько раз Змееныш пытался с другой стороны помочь идти выездному следователю, грузно навалившемуся на щуплого даоса, но Железная Шапка только сверкал очами из-под косматых бровей, и лазутчик жизни отставал.

Дойдя до заветной комнаты, малыш-инок надолго застыл на пороге; его не трогали, не пытались заглянуть через голову... Маленький Архат вытер слезы и шагнул внутрь, уступая дорогу.

Перед строем мумий навзничь лежал человек.

Не похожий на человека.

Как безумец Кармы, монастырский повар Фэн сумел доползти сюда — оставалось загадкой Лабиринта, одной из многих.

Рядом с нелепо вывернутой головой человека, краем касаясь треснувшего затылка, лежал диск из полированного ясеня.

Между поваром и недвижным Бодхидхармой; как раз на середине.

И трещина змеилась по дереву, вспарывая годовые кольца, словно страшный удар расколол одновременно и голову, и диск.

Поверхность диска была чиста, лишь сбоку робко прилепился один-единственный иероглиф.

«Цзин».

Чистое.

Даос неуклюже взмахнул свободной рукой, и на ближайшей к поверженному Фэну стене проявился смутный контур...

***

Они стояли скудной цепью на холмах, на границе миров Желтой пыли.

А равнина перед ними была пуста, и ветер качал пушистые метелки трав.

Они стояли скудной цепью.

И небожитель Пэнлая, стоявший под стягом с изображением осла и надписью: «Ваш покорный слуга», недоуменно озирался по сторонам.

***

Маленький Архат наклонился и ладонью стер с треснувшего диска последний иероглиф.

— Пошли, — тихо сказал малыш-инок, не зная, что в эту самую секунду государь Хун Ци счастливо расхохотался знакомым смехом, разбил о перила Тайхэдяня диск из белой

яшмы и острым краем перерезал себе горло.

Завершив Эпоху Обширного Благоденствия.

— Пошли, — повторил Маленький Архат.

Но еще долго они стояли без движения, рядом с мумиями и безумцем Кармы; а ветер на стене все играл с травами, осыпая светящийся пух...

7

Этой ночью патриарху Шаолиня, похожему на журавля старику, приснился удивительный сон.

Удивительный еще и тем, что снов престарелый отец-вероучитель не видел вот уже... много, очень много лет.

Ему приснилось, будто стоит он пополудни в совершенно пустынном дворе монастыря, рядом с кухней, почему-то не удивляясь отсутствию братии, а неподалеку, на каменном парапете, примостился одетый в синий халат Будда Шакьямуни и играет сам с собой в облавные шашки.

Отец-вероучитель подошел ближе и встал за спиной одинокого игрока.

Доска-шашечница Просветленного, Сиддхартхи, Сидевшего под древом Бодхи, Победителя Мары, вопреки всем правилам была круглой, а на двухцветных шашках красовались небрежно написанные иероглифы «цзин» и «жань».

— Ты умеешь шевелить ушами? — не оборачиваясь, спросил Будда, и вдруг одним движением смешал шашки в кучу.

— Умею, — уверенно ответил патриарх, глядя, как шашки одна за другой скатываются с доски на парапет с парапета — на землю и разбегаются по всему двору на коротеньких кривых ножках.

Он никогда не пробовал шевелить ушами, но сейчас это было не важно.

— Хорошо, — задумчиво пробормотал Будда Шакьямуни, и его собственные уши — удлиненные, с изящно оттянутыми вниз мочками — медленно задвигались.

Более прекрасного зрелища отец-вероучитель не видел за всю свою жизнь.

Проснувшись, патриарх обители некоторое время лежал без движения, вспоминая сон.

«Сегодня что-то произойдет, — подумалось ему. — Сегодня обязательно что-то произойдет...»

После окончания рассветной медитации, общей для всей братии, к отцу-вероучителю подошел встревоженный наставник Лю.

— Трижды прошу прощения, великий учитель Закона, — запинаясь, что на него было совсем непохоже, произнес огромный, как слон, учитель воинского искусства. — Но нынешней ночью мне снилось... мне снился...

«Будда! — чуть не вырвалось у патриарха. — Спрашивал: умеешь ли ты, Лю, шевелить ушами?!»

— Мне снился Лабиринт Манекенов, отец-вероучитель. Мне снилось, что огромная змея свила там гнездо, и змееныши теперь расползаются по всему подземелью. Я встал очень обеспокоенным, отец-вероучитель...

Их разговор прервал один из наставников-шифу.

Церемонно извинившись, он сообщил, что кому-то из монахов послышался шум, доносящийся из монастырских подвалов — и даже, похоже, из самого Лабиринта.

Еще месяц назад патриарх мог бы оставить это без внимания — мало ли что мерещится братьям? Но сейчас, в преддверии осады...

Не прошло и получаса, как братия столпилась у входа в подвалы. Первыми стояли наставники-шифу и клейменые сэнбины, вооружившиеся пестро, от парных боевых колец до двуручных клевцов — «тигры и драконы» давно уже доказали свое право иметь любимое оружие; следом взволнованно переговаривались «опоясанные», сжимая сабли и прямые мечи, а за ними уже вовсю шумели молодые монахи.

Шум успел достичь апогея, а наставник Лю совсем было собрался первым спускаться вниз, выставив вперед одновременно алебарду и секиру на укороченном древке — парное оружие, которым мог сражаться только этот гигант; но внешняя дверь подземелий неожиданно открылась, и детская фигурка появилась в самом низу лестницы.

— Что... что это означает? — ошалело выдохнул наставник Лю, отступив на шаг.

— Явление антивирусной программы из загрузочного сектора, — отозвался Маленький Архат, обессиленно выбираясь наверх.

Он очень устал — секретный выход из комнаты мумий почему-то отказался открыться, пришлось идти через Лабиринт, и хотя проклятое подземелье на этот раз даже не подумало угостить их хоть какой-нибудь каверзой (бревно над шелковой нитью, стрела из боковой ниши и те почему-то не сработали!), но все равно путь измотал Маленького Архата до предела.

— Что?.. — глупо повторил наставник Лю.

Только что он второй раз в жизни порезался о лезвие собственной алебарды; первый раз случился тридцать восемь лет тому назад, когда юный инок Лю впервые взял в руки оружие.

— Это такой «гун-ань», Лю, — вместо малыша пояснил идущий следом преподобный Бань. — Специально для тебя. Сумеешь найти ответ — станешь Буддой. Да не стой ты столбом, лучше помоги почтенному Ланю вытащить судью — надорвется ведь даос...

И наставник Лю, сложив оружие на землю, послушно отправился помогать даосу.

Говорят, в конце жизни главный воинский наставник все-таки сумел решить заданный Маленьким Архатом «гун-ань», и с тех пор до самого последнего часа с лица мастера Лю не сходила блаженная улыбка.

Так и ушел в Нирвану, радуясь.

ЭПИЛОГ

Человеческие души равной мерою
не мерьте...

Шота Руставели

В первый год правления государя Чэн Хуа под девизом Эра Завершенного Преобразования, спустя ровно сорок лет после описываемых событий, судья Бао без страха поймет, что срок его земной жизни подошел к концу.

И то сказать — зажился, пора и честь знать...

В последнее время выездного следователя (впрочем, давно уже вышедшего в отставку) допекали невыносимые боли в груди, старые ноги отказывались носить безобразно растолстевшее тело, и родственникам приходилось заказывать паланкин, когда судью Бао приглашали в управу для консультаций. Такое случалось все реже и реже, судья втайне был даже рад этому и часто просил поставить выносную кровать на веранду, где лежал целыми днями, любуясь стоящим посреди двора алтарем с фигурками восьми небожителей.

Первый Сын Вэнь — давным-давно уже чиновник четвертого ранга Бао Вэнь, занимавший должность провинциального администратора-сюаньилана — отлично знал: в такие часы отца лучше не беспокоить! И отсылал шумную гурьбу внуков, внучек и внучатых племянников играть где-нибудь в другом месте.

Именно Вэнь и обнаружит пасмурным осенним вечером, еле слышно взойдя на веранду, что отец уже покинул мир Желтой пыли, успев окоченеть; а на губах судьи Бао, теперь уже покойного судьи Бао, играет легкая улыбка.

И плач со стенаниями поселятся в доме.

Церемонию погребения Бао Драконовой Печати запомнит весь Нинго. Будет сожжено великое множество жертвенных денег, роздано без числа связок медяков, в управе объявят трехдневный траур, сам начальник уезда почтит своим присутствием поминальный ужин, кипарисовая дщица с перечнем заслуг и титулов достойного сянъигуна воспарит над надгробием в Зале Предков, где еще с утра внесут изменения в центральную надпись.

«Усыпальница предков чиновника четвертого ранга Бао Вэня» — вот что напишут там.

А когда весь Нинго уже будет мирно спать, на семейном кладбище, прямо на белом кирпиче стены Залы Предков, проявится рисунок: ханчжоусские ивы, обильно цветущие не по сезону, ряд внешних укреплений неподалеку от горбатых деревьев, ущербная луна над вершинами Суншаня...

Прямо из рисунка неторопливо выйдут четверо: три буддийских хэшана в одинаковых шафрановых кашьях и один даос в драном халате.

Похожую на рыбий хвост железную шапку даос будет держать в руках, и свет луны отразится в обширной лысине пришельца.

Один из монахов, престарелый праведник, приближающийся к вековому рубежу, сядет на принесенную с собой крохотную скамеечку, да так и просидит все время, пока двое его собратьев примутся готовить тризну, возжигая свечи и развешивая на подставках ритуальные гонги и колокольчики. Угольно-черные глаза старца, подобные двум озерцам среди россыпи скал, будут неотрывно следить за спутниками, и при первом звяканье колокольчика в них промелькнет странный янтарный отблеск — непрошеная слеза? Лунный блик? Кто знает?!

Только дернется невольно правая рука, обнажившись, и оскалится вытатуированный на ней тигр.

Наконец все закончится, даос взмахнет рукавом перед тем, как пригласить всех войти обратно в стену, и никто в спящем городе так и не узнает, что нынешней ночью в Нинго побывал сам патриарх Шаолиня Чэнь Цигуань, которого оба сопровождавших монаха — клейменый старец и его почти что ровесник, чье лицо было совершенно невозможно запомнить, — называли почему-то Маленьким Архатом.

— На седьмую седьмицу я навещу его, — непонятно скажет

даос, до половины погрузившись в белый кирпич. — Что-нибудь передать?

— А почему не раньше? — спросит Маленький Архат. — Почему не завтра?

— Ты прямо как Янь-ван! — возмутится даос. — Этому тоже неймется — почему не завтра, почему не послезавтра... Я, между прочим, и Князю Темного Приказа заявил, и тебе повторю: дайте человеку отдохнуть! Не успел помереть, уже торопят...

Никто не станет спорить с желчным даосом — не так давно Лань Даосин выплавил-таки киноварную пилюлю бессмертия, проглотил ее и с тех пор весь остаток вечности будет страдать расстройством желудка.

Что характера не улучшает.

Луна плеснет горсть лучей на гладкую белую стену Залы Предков, ничего не обнаружит, удивится и спрячется за облако.

До того суматошного дня, когда Шаолиньский монастырь снова погрузится в пучины политики и радения о благе государства, когда один из претендентов на патриаршество опрометчиво уедет в столицу и займет там видный военный пост, предложенный ему Сыном Неба Ван Ли, а второй станет патриархом обители и примется усердно поставлять Поднебесной бритоголовых сановников, — до этого дня останется ровно сто десять лет.

История смешлива, как начинающая потаскушка — спустя три века после того, как диск преподобного Фэна дал трещину, маньчжурский император Канси повторит во всеуслышание:

— Шаолинь должен быть разрушен!

И через месяц погибнет при удивительных обстоятельствах, так и не успев двинуть войска на обитель.

Зато преемник безвременно почившего государя упрямо прикажет сровнять мятежный монастырь с землей. Первая карательная экспедиция завершится сокрушительным провалом, но во второй раз монах-изменник проведет правительственный отряд через укрепления, а в последний момент отчего-то кинется в схватку с самими маньчжурами и погибнет вместе со ста двадцатью восемью монахами-воителями.

В трактате «Десять тысяч драгоценностей» упомянут мельком, что изменника-безумца звали Фэном, и уродство его облика отвращало от себя взгляды людей. А демоны Темного Приказа будут шептаться украдкой, что в день резни во дворе прославленной обители без видимой причины вспыхнул и сгорел дотла свиток — да-да, тот самый свиток, только давайте вполголоса!.. Впрочем, князь Яньло не станет наказывать оплошавшего булана; лишь постоит молча, дунет — и пепел

запорошит Владыке глаза.

Спастись удастся лишь пятерым клейменым сэн-бинам; а спустя еще двести лет двое не поладивших меж собой местных генералов подожгут обитель, и она будет гореть сорок дней.

Маньчжуры убьют монахов и этим ограничатся — вскоре власти заново отстроят и обласкают Шаолинь; китайские же генералы ополчатся на строения.

Шестнадцать внутренних храмов и бесчисленное множество прочих сооружений, от крыш до подвалов, обратятся в пепел. И просвещенные офицеры XX столетия нашей — теперь уже и впрямь нашей — эры... вздрогнут господа офицеры, попятившись, а руки их непроизвольно потянутся взять под козырек, когда клубы дыма над пылающим Шаолинем на миг сложатся в гигантскую тень; огонь безвеких глаз Бородатого Варвара гневно полоснет по варварам цивилизованным — и в следующее мгновение с ужасающим грохотом обрушится крыша Зала Закона.

Впрочем, свидетели промолчат.

История смешлива — одного из бежавших от маньчжурского погрома сэн-бинов, прославившегося позже жесткими атаками в старошаолиньской манере и стремительными змеиными укусами в завершение боя...

Этого монаха звали Цай.

Лазутчики жизни — это те, кто возвращается.

И великий учитель Сунь-цзы, которого без устали обязан цитировать любой, мнящий себя стратегом, здесь абсолютно ни при чем.

Апрель — август 1996 г.

НОПЭРАПОН или ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Роман

Все совпадения (несовпадения) встречающихся в этой книге имен и фамилий, а также событий, времен и географических названий с реально существующими являются умышленными (случайными)!

(Нужное подчеркнуть)

I. По образу и подобию

Двое сидят у стола.

Молчат.

Напротив, на включенном мониторе, окном в ночи светится незаконченный абзац; впрочем, он, этот абзац, вдобавок еще и неначатый.

> *«…и некий Ролан, но не тот Роланд, что упрямо шел к Темной Башне, а иной, сумасбродный француз, профессор истории и географии, вдобавок удостоившийся в 1982 году седьмого дана карате, — так вот, этот самый Ролан, хорошо помнящий лицо своего отца, однажды сказал:*
>
> *— Легкий метод не удовлетворяет того, кто сохраняет чувство реальности; это было бы слишком удобно.*
>
> *Впрочем…»*

Двое сидят у стола.

Молчат.

На краешке стола ночной бабочкой, уставшей от жизни, трепыхается под сквозняком клетчатый листок бумаги.

Сплошь исписанный беглым, летящим, чужим почерком.

Красным карандашом внизу обведен отрывок; отрывок без начала и конца.

> *«…похожие приемы (нутром чую, хотя доказать не могу!) демонстрировал еще один широко известный дуэт писателей-фантастов. Писали нормальную книгу, потом отрывали начало и конец, все оставшееся перетасовывали, кое-что теряя при этом, а остаток сшивали в случайном порядке. Часто получалось здорово. То же, что не входило в книгу, потом использовалось в другой. Возникало „зацепление“, и из нескольких книг возникал удивительно объемный мир.*
>
> *В данном случае с читателем поступили гуманнее. Хотя я знаю людей, которые не одолели и…»*

Двое сидят у стола.

Молчат.

Перед ними — несколько страниц, распечатанных на струйном принтере.

Черные буквы на белой бумаге.

Слова, слова, слова…

Свеча первая

«Скорбный, пронзительный вскрик флейты из бамбука.

Словно птица, раненная стрелой влет, тенью мелькнула над гладью залива… ниже, еще ниже…

Упала…»

Двое сидят у стола.

Молчат.

Начало и конец, которые только и ждут, чтобы их оторвали и перетасовали, сидят рядом.

Молчат.

Но это ненадолго.

II. Нопэрапон. Свеча первая

Итак, обыкновенно к нашему искусству приступают в семь лет, если считать со дня зачатия, и в шесть полных лет со дня рождения на свет. При занятиях театром в эту пору в самих по себе возникающих действиях ребенка непременно заложен некий совершенный стиль…

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

Скорбный, пронзительный вскрик флейты из бамбука.

Словно птица, раненная стрелой влет, тенью мелькнула над гладью залива… ниже, еще ниже…

Упала.

Рокот барабанчиков под умелыми пальцами.

Высокий резонирующий стук туго сплелся с сухими щелчками, и все это на фоне сдавленных, как стон умирающего воина, глухих раскатов… тише, еще тише…

Тишина.

Любуясь на вишни в цвету,
По горам кружу я…

Нога в белоснежном носке — высоком, до колена — двинулась по кипарисовым доскам пола. С пятки на носок, легко проскальзывая, прежде чем утвердиться на светлых, без единого пятнышка или пылинки, досках.

Так ходят монахи, безумцы и актеры.

Рука с веером, чьи пластины были изукрашены по алому фону огромными пионами цвета первого снега, совершила безукоризненный жест «Ночью в одиночестве любуюсь луной» — край веера мимолетно коснулся левого плеча и застыл, ожидая неторопливого поворота головы.

Костры вокруг помоста, за рядами безмолвствующих зрителей, дрогнули, бросили щедро отсветы на недвижную

фигуру.

Любуясь осенней луной,
По горам кружу я…

Снова флейта — на этот раз протяжно, тоскливо, вздрагивая всем телом нервной мелодии.

Барабаны молчали.

Тени бродили по белому лицу, по женской маске, вдруг ожившей в ночи, полной теней, звуков и напряженного внимания.

Голова запрокинулась, всплеснув прядями длинного, до пят, парика. Обилие света пламенем охватило маску, изменчивость наложилась на неизменность, и неживой лик на миг оживился ликованием.

Тени — волнующие, завораживающие.

Тени…

Смятение чувств.

Нога в белоснежном носке поднялась, притопнула. Одинокий звук, неожиданно гулкий из-за укрепленного под досками кувшина, не спеша побежал прочь, в темноту… дальше, еще дальше…

Исчез.

Как не бывало.

Любуясь на белый снег,
По горам кружу я…

Гортанный, растягивающий гласные голос давно уже был не столь силен, как в далекой молодости, когда с легкостью перекрывал шум взыскательной киотской публики, — но ведь и шум давно ушел в прошлое, став воспоминанием.

Пылью под ветром.

Зря, что ли, сказано в «Предании о цветке стиля»:

— После пятидесяти лет едва ли есть иной способ игры, кроме способа недеяния. Недаром говорят: «В старости единорог хуже осла!» И все же: коли являешь собой поистине мудрого мастера, цветок сохраняется в тебе, пусть даже ты теряешь многие и многие пьесы. Так, случается, не опадают цветы и с одряхлевшего дерева, почти лишенного веток и листьев…

Сейчас на представлениях Дзэами Дабуцу, Будды Лицедеев, шесть лет назад постригшегося в монахи, но не оставившего сцену, — сейчас на редких спектаклях, где великий мастер, автор «Предания о цветке…», являл публике свое искусство, молчали.

Затаив дыхание.
С замиранием сердца.
Вслушиваясь в тихий плач хора:

Круг за кругом — и снова круг,
О, вращение без конца!
Слепая привязанность к земле,
Туча, темнящая лунный свет.
Пыль вожделений свилась клубком —
Так горная ведьма родилась.
Глядите, глядите на демонский лик!..

Ветер не выдержал, прошелестел в соснах на холме — там, далеко, за спинами зрителей, с трех сторон окруживших помост. И в ответ рябью пошла крона могучей, узловатой сосны на заднике, ожидая поддержки от изображения двух стволов бамбука, молодых и стройных, на правой стене близ «дверцы-невидимки».

Оттуда, из этой дверцы, появлялся служка в черном, когда требовалось незаметно поправить актеру парик или подать оброненный веер; но сейчас в служке не было надобности.

Спектакль *«ха»*, зрелище «пяти вершин», близился к завершению.

Торжественное спокойствие «пьесы богов», трагедия «пьесы о судьбе воина», смиренность и созерцание «пьесы в парике», повести о горестях и превратностях любовной страсти; одержимость «пьесы о безумцах» — и, наконец, финал.

«Горная ведьма», феерия «пьесы о демонах».

Испытание мастерства.

Вечный, пряный искус.

Гора и снова гора,
Так круг за кругом…
В свой нескончаемый путь
Уходит ведьма.
Была здесь только сейчас
И вдруг — исчезла…

Долго затихал во мраке плач бамбуковой флейты-фуэ … долго, ах, долго!.. тише, еще тише…

Все.

Занавес сомкнулся, укрыв от взглядов одинокую фигуру.

2

— Эй, нальют мне, в конце концов, пива?! Живо!

Мотоеси, младший сын Будды Лицедеев, в растерянности поглядел на отца. Тот минутой раньше снял с себя маску и сейчас пристально вглядывался в деревянный лик, прежде чем спрятать маску в футляр. Больше никого в актерской уборной не было; если, конечно, не считать монаха лет тридцати с лишним, нагло вломившегося сюда из крытой галереи.

В руках монах держал огромный меч в красных ножнах, длиной едва ли не на локоть больше самого бритоголового смутьяна.

— Пива Безумному Облаку! Просяного пива, с шапкой пены!

— Дай святому иноку пива, — не отводя взгляда от маски, бросил великий Дзэами.

На коленях заскользив к кувшину, что стоял в углу уборной, Мотоеси поспешил наполнить кружку. Юноша уже имел честь сталкиваться с Безумным Облаком — по слухам, внебрачным сыном самого императора Го-Комацу, который год назад, уступив трон своему малолетнему племяннику, призвал Безумное Облако во дворец и с удовольствием отдался беседам о сути дзэн.

Кружку монах выхлебал в один присест.

— Уф-ф-ф! — Довольно отдуваясь, он швырнул кружку обратно юноше, нимало не заботясь, поймает ее Мотоеси или нет. — Дрянное пивко! Но в полнолуние сойдет… Тесно мне, тесно! Слышишь, обезьяний пастырь?! Безумному Облаку тесно!

И в подтверждение своих слов он наугад ткнул рукоятью меча вперед, никого, впрочем, не задев и ничего не повредив.

Юный Мотоеси знал: меч — не меч. Просто бутафорская палка, годная лишь на то, чтобы разом переломиться после первого же сносного удара. Если бы еще Безумное Облако не возглашал на базарах и площадях десяти провинций, что таковы все нынешние святые — деревяшки в яркой мишуре… «Ученики патриархов мусолят гнилые слова, — орал он во всю глотку, смущая народ, — а истина-то перешла к слепому ослу! Ха! Кацу!»

Связываться с известным скандалистом, в чьих жилах течет капля крови божественного микадо, властям не хотелось.

Вот и сходило с рук…

— Жди меня у костра, — без выражения отозвался Будда Лицедеев, аккуратно заворачивая маску в мягкую ткань. — Ты будешь один?

На «обезьяньего пастыря» старый актер ничуть не обиделся. Зря, что ли, его отец, Канъами Киецугу, блистая в трагедиях, был не менее великолепен в комических фарсах?! Да и собственно

искусство театра Но выросло, как стебель из зерна, из представлений *«сарugаку»*, то есть «обезьяньих плясок»… Безумное Облако знал, что говорит, даже когда окружающим казалось: святой инок богохульствует, потешается или несет откровенную чушь!

— Ты будешь один? — повторил великий Дзэами, не дождавшись ответа.

— Нет. — Монах подошел к столику и встал за спиной великого Дзэами. — Я не люблю быть один. Я не умею быть один. Снаружи меня ждет Раскидай-Бубен, слепой гадатель. Ты его знаешь?

Будда Лицедеев кивнул.

Машинально кивнул и Мотоеси. Он тоже знал историю слепого гадателя, в прошлом — известного сказителя, мастера игры на цитре. Поговаривали, будто Раскидай-Бубна шесть ночей подряд приглашали на кладбище Акамагасэки призраки-аристократы из сгинувшего рода Тайра — петь им сказание о гибели их дома. На седьмую ночь, когда слепцу грозила гибель от рук вконец распоясавшихся мертвецов, его спас не кто иной, как Безумное Облако. Монах покрыл все тело сказителя знаками священных сутр, и кладбищенский посланец не сумел утащить жертву с собой.

Правда, сознательно или нет, но Безумное Облако забыл украсить знаками уши Раскидай-Бубна, и в результате рвения мертвого гонца сказитель остался не только слепым, но и безухим.

Что ему впоследствии мешало мало, а досужие зеваки раскошеливались вдвое охотнее.

— Я его знаю. Я его знал еще с первого года эры Оэй, года Собаки, когда слепца все звали честным именем Хоити, вместо дурацкой клички Раскидай-Бубен.

— Я имел несчастье родиться в этот год. — Монах рыгнул и победительно оглядел уборную: кто пожелает мне триста лет здравствовать?!

— Да. Ты и еще Мотомаса, мой первенец и старший брат этого молокососа, который слушает твою болтовню, развесив уши до циновок.

Будда Лицедеев совсем уж было собрался спрятать маску в футляр, но узкая ладонь монаха легла ему на плечо.

Великий Дзэами помедлил и легкими, вкрадчивыми движениями развернул ткань, заново открывая взглядам деревянный лик.

Юноша вздрогнул и едва не вмешался, нарушая тем самым все устои сыновнего почтения. Маски были святыней труппы

Кандзэдза (да и любой труппы театра Но!); их разрешалось брать в руки лишь актерам, и то пальцы могли прикасаться к маске только в тех местах, где в ушные отверстия продевались завязки; спрятанную маску можно было вновь извлечь на свет в случае нового спектакля или важной репетиции — не более!.. Тысячерукая Каннон! Неужели безумие Безумного Облака заразное? Или просто отец не в силах отказать собрату по рясе, младшему по годам, но много старшему по просветлению сердца?!

В последнем юноша не был до конца уверен, хотя отец неоднократно заявлял об этом вслух.

— Сам вырезал? — спросил монах. — Я ведь помню, ты давно резьбой балуешься!..

— Нет. Мне еще рано. Это работа Тамуры-сэнсея, здешнего мастера. Он живет за селением, у подножия холма Трех Криптомерий. Тамура-сэнсей обещал мне к нынешнему приезду изготовить новую «Горную ведьму». Он говорил, что равной ей не было и не будет.

— Ты ему веришь, обезьяний пастырь?

— Я ему верю, Безумное Облако.

Монах задумчиво пожевал губами.

Сухими, бледными; не губы — шрамы.

— Я жду у костра, — повторил он. — Приходи, выпьем по чашечке саке, полюбуемся луной…

— Слепого гадателя ты тоже пригласил любоваться луной?

— Разумеется! Разве зрячий способен по достоинству оценить полнолуние?! Ты меня удивляешь, Будда всех бездарных шутов от заката до восхода! Кстати, Раскидай-Бубен просил тебе передать: на малом уровне «Прохождения Пути» твой флейтист запаздывает со вступлением. На четверть вздоха. Пучит его, что ли?!

И, не дожидаясь ответа, Безумное Облако неслышно выскользнул из уборной. Разве что снаружи, со стороны внутреннего дворика, донесся вопль зазевавшегося служки — бедолаге досталось рукоятью бутафорского меча по загривку.

Случайно или намеренно — одна Каннон-Заступница ведает.

— Он считает, что эта маска — совершенство, — бросил великий Дзэами, глядя прямо перед собой, но юноша сразу напрягся: отец обращался к нему, и только к нему. — Прекрасное мертвое совершенство, потому что совершенство только таким и бывает: прекрасным и мертвым. Он паясничает, в сотый раз спрашивая у меня: «Не моя ли это работа?» Ему очень хочется хоть краешком глаза взглянуть на новую «Горную ведьму», но он скорее откусит себе язык, чем скажет об этом вслух. Ты знаешь, Мотоеси, когда Безумное Облако был всего на четыре года

младше тебя сегодняшнего, он пытался утопиться. Это случилось сразу после смерти его первого настоящего учителя, Старика-Скромника из обители близ озера Бива…

Юноша весь превратился в слух. Монах, чьи выходки потешали или приводили в ужас аристократов и простолюдинов, почтенных настоятелей храмов и девиц из веселых кварталов; поэт и художник, завсегдатай кабаков и приятель контрабандистов, принц— бастард и мастер дзэн, назло хулителям вступивший в брак с отставной гейшей и родивший от нее сына, — этот «истинный человек» пытался свести счеты с жизнью?!

Быть не может!

— Да, Мотоеси, это именно так. Ему тогда казалось, что мир перевернулся и небо упало на землю. Ты даже не представляешь, какие страсти бродят в Безумном Облаке, прежде чем пролиться кипящим дождем… Молись, чтобы тебя миновала подобная участь! Впрочем, хвала Будде Амиде, тебя она и так миновала.

Юноша потупился.

Он знал, что имеет в виду отец; и меньше всего благодарил за это Будду Амиду.

Кто же благодарит за отнятое?!

— Отец! — вдруг решился он. — Отец, позвольте, я сбегаю к Тамуре-сэнсею за новой маской. Он знает меня в лицо, он не усомнится, что я послан вами! А деньги вы отдадите ему завтра… если боитесь отпускать меня ночью со свертком монет! Мастер Тамура — человек благородной души, ему и в голову не придет…

— Ему-то не придет, — перебил великий Дзэами сына. — Ему не придет, но и мне не придет в голову гонять мальчишку по холмам на ночь глядя! И для чего?!

Чтобы обезьяний пастырь, Безумное Облако и слепой Раскидай-Бубен могли сравнить двух «Горных ведьм», любуясь полной луной и пропуская время от времени чарку-другую?! Глупости!

Но юноша прекрасно видел: в глазах отца, напоминающих прорези актерских масок, полыхают молодые зарницы.

Полнолуние, успешный спектакль, общество знатоков — и новая работа Тамуры-сэнсея…

Пир души!

— Позвольте! Отец, я на коленях молю вас! Через час я вернусь — и вы убедитесь: ваш младший сын годен не только столбы подпирать! Отец, пожалуйста!..

— Деньги в «Зеркальной комнате», в шкатулке черного лака, — сдаваясь, буркнул Будда Лицедеев, и теплый взгляд отца был юноше наградой. — Возьми десять ре… и будь осторожен. Я

слышал от бродячего ронина, здесь лихие людишки пошаливают…

Великий Дзэами малость кривил душой.

Он отлично знал: ни один грабитель провинции Касуга и пальцем не тронет актера его труппы.

А тронет — жить ему впроголодь, ибо кто ж хоть лепешку продаст этакому варвару?!

…Безумное Облако проводил взглядом юношу, когда тот вихрем мчался мимо их костра.

Дальше, еще дальше…

Скрылся.

— Молодо-зелено! — Мелкие черты лица монаха сложились в гримасу, донельзя напоминающую маску «духа ревности», только без надетого поверх парика. — Ох, сдается мне, нынче же ночью на могиле этого болтуна Шакья-Муни вырастет еще один сорняк! Что скажешь, Раскидай-Бубен?

Слепой гадатель молчал, надвинув на лоб соломенную шляпу.

Правая рука слепца подбрасывала и ловила персиковую косточку с вырезанными на ней тремя знаками судьбы… подбрасывала, ловила, снова подбрасывала…

Все время выпадало одно и то же.

Неопределенность.

3

Цикады словно обезумели.

Луна, гейша высшего ранга *«тайфу»*, блистала во мраке набеленным лицом, щедро рассыпая пудру по листве деревьев, — я вам, дескать, не какая-нибудь дешевая «лань» или даже «цветок сливы»! — и выщипанные брови были заново нарисованы под самым лбом.

Красота так красота!

Роса сверкала на стеблях травы россыпью жемчугов, за спиной подсвечивали небо багрянцем десятки костров, а хор кукушек в роще захлебывался мимолетностью земного счастья. Печален был шелест крыльев ночных птиц, когда они взлетали из черного, прорисованного тушью опытного каллиграфа ивняка в низине — так небрежная завитушка, оставленная кистью напоследок, меняет весь смысл иероглифа. В унисон шуршали листья бамбука, огромные мотыльки мимоходом касались лица, и мнилось: осталось только зарыдать флейте, не опоздав со вступлением даже на четверть вздоха, чтобы мир окончательно

стал декорацией к «пьесе о безумцах».

Вдали, по левую руку, за кустами желтинника, виднелись невзрачные изгороди — сплетенные из бамбука, они огораживали уныние серых домов, на тесовой кровле которых лежал гравий. В свете луны он походил на только что выпавший снег, ослепительно белый. Вскоре потянулись пустыри, залитые водой, и наконец к дороге с двух сторон подступили поля колючего проса и луговины, сплошь покрытые высокими метелками дикого овса.

Соломенные сандалии юноши звонко шлепали оземь, а в душе Мотоеси волной нарастало ликование.

Сейчас, сейчас он доставит радость великому Дзэами, господину-отцу, чей ласковый взгляд превыше всех наград! Окружающее казалось предчувствием театральной кульминации, на каждой вершине сосны мерещился длинноносый *тэнгу*, некогда обучавший искусству фехтования героя Есицунэ; в каждой луже плескался пучеглазый *каппа* с темечком, полным воды, охраняя несметные сокровища; призраки былых красавиц водили хороводы вокруг магнолий, а каждый порыв ветра звучал храпом неистового божества *Сусаноо-но Микото*, победителя змея-восьмиглавца из Коси.

В то же время рассудок подсказывал юноше, родившемуся и выросшему в шумном, практичном Киото, резиденции сегунов: все это — лишь игра воспаленного воображения. В наш просвещенный век… увы, сверхъестественное осталось жить в легендах, в наивных россказнях простаков, в песнях сказителей, да еще на театральной сцене, где служит пробуждению смутного очарования в сердцах зрителей. Так, наверное, и должно быть — но почему грусть окутывает плечи светящимся облаком? Почему увлажняются глаза? Почему?!

Кто знает?

Стая ворон с оглушительным карканьем сорвалась с низкого неба, хлопьями пепла упав на просяное поле; и рука сама нащупала за поясом рукоять меча. Просто так, для успокоения. Страха не было, но ощущение шершавой рукояти под ладонью доставило удовольствие. Указом еще позапрошлого сегуна Есимицу из могущественного клана Асикага — отмены ждали со дня на день, но она задерживалась — актеры Но приравнивались к торговому сословию. А значит, им дозволялось ношение одного меча, в отличие от самураев, носителей двух клинков.

Юный Мотоеси улыбнулся.

Меч за его поясом был деревянным. В имуществе труппы имелось с полдюжины настоящих клинков, отнюдь не работы знаменитых оружейников древности, но вполне сносных как для

спектаклей, так и для возможной защиты в пути. Но юноша взял с собой «меч слуги» — не хрупкую деревяшку, подобную игрушке Безумного Облака, а изделие из крепкой древесины, окованное медью. В умелых руках, в особенности если это были руки мастера, «меч слуги» дорогого стоил, позволяя лишний раз не отнимать жизнь у случайного бродяги… или иначе: в случае неудачи не слишком обозлить налетчиков.

Юноша улыбнулся еще раз.

Улыбка вышла горькой.

Его руки не были руками мастера, да и особо умелыми они тоже не были. Если не кривить душой, обманывая самого себя, и принимать реальность такой, какая она есть. Да, пользуясь дарованными привилегиями, в Киото по протекции отца он посещал вместе с другими молодыми актерами школу фехтования. Да, полным бездарем его назвать трудно — спасала молодость и полное сил, с детства подготовленное тело! — но ничего особо выдающегося из Мотоеси никогда не выйдет. Взгляд сэнсея *«кэн-дзюцу»*, маленького, похожего на краба человечка, сперва был испытующим, потом — чуть-чуть раздраженным; и, наконец, в этом взгляде воцарилось полное отсутствие интереса.

Безмятежность равнодушия.

Маска «божественного старца».

Не будь юноша актером, он вовсе не заметил бы этих оттенков — похожий на краба сэнсей отличался мимикой каменных статуй храма Касумацу, и выразительность его взгляда была сродни взгляду куклы-неваляшки. Но Мотоеси все-таки был актером, младшим сыном великого Дзэами…

Третья усмешка горчила вдвое.

Мотомаса, старший брат юноши (много, много старший!..), к этому времени номинально числился руководителем беспокойной актерской братии; со дня отцова пострига он возглавлял труппу, исполняя главные роли с неизменным успехом; больше полудюжины пьес Мотомасы вошли в репертуар других трупп — и даже театры марионеток-дзерури не пренебрегали этими текстами, перерабатывая их, что называется, «под себя».

Старший брат готовился воспринять от родителя титул «великого», чего нельзя было сказать о младшем. Пускай юноше не доверяли ответственные роли демонов, одержимых и старцев, требующих от исполнителя жизненного опыта, — но молодые женщины, охваченные страстью! юные воины-аристократы! небесные феи!..

Увы, увы и трижды увы.

Мотоеси приходилось довольствоваться амплуа «второго

спутника», в чьи обязанности входил краткий пересказ содержания пьесы, пока главный герой менял парик и готовился к следующему выходу.

А способности к фарсам у юноши отродясь не имелось.

Быть смешным — дар богов…

Взгляд строгого отца, взгляд Будды Лицедеев года полтора назад сменился с испытующего на чуть-чуть раздраженный; и юноша с содроганием ждал того дня, когда во взгляде Дзэами воцарится равнодушие.

Поэтому Мотоеси так трепетно относился к любой возможности доставить радость отцу.

Те, кого судьба наградила титулом посредственности, должны знать свое место.

Они должны, не ропща, дорожить малым.

Перейдя речку по шаткому мостику, юноша немного спустился вниз по течению, по песку отлогого речного берега.

Вскоре из ночи выступил мохнатый бок холма Трех Криптомерий, где обитал старый мастер масок.

Первая половина пути близилась к завершению.

Первая половина Пути.

4

— Тамура-сан! Это я, Мотоеси! Вы меня помните, Тамура-сан?! Отец просил…

Тишина.

Можно услыхать, как трудятся древоточцы в перилах открытой веранды.

— Тамура-сан! Я принес деньги за новую маску! Я бежал, Тамура-сан, я сразу… сразу после представления… я спешил к вам…

Заскрипели ролики раздвижных *фусума*. Женская фигурка осторожно выглянула наружу; миг — и вот она оказалась на веранде. Лунный свет выбелил морщинистое старушечье личико, осыпал пыльцой поношенное кимоно на вате, скрывавшее щуплое тельце; хрупкие запястья выглянули из рукавов, изумленно всплеснув на ветру двумя выпавшими из гнезда птенцами.

Спектакль *«Аиои»*, сцена четвертая — выход духа сосны из Такасаго, воплощенного в пожилую женщину; реплика *«…и право, как верно, что сосну и дикий плющ уподобляют вечности!..»*

Но нет, реплика на сей раз была подана иная.

— Кто… кто здесь?

— Донна-сама! — Юноша не помнил, как зовут жену мастера

масок, хотя сразу узнал ее в лицо; и поэтому предпочел банальное обращение «госпожа», годное в любых случаях. — Донна-сама! Тамура-сан еще не спит?

Женщина на веранде помедлила, прежде чем ответить.

— Нет… не спит…

Тихий, еле слышный голос; о сказанном приходится скорее догадываться, выбирать смысл из эха, шороха, шелеста, намека на речь, как выбирают скудный улов из рыбачьих сетей.

— Отец просил меня расплатиться за новую маску! Я раньше не мог… можно, я войду?!

— Да… да, молодой господин. Конечно!..

Приглашающий жест, поклон — и женщина, не дожидаясь, пока гость подымется на веранду и войдет в дом, скользит прочь. Вот ее силуэт пересек лунную дорожку на сверкающей от росы траве, вот она торопливо поднимается по склону… сворачивает к роще… дальше, еще дальше…

Исчезла.

Мотоеси недоуменно проводил жену мастера взглядом. Затем пожал плечами, гася в душе смутное беспокойство — в чем причина? что не так? что неправильно?! — и взбежал по ступенькам.

— Тамура-сан? Где вы?

В доме было темно. Сквозь бумажные стены робко пробивался светлый дар полнолуния; юноша наскоро сбросил сандалии и шагнул в гостиную, раздвинув шторы из бамбуковых планок и хрустящего, туго натянутого полотна.

— Тамура-сан! Это я, Мотоеси… вы меня помните?.. Меня…

Ступня, обутая в шерстяной носок, подвернулась, угодив в липкую лужицу. Падая, юноша весь сжался, предчувствуя страшный удар затылком, но удара не последовало. Вместо этого затылок безболезненно ткнулся в нечто мягкое, теплое, подавшееся в сторону от толчка.

Мгновением позже Мотоеси вскочил как ужаленный, весь в холодном поту.

Да и кого не подбросит с пола, если рука вдруг нащупает человеческое лицо?!

Огниво, до того спрятанное в поясе, искрило, трут никак не хотел тлеть, бессмысленно дымя; но вот наконец усилия юноши увенчались успехом. Ему повезло: в центре гостиной, прямо в полу, была укреплена маленькая жаровенка — над такой вечно мерзнущие старики греют озябшие руки. Лето, осень… не все ли равно? Когда кровь начинает стынуть в жилах, подчиняясь велению прожитых лет…

В жаровне оказалась кучка лучин и горсть трухи (видимо, для

скорейшей растопки), так что огонь вспыхнул быстро. Тень юноши на светлой стене внезапно выросла до самого потолка и почти сразу сжалась, забилась в угол, превратилась в испуганный комок мрака.

У опрокинутой вазы с узким горлышком бесформенной грудой тряпья лежал Тамура-сэнсей, мастер масок.

Мертвый.

Никаких видимых повреждений на теле мастера не наблюдалось; да и липкая лужица, что заставила Мотоеси поскользнуться… Нет, не кровь. Просто в смертный час престарелый мастер по-детски опростался, утратив власть над телом. Но синюшный цвет лица, распахнутый в беззвучном крике рот, выкаченные глаза ясно говорили: смерть пришла не тихой гостьей.

Рядом с покойником валялся раскрытый футляр для маски.

Верхняя половина футляра треснула, как если бы на нее в спешке наступили ногой.

В страхе Мотоеси сжался, тесно обхватил руками колени, едва не выбив себе глаз рукоятью меча. Почему-то в сознании пойманной в кулак мухой билась одна-единственная мысль: «Что я скажу отцу?! Что я… скажу… Что?!» Юноша зажмурился, пытаясь отрешиться от ужасной сцены, но перед внутренним взором неожиданно встала веранда, залитая лунным светом, хрупкая фигурка в ватном кимоно… «Нет… не спит… да, молодой господин…» — вот жена мастера торопливо удаляется, взбирается по склону…

Что не так?!

Что неправильно?!

Словно яркий свет вспыхнул в душе Мотоеси, забираясь в самые потаенные уголки. Причина смутного беспокойства, боясь освещения, мышью выскочила на открытое пространство, заметалась, ища спасительной темноты… Походка! Походка старой женщины! В прошлый приезд юноша отчаянно бился над тонкостями амплуа «старухи», насилуя собственное естество, ежеминутно напоминая себе слова отца:

— Ежели просто согнуть спину и колени да вдобавок сгорбиться, то начисто утратишь весь цветок таланта. В общем-то, наружность и поведение старого человека якобы и должны быть старческими, но человека преклонных лет должно играть в молодой манере — ибо в сердце всякого старика всегда живет стремление любое дело делать по-молодому! И только отставание от ритма есть выражение невозможности — из-за отсутствия телесной силы! — воплотить сие стремление…

Походка жены мастера масок, женщины весьма пожилой,

была подобна сценической походке юноши в те дни, когда отец бранил его за внешнее сходство при отсутствии истинной сути!

Но лицо?! — знакомое, памятное…

Но походка?! — лживая, притворная…

— Стойте!

Едва не растоптав и без того пострадавший футляр, Мотоеси вихрем вылетел на веранду.

— Стойте, донна-сама! Подождите!

Тщетно.

Эхо, бестолково заметавшееся над холмом Трех Криптомерий, было ему ответом.

Напрягая все силы, юноша помчался прочь от страшного дома — топча росную траву, вверх, по склону… мимо рощи магнолий…

Исчез.

5

…Он догнал беглянку на той стороне холма, близ деревенского кладбища.

Ему повезло: пытаясь успеть нырнуть в спасительную тень кручи над рекой, женщине пришлось срезать угол погоста, выбежав под ослепительную усмешку полнолуния. Увидев внизу черный силуэт, юноша прибавил ходу, кубарем скатился с холма, временами падая и больно обдирая тело о камни; за спиной насмешливо ухал филин.

— Стойте! Госпожа, стойте!

И стало понятно: ей не успеть.

Двое, преследователь и преследуемая, зайцами петляли между могильными холмиками, — казалось, их насыпали только что, потому что земля в лунных лучах выглядела мягкой и свежей. Все надписи на деревянных надгробиях в пять ярусов были четко различимы до последнего знака, но местами, на могилах победнее, вместо надгробий сиротливо торчали карликовые сосны и криптомерии; а кое-где могилы были просто накрыты соломенными циновками, сверху же символом печали лежали вялые гиацинты.

Пьеса стиля «о безумцах», погоня гневного духа за состарившейся гейшей Комати, ныне нищенкой; реплика: *«… пришло возмездье за содеянное зло, и по пути привычному пусть снова колеса застучат!..»*

Но нет, и на сей раз была подана иная реплика.

— Да стой, говорю тебе!

Споткнувшись о поваленное ветром надгробие, женщина

упала. Покатилась с воплем, судорожно пытаясь подняться на ноги. Прыжком, достойным тигра, Мотоеси перемахнул через ближайшую могилу и оказался прямо над беглянкой.

— Попалась!

Словно тысяча лиц разом взглянула на юношу. Так бывало, когда перед выходом на сцену он приближался к специальному окошку, проделанному в стене «Зеркальной комнаты» и невидимому со стороны зрителей, — приближался, чтобы бросить взгляд на публику. Позднее, в маске, он никогда не имел такой возможности, потому что отверстия для глаз согласно традиции были крохотными, уподобляя актера слепцу, — ибо лишь слепцы обладают проявленным чувством сокровенного. Таким зритель всегда виделся Мотоеси: множество лиц, слитых в одно, общее, вопрошающее лицо.

Меч сам собой прыгнул в ладонь.

Взметнулся наискось над головой, ткнул тупым концом в отшатнувшийся диск луны.

— Кто… кто ты такая?!

Тонкие руки женщины нырнули за пазуху кимоно, в сокровенное тепло, но вместо ножа она выхватила украденную маску, закрываясь ею, словно непрочным резным щитом. Теперь вместо жуткого, тысячеликого лица на юношу глядела «Горная ведьма» — брови тушью прорисованы под самым лбом, рот страдальчески приоткрыт, провалом смотрятся вычерненные зубы; волосы намечены темной краской, посередине разделяясь пробором…

Удар пришелся не в маску — святотатство, недостойное актера в третьем поколении.

В руку, чуть ниже левого запястья.

Послышался отчетливый хруст. Окованное медью дерево вновь поднялось, готовое с силой опуститься, но юноша замер: краденая маска упала на могильный холмик, и вместо лица жены покойного мастера или хотя бы вместо тысячи лиц, безумно слитых в одном, на Мотоеси уставился гладко-лиловый пузырь, похожий на яйцо или волдырь после ожога.

Нопэрапон.

Воровская нежить, способная принимать любой облик.

И, страстно желая избавиться от наваждения, выхлестывая из себя весь ужас, накопившийся еще с момента падения на неостывший труп; изгоняя всю чудовищность ночной погони и рыскания по пустому кладбищу за невольной или вольной убийцей мастера Тамуры…

Юноша бил и бил, уподобясь сумасшедшему дровосеку, деревянный меч вздымался и опускался, вопль теснился в груди,

прорываясь наружу то рычанием дикого зверя, то плачем насмерть перепуганного мальчишки; а с неба смотрела луна, вечная маска театра жизни.

Луна смеялась.

6

Колени подогнулись, и юноша упал, больно ударившись о надгробие.

Сил подняться не было.

Рядом лежал сверток с десятью ре, выпав во время противоестественной бойни. По нелепой иронии судьбы сверток упал прямо в ладонь умирающей *нопэрапо* н, и тонкие пальцы машинально согнулись, будто желая утащить с собой деньги туда, во мрак небытия.

Вместо лилового пузыря на юношу смотрело его собственное лицо.

Но подняться, ринуться прочь… нет, не получалось.

— Я… — Тонкие губы дернулись, сложились в знакомую, невозможно знакомую гримасу. — Я… я не убивала… мастер сам — сердце…

Мотоеси захрипел, страстно желая проснуться в актерской уборной и получить за это нагоняй от сурового отца.

Нет.

Кошмар длился.

— Я… в Эдо такая маска… деньги нужны были!.. Деньги… де…

Кровавая струйка потянулась из уголка рта.

Нопэрапон больше не было.

Поодаль, на могильном холмике валялась краденая маска, стоившая жизни своему творцу и воровке. Только вместо знакомых черт «Горной ведьмы» деревянная поверхность теперь была гладкой, полированной, больше всего напоминая скорлупу яйца или волдырь после ожога.

Не помня себя, забыв о деньгах, юноша подхватил маску, плохо соображая, зачем он это делает, и бросился во мрак, полный лунным смехом и стрекотом обезумевших цикад.

…отец не ругал его за потерянные монеты. Еще бы, такое потрясение! — явиться в дом мастера масок и найти хозяина на полу мертвым и ограбленным… Любой растеряется, будь он даже потомственным самураем, а не актером, человеком души тонкой и чувствительной!

Нет, великий Дзэами не стал ругать младшего сына.

А сын не стал показывать отцу, во что превратилась работа мастера масок, последняя работа Тамуры-сэнсея.

7

Через день труппа уехала в Эдо.

III. По образу и подобию. Олег

Колено уже почти не болело.

Впрочем, боли не было и в самый первый момент, в миг мальчишества, минуту глупости, за которую я буду поминать сам себя тихим помином в лучшем случае до конца лета.

Если не больше.

В дверь сунулась пухлощекая мордочка и захлопала ресницами. Мордочка была так себе, а ресницы — просто чудо. Длинные, черные, пушистые… Если бы проводился международный конкурс «Ресницы-98», то у мордочки был шанс.

— Олег Семенович… может, это… может, я?! Я умею…

— Спасибо, — с натужной вежливостью буркнул я, еле успев сдержать начальственный рык (кто, понимаешь, смеет без разрешения оставлять занятие?!!). — Спасибо, я сам умею…

Отрываться на мордочке было бы стыдно. Пусть я всегда утверждал, что истинный учитель просто обязан быть несправедливым по мелочам — и все равно. Тем паче группа сей доброй самаритянки ждала во дворе. Их тренировка начнется через полчаса, а пока они вольны в поступках. Увы, слух о моей болящей коленке успел выпорхнуть наружу, и теперь многим суждены благие порывы, от которых надо успеть оградиться.

Иначе замучают.

Насмерть.

Дверь не спешила закрываться. Ресницы все хлопали и хлопали, гоняя легкий сквознячок; я улыбался уже из последних сил, а для себя переименовал мордочку в ведьмочку. Точно, ведьмочка и есть. Помню, ее привел в сентябре кто-то из наших, гордо сообщив на ухо:

— Крутая сенсиха! С сертификатом…

Моя кислая физиономия разом остудила его пыл.

Сенсиха и впрямь оказалась крутая. Когда я изредка являл младшим свой светлый лик, а они выжимали меня до седьмого пота, сдирали семь шкур и устраивали семь казней египетских — ведьмочка регулярно забивалась в последний ряд. В угол, в самый дальний. Круглолицая хохлушка, местная Солоха, она тайком сообщила своему приятелю, что от меня исходит столб огненный и фиолетовое свечение, чего ее хрупкая аура никак перенести не может.

Странно: перенесла и не сбежала.

Редкость.

Поверьте мне на слово: наиредчайшая редкость.

— Спасибочки, — неприятным баритоном повторил я. —

Извини, родная, но я не могу в присутствии посторонних ликвидировать энергетическую утечку. Канал «*ци-лунь*» сбоит, понимаешь?

Это она понимала. Это она еще как понимала, и я наконец остался один.

Услужливое воображение мигом нарисовало картинку. Я соглашаюсь на помощь ведьмочки, она вихрем влетает в тренерскую и, грациозно сбросив кимоно (эт-то непременно, господа мои!), втирает мне в коленку дымящийся отвар. А я выпендриваюсь доморощенным Воландом, слушая вполуха, как из-за стены громыхают заклинания вкупе с методичным воплем хора демонских глоток.

Любой нормальный человек, сосчитай при нем до десяти по-японски, примет это за наигнуснейшее заклинание в десять этажей.

— *Р-рэй*!

Ага, значит, все. Надо плотно закрыть дверь.

— Надо дверь закрыть, — сказал Ленчик, входя и брякая засовом. — Они тебя лечить хотят. Мануально и по-всякому. Слышь, Семеныч, ты как?

— Отлично. Теперь буду хромать на обе ноги.

Лицо Ленчика выразило неодобрение. Интеллигентное неодобрение, с каким он обычно просит закрыть форточку (сквозит!) или ищет заваленные чужим барахлом кальсоны (на улице сыро!). У младших это поначалу вызывает улыбку; у остальных — ничего не вызывает. Привыкли. Даже легенд насочиняли, впору эпос составлять. А правда тихо лежит себе у Ленчика в боковом кармане: затертая корочка инвалидского удостоверения.

Редко кто верит с первого раза, что этот крепыш с осколком в позвоночнике сам поднял себя из кресла. За волосы. И с тех пор не боится ничего, кроме сквозняков и простуды.

Ладно, замнем. Тем паче я прекрасно помню, с каким упрямством Ленчик требовал еще у Шефа перевода в мою группу, хотя стаж его занятий вкупе с опытом тянул на большее — я тогда средние года учил. Боже, как давно это было…

— Читал?

В поле зрения объявилась вырезка из газеты. Я привстал, и колено мигом напомнило о себе. Да, точно, до конца лета, никак не меньше… Вырезка бумажным мотыльком трепыхнулась в воздухе и подлетела ближе.

Я взял ее. Скользнул равнодушным взглядом.

«ГЛАДИАТОРЫ, или БИЗНЕС ДО СМЕРТИ». Над заголовком, шрифтом помельче: *«…осталась без мужа женщина и осиротели*

ПЯТЕРО *детей…»*

— Ты читай, читай! — Ленчик уже развязал пояс, свернув его в аккуратное колечко.

Черная гадюка в кубле.

— Зачем?

— Семеныч, тебе что, жалко?!

Мне не было жалко. Считайте меня толстокожим извергом, Дракулой во плоти, но мне не было жалко даже безымянную женщину с ее пятеркой сирот. Врут акулы пера: гладиаторы-то были рабами, а наших битков никто не принуждает совать свой клюв в бои без правил. Сунул, орел? — не ори, что прищемили! Вон на снимках — цветных, чтоб страшнее! — экие рожи… А подписи-то, подписи! Не иначе, всей редакцией рожали, в муках. **«Я тебя утоплю в крови!» «Смерть надо принять достойно!» «Ларри Паркер — мало не покажется!» «Даглас Дедж — уже все…»**

Я пригляделся к последнему снимку. Бородатый мужик, голый по пояс, лежал навзничь, а рядом топтались лаковые туфли рефери. И впрямь — все. Мало не показалось. Что ты забыл у нас, бедный Даглас Дедж? Призы в Штатах маленькие? Судил я однажды по молодости да глупости пару таких турниров, один — вместе с Ленчиком… на всю жизнь затошнило.

Оно, когда челюсти настоящих мужчин с татами собираешь, сперва ничего, даже весело, а потом всегда тошнит.

В дверь постучали. Ленчик убрал засов, и рыжая бородища влезла к нам из общей раздевалки.

За бородищей маячили добрые самаритяне в ассортименте.

— Ты как? — спросила борода, проявляя заботу.

— Лучше всех. — Я криво ухмыльнулся в ответ и сменил рабочие очки на парадные. — Заходи, Димыч. И дверь закрой.

Мой бессменный друг и соавтор первым делом почему-то ухватил газетную заметку. Вот она, всеобщая грамотность, вот ее кислые плоды!

— Это правильно, — сам себе сообщил Ленчик, надевая шерстяные кальсоны (те самые, знаменитые), которые носил под джинсами до июля месяца. — Пусть и Димыч прочтет.

— Вслух? — мигом поинтересовался Димыч.

Ленчик подумал.

— Давай вслух, — благосклонно разрешил он.

— «Этот человек был бойцом, чемпионом мира по боям без правил, мастером кемпо-дзюцу, лучшим учеником Ройса Грейси, — слегка картавя, затянул Димыч на манер панихиды. — Его бой с одним из представителей местного клуба „Тайра“ закончился неожиданно для всех. Уже на первой минуте поединка

после серии мощнейших ударов по голове американца ему потребовалась медицинская помощь…»

— После серии мощнейших ударов по голове американца, — со вкусом повторил я; потом, не вставая, изобразил эту серию в красках и подробностях. — Не статья, а мечта патриота! Янки, гоу хоум — и в рыло!

Димыч хмыкнул и продолжил:

— «Медбригада констатировала остановку дыхания. В 21.20 пострадавшего доставили в отделение нейрохирургии. А по смертельному рингу, как по подиуму, расхаживали манекенщицы в вечерних платьях, которым было невдомек, что человеку на носилках уже не до их праздника жизни…»

— И прослезился. — Я, кряхтя, встал. Пора одеваться. Пора ковылять домой. Зализывать раны пора. А там будем посмотреть.

Ну злой я, злой!.. И плевать хотел на их праздник жизни после серии ударов по голове.

— Ты завтра ходячий? — спросил Ленчик.

— А хрен его знает, — честно ответил я.

— Жалко. Я тебя в одно место свозить хотел. Разговор есть.

— Не, Ленчик… Давай в другой раз.

— Давай. Хотя надо бы завтра.

— Темнишь?

— Нет. Просто…

Он скосился на дверь. Со значением. Дескать, лучше с глазу на глаз. Не приведи Великое Дао, подслушают или заметку втихаря прочтут — караул!

Враг не дремлет!

— Семеныч, ты завтра точно не можешь?

Я завтра точно не мог. По целому ряду причин. Хотя знал: если Ленчику какая блажь втемяшится в голову — ее оттуда не то что колом, асфальтовым катком не вышибешь! Впрочем, спасение мое объявилось внезапно.

— Давай я съезжу, — предложил Димыч, отрываясь на миг от заметки. — Чего тебе с твоим коленом мотаться? Ленчик, я тебя устрою?

Ленчик долго размышлял.

Губами даже шевелил.

— Ладно, — наконец смилостивился он. — Семеныч, ты его потом расспроси, в подробностях. Хорошо?

— Хорошо, — кивнул я. — Расспрошу. С пристрастием. На дыбу вздерну и расспрошу.

— А бросал ты их здорово. — Ленчик надел куртку и стал аккуратно расправлять капюшон. — Кто ж мог знать, что там паркетина отскочила… Тебя подождать?

— Подожди. До метро прогуляемся. Или машину поймаем.

Я не стал объяснять Ленчику, что дело не в паркетине. Не совсем в паркетине. А в грехах юности, героической дури былого, которая так и норовит сейчас отдаться в сломанном некогда запястье.

Или в опорной ноге, когда та не вовремя вспоминает о прошлых вывихах и запаздывает на миг выполнить приказ.

Ленчик старше меня года на два-три.

Он и сам все понимает.

Дмитрий

Под ногами вкусно чавкала весна.

Какой-то придурок оставил здоровенный трейлер стоять прямо посреди улицы, так что к нужному нам дому таксист подъехать не смог. Вот и приходилось теперь месить грязь Нижней Гиевки, лавируя между многочисленными лужами.

Всегда удивлялся и завидовал тем везунчикам, которые даже в распутицу ухитряются сохранить обувь и брюки в первозданной чистоте. У меня это никогда не получалось. Как ни стараюсь ступать аккуратно — все равно туфли придется дома отмывать. Хорошо хоть штаны такой расцветки, что грязи на них не видно, — но ее там хватает, можно не сомневаться! Зато нижний край моего плаща все явственнее приобретает вид камуфляжа.

Ну и черт с ним! В первый раз, что ли? Привык уже…

По левую руку от нас, на пустыре, жгли костры из всякого хлама. Запах дыма удивительно напоминал аромат осенних пожарищ, где топливом служит палая листва (да что ж они там жгут, в самом деле?!); костров было несколько, пять или шесть, они располагались огненным полукольцом, охватывая помост… да нет, не помост — просто мусоросборочную машину, и на крыше кабины топтался мужик в ватнике. Зачем? с какой целью?! — Бог весть, но снизу на мужика во все глаза глядели двое его коллег и толпа местной пацанвы.

Пьеса «Киецунэ» в новом переложении, сцена шестая, реплика: *«…все тщетно в нашей жизни. На мгновенье блеснет роса — и тает без следа…»*

Смейся, паяц.

Дом, до которого мы наконец дохлюпали, мне сразу понравился. Чистенький, розовый, за ажурной оградкой — именно оградкой, а не высоченным забором, сплошь утыканным поверху битым стеклом, как все вокруг. Клумбы, цветники, деревья в нежной клейкой зелени — и никаких теплиц, огородов… Веранда. Дорожки опять же плиткой выложены. С

любовью сделано, сразу видно.

И за славные денежки.

Калитка была не заперта, но, когда Ленчик толкнул ее, внутри, где-то в глубине дома, мелодично отозвался колокольчик.

А еще мне послышалось тихое рычание из-за кустов сирени.

Хозяйка материализовалась на веранде словно из воздуха — во всяком случае, я не успел заметить, откуда она появилась. Плотная невысокая женщина лет пятидесяти в старомодном, но очень стильном костюме маренового цвета. В лице ее было что-то неуловимо восточное: разрез глаз? цвет кожи? губы? Какая разница. Неудобно так пялиться на незнакомого человека.

И вообще: Восток — дело тонкое.

— Добрый день, Зульфия Разимовна, — машет рукой Ленчик. — Вот, как договаривались…

— Добрый день, — попугаем повторяю я. — Дмитрий.

— Дмитрий? — Густые брови хозяйки ползут вверх. — Леня, вы же говорили… Впрочем, неважно. Очень приятно, Дмитрий. Вы не возражаете, если мы расположимся на веранде? А то в доме не проветрено, я только приехала.

— Конечно, ничего не имею против, — равнодушно соглашаюсь я.

А про себя думаю: на веранде наверняка курить можно!

Столик и три легких пластиковых стула уже ждут нас. Я спешу извлечь купленную по дороге коробку конфет и бутылку розовой «Каролины». Зульфия Разимовна улыбается одними глазами и извлекает из стенного шкафчика вторую коробку конфет, сестру-близнеца моей. Затем на столе появляется вазочка с печеньем, чашки, фарфоровый чайничек для заварки…

Я, намекая, гляжу на принесенную бутылку, но хозяйка отрицательно качает головой.

— Спасибо, Дмитрий, я не пью.

Ленчик согласно кивает, и я понимаю: он тоже не пьет. Во всяком случае, в присутствии хозяйки.

Ну и ладно! С Олегом дома выпьем. Не оставлять же добро этим трезвенникам! Вино в шкафу, что цыган в тюрьме…

Я нагло сгребаю бутылку со стола и засовываю ее обратно в сумку.

— Чайник сейчас закипит, — сообщает Зульфия Разимовна и, безошибочно угадав во мне курильщика, выставляет на стол потемневшую от времени бронзовую пепельницу.

— Спасибо.

Извлекаю свой любимый «Данхил», спички; сижу, пускаю дым в сторону, стараясь не окуривать хозяйку и Ленчика.

Молчим.

Ну и зачем я сюда приехал? В молчанку играть? Потом чайку попьем — и обратно?

Видимо, эта мысль достаточно явственно отражается у меня на лице, поскольку картина «Три тополя на Плющихе» наконец приходит в движение.

Зульфия Разимовна извлекает из нагрудного кармана визитку и протягивает ее мне, а Ленчик нарушает обет молчания.

— Знакомьтесь, — ни к селу ни к городу сообщает он.

В ответ я вручаю хозяйке свою карточку, с гордым словом «Писатель», двумя электронными адресами, телефоном, факсом и прочими прибамбасами. Ну люблю, люблю я пускать пыль в глаза, есть такая слабость! Хотя, с другой стороны, ведь все правда: действительно писатель, и *e-mail* у меня есть, и факс-модем вполне приличный — а то, что факсовой его частью я до сих пор пользоваться не научился, так это на визитке указывать не обязательно! Надобности пока не было — вот и не научился…

Минуту-другую мы с хозяйкой изучаем верительные грамоты, и в результате часть последующих слов Ленчика проходит мимо моих ушей.

«Иванова Зульфия Разимовна». Это ж надо! «Межрегиональный медицинский центр „Здоровье“. Старший врач-консультант, кандидат наук». И телефон. Адреса, как и на моей визитке, нет. Это правильно. Кому надо — позвонит.

— …Димыч, у тебя ведь «Пентиум»? — доносится до меня голос Ленчика.

— Двухсотый, — машинально отвечаю я. — Тридцать два метра оперативки.

— Слушай, а можно будет к тебе зайти, одну программку раскрутить? А то у Зульфии Разимовны сотая «четверка» не справляется.

— В принципе, можно. А что за программа?

Они что, за этим меня сюда затащили? Можно ведь было и по телефону договориться!

Впрочем, они не меня, а Олега хотели…

— Понимаете, Дмитрий, — вступает в разговор хозяйка дома, — мы с Леней увлекаемся астрологией. Тут нам из Москвы привезли новые программы для составления солярных диаграмм, а моя развалюха их не тянет. Если бы вы были столь любезны…

— Нет проблем. Машина у меня свободна по вечерам — с утра я работаю.

— Так и я с утра работаю. — Зульфия Разимовна на этот раз улыбается по-настоящему, молодея лет на десять. — Скажем, в среду, часов в шесть вечера, вас устроит?

— Вполне. Только эти астрологические программы вам самим

ставить придется — я в них не специалист.

— Конечно, конечно, — спешит заверить меня хозяйка, — я буду вам очень благодарна! Если хотите, могу составить гороскопы вам и вашему соавтору…

— Не откажусь…

Еще несколько минут мы рассыпаемся в любезностях и взаимных заверениях, вокруг стремительно нарастает ком словесной шелухи, но тут наконец закипает чайник, и Ленчик начинает колдовать над его меньшим фарфоровым собратом. Ленчик — большой специалист по заварке чая. Как, впрочем, и мой соавтор. Все эти бесконечные ополаскивания, переливания, самую малость сдвинутая крышечка, специальные подставки из можжевельника… И пьют они оба чай крепкий, чуть горчащий, без сахара — дабы не портить вкус божественного напитка.

Я тоже люблю крепкий, но с сахаром. За что Олег называет меня «извращенцем». А я его — «чайным маньяком».

Сокращенно: «чайняком».

Ленчик — тоже «чайняк». В отличие от Зульфии Разимовны, которая, как выясняется, принадлежит к великому содружеству сладкоежек!

На пятой конфете я не выдерживаю.

— Зульфия Разимовна, я очень люблю чай, но…

Я выразительно смотрю на нее в упор, и хозяйка дома кивает, не отводя взгляда.

— Вы правы, Дмитрий. Просто Леня говорил мне о другом человеке… да и я не очень хорошо знаю, с чего начать. Эта история наверняка покажется вам странной.

Вах, женщина — какое знакомое начало! Сколько моих приятелей начинали свои рассказы, повести и романы этими сакраментальными словами! Но Зульфия Разимовна — не писатель. И наверняка не собирается пересказывать мне идею очередного триллера. Однако… я, конечно, тоже не Шерлок Холмс, могу и пальцем в небо угодить — но сейчас попробую угадать.

Я лезу в сумку, извлекаю оттуда помятую заметку и разворачиваю ее перед старшим врачом-консультантом.

— Речь пойдет об этом?

Она утвердительно наклоняет голову; ветер играет прядями иссиня-черных волос без малейших признаков седины.

Красится, наверное.

— Это хорошо, что вы уже в курсе. Дело в том, Дмитрий, что я была председателем медкомиссии на этом турнире. Понимаете, я знаю, кто убил американца.

— И я знаю. — Трудно сдержать ухмылку, да я и не очень-то

пытаюсь. — И полгорода знает. Очередной костолом из «Тайра».

— Ах, если бы! — Карие глаза Зульфии Разимовны становятся очень серьезными, и на миг мне кажется: хозяйка дома растеряна, крайне растеряна, и сдерживается из последних сил.

Эта растерянность, а также последующие слова Зульфии Разимовны действуют на меня, как холодный душ.

— Этого, как вы изволили выразиться, «костолома» я не допустила к турниру по состоянию здоровья, — тихо роняет она, и после ее слов в воздухе повисает вязкая пауза.

Мне резко хочется курить, и я лезу в карман.

Врач

С первым квартетом «мордобойцев» никаких проблем не возникло: к их здоровью еще бы малость мозгов — и хоть в космонавты зачисляй! А так, как в старом анекдоте: «Были бы мозги — было б сотрясение!» Однако у пятого, лобастого, с бритой наголо головой и водянистыми, навыкате, глазами, обнаружилось повышенное внутричерепное давление. Изрядно, надо сказать, повышенное. И Зульфия Разимовна, не раздумывая, отстранила его от участия в турнире.

Безоговорочно.

Так председатель медкомиссии и сообщила представителю клуба, заявившемуся в ее кабинет вскоре после ухода бритоголового бойца. Тот попытался было спорить, но вскоре сдался и обещал прислать замену. В «Тайре» крепких ребят хватало — найдет другого, поздоровее, никуда не денется.

А Ивановой платят за работу, а не за суету под клиентом.

И неплохо платят; многие коллеги искренне завидуют — синекура, и только!

Представитель ушел, и сразу вслед за ним в дверь бочком протиснулся лысоватый мужчина лет сорока — сорока пяти. В руках мужчина тискал картонную папку с какими-то бумагами.

— Карточки принесли? — поняла Иванова. — Наконец-то! Давайте, давайте, я их уже давно жду!

— Да я это… я не карточки, — промямлил мужчина, глядя в пол. — Я на медкомиссию. Это здесь?

— Здесь. Только вы, наверное, ошиблись кабинетом — здесь проходят медкомиссию кандидаты на участие в «боях без правил».

— Да, да, все верно. Я тоже… кандидат! — Заискивающая улыбка и подмигивание, достойное Дон Жуана; правда, Дон Жуана после каменных объятий Командора.

— Вы?!! — опешила Зульфия Разимовна. — Вы хоть

представляете, что это такое? Вы от какого-то клуба? Федерации?

— От клуба «Тайра»! — гордо заявил посетитель и протянул ей пластиковую карточку-удостоверение.

— И Константин Георгиевич счел возможным выставить вас на турнир?!

— Да. Счел, — подтвердил мужчина, сияя новой копейкой.

Аж плешь вспотела.

— Вы в списках есть? Как фамилия?

Названная фамилия действительно обнаружилась в списке. Она стояла самой последней и была вписана в распечатку от руки, фиолетовым фломастером.

— Ну хорошо, — вздохнула Зульфия Разимовна. — Раздевайтесь. До пояса. Посмотрим вас.

И сокрушенно покачала головой, окинув взглядом отвисший живот, сутулые плечи и дряблые мышцы «кандидата».

Разумеется, как и следовало ожидать, у мужчины обнаружился полный «джентльменский набор» типичного городского интеллигента, ведущего малоподвижный образ жизни: запущенный остеохондроз, тахикардия, слабая близорукость, варикоз и далеко не радостная кардиограмма.

Большинство из всего этого можно было определить даже на глаз, но Зульфия Разимовна скрупулезно провела полный осмотр, после чего с чистой совестью вывела на карточке «кандидата»: «К турниру не допускается по состоянию здоровья».

Число.

И подпись.

Мужчина был явно обескуражен, но возражать не пытался: тихо оделся, забыв карточку с заключением на столе, и понуро вышел из кабинета.

Дмитрий

— А вечером мне позвонили. Мое начальство. — Зульфия Разимовна аккуратно поставила на столик пустую чашку и бросила короткий взгляд на Ленчика.

Ленчик молча кивнул — продолжайте, дескать.

Все свои.

— Звонок как звонок, ничего особенного, только я сразу почувствовала: что-то не так. И вот, уже прощаясь, наша заведующая центром как бы между делом интересуется: вы, Зульфия Разимовна, сегодня там кого-то до турнира не допустили? Да, говорю, не допустила. Двоих. У одного внутричерепное повышено, ударят — и здравствуй, инсульт!.. А второму вообще трусцой бегать надо. Небось достал тренера, а

тот его ко мне сплавил, чтоб отвязаться, — заранее ведь знал, не пропущу красавца! И тут наша заведующая вдруг начинает лирику: дескать, «эти люди сами знают, на что идут», и подписку они дают, и тренер тоже готов — под свою ответственность… А в итоге просит допустить «этого человека» к участию в турнире!

На некоторое время хозяйка дома умолкает, нервно разминая пальцы и глядя в сторону. Да, неприятно, когда на тебя давит начальство. Можно только посочувствовать. Но я все еще не могу уразуметь: при чем тут Олег или я? Да и Ленчик…

— Я сначала не поняла. Думала, она за бритоголового просит. Спрашиваю, а заведующая смеется натянуто: да нет, мол, Зульфия Разимовна, того вы правильно не допустили! И тут я совсем перестаю что бы то ни было понимать. А она мне снова про подписку, про тренера, который готов под свою ответственность, и надо бы пойти навстречу, а если теленок сам лезет бодаться с дубом — мы врачи, а не педагоги, в конце концов, это его телячьи проблемы. Ну, понаставят синяков, глядишь, образумится! Такие, пока на своей шкуре не почувствуют… Нет, нет, конечно же, укажите диагноз, но только вместо «не допускаю» — «не рекомендую». Чуть другая формулировка, не более, и никто не будет к вам в претензии…

Зульфия Разимовна откинулась на спинку стула и перевела дух.

— Трусиха я, Дмитрий. К чему мне конфликт на работе? Мало ли, может, у начальства с «Тайрой» свои дела… Честно составила повторный диагноз, резолюцию «не рекомендую» — и назавтра утром отдала карточку этому «бойцу» с остеохондрозом. А через пять минут является ко мне их представитель: конфеты принес — та самая коробка, которую я на стол выставила! Благодарил — и при мне написал на карточке: «…под личную ответственность». Ну, подписку они все дают, еще до медкомиссии. А перед уходом вдруг спохватился — и кладет на стол два билета. Вот, говорит, это вам. Приходите с мужем. Или с сыном — надеюсь, вам понравится. И ушел, довольный такой. Я на билеты глянула: второй ряд, чуть ли не самые лучшие места! А цена… В общем, Дмитрий, около сорока долларов за каждый.

— Ничего себе! — непроизвольно вырвалось у меня.

— Вот именно, — согласилась Зульфия Разимовна. — А потом, когда деньги в кассе получала — мы ведь не бесплатно на них работаем! — вижу: сумма в ведомости больше обычной. Я-то уже знаю, они меня в медкомиссию третий год приглашают. Кассир говорит: премиальные. Нет, все законно, все по бумагам… И мнение свое я честно написала, и диагноз — а душа не на месте! Ну зачем, зачем им этот книжный червь с остеохондрозом,

что они так с ним носятся?! Хоть вы мне объясните: зачем?!

Я только кивнул. А потом спохватился и помотал головой из стороны в сторону.

Я этого тоже понять не мог.

— Вот вы, Дмитрий, — хозяйка дома внезапно подняла на меня глаза. — Вы ведь и помоложе его лет на семь, и явно покрепче будете — хотя и вас, вижу, остеохондроз не миновал. — Я опять кивнул и развел руками: что да, то да… — Не поймите превратно, но я бы и вас скорее всего не пропустила! Скажем так: крепко подумала бы. («А я и сам не рвусь», — пробормотал я.) И тем не менее — заведующая звонит, представитель благодарит, деньги платят, билеты… В общем, неприятный осадок. Словно продалась кому-то. Думала-думала, решила-таки сходить посмотреть. Муж отказался: у него как раз в этот день дела объявились; сына с женой на именины к другу пригласили — короче, второй билет я подарила соседскому мальчишке. Так он, когда понял, что это не шутка, от счастья так заорал, куда там коту мартовскому… Прибралась в квартире, обед сготовила — и пошла. Своими глазами увидеть, что ли…

Врач

Всю дорогу от метро до Дворца спорта у Ивановой спрашивали лишний билетик. Дороговизна изначальная вкупе с дороговизной «вершков» не пугала. Долговязые подростки в кожаных куртках, солидные дядьки, как две капли воды похожие на странного «кандидата», голенастые девчонки на роликах…

Народ желал зрелищ.

У ступеней входа рычало людское море, разделенное надвое местным Моисеем — милицейским полковником. Две шеренги серых мундиров, сомкнувшись плечом к плечу, открывали для счастливчиков доступ в святая святых. Зульфия Разимовна одернула плащ и не спеша двинулась по рукотворному проходу. Ступени. Холл. Вежливая билетерша в стеклянных дверях. Если бы еще Иванова понимала, зачем она сюда пришла…

Исключительно вкусное мороженое придало хоть какой-то смысл сегодняшнему походу.

Трибуны оказались забиты под завязку. Зульфия Разимовна ожидала увидеть публику сорта определенного, более того, сорта хорошо известного — но ожидания не оправдались. Вернее, оправдались лишь частично. Вон и впрямь сидит плечистый молодец со сломанным носом, хоть сразу в бой, последний и решительный, зато рядом блестит очками согбенный наукой

профессор, и румянец кипит на гладко выбритых щеках, румянец предвкушения; а за профессором на полряда — выводок соплюх, жадно вперившихся в рекламные щиты на стенах. И смешались человеки, всяк со всяким, взыскуя услад…

Зульфия Разимовна прошла во второй ряд, протолкалась к законному месту и села. Отсюда было видно не просто хорошо — прекрасно. По труду и плата. Центр зала аккуратно застелили зелеными коврами (*«Татами»,* — неожиданно для себя вспомнила врач), и вокруг газона-пентаграммы, за столиками, сидели чинные мужчины в костюмах. Боже! — они еще и при «бабочках»… Зульфия Разимовна вспомнила боевик, давным-давно виденный по телевизору. Никаких ковров, никаких «бабочек», а место будущей драки окружали проволочные сетки в два роста.

То ли боевик врет, то ли на сетки у устроителей средств не хватило…

Начало ей, вопреки предчувствиям, понравилось. Заиграла музыка, цветные прожектора завертели леденцовую метель, и на ковры выбежала толпа симпатичных девиц в трико. Девицы принялись махать руками и ногами, иногда попадая в такт, иногда — нет, но выглядело это вполне пристойно. Правда, по трибунам загуляли игривые смешки, а сосед Зульфии Разимовны откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Соседу было скучно. Соседу не нравились девицы.

Сосед хотел, чтоб без правил.

Зато даже сосед оживился, когда девиц сменили парни в белых кимоно, похожие на агрессивных снеговиков. Снеговики по очереди били друг друга ножами, палками и разными предметами, но итог не баловал разнообразием: агрессор непременно шлепался на… (татами — снова вспомнила Зульфия Разимовна). Жаль, музыку отключили, прямо посреди выступления. В последнее время Ивановой нравилась такая, ненавязчивая и мелодичная. Под нее хорошо отдыхать. И, как оказалось, хорошо отбирать ножи или плясать в трико. Сердца мужские раня глубоко. Дома попробовать, что ли…

Начало первого боя она проморгала. На зелени пентаграммы сами собой возникли люди, один в полосатом костюме-тройке, двое других — голые по пояс. Невнятно рокотнуло из динамиков, остальные слова утонули в реве возбужденных трибун; и полуголые сошлись вприпрыжку. Видно было хорошо, но на этом достижения Ивановой закончились: она так и не поняла, что произошло. В памятном боевике все было гораздо отчетливей, а здесь… Один боец почти сразу упал, второй упал на него сверху и принялся азартно шевелиться, пока не вмешалась полосатая

«тройка». И так, словно в глупом анекдоте, «восэмь раз». Наконец первый ушел на негнущихся ногах, а второго проводили воплями и свистом.

В самый последний момент победитель обернулся, и Зульфия Разимовна отчетливо увидела его лицо. Совсем молодое, с жиденькими усиками на верхней губе. Лицо противоречило мощному, давно мужскому телу, противоречило всем: удивлением, намертво застывшим на нем, пронзительной голубизной взгляда, кровоподтеком на скуле…

«Хороший мальчик, — подумалось невпопад. — Жаль».

А потом ей стало тоскливо.

Пентаграмму топтали все новые и новые претенденты, они падали, вставали, шевелились, снова падали; в паузах выбегали то девицы, то белые снеговики-забияки, то маленький, похожий на краба человечек с огромным мечом — и снова: полуголые люди падают, встают, шевелятся, выкрикивают сорванными голосами. Вокруг нарастал девятый вал зрительских пристрастий, и Зульфия Разимовна поймала себя на удивительном желании: ей захотелось крикнуть. Как можно громче. Неважно что — лишь бы громче. А еще ей захотелось встать… нет, вскочить и вскинуть руки к потолку.

Глупо.

Стыдно.

Но — хочется.

Она осталась сидеть на месте и даже не крикнула. Потому что буря сменилась громоподобным хохотом. Смеялись все: зрители, строгие судьи за столиками, даже старенькая уборщица в служебном проходе смеялась, опираясь на видавшую виды швабру. Старый знакомый Зульфии Разимовны стоял в ближнем углу пентаграммы и, забывшись от волнения, почесывал отвислый животик. Лысина вовсю отражала свет прожекторов, и голова «кандидата» походила на лик Николы Угодника, намалеванный пьяненьким богомазом. Напротив же вяло приплясывал огромный бородач, все тело которого покрывали устрашающие татуировки. Кажется, бородач был единственным, кто не смеялся (если не считать Ивановой). «Я пришел сюда работать, — невидимым лозунгом висело над бородачом, — работать честно и за деньги, а все остальное меня не интересует».

Полосатая «тройка» сбегала к угловым столикам, заглянула в какие-то бумажки и вернулась обратно.

Отмашка, команда тонет в хохоте — и бойцы сошлись.

Зульфия Разимовна не понимала ничего раньше; не поняла и теперь. Ей показалось, что бородач еще на подходе сунул перед собой кулаком, но рука гиганта вдруг повисла мокрой тряпкой, а

лысенький «кандидат» не успел остановиться и с разбегу ткнулся в татуированную грудь. Подбежала «тройка», но было поздно: бородач навзничь лежал на полу, а «кандидат» бессмысленно топтался над противником, даже не пытаясь ничего делать.

Врач встала и начала пробираться к выходу, слыша, как затихает хохот за ее спиной.

У самых дверей ее толкнули.

— Извините, — со странной озлобленностью буркнул дядька в белом халате, один из двоих, что тащили носилки; и процессия свернула в служебный проход, едва не сбив с ног причитавшую шепотом уборщицу.

Прежде чем они скрылись в темноте, Зульфия Разимовна успела увидеть: у человека на носилках нет лица. Гладкий лиловый пузырь, больше всего похожий на волдырь после ожога, обрамленный нелепой бородой. Нет, померещилось: конечно, у бородача было лицо, обычное человеческое лицо — просто цветная метель прожекторов и дежурная лампочка над боковой дверью, мимолетно скрестив лучи на пострадавшем бойце, зло подшутили над доктором Ивановой.

Очень зло.

Назавтра, в утренней газете, она прочитала заявление своего приятеля, заведующего нейрохирургическим отделением.

> *«Его убили прямо на татами, а в больницу привезли уже умирать. У пострадавшего наступила кома 3-й степени. Компьютерная томография показала, что произошло кровоизлияние в ствол головного мозга, массивное кровоизлияние в субарахноидальное пространство и отек белого вещества. Еще там, в зале, оперативное вмешательство было бесполезным. Он был обречен».*

И тогда Зульфия Разимовна позвонила Лене.

Дмитрий

— Понимаете, все-таки в этом есть и моя вина. — Госпожа Иванова нервно комкает в пальцах белоснежный платок с вышивкой по краю. — Я должна была настоять, чтобы его не допустили к турниру! Но… я ведь опасалась за него самого — а не за того, с кем ему придется драться! И теперь, если начнется разбирательство… меня могут обвинить в недобросовестности, что я пропустила… Вот я и позвонила Лене. Он говорил, что

раньше и сам был судьей, а ваш соавтор…

— Зульфия Разимовна, успокойтесь. — Ленчик осторожно трогает хозяйку за локоть, и та послушно умолкает. — Вашей вины в гибели американца нет. Мы, конечно, проконсультируемся с Олегом Семеновичем, — при посторонних Ленчик всегда называет Олега на «вы» и по имени-отчеству, — но любой специалист подтвердит вам…

— Совершенно верно, Зульфия Разимовна, — спешу я прийти на помощь Ленчику. — Давайте рассуждать спокойно. Подписку этот лысый давал? Давал. И американец наверняка давал. Так?

— Так, — кивает Иванова.

— Значит, претензий к вам со стороны его клуба или родственников быть не может. Так?

— Так… — менее уверенный кивок.

— Дальше: американец проходил медкомиссию?

— Конечно! У них с этим еще строже, чем у нас. Но и здесь его тоже осматривали. Я, кстати, и осматривала… — глухо добавляет она.

— И что? Он был здоров?

— Абсолютно!

— Очень хорошо. Значит, любая экспертиза подтвердит вашу компетентность. Таким образом, и с этой стороны к вам претензий быть не может. А если возьмутся за лысого, который американца убил, — в карточке есть ваше заключение и диагноз. Плюс запись представителя клуба насчет личной ответственности. Вы ни в чем не виноваты!

— Да я понимаю, понимаю. — Зульфия Разимовна сунула платок в чашку с чаем, спохватилась и принялась выкручивать тонкий батист. — Только все равно сердце болит. Человек погиб… По-дурацки погиб. И я к этому причастна! Если бы я настояла на своем…

— Ну а если бы американца убил здоровый костолом без тахикардии — была бы какая-то разница? Для убитого — вряд ли. Да и для остальных тоже.

— Наверное, вы правы, Дмитрий. Я зря переживаю — но я ничего не могу с собой поделать! У меня такое в первый раз, за двадцать четыре года медпрактики…

— Зульфия Разимовна, скорее всего никто вообще не будет интересоваться здоровьем победителя. А если заинтересуются и увидят ваш диагноз — только плечами пожмут. В итоге спишут на несчастный случай и забудут. Собственно, это и мог быть только несчастный случай! Никто не в силах такое предвидеть — хоть вы, хоть сам Гиппократ! — вновь вступает в разговор Ленчик.

Кажется, вдвоем мы ее все-таки немного успокоили.

— Действительно, история странная и неприятная, я вас понимаю — но мало ли что случается на подобных турнирах? Ну, упал человек неудачно, затылком ударился или еще чем… Разве что этот мой коллега-остеохондротик — тайный мастер какого-нибудь «Белого Журавля»! — пытаюсь я пошутить, но, похоже, не вовремя. — Впору садиться роман писать: тайное общество, прадедушка из провинции Хэбей, искусство «отсроченной смерти»…

— Роман не надо. — Ленчик оборачивается ко мне и слишком пристально на меня смотрит. — В другой раз. Зульфия Разимовна, мы с Димой еще обсудим ваш рассказ с Олегом Семеновичем и перезвоним вам. Не волнуйтесь. А этот… журавль белый… Никакой он не мастер. Зульфия Разимовна, покажите ваш список.

Госпожа Иванова извлекает из кармана сложенный вчетверо листок и протягивает его мне. Разворачиваю. Ксерокопия. С очень даже приличной лазерной распечатки, на фирменном бланке клуба «Тайра», с непременным значком *«инь-ян»* в правом верхнем углу. Последняя фамилия действительно вписана от руки. Монахов Владимир Павлович. Сорок два года. Совпадение, наверное…

И тут до меня доходит.

Сорок два года, лысина, сутулые плечи, отвисающий живот…

Я медленно поднимаю взгляд на Зульфию Разимовну.

— У этого… Монахова — у него родинка есть? На лице, справа от носа?

— Есть, — уныло подтверждает Иванова.

Я оборачиваюсь к Ленчику и обнаруживаю, что он с интересом наблюдает за моей реакцией.

— Теперь понимаешь? — вкрадчиво интересуется Ленчик.

— Понимаю.

Вру я. Теперь-то я уж точно ни черта не понимаю!

Кроме одного: Харьков — большая деревня…

Закрывая за собой калитку, я глянул через плечо. Зульфия Разимовна, пригорюнясь, стояла на веранде, а у ног ее лежал матерущий доберманище. Кобель. Тоже небось прямо из воздуха объявился.

Уши собаки торчали двумя копейными остриями.

IV. Нопэрапон. Свеча вторая

Если, однако, в отроке двенадцати-тринадцати лет явлен замечательный талант, что он ни делай — все будет чудесно. Если мальчик и собой хорош, и голос его красив, да если он искусен, то откуда взяться дурному? Вот только цветок этот не является истинным цветком; он всего лишь цветок временный…

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

Осторожнее, господа! Осторожнее! Ради ваших почтенных матушек, чтоб им ни… никогда… Да осторожнее же, дети собаки!

Маленький толстячок едва не плакал. Мало того, что собирать реквизит пришлось впопыхах, без должного тщания, даже не воскурив благовония перед изображением бодисаттвы Фуген; мало того, что отъезд из Киото упал как снег на голову, так еще и носильщики попались — хуже горных чертей! Безрукие неумехи, которым только навозные кучи вилами перекидывать! Сундук легкий, скажете? Что здесь втроем таскать, скажете? Ну, вы и скажете! В сундуке-то парики, волосок к волоску, — и длинные, до пола, ярко-алые и желтые кудри «демонов», и самурайские, с пучком на макушке, и седые старческие… Все пересыпаны порошком из сухих листьев кустарника каги, от моли да плесени, все тщательно расчесаны частым гребешком, каждый дорог не деньгами — памятью, актерской славой!

— Осторожнее, господа!

Носильщики, подвязав рукава, вяло отбрехивались.

Утро на дворе, куда спешить? До полудня перетаскаем, набьем повозки барахлом сверху донизу, а не перетаскаем — завтра выедут. По рассветному холодку. Небось не вельможи, не гонцы правительственные, днем раньше, днем позже…

— Осторожнее! Не повредите барабанчики! Молодой господин, ну хоть вы скажите им! Молодой господин!

Мотоеси молчал, глядя мимо толстячка, едва сдерживавшего слезы. Суматоха сборов проходила мимо него, как измученные

долгими скитаниями путники проходят мимо цветущей вишни. Нет! — мертвой, сухой вишни, годной лишь на топливо для костра. Ну почему?! За что?! Ведь еще вчера, еще совсем недавно… Будда Амида, покровитель страждущих, чем моя семья прогневила тебя?!

Копитесь, копитесь,
Невзгоды и беды мои!
Недолго осталось —
Все равно могильным бурьяном
Прорастать этой плоти тленной…

Взгляд юноши мимовольно, раз за разом, возвращался к чиновнику пятого ранга — вон там, у ворот. Да вон, видите! — шапка из прозрачного шелка, к плоской тулье прикреплены две ленты: одна торчит ястребиным крылом, другая волной ручья ниспадает на спину. Лицо чиновника было бесстрастно, напоминая маску старухи из спектакля «Гробница Комати», но где-то на самом дне припухших глазок плескалось удовлетворение. Сегун Есинори будет доволен. Сегун Есинори щедро одарит своего посланца, который задержался единственно для того, чтобы все увидеть до конца и потом донести господину: его тайная воля, не высказанная до конца вслух, вершится.

Труппа Будды Лицедеев… о, простите, уважаемые: с недавних времен труппа Дзюро Мотомаса, старшего сына великого актера, покидала Киото.

Насовсем.

Об этом не говорилось, но много ли надо знающему, чтобы понять?

Намека достаточно.

При виде чиновника пальцы юноши сжимались в кулаки. Хотелось выплеснуть злобу, дать ненависти прорваться наружу, но отец строго-настрого запретил буянить. Принимать удары судьбы должно со спокойствием. Могучая сосна и под ливнем неколебима. Эх, поймать бы того грамотея, кто придумал сию мудрость, да за шиворот и наотмашь, по велеречивым устам…

Боги, за что караете?!

Опала ударила внезапно и оттого стократ больней.

Сразу по приезде с гастролей выяснилось: змея, как обычно, была пригрета на груди. Злокозненный Онъами, племянник и воспитанник Будды Лицедеев, в отсутствие знаменитого дяди и двоюродных братьев лисой втерся в доверие к новому сегуну — и мигом принялся наушничать. Ах, вы видели? — в пьесе «Киецунэ»

наряд юного воителя, погибшего злой смертью, точь-в-точь парадные одеяния великого сегуна Есинори! Не мятеж ли?! Ах, вы слышали? — в пьесе «Таданори» странствующий монах с самого начала так прямо и заявляет: «Посетили мы „Южный дворец“ государей, лишенных престола…» Не смута ли? не злоумышление? не намек ли на взаимоотношения великого сегуна Есинори и самого государя императора?!

Нет, вы и впрямь не видели? не слышали?! может, оно и к лучшему?!

Итог происков не заставил себя ждать. Сначала был объявлен официальный запрет труппе устраивать спектакли в столице. Любые, вплоть до площадных фарсов и храмовых мистерий. Следующий удар последовал незамедлительно, лишив актеров времени для передышки в годину бедствий — не будучи мастером меча, наушник-племянник хорошо усвоил истину воителей: «Руби сплеча, подобно тому, как ливень хлещет по веткам!» Отнять у старого Дзэами титул Будды Лицедеев было никак нельзя, такие титулы не сегуном присуждаются, и не властям их отбирать; зато вполне можно было лишить мастера должности распорядителя столичных представлений.

Сказано — сделано.

Вернее, сказано Онъами-злопыхателем, а сделано сегуном Есинори, пятым властителем из клана Асикага. Собственно, чиновник затем и приехал: объявить о лишении некоего Мотомасы, сына Дзэами Дабуцу, права возглавлять организацию представлений в Киото.

Вот свиток с повелением.

Старый актер выслушал его в молчании и склонил голову. Лишенный официального звания, Мотомаса по-прежнему оставался главой труппы, как истинный наследник отцовского искусства, — именно поэтому труппа в спешке покидала негостеприимную столицу, из родной матери ставшую мачехой. Путь лежал на юг, в окрестности Оти. Тамошний дайме, давний поклонник Будды Лицедеев, еще раньше намекал о своем возможном покровительстве, даже в случае неудовольствия сегуна. Крепко княжеское слово, крепче стали его меча и доспехов его самураев. Ах, если б еще время не поджимало! — кто знает, что новенького взбредет в голову раздраженному сегуну…

Приходилось торопиться с отъездом. Спешить в беде — хуже некуда. Оттого и трудились в поте лица носильщики, оттого и суетился толстячок костюмер; оттого и хотелось юному Мотоеси сорвать злость на ком попало.

Бессмысленно.

Глупо.

Позорно даже!.. А хочется, аж скулы сводит.

— …Молодой господин! Что ж вы-то не собираетесь?

Юноша очнулся.

— Глядите: вернется ваш старший братец, браниться станет!

— Я не еду. — Мотоеси взглянул на толстячка и увидел: изумление весенним половодьем заливает розовое личико костюмера. — Я остаюсь в Киото, с отцом.

Толстячок мигнул, шмыгнул носом, похожим на спелую сливу.

— А-а-а… это конечно. Сыновний долг превыше всего! И то верно: мастер-наставник уже в летах, годы на плечах, как снег на иве… Вы оставайтесь, молодой господин, вы берегите отца-то, пуще жизни берегите, такие люди раз в тысячу лет рождаются! А мы деньжат подзаработаем и вышлем, мы уж расстараемся, в лепешку разобьемся…

Он говорил что-то еще, шумно сморкаясь в цветной платок, но Мотоеси его не слушал.

Юноша знал: рядом с отцом его удерживает не только — и главное, не столько — сыновний долг. Отец молчаливо одобрил бы любой выбор младшего сына. Уехал бы — одобрил; остался бы — одобрил. Мотоеси было страшно признаться самому себе: он не нужен труппе. Он, бездарность, позор семьи, будет только обузой. На сцену его станут выпускать из милости, позволяя в антрактах пересказывать опоздавшим или тугим на ухо зрителям краткое содержание пьесы. Брат время от времени позволит себе изречь скупую похвалу, вкус которой горше полыни, а прочие актеры (да что там актеры — костюмеры! музыканты! служки!) станут понимающе переглядываться за спиной.

Брат брата не выдаст.

Из уважения к имени Будды Лицедеев, из уважения к славной семейной традиции…

— Что с вами, молодой господин?! Вы плачете?!

— Пыль, — хрипло отозвался Мотоеси, отворачиваясь от толстячка, от его обидного сочувствия. — Пыль… глаза ест…

К счастью, носильщики сейчас как раз выволакивали из кладовой сундук с одеждой, и костюмер мигом забыл о юноше, бросившись следить за погрузкой.

Юноша отошел в сторону и присел на скамеечку близ фонтана.

Маленького, даже можно сказать — крохотного фонтанчика: рыба, встав на хвост, плюется тоненькой струйкой.

Он, младший сын Будды Лицедеев, бесполезней этой рыбы. Она хоть прохладу дает. А он… отец, небось благодарить станет,

обнимет, скажет: «Ты — моя опора в старости!» Отец все понимает. Кроме одного, о чем старому Дзэами не ведать во веки веков: после убийства *нопэрапон* юноша до одури, до тошноты боялся выхода на сцену. Сесть в «Зеркальной комнате», взять в руки маску, вглядеться в деревянный, лакированный лик, пытаясь проникнуть в глубину образа, в святая святых придуманной личности, перед тем как сделать маску лицом и выйти к публике…

Не-е-ет!

Никогда.

В каждой маске Мотоеси виделся гладкий пузырь.

Безликое лицо.

Та страшная маска бывшей «Горной ведьмы», память о бойне на кладбище Касуга, которую юноша прятал ото всех на дне личного сундучка, под грудой хлама и старых кимоно.

Вот и сейчас: посмертная память о *нопэрапон* так отчетливо встала перед внутренним взором, что Мотоеси машинально зажмурился. Глупо, конечно, глупо и стыдно, но и впрямь померещилось: видение — это явь, истинная реальность; закрой глаза — и исчезнет. Нет, осталось. Глаза души нелегко закрыть, подобно глазам тела. Более того, жуткая скорлупа вдруг пошла ветвистыми трещинами, вспучилась местами, размягчаясь куском воска, подогретым на огне свечки…

Что за блажь?

Сгинь! Пропади…

Не слышит… не хочет.

Нижний разлом оброс пухлой мякотью губ, почти сразу сложившихся в брезгливую полуулыбку, еще ниже выпятился костистый подбородок, нос с горбинкой навис над щеточкой усов — и под прорезями— глазницами залегли мешки, щедро расцвеченные сизыми прожилками вен.

На юношу смотрела маска чиновника.

Чиновника пятого ранга, того самого, что явился с указом сегуна к опальным актерам.

— Кто… кто ты такой?!

Белые губы Мотоеси прошептали это беззвучно, одним намеком на вопрос, столь же бессмысленный для самого юноши, как и для любого, попытавшегося подслушать этот шепот.

Вместо ответа маска чиновника, в которую превратился призрак *нопэрапон*, надвинулась вплотную. Юноше показалось, что кожу лица охватила влажная прохлада — так перед тем, как надеть маску, лицо покрывают тонкой тканью, смоченной и потом тщательно отжатой. Прохлада мигом просочилась внутрь, в самое сердце, деревянные черты лжечиновника налипли Мотоеси на

щеки, ресницы, переносицу, губы… легче пушинки, осенних паутинок, когда невесомые нити слюдой носятся в прозрачном воздухе.

Снова перед глазами (внутренними? внешними?!) проступило лицо чиновника — ложное? подлинное?!

Одновременно с этим отчаяние и горечь покинули душу Мотоеси. Совсем. Вместо них властно воцарилось презрение, презрение высшего к низшему, ловчего сокола к жирной утке. Ничтожество всегда остается ничтожеством, в какие бы яркие личины оно ни рядилось, и добродетель всегда, рано или поздно, бывает вознаграждена, а порок — наказан. Это закон. Это незыблемость, фундамент, который не расшатать мерзким людишкам, полагающим себя пупком великой Аматэрасу, а всех остальных — засохшим дерьмом на краю выгребной ямы. Истинный человек не дает своим чувствам прорываться наружу, на потребу зевак, но скрытое всегда становится явным, и внутри каждый сам себе — сегун и государь. Власть доставляет удовольствие, власть над собой, власть над другими, будь она выражена силой духа или указом сегуната…

Что?!

Юноша вскочил, снова сел, нервно комкая в пальцах край пояса. Странное состояние ушло, улетучилось рассветным маревом под лучами солнца, кожу лица теперь немилосердно жгло, словно Мотоеси обгорел под жаркими поцелуями светила. Юноша поднес руки к лицу, ощупал нос, уголки рта… гладко выбритую верхнюю губу…

В волнении он даже не обратил внимания, что чиновник пятого ранга уже несколько минут смотрит на него, и только на него.

Смотрит зло, раздраженно, не пытаясь скрыть своих чувств.

Чиновники так не смотрят на опальных актеришек; так смотрят равные на равных, перед тем как произнести оскорбление.

Нет, юноша этого не видел, и хорошо, что не видел.

Туча не громыхнула молнией.

Чиновник поправил шапку тем же нервным движением, каким Мотоеси секунду назад дергал свой пояс, и быстрым шагом направился к экипажу. Неподобающе быстрым шагом. Слуги и скороходы из свиты помогли ему подняться в плетеный, богато украшенный кузов на двух больших колесах; погонщик, встав у передка, хлестнул тяглового быка — и процессия тронулась.

Вообще-то быка полагалось распрячь по приезде, но кто мог знать, что чиновник решит задержаться, поглазеть на сборы?..

Думали — возвестит и уедет…

Боковые занавески на миг раздвинулись, из-за них высунулось лицо чиновника. Раздраженный взгляд нащупал стройного юношу у фонтана, полоснул по младшему сыну великого Дзэами наотмашь, будто острый клинок; и занавески вновь сошлись — одна даже порвалась от рывка.

Мотоеси смотрел вслед вестнику беды, часто-часто моргая.

Пыль… глаза ест…

Пыль.

Все — пыль.

Отчего-то казалось: не лицо уважаемого посланца сегуна скрывается за занавесками — маска прячется на дно сундука, тонет под ветошью и хламом, медленно превращаясь в прежний гладкий пузырь.

2

Монах явился позже, когда повозки с актерским скарбом уже выехали из ворот и вереницей потянулись прочь.

К воротам Бисямон.

Безумное Облако, как и в прошлый раз, был не один. Следом за приятелем, отстав на полшага, тащился слепой гадатель, уцепившись правой рукой за ножны старого знакомого — красного меча-дурилки, который по-прежнему лежал на плече монаха. В левой руке Раскидай-Бубен тащил мешок с гадательными принадлежностями; за спиной старика болталась цитра-тринадцатиструнка в чехле из потертой кожи.

Но и это еще не все: рядом с монахом и слепцом шел старший брат Мотомаса.

У самых ворот он обогнал попутчиков, коснувшись ладонью воротного столба, и торопливо вбежал в дом, к отцу, кивнув по дороге юноше.

Сам же Безумное Облако встал как раз посреди ворот, вскинул к небу свой меч, едва не снеся верхнюю балку, — кстати, нимало не заботясь, устоит при этом бедолага слепец или позорно шлепнется наземь, — и провозгласил во всеуслышанье:

Запреты блюдя, ты — осел,
Ломая их — человек.
Правил ныне столь много,
Словно песчинок в Ганге!

«Это точно!» — еле сдержав смех, подумал Мотоеси. Хотя он

знал, что если Безумному Облаку нет равных в нарушении запретов, то и в соблюдении ему тоже равных нет. Поговаривали, что второй учитель монаха, суровый Касо Содон, умерший в позапрошлом году, сперва приказал своим послушникам окатить Безумное Облако помоями и поколотить палками, а потом, все-таки открыв упрямцу врата обители, глумливо сказал:

— У тебя гладкие и пухлые руки! Такими ли руками ломать себя?!

Той же зимой, когда суровый Касо оказался прикован к постели, будучи вынужден ходить под себя, Безумное Облако убирал за учителем прямо «гладкими и пухлыми руками», в отличие от других послушников не считая нужным пользоваться лопаточками.

Многие сомневались в правдивости или хотя бы в искренности такого поступка, зная дерзость и гордыню монаха, но сомневались в душе, молча, просто из дурной привычки сомневаться во всем.

Сейчас же, закончив тираду, Безумное Облако крутанулся волчком, вынудив взвихриться полы своих одеяний, и пошел прямиком к юноше.

Слепой гадатель остался стоять у воротного столба, опустив к ногам мешок. Раскидай-Бубен смотрел прямо перед собой заросшими глазницами, подкидывая и ловя в ладонь какой-то маленький предмет. Оставалось лишь удивляться, почему он не роняет забавку, — но удивляться было некому.

— Остаешься с отцом? — осведомился монах, походя щелкнув юношу в нос.

Не обидно, но болезненно.

— Да, святой инок, — кивнул Мотоеси, во все глаза глядя на пришельца. И, признаться, было на что посмотреть. Сегодня Безумное Облако зачем-то напялил под рясу широченные штаны-юбку, какие входили в парадный костюм самурая; ряса была подпоясана женским поясом с бантом-бабочкой над поясницей, а на плечах монаха красовался драный плащ из дерюги, видимо, выброшенный старьевщиком на свалку.

— Нравится?

Монах еще раз крутанулся волчком, позволяя лицезреть себя во всей красе.

— Д-да… очень! Очень нравится! Восхитительно!

— А вот и врешь! Врешь и глазом не моргнешь! Небось когда твой папаша рядится в личину, так публика визжит от восторга, а как я обновку надену, так и морду воротят!.. Ладно, молчи уж, все лучше, чем глупостями язык полоскать.

«Это точно!» — еще раз согласился юноша про себя, тихо-

тихо, чтобы ушлый инок не подслушал мысли.

С него станется.

Безумное Облако плюхнулся на скамейку, кинув меч в пыль, прямо к сандалиям-гэта на высоких подставках, и пальцем поманил юношу к себе.

Пришлось осторожно сесть рядом, на самый краешек.

— А я тебя вчера видел, Будда-младшенький! — Свистящий шепот монаха обжег Мотоеси ухо. — Ви-и-идел!.. на рынке. Ты маринованную дыню покупал, цельных пять кусков! Отвечай, злоумышленник: было?!

— Было, святой инок. Воистину было.

На какой-то краткий миг юноша и впрямь ощутил себя злоумышленником.

Три смертных преступления: мятеж, непочтительность к родителям и приобретение маринованной дыни.

— Ишь, зарделся! Святой инок все, все видит, у святого инока три глаза… А дыня-то по три медяка за кусок! Значит, за пять кусков… за пять здоровенных кусищ… отвечай немедля: сколько на круг выходит?

— Полтора десятка медяков, святой инок. Почти полная связка.

— То-то! — Мосластый палец монаха закачался перед самым лицом юноши. Ноготь на пальце был толстый и плоский, как у черепахи, да вдобавок еще и слоился. — Полтора десятка медяков! А ты сколько заплатил, душегубец?!

— Дюжину, святой инок.

Мелкие черты монаха сошлись в крысиную, вытянутую мордочку. Встопорщилась редкая бороденка, а открытые ноздри под плоской, похожей на сломанную, переносицей затрепетали от предвкушения.

— Дюжину! Сторговался, значит! Самого Зеленщика Тамэя переторговал!

Мотоеси снова кивнул. О вчерашней торговле с Зеленщиком Тамэем он уже успел забыть — ее вытеснили события новые, гораздо более важные и гораздо менее счастливые. Но вчера, на рынке, он удивлялся самому себе: откуда и прыть взялась?! Едва Зеленщик принялся нахваливать товар, норовя выудить у простака лишнюю монетку, как в Мотоеси ответно вспыхнула неистовая жажда барыша. Хоть какого, но барыша! Юноша приводил тысячи доводов, почему этой дыне место скорее в отбросах, нежели в котомке честного человека, он торговался до хрипоты, на каждый довод Зеленщика Тамэя отвечая своим контрдоводом, призывая в свидетели Канон-Тысячеручицу, всех будд прошлого-будущего и любого из рыночных зевак… да, много

воды утекло, прежде чем продавец и покупатель ударили по рукам.

Зеленщик Тамэй еще долго провожал его взглядом, восхищенно крутя головой, и было в его взгляде что-то такое… Сейчас Мотоеси казалось, что взгляд торговца был донельзя похож на прощальный взгляд чиновника из окна экипажа.

Странно: вспомнил о торговце, и вдруг примерещилось — вчерашний день, личный сундучок в углу, хлам, и на самом дне сундучка деревянная маска топит в самой себе лицо жадного Зеленщика, застывая прежним, безликим пузырем.

Голову напекло, что ли?

— Мотоеси!

Кричал старший брат. Он стоял на крыльце, держа в руках тщательно перевязанный свиток.

— Простите, святой инок. — Юноша очнулся, с радостью видя возможность избежать дурацкой беседы, и кинулся к брату.

Сломя голову.

— Я иду к Идзаса-сэнсею, — сказал Мотомаса, показывая юноше свиток. — Попрощаться. И передать подарок: текст «Горной ведьмы» с комментариями, собственноручно переписанный отцом. Ты идешь со мной. Нам надо договориться о твоем дальнейшем посещении занятий. Раз уж ты остаешься…

Идзаса-сэнсей был учителем меча и основателем школы Тэнсин-рю, что означало «Школа Небесной души». Указ позапрошлого сегуна — о славные, дивные времена удачи! — приравнивающий актеров к торговому сословию и позволяющий им учиться фехтованию у прославленных мастеров (естественно, с согласия последних), пока еще не был отменен. Впрочем, юноша полагал, что отмена не заставит себя ждать — по меньшей мере в отношении семьи Будды Лицедеев. Про себя он твердо решил прекратить занятия, дабы не длить бессмыслицу и заодно не ставить под удар Идзаса-сэнсея; но если старший брат настаивает…

Хотя вряд ли сам мастер меча оставит у себя ученика, на ком почил гнев всемогущего сегуна да еще и столь бездарного ученика, как Мотоеси.

Юноша поклонился брату, пряча взгляд.

Он не видел, что слепой гадатель все подбрасывает и ловит, подбрасывает и ловит персиковую косточку с вырезанными на ней тремя знаками судьбы… подбрасывает, ловит, снова подбрасывает…

Все время выпадало одно и то же.

Неизбежность.

3

— Х-ха!

Идзаса-сэнсей поморщился. С таким выдохом только дрова рубить… Нет! — с таким кряканьем, когда воздух теснится в глотке, подобно толпе в воротах рынка, едва объявят распродажу подержанных сандалий! И то, умелый дровосек…

Мастер вздохнул.

Он знал, что несправедлив к ученику, и знал, что это один из лучших учеников. Правильный *«кэнсей»*, «крик души», родится у этого парня, отягощенного лишней силой, не раньше чем через год… полтора года. Но ведь хочется, ах как хочется, чтобы сегодня, чтобы сейчас!

Мастер вздохнул еще раз.

Он был вовсе не стар, Идзаса-сэнсей, он даже пожилым-то был весьма относительно. Тридцать восемь лет — не возраст. Страсти обуревают, страсти, порывы и метания, а ведь если сказать об этом ученикам… не поверят. Удивятся. Их невозмутимый мастер — и страсти? О чем вы, почтенные?! Легче свести воедино западный рай и преисподнюю князя Эмма…

Ученики вообще недоверчивы. Особенно лучшие. И уж вовсе никогда не поверить им: настоящий учитель всегда чувствует себя самозванцем, занявшим место другого — более сведущего, более мудрого, более… того, каким бы хотелось быть. Учитель, ощутивший себя учителем, должен бросать все и уходить в горы, становиться отшельником, никогда не посягая на чужую душу. Жаль, ученикам этого не понять, ученики на то и ученики, чтобы мечтать стать учителями.

— Х-хай!

А вот это уже лучше. Можно сказать, вполне прилично. Очень похожим двойным ударом — вскользь по чужому клинку, нырок, сперва запястье, а там и шея — Идзаса-сэнсей в свое время сразил в поединке Длиннорукого Такакуру. Тогда еще никто не звал мастера сэнсеем, да и мастером-то… а все-таки короткий клинок вполне способен противостоять длинному. Особенно если и бой так же короток и ослепителен, как малый меч.

Именно после этого поединка на равнине Миягино двадцатилетний Идзаса сочинил пятистишие:

— За шторами мастерства
Сокрыт безмятежный дух.
Раздерни шторы,
Гляди —
Вливается лунный свет.

Он встал с циновки и подошел к перилам веранды.

Маленький, рано облысевший, похожий на краба человек.

— Ноги! — сорванным голосом крикнул Идзаса-сэнсей. — Приседай, приседай — и вперед!

Внизу, на аллее, посыпанной белым песком, вновь сошлись два меча — большой и малый.

Сегодня занятий не было, но основатель школы «Небесная душа» и по выходным дням приглашал к себе на дом тех, кому иногда доверял провести часть общего занятия, руководя прочими.

— Ноги, говорю!

Плечистый здоровяк присел и со всей стремительностью бросился вперед, добросовестно выполняя указание наставника. Наверное, сейчас он заслуживал похвалы или дополнительного совета не суетиться. Наверное и даже наверняка. Но Идзаса-сэнсей уже не смотрел на ученика. Он смотрел через весь сад на двоих гостей, что в сопровождении слуги шли к веранде дома — мимо глициний, мимо крутобоких, поросших мохом валунов, мимо ручейков, умело устроенных садовником…

Актеры.

Сыновья Будды Лицедеев: старший, Мотомаса Дзюро, почти одних лет с самим мастером, и младший… как бишь его?.. а, Мотоеси.

Идзаса-сэнсей вечно забывал имена тех, кто ничем не выделялся во время занятий.

Мастер махнул рукой ученикам (продолжайте, продолжайте без меня!), отошел от резных перил и встал на ступеньках.

Его поклон был гораздо короче и существенно менее глубок, нежели поклоны новоприбывших.

Традиция.

— …не знаю, право, как и благодарить вас! Дар, достойный императора! Молю вас, задержитесь, выпейте со мной по чарке перед отъездом!

Юный Мотоеси видел: мастер меча ничуть не лицемерит. Благодарит от всего сердца. И то сказать: свиток со знаменитой пьесой отца, переписанной собственноручно сочинителем, да еще в придачу с авторскими комментариями на полях… За такой свиток иной дайме, из знатных покровителей искусства, годового жалованья риса не пожалеет.

Мысль пришла и ушла, оставив легкий налет вульгарности.

При чем тут рис? — отцовские свитки бесценны…

— Простите, наставник, но мы вынуждены отказаться. — Старший брат еще раз низко поклонился. — Верьте, мы скорбим, уходя! Пожалуй, в следующий раз, когда я вернусь в столицу…

Он запнулся, успокоил дыхание и твердо поправился:

— Если я вернусь в столицу. Тогда вы будете первым, к кому я зайду выразить свое неподдельное уважение.

— Да, да, конечно, — понимающе закивал Идзаса-сэнсей, сверкая лысиной на солнце. — Мирские почести, — мастер многозначительно понизил голос, — равно как опала и покровительство, преходящи! Один талант вечен, и указами его не отобрать. Я понимаю… А ваш младший брат — он ведь остается в городе? Я вас правильно понял, Мотомаса-сан?

Наставник «Небесной души» во время приватных разговоров всегда прибавлял к имени Мотомасы уважительную приставку «сан», несмотря на разницу в происхождении.

На занятиях он этого не делал.

Мотоеси шагнул вперед.

— Я… — Юноша понимал, что нарушает приличия, самовольно вмешиваясь в беседу старших, мешая брату ответить на вопрос наставника, и поэтому торопливо поклонился. — Сэнсей, умоляю, поймите меня правильно! Я…

Левая бровь Идзасы-сэнсея поползла вверх.

— Я слушаю, — очень тихо сказал мастер меча.

Как клинок из ножен вынул.

— Я больше не имею возможности посещать ваши занятия! — единым духом выпалил юноша и чуть не зажмурился от страха: таким острым вдруг стал рассеянный взгляд наставника.

— Ты решил сменить учителя?

— Что вы!.. что вы… никогда! Лучшего учителя, чем вы, не найти, даже если пройти пешком от мыса Амагасаки до горы Хиэй! Просто… просто…

— Я слушаю, — повторил Идзаса-сэнсей.

Юноша все-таки зажмурился.

Говорить так было легче, но не очень.

— Я… я — бездарный ученик! Я — позор своего наставника! И кроме того… ну, вы понимаете, учитель!.. сегун подверг опале наше семейство, и теперь…

— И теперь ты боишься навлечь на меня гнев сегуна Есинори?

Идзаса-сэнсей сейчас думал быстро. Многие не понимали, что медлительность этого человека во всех делах житейских способна перерасти в стремительность атакующей змеи без перехода, сразу, едва события переходили определенную, видимую только мастером черту. Многие не понимали, за что и поплатились; но

сейчас речь не об этом.

Юнец прав — сегун злопамятен.

Юнец прав.

Но согласиться с его правотой — вот истинный позор.

Даже если этот позор родствен безопасности.

Улыбка растянула тонкие, бескровные губы маленького человека, похожего на краба; и при виде этой улыбки Мотоеси затрепетал с головы до пят.

— Наставник… наставник! Я готов принять любую кару за…

— Молчи и слушай. Только мне дозволено решать, кто из моих учеников талантлив, а кто бездарен. Только я принимаю решение: оставить или выгнать. Решая это сам, ты оскорбил меня. Но оскорбил по недомыслию, из лучших побуждений, и поэтому достоин прощения. Сейчас мы спустимся вниз, и я уделю тебе несколько минут своего времени. После чего приму окончательное решение: стану ли я учить тебя дальше или выгоню прочь. Ученик не выбирает, ученик отдает себя в знающие руки; бремя учителя — бремя выбора. И запомни: гнев или ласка сегуна Есинори здесь абсолютно ни при чем. На Пути Меча все равны.

Идзаса-сэнсей покосился на тех двоих, что совсем недавно рубились на песке аллеи, а сейчас стояли внизу бок о бок, у обвитой плющом беседки, с отрешенными лицами.

Услышали ли?

Запомнили?

Да, услышали и запомнили.

— Идем.

И, не дожидаясь, пока юноша последует за ним, Идзаса-сэнсей спустился по ступенькам.

Короткий жест — один из старших учеников кланяется и сломя голову убегает, чтобы минутой-другой позже принести из оружейного зала два деревянных *боккэна*. Мастер меча терпеть не мог этих новомодных ухищрений: на его занятиях использовались только стальные клинки, пусть и не работы оружейников древности, но все-таки стальные, заточенные, способные причинить увечье. И бамбуковые доспехи вкупе со шлемом он тоже не признавал, принуждая учеников заниматься в обыкновенной, повседневной одежде.

Когда он говорил другим наставникам, что так гораздо меньше пострадавших и гораздо больше постигнувших — он был прав.

Но верили ему не все.

Впрочем, сейчас можно было позволить себе взять в руки боккэн из твердой древесины. Не ради себя, а ради этого юного

глупца, способного причинить собственному телу бед во сто крат больше, чем это сделает кто-либо другой, и в первую очередь он, Идзаса-сэнсей.

Рукоять, обтянутая выворотной, сама ткнулась в ладонь.

Маленький, похожий на краба человек поднял деревянный меч над головой и застыл в ожидании.

4

Все вышло неправильно.

Совсем неправильно.

Нет, поначалу события не отклонялись от задуманного Идзаса-сэнсеем сценария. Мы, конечно, не великий Дзэами, пьес не пишем и не ставим, но некоторые сценарии и нам подвластны. Вон юнец робко берет поданный ему боккэн, спускается вниз, на песок… встает напротив.

Через секунду этому… как его?.. Мотоеси становится неуютно, он облизывает губы и зачем-то переносит вес на заднюю ногу. Ему, наверное, кажется, что так гораздо безопаснее, дальше от мастера и, значит, лучше; ему так кажется, и он не прав.

Пусть.

Пусть его.

А вот и боккэн косо смещается к правому плечу — еще одна глупость.

Простим и это, хотя в бою это смерть.

Разрубленная подмышка.

Впрочем, юнец не самурай, юнец — актер, для него смерть — это занавес и преддверие следующего спектакля.

Как и для нас всех, только спектакли разные.

Идзаса-сэнсей мог позволить себе думать о постороннем. Сейчас — мог. Он и так уже заранее решил: юнец останется у него в школе, независимо от итога испытания. Талантлив он или бездарен (второе — скорее), не имеет никакого значения. Даже если сам юноша станет упираться — заставим. И никто не сможет после этого сказать, что основатель школы «Небесная душа» способен бросить в беде своих учеников, даже рискуя навлечь на себя гнев властей.

Это хорошо.

Это честь.

Улыбка еще кривила тонкие губы прославленного фехтовальщика, безбрежная уверенность в своих силах еще заполняла до краев его сердце, но опыт вдруг напомнил о себе тонким шилом беспокойства.

Посторонние мысли вспугнутым вороньем взвились в воздух

и закаркали, кружась над равниной души.

Юноша напротив сделал первый шаг, и Идзаса-сэнсей без видимой причины остро почувствовал: его собственная позиция уязвима. Ибо шаг Мотоеси был преисполнен гордого, воистину мастерского спокойствия. Да, проскальзывая по песку, ступня чуть-чуть запаздывала укрепиться, пустить корни — но это поправимо. Это легко поправимо. Это…

Тело Идзаса-сэнсея думало само.

Боккэн опустился перед грудью, и краб попятился назад, угрожающе растопырив клешни.

Мотоеси и не подумал остановиться. Рискованно, очень рискованно он двинулся наискосок, сокращая разрыв, неумело изменяя положение деревянного клинка у плеча, — но умение или неумение юноши сейчас меньше всего интересовали мастера. Рассудок подсказывал Идзаса-сэнсею ринуться вперед, в отчетливо видимую паузу, и вышибить оружие из рук ученика; рассудок подсказывал, и был совершенно прав, но чутье фехтовальщика говорило совсем иное.

Мотоеси излучал такое непоколебимое достоинство, такой преисполненный бесстрастности дух, что бросаться на него казалось лишь способом покончить с собой, одним из многих. На миг мастеру даже почудилось: он смотрит в зеркало, в тайное зеркало, отражающее не поверхность, а глубину; он смотрит и видит за неуклюжестью и отсутствием опыта — самого себя.

Бойца, обожженного сотней схваток.

Наставника, чьи заслуги бесспорны.

Идею *«ай-нукэ»* во плоти, идею растворения в судьбе, ибо врага убивает не меч мастера, а его собственное упрямство; зато, бросив вызов более сильному, ты не погибаешь, а и впрямь совершаешь самоубийство.

Идзаса-сэнсей смотрел в зеркало и видел то, что зачастую не видно другим, — себя.

За шторами мастерства
Сокрыт безмятежный дух.
Раздерни шторы,
Гляди —
Вливается лунный свет.

5

…когда боккэн вылетел из вспотевших ладоней Мотоеси, а деревянный клинок учителя огрел сына великого Дзэами по

хребту, юноша перевел дух едва ли не с облегчением.

Так и должно было быть.

Мастер всегда говорил: смерти подобно отвлечься во время поединка. Мастер всегда прав. А он, глупый Мотоеси, едва ли согласился бы признаться вслух: он сейчас отвлекся. Он видел глупости: проклятая маска *нопэрапон*, воск, подогретый на пламени свечи, и гладкая поверхность мнется, превращаясь в лицо Идзаса-сэнсея, лицо воина, не знающего поражений, — вот маска надвигается, липнет на лицо, просачивается внутрь…

— Завтра в час Обезьяны, — еле слышно сказал Идзаса-сэнсей, стоя к юноше вплотную. — И если ты опоздаешь к началу занятия, я заставлю тебя заново отполировать все мечи языком! Понял?! Завтра в час Обезьяны, даже если все боги и демоны встанут у тебя на дороге!

Мотоеси еле смог заставить себя кивнуть.

Ну конечно, не будь он сыном Будды Лицедеев и не желай Идзаса-сэнсей прилюдно продемонстрировать свою независимость…

6

Боккэн валялся в кустах, и на нем уже примостилась рябая пичуга.

V. По образу и подобию. Олег

Не верю!!! Монах человека убил? Чушь собачья!

— Олежа, не лезь в бутылку! Тоже мне Станиславский: верю, не верю! Что делать будем?

Когда Ленчик превращает меня из Семеныча в Олежу, сразу ясно: разговор пошел серьезный.

Я прошелся по комнате хромым бесом, вертя в руках чайную ложку. Всегда предпочитал размышлять таким образом: на ходу и играясь какой-нибудь чепухой. С детства. Нет, но каков фортель: великий мастер «языкоприкладства» Володька Монах в полкасания грохнул любимого ученика этого… как бишь его?.. впрочем, наплевать. Только выяснений нам сейчас не хватало!

Месяц назад мы потеряли зал. Школьный зал, где свободно становилось до сорока человек; нагретое лет за семь местечко, в пяти минутах ходьбы от метро — тише не бывает. Дурак директор без видимых причин поссорился с арендаторами флигеля, и через три дня к нему явился клиент на аренду подвала под склад. Сто баксов в месяц предложил. «Много, — застеснялся наш душка. — Давайте пятьдесят. На ремонт школы…» Клиент дал, хозяин взял, а через секунду в кабинете было не продохнуть от понятых и видеокамер.

Портрет штатовского президента, столь любимого трудовым народом моей родины, наискось пересекала проявившаяся в ультрафиолете надпись: **«ВЗЯТКА»**.

Завели дело, а для профилактики принялись трясти кружки и секции (начали, на наше счастье, с садоводов и макраме): что давали, когда давали и платите ли положенное родной державе?

Садоводы, проявив завидное проворство, исчезли первыми, мы — вторыми.

Найдя убежище в подвале одного из младших инструкторов, где он возился с первым годом обучения. Весна идет, весне дорогу, месяц — и мы в лесу; а к сентябрю сориентируемся.

Нам державе оброк платить несподручно, мы и школьный-то зал на надрыве тянули…

И вот — шалая выходка Монаха, в которую я не верю до сих пор. Да, он ушел от нас с полгода тому назад; да, наша хата с краю и ниже уровня земли; да, мы тут совершенно ни при чем, но если начнут шерстить — мало не покажется. Любят у нас это дело — шерстить.

Прав Ленчик: надо разбираться.

— Ты ему позвони, — встрял Димыч. — Я у старосты телефон взял. Позвони и скажи…

Димыч осекся, прекрасно понимая: я и сам знаю, что надо бы сказать беглому Монаху, вот только делать это мне аж никак не хочется.

Но придется.

Долго было занято.

— Да? — наконец спросил женский голос. — Да, я слушаю!

— Э-э-э… Володю можно?

— А кто его спрашивает?

— Скажите, Олег звонит.

— Какой Олег?

Вот ведь пристала, цербер!

— Володя знает.

— Вова! — громыхнуло в трубке так, что я едва не оглох. — Вовка, тебя какой-то Олег спрашивает. Подойдешь?

Мне пришлось ждать еще минуты три-четыре, прежде чем женский голос в трубке сменился мужским.

Хриплым, будто мороженого объелся или с перепою.

— Монахов у телефона.

Ишь ты!

— Привет, Володя. Это я. — Слава богу, не стал выяснять: «Кто „я“?! — Слушай, я тут газету читал…

Неприятный смех. Трубка смеется долго, очень долго, и я ловлю себя на желании послать все к эбеновой маме и закончить этот паскудный разговор.

— Грамотный? — отсмеявшись, интересуется трубка. — Прессу полистываешь? Дергаешься небось: а вдруг твоих криворуков зацепит?

Я молчу.

Я всегда молчу перед тем, как учинить выходку, о которой после буду шумно сожалеть.

Ленчик когда-то, изучая мой гороскоп, сообщил, будто в прошлой жизни я был «судьей неправедным», скорым на опрометчивые поступки.

Пожалуй, он прав.

— Ты не дергайся, сэнсей, — рокочет в трубке. — Ты спи спокойно: я о вас — ни словечка. Не знаю, не ведаю, в глаза не видел. Ты только вот о чем подумай, сэнсей, ты крепко подумай: двенадцать лет жизни — коту под хвост! А, сэнсей? Что скажешь?! У тебя ведь не двенадцать, у тебя поболе будет… Не жалко?

И гудки.

Короткие, наглые.

— Ну что? — спрашивает Димыч.

«Олежа, как?» — сквозит во взгляде Ленчика.

Я молчу.

Никогда, никогда раньше Монах не разговаривал со мной в подобном тоне!

— Все нормально, — отвечаю я. — Он про нас забыл и забил. Все нормально, мужики…

И только тут замечаю, что кручу в пальцах чайную ложку, как крутят нож перед обманным ударом.

* * *

Май наконец-то вспомнил, кто самый радостный в году, и плеснул в глаза солнышком.

От Дубравы мы с Димычем сразу свернули к выводку турников, свежепокрашенных каким-то доброхотом, а оттуда взяли напрямик. Делать так было опрометчиво. Здешние лесопосадки испокон веку обладали норовом незабвенного ляхофоба Сусанина — стоило покинуть торные пути, как дорога вместо сокращения удлинялась раза в три. Год за годом мы топаем здесь, под каждым кустом если не стол и дом, то уж шашлык бывал наверняка — а вот надо же! Не иначе, леший шалит. Оставалось лишь угрюмо бормотать под нос: *«И с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы…»* Ну и плевать. Пусть их тянутся. До занятия еще час с лишним, времени навалом.

Мы, собственно, специально приехали ни свет ни заря, желая самолично осмотреть родную полянку после зимних невзгод.

И прикинуть возможный объем работ по благоустройству.

Наверное, со стороны это выглядело потешно: двое упитанных мужчин в самом расцвете сил подпрыгивают на ходу, елозят подошвами кроссовок по особо мокрым участкам, иногда останавливаются и раскорячиваются жабами перед дождем, задумчиво перенося вес то на одну, то на другую ногу… Чем славна Дубрава — со стороны пялиться некому. Тишь да гладь. И можно без глупых комментариев выяснить, что по такой погоде делать можно, что можно, но стремно, а с чем стоит погодить до более сухих времен.

Мы перебрались сюда лет десять тому назад, из Лесопарка, главного обиталища окрестных «каратюков». С мая месяца (если не раньше!) Лесопарк разом превращался в коммунальную квартиру, где за каждый квадратный метр чуть ли не война начиналась. Иду на «вы»! — и таки иду, можете быть спокойны! Рукомашество с дрыгоножеством высовывались из-за каждой елки-палки, любое относительно ровное пространство шло нарасхват; временами приходилось стоять в очереди… Нет худа

без добра: ветераны приучились делать свое дело даже под шрапнелью язвительных взглядов и реплик знатоков. В наше время все знатоки, особенно насчет посмотреть. Хуже дело обстояло с зараженными бациллой орлизма — они топорщили перышки и назойливо щелкали клювом в смысле «поработать».

Ну, козлы, выходите — я, блин, седьмой месяц грушу околачиваю, пора душу молодецкую потешить!

Иногда нервы не выдерживали, в чем после приходилось раскаиваться. Знать, не до конца стал подобен сердцем стылому пеплу и сухому дереву… у-у, лицемер!

Сейчас, на мое счастье, мода на рукомесло прошла, и даже в летнем Лесопарке можно без проблем сыскать тихое местечко. Можно, но не нужно. Привыкли. Обжили Дубравушку. А мода… Бог с ней, с модой. Просто иногда, осенними вечерами, вспоминаются старые времена. Когда нас споро оцепляли дружинники и краснорожий лейтенантище стращал злоумышленников козьей мордой правосудия. Когда любой пацан, завидев нас (или не нас) издалека, несся навстречу с истошным воплем: «Дяденьки, к вам записаться можно?!» Когда в целях конспирации приходилось надевать дурацкие гетры, ставить на окнах зала затемнение, а в углу на матах дремал до поры кассетный магнитофончик, заряженный попсой, — во время налетов нам трижды удавалось сойти за «аэробику». Ржали потом до истерики… А за фотокопию какой-нибудь засаленной *«Годзю-рю карате-до»*, только за наличие сверху грозного имени тигроубийцы Гохэна Ямагучи, отдавалась трехмесячная стипендия! Сейчас бы небось поскряжничал, поскрипел бы — дешевле найду, а и не найду, так обойдусь! И жена-умница, помню, помалкивала, когда я, сволочь окаянная, оставлял ее дома с больной дочкой, пропадая днями все в том же Лесопарке, возвращаясь никакой…

— Пьет много, — шептались за спиной сердобольные соседки. — Ишь, ноги не несут!.. А с виду приличный, в очках…

Ноги и впрямь не несли.

— …что?!

— Смотри, — зловещим шепотом повторил Димыч и для верности ткнул меня локтем в бок.

Больно ткнул, подлец, с усердием.

— Куда смотри?!

— Да тише ты!.. Видишь, за шиповником? Монах…

Я поправил очки и пригляделся. Вон тополь, чей пух вскоре начнет терроризировать всех и вся; вон и впрямь заросли шиповника, а вон, в просвете, руки-ноги мельтешат.

— Ты сюда стань. — Димыч осторожно смещался влево. — Отсюда лучше…

Действительно, лучше. И отчетливо виден Монах на пленэре. Рядом с долговязой девицей из породы орловских рысаков. Или — рысачих. Занимаются, надо полагать. Без правил, или чем там Володька сейчас балуется? Ага, друг дружку пинать стали. Точнее, попинывать. Издалека, для пущей безопасности. Позорище. Глаза б мои не глядели… Разогнать бы их сейчас по углам, да опустить в старую добрую стоечку, да минуток на пять, чтоб коленки задрожали! Оно, когда дрожь в коленках, ума сильно прибавляет. А когда пяточкой сам себя по гениталиям от большой спешки выйти в мастера… Помню, я одного айкидошника разочаровал, назойливого, как уличный проповедник-мормон или там адвентист седьмого дня. Он мне про гармонию, про любовь мировую и про меня-злыдня на закуску, а я ему про то, что дедушка Уешиба, О-сэнсей великий (без шуток, всерьез!), о любви лишь на старости лет заговорил, когда копьем и мечом положенное отмахал. Как и все великие. А попервах у своего учителя, знаменитого Такэда Сокаку по прозвищу Последний Самурай, который и после частичного паралича пятым данам шею мылил… Полы у него драил дедушка. За каждый жест платил учителю, хоть и был бедней церковной, то бишь храмовой, мыши. Правильно делал, умница…

Зато когда Последнего Самурая на восемьдесят третьем году жизни паралич таки разбил, то именно дедушка Уешиба при еще живом наставнике официально сменил название школы с Айки-будо на Айки-до. Чем изрядно потоптался по японским традициям. И быть бы дедушке битым четырьмя «внутренними учениками» Такэды, когда б не дипломатический талант самого Уешибы и однозначный запрет ожившего Последнего Самурая на вынос сора из избы… простите, из додзе.

Пожалуй, символично, что оба они, учитель и ученик, Последний Самурай и О-сэнсей, умерли в одном возрасте и практически в один день; только ученик отстал от учителя на двадцать шесть лет.

Не поверил айкидошник. Опять про любовь завел. Про отсутствие духа соперничества. А когда я ему сообщил, что в старых школах карате, того самого злобного карате, от которого у айкидошника скулы сворачивает, про так называемый «свободный спарринг» и слыхом не слыхивали аж до конца первой четверти XX века…

Опять не поверил.

Бросил метать бисер передо мной свиньей.

Ушел, смеясь.

А я смотрел ему вслед, понимая, что в полный стакан не наливают, и думал: прав ты, дурачок, и про любовь прав, и про гармонию… Только рано начал. И вслух. Оно когда про любовь вслух и чересчур, без спросу хватая за грудки и вкручивая любой ценой, — сомнения великие берут.

Любовь — штука тихая.

А ты, брат, не Купидон, чтобы с этой любовью, да ко всякому-каждому, да в мегафон, да на всех перекрестках…

— …ты чего, заснул?

— Пошли отсюда, Димыч. Что мы с тобой, Монаха не видели? Знаешь песню: «Каким ты был, таким ты и остался, орел степной…»?

Димыч недовольно засопел и стал копаться в бороде. У меня борода короткая, огладишь, вот и весь кайф, а у него — другое дело.

Есть где развернуться.

— Монах американца грохнул, — буркнул он невпопад, словно желая мне напомнить. — Мало ли… может, подойдем?

Не стал я объяснять, что после телефонного разговора мне меньше всего хочется подходить к Монахову Владимир свет Палычу.

Зачем?!

Чтобы опять услышать смех и хриплое:

— Ты только вот о чем подумай, сэнсей, ты крепко подумай: двенадцать лет жизни — коту под хвост! А, сэнсей? Что скажешь?!.

Ничего не скажу, Володька.

Промолчу.

Пинай свою девицу всласть.

…Димыч шел за мной, немузыкально мурлыча под нос.

Дмитрий

Сегодня я устал основательно. Олег — видимо, одурев от свежего воздуха после духоты подвала, — загонял всех до смерти, отчего сразу вспомнился давний случай. Когда меня, после трех дней на ногах и трех бессонных ночей на одном загородном сборище, вытащили под вечер последнего дня крутить показуху. Народ алкал зрелищ (ибо хлеб и тушенка уже были съедены, а водка выпита). Я еле ноги волочил, даром что трезвый, а тут ко мне подбегает приятель и взашей гонит выступать. Ну, показуху-то мы отработали нормально, откуда только силы взялись! — а потом все закончилось, вышел я из круга, смотрю: на дороге

бревно лежит. Не очень даже большое. Мне б переступить, да нога не поднимается! Минутой раньше брыкался вовсю — а тут бревно перешагнуть не могу! С третьего раза удалось, и то чуть не упал…

Нет, сейчас, конечно, мне бревно не преграда; но состояние похожее. И предплечья ноют — опять отбил об Тролля. Завтра в калейдоскоп играть буду: сперва посинею, затем пожелтею. Кр-расота! Вот сейчас еще выйдем к остановке, возьмем по бутылке пива, сами себя осудим за потакание низменным страстям…

— Пивка возьмем? — Олег поравнялся со мной.

Смотри-ка, хромать начал! Вспомнил… ладно, шучу.

— Это только у дураков мысли сходятся или у соавторов — тоже? — ухмыляюсь я.

— Оно, конечно, пиво после тренировки…

— Нехорошо, — заканчиваю я мудрую мысль.

— Но если душа просит, а на дворе воскресенье, то уже…

— Гораздо лучше, — заканчиваю я вторую мудрую мысль.

— И всего по одной…

— «Монастырского темного». — Третья мысль мне кажется гораздо мудрее предыдущих.

— Или «Княже». Если будет.

— Угу.

Одно время я предпочитал «Гессер», да и сейчас его люблю, в отличие от популярного в иных кругах «Гиннеса». Но в последние полгода наш Роганский завод стал варить пиво ничуть не хуже, и к тому же — вдвое дешевле.

Патриот я или где?!

Группа растянулась по просеке двумя муравьиными цепочками: посередине до сих пор блестели лужи, и все старались идти по обочине.

У остановки народ, прощаясь, стал расползаться в разные стороны — кто на троллейбус, кто на автобус, а кто и вообще рядом живет. К нам с Олегом пристроился Ленчик, однако пива брать не стал — купил бутылку минералки.

Троллейбусов долго не было, но мы никуда не спешили: болтая о пустяках, опустошили бутылки, сдали их терпеливым бабуськам-мешочницам, а потом я достал сигарету.

— Ну что, включаем ускоритель?

— Включай.

Я закурил. Минздрав предупреждает: это называется «умелое использование закона подлости в корыстных целях». Ведь общеизвестно, что, стоит тебе закурить, — мигом появится долгожданный транспорт. И точно! Не успел я сделать и пяти затяжек, как к остановке подкатил рогатый. (Помню, кто-то шутил: дескать, слово «троллейбус» произошло от слова «тролль»,

которое в переводе на русский означает «черт с рогами».)

Двери распахнулись, троллейбус изверг наружу часть плохо переваренного содержимого и вознамерился было поскорее удрать — но мы втроем успели-таки втиснуться внутрь, угодив в привычный живой пресс.

Через пару остановок полегчало, а Олег вдруг тронул меня за плечо и указал подбородком в сторону передней двери. Вначале я не понял, но почти сразу машину тряхнуло, и я увидел у кабины водителя знакомую лысину в обрамлении редкой седеющей поросли.

Монах.

А рядом, кажется, та самая длинномерная девица с поляны; хотя со спины толком не разобрать.

— Тебе еще хочется подойти? А, Димыч?

— Ну…

В общем-то Олег прав: говорить с Монахом особо не о чем. «Привет — привет». Ну, еще пару фраз. И все равно мы стали пробираться к передней двери.

Троллейбус подходил к очередной остановке, когда Монаха качнуло, крутанув волчком. Первым он увидел Олега, да и нас с Ленчиком наверняка заметил.

— Привет, Володя! — Олег махнул ему рукой.

Однако вместо ответного приветствия Монах резко отвернулся, шепнул что-то на ухо своей дылде (для этого ему пришлось привстать на цыпочки) — и оба они спешно начали толкаться, выкрикивая:

— Вы сейчас выходите? А вы?!

Впору затылок почесать. Куда это он ломанулся?

— Володь, да подожди ты! На пару слов…

Монах даже не обернулся. Вместо этого он неуклюже пнул в бок толстую бабу, вставшую со своей кошелкой в проходе, словно триста спартанцев в Фермопилах. И грянул классический троллейбусный скандал! Баба попалась горластая, доведя до сведения пассажиров много новых фактов из жизни «лысого ракла». Но тут двери наконец распахнулись, и потный Монах с девицей кубарем вывалились на улицу, чуть не сбросив с подножки еще двоих человек, не ожидавших от нашей парочки подобного натиска.

Мы по инерции выскочили следом, опоздав буквально на минуту.

Никого.

В смысле, ни Монаха, ни его спутницы.

Совсем рядом начинался однообразный лабиринт пятиэтажных «хрущоб», и затеряться в нем было проще простого.

Ну не играть же нам в «казаков-разбойников»!

Позади раздалось сдавленное сипение. Мы разом обернулись — и едва успели подхватить под руки сухонького старичка в драповом пальто и антикварной шляпе из фетра. Этот старичок как раз стоял в дверях, когда Монах с подругой ломились к выходу.

Бедняга задыхался, перхал, лицо его пошло багровыми пятнами, и всем нам сразу стало ясно, что дело плохо. Я затравленно огляделся в поисках ближайшего телефона-автомата. Есть! Вон, у ларька, на углу. Только бы работал! Карточка… Тьфу, «03» ведь бесплатно!

— Олег, я к телефону, «Скорую» вызывать.

— Да, беги.

Бегу, словно за мной гонятся. Добегаю. Срываю трубку. Похоронной музыкой в ухо ползут короткие гудки. Остервенело дергаю рычаг. Есть! Длинный!

— Приезжайте скорее! Тут человеку плохо! Задыхается. Кажется, с сердцем что-то… или астма. Что? Остановка Отакара Яроша, как ехать с Павлова Поля в центр… Да, троллейбусная остановка, на перекрестке!.. Выезжаете? Спасибо…

Ну, даст бог, успеют.

Оборачиваюсь — и вижу, как тормозит наш троллейбус, тормозит с визгом, со скрежетом, едва отойдя от остановки; и из открывшейся передней двери кого-то выносят. Еще одного… одну. Та самая толстуха, что костерила Монаха на весь салон. И еще…

Бегу обратно.

Олег

Пострадавших было четверо. Старик, которого мы успели подхватить, тетка с кошелкой, молоденький курсант с оттопыренными ушами и мальчик лет семи-восьми. Совсем как Димкин сын.

Курсанта все время тошнило, и поначалу мы решили, что он попросту пьян. Но спиртным от лопоухого не пахло, парень зеленел на глазах, пытаясь принять цвет собственной формы, и ноги отказывались держать хозяина. Его усадили на обшарпанную скамейку, и теперь курсант глубоко, жадно дышал, прикрыв глаза и откинувшись на спинку. Авось отдышится.

Все остальные были без сознания. Над мальчиком взахлеб рыдала молодая женщина, размазывая по щекам потекшую тушь.

— Алешенька, Алешенька, очнись! Да что же это?! — всхлипывая, причитала она.

— Отравились небось? — переговаривались мужики в рабочих спецовках, дымя «Ватрой». — Грибами, ясное дело! Сейчас все грибами травятся, после Чернобыля…

Это они вытащили пострадавших из салона наружу.

— Вряд ли, Петрович. Может, эта… эпидемия какая?

— Блин, не подхватить бы! Меня супружница живым закопает…

Никаких других мыслей, кроме отравления или эпидемии, мне тоже в голову не приходило. А зря. Что ж это получается, братцы?! В течение двух минут три человека практически одновременно выпадают в осадок, а четвертый — едва не выпадает! Не слишком ли для эпидемии?! А если они отравились, к примеру, какой-то дрянью прямо в салоне — то почему только эти везунчики, а не все поголовно?

Грибов на всех не хватило?!

«Скорая» задерживалась, врача среди людей на остановке не нашлось, и мы сделали, что могли: уложили пострадавших поудобнее, расстегнули на них одежду, чтоб легче дышалось… Что еще? А ничего! Никто просто не знал, что еще можно сделать!

Собрались вокруг — только мужики с сигаретами отошли чуть в сторону; ждали «Скорую».

Второй курсант, однокурсник лопоухого, еще раз сбегал к телефону.

Вернулся.

— Обещали вдогон две машины выслать. Первая уже выехала.

— Да где ж они ездят, мать их?!.

Старик вдруг дернулся, глубоко вздохнул и обмяк. Ленчик с курсантом бросились делать ему искусственное дыхание — и тут рядом завизжали тормоза…

Машины «Скорой» забрали всех, кроме очухавшегося курсанта в испачканной форме. Но, судя по хмурым лицам врачей и санитаров, старику уже было не помочь, да и дела остальных оставляли желать лучшего. Плачущая женщина уехала в машине вместе с сыном; народ начал мало-помалу расходиться. Троллейбусов снова не было.

— Может, такси поймаем? — предлагаю я, чтоб хоть что-то сказать.

Давило на меня это молчание, прямо как могильная плита, — а говорить-то особо и не о чем.

— Давай, — соглашается Димыч, а неразговорчивый Ленчик только кивает.

Я даю. В смысле, подхожу к краю тротуара и изображаю Ленина на броневике.

За одним исключением: вместо кепки (не люблю!) голосую рублем; точнее, гривней.

— Ты понимаешь, Димыч… — бросаю я через плечо, провожая взглядом очередную тачку, водителю которой мои деньги не нужны.

— Ну?

— Не нукай, не запряг. Видел, когда Монах в бега ударился, он, по-моему, как раз этих бедолаг толкал?

— Да, точно, — хмуро соглашается Ленчик.

— Монах напролом лезет к выходу — и через минуту народу становится плохо. Ничего не напоминает?

— Бои без правил. Убитый американец, — сплевывает Димыч сквозь зубы.

— Умница. Это, конечно, бред, но…

В воздухе повисает пауза.

Так оно и бывает. Хорошо читать триллеры в глянцевых суперобложках и временами посмеиваться над незадачливым героем: ну вот же она, разгадка, на поверхности лежит — а он, балбес, не видит! И лезет прямо в лапы очередного монструоза-маньяка.

Читать об этом — хорошо. Писать самому — тоже неплохо. Наверное. Чувствовать себя этаким мэтром, знающим и проницательным, сидя в уютном кресле или лежа на диване. Зато когда петух клюнет… Сколько вам понадобится доказательств, чтобы поверить в невозможное? И когда вы наконец поверите, — не будет ли слишком поздно?..

Что скажете?.. И что скажу я?!

Его Величество Читатель любит определенность. «Подробности — бог!» — говорит Его Величество Читатель, машинально цитируя классиков; и сия правота неоспорима, ибо Его Величество Читатель всегда прав. Ты, дерзец, хочешь оспорить? — закройся в своей падающей башне из слоновой кости, захлопни поддувало и не вякай. Пейзаж, натюрморт или батальное полотно — так во всю стену, холст-масло-золоченый багет, и чтоб без сомнений, чтоб ясно: кто на ком женился, победил или проиграл, откуда вышел и куда зашел, и если чьим-то духом пахнет, так разъясните на пятидесяти страницах плюс примечания: чьим и на кой черт?!

О св. Фома, покровитель реалистов! — ну почему, почему мне, грешному, больше по душе наивный дурачок из рассказа Акутагавы, который доверчиво шагнул в небо с вершины сосны и зашлепал босыми пятками по облакам? Почему я тоскую, глядя на холст-масло-золоченый багет, предпочитая обстоятельности пейзажа

одинокую ветку, что протянулась из верхнего угла наискосок — через пустоту бумаги или шелка?! Я смотрю на ветку, и ***мой*** *ветер ерошит хвою,* ***моя*** *скала незыблемо стоит внизу,* ***моя*** *пичуга назойливо орет, кружась в смолистом аромате! Вместо почетного места зрителя мне предлагают неуют участника, место соавтора, открытое всем ветрам; и я иду, выхожу на подмостки, я тоже, я здесь, я — мы вместе…*

Я шагаю в небо с вершины сосны, зная заранее: далеко не всегда можно пойти по облакам.

Но и стоять в отдалении, в безопасности и покое, разглядывая сосну, небо и скалу в лорнет с единственной целью отметить — да, небо, да сосна, да, скала, вы совершенно правы, все как в жизни!.. О св. Фома, покровитель реалистов, почему обошел ты меня милостью своей?!

Поздно сетовать.

Поздно.

Рядом останавливается такси.

— На Пушкинский въезд, — говорю я.

— Сколько денег? — тускло интересуется водила, конопатый парняга в спортивном костюме, похожем на мой.

И я ловлю себя на гнусной мысли: мне чертовски хочется рвануть дверцу на себя, за уши выволочь таксиста наружу и…

— Пятерка, — отвечаю, хотя вначале больше трешки давать не собирался.

— Поехали.

Дмитрий

Телевизор я смотреть не люблю. Обычно он показывает всякую лабуду. Другое дело — видео. Тут уж командуешь ты сам, а не программа телепередач. А еще лучше — книжку почитать. Однако читать сейчас не получалось: в голове калейдоскопом вертелись обрывки завтрашней главы, и не стоило мешать им складываться в мозаику сюжета, расцвеченную красками метафор и образов. Ишь, завернул, писака хренов… ну и завернул. Жалко вам, что ли? А по телику сегодня как раз намечалась передача «Еще не поздно» — одна из немногих, которые я иногда проглядываю.

Когда мозги расслабить надо.

— Пап, ты что смотреть будешь? — раздался из соседней комнаты голос Сережки.

Ну конечно, любой повод волынить уроки этот малолетний хитрец использует на все сто!

— «Еще не поздно».

— Фильм? С Ван Даммом?!

— Нет, передача. Без Ван Дамма. Местная.

Вздох разочарования, способный растрогать скалу.

— А до мультиков она закончится?

Я глянул в программку.

— Закончится. Мультики после нее. Я тебя позову. А уроки сделал?

— Вот, последний пример по математике решаю. Украинский и русский — уже.

— Молодец. Ладно, заканчивай.

Телевизор зашипел на меня кублом гремучих змей, и пришлось в очередной раз крутить настройку, а после регулировать громкость. Наконец, когда звук и изображение моими стараниями слились в экстазе, на экране возникла знакомая заставка. Бодрый тенор сообщил: «Еще не поздно изменить жизнь к лучшему!» — в конце пустил петуха, засомневавшись в правдивости лозунга; и заставка сменилась лицом молодого бородача-ведущего.

«А у меня все равно борода больше!» — самодовольно подумал я и улыбнулся. Ведущий свою тоже постепенно отращивал, но пока что я из этого соревнования выходил победителем.

Ведущего звали Эдиком, и жил он в доме напротив.

— Здравствуйте, дорогие харьковчане и гости нашего города! — широко улыбнулся мне с экрана Эдик. — Сегодня речь у нас пойдет о проблеме, которая наверняка волнует всех вас: об уличной преступности и о возможности противостоять ей. В первую очередь — о методах, а также пределах допустимой самообороны.

Из правого верхнего угла экрана закувыркался цветной квадратик, стремительно заполнил все пространство — и застыл.

Фотография. Худосочная девица в очках застенчиво улыбается в камеру. Отнюдь не красавица, и даже скорее наоборот.

Я ощутил, как где-то внутри меня прошел едва заметный электрический разряд, и сердце забилось чаще.

Самую малость.

Девицу эту я знал. Видел ее не далее чем позавчера. Вместе с Володькой Монахом! Уже предчувствуя снежный ком неприятностей, я схватил трубку радиотелефона и поспешно настучал номер Олега.

— Привет, это я. Спускайся ко мне. Прямо сейчас. Тут по телевизору… В общем, сам увидишь.

И — сыну:

— Сейчас дядя Олег придет — дверь ему откроешь?

— Хорошо, пап!

Нет, это все-таки очень удачно, что мы обитаем в одном подъезде, друг над другом: я на втором этаже, а мой соавтор — на третьем.

Когда Олег сломя голову влетел в комнату, изображение как раз вновь ожило, явив нам волосатый лик Эдика. Хорошо, что я сделал вид, будто не замечаю кислого выражения Олеговой физиономии.

Он Эдика терпеть не может.

— Сегодняшнюю нашу героиню зовут Ольга, она — аспирантка Харьковского университета. Вчера, около девятнадцати часов вечера, шестеро нетрезвых мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет совершили нападение на Ольгу с целью изнасилования. В результате трое насильников попали в больницу с телесными повреждениями разной тяжести, наиболее активный из нападающих находится сейчас в реанимации, остальные задержаны милицией.

Камера отъехала чуть назад, и рядом с Эдиком обнаружилась знакомая дылда, чье фото нам демонстрировали минутой ранее. В кресле для почетных гостей. Коленки сомкнуты, ручки на коленках, глазки скромно потуплены… лошадь-гимназистка.

— Блин, не бывает! — только и смог выдохнуть Олег, успевший расположиться на стуле рядом со мной.

— Не бывает, — честно согласился я.

— Ольга, расскажите нашим зрителям, как это произошло? — Эдик сунул девице микрофон весьма похабного вида и зачем-то подмигнул.

За Эдиком водились подобные штучки; он называл это «поддержанием имиджа».

— Я… я домой возвращалась. Шла возле стройки, на Героев Труда. — Ольга смотрела мимо камеры и время от времени запиналась; при этом на лице девицы читалось легкое недоумение, словно она никак не могла понять, где находится и о чем рассказывает. — А тут эти, из-за бульдозера… Мне они сразу не понравились. А вокруг — никого больше… один дедушка с болонкой, и тот сразу ушел… да, еще инвалид безногий! — но он, по-моему, всегда на углу сидит, милостыню просит…

— Вы возвращались домой одна? — поспешно встревает Эдик, мелькая микрофоном.

— Одна. Они меня окружили. «Гуляем?» — первый спрашивает. Нет, говорю, домой иду. «Да успеешь еще домой, пошли лучше с нами, тебе понравится!» — и хохочут… перегаром

от них разит, у одного пятно лишайное во всю щеку. Он-то меня первый за руку схватил, стал к стройке тянуть, к дыре в заборе, а остальные сразу лапать начали. Я им — отстаньте, я милицию позову!.. А они только ржут, скоты!

— Ну, и что было дальше? — трагически вопрошает Эдик, чертовски смахивая в этот момент на корифея древнегреческого хора, уволенного за алкоголизм.

— Ну, тогда я ударила… того, лишайного, что за руку держал. По лицу. Он упал. А дальше… они все на меня набросились, я стала отбиваться, потом смотрю — четверо на земле лежат, а двое убегают. А им навстречу — патруль с собакой.

— С болонкой? — интересуется Эдик, проявляя чувство юмора.

— С овчаркой, — серьезно поправляет Ольга. — Вот, собственно, и все.

— Ольга, я искренне восхищаюсь вами! — В голосе Эдика действительно звучит неподдельное восхищение, и я его вполне понимаю. — В одиночку отбиться от шестерых насильников! Наверное, вы занимаетесь каким-нибудь видом единоборств? Карате? Кунг-фу? Кик-боксингом?

При последнем слове мы с Олегом одинаково морщимся.

Правильно все-таки один великий японец назвал кик-боксинг «СПИДом боевых искусств».

Не лечится, инфекция.

— Да, занимаюсь, — смущенно признается Ольга, и кажется, что она раскрывает страшную тайну кровосмешения и поедания младенцев живьем.

— Чем же, если не секрет?

Нас этот вопрос тоже живо интересует. Спасибо, Эдик, с нас бутылка. Однако на сей раз Ольга уходит от прямого ответа.

— Да всем понемножку. Сперва карате, после у-шу… тайчи… Сейчас сама тренируюсь, для себя — у меня есть материалы, видеокассеты учебные…

— Благодарю вас, Ольга. Я рад, что эта неприятная история закончилась столь удачно для вас и столь плачевно для нападающих, которые получили по заслугам. Скоро они предстанут перед судом. Сегодня у нас в студии собрались не только зрители, но и специалисты: юристы, сотрудники правоохранительных органов, представители федераций контактного карате и у-шу — сейчас мы попросим их прокомментировать этот случай…

— Врет, красавица, — неожиданно заявляет Олег, вставая. — Наверняка возвращалась домой не одна. Кто-то с ней был. По-

видимому — серьезный парень. Профессионал. Он им всем и наломал. А эта… княгиня Ольга Святая! Подставлять дружка не хочет — с нее-то какой спрос? А человек мог подписку давать… Я, когда в Москве международный будо-паспорт получал, тоже давал, на год. Еще при Союзе.

— Похоже, — киваю я. — Эту только паралитик не изнасилует — а еще лучше, чтоб слепой! На такое чудо позариться…

Олег в ответ только хмыкает.

— Хотя и здесь непонятка, — добавляет он чуть погодя. — Если им профессионал навалял, почему эти… половозрелые… они-то почему молчат?! Чего боятся?! Догонит, мол, и добавит?

— Представляю вам гостя нашей студии, — соловьем разливается меж тем ведущий. — Сотрудник Харьковского городского управления милиции, заместитель начальника отдела по борьбе с э-э-э… — Эдик спешно роется в шпаргалках и, видимо, не находит искомого. — Пилипчук Анатолий Иванович. Пан Пилипчук, прошу!

Плотный усатый майор в форме встает со своего места в первом ряду и неторопливо поднимается на возвышение, замещать начальника отдела по борьбе чего-то с чем-то.

Ольга имеет счастье лицезреть его монументальную спину.

— Анатолий Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, этот случай. Насколько правомочны были действия Ольги? Не превысила ли она пределов необходимой самообороны?

— Действия подвергшейся нападению девушки были абсолютно правомочны, — с видом валаамовой ослицы, изрекающей истины в последней инстанции, басит пан майор. — Ее действия адекватно соответствовали степени угрозы. Разумеется, следствие по этому делу только началось, но уже сейчас, ознакомившись с материалами дела, я могу с уверенностью заявить: пределы необходимой самообороны нарушены не были, ибо под угрозой находилось здоровье, а возможно, и жизнь Ольги! И если бы все потенциальные жертвы насилия могли постоять за себя, как наша героиня, — поверьте, преступность в городе значительно снизилась бы! К сожалению, милиция не всегда и не везде может успеть вовремя, и поэтому от имени сотрудников органов внутренних дел я могу только приветствовать…

Дальше пошла обычная телевизионная чехарда: камера на несколько секунд выхватывала то одно лицо, то другое, а Эдик совал зрителям под нос микрофон с просьбой высказать свое отношение к случившемуся.

Отношение оказалось на удивление единодушным: «Девушка

молодец, а этих — давить и кастрировать!» В принципе, я присоединялся к общему мнению, вот только молодец, похоже, не девушка, а кто-то другой. Монах? Как же! Одному сявке он еще, может быть, и настучит по фейсу, если сявка не слишком здоровый попадется, — но шестерым?!!

Потом выступали юристы, пара разжиревших федерастов вкупе с преподавательницей «курсов самообороны для женщин» (чудеса! — о последней Олег отозвался с крайним уважением…), мелькали кадры с каких-то соревнований и тренировок, хмуро пытались оправдываться перед камерой двое задержанных насильников…

Закончилась передача на мажорной ноте: а ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай дрожит от вас шпана!.. А умелая самооборона в нужных пределах — залог здоровья и безопасности!

Пришел закончивший уроки Сережка — смотреть свои мультики, — и мы с Олегом перебрались в кабинет. Вернулась из магазина жена, поинтересовалась, нужен ли нам кофе, и, выяснив, что таки нужен, отправилась на кухню колдовать над джезвой. Потому как я тиран и деспот и нещадно ее эксплуатирую. Вот кофе, например, готовить заставляю… когда самому облом.

Мы расположились в креслах и посмотрели друг на друга.

Оба понятия не имели, с чего начать.

Олег

Молчание не тяготило. Привыкли. Помню, бабушка моей жены, милейшая старушка, все никак взять в толк не могла, за что ее внучка гонят в другую комнату. Работают? Мешаю?! Да этот, рыжий, все на диване сидит сиднем и бородищу дергает, а наш по комнате кругами, кругами, как скаженный… работнички…

У бабушки было другое, единственно верное представление о трудовом процессе.

Впрочем, людям свойственно заблуждаться. У меня, например, тоже было и есть другое представление о способах разогнать насильников. И не у меня одного. Димыч явно удивился, когда я возликовал душой, увидев на экране Хаврошечку из «самооборонки». А я ждал, долго ждал, пока… и дождался.

Хаврошечка — это дело особое. Я тогда подвизался стажером у инструктора первого года, втайне пыжась от гордости, когда к нам привели этот чурбанчик на ножках. Девочка была, что

называется, в теле: литая, будто резиновая, и при полном отсутствии комплексов относительно внешности. Сперва мы прозвали ее Крошкой, потом Крошечкой; а там и до Хаврошечки рукой подать.

Через три года ее на экзамене вытащил в круг сам Шеф. Событие редкое и, можно сказать, знаменательное. Когда вдребезги извалянная в песке Хаврошечка наконец вынырнула из этого самума, она плакала. Некий защитник угнетенных, чудом попавший на экзамен (или он просто околачивался в лесу поблизости?), выпятил грудь и подошел к Шефу. «На женщинах оттягиваешься? — драматическим тенором осведомился доброхот, не ведая, что творит. — А если на мне?» Шеф подумал. Затем обвел нас взглядом невинного младенца и подумал еще. «Давай», — наконец согласился он; и, клянусь, глазки у этого модельного шкафа «Гей, славяне!» стали раскосыми, до ужаса напомнив взгляд Шефова учителя, Хидео Хасимото по кличке Эйч. «Какие правила?» — *доброхот* заподозрил неладное, но отступать счел недостойным настоящего мужчины. «Правила? — искренне удивился Шеф, сияя круглой луной, заменявшей ему физиономию. — Никаких правил. Ты ведь вызвал меня в присутствии моих учеников…» И когда доброхот наотрез отказался геройствовать без правил, Шеф набрал полную грудь воздуха (а там было куда набирать!), после чего хвойно-лиственные леса по оба берега Северского Донца сотряслись от дикого рева:

— А тогда… отсюда на..!

И почти сразу, без перехода, обаятельным полушепотом:

— Извиняюсь, девочки! Эй, парни, готовьте обед…

Я стоял рядом с Хаврошечкой, глядя в ее зареванное лицо и понимая то, чего не понять и сотне посторонних доброхотов.

Хаврошечка плакала от счастья.

Через год она исчезла, объявившись вскоре в Израиле и даже выиграв там пару каких-то турниров. Потом по Интернету пришло письмо из Штатов, где Хаврошечка прорвалась на семинар к самому Морио Хигаонна; потом — Польша, Германия, Австралия… Господа, она вернулась! Вернулась в родной город, солидной дамой-практиком с грудой будо-паспортов всех сортов и мастей. Ее курсы самообороны для женщин быстро стали популярны, Хаврошечка обзавелась крепостью на колесах цвета «металлик», зимой носила песцовую шубку, кося под ожившего снеговика; но носа-морковки не задирала. Она сейчас твердо знала, чего хочет; а хотела она конкретики. Как, впрочем, и раньше, когда скучала на «задушевных разговорах», предпочитая философскому туману туго набитую грушу.

И такое бывает.

Хотя жаль: плакать Хаврошечка, похоже, разучилась.

Едва пришла ее очередь прилюдно восторгаться аспиранткой Ольгой, Хаврошечка сперва сотворила изящную рекламу своим курсам, а после повернулась к несостоявшейся жертве насилия, нашей леди Годиве и Орлеанской деве в одном лице.

— Ольга, я в восторге! — напрямик заявила Хаврошечка, рдея пухлыми щечками. — Не могли бы вы показать нашим зрителям, и в первую очередь зрительницам, каким образом вы ударили по лицу наиболее агрессивного насильника?

Я был в трансе: Ольга милостиво согласилась и показала. Даже повторила, по просьбе трудящихся. Замечательно! Я мысленно подбросил в воздух чепчик. После такого удара аспирантку должны были изнасиловать в особо извращенной форме: пообещав и не сдержав обещания.

Хаврошечка аплодировала, при массированной артподдержке зала.

— Великолепно! — оценила она сию демонстрацию. — Ольга, не согласились бы вы как-нибудь заглянуть к нам на занятие? В любое удобное для вас время?!

Ольга не согласилась, сорвав бурю оваций.

И тогда Хаврошечка, уже уходя из поля зрения камеры, на миг расслабилась, позволив себе брезгливую гримасу. Умница! — она все понимала не хуже меня.

Только вот беда: я теперь вообще ничего не понимал.

* * *

…Димыч, оказывается, за это время уже успел переговорить с кем-то по телефону.

— Ленчик звонил, — ошарашенно сообщил он. — Слышь, Олег: Ленчик руку сломал…

Он стоял в дверях, растерянный, рыжий, стоял, моргал, дергал себя за бороду, вертя в другой руке невыключенную трубку радиотелефона. Короткие гудки бились о мембрану, словно там, в трубке, ловкие ладони стучали по туго натянутой коже двойного барабанчика, похожего на песочные часы.

Пьеса *«Эгути»*, финал танца «Суета сует», реплика *«…нам выпал редкий жребий — в этот мир пришли мы в человеческом обличье…»*.

— Как? Обо что?!

— Об Монаха, — тихо ответил Димыч.

VI. Нопэрапон. Свеча третья

В период семнадцати-восемнадцати лет занятия не дают больших результатов. Занятия такой поры не могут быть ничем иным, как занятиями, когда — пусть даже ты подвергаешься насмешкам людей, указующих на тебя пальцем, — не обращая на то внимания, запершись дома, и утром, и вечером понимаешь: вот она, веха жизни!.. И возникают в глубинах сердца желание и силы во всю жизнь не отрешаться от искусства.

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

Чистый и одновременно приглушенный звук колокола поплыл над холмами. Это был особый, *осенний* звон — летом колокол звучит совсем иначе, звонко и со сладостной дрожью, которой еще долго суждено расплываться по округе зыбким маревом; а зимой звук у колокола ледяной, замерзший…

Порыв ветра невидимой щеткой взъерошил кроны ближайших деревьев; забилось, трепеща на ветру, желто-красное пламя осени. Сморщилась на миг вода в ручье — а когда вновь разгладилась, то над прозрачной глубиной поплыли в свой последний путь к морю багряные листья кленов.

Мотоеси всегда любил эту пору года, когда прозрачный ломкий воздух до краев напоен светлой грустью увядания. В такие мгновения все вокруг казалось ему предельно искренним — и одновременно каким-то ненастоящим, словно гениально выполненная декорация.

Югэн, «темная, сокрытая для разума красота».

Суть искусства и жизни; нет, иначе — суть искусства жизни.

В бамбуковой ограде,
Подернутой туманом легким утра,
Прекрасны влажные цветы.
Кто мог сказать,

Что осень — это вечер?

— …Дзэами-сан, Дзэами-сан!

— Что там еще случилось? — недовольный голос отца.

Щемящее очарование, в котором уже почти растворился Мотоеси, было грубо нарушено, и молодой актер с сожалением поднялся на ноги. Нет, ему не дадут отсидеться на берегу ручья до начала спектакля. Как же, сын самого великого Будды Лицедеев! Вот именно — сын великого… И никуда от этого клейма не денешься. Даже оставаться честной бездарностью у него не получится: сын великого Дзэами просто не может быть бездарностью! Конечно, он немного поднаторел в основах, ежедневно слушая рассуждения отца, а также его знаменитые трактаты, которые Дзэами в последние месяцы все чаще зачитывал младшему сыну — проверяя на своем постоянном слушателе, согласуется ли звучание текста со смыслом. Да, они с отцом время от времени репетировали то одну, то другую сцену из отцовских пьес… как повелось с самого детства.

Детства «сына великого…».

Но ведь это еще не повод, чтобы такой признанный мастер, как, к примеру, почтенный Миямасу-сан, принимал во внимание его ничтожное мнение…

— Дзэами-сан! Мы только сейчас узнали: исполнителя главной роли переманили! Он исчез сегодня с утра! О, если бы нам доложили раньше, мы бы успели подготовить замену, но он все верно рассчитал, этот Онъами, ваш злокозненный племянник…

— Что?! Опять этот подлец?! — Впервые за много месяцев Мотоеси видел своего отца в гневе.

Еще бы! Вновь на пути Дзэами встала тень его собственного племянника Онъами, фаворита нынешнего сегуна Есинори. Тщеславие ненасытней брюха: интригану мало оказалось назначения на должность распорядителя столичных представлений взамен попавшего в опалу дядюшки. Кстати, самому упрямому дядюшке уже не раз прозрачно намекали, что следовало бы передать свои трактаты Онъами-фавориту, да с поклоном! — глядишь, и отношение сегуна к нему, Дзэами, и его семейству несколько изменится… Однако после того, как очередного такого «доброхота» престарелый Будда Лицедеев собственноручно вытолкал взашей из своего дома (а силы старому актеру еще не занимать-стать было!), советчики временно оставили мастера в покое. И вот — перед самой премьерой исчезает исполнитель главной роли, заблаговременно

подкупленный врагами!

О, горе!

О, великое несчастье!

— Дзэами-сан, только вы можете нам помочь! Отменять спектакль нельзя ни в коем случае — ведь этот мерзавец, которому лучше было бы вовсе не рождаться на свет, именно этого и добивается! А когда стало известно, что грядет премьера вашей новой пьесы, Дзэами-сан, в постановке моей труппы, то присутствовать на спектакле изъявил желание известный *хатамото* Сиродзаэмон, покровитель Безумного Облака, и многие другие знатные люди!

— Ну, и чего же ты хочешь от меня? Чтобы я вернул твоего беглеца?!

— Кто, как не вы, достоин сыграть главную роль в вашей собственной пьесе?! Я умоляю вас, Дзэами-сан, я на коленях, сложив ладони перед лбом…

Пауза.

Тяжелая, глухая, словно треснувший колокол.

— Я больше не играю на сцене. — Будда Лицедеев отвернулся, и Мотоеси вдруг остро ощутил, каково сейчас отцу. Больше всего на свете, больше райской обители или достижения нирваны, хотел бы он сейчас выйти на сцену. Ведь эта роль писана великим Дзэами для великого Дзэами — роль сходящего с ума и гибнущего от любви старика садовника. Страшная, изматывающая душу и тело роль и оттого еще более желанная! Но… Дзэами дал обет. Обет никогда больше не выходить на сцену. Отец не любил распространяться об этом, так что о данном обете знали лишь он сам и его сыновья.

— Я не выйду на сцену, — повторил Дзэами, не оборачиваясь. — Но премьера состоится. Негодяй, позорящий святое имя театра Но, не добьется своего! Вместо вашего беглеца или, если хотите, вместо меня эту роль сыграет мой младший сын! Роль он знает наизусть, и дома мы с ним неоднократно репетировали все, вплоть до танцев…

— Благодарю вас, Дзэами-сан, благодарю! Вы просто спасаете нас…

Сияющий Миямасу, глава труппы и сам известный актер, обернулся к Мотоеси, и молодой человек не выдержал.

— Отец, простите меня, но… роль старика-одержимого выше моих скромных возможностей! Я не смогу, отец!

В ответ — дикий, страшный взгляд престарелого мастера.

Взгляд из пьесы, запретно вспыхнув вне сцены, обжигает сердце.

— Простите, отец! Но не вы ли никогда не позволяли

молодежи выходить на сцену в подобных ролях?! Не вы ли говорили: «Старик — это тихое сердце и далеко видящее око»?! И еще: «Образ сей подобен дряхлому дереву, на котором распустились цветы»?! Пощадите!

— И ты способен позволить нашим врагам ликовать?! Я приказываю тебе сыграть эту роль! — Брови отца грозно сдвинулись на переносице, делая лицо Будды Лицедеев донельзя похожим на маску гневного духа того самого старика, роль которого он приказывал сыграть сыну. — Или ты спишь и видишь, как бы опозорить нашу семью и нашего искреннего друга, мастера Миямасу?!.

— О, неловко называть меня мастером в вашем присутствии, Дзэами-сан…

Два мастера уже обо всем договорились, а его мнения, как обычно, даже не спросили! Конечно, он знает текст роли, тело помнит все движения, все слова, все интонации накрепко засели в голове — но он *не чувствует* образа! Он *«не вошел в предмет, чтобы стать им»*! Это будет провал…

— Осталось мало времени, Мотоеси. Не стой столбом! Иди переоденься и подготовься. Спектакль скоро начинается.

— Хорошо, отец, — чуть слышно прошептал молодой актер.

Раз такова воля отца — он сделает это. Он будет стараться, он будет очень стараться сделать все наилучшим образом, и, может быть, это у него получится…

Он знал, что обманывает самого себя.

Карп, поднявшись против течения через девять порогов, способен стать драконом.

Лягушка — никогда.

Служители сцены споро помогли Мотоеси облачиться в одежды старика, положили рядом, на подставку, парик и головной убор «эбоси» из лилового шелка; после чего тихо удалились, оставив юношу в одиночестве посреди «Зеркальной комнаты» за сценой. Служители знали: актер должен подготовиться, *«доподлинно стать самим предметом изображения и войти внутрь, ибо лишь вхождение обеспечивает воистину высокий стиль!»*. А уж если актер вводится, что называется, с горячей сковороды… Нельзя мешать ему в этом важном деле!

Мотоеси остался наедине с маской.

Вернее, с масками.

Согласно отцовской пьесе «Ая-но цудзуми», иначе «Парчовый барабан», влюбленный старик должен был в конце пятой сцены покончить с собой, бросившись в пруд; чтобы затем появиться уже в обличье неуспокоенного злого духа. Однако на маску духа — *оо-*

акудзе— пока смотреть не следовало.

Всему свой черед.

И безумию — тоже.

Мотоеси раскрыл футляр, снял покров из сухой, плотной ткани. Присел на корточки перед маской старика, огладил ее взглядом, словно просачиваясь между морщинами и складками, заполняя их собой, как заполняет вода чашу, в точности повторяя ее форму. Маска должна была стать его вторым лицом, второй кожей, второй душой, прирасти, превратившись в часть его самого, — лишь тогда возможно истинное слияние с образом, растворение…

Мотоеси сидел долго.

Растворения не было.

До начала спектакля оставались считаные минуты, а он был не готов, не готов, не готов!..

2

…Пусть в этот барабан старик ударит:
Лишь только зов раздастся во дворце,
Он снова сможет увидать мое лицо.
Так поспеши, старик!

Легкий пятицветный занавес с шелестом осыпающейся листвы наискось взлетел вверх. И Мотоеси, выдержав положенную короткую паузу, нарочито моложавой походкой двинулся на место *дзедза*. О, старик хочет казаться молодым, да он и чувствует себя почти молодым — вот только возраст, одышка, ноги то и дело сбиваются с заданного им слишком быстрого ритма, но это ничего, это не страшно… Почему так часто стучит в груди сердце? Он волнуется, он не уверен в себе? Конечно, он волнуется, он не уверен, но это пройдет, это непременно пройдет, вот сейчас он ударит в барабан, и…

Мотоеси уже сам плохо понимал, чье это волнение: старика, которого он играет, или его собственное, волнение актера, боящегося испортить всю премьеру своей неуклюжей игрой?

Или это одновременно — волнение мастера Миямасу и других актеров труппы, которое он, казалось, ощущал, как свое собственное? Еще бы! Исполнитель главной роли исчезает перед самой премьерой, приглашенный на спектакль великий Дзэами наотрез отказывается играть и выставляет вместо себя своего недоучку-сына…

Готов исполнить я веленье госпожи…

Мотоеси сам не узнал своего голоса.

Сию минуту в барабан ударю…

Еле слышное придыхание флейты вплетается в тоскливый посвист ветра. И эта осенняя тоска предчувствием умирания плывет через сцену, словно предрекая: мечтам старика не суждено осуществиться, хотя, казалось бы, все к тому идет — надо сделать лишь шаг и ударить в барабан.

В парчовый барабан, немой от рождения.

Осень. Так и должно быть. Во дворце Кономару, где происходит действие «Парчового барабана», сейчас тоже осень — не зря же Миямасу-сан назначил премьеру именно на это время года. Все подобрано правильно: и время, и место, и музыка, и декорации, — вот только он, бездарный Мотоеси, здесь лишний!

Главный и лишний — боги, какой позор!

Мысли метались в голове вспугнутыми нетопырями, не находя себе выхода. А тело Мотоеси тем временем действовало как бы само по себе, передвигаясь на нужное количество шагов в заданном направлении, семеня и подшагивая, и слова сами лились наружу гортанными всплесками:

…Настала старости осенняя пора,
И вот — любви весеннее томленье,
Знать не желающей, что близок мир иной…

Все было не так! Сколько раз они с отцом репетировали эту сцену, отец вымерял проходки между столбами, делал правки в монологах — а на Мотоеси тогда нисходила спокойная уверенность, и он чувствовал, что играет правильно (хотя дома роль старика чаще играл сам отец, иногда это приходилось делать и юноше). Наверное, на самом деле он и тогда играл весьма посредственно — но то были всего лишь репетиции; да и не репетиции даже в полном смысле этого слова! Отец просто прорабатывал в действии не до конца готовую пьесу — и для этого использовал своего младшего сына, как мог бы использовать любого другого заурядного актера, волей случая оказавшегося под рукой.

А сейчас… противоречивые чувства все сильнее бурлили в юноше, он уже плохо понимал, что происходит вокруг, ощущая

себя котлом с закипающей похлебкой, подвешенным над костром, — а спектакль шел себе и шел и, как усталый путник добирается до заставы, добрался до реплики:

— А барабан молчит…

Ноги сами пронесли Мотоеси к месту *дзодза*, где он выдержал положенную паузу и, под пение хора:

…Судьбу жестокую проклял и в пруд Кацура,
Рыдая, бросился. И вот уж волны
Сомкнулись горестно над ним, и волны
Сомкнулись горестно над ним, —

медленно скрылся за занавесом.

Только здесь юноша немного пришел в себя.

Это был провал, наверняка провал — он не помнил, что делал на сцене, но чувствовал полную обреченность. И тем не менее надо было доиграть до финала.

«А там — пойду и утоплюсь в пруду, как этот безумный старик садовник!» — в отчаянии подумал Мотоеси.

3

У него было немного времени, и Мотоеси, чтобы успокоиться, приник к смотровому отверстию в отгораживавшей кулисы ширме, разрисованной лавровыми листьями. Ему хотелось взглянуть на зрителей. Выказывают ли они признаки недовольства — или, хвала Небу, ничего особенного не заметили?

Начал накрапывать мелкий дождик, и над головами публики осенними астрами распустились разноцветные зонтики.

Цветы из промасленной бумаги.

Вот под большим белым зонтом с переплетенными зелеными драконами и золотой каймой по краю, который держит слуга, — господин Сиродзаэмон, и лицо у знатного хатамото вежливо-ожидающее, а у слуги — отрешенно-почтительное; вот — богатый горожанин, вот — явно приезжий купец в длиннополой куртке поверх двух нижних кимоно; дальше, дальше… лица безумным калейдоскопом замелькали перед глазами Мотоеси, и вот уже между лицами проступает хитрая барсучья мордочка, подмигивает юноше — чтобы сразу, на глазах, вновь обратиться в лицо плутоватого погонщика. («Оборотень! Как есть барсук-оборотень! Тоже пришел спектакль посмотреть», — вихрем

проносится в голове молодого актера.) А вот на ветке сосны примостился нахохлившийся тэнгу, кося вниз то одним, то другим круглым, налитым желтизной глазом, а по длинному сизому то ли клюву, то ли носу стекают капельки воды.

Мотоеси понимал: даже если он не сошел с ума, а на ветке действительно сидит самый настоящий тэнгу, то он все равно не может видеть на таком растоянии этих самых капелек — и в то же время он видел их столь отчетливо, словно тэнгу находился от него на расстоянии вытянутой руки!

И почему, почему никто, кроме него, не видит ни оборотня, ни тэнгу?!

Почему нет переполоха?!

А вот… показалось? Нет, опять: полупрозрачная тень дымкой плывет меж рядами, и сквозь воздушное *кособэ* придворной дамы, сквозь ее прекрасный и печальный лик просвечивают лица зрителей!

Призрак!

И опять никто, кроме него, Мотоеси, не видит призрака!

Наверное, так и сходят с ума.

Страсти кипят в твоей душе, не имея возможности выплеснуться наружу, ты уже не отличаешь порождений собственного рассудка от того, что тебя действительно окружает, — а потом стены внутреннего мира смыкаются вокруг, и ты уже не в силах выбраться из этой темницы, населенной призраками твоего собственного воображения.

Так это и происходит.

Мотоеси, сам того не замечая, ссутулился, словно под внезапно свалившимся на него грузом или под тяжестью лет, и побрел в «Зеркальную комнату», где его ждала маска *оо-акудзе*.

Спектакль он доиграет.

Даже безумным.

Маска лежала перед ним. Вертикальные складки на лбу, грозно сдвинуты брови, сверкают серебром огромные белки глаз, широкий сплющенный нос, оскалился рот с желтыми пеньками зубов, жидкая бородка встопорщена…

Маска злобного духа.

Оо-акудзе.

Вот только будь это обычный злой дух — все было бы гораздо проще! Как выразить до сих пор теплящуюся в глубине неуспокоенной души безнадежную любовь пополам с ненавистью к той, что так жестоко посмеялась над стариком, подсунув парчовый барабан, не издающий ни звука? Как выразить отчаяние и гнев, упорство и решимость, всю ту гамму чувств, которую, по

замыслу отца, должен был испытывать покончивший с собой старик?!

Мотоеси скользил взглядом по оскаленному лику маски, но мысли юноши были сейчас далеко отсюда, и он никак не мог заставить себя сосредоточиться.

Конечно, ведь он сам прекрасно знает, что он — бездарность, в лучшем случае — посредственность, что бы там ни говорили окружающие!

Вот его старший брат Мотомаса…

4

Вскоре после того, как Мотомаса уехал с труппой в Исэ, отец перебрался в шумный приморский город Сакаи. Однако привлекала его здесь отнюдь не городская сутолока и не обилие театральных трупп, а относительная независимость города и местных властей от сегуна. К столичным веяниям здесь не слишком прислушивались. Город жил торговлей, граничащей с контрабандой, подати платил немалые, и платил их исправно…

Короче, в сегунате прекрасно понимали: прижми власти свободолюбивых сакайцев — и звонкий ручеек, текущий из морского порта в казну, мигом оскудеет.

А кто же режет фениксов для жаркого?!

Опальный мастер, поселившийся в тихом домике на окраине города, пришелся в Сакаи вполне ко двору. Теперь в городе была *своя* знаменитость, а то, что знаменитость находится в опале у сегуна, мало кого волновало. В столице своя жизнь, а у нас — своя. Не преступник же он, в конце концов, этот Будда Лицедеев?! А эстетические вкусы сегуна — это его личное дело.

Храни нас, Будда Амида!

В итоге Дзэами зажил в относительном покое, весь отдавшись написанию трактатов по искусству театра Но и новых пьес; изрядная доля времени уделялась медитациям и беседам с Безумным Облаком. Последний также обосновался в Сакаи, заявив: «Кацу! Я намерен нести дзэн в массы, а эти плешивые ослы пусть прячутся за стенами монастырей и занимаются там мужеложеством, засовывая свои мольбы в задницу всех будд разом!» И теперь Безумное Облако нередко наведывался в гости к Будде Лицедеев, не уставая изумлять юношу, в меру сил помогавшего отцу, своими выходками.

А еще Дзэами начал вырезать маски. Не на продажу — для себя. Ему просто нравилось это занятие.

Несколько раз Мотоеси порывался рассказать отцу, что же на самом деле произошло в тот жуткий вечер у холма Трех

Криптомерий; намеревался даже показать маску, превратившуюся в безликую луну отрешенности, — но так и не собрался с духом.

Что-то всякий раз останавливало юношу…

При переезде Идзаса-сэнсей снабдил своего ученика рекомендательными письмами; этого хватило, чтобы Мотоеси разрешили дважды в неделю посещать одну из местных школ фехтования, — наставник, ценитель прекрасного, даже отказался брать плату с сына Будды Лицедеев.

Денег на жизнь хватало: пьесы великого Дзэами охотно покупали для постановок, от спектаклей регулярно приходили отчисления — в том числе и из столицы, где пьесы опального Будды Лицедеев, несмотря ни на что, пользовались большой популярностью.

Они игрались даже труппой злокозненного Онъами — племянничек был интриганом и редкой сволочью, но дураком он не был.

Кстати, присланные *им* отчисления великий Дзэами раздавал нищим.

Время от времени глава то одной, то другой труппы являлся к Дзэами лично и со смирением просил мастера посетить спектакль по его пьесе. А если мастер соблаговолит высказать свои замечания — то он, глава труппы, будет просто счастлив и в долгу не останется…

Иногда Дзэами отказывался, но чаще соглашался. Все-таки внимание и почтение были приятны старому мастеру, хотя он и утверждал, что это — суета, не стоящая потраченного на нее времени. Правда, при Безумном Облаке отец такого вслух не говорил, оставляя право глумиться и насмехаться над всем на свете за мастером дзэн.

Что тот и делал с завидной регулярностью.

Сына Дзэами обычно брал с собой. Разумеется, Мотоеси с удовольствием смотрел постановки отцовских пьес (впрочем, не только отцовских) — но потом приходил «час расплаты»: денег с них за просмотр, разумеется, никто не брал, даже наоборот, но по окончании спектакля отца просили высказать свое мнение, после чего с той же просьбой обращались и к Мотоеси.

Ну как же! Сын великого Дзэами тоже должен быть знатоком театра, а молодые глаза могли углядеть то, чего не заметил старый мастер. Так не соблаговолит ли Мотоеси-сан высказать свое просвещенное мнение?

Просим!

На коленях, сложив ладони перед лбом…

В первый раз Мотоеси растерялся, промямлил что-то невразумительное и поспешил скорее исчезнуть с глаз долой.

Во второй он решил, что над ним утонченно издеваются, намереваясь потом пересказывать друг другу его ответ и потешаться над юнцом, всерьез излагающим свое мнение после слов, произнесенных Буддой Лицедеев.

В третий раз юноша не удержался, вспылил — и выложил полному лысоватому актеру все, что он думал о спектакле. А у Мотоеси было что сказать: и невразумительная, блеклая «красавица», монотонно бубнившая текст, и сбой ритма в предпоследней сцене, и неточная проходка актера-*цурэ* (о боги, и это в самом финале!). Он, конечно, не такой знаток, как его отец, но чему-то же его учили!

Реакция актера (который одновременно являлся и главой труппы) его поразила: вместо смеха лысый пузанчик кланялся, как игрушка *«Окиягари-кобоси»*, и со слезами на глазах долго благодарил «уважаемого Мотоеси-сан» за ценные замечания!

Только тут до молодого актера дошло: никто над ним не издевается и его слова воспринимают всерьез!

Блики отцовской славы играли на его челе.

И тогда Мотоеси стало горько, как никогда.

Из состояния самоуничижения его в тот раз вывел вопль над самым ухом:

— Что, обругал почтенного человека, а теперь раскаиваешься, молодой сквернослов?! Следовало бы вырвать твой язык, подобный ослиному хвосту, и заставить тебя съесть его с солью и перцем! Ну, что молчишь?! Боишься, что я сейчас так и сделаю?! Правильно боишься!

Перед ним, грозно хмуря реденькие брови, в ярости топал ногами Безумное Облако, вздымая из-под своих деревянных гэта целые облака красноватой пыли. Сейчас монах больше походил на горного демона, чем на смиренного последователя Будды.

Мотоеси в испуге поглядел на взбешенного хулителя — и вдруг на юношу снизошло необычное спокойствие и ясность рассудка. Не вполне сознавая, что говорит, он произнес:

— Если ты хочешь, чтобы я обозвал тебя лысым ослом, велев убираться прочь, я могу это сделать ради твоего драгоценного удовольствия. Но ведь на самом деле ты хочешь отнюдь не этого?

И улыбнулся.

Монах прервал на середине очередную гневную тираду, радостно хлопнул Мотоеси по плечу (молодой актер едва удержался на ногах) — и пустился в пляс с криком:

Ученики патриархов
Мусолят гнилые мысли,
А истина потихоньку

Ушла к слепому ослу!

А Мотоеси почувствовал себя круглым дураком.

Он не видел, что стоящий неподалеку Раскидай-Бубен, вечный спутник монаха, опустив к ногам мешок с гадательными принадлежностями, все подбрасывает и ловит в ладонь персиковую косточку с вырезанными на ней тремя знаками судьбы… подбрасывает, ловит, опять подбрасывает…

Все время выпадало одно и то же.

Неизменность.

С некоторых пор Мотоеси начал подмечать за собой странные и резкие смены настроения, чего раньше за ним вроде бы не водилось. Ладно, на базаре он еще в Киото, со встречи с Зеленщиком Тамэем, приучился торговаться с яростью и увлечением — в итоге всегда выторговывая медяк-другой. Более того, ему начинал доставлять удовольствие сам процесс торговли, хотя еще недавно сражаться за жалкие медяки казалось занятием глупым и едва ли не унизительным.

Теперь это вошло у него в привычку.

Опять же, репетируя с отцом фрагмент из очередной новой пьесы, Мотоеси вдруг ощущал некую странную уверенность: вот оно! Играть надо так, и именно так (хотя как именно — он бы не мог в этот момент объяснить). И он играл, после ловя на себе радостно-удивленный взгляд отца; юноша даже несколько раз удостаивался похвалы Будды Лицедеев.

Годом раньше Мотоеси наверняка возгордился бы и обрадовался: сам отец похвалил его, значит, он делает успехи!

Но теперь Мотоеси был старше и понимал: отец в летах, он, его младший сын, — единственная опора мастера, и потому Дзэами стал более снисходительным к бесталанному сыну. А видя его отношение, и другие начинают заглядывать юноше в рот — хотя сам он, Мотоеси, прекрасно знает себе цену!

«Уйду в монахи! Хотя под рясой от себя не спрячешься… и все же — лучше в монахи!» — такие мысли все чаще посещали юного актера, но он не решался бросить престарелого отца, для которого действительно остался единственной опорой.

И вот недавно в их дом заявился уже известный меж театралами Миямасу-сан, дабы попросить отца о помощи в подготовке премьеры «Парчового барабана» — а также уговорить присутствовать на самом спектакле, чтобы высказать после свои замечания.

Три последних дня перед премьерой к их дому подъезжала

присланная Миямасу повозка, и Дзэами с сыном отправлялись на репетиции. Все шло прекрасно, Мотоеси даже не слишком донимали вопросами о его просвещенном мнении… да, судьба всегда сперва ласкается, прежде чем ударить наотмашь!..

Это было безумие — играть премьеру, когда исполнитель главной роли сбежал, переманенный завистником Онъами!

Это было безумие — ставить на главную роль его, Мотоеси, будь он хоть трижды сыном великого Дзэами!

Это было безумие — согласиться играть, зная, что эта роль ему не по силам!

И это тройное безумие настигло его!

За все надо платить.

Он взвалил на плечи непосильную ношу — и платит за нее теперь собственным рассудком.

5

Не понимая, зачем он это делает, Мотоеси порывисто развернул принесенный с собой сверток (с некоторых пор юноша все время таскал его чуть ли не за пазухой, это уже вошло у него в привычку), извлек наружу кипарисовый футляр, раскрыл…

На юношу смотрел *нопэрапон*.

Матовая поверхность с невыразительными прорезями была гладкой — никакой. Невозмутимая, безликая отрешенность глядела на него сквозь узкие глазницы. Отрешенность перетекала внутрь Мотоеси, медленно заполняла его изнутри, поднимаясь, как вода во время весеннего паводка, — и в этой воде из глубины всплывало лицо мертвого старика-одержимого, то лицо, которое тщетно пытался сделать своим сын великого Дзэами.

Лицо всплыло, проступило наружу — и вот уже две маски *оо-акудзе* смотрят на молодого актера, сверкая серебряными белками яростных глаз.

Это уже было, было, было! — во сне, в бреду яви, в кошмарах, когда он видел плавящуюся, меняющую очертания маску, спрятанную в личном сундучке.

Сейчас это произошло наяву, на его глазах.

Мотоеси смотрел на две одинаковые маски — и безумие злорадно подмигивало ему двумя парами вытаращенных глаз, на которых играли блики свечей.

Юноша так и не понял до конца, какую из масок он в итоге надел. Но едва прохладная поверхность коснулась ткани, покрывавшей лицо актера, плотно прилегла к ней, прилипла, вросла — лик злого духа двинулся дальше, погружаясь теперь в сокровенные глубины души, меняя, переплавляя самого Мотоеси.

Безумие пустило корни.

Когда Мотоеси выходил из «Зеркальной комнаты», у него вдруг возникла уверенность: если сейчас снять маску, из-под нее на людей глянет все тот же лик злобного духа.

Он не знал, готов ли он.

Он даже не знал, в своем ли он уме.

Но он знал другое: надо играть дальше.

6

…Ночные волны бьют о берег,
А в плеске их какой-то слышен голос…

На этот раз в шелесте занавеса действительно слышался плеск воды.

Мотоеси, как в бреду, шагнул вперед и вправо, оказавшись, как и положено по пьесе, на месте *кюсе*, лицом к зрителям.

Он поднял голову, выдерживая необходимую паузу.

Узкие прорези маски не позволяли как следует видеть зрителей — да он бы и не отважился сейчас взглянуть в их лица. Но юноша ощущал: некий безумный вихрь противоречивых чувств, страстей и желаний закручивается внутри него — и предыдущее смятение, предыдущая робость, которые он испытал при первом выходе на сцену, были ничто по сравнению с этим бушующим ураганом!

Безумное варево вскипело внутри него, плеснуло в глотку — и слова сами собой изверглись наружу:

Плоть немощная водорослями стала.
Но ныне, в этот час ночной, на берег
Их выбросили волны, и сюда…

— …вернулся я, томимый жаждой мести, — мгновенно подхватил хор.

Темная волна, поднявшись изнутри, подхватила его, завертела, ноги сами понесли юношу к месту *дзедза* — он более не управлял собой! Хлещущие потоки противоречивых стремлений чуть ли не физически разрывали его на части, и чтобы хоть как-то дать им выход, ему приходилось двигаться и говорить, говорить и двигаться, выплескивая наружу бурлящее в нем сумасшествие. Время от времени Мотоеси на миг приходил в себя, обнаруживая, что он, как ни странно, стоит в положенной

точке сцены, нужная реплика произнесена, ему отвечает хор или актер-*ситэ*, играющий знатную даму, толкнувшую старика на самоубийство, — но оценить происходящее, вспомнить, что и как он только что говорил, как двигался, Мотоеси не успевал: откуда-то извне на него вновь обрушивался шквал противоречивых эмоций, швыряя молодого актера в водоворот безумия, — и окончательно опомнился он только на финальной песне хора:

«…О ненависть, о женское коварство,
О ненависть!» — промолвив так, старик
В пруд бросился, исчез в пучине страсти.

«Вот и все, — подумал юноша, чувствуя затихающий в душе шторм. — Сейчас эта пытка закончится — и мне останется последовать примеру несчастного старика садовника. Я не только опозорился сам, но и сорвал премьеру, подвел и главу труппы, и собственного отца! Я бездарность, ничтожество — стоит ли жить такому неудачнику, как я?! Может быть, в следующем рождении мне повезет больше?»

Окунувшись с головой в горестные мысли и самоуничижение, Мотоеси не слышал приветственных кликов толпы, шума оваций — и примчавшемуся за кулисы посланцу господина Сиродзаэмона пришлось как следует встряхнуть за плечо актера, чтобы привести его в чувство.

— Господин Сиродзаэмон восхищен вашей игрой! Он получил огромное удовольствие от сегодняшней премьеры и приглашает вас, вашего отца и мастера Миямасу к себе в гости. Я подожду снаружи, пока вы переоденетесь, и провожу вас.

В голосе слуги звучало почтение, сквозь которое то и дело пробивался с трудом сдерживаемый восторг. Видимо, слуга разделял чувства своего господина.

— Я благодарен господину Сиродзаэмону… — промямлил ничего не понимающий Мотоеси. — Сейчас, я переоденусь…

«Кажется, не один я сошел с ума», — подумал он, снимая костюм злого духа.

Однако сведение счетов с жизнью пока явно откладывалось.

Под тканью, за пазухой повседневной одежды юноши, снегом на солнце, воском в огне таяли черты одержимого старца, застывая гладкой поверхностью.

Безликим лицом.

— А теперь, если не возражает наш любезный хозяин, господин Сиродзаэмон, я бы хотел провозгласить здравицу в честь моего сына Мотоеси!

Старый Дзэами раскраснелся от выпитого саке, глаза Будды Лицедеев блестели, седая борода воинственно встопорщилась.

— Разумеется, Дзэами-сан, мы все вас слушаем и присоединяемся! Ибо сегодня игра вашего сына была подобна молнии в лунную ночь!

Сидевший в углу Безумное Облако (он тоже был здесь) громко рыгнул.

То ли одобрение выразил, то ли наоборот — собравшиеся так и не поняли.

— Да, вы правы, прославленный хатамото! Честно говоря, я уж решил, что он у меня совсем бестолковый. — Гости засмеялись, думая, что оценили шутку великого мастера. — Но сегодня, сегодня я понял: цветок его таланта наконец распустился!

Вконец смущенный Мотоеси хотел было возразить, что отец зря его хвалит. Юноша даже открыл было рот для ответной речи, но тут все гости разразились приветственными возгласами, в руке Мотоеси сама собой оказалась чашка с подогретым саке, так что открытый рот очень пригодился.

В голове у юноши шумело от выпитого, внутри бродили последние отголоски обуревавших его на сцене страстей, лица гостей плыли перед глазами, смазываясь в одно общее размытое лицо с тысячью выражений — лиловый лоснящийся пузырь, лицо без лица, маску убитой *нопэрапон* …

И вдруг из этой толчеи возник взгляд.

Острый, испытующий, внимательный.

Все лица разом отступили на задний план, исчезли, — и Мотоеси остался один на один с этим взглядом. Он быстро трезвел, приходя в себя, и через мгновение понял: через весь зал на него внимательно смотрит Безумное Облако — тоже совершенно трезвый.

Кажется, монах хотел что-то сказать юноше, но в последний миг передумал.

Или решил: сейчас — не время.

— Мотоеси! — Язык Дзэами уже слегка заплетался. — Мотоеси, любимый сын мой!

— Да, отец!

— Мотоеси, я решил, что свой главный трактат я подарю тебе! Подлецу Онъами он не достанется никогда! Я думал отдать его твоему старшему брату, но сейчас решил: тебе он нужнее! Вот, бери! — И отец широким жестом протянул Мотоеси

свиток. — Это — «Предание о цветке стиля». Ты поймешь…

— Благодарю, отец, это большая честь для меня! Но, право, я недостоин…

— И не будешь достоин! — радостно провозгласил из угла Безумное Облако. — А потому вот тебе еще один трактат, мой! — И брошенный монахом второй свиток, перевязанный бечевкой, больно ударил юношу прямо в лоб. — Читать будешь так: главу из свитка отца — главу из моего! Понял?

Вокруг веселились гости, хохоча над очередной выходкой монаха.

«Уйду в монастырь. Уйду!» — подумал Мотоеси, прижимая к груди оба свитка: «Предание о цветке стиля» и неведомое сочинение Безумного Облака.

Сегодня был его день, день его славы, успеха, день, о котором он всегда мечтал, — но юноша никак не мог заставить себя радоваться.

На душе ныла плохо зарубцевавшаяся рана.

Что-то менялось внутри него, что-то очень важное…

8

Назавтра, в полдень, они вернулись в Сакаи.

VII. По образу и подобию. Друг

Все-таки работа охранника, или, если угодно, телохранителя, — тоже в некотором роде искусство, что бы ни говорили по этому поводу всякие «спецы», презрительно морща свои богемные носы. Да, конечно: дисциплина, форма, ежедневная пахота — без нее, родимой, никак. Ремесло. За что платят, и платят по нынешним временам прилично. Но тупой исполнитель-костолом в роли «щита» опасней, чем возможный агрессор. Ленчик знал это по себе: когда опыт выживать и не давать выжить другим пришлось засунуть куда подале… Потому что здесь реже надо бить, и чаще — не дать ударить. Забрав пьяного клиента из кабака, если необходимо, забрав силой, не позволив ему ввязаться в дешевую свару, не поддавшись на его истошные вопли: «Вмажь!.. вмажь гаду!.. уволю, падла!» Завтра благодарить будет. Деньги совать, с женой знакомить. Чему тоже особой веры давать не стоит. Все равно переведет в «стояки». Где очень трудно промолчать у ворот проходной, когда местная рвань станет костерить буржуев, которые назло пролетариям всех стран открыли цех по производству лапши и вдобавок вымостили кусок тротуара цветной плиткой.

Молчание — великое искусство.

Золото.

Ленчик помнил удивление новичков: алкаш Ленчику прямо на улице чуть ли не в рыло, по маме-матушке, а Ленчик с алкашом задушевные лясы точит. Пока не разойдутся кто куда. Подобру-поздорову. У парней ведь серьезный вопрос: бить или не бить? И по всему выходит: бить лучше. Прогрессивней. Ну, в худшем случае нос расквасят… они худшие случаи в кино видели. Эх, кино, страна дураков: роняют себе ворога лютого во весь экран, пока не образумится, а в жизни его, ворога-то, уронишь в полнаката, и готов перелом шейных позвонков. Страшное дело. Шея тряпкой, зенки выпучены, спрашивают тебя молча… Кто видел, тот знает: страшное. И никаких тебе титров по экрану. Самураи в таких случаях говаривали: «Просить прощения надо до тех пор, пока ты не уверишься, что пред тобой не человек, а животное. Окончательно. Без тени сомнения. Только тогда надо рубить. Окончательно. Без тени сомнения».

А рожу дураку набить — много ли мудрости?

К сожалению, свою голову всем не приставишь. Бьешься, талдычишь, как попка: «Настоящая сила не нуждается в проявлении!» — не верят. «Истинное мастерство самодостаточно» — опять не верят. Не могут поверить, понять… трудно им. Вот

Олежа, к примеру, понимает. И тоже, как попка… уважаю.

К счастью, большинство сотрудников из наших, обкатанных. А новички… Крепкие, в общем-то, славные ребята — но задиристые, будто коты весной.

Приходится обламывать.

Как сейчас.

Обосновавшись в давно облюбованном коллегами Лесопарке, на знакомой поляне, Ленчик уже три часа по капле выдавливал из парней злобу. Судороги остаточной силушки. Гордыню-матушку. Втайне завидуя древним монастырям: там имелись специальные ассистенты, с палками… Хорошее дело.

Правильное.

Очень ускоряет процесс усвояемости…

Володю Монахова он приметил минут за пятнадцать до конца тренировки. Подошел тихо, стал в сторонке за кустами, смотрит. Думает, Ленчик его не засек. Ну и пусть думает. Интересно, когда все закончится — подойдет? Впрочем, это его дело. А нам пора заканчивать. Парни выдохлись, машут без души, на «автопилоте».

— *Ямэ*!

Баста в смысле.

Двое явно собираются подождать Ленчика, но он переодевается нарочито медленно, махнув парням развязанным поясом — не ждите, мол.

Они уходят. И тут же из-за кустов выбирается Монах.

— Привет, Леня! — Однако руки почему-то не подает. Сцепляет кисти в замок и трясет над головой.

Ну и ладно. Похоже, сдуру Олеже чего-то по телефону ляпнул, вот и стесняется теперь. Вокруг да около… террорист международный!

— Привет, Володя. Какими судьбами? — Ленчик на время оставляет сумку с вещами в покое и выпрямляется.

— Да вот, шел мимо, вижу — ты работаешь. Остановился посмотреть. А вы как раз закончили…

И в сторону смотрит.

Врет. Мимо он шел, понимаешь…

— Ну что, Леня, как полагаешь, из этих ребятишек толк будет?

Тон у Монаха чуть снисходительный, но Ленчик только улыбается про себя.

— Будет, Володя. Обязательно будет.

И улыбается уже открыто, в ответ на кислую гримасу Монаха.

Конечно, далеко не всем бог таланту отвалил сверх всякой меры. У кого здоровья не хватает, у кого упрямства. Но люди занимаются, из года в год. Старое правило: приходишь сам,

уходишь сам. Гнать нельзя. Если человеку надо, значит, мы дадим, а он возьмет, сколько каждый дать-взять сможет. Тот же Димыч, к примеру. Ну не выйдет из него мастера, хоть разбейся! Но, с другой стороны, когда он только в школу пришел — это же были полные дрова! А сейчас… в общем, ничего уже. Хотя и лентяй. И все-таки наш человек.

Монах тоже поначалу таким казался. Приходил, занимался, на тренировках не сачковал, глаза внимательные… А потом — пропадать начал. По другим школам шастать. Из одних его гнали вскорости: им медали нужны, на кой им бесталанный Монах? Другие оставляли, с радостью: еще бы, экий собеседник! Потом, правда, опять гнали; или он сам уходил — на поиски. Все доказать тщился; и добро б себе самому… Вот до сих пор и ищет незнамо что. Так и не понял: не бывает секретов, не бывает волшебных палочек. А бывает только работа, ежедневная, изнурительная, — вот и весь секрет…

— Ну, а меня бы ты, к примеру, к себе в контору взял? — криво усмехается Монах.

— Нет, — честно отвечает Ленчик.

— Почему? — Кажется, Монах искренне удивлен. — Рожей не вышел?!

— Рожа здесь ни при чем. Характер у тебя не тот. И, ты уж извини, возраст. Поздно исправлять.

— А у них — тот? — презрительно кивает Монах в сторону, куда удалились «ребятишки».

— Нет. Пока нет. Но будет — тот.

— Ладно, допустим. — Монах явно обижен. И поделом: кто его просил лезть не в свое дело? Сам нарвался. Хотел честного ответа — и получил. — А вот насчет возраста… По-моему, ты, Леня, ошибаешься.

И Ленчик понимает, куда разговор катится. Монах явно завелся: задело за живое, что таланты его великие никто не признает. Вот и очередной скептик в том числе.

Он становится в некое подобие стойки и с рычанием больного носорога лупит воздух. Наверное, ему кажется, что эти движения неотразимы.

— Ну как?

«Как? Да все так же. Как год назад. Как два года… пять… десять…» — думает Ленчик, но вслух произносит:

— Честно, Володя? Не впечатлило.

— Да, наверное, — неожиданно сникает тот. — Тут с предметом работать надо. Иначе не видно.

— Ну давай станем, набивочку постучим, — предлагает Ленчик. — Только недолго, мне по делам пора.

Жаль Володю обламывать, но и врать ему противно.

— Набивочку? — Монах смотрит испытующе, редко моргая белесыми ресницами. — Ну давай постучим. Только аккуратно.

Аккуратно так аккуратно.

Стали. Верх, центр, низ. И с другой руки… Казалось бы, проще некуда. Первый год. Но Володя поначалу все равно путается, и Ленчику приходится вслух повторять: *«Дзедан, чудан, гедан. Дзедан, чудан, гедан. Дзе…»* Руки у Монаха деревянные. Он и раньше весь зажатый был, а сейчас — так совсем. Зажатый… *дзедан, чу* … ах ты черт!

Левое предплечье взрывается резкой болью.

Ленчик рефлекторно делает шаг назад, и очередной удар партнера уходит в пустоту, в результате чего Монах едва не падает. С равновесием у него всегда были проблемы.

— Ленчик, что с тобой? — Володя явно испуган, но отнюдь не растерян. — Перестарался, да?

— Да с рукой что-то…

— Слушай, может, тебе в травмопункт надо? — Монах суетится вокруг, но близко не подходит, словно опасаясь прикоснуться к старому знакомому.

— Ничего страшного. Я сам.

— Ну, ты извини, Ленчик… Но ведь я ж тебе говорил! Говорил! — В его голосе вдруг прорывается едва сдерживаемое торжество.

Сегодня он *доказал*! Доказал… что?! Что человек, который толком ничего не умеет, за какие-то полгода, пока Ленчик с ним не контачил…

Морщины комкают лицо Ленчика: неудачно повернулся, и боль внутри предплечья злобно дергается.

Монах прощается и быстро уходит, загадочно пообещав как-нибудь забежать в гости и «все-все рассказать».

Дела…

Рентген показал трещину лучевой кости. Через час Ленчик уже мог любоваться своим новеньким гипсом, который ему предстояло носить две недели. И потом еще месяц — щадящий режим.

В такси на него неожиданно накатила дурнота, и очнулся Ленчик только у самого своего дома. Рука почти не болела, но все тело было ватным, чужим, и противно саднил крестец.

То, чего он боялся больше всего на свете.

Поднявшись к себе, Ленчик набрал телефонный номер.

Дмитрий

Настроение с утра было крайне пакостное. Писать хотелось не больше, чем плясать вприсядку, но я все-таки заставил себя сесть за компьютер. Вывел на экран файл романа, над которым мы сейчас работали. Пробежал глазами два-три написанных позавчера абзаца. Текст казался искусственным, будто матерчатый тюльпан: вычурность фраз, чужой, надуманный быт, мистические навороты…

Бывает.

И, к счастью, не очень часто. Главное, не верить ни собственной хандре, ни собственному восторгу, когда любое слово кажется шедевром на века.

Ох, помню, морока была: воспитать в душе персонального «адвоката дьявола»!..

Конечно, глупо ждать от литературы точного подобия обыденности. Никто и не обещал снимать кальку с реальности — и все же… Когда живьем сталкиваешься с тайной, иллюзорные миры, даже выписанные скрупулезнейшим образом, блекнут сами собой. И, честное слово, пусть лучше внезапные смерти, люди в обмороке и засекреченные «Белые Журавли» остаются на бумаге — там им самое место! Когда все это нагло вторгается в твое собственное бытие, каковое, согласно общепринятому мнению, определяет твое собственное сознание… Меньше всего ощущаешь себя героем, готовым рубить гордиевы узлы, а после с мечом или «узи» в руках становиться на пути злодеев! Мы — граждане тихие, в меру законопослушные, наша милиция нас хоть и хреново, а бережет…

Вот только: что сказать тому же пану следователю, когда вместо явного состава преступления или улик — одни смутные подозрения, попахивающие жареной подругой-мистикой? В лучшем случае пан следователь, даже самый умный из всех сыскарей, вежливо тебя выслушает, пожмет плечами и откланяется. В худшем — направит на обследование в психушку.

И остаешься ты с Его Величеством Случаем-маразматиком один на один. Ну, пусть не один — вместе с парой друзей. Три занюханных мушкетера. Что это меняет? Как можно докопаться до истины, и даже докопавшись — что вы, милейший, станете делать? Кинетесь очертя голову спасать мироздание, как это неизменно творят на голубом экране соотечественники покойного Дагласа Деджа? Много вы навоюете, много наспасаете! Эк занесло! — перестрелка в центре города, вертолет с небес, «бог из машины», из «шестисотого» «мерса»… Тут какому-нибудь вполне реальному подлецу дашь по морде — а он на тебя в суд! И засудят как миленького…

Черт, совсем мысли куда-то не туда заехали! Люди добрые,

это ж полный бред получается: Володька Монах — скрытый ниндзя-черепашка, от одного касания которого люди мрут, как мухи, или гипс примеряют?! Ахинея! Сами видели из-за шиповника, как они ногосуйствовали! Движение корявое, руки-крюки, сам ударю, сам прилягу, сам доеду до врача… Я пусть не Божественный Кулак в отпуске, пусть и рядом не лежало, но даже я вижу!

Вот только американца Монах все-таки убил. Бойца-профессионала, здорового, как бык! И эти, в троллейбусе, — там вообще полный беспредел…

Опять не о том думаю! Черт с ним, с Монахом, — работать надо! Работать, работать… Мы ведь честные литераторы, а не агенты по расследованию аномальных случаев, как в «Секретных файлах»! Работать… все равно мы ничего… стоп! Наш герой: обычный человек, не сыщик и не великий воин, пусть из другого века и из другой страны. У него — сходная проблема, только еще похлеще, чем у нас. Он тоже не может понять, что происходит, — но происходит не с кем-то, а с ним самим! Вот ведь оно, его состояние!

Через минуту я уже самозабвенно барабанил по клавишам, выбросив наконец из головы эту идиотскую историю.

* * *

— В общем, ничего. — Олег меряет кабинет шагами вдоль и поперек, и я, сидя во вращающемся кресле, машинально поворачиваюсь вслед за ним. Славное время обеда миновало, и послеобеденная сиеста нами давно отдана под обсуждение сделанного в первой половине дня. — Даже, можно сказать, весьма ничего…

— Ты финал главы прочел?

— Прочел.

— Внимательно?

— Трижды очки протирал. Чистым платочком. Там серединка малость сбоит, надо подрихтовать по свободе, а так вполне. И монах реальный, выпуклый, без дураков…

— Еще бы! Махнет рукой — улочка, отмахнется — Ленчик поломанный!

— Димыч, окстись! Не Монах, а монах! Кстати, ты заметил: мы все время пытаемся забыть об этой истории, выбросить ее из головы — а она, зараза, упрямо напоминает о себе. Словно кто-то нарочно задался целью втравить нас в эту пакость!

— Заметил, — угрюмо бурчу я. — Прямо какой-то «За

миллиард лет до конца света»!

— И Володька Монах в роли Гомеопатического Мироздания! — хмыкает Олег, явно пытаясь пошутить, только отчего-то смешно не становится ни ему, ни мне.

Да еще вдобавок противно дребезжит телефон. Если и это происки Гомеопатического Монаха… Протягиваю руку к трубке, но в соседней комнате меня опережает жена. Через закрытую дверь доносится ее непреклонный голос:

— Да, Олег Семенович у нас. Но он сейчас занят. Перезвоните позже.

Все-таки жена у меня молодец! Если бы не она, звонками бы совсем достали!

— Они с моим мужем работают. Перезвоните… а я прошу вас… ну хорошо, я сейчас поинтересуюсь. Подождите.

Фантастика: прорваться через мою половину!

— Олег, тут тебя спрашивают. — Супруга явно недовольна, что нас беспокоят. — Говорят, по важному делу.

Дважды фантастика: видно, перед этим звонили к Олегу и сумели выцарапать у *его* жены мой номер телефона!

Мой соавтор с унылым вздохом берет трубку.

— Да, я слушаю. Да… — Это второе «да» звучит слегка растерянно, что на Олега совсем не похоже. — Я понял… а чем я… ну хорошо, давайте встретимся. Метро? «Пушкинская»? Да, вполне. Договорились, через час, на выходе, возле кинотеатра… Ну, нас-то узнать несложно: двое бородатых мужчин среднего возраста, оба в джинсах, один — с черной бородой и в очках, другой — с рыжей и без очков… Дмитрий, мой партнер и соавтор, хороший знакомый вашего мужа… Да, мы подойдем обязательно.

Олег аккуратно кладет трубку на рычаг и поворачивается ко мне. Медленно, словно пытаясь собраться с мыслями.

— Звонила Монахова. Жена Володи. Хочет с нами переговорить.

Олег выдерживает паузу и заканчивает:

— Монах пропал. Из дому.

Олег

Почему-то всегда представлял себе Монахову супружницу (Монашку?!) совсем другой. По голосу? по ассоциации с самим Монахом? по чудной прихоти воображения? Так и виделось: усталая, чуть грузноватая женщина с блеклым лицом, тронутым ранними морщинами, макияж сооружен впопыхах, синяки под глазами разлеглись внаглую; в каждой руке по здоровенной авоське — хлеб, консервы, бананы вперемешку со школьными

учебниками, втридорога купленными на книжном толчке…

А вот и шиш тебе, фантазия моя замечательная! — отлеталась, голубушка! Передо мной вполне миловидная дама лет эдак… э-э— э… бальзаковского возраста, со следами былой красоты на лице, и следов этих более чем достаточно. Одета со вкусом, стильно, и косметики (недорогой, но вполне, вполне, это я вам как бывший гример говорю!) ровно в меру — «штукатурка» слоями не отваливается, как у некоторых леди Макбет Мценского уезда.

— Здравствуйте, Олег…

Многоточие понимается однозначно — как невысказанный вопрос.

— Можно без отчества. Просто Олег.

— И просто Дмитрий, — немедленно напоминает о себе мой соавтор, сияя улыбкой Фредди Крюгера, дорвавшегося до сновидений детского сада в полном составе.

Улыбка производит впечатление.

— Ну, в таком случае — просто Татьяна, — через силу улыбается и Монахова. Я вижу, вижу с предельной отчетливостью: эта с виду благополучная женщина держится на пределе. На самом краешке истерики, нервного срыва, битья посуды и бессвязных выкриков — но она держится. И будет держаться, сколько понадобится.

Молодец.

Уважаю.

Мало ли, как тебя жизнь-малина приложила? Совершенно не обязательно выплескивать свое дерьмо на лысины окружающих.

— Татьяна, тут рядом, в «Тайфуне», открытая веранда. Тишь да гладь, и народу в это время немного. Присядем?

— Да… Да, конечно.

Будь мы сами, непременно взяли бы пива. Его, родимого, и хочется — с пеной, со свежими пузырьками… Мы с Димычем переглядываемся и по молчаливому согласию страдаем: пьем кофе. Растворимый. А Татьяне, выслушав ее пожелания, берем кофе с коньяком. Коньяк отдельно, в пузатой рюмочке. В целом наша дама держит хвост пистолетом, вот только когда она достает из сумочки пачку сигарет, а потом из пачки — тонкую и длинную *«Vogue»* с ментолом… Пальчики-то дрожат?.. Дрожат. И зажигалка тщетно щелкает колесиком, искря впустую, — раз, другой, третий, уже с заметной нервозностью…

Димыч успевает вовремя. Две сигареты слепыми кутятами тычутся в синеватое пламя, и я незаметно морщусь, угодив в дымовую завесу.

Плевать, привык.

Жена приучила.

Да и сам был грешен… ох и грешен!.. Бросил.

Давно, еще в институте.

— Вы понимаете, Олег… Короче, Вовка пропал. Вот, — повторяет Татьяна то, что я уже имел честь слышать по телефону. — Два дня назад. Я уже всех его знакомых обзвонила, кого знала, и в милицию заявила…

— Больницы обзванивали? — Димыч всегда отличался редкой тактичностью. — Неотложку?

Еще б про морги вспомнил!

— Обзвонила, — кивает Монахова. — И… морги тоже. Говорят: такого не зарегистрировано.

— Ну, если *там* нет — это, пожалуй, к лучшему?!

— Да, вы правы! Но… я не знаю, где его искать! А у нас еще и сын в реанимации, под капельницей… Вот, нашла ваш телефон. Он… Вовка часто о вас рассказывал, называл сэнсеем, учителем. Вот я и подумала — может, вы знаете…

Учителем, значит, называл? И прослезился?! Сразу вспоминается неприятный смешок в трубке: *«Ты только вот о чем подумай, сэнсей, ты крепко подумай: двенадцать лет жизни — коту под хвост! А, сэнсей? Что скажешь?!»*

Ничего не скажу, Монах.

Промолчу.

— А может… Татьяна, вы извините, что я лезу не в свое дело! — но может, у него появилась женщина? Другая женщина?!

Шкура следователя, в которую я лезу с упрямством, достойным лучшего применения, трещит по швам.

Вот-вот разорвется.

А что делать, если волей-неволей первым делом на ум приходит долговязая девица с лошадиным лицом, телезвезда и гроза нетрезвых насильников?!

— Нет… то есть да, но — не в том смысле! Нет, к *той* женщине Вовка бы никогда не ушел!

Знаешь, «просто Татьяна», это еще бабушка надвое вилами по воде! Всяко в жизни бывает… хотя учтем: Ольгу-мордобоицу ты, похоже, видала и соответствующие выводы сделала.

Вполне разумные выводы.

— Значит, Володя вдруг просто так взял — и исчез? С бухты-барахты? И ничего странного вы до этого за ним не замечали?

Сакраментальный вопрос. Вечный, из основных интересов бытия: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Вы за ним ничего странного?..» А куда денешься — язык сам вопрошает!

Язык мой — враг мой.

«Где враг твой, Каин?» — вот он, господи, во рту болтается,

без костей…

— Замечала! Еще как замечала!

Вот те раз!

— А конкретнее можно? Только мы сразу должны вас предупредить: нам неизвестно, где сейчас находится Володя. Но, если мы будем в курсе ситуации… Мало ли — вдруг окажется, что мы знаем кого-то из его знакомых, о ком вы и не подозревали? Сами понимаете…

«Просто Татьяна» понимает. Она все понимает и так энергично кивает головой, что я начинаю опасаться за сохранность ее шейных позвонков.

А еще я почему-то думаю об американце, умершем после боя с Монахом. Проклятье, ведь сто раз же зарекался творить добро и спасать утопающих!.. По лицу Димыча видно: наши мысли текут в сходном направлении.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон, понимаешь!.. Эркюль Пуаро и Нат Пинкертон!.. Доктор Джекил и мистер Хайд!.. Нет, эти, кажется, из другой епархии.

Жена Монахова гасит сигарету в кофейном блюдечке.

Впервые берет рюмку с коньяком; делает крохотный, деликатный глоток.

За ним второй — уже не столь крохотный и не столь деликатный.

— Я вам все расскажу. Все! Если это поможет… если есть хоть какая-то надежда!.. В милиции я уже рассказывала, но они даже ничего не записали! Это началось месяца два назад, в середине марта…

Просто Татьяна

К тому, что муж время от времени допоздна засиживается в гостиной у телевизора, включая купленный по случаю подержанный видеоплеер и гоняя на нем свои бесконечные кассеты с мордобоями, — к этому Татьяна давно привыкла. Подобных кассет в доме скопилось уже порядочно, и Татьяна относилась к ним как к бессмысленной, но неизбежной части интерьера, с которой время от времени надо вытирать пыль.

Впрочем, Вовка не оставлял попыток завлечь жену в лоно рукомесла:

— Таня, ну глянь! Нет, ты глянь — ну красиво же! Смотри: он его… а тот ушел в сторону и… ну куда же ты?!

Татьяна вскользь бросала взгляд на экран, но крепыши в кимоно ее не вдохновляли, и она спешила ретироваться из комнаты.

Собственно, Вовка все равно тут же забывал о ней, уткнувшись носом в экран.

Сын, Саша-Санька-Шурик, как ни странно, к отцовским кассетам тоже особого интереса не проявлял. На тренировки вместе с отцом ходил, по утрам шумно дышал и дергался, доводя до инфаркта кошку Франьку, а к фильмам оставался равнодушен. Да и сами тренировки в последнее время забросил: на носу выпускные в школе, а там — в институт поступать. Занятия, репетиторы — головы поднять некогда!

Сам заявил, открытым текстом: «Вот поступлю, время появится — опять заниматься пойду. А пока — учиться, учиться и еще раз учиться, как написал ваш вождь, расписывая американский „Паркер“!»

Пошутил, значит.

Итак, жизнь шла своим чередом: сын готовился к выпускным и одновременно — вступительным экзаменам, муж ходил на очередную работу (устроился наконец в какой-то более или менее приличный лицей — по крайней мере, деньги там платили вовремя); вечерами Вовка посещал тренировки или дома запоем смотрел кассеты, запас которых неуклонно рос, — жаль лишь, что времени этим самым кассетам он уделял все больше и больше. Нет чтоб жене или сыну! А то ведь даже не на тренировки убегает — чушь всякую по ящику часами смотрит! И это взрослый человек, пятый десяток разменял!..

Пару раз Татьяна замечала, что муж, надев кимоно, что-то отрабатывает перед экраном. Раньше такого за ним не водилось: рукомашество и дрыгоножество — отдельно, просмотр — отдельно. Но все лучше, чем просто в экран пялиться! Вот если б еще не засиживался за полночь…

Или теперь уже не «засиживался», а «запрыгивался»? «задрыгивался»?..

Тогда-то и прозвенел первый звонок.

До Татьяны, замотанной делами и семейным бытом, не сразу дошло: вот уже без малого две недели муж, что называется, сачкует исполнение супружеского долга! То на усталость сошлется, то вообще ложится в постель, когда она, Татьяна, давно уже третий сон видит… А ведь раньше впору было перед подругами хвастаться: мой-то, мой-то!.. ну, не тот, что в юные годы, но все-таки — орел!

Грех жаловаться!

И, словно почувствовав молчаливое удивление жены, Вовка в ближайший вечер, виновато глядя мимо законной супруги, заявил, что некоторое время будет спать в гостиной.

На диванчике.

Тут уж мужу был учинен допрос с пристрастием: что, мол, жену на видео променял? Или домахался ногами-то, отдавил причинное место?

Или другую себе нашел, помоложе?!

Заметим со всей честностью: последнее предположение вслух произнесено не было. Так, повисло в воздухе ощутимой тенью. Но именно оно и обосновалось наиболее прочно, проросло сорным семенем в глубине Татьяниной души, которая отныне была не на месте. Вовка, правда, пытался втолковать супруге что-то насчет новой системы тренировок, при которой, мол, нужно три месяца воздерживаться от «ну, ты понимаешь…», — потому как иначе не будет завершен цикл преобразований внутренней энергии. Зато потом, когда этот самый цикл успешно завершится и встанет ребром… то есть даже не ребром, а просто встанет, да еще как, Великим Змеем Кундалинь!..

Весь этот бред Татьяна попросту пропустила мимо ушей. С мужем она теперь держалась холоднее обычного (хотя завтраки-обеды готовила по-прежнему и одежду стирала вовремя), — зато присматривалась к супругу очень даже внимательно.

И сразу же не замедлили обнаружиться и другие странности, кроме манкирования супружеским ложем и ночных видеосеансов с народными танцами по ковру. Кстати, вначале Татьяна заподозрила было: Вовка, почуяв седину в бороду, смотрит по ночам никакие не учебные фильмы, а самую что ни на есть банальную порнуху. Однако пара разведвылазок опровергла это предположение на корню: вместо голых баб на экране честно мелькал очередной мужик-мордобоец, а муж старательно выплясывал босиком, подражая мужику.

Полное отсутствие криминала.

Зато выяснилось, что Вовка внезапно перестал здороваться со знакомыми за руку и обзавелся шляпой, которой сроду не носил. Муж всегда гордился своей закалкой, чуть ли не круглый год ходил с непокрытой головой, лишь в самые лютые морозы позволяя себе натянуть на уши кургузый «петушок», — и действительно простуживался редко. Теперь же при любом удобном и неудобном случае он нахлобучивал на голову свежекупленную шляпу серого фетра — и при встречах подчеркнуто-вежливым жестом приподнимал ее над лысиной. У Татьяны создалось впечатление, что шляпа и была приобретена с единственной целью — легализовать отсутствие рукопожатий.

Это было по меньшей мере странно. Как и тот факт, что Вовка вообще начал избегать прикосновений, держась от людей на некотором расстоянии. При этом чуть ли не в первую очередь — от нее, Татьяны, и их сына Саши-Саньки-Шурика!

Вблизи замаячил призрак паранойи, и Монахова забеспокоилась всерьез. У Вовки и раньше бывали заскоки: то к экстрасенсам зачастил, у всех на улице ауры высматривал, бабушек-соседок до слез доводил — боялись, сердешные, сглазит внучат-то, ирод лысый! Еще, бывало, «энергетические сгустки» с утра до вечера в руках вертел; или усядется, как шутила Татьяна, «кактусом в лотос» — и пялится час в стенку: медитирует.

Потом, правда, бросал — надоедало.

Одно время на курсы народных целителей записался. Деньжищ на это извел — уму непостижимо! За сертификат дай, за диплом дай, за брошюрку «Моча — нектар здоровья», за красивые глаза Марь-Иванны, сибирской белой ведьмы… После двух недель занятий все порывался кого-нибудь исцелить: головную боль снять, порез заживить. Татьяна один раз поддалась на уговоры — ох, закаялась: голова после мужниного сеанса двое суток раскалывалась, никакой пенталгин не помогал.

Потом настал черед астрологов, магов всех цветов радуги, даосов из богодуховского храма-самостроя…

Самым безвредным из увлечений мужа Татьяна всегда считала карате. Как ни странно, синяки на тренировках муж получал крайне редко, серьезных травм у него вообще никогда не было, а для здоровья подышать да руками-ногами помахать — оно всегда полезно, особенно в его возрасте. Все лучше, чем «целительствовать» или водку пить!

А вот поди ж ты — и здесь не все слава богу оказалось!

«Может, все-таки — любовница?» — шептал в глубине души лохматый бес сомнения.

Требовалась тщательная, всесторонне подготовленная проверка.

На «все про все» ушло дней десять. У Татьяны были свои методы: подруги, жены друзей, сослуживицы, соседки — эти на три аршина в землю видят, от них не утаишь! Оно, конечно, из-за прогулок на сторону никто не перестает с людьми за руку здороваться, но бдительность, бдительность и еще раз бдительность…

Вычислила!

Вовку неоднократно видели с какой-то долговязой девицей, явно чуть ли не вдвое моложе гулящего красавца. На троллейбусной остановке видели, в парке, а однажды — и на прогулке в районе новостроек. Правда, в объятиях и поцелуях сладкая парочка замечена не была — но мнения свидетелей сходились к одному: «Не станут же они прямо на людях!»

Открыто заявить мужу о рассекречивании его «цикла тренировок» и блудливых устремлений Татьяна поначалу не

решалась, вся извелась, ночами не спала, думала — и тут…

В среду их отпустили с работы раньше обычного — нагрянула столичная инспекция. Открыв ключом дверь, Татьяна вошла в прихожую, и в глаза сразу бросился незнакомый бежевый плащ, нагло оккупировавший ближайший к двери крючок вешалки. Под плащом обнаружились женские сапоги на высоком каблуке.

«Попались, голубчики!» — обреченно и зло думала Татьяна, пинком распахивая дверь гостиной, откуда, со стороны диванчика, слышалось увлеченное ритмичное сопение.

Распахнула.

И молча застыла на пороге.

Девица — именно такая, как ей и описывали, — наличествовала. И муж наличествовал. И еще — включенный телевизор с работающим видеоплеером.

Вовка с гостьей, оба в белых кимоно, со старательным пыхтением плясали дальневосточную «камаринскую», прикипев глазами к голубому экрану. Кажется, именно эту кассету блудный муж и крутил в последнее время особенно часто. Впрочем, в последнем Татьяна не была уверена, ибо все «великие мастера» с Вовкиных кассет были для нее на одно лицо.

Ее заметили не сразу.

А когда заметили — обрадовались.

— Тань, познакомься — это Ольга. Моя, так сказать, коллега. Ольга, это моя жена Татьяна.

— Очень приятно, — скромно потупилась девица, и Татьяна почувствовала, как с души сваливается тяжесть и отпускает сердце.

Ее муж был полным, наиполнейшим дубом, несокрушимой семейной твердыней! А она-то, дура, ест себя поедом, подозревает невесть что…

— Тань, мы тут сейчас закончим… Ты пока чайник поставь, ладно? Вместе чаю попьем… с вареньем.

От радости она достала предпоследнюю банку кизилового.

После этого случая неделя прошла сплошным праздником. Подумаешь, у мужа очередной заскок! В первый раз, что ли? Вот закончит скоро любимец и красавец свой «цикл» (чуть больше месяца осталось, сам говорил!), перебесится — и все войдет в норму. А значит, и насчет этой скаковой Ольги можно не беспокоиться: любовью здесь и не пахнет, у девицы просто-напросто те же шарики за те же ролики заехали.

Интересно, кстати: ей тоже три месяца воздерживаться надо?!

При ее-то внешности — раз плюнуть…

А потом, когда отшумели майские праздники, расцвели и

увяли в ночном небе разноцветные астры фейерверка, — у Вовки объявился новый знакомый. Молодой, интеллигентный, вежливый, всегда в костюме, при галстуке. Вот только, услышав обрывок разговора мужа с этим новым знакомым (Константин Георгиевич, кажется?), Татьяна была, мягко говоря, удивлена. Этот приличный молодой человек вел речь… вы будете смеяться, но говорили о карате! И в разговоре то и дело мелькало слово «турнир»!

К счастью, на сей раз Вовка секретов разводить не стал.

— Выступить меня приглашают! — прямо-таки сияя от гордости, заявил он однажды. — С иностранцами, между прочим!..

— А не зашибут тебя там? — Смешно было видеть отчаянную, просто-таки детскую радость на лице сорокадвухлетнего мужчины, отца семейства и прочее. Татьяна поначалу решила не портить мужу настроение, но беспокойство оказалось сильнее.

Однако оказалось: испортить настроение мужу не так-то просто. Он в радостном возбуждении мерил по диагонали гостиную, время от времени резко останавливаясь и пиная ногой воображаемого противника, по всей видимости — иностранца.

Недавно купленное кресло (мягкий уголок по частям распродавали) испуганно жалось в угол, дрожа подлокотниками.

— Ну, это мы еще посмотрим, кто кого зашибет! Зря, что ли, столько работал! Эх, Танюша, нам ли жить в печали?!

— Сколько стоит оргвзнос? — осторожно поинтересовалась Татьяна.

Муж счастливо рассмеялся.

— Много! Много стоит! Только теперь не я платить буду — теперь МНЕ платить будут! — И он демонстративно извлек из кармана две новенькие хрустящие купюры с портретом заокеанского президента. — Это за участие; а если выиграю…

Он не закончил, но и без того было понятно: если выиграет, то деньжищ загребет — ни в сказке сказать, ни пером описать, ни лопатой перекидать!

«Чем бы дитя ни тешилось…» — мелькнуло в голове Татьяны. В выигрыш и большие кучи денег верилось мало, но выданные доллары убедили ее в том, что и муж, и Константин Георгиевич вполне серьезны в своих намерениях.

— Ну вот, а говорила: одни убытки от твоих дуростей, одни убытки! — Вовку несло, он просто не мог остановиться. — Если хорошо выступлю, мне постоянный контракт обещали. Свою группу наберу, инструктором стану! За полгода все окупится!

Татьяна спорить не стала. Пусть его. Окупится не окупится — там видно будет.

Константин Георгиевич заходил еще дважды, неизменно вручая Татьяне цветы и любезно раскланиваясь; и наконец Володя объявил: завтра — турнир!

Он прямо весь дрожал от возбуждения, однако пойти посмотреть не предложил: то ли знал отношение жены к своему хобби, то ли стеснялся, то ли еще чего. Да и не все ли равно? У Татьяны завтра — дежурство, у сына — занятия, весь день забит напрочь.

Так и так не вырвались бы.

Когда Татьяна вернулась с дежурства, муж уже был дома. Угрюмо мерил шагами комнату, глядел в пол. Пинать иностранцев не пытался. Да и кресло в углу бесстрашно выпятилось велюром обивки: что, достал?!

Ояма хренов…

— Ну как выступил, Вовка?

— Нормально… устал, вот и все…

Видя, что муж не в духе, Татьяна не стала приставать с расспросами. А на следующий день Вовка ворвался в дом другим человеком: сияющий, с огромным букетом тюльпанов в руках; в сумке — шампанское, конфеты и еще всяко-разно…

В общем, был чудесный вечер при свечах. Вовка выпил чуть больше обычного, непрерывно шутил, рассказывал анекдоты — вот только иногда Татьяне чудилось, что веселье это натужное, вымученное, что муж заливает вином червя, который точит его душу изнутри, не давая просто радоваться жизни, удаче, победе, о которой он так мечтал. Ведь выиграл же, действительно выиграл! И диплом с радужной голограммой внизу принес, и денег, как обещано, — сумма впрямь оказалась весьма и весьма приличной! Правда, Вовка вскользь обмолвился, что после вчерашней встречи следующий соперник отказался от боя с ним — но, в конце концов, какое это имело значение?!

— Сбылась мечта идиота! — еще с порога процитировал он Ильфа с Петровым.

Потом праздник закончился, начались обычные будни. Вовка как-то сразу увял, осунулся, но Татьяна списала это на переутомление — небось победы даром не даются! Она уже начала прикидывать, на что лучше пустить призовые деньги: муж сам вручил ей большую часть суммы, сказав: «Распоряжайся!»

Однажды Вовка вернулся домой крайне нервный, явно не в себе — она даже не решилась спросить его, что случилось, — и первым делом сунулся в гостиную, к своему любимому плееру с кассетами.

И через мгновение раздалось разъяренное рычание:

— Что ж ты, подлец, делаешь?! Ты что стираешь?! Мою

кассету?!

— Сдурел, отец? Какая — твоя? Я фильм пишу…

— Да я тебе, сопляку…

Татьяна влетела в комнату и застала безобразную сцену: красный от гнева, как помидор, Вовка остервенело тряс родного сына за плечи, словно душу из парня хотел вытрясти!

В щели остановленного видика наполовину торчала кассета…

— Вовка! Прекрати сейчас же!

Муж на миг застыл, потом поспешно, даже слегка испуганно отпустил сына.

— Совсем крышей поехал со своими кассетами! — почти выкрикнул Шурик, отходя подальше от отца. — Я на свою кассету писал, на *свою*, на чистую! Всю запись мне испортил…

Вовка молча сунулся к плееру, вытащил кассету, перевел взгляд на пустую коробку, на другую кассету в точно такой же коробке, лежавшую рядом, — и вдруг, ссутулившись больше обычного, поспешно вышел из комнаты.

Когда следующим утром Татьяну разбудило привычное дребезжание будильника, мужа дома не было. И куда он подался в такую рань? Она принялась, как обычно, ставить чайник и намазывать бутерброды. Шурик все никак не просыпался, хотя время поджимало. «Жалко будить, но придется», — вздохнула Татьяна.

Дверь в комнату сына была приоткрыта.

— Шурик! Вставай, пора…

Не отзывается.

Она подошла, слегка потеребила сына за плечо.

— Просыпайся…

Не отзывается.

Она тряхнула сына сильнее, еще раз…

— Шурик!!!

…Дыхание едва ощущалось. Татьяна не была врачом, но даже она поняла — дело плохо.

Бросилась к телефону.

Длинный звонок в дверь.

— «Скорую» вызывали?

— Нет, я только собиралась… Боже, как вы вовремя!

Белые халаты наполнили квартиру.

* * *

Это уже позже Татьяна сообразила, что «Скорую» вызвал

Вовка, поняв, что с сыном неладно. Вызвал перед тем, как уйти.

Уйти насовсем.

Больше он не появлялся.

Третий день — все то время, пока реаниматоры пытались вывести беспамятного Сашу-Саньку-Шурика из комы.

Третий день.

Олег

— …Вот такая… вот такая история.

Татьяна все-таки не удержалась, всхлипнула. Глаза у нее блестели слезами, она сама это прекрасно понимала — и поспешила спрятаться за сигаретным дымом.

— Да, история, мягко говоря… — Если честно, я понятия не имел, о чем тут говорить, хоть мягко, хоть твердо.

И сигареты у меня не было, чтоб получить передышку и собраться с мыслями.

— Я списки у старосты возьму, — деловито заявил Димыч, ухватив чужую рюмку с коньяком и почти сразу торопливо отдернув руку. — Там телефоны есть. Обзвоню народ, может, кто Монаха… Володю видел.

— Да, правильно. Обзвони. Татьяна, скажите: а координат этой… Ольги у вас нет?

— Нет, к сожалению. Они, наверное, были в записной книжке мужа, но книжку он унес с собой.

— А во что он оделся, когда ушел? Впрочем, вы же не видели…

— Не видела. Но я могу с уверенностью предположить…

Татьяна предполагает вслух.

С уверенностью.

— …Да, чуть не забыла! Сумку он забрал. Большую такую, синюю, спортивную, с надписью *«Reebok»*. И кимоно свое унес.

Киваю. Если унес кимоно — значит, рассчитывал тренироваться. А где он способен тренироваться, можно в общих чертах представить. Поспрошаем, пошуршим.

Там видно будет.

— Спасибо вам, — вдруг говорит Татьяна, глядя мне прямо в лицо; я чувствую, что краснею, хотя мне раньше казалось, что разучился это делать. — Спасибо вам большое…

— Не за что.

— Есть. Есть за что.

Она встает и медленно идет ко входу в метро, мимо лотка с грудой слегка подгнивших бананов.

Пьеса «Банановое дерево», шествие таинственной

незнакомки, реплика: *«…ты прав, монах, — я женщина, но все же не посторонний человек. Здесь, в этом месте, живу я, как и ты…»*

— Возьмем по пиву? — спрашивает Димыч.

Нет.

Не возьмем.

Не хочется.

VIII. Нопэрапон. Свеча четвертая

Двадцать пять лет — возраст двух счастливых действий кармы: голоса и внешности. При этих условиях другие скажут: «Ах, какой мастер появился!» Все это оборачивается поистине во вред для самого исполнителя. Ведь и подобное мастерство не является истинным цветком; этот цветок есть следствие расцвета лет и временного сердечного восторга зрителей. И еще: в этом возрасте необходимо погружаться в созерцательные размышления…

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

— К сожалению, я не смогу посетить вашу репетицию. Труды над новой пьесой захватили меня, недостойного старика, полностью, не дозволяя отвлекаться. Однако не спешите предаваться отчаянию: меня с успехом сумеет заменить мой младший сын…

— Благодарю вас, уважаемый Дзэами-сан! Мы будем счастливы, если Мотоеси-сан найдет время…

Прекрасно слыша сквозь тонкую ширму всю эту беседу, Мотоеси тяжело вздохнул.

Подобные слова произносились не в первый (и, наверное, даже не в десятый) раз за последние три с половиной месяца, прошедшие со дня премьеры «Парчового барабана». Юноша успел привыкнуть к своему новому положению: теперь ему частенько доводилось присутствовать на репетициях пьес Будды Лицедеев не вместе с отцом, а вместо отца. И что же?! В итоге за спиной начали втихомолку шептаться: «Мотоеси-сан скромничает! Он наверняка и сам приложил руку к созданию многих пьес и трактатов по искусству Но, просто не хочет говорить об этом при живом отце!»

Спорить с тысячеустой молвой бессмысленно. Молодой актер

понимал: стоит только начать отпираться, доказывать, что пьесы писал отец и только отец, — все вокруг твердо уверятся в обратном! Посему он старался помалкивать, делая вид, что не слышит многозначительных разговоров.

— …и непременно доставим вашего сына обратно!

— Вы чрезвычайно заботливы, друг мой! Мотоеси, ты слышишь меня?..

* * *

Скрипучая повозка вперевалочку катила по пустынным в этот ранний час улицам Сакаи. Утро было хмурым, как похмельный самурай, с трудом пытающийся вспомнить: где он провел ночь? Утро тоже пыталось вспомнить, зачем это ему понадобилось наступать, заполняя мглистым светом сонные, продрогшие рынки и площади. Утро угрюмо взирало на земную слякоть из-за пыльной дерюги низких облаков и не понимало: что оно вообще тут делает?

Конца света дожидается?!

Бычки, запряженные в повозку, лениво топали по булыжнику, и Мотоеси мимоходом подумалось, что пешком он, пожалуй, добрался бы быстрее. В целом мысли его, созвучные замерзшему и замершему утру, были не здесь — и представитель труппы, сопровождавший молодого актера, почтительно молчал, не смея отвлекать сына Будды Лицедеев от его мудрых размышлений.

Уж лучше бы отвлек!

Потому что мысли юноши в данный момент катились по давно наезженной колее самоуничижения, которое, как известно, паче гордыни.

Отец не раз повторял:

— Актер не должен быть рабом своих страстей, рабом настроения. Позорно сидеть и ждать, что вдохновение само придет к тебе, словно дешевая потаскушка! Такой человек, мнящий себя актером, однажды может даже в порыве сыграть роль замечательно — но на этом все его достижения и закончатся, как жизнь мотылька-однодневки. Нет! Подлинный мастер всегда готов выложиться до конца, даже если его разбудят пинками среди ночи и голым вытолкают на сцену; так же истинный самурай всегда готов сражаться — ибо никто не даст воину времени подготовиться и занять удобную позицию. Вот это я и называю настоящим мастерством, настоящим искусством! А пустозвоны, что рассуждают о снизошедшем и вновь покинувшем

их вдохновении, — пусть, пусть тешат себя этими байками… Вдохновение приходит и уходит, а цветок мастерства остается при мастере всегда!

Воистину золотые слова! Особенно в той части, где отец говорил о «мотыльках-однодневках» и «человеке, мнящем себя актером, который однажды в порыве…». Ведь это о нем сказано, о злосчастном Мотоеси! Нет, он не клюнет на позолоченную наживку-обманку внезапной славы! Это дым, мираж. Уж он-то сам хорошо знает себе цену!

Да, тогда, на премьере, на него нашло помрачение — или, если угодно, вдохновение свыше. Да, это состояние удивительным образом совпало с тем, что должен был ощущать старик садовник (а позже — гневный дух старика), которого он играл. Да, совпадение принесло плоды — среди зрителей было немало истинных ценителей театра; опять же никто не знал, что под маской старика скрывается сын великого Дзэами! Не слепы ведь они?! Нет, не слепы. «Парчовый барабан» зазвучал один-единственный раз, совершив невозможное; гул его дошел до столицы и приливной волной откатился обратно — нет, в тот момент игра молодого актера отнюдь не была бездарной!

В последнем Мотоеси уже уверился.

Но поверить в себя окончательно он так и не смог. Конечно, он — тот самый «мотылек-однодневка» из отцовских поучений. Вспыхнул лучиной на ветру — и угас навсегда.

Вот почему Мотоеси наотрез отказался выйти на сцену еще раз. Премьера состоялась, репутация труппы и его отца спасена, гнусный замысел Онъами провалился в ад — чего же боле?! Теперь труппа может спокойно, без спешки, подготовить на главную роль нового актера.

О чем Мотоеси и заявил со всей твердостью, на какую был способен. Причин своего отказа он привел более чем достаточно, так что глава труппы в итоге отступился — но при этом младший сын Дзэами не назвал двух, самых главных и настоящих.

Юноша просто-напросто боялся. Боялся: во второй раз нужное состояние не придет к нему, и он провалит спектакль. Один раз ему просто повезло, да только дважды подряд чудес не бывает!

Но еще больше Мотоеси боялся, что во второй раз все повторится снова. Тогда непрочные узы, с трудом удержавшие его рассудок на месте во время премьеры, лопнут гнилой веревкой — и пенная волна безумия накроет несчастного с головой, погребая под собой без надежды на возвращение.

«Это не мастерство, это вообще не моя заслуга! — раз за разом убеждал себя молодой актер, доведенный до отчаяния и раздираемый на части собственными противоречивыми

мыслями. — Просто стечение обстоятельств. Оно не повторится. А если, не приведи все будды разом, повторится, — я просто сойду с ума. Окончательно и бесповоротно».

Мотоеси не понадобилось особых усилий, чтобы убедить себя в этом.

Однако возглас старого Дзэами: «Цветок его таланта наконец распустился!» — прозвучав на пирушке по случаю премьеры, мигом покинул стены гостеприимного дома господина Сиродзаэмона. Лисой-оборотнем выбежал на волю и пошел себе гулять по Сакаи, а там — и за пределами города. В итоге Мотоеси пришлось пожинать плоды своей эфемерной славы: поучать других актеров, ездить на спектакли вместо отца, высказывать свое «просвещенное мнение»…

Нельзя сказать, чтобы такие перемены были совсем уж неприятны для молодого человека. Но всякий раз, когда он ловил себя на удовольствии от оказываемых ему знаков уважения, — следом немедленно накатывал жгучий стыд! Будто слава эта была не его, краденая, с чужого плеча; будто он обманом играл роль, предназначенную для другого…

Но больше всего приводило Мотоеси в отчаяние другое: резко изменившееся отношение к нему собственного отца. Ведь он же не заслужил, не заслужил!.. И когда отец рано или поздно прозреет… старик ведь не переживет такого удара! А виноват будет в этом именно он, бездарный и тщеславный Мотоеси…

— Мы приехали, Мотоеси-сан! Прошу вас…

2

— …И это платье на плечах моих
О кавалере давних дней напоминает.
Оно не изменилось с той поры,
Когда обет любви нас связывал…

Пьеса, поскрипывая, как доставившая сюда Мотоеси повозка, близилась к завершению. Актер-*ситэ* склонился над колодезным срубом (собственно, пьеса из цикла «о женщинах» так и называлась: *«Идзуцу»* — «Колодезный сруб»). Полились слова финального монолога, насквозь пронизанного паутинками светлой грусти, вот-вот должен был вступить хор… Увы, целиком отдаться возвышенному настроению не получалось. Что-то все время раздражало Мотоеси, назойливой мухой жужжа на самой окраине сознания. Конечно, это всего лишь репетиция — но, в

конце концов, его для того и пригласили, чтобы он сумел помочь в постановке, нашел причину: отчего пьеса до сих пор не заиграла всеми тончайшими оттенками, вложенными в нее отцом?

Финал.

Последний звук флейты медленно гаснет в стылом воздухе.

Выждав положенную паузу, юноша поднялся со своего места. Поплотнее закутался в теплый плащ (зимний холод давал о себе знать) и направился к ожидавшим его актерам.

Он шел — и чувствовал себя самозванцем. Кто он такой, чтоб поучать этих людей, каждый из которых вдесятеро талантливей, чем он сам?!

Впрочем, роль следовало доиграть до конца. Он уже свыкся с этой ролью, равно как и с тем, что всякий раз ее приходится доигрывать, переступая через себя, через осознание собственной бездарности и никчемности…

К счастью, сегодня он заметил некоторые мелочи.

Доблесть карлика — дальше плюнуть… нет, сейчас не время!.. Не время…

Актер-*ваки*, игравший роль странствующего монаха, был хорош. Жаль, всякий раз запаздывал с выходом ровно на один удар барабанчика, внося в действие крохотный диссонанс, — на что актеру и было вежливо указано. Ну, мелкие неточности проходок — не в счет, это легко поправить буквально за день. А вот актер-*ситэ* … нет, он-то как раз делал все правильно, в монологах ни разу не сбился ни с ритма, ни с тональности, движения выверены — всем бы так выверять!

Мотоеси в упор смотрел на актера-*ситэ*, ожидавшего: что скажет сын великого Дзэами? Смотреть дольше было неприлично, но юноша все никак не мог отвести взгляд от лица того, кто мгновением раньше декламировал финальный монолог, склоняясь над колодезным срубом, заглядывая в воображаемую воду…

Холод пробрал юношу до костей.

Сырой, не зимний, даже не холод — скорее осенний озноб, когда стоишь на самом берегу реки или… над колодцем? Или это я — колодец, запертый в темнице сруба; колодец, куда заглядывает кто-то — кто? Незнакомое лицо чуть смазано из-за переливающихся на поверхности воды бликов; ожидание указаний; спокойное, вежливое безразличие; легкая заинтересованность…

Упрек вырвался сам:

— Ты не увидел своего отражения в колодце! Увидишь — сыграешь как надо!

Актер-*ситэ* поклонился так низко, как еще никто и никогда не кланялся Мотоеси.

3

— Заходи, сынок, заходи! Видишь, у нас гость!

Богатый паланкин, украшенный зелеными лентами со знакомым девизом, а также скучающих рядом во дворе вооруженных слуг — все это Мотоеси заприметил еще издалека, поэтому появление в доме господина Уэмуры не было для юноши неожиданностью. Еще в Киото господин Уэмура, *сенагон* Высшего Государственного совета, слыл большим поклонником театра Но и лично Дзэами Дабуцу, нередко захаживая к актерам в гости.

Или приглашая отца и старшего сына к себе.

— Да продлятся ваши годы, господин Уэмура! Благополучно ли доехали?

— Благополучно, благополучно, — усмехнулся в пышные усы Уэмура, оборотившись к вошедшему. — Мы с твоим отцом как раз говорили о «Парчовом барабане». Послушай и ты.

Мотоеси поспешно присел в углу и стал почтительно внимать рассказу сановника.

Слух о премьере новой пьесы великого Дзэами, состоявшейся вопреки злоумышлениям, быстро докатился до столицы, обрастая по дороге новыми подробностями. Воля богов! Гениальная игра молодого Мотоеси, спасшего спектакль! Провал каверзы Онъами-племянничка! Слыхали — актеришке-изменнику теперь в лицо плюнуть и то противно…

Онъами скрежетал зубами; в сердцах выгнал переманенного актера, которому отныне была прямая дорога в нищие, ибо ни в одной труппе ему больше не нашлось бы места. Но злоба завистника была бессильной: болтать и насмешничать людям не запретишь, будь ты хоть трижды любимцем сегуна!

Кстати, о сегуне. Слухи о триумфе Будды Лицедеев докатились и до него. Разумеется, вникать в интриги и перипетии, связанные с премьерой, сегун не стал: просто вызвал к себе своего любимца Онъами и приказал разыграть перед владыкой «Парчовый барабан».

Дабы он, сегун Есинори, мог взглянуть и лично оценить: так ли хороша пьеса, как о ней говорят?

Перечить своему покровителю Онъами не осмелился и, раздобыв свиток с текстом, рьяно принялся за постановку.

Которую и осуществил в небывало короткий срок.

* * *

— …Я тоже был на этом спектакле, — не преминул отметить господин Уэмура. — Должен поздравить вас, Дзэами-сан: вы снова превзошли самого себя! Я получил истинное наслаждение от «Парчового барабана» — даже в исполнении труппы вашего племянника. Да, я понимаю: вы, мягко говоря, не любите его… Но надо отдать ему должное: он и его труппа сыграли пьесу весьма неплохо! Я верю, что ваш младший сын Мотоеси вне сравнений, — да только и Онъами не ударил лицом в грязь! Ведь именно он играл старика садовника, а позже — его неуспокоенный дух. Вот только…

Сановник замялся, расправил складки шелкового одеяния; пальцами похрустел.

Старый Дзэами почтительно ждал.

Ждал и юноша.

— …Понимаете, ваш племянник намеренно выпятил некоторые нюансы, акценты… Я полагаю, они, конечно, присутствовали в вашей пьесе, но вряд ли играли решающую роль! Старик в исполнении Онъами больше негодует, чем страдает, а позже — торжествует, сводя с ума подшутившую над ним даму! А дама слишком сильно раскаивается в содеянном. То есть любовь и страдания как бы отходят на второй план, а сквозь них проступает конфликт дерзкого простолюдина и надменной красавицы из знати, причем простолюдин в конце одерживает верх…

Господин Уэмура недаром слыл знатоком театра.

Он действительно уловил всю тонкость оттенков.

— Да как он посмел так исказить!.. — гневно выдохнул старый мастер Но. — Я говорил о любви, о сводящей с ума страсти, для которой не существует ни возраста, ни происхождения, — а он…

— К сожалению, все произошло именно так. Сегун впал в ярость, после спектакля он потребовал к себе Онъами, но этот хитрец… разумеется, я не присутствовал при их разговоре, но вы же знаете, во дворце всюду уши!.. Так вот, Онъами заявил напрямик: «Я сыграл эту пьесу только лишь по повелению моего господина. Видит небо, я не хотел ее ставить, зная о сомнительности содержания, — но такова была ваша воля, мой повелитель! Я всего лишь зеркало, где отразился дряхлый смутьян Дзэами Дабуцу. Дозволено ли было мне скрыть от моего повелителя истинную суть?! Карайте, вот он я! — честный актер и верный подданный!»

Господин Уэмура вновь замолчал, вороша тонким медным

прутом рдеющие в жаровне угли. Господин сенагон с детства любил это делать сам, не прибегая к помощи слуги.

У каждого — свои причуды.

— В итоге неудовольствие сегуна миновало хитреца и обратилось на вас, уважаемый Дзэами-сан! Но открыто его выразить или подвергнуть опальных новой опале, — усмешка встопорщила усы сановника, — сегун не решился: это значило бы признать правдой все те намеки, которые якобы содержатся в «Парчовом барабане». Поэтому он ничего не стал предпринимать. Но дал понять Онъами: если фаворит сам, от своего имени предпримет некие тайные или явные, пусть даже и не вполне законные, шаги — власти закроют на это глаза.

— Мой племянник хочет, чтобы я официально передал ему свои трактаты по искусству Но и признал его своим преемником. Отняв титулы официальные, он добивается большего — заполучить мою душу, да с поклоном, да на людях!

Дзэами процедил последние слова глухим, сдавленным голосом, не поднимая глаз.

— Совершенно верно! Именно этого он и добивается. И теперь, когда наш повелитель негласно одобрил его возможные действия… Я опасаюсь, что вас могут ждать неприятности, уважаемый Дзэами-сан! Поэтому я счел своим долгом предупредить вас — а заодно и выразить свое восхищение вашей пьесой!

— Какими еще неприятностями сможет досадить мне этот мерзавец, позорящий семью? — Будда Лицедеев нашел в себе силы грустно улыбнуться. — Труппе моего старшего сына запрещено играть в столице, меня отстранили от дел, вынудили уехать сюда… Я не ропщу. Вы же знаете, благородный Уэмура-сан, я принял постриг, мне пристало со спокойствием и смирением принимать все удары судьбы. Что еще сможет мне сделать Онъами такого, чего бы я уже не пережил?

— Мне не хотелось об этом говорить, Дзэами-сан, но раз вы сами спрашиваете… Мне кажется, ваш ревнивый племянник сейчас способен на все. Вы понимаете меня, великий мастер? На все!

— Благодарю вас за предупреждение, господин Уэмура. — Голос старика теперь прозвучал несколько суше, чем обычно. — Может быть, благополучие моих сыновей не стоит этих несчастных свитков?..

Дзэами словно размышлял вслух:

— В конце концов, все это — суета и прах. Вечно лишь небо. Какое дело небу, у кого в итоге окажутся трактаты, кого признают или не признают моим преемником? Может быть, мне и впрямь

согнуть лишний раз спину, отдать свитки Онъами — и тем избавить от вечной угрозы себя и свою семью? Что у старика осталось, кроме пустых свитков, кроме былой славы? Если Онъами получит желаемое, ему уже нечего будет у меня отобрать, и он оставит всех нас в покое. Как думаешь, сынок?

Дзэами резко обернулся к сыну.

Не ожидавший этого Мотоеси взглянул отцу в глаза — и словно провалился в клокочущую бездну, подернувшуюся белесой коркой льда снаружи, но пышущую жаром изнутри. И из этой бездны к юноше медленно всплывал гладкий пузырь маски.

Нопэрапон.

Очертания маски непрестанно менялись, плавились, прорастали острыми углами скул, косым разрезом глаз с сеткой морщин по краям, гневно раскрылся в беззвучном крике черный провал рта; длинные седые волосы развевались, словно под ветром, — и, когда маска заполнила все вокруг, надвинулась, готовая лечь на лицо, прирасти и прорасти внутрь, — Мотоеси вдруг понял: на него надвигается искаженное яростью лицо его собственного отца!

— Не делайте этого, отец! — плохо соображая, где он и что говорит, выкрикнул юноша в порыве праведного гнева. — Это позор — пойти на поводу у злодея! Вы правы, не в трактатах дело, но честь — она так же вечна, как и небо! Онъами обесчестил свое имя, но не имя семьи — так сохраним же его в чистоте!

— Вы слышите, господин Уэмура, что говорит мой сын? — Будда Лицедеев наконец-то улыбнулся по-настоящему и ободряюще кивнул Мотоеси; старик явно был доволен ответом последнего. — Смею ли я теперь колебаться?! У нас впереди еще много жизней, а честь — одна. Пусть мы и не самураи, а всего лишь актеры, — но и у червя есть своя гордость. Онъами ничего от меня не получит!

Великий мастер еще раз улыбнулся и с наслаждением повторил:

— Ничего!

4

Сегодня с утра, к счастью, никто не беспокоил Будду Лицедеев и его сына. Визиты, советы, беды и удачи — все они заспались и не очень-то торопились вылезать из-под теплых одеял. Поэтому, наскоро перекусив рисовыми колобками с начинкой из соленого тунца, Мотоеси поспешил исчезнуть из дому.

Причин тому было несколько.

Первая и самая благовидная: возникла необходимость сходить на рынок, заодно посетив ближайшие лавки, — закупка припасов в Сакаи была постоянной обязанностью юноши.

Во-вторых, юноша не хотел мешать отцу, с утра застывшему, словно истукан, над чистым свитком и тушечницей, — новая пьеса оказалась строптивой.

Ну а в-третьих (для самого Мотоеси это было «во-первых»!), он всерьез опасался появления очередного представителя труппы. Это означало необходимость следовать за гостем на репетицию, смотреть сырой спектакль, выдавливать из себя глубокомысленные замечания…

Нет уж, лучше все сакайские лавки в один присест обежать да застрять там подольше, чтоб уж наверняка не застали дома. А мешать работе отца никто не посмеет!

Утро, не в пример предыдущим, выдалось хоть и морозное, но на удивление солнечное. Выпавший с ночи легкий снежок весело покряхтывал под кожаными сандалиями, надетыми поверх двух пар шерстяных носков грубой вязки, — так толстяк в бане утробно радуется ласке пальцев слепого массажиста. Ранний морозец приятно бодрил, а не пробирал до костей, как было еще вчера. Мотоеси даже слегка взопрел, пробежавшись до рынка в своих теплых штанах и подбитом ватой *хантэне* — стеганой куртке свободного покроя.

Завидев знакомые торговые ряды, юноша сбавил шаг, с шумом выдохнул целое облако пара и отер выступивший на лбу пот.

— От кого убегаем? — участливо осведомились сзади.

Резко обернувшись, молодой актер нос к носу столкнулся с Безумным Облаком. Вот уж воистину: кто приходит не вовремя? — монахи, призраки и сборщики податей!

Рядом с монахом, как обычно, маячил безмолвный Раскидай-Бубен, раз за разом ловко подбрасывая и безошибочно ловя гадальную косточку.

— Доброго вам утра, святой инок! — поспешил поздороваться Мотоеси. — Ни от кого я не убегаю. Вот, на рынок собрался, еды отцу купить…

— Врешь! — хитро сощурился монах, разогнав морщинки по всему лицу, мелкому, словно мордочка у хорька. — Раскидай-Бубен, как ты думаешь: врет?

Слепой гадальщик не замедлил согласиться с мнением приятеля, трижды кивнув.

— Видишь, парень! Раз два таких уважаемых человека, как мы, говорим, что ты врешь, значит, оно правда-истина, и никак иначе!

— Ну, если так… выходит, что вру, — совсем растерялся Мотоеси. — Прошу меня, грубого простолюдина, простить…

— Не прощу! — грозно оскалился Безумное Облако, а гадальщик за его спиной плотоядно усмехнулся, словно собирался немедля приступить к поеданию живьем непрощенного юноши.

— Но почему, святой инок?!

— Потому что ты — дурак! — доверительно сообщил монах, ковыряясь пальцем в носу. — Дурак, что нам поверил! Мало ли, кого за что уважают? Себе надо верить, себе, и никому другому! Понял?.. А-а, ничегошеньки ты не понял, потому как дурак! Вот сейчас меня слушаешь — и опять веришь. Может, потом… когда-нибудь…

И монах, резко развернувшись и мигом утратив интерес к юноше, размашисто зашагал прочь.

— Эх, зеркало, глупое ты зеркало!.. — донеслось до юноши и вовсе уж непонятное бормотание. — Кто ж с тебя пыль-то стер?.. Да еще рукавом, наспех…

Чуть задержавшись перед тем, как последовать за приятелем на звук его шагов, гадальщик еще раз подбросил персиковую косточку с вырезанными на ней тремя знаками судьбы.

Поймал.

Выпало то же, что и все время перед этим.

Неизбежность.

Окунувшись в шумную круговерть рынка, Мотоеси постарался поскорее выбросить из головы взбалмошного святого.

Как ни странно, это удалось ему без труда. Само ушло, едва юноша схватился в торговых баталиях с первым же продавцом, у которого вознамерился купить пару связок сушеного окуня. Мотоеси здесь уже знали как облупленного, и всякий торговец (не столько прибыли ради, сколько из азарта и желания не ударить в грязь лицом) начинал яростно торговаться с юношей — чтобы потом похвастать перед соседом: «У тебя он сколько выторговал? Три мона? А у меня всего два!»

Мотоеси стал среди сакайских торговцев чем-то вроде местной достопримечательности. «Видать, правду говорят, что актер от роду-племени — и беса переторгует!» Нельзя сказать, чтобы подобная слава льстила юноше, но ничего поделать с этим он не мог: на рынке в него действительно словно вселялся бес. Мотоеси начинал яростно спорить и торговаться с любым продавцом из-за каждой мелочи; и всякий раз, покидая рынок, с удивлением думал: «Что это на меня опять нашло? Ведь собирался быстро скупиться и уйти — а в итоге полдня меж

рядами проторчал!»

В такие моменты Мотоеси забывал об отцовских пьесах, о своей бездарности и душевных терзаниях, о спектаклях и репетициях, о жаждущем получить вожделенные трактаты подлеце Онъами — на время становясь другим человеком. Словно мир вокруг него в какой-то неуловимый миг разом сдвигался, и в этом мире больше не было театра, актеров и зрителей — а были только продавцы, покупатели, товары и ожесточенный торг.

«Мы живем в разных мирах, — думал иногда юноша после очередного посещения рынка. — Здесь у людей совсем другие заботы, другие стремления; даже словами они пользуются другими! А при дворе сегуна — третья жизнь, у самураев — четвертая, у моряков или контрабандистов — пятая. А как живут люди за морем, даже подумать боязно! Говорят, они и на людей-то не шибко похожи… Что я на самом деле видел, кроме театра и подмостков, актеров и зрителей, масок и пыльных декораций? Ведь то, что кажется для меня целым миром, то, что не идет из головы, — может быть, на самом деле это всего лишь песчинка на морском берегу?»

Мотоеси чувствовал, что он близок к чему-то важному, может быть, самому важному в жизни. Но сразу внутри него просыпался голос противоречия: «Хорошо, дружище, все твои горести-чаяния — песчинка на берегу! Но что у тебя есть, кроме этой песчинки?! Ты не Будда Шакья-Муни, не Яшмовый Император, ты всего лишь бесталанный актеришка, и у тебя есть только то, что у тебя есть, а другого нет и никогда не будет! Твоя песчинка — для тебя она весь мир, а о другом забудь!»

Голос умолкал, ехидно подхихикивая вдали, а горечь одиночества вместе с осознанием собственной никчемности обрушивались на юношу с новой силой…

5

Возвращался Мотоеси с базара уже в середине дня. Изрядно нагруженный и уставший, провожаемый уважительными взглядами продавцов. Перебросив через плечо две связанные ремнем объемистые сумки, юноша свернул в ближайший переулок.

Переулок Чахлых Орхидей.

Согласно легенде, во времена падения дома Тайра в конце этого переулка жил некий состоятельный горожанин по имени Юеда, который все свое свободное время посвящал выращиванию тигровых орхидей и весьма прославился этим искусством. Впрочем, во всех остальных отношениях горожанин ничем особым

не выделялся — разве что своей уникальной скупостью. Однажды Юеда отказал влюбленному юноше в просьбе: тот просил у скряги одну-единственную орхидею для своей возлюбленной; в итоге отчаявшийся юноша покончил с собой, а Юеда был проклят. С тех пор все орхидеи у него (а заодно и во всем переулке) чахли прямо на глазах, несмотря на все старания горожанина. В конце концов Юеда тоже утопился с горя.

Говорили, что проклятие лежит на переулке и по сей день, но проверить это никому не приходило в голову: орхидеи здесь уже давно никто не выращивал.

Возле дома, где якобы жил вредный цветовод, расположился на рваной подстилке безногий нищий, с головой закутанный в пестрые лохмотья. Одеяние калеки напоминало ворох поясов в лавке старьевщика (возможно, так оно и было).

Нищий молча ждал, пока юноша подойдет поближе.

Возле подстилки на земле стояла деревянная плошка, в чреве которой покоилась горсть медяков.

Этот человек постоянно сидел здесь, и Мотоеси всякий раз, возвращаясь с рынка домой, бросал в его плошку пару монеток. Нищий благодарил юношу с непривычным для братии побирушек достоинством, всегда одними и теми же словами:

— Да будут дни молодого господина счастливыми и долгими! Вы добрый человек.

Это уже стало своего рода ритуалом: две монеты аккуратно ложатся в плошку, и в ответ — спокойная благодарность, произнесенная от души. У Мотоеси на сердце становилось теплее; ему было приятно расставаться с деньгами, слыша в ответ искренние слова, какие редко услышишь даже от людей близких.

Глухо звякают монеты.

Мотоеси невольно улыбается.

Нищий улыбается в ответ; улыбка цветком прорастает сквозь потрескавшуюся землю, сквозь густую сеть морщин, избороздивших лицо старца-калеки.

— Да будут дни молодого господина счастливыми и долгими! Вы добрый человек…

И вдруг совсем другим, звонким и ясным голосом:

— Берегитесь, господин! Сзади!..

Обернуться Мотоеси не успел. Из глаз юноши брызнули искры, и в следующее мгновение оказалось, что он лежит на земле.

Снег таял, обжигая скулу.

Прямо у самого рта, едва не отдавливая губы, чуть притопывала чья-то нога в сандалии желтой кожи, переплетенной витым шнуром.

— Ну что, молодой господинчик, будешь впредь более вежливым? — издевательски осведомились откуда-то сверху.

Мотоеси осмелился поднять взгляд, но сандалии это не понравилось. Носок ее угодил юноше в челюсть, перевернув несчастного на спину. Голова взорвалась умопомрачительной болью, челюсть ощутимо хрустнула, но, кажется, все-таки уцелела.

Стеклистое небо плыло кровавыми паутинками.

Там, в небе, горой Хиэй возвышался сухощавый человек лет тридцати пяти; узкое, хищное лицо поросло на правой щеке диким мясом лишая. Из-под длиннополой шерстяной накидки выглядывала рукоять меча, смешно напоминая собачий… нет, не напоминая.

И не смешно.

Человек не был самураем, о чем ясно говорил меч (один, короткий…), но надменности и презрения ему было не занимать-стать.

— Ты решил оскорбить меня? — Бесцветные губы скривились в улыбке-гримасе, источая холод. — Поклонился нищему калеке, сделав вид, что не заметил почтенного господина?! Это заслуживает тысячи смертей! Эй, Рикю, Таро — проучите-ка мерзавца!

Небо грязно выругалось, и на юношу, который только-только сумел встать по-собачьи, обрушился целый град пинков и ударов.

— За что?! — Крик превратился в хрип, а руки инстинктивно пытались защитить хотя бы лицо.

— Ты смотри! Оказывается, мы не желаем принимать кару за грехи с должным смирением! — Человек с лишаем забавлялся происходящим, не скрывая удовольствия. — Да бросьте вы торбы шерстить, успеете! — прикрикнул он на своих подручных. — Займитесь-ка лучше этим молокососом как следует!

«Разбойники! — пронзила юношу страшная догадка, заставив позабыть о боли, терзающей тело. — Живым не отпустят… чтоб донести не смог!»

Рикю и Таро — кряжистые детины, похожие на портовых грузчиков, но одетые побогаче — на миг оставили вожделенную добычу в покое, извлекая из-под одежды припрятанное оружие.

Короткую, окованную железом дубинку с шипами и нож-тесак.

Спектакль жизни близился к финалу.

В отчаянии юноша привстал, огляделся по сторонам — однако поблизости никого не было, кроме безногого нищего, отчаянно ругавшегося самыми черными словами. Увы, нищеброд ничем не мог помочь или помешать, и разбойники, прекрасно

понимая это, попросту пропускали мимо ушей брань калеки.

Случайно их взгляды встретились: затравленный — юноши, и горящий гневом — старика нищего. Воздух между двумя парами глаз поплыл, словно над костром, юноша моргнул и увидел: маска.

Маска *нопэрапон* плавится, течет полузнакомыми чертами.

Ближе.

Еще ближе.

Прилипла, проросла.

…Тряслась земля от грохота тысяч копыт, сталь звенела о сталь, крики ярости и хрипы умирающих вплетались в безумную симфонию битвы, и падали одно за другим знамена южан из дома Кусуноки, но это было там, на холмах, а здесь были только кровь и сталь, сталь и кровь, и Смерть пела свою победную песню, и багровый туман боевого безумия рвался наружу из горящих глаз, из раскрытого в крике рта, плескал с окровавленного острия дедовского меча, щедро даруя гибель направо и налево…

Тело откликнулось само: волчком крутнувшись по земле, уходя от нацеленной в голову шипастой смерти, подсекая щиколотки убийцы.

— Вот это — другой разговор! Так куда интереснее, молодой ты мой господинчик! Посмотрим, как ты сыграешь свою последнюю роль!.. Сейчас будет совсем интересно…

Человек с лишаем вновь оказался рядом. Меч он доставать не стал: много чести для молокососа-актеришки! Костлявые пальцы мертвой хваткой, клешней бешеного краба вцепились в глотку, грозя сломать кадык, силой и болью подымая юношу на ноги.

Сейчас.

Сейчас…

Кажется, в последний момент он все же понял свой промах, этот гордый князь ночных трущоб, — но знамена южан еще падали в грязь, и Смерть плясала в душе Мотоеси. Присвистнул радостно короткий меч, меняя владельца, мертвая отныне кисть так и осталась висеть на горле юноши, забыв разжать пальцы; обратный взмах — и под ухом у человека с лишаем нехотя распахнулась багровая щель.

Сейчас… о, сейчас!..

Кровь хлещет Мотоеси в лицо, кровь ударяет в голову, и юноша уже сам не понимает: что за багровая пелена застилает взгляд? снаружи она или изнутри? Страшная, животная ярость выплескивается наружу нутряным ревом, и молодое сильное тело актера вдруг начинает жить своей жизнью, жизнью, имя которой

— Смерть!

Идзаса-сэнсей был бы доволен, увидь он сейчас своего ученика.

Обладатель шипастой дубинки успел замахнуться всего разок, чтобы ткнуться носом в землю, вываливая наружу небогатое содержимое черепа.

Второй грабитель, закрываясь тесаком, попятился, споткнулся о труп предводителя — и, не удержавшись на ногах, упал прямо в объятия безногого калеки.

На миг лицо нищего отразило дикую радость — столь похожую на ярость, пылающую в глазах юноши, что их можно было спутать. Руки калеки сплелись, расплелись, коротко хрустнули позвонки; и вот уже нищий отпускает безжизненное тело, давая ему сползти наземь.

— Прости, молодой господин, что не дал тебе самому отправить в преисподнюю этого мерзавца… — Старик попытался согнуть спину в поклоне, но все равно было видно: между морщинами бродит кругами, то показываясь на миг, то вновь прячась, хитрая улыбка. — Жаль, четвертый убежал. Он в конце переулка стоял, на страже. Тоже из этих…

Но Мотоеси не слушал.

Не смотрел.

Глубоко внутри медленно таяла, растворялась в безликости маска гневного воина, бедного, но гордого самурая — чьи сюзерены постыдно проиграли битву при Ити-но и которому пришлось переступить через свою гордость: отказавшись вспороть живот, он, безногий калека, остался жить, зарабатывая подаянием на жизнь своей молодой жене и ребенку.

Тридцать лет назад… да, господа мои, время-времечко!..

Схватив за ремень сумки, юноша бегом припустил в сторону дома.

6

А тем временем старый нищий, деловито обыскав убитых и в итоге значительно обогатившись, поспешно катил прочь на своей тележке, отталкиваясь от земли двумя деревяшками с отполированными до блеска рукоятками…

IX. По образу и подобию. Дмитрий

На экзотические издания нам везет.

Нет, сейчас-то мы издаемся и в банальной Москве-столице, моей Москве (или уже «не моей»?!), и в родном полустольном граде Харькове, и в Каунасе, на неудобопонятном литовском — но первую-то авторскую книгу, крылатую ласточку нашей весны, выпустили… в Барнауле! Вернее, отпечатали в барнаульской типографии, а договор мы подписывали с новосибирцами. Директор издательства оказался обаятельнейшим человеком, книгу издал в рекордно короткий срок (никто из коллег не верил!) — через три недели после того, как получил дискету с текстом! И с гонораром задержек не было. Мы витали в облаках, лобызаясь с ангельскими чинами, — книга, первая, горяченькая!

Но вот авторские экземпляры получать…

Экземпляры нам переслали с поездом. Приди на вокзал да забери у проводника, делов-то! Если не учитывать печальное обстоятельство: через Новосибирск к нам ходит один-единственный владивостокский пассажирский. И прибывает он в Харьков без двадцати час. Ночи, разумеется.

Когда не опаздывает, а опаздывает он всегда.

Помню, расторопные новосибирцы-барнаульцы вскоре за первой вторую книгу выпустили, а там и третью… И на экземплярчики не скупились, по два-три раза присылали, с барского плеча. В общем, мотаться на вокзал по ночам у нас с Олегом стало чуть ли не привычкой.

На этот раз сибиряки порадовали нас публикацией в альманахе: статья местного критика, из всех русских слов предпочитающего два — «постмодернизм» и еще почему-то «тусовка», — далее следовало интервью с нами, любимыми, вверху красовалось цветное фото (на нем мы, любимые, с женами и приятелем-коллегой сидим в одесском кафе, окаменев улыбками); и тут же — наша повесть, если верить анонсу, «написанная специально для этого издания». (Всем этим мы уже успели полюбоваться «виртуально» — спасибо Интернету!) Заодно к альманаху прилагались два старых рассказа, с горем пополам переизданных в сборнике фантастики «За хребтом Урала». (Теперь собратья по перу как пить дать «захребетниками» дразниться станут!) В результате пришлось вспоминать времена двухлетней давности (давненько мы владивостокский поезд не встречали!) — и снова на ночь глядя тащиться на вокзал. Ничего, завтра устроим себе выходной, отоспимся…

Без четверти двенадцать Олег спустился ко мне, а ровно в

полночь (это ж надо, минута в минуту!) на улице просигналило заказанное заранее такси.

Помело подано, айда на Лысую гору!

Вот что мне всегда нравилось в получении книг из страны Сибири — так это поездка по ночному городу. Особенно в такое славное время года, в конце весны. Машин нет, прохожих нет, тишина — только наши шины шуршат по асфальту, а за окнами, вместо дневной гари и копоти, благоухают цветущие каштаны. Лучи фар — объемные, почти материальные — небрежно ощупывают дорогу и сразу скользят дальше, вперед, вперед! Теплой желтизной наливаются, вспыхивают и, мелькнув, гаснут позади старые фонари (не эти, новомодные, дневного света — им бы только глаза резать!). Ветер посвистывает в открытом окне, прохладно и упруго касаясь щеки невидимыми пальцами…

А вот уже и не посвистывает.

Не касается.

Исчез куда-то.

— Димыч, очнись, приехали!

— Что, уже?

— Уже.

Действительно. Вот она, привокзальная площадь. Декабристами на Сенатской, плотным каре выстроились ряды машин, водители в ожидании клиентов попыхивают красными угольками сигарет, неторопливо болтают о чем-то своем, сугубо шоферско-таксистском. На больших электронных часах, укрепленных на фронтоне здания вокзала, горит «12.14».

— Вас обождать?

— Не надо.

Конечно, не надо. До прибытия поезда — полчаса без малого, если не опоздает, а он опоздает всенепременно…

— Ты гляди — Ленчик!

Гляжу, как и просили. Действительно, подсвеченную фонарями привокзальную площадь деловито пересекает знакомая фигура, белея свежим гипсом на левой руке. Воистину Харьков — большая деревня: приехать в первом часу ночи на вокзал — чтобы наткнуться на старого приятеля!

Называется: «Где бы еще встретились?!»

— Привет, Лень!

— О, здорово! Какими судьбами?

Ленчик тоже не слишком удивлен — как и мы, он давно привык к подобным встречам.

— Да вот, передачку с поездом встречаем… А ты?

— А я с дежурства возвращаюсь.

Я вспоминаю, что фирма, где служба Ленчика «и опасна, и

трудна», расположена неподалеку, на Конторской; да и живет он в двух кварталах отсюда.

— Поезд-то во сколько?

— В ноль-сорок.

— Так давайте я с вами прогуляюсь. Спать все равно не хочется…

Радостно киваю.

Гуртом и батьку бить легче, не то что время коротать.

Перрон встретил нас гулкой пустотой, одинокими фигурами коллег по несчастью, полуночников-встречающих; и еще — закрытым наглухо буфетным киоском, который, судя по надписи, брал перед народом обязательство работать круглосуточно.

Буфет нам был не нужен, но — дело принципа.

Олег с Ленчиком отошли чуть в сторону и принялись обсуждать какие-то изменения программы в группе инструкторов-стажеров, а я достал сигареты и закурил. Дела сэнсейские — не про меня. Ленчик же не влазит с советами, когда мы при нем свои сюжеты обсуждаем! Ленчик умный, и я умный, и Олег тоже ничего, а вокруг… нет, не так. Ошибочка вышла. Ленчик дурак, и я дурак, и Олег дурак круглый-нешлифованный, а вокруг сплошные умницы-разумницы табунами бегают. Во всем разбираются, куда пальцем ни ткни! — в медицине они патологоанатомы, в литературе гоголи-моголи, в политике канцлеры-премьеры… Про «кулачный бой» я даже не говорю, здесь каждый — Ван Дамм. И вам, значит, дам, и нам дам, и по мордам, и по-всякому. Влезешь, бывало, в сеть (причем в литературные конференции, не в спортивные!) — и взгляд сам спотыкается о свежую мудрость поколений типа:

«Для противостояния вооруженному противнику вполне достаточно пяти-шести лет занятий любым из боевых стилей либо трех-четырех лет в одной из энергетических школ; так что любой, дошедший до уровня **«Advanced»** *…»*

Очень хочется взять себя в руки. А еще взять в руки… нет, не топор. Я все-таки не убийца виртуальных трепачей, да и лавры Раскольникова меня не прельщают. Возьмем, для вящего примера, ручку от швабры. Толстую такую ручку, лучше дубовую. И попытаемся сим весомым аргументом доходчиво объяснить автору мудрых строк: великий и могучий уровень *«Advanced»* — это в компьютерных играх, где всегда можно перезагрузиться после неудачного противосидения или противолежания; да еще в тусовке для лысых орлов, птиц не столь редких, как утверждает Красная книга.

О боги мои, яду мне, яду!

Дусту мне, дусту!..

Пять-шесть лет… срок, реально годный лишь для противостояния совершенно конкретному противнику, вооруженному самомнением и гордыней. Самому себе. Сумеешь победить, сумеешь понять, как мало ты знаешь-умеешь и как это здорово, потому что впереди непочатый край работы… *«так что любой, дошедший до уровня* **«Advanced»** *…»*

«У-у-у, повбывав бы!» — как в старом анекдоте.

— …Поезд номер пятьдесят четыре Владивосток — Харьков по прибытии опаздывает. Время прибытия будет сообщено дополнительно. Повторяю…

Ну вот, накаркал!

Я щелчком отправляю окурок «Данхила» на рельсы.

— Пошли внутрь, на второй этаж. Там это… которое «У Галины». Наверняка открыто.

Эх, если б знать, сколько нам тут торчать придется?..

Народу «У Галины» было раз-два и обчелся. Но, по крайней мере, здесь светло и уютно. Кофе, сваренный в керамической джезве, оказался на удивление неплохим — крепкий, горячий и в меру сладкий. Ленчик вместо кофе взял яблочного соку и теперь неодобрительно наблюдал, как мы с Олегом гробим свое здоровье «черным ядом». Ленчик у нас человек широкой души, он не только к своему здоровью относится бережно. Наблюдать безответственность других он тоже не любит.

Но обычно молчит.

Красноречиво так молчит, деликатно.

— Ишь, расселись, будто у мамки на пирогах… Кофий хлещут, а прибраться и не дадут!.. Совсем бабку замордовали…

Да слышим мы, слышим!

Вот она, «Родина-мать зовет!» — решительная бабулька в синем халате уборщицы и со шваброй наперевес. Вот кого бы на сетевых «знатоков» напустить — чтоб она их шваброй, шваброй, как тараканов!

Увы, пока что приходится ретироваться нам. Однако вскоре бабулька с бормотанием «Ходют тут, ходют, топчут, насерут да пойдут, а ты мети…» добирается и до резервных позиций командования. Посмеиваясь, мы возвращаемся обратно.

Прямо в объятия (к счастью, фигуральные) дядьки-бомжа — деловито оглядевшись по сторонам в поисках пустых бутылок и не обнаружив таковых, дядька хромает в нашу сторону.

— Мужики, трубы горят! Дайте на пиво — сколько не жалко! Другой бы врал, что на хлеб, — а я честно говорю!..

Честная наглость бомжа вознаграждается горстью мелочи.

Деловитая благодарность, пересчет пятаков и гривенников — и дядька радостно спешит к стойке, разом забыв про хромоту.

Пускай его поправляется.

Здоровье дороже.

— Олежа, глянь…

Вроде бы расслабленная поза Ленчика, облокотившегося о край столика, ничуть не изменилась. И голос прежний: тихий, спокойный… Слишком спокойный. И поза — слишком расслабленная, чтобы быть таковой на самом деле. Даже если не знать, когда Ленчик называет моего соавтора не «Семенычем», а «Олежей»…

Олег поправляет сползшие очки, затем слегка поворачивает голову, отслеживая взгляд Ленчика. Мне для этого надо обернуться — что я и делаю, имитируя поиск некоего предмета в сумке на полу.

Вон, в углу зала ожидания.

Четверо.

Двое держат третьего под локти, а четвертый бьет: коротко, без замаха. Грамотно бьет, без суеты, и при этом весьма удачно закрывает избиваемого собственным телом. Если не приглядываться, вплотную пройдешь — не заметишь! Если не приглядываться… да, парня бьют всерьез. И крикнуть он не может — удары под ложечку раз за разом вышибают у него дыхание. Вон, коленки тряпками болтаются, только на мучителях и висит…

Разборка? Странно: ни бритых затылков, ни кожаных курток, и с виду не качки вроде…

Но парню от этого не легче.

А наша милиция нас бережет, как обычно, где-то в другом месте.

Нет, это, конечно, не наемные убийцы и не сакайский переулок XV века, но…

— Олежа… подойдем, а? Забьют ведь…

Пауза.

Старая, знакомая пауза.

— Подойдем.

Олег с Ленчиком как-то незаметно и едва ли не синхронно перепрыгивают через низенькое ограждение, отделяющее оазис «У Галины» от зала ожидания. Я чуть задерживаюсь, залпом допив свой кофе, — и спешу следом. Мое дело: держаться сзади и не путаться под ногами. А заодно — прикрывать им спины и без особой нужды не лезть «поперед батьки в пекло».

Что я и намерен делать. В подобных ситуациях излишний героизм хуже керосину. Да и не герой я… герой ведь должен быть один, а я вон в какой компании…

— Мужики, завязывайте! Поиграились, и будет!..

«Мужики» оборачиваются, и я не вижу в их глазах никакой радости по поводу нашего появления.

Тот, что бил, молча сует руку под грубо вязанную кофту. Что у него там? Нож? Кастет? Нунчаки? Ствол — вряд ли, но если есть хоть малейший шанс… Рука под кофтой шевелится, сжимается в кулак, взгляд голубых слегка навыкате глаз шарит по нам… останавливается.

Между Олегом и Ленчиком.

Ровно посередине.

Рука под кофтой застыла, заледенела; не движется.

Понятливый оказался.

Слишком понятливый для простого вокзального битка.

Вся троица разом расцветает одинаковыми, от уха до уха, улыбками. Даже избиваемый затих. Мир да любовь, и никаких конфликтов. Я молча радуюсь слиянию сердец, да еще тому, что мои друзья стоят ко мне спиной. В такие моменты в глаза им смотреть страшно. Даже своим.

— Мужики, все нормально, — приветливо доносится сзади, от ограждения. — Расслабьтесь. У ребят свои дела, никто не в претензии…

— Н-не… н-не в пр-етен… — булькает избиваемый, подтверждая.

Уже поворачиваясь к незваному (но очень удачно подвернувшемуся) миротворцу, я краем глаза успеваю заметить: рука битка очень медленно и аккуратно выползает из-под кофты.

Без оружия.

«Ребята, давайте жить дружно!» — во всеуслышанье провозглашает эта рука.

Пьеса «Тамура», перл цикла «о мужчинах», общий танец-пантомима, реплика хора: *«Звон тетивы, и смертоносный ливень на рати падает. Пощады нет. И вот — разбиты демоны…»*

Занавес.

Олег

…мне было стыдно.

И еще — страшно.

Давно, давно я не был так близок к срыву. Стареешь, брат… да какое, к черту, «стареешь»?! Накопилось за последние дни дряни под завязку, скоро горлом пойдет, и хорошо, если рядом никого не окажется.

«Ведь я их чуть не зарубил, вдруг понял он. Если бы они не убрались, я бы их зарубил. Сейчас бы они валялись вот здесь, как

свиные туши, а я бы стоял с мечом в руке и не знал, что делать…»

Чужие слова, Левиафаном всплыв из темных глубин памяти, подействовали как нашатырь.

Я протрезвел.

Я перестал бояться — себя, а не за себя.

И даже нашел в себе силы улыбнуться.

Наверное, улыбка получилась малость недоношенной, потому что заплечных дел мастера мигом испарились, заботливо поддерживая экс-пытуемого.

— Никаких проблем? — лениво осведомились из-за спины, от ограждения.

Теперь можно и обернуться.

— Никаких проблем. Все в порядке.

Долговязый детина моих лет почесал фирменную запятую на груди спортивного костюма *«Nike»*. Почесал со вкусом, с довольным кряхтеньем, как если бы запятая зудела уже по меньшей мере неделю. Потом он шмыгнул сломанным носом, обеими руками взлохматил соломенную шевелюру и уставился на меня в упор.

Ленчик с Димычем, похоже, его интересовали мало.

— Лось, это ты? — сверкнула белозубая ухмылка, хоть сразу на рекламу пасты *«Blend-a-med»*, под лозунг: «Все на борьбу с кариесом!» — Нет, это правда ты?!

— Это я, — ответил я.

Ничуть не покривив душой.

Кличку «Лось» я заработал в самом начале средней, весьма средней школы номер семнадцать. Одноклассники не нашли ничего лучшего, как сотворить аббревиатуру из моих фамилии-имени-отчества, прицепив благозвучия ради мягкий знак в конце. В принципе, я не возражал: клички бывают и похуже, а выстрой они первые буквы имени-отчества-фамилии, да при должной изобретательности…

Мог бы и «Осел» получиться.

Нет, я не возражал.

Это уж много после, когда я приобрел дурную привычку пинаться ногами, «Лось» обзавелся подтекстом… ладно, оставим.

Неинтересно.

Интересно другое: лет десять тому назад на родной харьковской земле устроили первый на Украине (тогда еще республике Советов) международный турнир по «фулл-контакт карате». Со всеми вытекающими и втекающими, во Дворце спорта. Каюсь, я поддался на уговоры устроителей и согласился войти в судейскую коллегию. Молод был, наивен. Витал в

эмпиреях, аки темна вода во облацех. Думал вправить миру сустав, и непременно без наркоза. Это уже много позже — не столько годами позже, сколько нервами, — после гнусненькой истории с «купленными боями», в результате чего хороший парень принялся обживать инвалидную коляску, а мне в кулуарах предложили вместо сдачи экзамена на третий дан сдать энную сумму «зелененьких» и без хлопот обрести сразу пятый…

Все это только ждало меня впереди; будущее — чтобы стать прошлым.

А пока — турнир.

За час до начала я, скучая, бродил в одиночестве возле раздевалок, когда меня едва не сшиб с ног рослый, голый по пояс парень с выцветшей наколкой «ВДВ» на плече.

Куртку от кимоно парень держал в руке.

— Осторожнее, — буркнул я, отступая к стене.

— Ну, блин… — Парень вдруг замолчал, предоставив мне догадываться о тайном смысле его заявления: прощения просить собрался? в рожу мне двинуть? сигарету стрельнуть?

Я стоял дурак дураком, и он стоял, разглядывая меня с ног до головы, будто диво невиданное. Нет, я понимаю: пиджак из черной кожи, бабочка, белая рубашка… я бы и сам предпочел что-нибудь попроще, но свыше было велено давить форс.

Вот я и давил.

— Лось, это ты? — спросил парень, набрасывая куртку на бугристые плечи. — Нет, это правда ты?! Какими судьбами?..

— Да так, — неопределенно помахал рукой я. — Зашел вот… А ты чего, Калмык, выступаешь?

— Полутяж я, — махровой астрой расцвел Калмык, он же — Мишка Калмыченко, в прошлом — гроза района, ходячий инфаркт директоров школ и большой любитель учить жизни языкатых очкариков (одного такого очкарика я знал близко, можно сказать, как самого себя). — От федерации кик-боксинга, все чин чинарем. Ты, Лосяра, на трибунах погромче-то кричи, когда я чурку косоглазого лупить стану. Знаешь, так: «Кал-мык! Кал-мык!» Когда кричат, я аж дурею…

Еще через час Калмык проиграл чурке косоглазому вчистую. Нокаутом. По-моему, из-за меня. Когда он случайно, поперек боя, заприметил мою вредную физиономию не на трибунах, а, напротив, за судейским столиком (я как раз вместо приветственных кличей проставлял Калмыку в карточке второй выход за пределы татами)…

Короче, этой потрясенной паузы чурке, Руслану Халилову, крепкому бойцу из Махачкалы, вполне хватило.

С лихвой.

С тех пор я Калмыка не видел.

— Я угощаю. — Калмык без приглашения уселся за наш столик и оттуда кивнул нам: давайте, мол, в ногах правды нет!

Тут он был прав.

— Коньячку тяпнем? А, пацаны? По маленькой, за знакомство…

— Пальной небось? — деловито осведомился Димыч происхождением обещанного коньячка, оставив «пацанов» на совести нового знакомого. — На вокзале, ночью…

Калмык беззлобно расхохотался, откинувшись на спинку пластмассового креслица и вытянув свои длиннющие ноги на полкафешки.

Вопрос Димыча он явно воспринял как остроумную шутку.

— Настена! Давай сюда!

Откуда-то (из-под кафельного пола, что ли?!) образовалась пикантная душа-девица; увы, не первой свежести, но еще вполне годная к несению патрульно-постовой службы. Кожа мини-юбки, как родная, только что не лопалась на сочной заднице, изобилие ляжек наводило на мысли о ярославских мясо-молочных рекордистках, зато бюст подгулял — два прыща под гипюровой блузкой.

Безгрудый символ чумы XX века.

Мечта извращенца.

Губки-бантики, обильно сдобренные жирным перламутром, сложились в вопросительное «О».

— Слышь, Настена, дуй к Галине Ивановне. Пусть «Араратику» пришлет. Скажешь, для моих друзей. Одна нога здесь…

Миг — и здесь не осталось ни одной ноги, обтянутой ажуром колготок.

Настена на посылках явно отличалась завидным проворством.

— Вовремя я. — Калмык облизал узкие, потрескавшиеся губы и извлек из кармана пачку *«Sovereign»*. — Работа у нас такая, забота наша простая… Лось, ты б меня пацанам представил, что ли?

Я решил не выкобениваться и представить гостеприимного Калмыка пацанам.

— Ленчик, Дима, это мой одноклассник, Михаил Калмыченко. Здешний, как я понимаю… э-э-э…

— Бригадир. — Сигарета в зубах Калмыка пыхнула сиреневым дымом. — Здешний бригадир. Так мне больше нравится.

— Ты от этого аж дуреешь, — не удержался я.

— Можно сказать и так.

Мы и раньше, в золотые школьные годы, не были с Калмыком друзьями. Впрочем, сейчас, наполовину разменяв четвертый десяток, я отчетливо понимаю: врагами мы тоже не были. Мы были опекуном и опекаемым, в той извращенной форме, какая частенько процветала среди мальчишек. Не упуская случая отпустить мне «лычку» или публично насовать под бока в случае бунта (а бунтовал я всегда, отчаянно и малопродуктивно!), Калмык платил мне за это небрежным, мимолетным покровительством. Помню: когда на старом кладбище, ныне молодежном парке, прозванном в народе «Могильником», пятеро сявок с Журавлевки отобрали у меня мятую трешку и авторучку с голой бабой внутри, оставив в грязи с разбитыми очками… именно Калмык через два дня во главе своих дружков подстерег залетных на нейтральной территории, у Дома учителя, перед сеансом «Великолепной семерки», — и грянул бой, последний и решительный.

Я был отомщен.

А Калмыку тогда чуть не выбили глаз обрезком трубы…

Сейчас, с седыми висками, об этом вспоминать смешно и глупо, но отчего, отчего мне кажется, что не так уж смешно?.. И не так уж глупо.

Новый, сегодняшний Калмык мне нравился куда меньше того лихого шпаненка из детства и даже того горе-десантника на турнире. Совсем он мне не нравился, потому что удивлял. Он изменился. Он сильно изменился за эти годы; люди, подобные ему, редко меняются так. Слишком много наносного, плохого актерства, сознательного, подчеркнутого шутовства — все эти «пацаны», коньяки и пальцы веером. Было видно и без очков: вокзальный бригадир вполне в состоянии говорить нормальным языком (что раньше давалось ему с трудом), и даже более того — он наслаждается, прикидываясь тем, кем должен быть: мелким «бугром» в клевом прикиде и со связями.

Он играл, и я не мог понять смысла этой игры.

Если, конечно, игра имела смысл.

— Можно сказать и так, друг Лосик… Ты еще стань в позу и расскажи, что ты из-за меня скрипку бросил, боксом занялся! Я ведь про тебя еще тогда справки навел… Нет, я тебе все-таки сочувствую! Скучно, должно быть: сперва хотеть дать в морду и не мочь, чтобы после мочь, так мочь, что мордам впору очередь занимать! — и не хотеть…

Калмык расхохотался, плюясь клубами дыма. Я смотрел на него и терялся в догадках. Какая скрипка? Какой бокс?! Что он городит?!

Сроду я скрипок не пилил.

— Фильм был такой, — вдруг бросил Ленчик, ни на кого не глядя и примостив руку в гипсе на краю стола. — «Остров», кажется… или не «Остров». Там Шакуров в роли местного пахана. Рассказывает, как его после первой отсидки подстерег какой-то парень и отметелил до полусмерти. А потом сказал на прощанье: «Сука ты! Я из-за тебя скрипку бросил, боксом занялся…» Парень в детстве на скрипача учился, а с Шакуровым они в одной школе…

Калмык с интересом посмотрел на Ленчика.

— Понравился фильм? — спросил он.

— Нет, — коротко ответил Ленчик.

Динамик в углу зала ожил, прокашлялся.

— Поезд номер пятьдесят четыре Владивосток — Харьков прибывает на шестую платформу. Повторяю: поезд номер пятьдесят четыре…

Голос в динамике был бесполый, вселенски равнодушный к любым выходкам мироздания: исчезни шестая платформа напрочь или случись Армагеддон, так и будет вещать, не запнувшись ни на секунду:

— …прибывает… поезд номер…

— Извини, Калмык, — развел я руками. — Нам пора. За коньяк спасибо, но, видать, не судьба.

— Уезжаете? На край света? А что ж без багажа?

— Не уезжаем. Встречаем.

— Нужного человечка?

— Посылку. — Я начал слегка тяготиться Калмыковым любопытством. Странно: совершенно сгладилось, что десятью минутами раньше мы с Ленчиком едва не оторвались на мальчиках нашего ласкового бригадира. А ведь достань тот парень нож (именно нож — так, как он, слегка согнувшись, лезут именно за лезвием, ствол тянут иначе), и случилась бы заварушка. Не один я — у Ленчика, похоже, тоже нервы играют… Дуришь, сэнсей? Какой я тебе сэнсей, альтер эго ты мое беспокойное?! Я тебе…

Ох, я тебе, дай только срок!..

Калмык щелкнул пальцами, и рядом с нашим столиком сама собой образовалась куча народу. Сияющая, будто наваксенный сапог, Настена; рядом заспанная официантка с подносом, где специально для Ноев-праведников с их битком набитыми ковчегами, меж блюдечками с лимоном, маслинами и тонко нарезанной ветчиной, возвышался белоглавый «Арарат»… нет, прям-таки «Араратище», десятилетний, не меньше!.. Возле официантки переминался с ноги на ногу давешний бомж, вяло

досасывая из горла бутылку «Слобожанского».

— Петрович. — Жестом Калмык отослал Настену прочь, а официантка, занявшаяся сервировкой нашего столика, его не заинтересовала вовсе. — Ты, Петрович, вали на шестую, встреть владивостокский. Лось, какой вагон?

— Тринадцатый, — машинально ответил я.

— Значит, тринадцатый. Заберешь у проводника посылку. Да, что в посылке? Товар? Бабки? Секрет?

— Журналы, — вместо меня откликнулся Димыч.

Мой рыжий друг сидел напряженно, не смягчаясь даже прелестным пейзажем, раскинувшимся перед нами. И правильно, это он молодец… только так подчеркнуто не стоило бы.

Словно услышав мои мысли, Димыч расслабился, немузыкально мурлыкнул и кинул в рот ломтик лимона.

У меня аж слюна потекла, как у собачки Павлова.

— Понял, Петрович? Журналы. Заберешь журналы и тащи их сюда. Откроем избу-читальню.

— Ты ему доверяешь? — вполголоса осведомился я у Калмыка.

Еще только не хватало, чтобы наши гостинцы накрылись медным тазиком с легкой руки бомжа Петровича!

— Я тебе доверяю, Петрович? — в свою очередь спросил Калмык у дядьки.

Петрович подавился пивом, заперхал, булькая сизой пеной, затрясся мелким бесом, забыв ответить.

Это меня убедило.

И возражать, когда бомж растворился в сумраке вокзальных лабиринтов, я не стал.

Лопнул целлофан вместе с акцизной маркой. Пробка покинула горлышко «Арарата» — настоящая, корковая пробка с белой «фуражкой», похожая на бледную поганку, — и огнедышащая лава плеснула в толстостенные, приземистые рюмки.

— Поехали?

Коньяк и впрямь оказался хорош. Не греческий цветочный, не крымский, «питьевой без изысков»; не молдавский, слишком светлый для правильного коньяка, а другого к нам не возят… Настоящий ереванский, чьи собратья по бочкам не так давно объявились на полках наших магазинов — правильные, без обмана, но и стоят соответственно. Удивить меня сложно, разное пивал-с — но хорош, зар-раза!

Особенно «У Галины», за полночь.

— Вторую ночь веселюсь, — посасывая маслинку, невнятно сообщил Калмык: то ли жаловался, то ли просто факт

констатировал. — Сегодня ребят от вас, красавцев, уберег; вчера, в это же время, Торчка откачивал… а в гороскопе, п-падлы, писали: благоприятные дни!.. Ты понимаешь, Лось…

Ничего я не понимал.

Ничего.

Бригадир

Веселуха случилась без него. Сам Калмык в это время был на первом этаже, у обменки: отстегивал долю капитану Пидоренко, толстому мусору, которого за глаза называли почти по фамилии. Впрочем, грех судьбу гневить: жили с капитаном, что называется, душа в душу.

Кто из кого ее раньше, родимую, вынет.

Поднявшись по лестнице обратно, Калмык и узнал о случившемся.

Оказывается, в отсутствие клиентов Настена ощутила себя Карлсоном и решила, что настала пора немножко пошалить. Подсела к прилично одетому мужичку, явно коротающему время в ожидании поезда — была, значит, при мужичке большая спортивная сумка, — и стала предлагаться задаром. Шефская, стало быть, помощь в особо извращенной форме. Мужичок ерзал, на вопрос «Миленький ты мой, возьми меня с собой?!» не отвечал, задаром не соглашался и за большие деньги не соглашался, тщетно пытался отмолчаться, а потом и вовсе уйти решил.

От греха в Настенином лице подальше.

Тут Настену и пробило на догадку: мужичок-то педрилка! Ну точно, педрилка! Вон, уворачивается, выскальзывает, бабе тронуть не дает, голубь нецелованный!

— Голубой, голубой, не хотим играть с тобой! — Глотка у красавицы была луженая, даром что прокуренная. — Эй, Торчок, давай сюда! Может, ты ему больше понравишься?!

Торчок, новенький в Калмыковой бригаде, с охотой согласился поучаствовать. Торчку было скучно. Он ожидал от работы славных битв и великих приключений, а приходилось практически все время сидеть на скамеечке у чахлого фонтанчика — и все.

Никаких тебе подвигов.

Подвалив к мужичку, Торчок разразился тирадой относительно своей давней любви к голубым. Любви страстной и прекрасной. Хихиканье Настены ввергло его в пучину импровизации, парень силой усадил мужичка обратно, прижал сутулые плечи к спинке креслица и влепил смачный поцелуй куда-то между ухом и бородавкой над губой.

Мужичок взвыл котом, когда сапог отдавит хвост бедной животине, толкнул Торчка в грудь, вынудив отшатнуться, и сломя голову удрал восвояси.

Преследовать беглеца не стали.

Во-первых, потому что явился Калмык, и веселье увяло.

А во-вторых, потому что пришлось откачивать Торчка: с трудом доплетясь до родной скамейки у фонтана, тот шлепнулся задом на каменное сиденье и отъехал. На станцию «Большая Отключка». Молоденькой медсестричке, примчавшейся из вокзального медпункта, пришлось повозиться; а Калмыку пришлось выписать Торчку больничный.

Дня на три-четыре, не меньше.

— Да ничего не было, — оправдывалась Настена, бледная как смерть, как сдобная, хорошо отъевшаяся смерть. — Ничего! Ну, пошустрили, прикололись… нет, Калмык, честно! Да когда я тебе врала, Калмык…

Олег

Я полез в карман.

Достал визитку.

— У меня к тебе просьба, Калмык. Если еще раз… если ты или твои орлы встретите этого мужичка, вы его не трогайте. Хорошо? Вы просто попросите его созвониться со мной. А если он откажется или опять смоется — ты мне сам перезвони. Скажешь, где его видел. Вот мой телефон. Договорились?

Длинные костистые пальцы уцепили визитку.

Светлые, выцветшие глаза долго рассматривали прямоугольник бумаги.

Калмык молчал.

И я молчал. Думал. О том, что среди бойцов самые опасные фактуры — две. Плотные, резиновые крепыши с навсегда застывшей улыбкой, низкорослые обаяшки, обманчиво похожие на медвежат из сказок, и вот такие дылды с вечно разболтанными шарнирами, чьи лица отморожены навсегда.

Калмык принадлежал ко второй категории; но первая, пожалуй, опасней.

— Ладно, — наконец сказал он. — Сделаю. Только учти: я в доле.

— В какой доле?

— Пока не знаю. Ты просто имей в виду: ежели что выгорит — я в доле. Будут неприятности или там менты прижмут… приходи сюда. Или своего человека пришли. Пусть любому, кто «У Галины» за стойкой стоять будет, скажет: нужен Калмык.

Он вдруг широко, беззлобно ухмыльнулся.

— Не бей меня, Лось-царевич, я тебе пригожусь!

— Да ведь… — Каюсь, я растерялся. — Да ведь ерунда все это! Просто один дурак из дому сбежал, жена ищет…

— Ищут пожарные, ищет милиция? Ладно, не шурши — ерунда так ерунда. Значит, и доля ерундовая. Ты отложи, что я сказал, про запас и забудь. Наплюй и забудь. Пока само не вспомнится…

Сперва мне показалось, что рядом запищал голодный птенец.

Ленчик виновато заворочался и здоровой рукой полез за пазуху. Извлек на свет божий сотовый телефон и еще раз обвел нас извиняющимся взглядом. Зря: я и так знал, что последние полгода он всегда таскает эту трубку с собой — Ленчиков шеф желал иметь возможность связаться со своим «главвохрой» в любую минуту.

— Да, — сказал Ленчик в трубку.

И секунду спустя добавил уж совсем неожиданное:

— Да, Зульфия Разимовна, я слушаю. Нет, ничего, я не сплю… я на вокзале. Нет, никуда не уезжаю. Мы тут с Олегом Семеновичем и Дмитрием…

Он выразительно скосился на Димыча.

— Евгеньевичем, — прозвучала подсказка.

— …и Дмитрием Евгеньевичем… Что?!

Пауза.

Долгая, мерзкая пауза.

— Да, я подъеду. Машину поймаю — и подъеду. Ничего страшного, я все равно спать не собирался.

— Куда это ты? — осведомился я, глядя, как сотовый птенец перекочевывает обратно во внутренний карман.

— Зульфия звонила. У нее… короче, просила подъехать в любое время. Я пойду такси ловить.

Калмык равнодушно разливал по второй.

— Да чего его ловить, такси-то, — сказал бывший одноклассник, ныне бригадир. — Я пацанам скажу, они подвезут, куда надо.

Калмык вдруг подмигнул мне.

— Бесплатно. По старой дружбе. Договорились?

Я посмотрел на Димыча и увидел: Рыжий кивнул.

Ну что ж…

— Договорились, Калмык. Спасибо. Ленчик, пошли… вместе поедем.

К нашему столику уже спешил бомж Петрович, нагруженный огромной коробкой, в каких обычно транспортируют сигареты.

Журналы прибыли.

Ленчик попросил водилу — милого конопатого парнишку, страдающего заиканием, — остановиться на углу. Не доезжая метров ста до знакомого дома за невысокой оградкой. И дождался, пока сизая «Тойота», фырча, скроется во мраке. Это он правильно. Лужи уже просохли, и пройтись пешком — от нас не убудет. А водителю, который работает на бывшего Олегова одноклассника, ныне вокзального «бригадира», совсем ни к чему знать, по какому адресу мы заявились на ночь глядя.

Тем паче что «бригадир» открытым текстом выразил свой интерес к нашим проблемам. Пока, правда, интерес потенциальный, даже не интерес, а легкое намерение помочь в случае чего — чего?! — но меньше всего я люблю вот таких нечаянных альтруистов.

Как он сказал?

Я в доле?..

Ладно, это не моя забота.

— Ну что, пошли? — спрашивает Ленчик.

Пошли так пошли.

В доме горел свет. Калитка была не заперта, и за ней, у подстриженных кустов, нас поджидал старый знакомый — здоровенный доберман. Я бы предпочел видеть его на привязи, но мои предпочтения мало кого заботили. К Ленчику пес интереса не проявил (видно, признал сразу); меня наскоро обнюхал, зыркнул вверх, как бы сопоставляя зрительные ощущения с обонятельными, — и, явно удовлетворившись результатом сопоставления, принялся уже куда более внимательно знакомиться с верительными грамотами Олега.

Когда и с этим важным делом было покончено, пес обернулся к ожидавшей на крыльце хозяйке, словно спрашивая: «Гости? Или поздний ужин?»

— Свои, Борман, свои! Пропусти. Заходите, я уже и чайник поставила — вот-вот закипит…

Повезло псу с кличкой! Ну, давай, давай, партайгеноссе, пропускай, в ставке Гитлера все свои…

Как и в прошлый раз, мы расположились на веранде (свет здесь имелся, да и погода благоприятствовала). Только теперь над заварничком после короткого знакомства с хозяйкой принялся колдовать мой соавтор. А я тем временем, не особо смущаясь, разглядывал доктора Иванову. Что-то в ней изменилось с прошлого раза: тени под глазами (или это лампа виновата?), нервность движений, да и вообще вид у Зульфии Разимовны был

какой-то растерянный.

— Он ко мне приходил, — без предисловий сообщает хозяйка, кусая губы. — Этот ваш…

Она умолкает и спустя минуту поправляется:

— Этот наш. Монахов. И знаете… вы будете смеяться, но Борман его испугался!..

Мы не смеемся.

Врач

За долгие годы практики Зульфия Разимовна успела привыкнуть (или, по крайней мере, притерпеться) к поздним звонкам, как к неизбежному злу. Профессия обязывала. Однако голос, который раздался в трубке, заставил ее вздрогнуть от неожиданности, ибо голос этот она узнала.

— Э-э-э… доктор Иванова?

«Да, да, все верно. Я тоже… кандидат!»

Монахов Владимир Павлович. Интеллигент-остеохондротик, одним ударом убивший на татами американского бойца-профессионала.

— Да, я вас слушаю.

— Это я… Помните? Монахов, Владимир Павлович, я у вас медкомиссию перед турниром проходил. Вы меня еще допускать не хотели…

— Да, я помню.

Она еще подумала, что предпочла бы не помнить, забыть, как страшный сон.

Не вышло.

— Скажите, вы не могли бы осмотреть меня повторно? Я… мне бы хотелось с вами проконсультироваться.

— Пожалуйста. Приходите завтра в 28-ю поликлинику, у меня прием с четырнадцати до девятнадцати, семнадцатый кабинет, пятый этаж.

— Нет, вы меня неправильно поняли! Я бы хотел, так сказать… в приватном порядке. За соответствующее вознаграждение!

«Пропала собака по кличке Дружок. Просьба вернуть за соответствующее вознаграждение…»

— В каком это смысле: в приватном порядке? — холодно поинтересовалась Зульфия Разимовна. Она ничего не имела против оплаты труда, в особенности своего, но подобных разговоров не любила.

Сразу остро ощущалась… собственная цена, что ли? Не то чтобы противно, но знать свою цену далеко не всегда доставляет

удовольствие.

А может, она просто нервничает?

— Ну… не в кабинете. Я бы хотел на дому. Вы не возражаете, если я к вам подъеду?

«Возражаю!» — хотела было возмутиться доктор Иванова. Но вдруг вспомнились многозначительные взгляды, которыми обменялись перед уходом от нее Леонид и этот… Дмитрий? Вспомнился последовавший вскоре звонок Леонида: «Я сегодня на заседании общества не буду. Ничего особенного, просто руку малость повредил. Не обо что, а об кого. Об Монаха… да вы его знаете! Ага, именно он… ладно, чепуха все это!» Зульфия Разимовна понимала, что после скорее всего будет ругать себя за нездоровое любопытство, но росток подлого сорняка уже проклюнулся в душе. Может быть, этот Монахов — феномен? Как теперь говорят: «человек с паранормальными способностями»? Интерес был и личный, и чисто профессиональный. И поэтому, помедлив секунду, доктор Иванова произнесла в ждущую трубку совсем другое, чем предполагалось вначале:

— Хорошо. Только учтите, дома у меня нет соответствующего оборудования…

— Да-да, я понимаю! Можно, я приеду прямо сейчас?!

— Сейчас? Нет, что вы!.. Сейчас поздно! Может быть… — И вдруг Зульфия Разимовна ясно поняла: если она откажется принять Монахова прямо сейчас — завтра он не придет. Он больше вообще никогда не объявится. Она не знала, откуда у нее подобное чувство, но уже давно научилась доверять своей интуиции. Хороший врач — это не только знания и навыки…

Рядом завозился Борман — пятилетний кобель, тренированный по системе «Телохранитель» и всерьез считающий хозяйку главной ценностью мироздания.

— Хорошо. Записывайте адрес.

Как в пошлом анекдоте: муж уехал в командировку, а к жене…

Помня предыдущий разговор, Зульфия Разимовна хотела сразу позвонить Лене — но телефон, как назло, заартачился в самый неподходящий момент. В трубке долгое время издевательски пощелкивала разрядами глухая тишина, потом пошли короткие гудки; и тут у дома притормозило такси.

Это был Монахов.

Явился не запылился.

Кое-что у Зульфии Разимовны имелось и здесь, на даче: тонометр, фонендоскоп, измеритель электропотенциала кожи — ерунда, медмишура. По-хорошему, с Монахова следовало бы снять повторную кардиограмму, энцефалограмму, провести

подробные анализы…

Увы! Феномен-остеохондротик настоял на «приватном» осмотре, явно не желая лишний раз показываться в поликлинике (где успел побывать, раздобыв в регистратуре «дачный» телефон Ивановой).

«Надо будет устроить им нагоняй. Дают телефон кому ни попадя!» — думала Зульфия Разимовна, споро накладывая манжету тонометра на оголенную руку пациента.

Монахов зачем-то с самого начала потребовал, чтобы она надела резиновые хирургические перчатки. Словно боялся заразить врача какой-то кожной болезнью. Зульфия Разимовна согласилась, но заподозрила, что у Владимира Павловича не все в порядке с головой. И вообще, Монахов был весь дерганый, нервный — хотя его состояние скорее походило на невроз или угрозу истерии, чем на серьезное психическое расстройство.

Кстати: прямо с порога Монахов попытался всучить ей стодолларовую купюру, но Зульфия Разимовна…

Нет, не то чтобы отказалась.

Просто заявила: «После поговорим».

— После чего? — удивился гость, хлопая белесыми ресницами.

Глядя на него, было трудно представить себе более безобидную личность.

— После осмотра.

Давление у пациента оказалось слегка повышенным, но в пределах нормы для его возраста. Остеохондроз и тахикардия, естественно, никуда не делись, варикоз также наличествовал; кардиограмму снять было не на чем, но слабые шумы в сердце прослушивались и так.

Плюс общее психическое возбуждение.

Зульфия Разимовна вспомнила про измеритель электропотенциала кожи — в принципе, игрушка, но, раз нет ничего другого, надо задействовать хоть это.

По распоряжению хозяйки Владимир Павлович тщательно вытер вспотевшие ладони чистым полотенцем, осторожно опустил правую на контактную пластину. Иванова, припоминая соответствующий регистр, щелкнула тумблером, повернула переключатель. Стрелка, поколебавшись, остановилась на отметке, соответствующей, согласно таблице, «человеку, ведущему малоподвижный образ жизни», да еще и «в состоянии средней усталости».

Что и требовалось доказать.

— Знакомая штука! — заявил неожиданно Монахов, дернув щекой. — Помню, раньше кругом стояли… за двадцать копеек.

«Тест для экстрасенса». Мы однажды с сыном… на спор… с сыном…

Он вдруг напрягся, глаза его страшно сузились, ладонь присоской прилипла к контактной пластине.

Стрелка с отчаянием загнанного зверя метнулась к крайней отметке шкалы. Иванова рефлекторно переключила диапазон, но прибор зашкалило снова, а потом что-то щелкнуло, красный индикатор мигнул и погас; в комнате явственно запахло паленым.

— Ой… простите!

Поздний визитер отшатнулся, вскочил, испуганно пряча руку за спину; а доктор Иванова все продолжала тупо смотреть на мертвый прибор.

Только что этот задерганный, усталый человек на ее глазах просто-напросто *сжег* прибор, сам не понимая, что он делает. Или понимая? Насколько знала Зульфия Разимовна, сжечь измеритель потенциалов было практически невозможно (если только не подключить его напрямую к розетке!) — хотя многие, мнившие себя «экстрасенсами», пытались это сделать.

Всякий раз — безуспешно.

Всякий раз, кроме этого…

Дмитрий

— …А Борман от него сразу спрятался! Представляете?! Никогда он у меня никого не боялся. А тут вдруг — скулит, ко мне жмется, а после вовсе под диван забился. И пока этот… Монахов был в доме — не вылез! Я вся прямо извелась, пока он не ушел. Пожалела, что согласилась на визит. Сижу потом, на столе сто долларов валяются (оставил, значит, не поскупился!), а голова просто раскалывается. Слабость накатила, тошнит… как при беременности. Правда, отпустило быстро. Я к телефону — работает! Вот, Лене на сотовый дозвонилась…

Что ж ты так оплошал-то, партайгеноссе Борман? Я бросаю взгляд на сидящего рядом пса, и пес отворачивается, словно понимает, о чем речь.

Борману стыдно.

А я вспоминаю случай десяти— или даже двенадцатилетней давности, когда мы целой компанией возвращались после тренировки к трамвайной остановке. Помню, тогда и Олег был, и сам Шеф, у которого Олег учился (да и я пару лет сподобился — повезло!), и еще кое-кто из инструкторов. Топаем мы через проходной двор, как вдруг из-за угла навстречу выметается здоровенный мраморный дог-переросток — и на нас! Молча. Причем явно не с намерением поиграться.

Псина та еще, килограммов семьдесят весом и мне по пояс ростом, если не выше. В общем, приятного мало.

Как у меня в руках та штакетина оказалась — потом, хоть убей, вспомнить не мог. В общем, Олег рядом в какой-то злобной стойке стелется, глаза бешеные; я руку со штакетиной отвел — примериваюсь, потому как чую: второй попытки мне не дадут; кто-то уже на дерево карабкаться начал, кто-то кирпич на земле нашаривает… А Шеф стоит себе, курит. Лицо безмятежное, круглое; не лицо — луна в ночном небе. Когда догу до нас метров пять осталось, он окурок бросил, ботинком наступил — и РЯВКНУЛ! Да так, что стекла в окнах задрожали, а у меня у самого душа в пятки ушла.

Чуть не приварил Шефу штакетиной от большого сердца.

Я впервые видел, как здоровенная псина в совершенно запредельном ужасе тормозит, словно в мультиках, всеми четырьмя лапами, и как под этой псиной тут же образуется лужа…

Вот не помню: был тогда с нами Монах или нет?

— …Да, чуть не забыла! Я ему говорю: тут вами ребята из вашей секции интересовались. Вы бы связались с ними. А он: «Интересовались? Ну, тогда передайте им вот это. Думаю, им станет совсем интересно». И видеокассету из сумки достает. Я ее посмотреть не успела, да и не разбираюсь я в ваших играх — кассета вроде учебная какая-то. Я сейчас принесу.

— Ладно. — Олег допивает чай и отставляет чашку в сторону. — Спасибо за гостеприимство; и вообще — спасибо. А кассету завтра проглядим. Сейчас все равно мозги уже не работают.

Ни я, ни Ленчик не возражаем. Мозги действительно работают плохо, и, несмотря на крепкий чай, все сильнее хочется спать.

Интересно, удастся ли поймать машину — в четыре-то часа утра?

Пешком переться совсем не хочется — а тут еще и журналы эти барнаульские, полная коробка…

X. Нопэрапон. Свеча пятая

Искусство тридцатипятилетия — вершина расцвета. Повторю и повторю вновь: в этот период нельзя думать, что достиг полного мастерства, покуда не получил признания в Поднебесной. В эту пору подобает быть вдвойне осмотрительным: это время осознания прошлого и время осмысления манеры игры на грядущие годы. А если и в этом возрасте не обладать истинным цветком, то после сорока лет дарования померкнут, и дальнейшее станет тому свидетельством…

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

О стычке в переулке Чахлых Орхидей юноша отцу рассказывать не решился. Он и сам-то вспоминал о случившейся бойне с содроганием. Аж в животе будто комок снега подтаивать начинал; капли ледяными брызгами скручивали кишки в узлы, вызывая тошноту. Видимо, старый Дзэами почувствовал состояние младшего сына: спрашивать ни о чем не стал. Поглядел на растерзанного Мотоеси, губами бледными пожевал. «Лекаря вызвать?» — спросил. Вечером одежонку рваную сам заштопал, хотя и была другая, в сундуке; ковырялся иголкой, а швею-соседку звать не захотел. Вот и все.

А на следующий день ушел в город. Провожать себя запретил. Долго ходил, до вечера. Вернулся озябший, шмыгая покрасневшим носом; с длинным свертком в руках. Прошел в дом, сыну кивком велел за собой следовать. Впрочем, снимать ватник, надетый поверх теплого суйкана, греть холодные ладони над жаровней не стал — сразу за сверток взялся. Минут пять возился, ленточки-перевязки дергая, разворачивая дорогую, тисненную в «три змеи», ткань — пальцы тряслись.

Достал меч.

Рукоять акульей кожей обтянута, на круглой цубе рисунок:

самурай изогнулся вьюном, бамбук рубит; ножны из магнолии, с серебром.

— Носи, — сказал. — Пока указ позапрошлого сегуна, райских ему садов, не отменили. Хороший клинок, клейменый, мастерской работы. Твой-то дешевенький… когда еще покупали…

«Доложили уже, — понял Мотоеси. — Нашлись языкастые… интересно, кто? Свидетелей вроде не было… Может, безногий?»

Но спрашивать у отца не посмел.

Просто взял меч и поклонился.

— Носи, — повторил Будда Лицедеев, отворачиваясь.

Видать, не хотел, чтоб сын слезы на отцовских глазах видел.

Старики на слезы легкие.

— Этот… — буркнул хрипло, не своим, не тем голосом, о каком слава по сей день гуляла меж десятью провинциями. — Этот… тварь адова…

Отец редко ругался.

Он даже племянника, Онъами-злопыхателя, впервые так вслух назвал.

— …он на этом к сегуну в доверие втерся. Ты вот не знаешь, а мне как-то раз верные друзья из Киото весточку прислали… Нанял он себе троих питухов кабацких, выставил им по бутыли черного саке — и велел нападение разыграть. А назавтра сегуну Есинори доложили: дескать, грабители актера одного обступили в темном углу, с ножами к горлу… И вроде бы актер тот, прежде чем врагов крошить, встал вековой сосной на побережье и возгласил громогласно: «Все вассалы и слуги сегуна Есинори, вплоть до самого ничтожного, сильны и готовы к обороне!» Есинори враля и приблизил, за отвагу купленную да за лесть… Одно жаль, забыл спросить: легко ли с тремя ножами у глотки такие тирады выкрикивать? Оно на сцене — и то подавишься, прежде чем… а меч ты носи, не забывай!.. Мало ли…

И старый Дзэами вдруг шагнул раз, другой.

Обнял сына.

Тесно, сильно; раньше всегда брился с тщанием, а тут вдруг уколол щетиной.

— Один ты у меня остался…

Мотоеси так и не успел спросить: почему один, когда Мотомаса-наследник, опора и надежда… нет, не успел.

Никогда его раньше отец не обнимал.

Разве что в детстве.

Это уже позже, ближе к вечеру, юноша вдруг сообразил (да что там сообразил — ощутил остро и страшно!), что не зря старик, монашествующий Будда Лицедеев преклонных лет, про племянничка-злодея вспомнил. Нет, не зря. И те ублюдки, что

куражились в переулке Чахлых Орхидей над безобидным и безопасным актеришкой-сопляком, не случайно встали поперек пути-дорожки. Все сложилось один к одному, все прояснилось, словно заснеженная равнина близ озера Бива под лучами утреннего солнца.

Юноша смотрел перед собой невидящими глазами и, хоть от роду не был силен в интригах-заговорах, видел помыслы двоюродного брата.

Насквозь, как если бы сам замышлял подлое.

Все было теперь у Онъами-хитреца: и громкие титулы-звания, и должность распорядителя столичных представлений, и слава актерская (нет, не бесталанен был, подлец, что да, то да!) — все было, а покоя-счастья не было. Хотелось ему насладиться унижением врага, испокон веку самым сладким яством победителей, да унижение оборачивалось возвышением, раздирая пасть тщеславию, как крючок дерет глотку ошалевшему карпу, заглотившему наживку.

Устроил опалу великому дядюшке с его наследничками — так народ к опальным сам льнет, у Мотомасы-братца в провинциях что ни спектакль, то удача небывалая!

Хотел на плечах родичей к небу вознестись — был великий Канъами, был отпрыск его, Дзэами-гений, будет теперь Онъами-думовластитель, даром что не родной, а двоюродный… Не вышло. Тощего быка запряг в телегу, больше стоит, чем везет. Славу не перехватишь, почитание не выбьешь палкой!

Думал на позорище родственничков выставить: ан нет, премьера «Парчового барабана» мало того, что не сорвалась, — прогремела от края до края, умы-души наизнанку вывернула…

Сам сегун Есинори угодил в нужный час, вызвал сиятельный гнев ловко поставленным-подставленным «Парчовым барабаном» — так сегун самодур, но не дурак, небось понимает: и хоти он запретить пьесу, не выйдет ничего. Запретный плод сладок. В столице не играют, и ладно… впрочем, тоже поигрывают, тайно, для своих — а слугам сегун велел не очень-то усердствовать. Ну их, актеришек этих; и публику тупоголовую, с ее вульгарными вкусами, тоже — ну ее. Позор ведь: военный правитель, реальный император Ямато, злобствует на какие-то «обезьяньи игры», зубами скрежещет!

Нет, сегун в этом деле сейчас для Онъами-интригана не поддержка; не помеха, но и не поддержка.

Что делать? куда целить? чем дыры в счастье, из чужой глотки вырванном, латать?!

А вот чем…

Не дается слава-первенство в руки, значит, надо заставить птичку саму пойти в сети. Если Будда Лицедеев, закосневший в старческом упрямстве, все-таки передаст свои трактаты знаменитому племяннику, передаст публично, с поклоном, с церемониями — вместе с ними и славу семейную передаст. Важно, чтоб сам… а сам он не хочет, седой дурак! Ну да ладно, не хочет, поможем, подскажем, намекнем… Чего он боится, Дзэами Дабуцу, чего опасается? Ах, скажете, ничего не боится, не опасается — а так не бывает, почтенные! Любой отец, даже гордец из гордецов, упрямец из упрямцев, боится пережить своих сыновей. Трогает душу скорбная участь сына-сироты, а участь престарелого родителя, одинокой сосны на голом холме, стократ горше.

Как намекать станем, с какой стороны?

Наследник великого Дзэами провинцию потрясает; ну и пусть себе потрясает. До поры. Поищем нужного человечка, а там велим человечку подождать. Старший сынок — напоследок, если уж вовсе старик непонятлив окажется. Зато младшенький, эта бездарность Мотоеси, который демонским наущением сорвал Онъами весь триумф чужого провала… Это он, сопляк, заблистал на премьере; это он, мерзопакостник, выставил двоюродного брата голым на площадь; это он!.. Дорого ли стоит купить пару-тройку лихих людишек? Дорого ли обойдется прирезать в тишине молодого актеришку? нет, не дорого. Особенно когда власти на сегуна скосятся и разыскивать-ловить станут спустя рукава. Зато старик на похоронах слезой умоется и, глядишь, сам уразумеет: станешь дальше кочевряжиться, плесень, наследничка уберем!

Опору убрали, за надежду примемся!

Дошло?

Что молчишь, Будда Лицедеев?!

* * *

…юноша смотрел перед собой невидящими глазами, зная тайным знанием: сейчас, надежно спрятанная за пазухой, безликая маска плавится знакомыми чертами, на миг вспухает лицом завистливого Онъами — и снова тонет сама в себе.

Удивительно: ни горечи, ни страха не возникло в ответ в душе.

Ничего.

Не душа — маска *нопэрапон*.

2

Три дня после этого Мотоеси носил даренный отцом меч. На рынок носил, в лавки носил, в баню носил. В нужник разве что только не носил — отец обругал с ног до головы; стал носить и в нужник. Удобно: сядешь орлом, меч поперек коленей — любуешься узором по стали.

Четыре дня носил.

Пять.

На шестой выскочил во двор, едва успев нацепить *мукабаки* — кожаные штаны мехом наружу. Голый по пояс, а жарко. Меч сам в руку прыгнул, будто живой. Шум во дворе; думал, убийцы лезут.

Нет, не убийцы.

Телега, запряженная волом. На рогах бедолаги цветные ленты и два маленьких фонарика из бумаги. Бумага красная; фонарики в форме пиона. «А-хай! — кричит усатый погонщик, бодро размахивая палкой. — А-хай!..» В телеге притулились бок о бок три мешка риса и один — проса (на каждом мешке полоска с надписью). Рядом с мешками одежда грудой навалена. Чего только нет: две накидки *«хаори»*, набедренных повязок-*фундоси* немерено, короткие халаты *«каригину»* с поясами и без, шелковые *кособэ* на вате… даже одно женское кимоно, какое в Киото называли *«хифу»*, имелось. У тележного бортика сандалии лежат: и соломенные, и кожаные, и деревянные *гэта*. На сандалиях *сямисэн* — трехструнка; чехол дорогой, бархатный, шитый золотом.

За телегой шел богатырь. Плечи как у бога войны Хатимана, лицо закатным багрянцем полыхает; о таких в древности сказывали: «Помочится спьяну — скалу насквозь прошибет!» Голова богатыря не покрыта, а прическа отчего-то мальчишечья: оставленные по бокам пряди волос связаны на макушке наподобие стрекозиных крыльев.

— От имени Маленького Цуто смиренно кланяюсь украшению мира! — гаркнул богатырь во всю глотку, перепугав вола насмерть (тот аж присел). — На коленях прошу прощения за перенесенные обиды и молю принять отступное! Хотите взять душу в залог — рубите мне голову! Вот он я, посланец Маленького Цуто!..

И на колени пал.

В грязь, еще на рассвете бывшую снегом.

Вол сразу принялся обнюхивать пучок волос на макушке богатыря, а Мотоеси все стоял столбом, не зная, что и сказать. Страшное имя Маленького Цуто было известно юноше, как, собственно, и любому жителю Сакаи. Крупный порт, откуда корабли уходили в Чжун-Го и Чосон, город жил по своим законам:

контрабандисты делились прибылью с властями, власти честно держали для контрабандистов «навес» от столичных чиновников, и Маленький Цуто, пират в шестом поколении, был третейским судьей в тайных разборках. Его сухая лапка держала за глотку местное «дно» и городскую канцелярию, временами сжимаясь в кулачок — просто так, для острастки.

И вдруг: «Маленький Цуто смиренно кланяется украшению мира!»

Небо на землю упало?!

Будда Амида, какие еще беды нам уготованы?!

— Молодой господин! — Богатырь, оказывается, уже успел на коленях подползти к самому крыльцу. — Светоч искусства! Когда отцу доложили о прискорбном случае в переулке Чахлых Орхидей, Цуто-сан вскипел гневом! Поймите, отец давний поклонник таланта вашего родителя, а с недавних времен — и вашего славного дара! Присутствуя на премьере «Парчового барабана», Маленький Цуто плакал жаркими слезами, и душа его пела от ликования! А тут… какие-то заезжие душегубы!.. осмеливаются поднять свою грязную руку — на кого?! На сына Будды Лицедеев, одарившего город Сакаи своим присутствием?! Неслыханно! В наш просвещенный век?!

«Когда отцу доложили…»

Что?!

Мотоеси внутренне похолодел. Неужели этот пресмыкающийся гигант — сын Маленького Цуто?! Насмешка, чтоб потом кара вдвое больней показалась?! Или… ведь слышно же: богатырь не свои слова произносит — заучил, что называется, с чужих уст!

Хорошо еще, что старый Дзэами во двор не вышел, хотя наверняка слышит весь шум.

Ясное дело, знает, почему не выходит; знает, да не скажет.

— Встаньте! Молю вас, встаньте! — Юноша кинулся к богатырю, подымая того с коленей; но гость встал не сразу. — Негоже вам передо мной, ничтожным…

— Гоже, — уверенно возразил богатырь, улыбаясь во всю ширь, и Мотоеси вдруг увидел: прическа по возрасту, лет пятнадцать богатырю, не больше. — Отец велел, когда вы нас простите, передать: лиходей, что сбежать успел, далеко не убежал. На первой заставе костьми лег. Хотите, голову доставлю? Она в рассоле, не протухла покамест!

— Н-нет… нет, не беспокойтесь!

У Мотоеси зуб на зуб не попадал.

От холода, наверное.

— И еще. — Скинув стеганую куртку, большой сын

Маленького Цуто заботливо укрыл ею юношу-актера. — Нищий, чье сердце тверже стали, больше не нищий. Сам теперь подаяние раздавать будет; щедрой рукой. Доблесть вознаграждена, и зло покарано. А вы, молодой господин, запомните крепко-накрепко: ходить вам с сего дня по Сакаи без опаски. В самых темных местах.

И повернулся к погонщику:

— Сгружай! Ах ты, доходяга… ну давай, подсоблю…

Уходя, богатырь куртку забрать отказался.

Так и ушел.

3

На следующий день, после обеда, он явился снова. Правда, на этот раз без телеги, вола и погонщика. Долго топтался на улице, перед воротами, о чем-то заговорил с бродячим торговцем, укутанным в тряпье с головой — один нос наружу торчал; потом купил у того с лотка жареный хворост на меду и с наслаждением умял за обе щеки.

Наконец решился, шагнул в ворота.

Старый Дзэами сам встретил гостя. Рассыпался в благодарностях, но богатырь замахал ручищами и, едва дождавшись паузы в речи Будды Лицедеев, объявил: никаких слов признательности он и слушать не хочет. Маленький Цуто с его людьми провинились, допустив беззаконие по отношению к гениям, вдохновленным свыше, а посему, хоть императорскую сокровищницу перед пострадавшими в грязь вывали, все мало будет.

Вот.

— Я это… — Богатырь перевел дух и смущенно уставился в землю, словно норовя пробуравить ее взглядом и добраться до Ада Одиночества, самого страшного из геенн. — Это я… «День лунных яств» нынче…

Дзэами и без сих речей прекрасно знал: сегодня пятнадцатый день Нового года, то бишь «День лунных яств». Приглашенная стряпуха уже обеспечила старика с сыном ритуальной похлебкой-*мотигаю* — варевом из мелких бобов, куда добавлялись круглые колобки, символизирующие луну.

И дрова для костра запасены — будет на чем воды согреть, омыть тело от грязи, от прошлых грехов.

Одно неясно: зачем явился отпрыск Маленького Цуто?

С праздничком поздравить?!

— Вы, Дзэами-сан, не гневайтесь на косноязычного… Я по-

простому, сплеча: отпустите со мной вашего сына вечерок скоротать! Сходим мы с ним в баню, очистимся, как положено, в харчевне подзакусим, выпьем по чарочке… Стану я старым, вроде вас, будет что вспомнить: с самим молодым господином Мотоеси «День лунных яств» проводил! Да и батюшка мой благословил на доброе дело: ты, говорит, олух-орясина, небось вчера-то наплел с три короба, обидел господ актеров — пойди, пади в ножки по новой! Господа актеры — люди утонченные, были б тебе вчера по-честному рады, сложили б ответный стих или песню б спели; а раз так, кивнули только — умел позорить семью, умей отдуваться!

Мотоеси, стоя за спиной отца, еле удерживался, чтоб не расхохотаться. Не таким, нет, не таким он представлял себе Маленького Цуто, не таким и сынка его представлял.

— Что скажешь? — повернулся к юноше Будда Лицедеев, сам пряча улыбку в сивые усы.

Юноша вышел вперед и низко, церемониально поклонился зардевшемуся богатырю, уперев ладони в бедра:

О, как же я благодарен!
Силою ваших забот
Дух грешника станет Буддой!
О радость! Счастливый миг!..

Возвысив голос на последних словах, Мотоеси украдкой покосился на отца. Не осудит ли? Ведь, возглашая монолог печального духа из отцовской пьесы «Таданори», юноша позволил себе некоторое отступление от оригинала. Вместо *«силою ваших забот»* там звучало *«силой ваших молитв»*, но семейство Маленького Цуто облагодетельствовало подопечных благами земными, а уж никак не святостью молений…

Нет, отец не сердился.

Улыбался.

Улыбался богатырю, который, выпучив глаза и приоткрыв рот, глядел на Мотоеси, словно узрел самого патриарха Даруму, приехавшего верхом на тигре.

Темные, слегка припухшие глазки богатыря были полны слезами.

— Я это… — наконец удалось вымолвить ему. — Я за вас кого хочешь к праотцам отправлю! Вот… а молодой господин пойдет со мной?..

Странное дело: Мотоеси вновь решил, что ошибся с возрастом сына Маленького Цуто. Сейчас он выглядел разве что на год-другой младше самого Мотоеси.

Несмотря на наивность просьбы.

— Пойдет, — ответил за сына старый Дзэами. — Чего ему со мной, кочерыжкой, скучать?! Ты мне лучше вот что скажи, уважаемый… сколько ж тебе лет?

— Двадцать третий пошел, — откликнулся богатырь, вновь расцветая весенним жасмином. — Третьего дня и пошел.

— Двадцать третий?! А что ж ты углы на висках не пробриваешь?.. Прическа-то отроческая!

— У нас в семье… — Руки богатыря мимоходом сжались в кулаки, да не просто в кулаки, а в *«накадака-кэн»*, «кулаки демона», с выставленной фалангой среднего пальца, как бьют в горло, переносицу и под сердце. — Я еще свою первую дюжину не это… ну, вы понимаете! Двое остались — а там и виски пробрею…

В этот миг он казался существенно старше молодого актера.

4

— Эй, банщик! Я же сказал: мне — благовоний «хацунэ»! Живо!

— Спешу, спешу, благородный господин!

— Ей-кори-бори-ясаноса!.. скачи, плясун, ноша хороша! Ну-ка, хором: ей-кори-бори-ясаноса!..

— Банщик!

— Спешу! Ай, торопливый господин, как же вы ждали-то девять месяцев в утробе вашей почтенной матушки?! Небось истомились, до срока вылезли!

— А старуха и говорит: «Десять лет кормила обманщика!» Велела монаха в одном исподнем палками гнать…

— Аха-ха-хааа! В исподнем?! Ах-ха-хаах!

— Чарки налиты? Третий круг, закуска — сушеная летучая рыба! Кто пропустит, тому не видать удачи!

— Эй, кто-нибудь! Пните банщика пяткой…

Пар от лоханей и бочек с горячей водой стелился по банному помещению, заставляя силуэты колыхаться, подобно морским водорослям. Мужчины, женщины, сидя в бочках, разгуливая по полу, выложенному глиняными плитками, разливая в чарки подогретое вино и саке, возглашая тосты, закусывая и перекрикивая друг друга, — все они словно обезумели, отдаваясь веселью «Дня лунных яств». В дальнем углу некто бывалый рассказывал, будто на материке и еще дальше, на запад, живут такие варвары, что моются редко и, главное, раздельно! — иначе может случиться срамная любовь. Ему не верили: ведь всякому

известно, что омовение — дело святое, наготы лишь безумец стыдится, какой тут срам и тем более любовь на пустом месте; вот очистимся, пойдем по городу гулять, тогда и… А варвары — они и есть варвары, им хоть в бане, хоть в собачьей норе, все едино! В каморке, примыкающей к основным покоям, всякий мог вкусить от прорицаний Раскидай-Бубна, слепого гадателя, а дружки подначивали: чего тут о нем гадать, месяц-другой, и помрет от пьянства… ты лучше, слепец, предскажи-ка мне, кто меня нынче ночью приласкает? А уж я не поскуплюсь…

Мотоеси блаженно откинулся на край своей бочки, которую делил с Сугатой (так, как выяснилось, звали сына Маленького Цуто), и прикрыл глаза.

Юноше было хорошо.

Он давно не уходил надолго из дома; он в последнее время вообще успел подзабыть, что можно проводить время просто так.

Дверь банного помещения распахнулась. Внутрь сунулась длинная палка, на конце которой был насажен человеческий череп.

— О-мэдето! — громыхнуло снаружи новогоднее поздравление.

Не успел никто как следует испугаться или разгневаться (а может, и развеселиться пуще прежнего), как следом протиснулся тощий монах, совершенно голый.

Почему монах, спросите вы, если нагие мы все миряне?

Опомнитесь, почтенные!

Кто ж из сакайцев не знаком с Безумным Облаком, прославленным своими подвигами на стезе добродетели?.. И тем более: ну кому еще взбредет в голову блажь поздравлять честных людей с праздничком, тыча им в рожу череп?!

Зашвырнув свою страшную игрушку в самый дальний угол (там ойкнули и заперхали, подавившись), Безумное Облако вьюном протиснулся меж телами. Мотоеси и опомниться не успел, как монах уже стоял рядом, почесываясь под мышкой.

Ребра святого инока грозили вот-вот продырявить бледную, пергаментную кожу.

— Кацу! — вместо приветствия заорал монах. — А вот и пример утонченности духа!

Он тут же принялся тыкать пальцем в смутившегося юношу, на тот случай, если кто-то не поймет, кого имели в виду под «примером утонченности…».

Нырнув с головой, Мотоеси задержал дыхание и обождал. Внутри теплилась надежда: монаху надоест ждать и он уберется восвояси.

Ничуть не бывало!

— Желаю изысканности! — Этот вопль был первым, что услышал юноша, выныривая. — Желаю стихов, трогающих душу! Итак…

Безумное Облако подпрыгнул и возгласил три первые строки импровизированного пятистишия:

Море любит берег в вечном ритме,
В ропоте ревнивого прибоя,
В брызгах пены и медузьей слизи…

Выжидательный взгляд уперся в Мотоеси, уперся ощутимо, будто стальное острие; почти сразу десятки взглядов обратились к юноше.

Публика ждала.

И больше всех ждал богатырь Сугата, глядя на своего нового друга, на образец для подражания, влажными глазами преданной собаки.

Юноша не знал, меняется ли сейчас спрятанная в ворохе одежды маска. Сейчас — не знал. Тайна не пришла, не напомнила о себе; не пришло и безумие премьеры «Парчового барабана». Просто взгляды эти уперлись в затор где-то глубоко внутри, поднажали, заставили вздрогнуть от сладостной боли — и пробка вылетела наружу двумя последними строками, родившимися легко и просто, теми словами, что больше всего подходили к сегодняшнему празднику, буйному и веселому:

Не люблю я, братцы, это море! —
До чего ж блудливая стихия!

Общий хохот был ему ответом.

Даже Безумное Облако смеялся, хрюкая от восторга.

* * *

В каморке, забытый всеми, слепой гадатель Раскидай-Бубен все подбрасывал и ловил персиковую косточку с вырезанными на ней тремя знаками судьбы… подбрасывал, ловил, снова подбрасывал…

Все время выпадало одно и то же.

Неопределенность.

Как и в ту ночь, когда некий юноша ринулся в лунный свет, на встречу с безликой участью.

5

…дальнейшие события он помнил плохо. И вовсе не потому, что перебрал, что хмель застил глаза! — пять маленьких чарок, разве это много для цветущего молодчика?! Просто иной хмель воцарился в Мотоеси, хмель свободы, хмель бесшабашного гулянья, хмель похождений вкупе с приятелем малознакомым, но оттого еще более милым душе. Такое с ним случилось впервые: всю жизнь он провел в труппе, рядом с отцом, рано умершую мать помнил плохо… эх, стоит ли сейчас туманить счастье воспоминаниями?

Гуляем!

Всплывало из развеселого дурмана: вот они с Сугатой в харчевне, и не в простой, а дорогой, для гостей с тугой мошной; сидят за столом, спорят — кому платить? Оба при деньгах, только богатырь и слышать не хочет, за нож хватается: если друг не уступит, готов «нутро людям показать», вспороть брюшину от бока до бока, даром что не самурай! А вокруг певички вьются, совсем молоденькие, лет тринадцати, не больше: нижнее платье багрянцем светится, поверх белое косодэ накинуто, расшито драгоценной мишурой, за поясом из трехцветных нитей кинжальчик в лаковых ножнах и шкатулочка. Пляшут, щебечут, поют любовные песенки, а волосы расчесаны на средний пробор и завиты в букли на висках, будто у юнцов-мальчишек.

И еще всплывало: «Вульгарность?! — хохочет Сугата, сотрясая стены хохотом. — Грубость?! Эх, молодой ты мой господин, не видел ты истинной вульгарности! Идем!.. Ну идем, поглядим!..» Они куда-то идут, какими-то переулками, кривыми и грязными, снег скрипит под ногами, и вот: Сугата расталкивает толпу человек в пять. «Смотри, молодой господин!» На снегу, еле различимая в ночной темноте, — женщина. Совершенно обнаженная; лежит, бесстыдно раскинув ноги. А в уши уже бубнят, объясняют: развлечение для бедных, у кого, окромя ломаного гроша за душой, одни вши имеются! Платишь медный мон, дают тебе зажженную лучинку, и, пока огонек теплится, можешь наклоняться, рассматривать, что заблагорассудится… нет, руками не трогать! Распустишь руки, «бык» их с плечами оторвет! Хочешь посмотреть, молодой господин?.. Другу господина Сугаты — даром… хочешь?!

И еще было: он на столе, над всеми, не в харчевне — в доме, в комнате с двуцветной картиной на стене: олениха наклонилась, пьет из ручья, а сама все косит глазом в сторону. Да, он на столе, в тишине, полной беззвучного восторга, его разрывает на части финальным монологом старца одержимого, «Парчовый барабан»

смыкается вокруг, оглушительно гремит тем самым восторгом беззвучия… и все кажется: на лице маска, безликая маска, забытая сегодня дома в сундучке; маска без единой черты, без единой морщинки, и оттого каждый видит в ней то, что хочется, отражается, словно в зеркале… последние слова истекают последними каплями крови — тишина, тишина, тишина… кокон тишины в водовороте криков и приветствий.

И еще: темные глаза смотрят с мольбой, пряча в глубине немой вопрос. Веки прошиты нежнейшей строчкой вен, вздрагивают лепестками вишни… «Пошли лучше к *дзеро*! — бормочет Сугата, толкаясь локтем в бок. — К самым дорогим пошли, к тем, что в ранге *тайфу*!.. Пошли, я плачу!» Богатырь не любит новомодное словечко *«гейша»*, он упрямо называет веселых девиц — *дзеро*, что во все времена значило… впрочем, Мотоеси безразлично, что значит сейчас любое из всех слов на свете. Глаза смотрят, спрашивают, значит, надо ответить. «Кого ты ждешь, красавица?» Глаза моргают, одинокая слезинка выкатывается из уголка и ползет вниз по набеленной щеке. «Вас, мой господин…» Наверное, дочь обедневшего торговца, или самурая-ронина, или сирота, принятая в чужой дом из милости… какая разница?! Да, такие девушки частенько, стесняясь официально принять на себя статус *«дзеро»*, боясь наглости сводней, сами выходят на людные места — они готовы пойти с любым, кто по-доброму посмотрит на них… выпрашивать деньги они не умеют, но щедрый гость сам все понимает…

Мотоеси все понимает.

— Где ты живешь? — спрашивает он.

— Рядом… вниз, к реке, и направо. Господин пойдет?..

— Да. Господин пойдет.

Рядом Сугата разговаривает с лохматым карликом. Карлик кивает: конечно, Сугата-сан, все понял! Проводить молодого господина и, если какой негодяй осмелится, разъяснить… Ясное дело, кто же тронет человека, находящегося под покровительством самого Маленького Цуто?! Не извольте беспокоиться, идите себе к девочкам, я позабочусь… Деньги?! Конечно, конечно, куплю все, что надо, себе не больше десятины… Пятую часть?! Век за вас всех будд и бодисаттв молить буду, Сугата-сан, язык в порошок сотру, лоб о половицы расколочу… да, да, уже умолкаю, уже бегу…

Мотоеси с девушкой идут вниз, к реке и направо. Следом тащится карлик, обеими руками скребя свою шевелюру. Карлик счастлив: оказать услугу Сугате-сан и его другу…

Карлик счастлив.

Мотоеси тоже счастлив.

Счастлива и девушка, что не мешает ей настороженно поглядывать по сторонам.

Где-то в доме с картиной на стене олениха тоже косит глазом: все ли спокойно?

6

Мотоеси откинулся на *дзабутон* — маленькую подушечку, вышитую лиловой нитью, — и огляделся.

— Прошу простить мою нищету, — превратно истолковала его взгляд девушка, упершись руками в пол и пряча в низком поклоне свое смущение. — Отец умер в прошлом году от горячки… я… я, пожалуй, схожу принесу еду и напитки!

Она не обладала красотой, потрясающей умы и пронзающей сердца. Она обладала большим — *югэн*, «темной прелестью», что невидимыми пальцами трогает самые сокровенные струны души.

Возьмись юноша описать ее, встреченную случайно на перекрестке… нет, не вышло бы.

Ничего не вышло бы.

Здесь нужен старый Дзэами, мастер передавать словами невыразимое.

— Сядь. — Мотоеси потянул девушку за широкий рукав, и она послушно опустилась рядом. — Еда обождет, я не голоден. Кстати, а откуда это — еда, напитки?

Удивление отразилось на овальном личике.

— Откуда? — приоткрылся нежно очерченный рот. — Ваш слуга передал… маленький такой…

— Мой слуга? Впрочем, неважно. Как тебя зовут?

— О-Цую…

— Красивое имя. И обладательница его вдвойне красива. Ты живешь одна?

— Одна, мой господин. Вы… вы у меня первый… я долго не могла решиться, робела!.. Вы не обидите меня?..

Мотоеси не знал, говорит девушка правду или лжет.

Положа руку на сердце, ему это было безразлично.

Он и раньше имел дело с женщинами: отец еще в четырнадцать лет нанял у сводни пухлую вдовушку — актер должен думать об искусстве, а не о бабах, значит, пусть мастерица обучит мальчика, чему надо, и не будем пыхтеть чайником… Да и после: гейша в Киото, которой приглянулся юный лицедей, влюбчивые дочери деревенских старост из тех мест, где разъезжала отцова труппа; временами — и наложницы какого-нибудь знатного дайме бегали на сторону, когда владыка после спектакля перебирал саке, храпя во всю мочь.

Но сейчас… никогда, никогда раньше не испытывал юноша такого покоя, такой беспечности и уверенности в главном: все случится легко, легко и… правильно?

Да, наверное, так.

— О-Цую, — еще раз повторил он девичье имя, прокатывая его на языке особым образом, как умеют только певчие дрозды и еще актеры Но. — О-Цую… скажи, тебе говорили, что ты прекрасна? Прекрасней жен самого императора? Слышала ли ты вот что?

Юноша улыбнулся и совсем другим голосом, подражая опытному надзирателю за женской прислугой, гнусаво возгласил список «утвержденных достоинств»:

— Лицо, как велит современный вкус, довольно округлое, нежно-розового цвета, подобно лепестку вишни. Черты лица без малейшего недостатка; глаза с узким разрезом не годятся. Брови непременно густые; переносице не следует быть слишком узкой, а линия носа должна повышаться плавно…

Он насладился уже откровенным стеснением девушки, продолжил нараспев:

— Уши продолговатые, мочки тонкие, дабы сквозили до самого корня и не прилегали плотно к голове. Пальцы нежные, длинные, ногти тонкие. Большие пальцы на ногах должны отгибаться в сторону, кожа на пятках прозрачная. Талия длиннее обычного, бедра крепкие, не мясистые; задок пухлый. И чтоб на теле не было ни единого родимого пятнышка! Скажи, милая, у тебя есть родимые пятна на теле?

Девушка, покраснев до корней волос, истолковала вопрос Мотоеси самым прямым образом: принялась развязывать пояс. Юноша поймал ее хрупкое запястье, легонько сжал, призывая не торопиться. Негоже предаваться любви наспех, подобно варварам или диким зверям!

А может, она голодна?

— Ты хотела принести еду и напитки?

Как выяснилось минутой позже, мнимый слуга оказался весьма расторопен. Хоть и впрямь нанимай на службу! Сушеное птичье мясо, жареные осьминоги, «окуньковая стружка», пончики в масле и рисовые лепешки, мидии на пару, фаршированный икрой лосось — маленький столик уже был полон… да что там полон! — до отказа забит провизией, а пакет все не пустел: хурма на вертеле, казанок с похлебкой-*мотигаю*, сладкая каша из бататов… было и хмельное.

— Угощайся, О-Цую! Да не стесняйся же, ешь вволю!

Странно; она всего лишь отломила у лосося плавничок и деликатно прикусила его зубками. Юноша глядел на нее, глядел

пристально, вынуждая прекрасные глаза оленихи часто-часто моргать; он подумал было, что стоит спросить — есть ли в доме цитра или на худой конец сямисэн?.. И тут случилось уж совсем удивительное.

Мотоеси ощутил голод.

Зверский, неутолимый голод; будто три дня маковой росинки во рту не было.

Брюхо к хребту прилипло.

— Я тоже?.. Я тоже присоединюсь, ладно? — только и успел он пробормотать, не глядя на девушку, после чего набросился на еду. Забыв о приличиях, презрев вежливость. Панцири омаров хрустели под пальцами, икра-фарш брызгала на подбородок и одежду, и без того уже заляпанные бататовой кашей; едва не подавившись рыбьей косточкой, он прокашлялся, почти сразу ухватив вертел с хурмой. Юношу мучила отрыжка, он отчетливо чувствовал: дальше некуда, еще минута — и еда пойдет обратно… но остановиться он не мог.

Голод.

Лютый, острозубый.

Голод.

Давясь лепешкой, Мотоеси вдруг зажмурился: перед глазами отчетливо проступила маска *нопэрапон*. Безликая, гладкая, сейчас она напоминала пузырь, доверху налитый гноем, разлагающийся шар с провалившимися внутрь чертами былой красоты…

— Прочь! — вырвалось само собой, вместе с недожеванным рисом.

Он открыл глаза.

Напротив, у стены, стояла милая О-Цую; и у девушки не было ног.

Совсем.

Ниже подола, свободно болтающегося мокрой тряпкой, слегка подрагивал от тепла жаровни сизый воздух.

Безногая красавица *(большие пальцы на ногах должны отгибаться в сторону, кожа на пятках прозрачная …)* проплыла левее, вновь замерла, уставясь на юношу; и голод вспыхнул во чреве с новой силой.

— О-Цую!.. Что с тобой?! Что со мной?!

Взгляды встретились.

Скрестились двумя клинками; брызнули искрами понимания.

— Господин!.. Молодой господин… вы — тоже?!

— Что — тоже?.. Что?!

Быстрей ветра О-Цую метнулась к дверям, шелестом осенней листвы прошуршала по коридору.

Исчезла, как не бывало.

Опрокинув столик, юноша вскочил. Меч, оставленный близ порога, в одно движение перекочевал туда, где ему и надлежало ждать своего часа — за пояс. Чавкнула под ногой разлитая похлебка, хрустнула ярко-красная клешня; забыв одеться, Мотоеси, как был, без теплой накидки, без шапки, вылетел из дома.

Из дома, который за его спиной рушился сам в себя, становясь тем, чем был на самом деле: грязной кучей мусора.

В дальних кустах визжал от ужаса обезумевший карлик.

— Стой! О-Цую, стой!

Куда там! — лишь кисейный край мелькнул наискосок от зарослей мисканта.

Мотоеси бросился следом, сам плохо понимая, зачем он это делает. Разум требовал, молил, упрашивал: прочь, прочь отсюда, беги в другую сторону, молодой безумец!.. Но что-то, более сильное, более властное, чем разум, гнало сына Будды Лицедеев вниз, к реке.

Снова луна плясала в небе начищенной медяшкой.

Снова петляла впереди невозможная беглянка.

Снова.

Приземистые ивы качали у лица мертвыми, безлистыми ветвями; сзади, со стороны моря, накатывался йодистый аромат, сливаясь с речным запахом рыбы и тины. Вонзались во мрак небес острые верхушки желтинника, оглушительный крик воронья резал уши, и хрупкий лед ломался от напора, брызгаясь сохранившейся под ним лужей.

Пьеса «Парчовый барабан», преследование злым духом вздорной дамы, рискнувшей сыграть на чужой жизни, как на струнах цитры; реплика: *«…плоть немощная водорослями стала, но ныне, в этот час ночной, на берег их выбросили волны, и сюда вернулся я, томимый жаждой мести…»*

Снова.

Юноша упал, споткнувшись о невзрачный холмик. Переполненный желудок взбунтовался, не в силах боле терпеть адскую пытку, и все съеденное волной изверглось наружу. Мотоеси захлебывался, кашлял, инстинктивно стараясь выгнуться так, чтобы рвота не попадала на одежду; больше всего на свете ему хотелось умереть.

Но ему захотелось умереть во сто крат сильней, когда он встал, пошатываясь, и увидел.

Перед ним, паскудно испачканная блевотиной, молчала заброшенная могила.

Юноша знал — чья.

И еще он знал: взметнись сейчас к небу синяя сталь его меча,

пади вниз и наискосок молнией, вонзись в могилу по самую круглую цубу, отделяющую клинок от рукояти, — трижды, трижды взлети, пади и вонзись!..

Не ходить больше былой О-Цую по земле, не ждать блудодеев на перекрестках.

Ну же!.. Но память извернулась верткой рыбиной, напомнив ослепительно:

> *…и, страстно желая избавиться от наваждения, выхлестывая из себя весь ужас, накопившийся еще с момента падения на неостывший труп; изгоняя всю чудовищность ночной погони и рыскания по пустому кладбищу за невольной или вольной убийцей мастера Тамуры… Юноша бил и бил, уподобясь сумасшедшему дровосеку, деревянный меч вздымался и опускался, вопль теснился в груди, прорываясь наружу то рычанием дикого зверя, то плачем насмерть перепуганного мальчишки; а с неба смотрела луна, вечная маска театра жизни.*
>
> *Луна смеялась.*

Луна смеялась и сейчас.

* * *

Спустившись к реке, катившей свинцовые волны из ниоткуда в никуда, он зашел в воду по пояс.

Не чувствуя холода.

Не чувствуя страха.

Ничего не чувствуя.

— Топиться вздумал, парень? — сипло булькнули из-за спины. — Доброе дело… Ты только погодь маленько, я братцев приведу — пущай тоже полюбуются!..

7

Следующего шага юноша не сделал. Только нагнулся, погрузил голову в ледяной, мокрый мрак; чтобы спустя минуту выпрямиться и обернуться.

XI. По образу и подобию. Олег

Видеомагнитофон рыгнул, проглотив кассету, задумчиво пожужжал потрохами и угомонился.

Сожрал, кадавр.

Я защелкал дистанционкой, включая телевизор и переводя Их Голубое Величество на нужный канал. Левая рука машинально убрала с магнитофона футляр от кассеты — последний улегся как раз на решетку вентиляции, — и из футляра выпорхнул серый листок.

Ночной бабочкой он заюлил у моих ног, затрепыхался, ни в какую не желая смирно улечься на паркет.

Поднять?

Поднимаю.

Письмо от блудного Монаха?.. Нет, газетная вырезка, реклама.

Прежде чем начать читать, ловлю два взгляда: любопытно-настороженный — Димыча, спокойно-ожидающий — Ленчика.

Интересно, какой сейчас взгляд у меня самого?

Скорее всего тупо-раздраженный, как у Золушки, когда принц вместо поисков выкинул ее туфельку к чертовой матери и женился на секс-бомбе из порнографического мультфильма по сказкам братьев Гримм.

Читаю.

Вслух.

Сперва — заглавие.

— «Технология взрывного метабоя…»

— Что?! — откликаются два голоса.

— Ничего, парни. Все путем. Технология, понимаешь, взрывного метабоя. Димыч, а что такое «метабой»?!

— Метасистема есть множество, включающее в себя остальные системы как группу подмножеств, — неожиданно для меня «показывает образованность» Ленчик и умолкает.

Димыч только кивает.

Киваю и я.

Значит, метабой — это «все там будем», вернее, уже есть.

Слово-то какое противное… метабой, метабой, козел голубой… поедем с тобой, туда, где прибой…

Дурацкая привычка рифмовать все подряд.

Проклятье сопливого детства.

Читаю дальше, нутром чуя: от комментариев стоит пока воздержаться.

Воздерживаюсь.

Технология взрывного метабоя

Это не просто самая разрушительная система рукопашной защиты, основанной на секретах движений 3000-летней давности. Это не просто знание психологических секретов, используемых в экстремальных ситуациях. Это не просто специальные знания, позволяющие мгновенно превратить невинные предметы в безотказное и смертоносное оружие. ТВМ даже больше, чем все это, вместе взятое. В этом уже убедились все, кто освоил ТВМ. Мы получаем множество писем, в которых почитатели ТВМ рассказывают о тех крутых переменах, которые внесла в их жизнь технология.

О потрясающем случае в Новосибирске, где семнадцатилетняя девушка избежала насилия семи (!) парней, предварительно переломав руки и ребра двоим из них. О не менее потрясающем случае в Ростове-на-Дону, где сорокапятилетний больной мужчина практически изувечил двух грабителей, которые, угрожая оружием, пытались отнять у него автомобиль «Жигули-2104».

Есть и печальные вести. Арестован человек, который обвиняется в двойном убийстве. Напоминаем еще раз о необходимости тщательной юридической консультации о пределах необходимой самообороны.

ТВМ — рассекреченное оружие специальных подразделений ЦРУ и военно-морской разведки США — гарантирует вам не только абсолютную личную безопасность, но и переменит вашу жизнь, укротив «синдром стрессового шока», иначе говоря, замораживающий страх, при помощи специального тренинга.

Автор, офицер с двадцатишестилетним опытом боевых действий в самых горячих точках планеты, сам показывает и рассказывает вам все, что вы должны знать о ТВМ, на двух видеокассетах и альбоме с подробной анатомией человеческого тела.

Уникальность ТВМ заключается в том, что она не требует большой физической силы, ловкости, длительных изнурительных тренировок (полное освоение занимает считаные дни; если соблюдать предложенный график — три месяца), и при этом является самой разрушительной системой выживания из всех существующих.

Полный комплект, включающий в себя две кассеты и альбом, не продается в магазинах. Его можно приобрести только лишь с помощью этого специального предложения. Достаточно заполнить купон-заявку и отправить по адресу:

310989, Харьков-89, а/я 25.
А. О. *«TIGER VOYAGE»*.

Комплект высылается наложенным платежом в сумме 69.00 гривен (с учетом почтовых расходов). Поверьте, это очень небольшая цена за то, что содержится в комплекте! Оплата производится по получении на почте.

* * *

Умолкаю, разглядываю газетную вырезку, словно собственный некролог.

В правом верхнем углу — эмблема. Мишень, вместо «десятки» — оскаленная морда тигра, и вверху, опять же справа, написан… девиз? лозунг? призыв?!

«Ваша задача — выжить».

Вот оно, значит, вот где собака зарыта: выжить — и никаких гвоздей!

Хорошая мысль.

Добрая.

— Самая разрушительная система выживания из всех существующих… — Ленчик как бы пробует слова на вкус и отчетливо морщится: слова горчат. Да и пованивают изрядно. Губы Ленчика еще некоторое время шевелятся беззвучно и наконец отвердевают, заложив в углах две жесткие складки.

Ленчик уже однажды выживал; полагаю, это было довольно-таки разрушительно.

Больше ему не хочется.

Я молчу. Даже не замечая, что держу клочок серой, потертой на сгибах бумаги брезгливо, за самый краешек, двумя пальцами. Говорить решительно не о чем. Самая обычная дурилка для халявных героев, обожающих, чтоб дешево и сердито. Три месяца легкого рукоблудия — и ты будешь ломать насильникам руки-ребра, увечить посягнувших на твою раздолбанную тачку и консультироваться с юристом по поводу двойного убийства. Кр-расота!.. Живи не хочу. Не хочу. Я-то давно выяснил, что так жить я не хочу, ибо тошнит; но такие рекламки не про меня писаны. Впору все выключить, выбросить и…

Забыть?

«Даглас Дедж — уже все…»

«Сегодняшнюю нашу героиню зовут Ольга… трое насильников попали в больницу с телесными повреждениями разной тяжести, наиболее активный из нападающих находится сейчас в

реанимации…»

«Ты только вот о чем подумай, сэнсей, ты крепко подумай: двенадцать лет жизни — коту под хвост! А, сэнсей? Что скажешь?!»

Ничего не скажу.

Промолчу.

Нажимая на кнопку *«play»*, я знаю: говорить пока не о чем. Все, что понимаю я, мои друзья понимают не хуже; все, что берет меня за горло, их берет не менее ласково; я, к сожалению, уже влип в эту историю по самые уши, и, хотя никогда не поздно отмахнуться и отсидеться, хотя добрые дела всякий раз выходят боком, увеличивая число врагов, — час мужества пробил на наших часах, обещая умножение неприятностей на единицу площади задницы.

Да, Димыч?

Да, Ленчик?

Да, молчат они.

Экран рябит полосами, потом, без обычных титров и прочей лабуды, являет нам спортивный зал. Стандартный, не шибко большой зальчик; похоже, забугорный. Откуда такое ощущение, сказать не могу, но слишком уж он… чистенький?

Нет, не так.

Стерильный.

И музыка за кадром — стерильная. Дзынь, пауза, дзын-н-нь, пауза, там-та-там, дз-з-зынь, пауза… странно, а ведь в сон не клонит, хотя вроде бы все к тому идет.

Вдоль стен, в специальных стойках из пластика, размещено оружие. Впрочем, и на стенах его хватает. С избытком. Камера долго тычется рылом в эту экспозицию, мне сперва становится скучно, а потом скука улетучивается вспугнутой птицей. Оружие необычное; вернее, самое обычное, и оттого…

Когда я почти месяц торчал в Чикаго, меня знакомые несколько раз пытались затащить в клубы кунг-фу и карате. Я ограничился внешним осмотром; со стороны улицы. Времени лишнего не было, и кроме того… Пожалуй, захоти я, и время нашлось бы. Нашлось же оно на контакты с федерацией Морио Хигаонны… Наверное, в славной Чикагщине есть и другие залы, нежели виденные мною тогда; даже наверняка есть — но эти меня изрядно смутили. Представьте себе средних размеров улицу: пешеходов практически нет, все на машинах, медленно ползут в теснине тротуаров, а по обе стороны — витрины одноэтажных магазинов. Стеклянные, выставляющие на всеобщее обозрение лаковую требуху павильона, пестрящие рекламой… аппаратура,

продукты, видеосалон… зал карате. Равный среди равных. Такая же стеклянная стена, как и у всех, а за ней, в открытом для взглядов аквариуме, занимается человек десять. Редкие прохожие бредут себе мимо без малейшего интереса, но вот кто-то остановился — смеются, тычут пальцами два чернокожих пацана в бейсболках козырьками назад, тощая бабулька в джинсовом комбинезоне и цветастой блузе долго жует губами, прежде чем двинуться дальше; англосакс в деловом костюме приценивается к парным топорикам, выставленным тут же, с той стороны стекла, между кимоно с вышитым на спине кулаком и зловещего вида нунчаками, потом он решительно заходит внутрь (кто-то из аборигенов зала суетливо бежит к клиенту, наскоро поклонившись — кому именно, клиенту или учителю, мне не видно) и покупает вместо топориков статуэтку из бронзы: мужик задрал ногу к потолку, явно решив помочиться оригинальным способом и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Придирчиво осмотрев статуэтку и взяв сдачу, англосакс уходит, садится в припаркованный рядом автомобиль, а внутри стеклянного аквариума все прыгают, дергаются люди…

Товар.

Выставленный на сезонную распродажу; возможно, даже со скидкой.

— Зайдем? — спросила меня моя сестра, оборачиваясь с переднего сиденья. — Ты же хотел…

Ее муж, отличный парень из Литвы, тронул машину с места, не дожидаясь моего ответа.

Он и так все понимал.

Он только год назад переехал в Чикаго.

…обычно в таких залах оружие — сплошная экзотика. Алебарды, нагинаты, мечи всех мастей и размеров, малые секирки и замысловатые крюки, трезубцы и боевые плети, всякие там цепы трехзвенные…

Здесь, в «Заэкранье», дело обстояло иначе.

Здесь обитали практики-утилитаристы. Одних столовых ножей, аккуратно облюбовавших западный уголок стены напротив, я насчитал штук десять. Разных: одними мясо резать, а мясо, оно без разницы — чье; другие пилочками, тупые, рукояти из дешевой пластмассы… Дрянь ножи. Хотя и десантные рядом имелись, и охотничьи, в кожаных ножнах, и откровенно зэковские, чудовищно выгнутые, с кишкодерами, и «бабочки» — не китайские тесаки, а складные, с двойной рукоятью.

Тростей было — впору полк хромых обеспечить.

Возле крайней трости, на коврике, висел сплошной кошмар в

двух экземплярах: древко в локоть длиной, на него насажены тройные когти с зазубренными наконечниками… Старые знакомые. Продаются у нас в любом магазине инструментов, называются «Р-малое рыхлители почвы». И ни один суд не докопается — купил за три восемьдесят, еду с огорода…

Отличная штука.

Шаолиньские монахи от зависти бы сдохли.

Вместо алебард-трезубцев в стойках имелись пожарные багры, вилы «сельскохозяйственные обыкновенные», бильярдные кии, бейсбольные биты, кувалды на длинной ручке… рядом с одной из кувалд висел на гвоздике телефонный шнур. Со штеккерами-розетками на концах провода.

Ниже, в ящике, грудой были свалены кастеты.

Пара стульев — складной и обычный, с мягкой спинкой — примостились рядом, всем своим видом намекая: «И мы!.. И мы тоже!..»

Из-за края экрана вышел невысокий блондин, лет на десять старше меня, в спортивном костюме, и уселся на тот стул, что складной.

— Вы удивлены? — приветливо спросил блондин, улыбаясь. — Зря. Давайте поговорим.

Вернее, спросил-то он по-английски, а переводчик уже расстарался для наших осин. В отличие от обычных гундосых тружеников пиратских видеоканалов, этот «голос за кадром» был звонок, отчетлив, и сразу чувствовалось: он не станет традиционное *«Fuck you!»* переводить то как «Черт побери!», то как «О господи!».

Как есть, так и скажет — звонко, отчетливо…

Молодец.

Блондин удовлетворенно кивнул, словно расслышав мои мысли. И развил свою идею насчет «Удивляетесь? Зря!». Я, в общем-то, и не удивлялся особо, потому и не вслушивался. Главная мысль тирады состояла в очень простеньком постулате: алебарды-мечи-саи — дело дрянь, на дурака-простака, ибо в реальной жизни мы встречаемся с таким оружием разве что в музее. А раз так — весь этот металлолом на свалку истории! Вот телефонным шнуром вас и впрямь задушить могут, в отличие от мифического платка-румала, коим, по слухам, пользовались душители-тхаги. Значит, шнур нам понадобится, а румал — нет.

Вывод?

Вывод был ясен.

Как и дальнейшие тезисы блондина: у среднего человека постоянный стресс, постоянный страх перед насилием, государство спит сном праведника, у органов правопорядка

цирроз печени, значит, «спасение утопающих — дело рук самих утопающих!». Туш, все встают. Но (всем спасибо, можно сесть) вышеупомянутый средний гражданин страшно занят, обеспечивая семью материальным достатком, и нет у него сил-времени-возможностей ни светлым днем, ни темной ночью… но не падайте духом и не спешите покупать пистолет! Потому что «Технология взрывного метабоя»…

Я снова поймал взгляды моих друзей.

«Давай, не стесняйся!» — молили эти взгляды.

И я нажал на кнопку ускоренного просмотра.

Блондин беззвучно разевал рот, временами вставал и прохаживался по залу; потом к нему явился лысоватый партнер, голый по пояс, зато в джинсах и кроссовках. Я было притормозил, поглядел, как блондин вертит сказку про белого бычка — вот мы ломаем мил-дружку шею ручками, вот точно так же, теми же движеньицами, но телефонным шнурочком, вот занавесочкой, скрученной в жгутик, а вот и брючным ремешком, и все это не требует «большой физической силы, ловкости, длительных изнурительных тренировок»… За кадром бренчала музыка: вот и славно, трам-пам-пам!

Трам-пам-пам, согласился я и крутанул пленку дальше.

Да, блондин изображал членовредительство весьма профессионально, только зачем лапшу на уши вешать: он-то сам никак не три месяца учился, и даже не три года!

Монах, зачем ты подбросил нам эту чушь?

Поиздеваться решил?!

…Где-то с середины кассеты возник титр: «Месяц первый».

Его сменил титр поменьше: «День первый» — и внизу, меленько, бегущей строкой: «График рассчитан на пять занятий в неделю по сорок минут каждое. При дефиците времени занимайтесь три раза в неделю. В таком случае срок полного освоения увеличится до пяти месяцев…»

Мы еще немножко посмотрели разминку: славная такая разминочка для среднего клерка.

В обеденный перерыв, не снимая галстука.

Потом еще немножко: оказывается, боевых стоек в наличии имеется одна штука, партийная кличка — «стойка естественная»; короче, стойте, как стоите, и все насильники-грабители со страху разбегутся.

Потом еще…

— Пошли чайку хряпнем, — неожиданно сказал Ленчик, вставая.

И мы пошли хряпать чаек.

* * *

Ленчик перезвонил мне поздно вечером.

Когда мы расставались, он прихватил с собой злополучную кассету («Да забирай ее ко всем монахам!» — отшутился я). Не знаю уж, что за блажь треснула ему в голову, но Ленчик вознамерился эту «Технологию…» переписать. На добрую память. Так вот, в телефонной трубке звучало еле сдерживаемое удивление: кассета переписываться отказалась.

Наотрез.

«Снег», полосы и череда звуков, «простая, как мычание».

Жена с дочкой уже легли спать, а я все сидел в комнате один на один с самим собой, все думал, что мистики в этой истории нет. Есть сюрреализм, будь он… Есть абракадабра, есть нелепая цепочка совпадений, есть все, что угодно, и чем скорее оная история закончится, тем лучше.

Ну пожалуйста, ну, я прошу тебя — заканчивайся!

Ладно?

Я даже не сразу понял, что уже с полчаса неотрывно пялюсь в одну точку. На книжную полку, туда, где стояла книга Андрея Столярова «Монахи под луной». Когда я это понял, то встал и переставил ни в чем не повинную книгу во второй ряд.

Ночью мне снился Володька Монахов с телефонным шнуром в руках.

Он танцевал гопак в сиянии оранжевой луны, залихватски вскрикивая, вертясь волчком и щелкая шнуром, как цирковым шамбарьером. А в черном небе, прямо в центре ослепительного диска скалилась тигриная пасть, беззвучно внушая мне:

«Ваша задача — выжить!.. Выжить…»

Сравни вслух карате с литературой или с каким другим искусством — девять собеседников из десяти тебе в глаза рассмеются. И будут правы со своей колокольни. Высокая у них колокольня, гремит медь под ударами била, ни хрена не слышно, прости, господи, за вежливость…

А мне все другое вспоминается.

В 1928 году Всеяпонская ассоциация боевых искусств пригласила для участия в фестивале окинавского мастера Мияги. Будучи очень занятым преподаванием, Мияги-сэнсей послал вместо себя своего лучшего ученика, некоего Синзато Дзинана — жить которому оставалось всего ничего, ибо в последний год Второй мировой пробьет его срок, в числе многих. Когда потрясенные его выступлением мэтры из ассоциации стали спрашивать, как называется стиль молодого бойца, Синзато на

миг стушевался. Его учитель в свое время овладел местными стилями «Кулачный бой Рюкю» и «Руки города Наха», трижды посетив Китай, отдал дань «Белому Журавлю» и «Богомолу», «Кулаку Формы-Мысли» и «Ладони Восьми Триграмм»… Но свою собственную, индивидуальную манеру Мияги-сэнсей никогда не называл каким-то конкретным именем — видимо, не придавая терминологии особого значения. Но не зря учитель избрал для выступления именно Синзато — улыбнувшись, он назвал свой стиль *«Ханко-рю»*, что означало «Школа Середины».

По возвращении, выслушав ученика, Мияги-сэнсей похвалил Синзато за правильный выбор, добавив, что воистину предпочтительней Срединный Путь — ибо «тьма вещей на свете бывает то жесткой, то мягкой».

Жесткость, сила — иероглиф *«го»*.

Мягкость, податливость — иероглиф *«дзю»*.

Так и стала из *«Ханко-рю»* — *«Годзю-рю»*; из «Школы Середины» — «Школа Силы и Слабости».

Середина, она и есть середина.

Не так ли в любом искусстве? Отдай дань тончайшей мягкости, внутренним изыскам, плохо различимым невооруженным глазом, — и быть тебе на веки вечные предметом восторга для редких эстетов, желающих прозревать скрытое, а для множества людей быть тебе непонятным чудаком, желающим странного. Уйди в силу и мощь, яви чудеса и подвиги, разрушая преграды и сметая помехи, — толпы воспоют тебе хвалу, честную, заслуженную хвалу, но не станет ли однажды сила грубостью? не уйдет ли с годами?!

Каждый выбирает для себя.

Сила или слабость?

Жесткость или мягкость?

Тело или душа?

Но Будда сказал однажды, вдыхая аромат цветка: «Все вы идете к истине разными путями, а я стою на перекрестке и ожидаю вас…»

Перекресток путей.

Середина.

— Ты чего вертишься? — спросила жена.

Я не ответил.

Дмитрий

«Внутренний будильник» сработал исправно: за пять минут до внешнего. Сонно протирая глаза, выбираюсь из постели (жена

при этом даже не ворочается, видя тридцать третий сон, — давно привыкла к моим интернет-подъемам ни свет ни заря). Накинув халат, плетусь в кабинет. С утра связь обычно хорошая (часов до восьми-девяти, потом начинает резко портиться), вот и приходится трудиться почтовым ассенизатором вместо сладкого посапывания в подушку. Не было печали, так модемы подключали…

Злодей-модем обиженно свиристит курским соловьем, подмигивает огоньками индикаторов: эй, чувак, чего брюзжишь? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика… наших мальчиков. Только я ее вам не отдам, потому что у вас доку ментов нету!

Отдал.

Поскрипел, чаю попил (так и думал, что пролью!) — и отдал.

Подымите мне веки! — вперяю туманный взор в крик души с нашего сайта. Некий сибирский «Миха», то ли с углубленного бодуна, то ли с эстетического иммунодефицита, на весь электронный мир орет нижеследующее (орфография автора сохранена по причине гениальности):

«Итак, ответте мне господа отчего вы столь грубо обошлись с моими земляками: Люком и Вованом, отказав им в наивной просьбе выслать Ваше фото с афтографом, а также не отреагировали на присланную ими же идею для, уверен, просто гениальной Эппопеи?!!»

Отреагируем, друг Миха, непременно отреагируем…

Вот только штаны подтянем — и отреагируем.

Ага! Оно, родимое, то самое письмо из издательства, которого мы ждали. *«Нас интересует… по возможности до конца месяца…»* Стучу по клавишам на автомате: в первый раз, что ли? Строки привычными брызгами летят на экран: *«…до конца месяца — вряд ли… на незаконченные книги мы договоров не подписываем… примерно в сентябре… с наилучшими…»*

И так далее в том же духе.

Все равно в итоге будет как в прошлый раз — и смех и грех! Когда купцы бросили швырять виртуальные шапки оземь, прекратили виртуальный же торг и ударили наконец по трижды виртуальным рукам, сменив под занавес компьютер на телефон, на том конце провода прозвучал обегченный вздох:

— Ф-фух, договорились! Пойду-ка я, выпью по этому поводу рюмочку коньячку, чего и вам желаю… Кстати, а о чем роман-то?

Он, воздыхатель, думал, что мы шутили, когда ответили:

— Понятия не имеем!

Он даже рассмеяться соизволил.

Поспешно сохраняю почту в текстовом формате, сбрасываю файл на дискету и бегу одеваться, так до конца и не проснувшись.

Перед воскресной тренировкой ритуал — заход на книжную «балку».

* * *

«Балка» встретила нас веселым галдежом, разноцветными палатками и штабелями пачек с книгами. А также газосваркой: варили решетчатое ограждение, целясь в перспективе поставить у ворот сборщика-мытаря.

Народу всегда в воскресенье навалом, а сегодня и вовсе — не протолкнешься.

Спешили успеть на халяву.

— Стой, стрелять буду! — встрепанным Петрушкой выныривает из-за книжных штабелей знакомый «книгопродАвец». — Когда ваша новая книга выйдет?

— Так две недели назад ведь вышла! — изумленно отвечаем мы, воззрясь на чудака. — Вон, у тебя в третьем ряду лежит…

«КнигопродАвец» по имени Миха — само вспомнилось, спасибо Михе электронному! — с презрением машет рукой: послушайте их, люди добрые, чего городят!

— Какая ж она новая?! Следующая когда будет? Меня покупатели задолбали…

Замечаю краем глаза: Олег начинает заводиться.

Есть у него это — заводиться по пустякам. Форму поддерживать. А когда всерьез дело сворачивает — майская улыбка, сплошная безмятежность и очки леденцами блестят.

— Завтра, — сообщает он. — Завтра с утреца и жди.

— Завтра?!

— Ага. Мы намедни опару поставили, к полудню тесто подойдет, к вечеру испечем. Истинно реку: завтра с утреца в продажу поступит, оптом и в розницу. Жуй не хочу.

Обиженный Миха умолкает.

Но долго обижаться он не умеет.

Как и молчать.

— Видали?! — будто зуб из многострадальной челюсти, выдергивается со стеллажа карамельный томик: очередной верстовой столб из популярного сериала в стиле «Меч, магия и пирожные». — Во как работать надо! Опару они поставили…

Мы дружно киваем, соглашаясь. Нам и купец-издатель не единожды говаривал, что работать надо так и только так, дабы не было потом стыдно за бесцельно прожитые годы.

Ну не дал бог таланту, куда денешься…

Жаль, наше согласие с майским тезисом Михи истолковано превратно.

— Что, не глянулось? — Рядом с оратором возникает его напарник, крепкий парень в штормовке, больше похожий на шофера-дальнобойщика, чем на книжных дел мастера. Напарник искренне удивлен. — А мне по кайфу! Пять первых книг только и делали, что злыдней мочили и жрали все время… пончики с кремом. А в этой кофе пьют, двойной, без сахара. Совсем, как я, — я тоже кофе люблю! Двойной…

— Без сахара, — вежливо уточняет Олег, глядя в пространство.

— Без сахара! Не, и злыдней тоже, не без того… Прикольная книженция!

«Ты б уж лучше обругал», — написано у меня на лице.

Кириллицей, аршинными буквами.

— Точно! — Миха встает с напарником плечом к плечу; можно подумать, что мы у них кусок изо рта выдираем. — Не всем же сплошной наумняк писать! У вас-то, у вас же самих все время один сюжет!

Наши брови, как по заказу, ползут на лоб.

Где и остаются.

— Ну, каждый раз начинаете с такого замороченного куска страниц на пять-десять, что половина читателей сразу обламывается и книгу закрывает!

— Эта половина — на бронепоезде, — отвечаю машинально, мало заботясь: поймет ли меня Миха, не поймет, вспомнит ли старый анекдот или только руками разведет. Утомился я от таких разговоров; утомился от лозунгов «Хорошая книга легко читается!». Как писал один злой и умный одессит, ныне израильтянин: «Уровень усвояемости достиг уровня выводимости из организма». Легко заниматься любовью, любить — трудно; легко пройти мимо, остановиться не в пример труднее; легко вздохнуть «Слава богу», когда на экране ракета, счастливо минуя главного героя, врезается в автобус со школьниками… Легко бродить в компьютерной стрелялке с уровня на уровень, включив «режим бога» и кося монстров пачками.

И кофе прихлебывать.

Двойной, без сахара.

Я и сам люблю двойной, только с сахаром.

Сладкоежкой уродился.

Вокруг постепенно начинает собираться толпа, слушают, кто-то пытается вставить свою реплику. Вот так всегда: стоит заявиться на «балку» и остановиться с кем-нибудь поговорить —

мигом заваривается литературный диспут с привлечением «балочной» общественности.

— …А вот это…

— А вот это как раз не то, что…

— Вот именно, не то что всякие там…

— Не гони! Сам ты всякий там… и тут ты тоже всякий!..

— Ну, это вообще идеальный вариант: когда читаешь запоем, а потом понимаешь, что надо перечитать — потому что тянет вернуться, договорить, доспорить…

— Ну, мля, не одну ж нетленку ваять! Надо и для народа чего-нибудь, позабойнее… «Москва бандитская» читал?

— Раз «бандитская», значит, точно для народа…

— «Великие мысли» — комплектом за пять гривен!.. Мелкий опт со скидкой…

— Наиздавали тут! Всяких… как их… во, этих — Дяченков!

Мы с Олегом, как по команде, оборачиваемся.

Здоровый краснолицый хмырь в распахнутой куртке с полуоторванной «молнией», засаленных брюках и сбитой на затылок кепке тычет пальцем в прилавок, обращаясь к своему угрюмому длинномерному спутнику, затянутому с ног до головы в умопомрачительно потертую «джинсу».

— Простите, вы их читали, «этих Дяченков»? — Олег мгновенно становится безукоризненно, даже несколько утрированно вежливым. — Поделитесь впечатлениями!

— Не читал! И читать не буду! Издают тут всякую… — Хмырь долго ищет подходящее слово, роясь в карманах… — Всякую… порнографию!

В подтверждение он тычет волосатым пальцем в ближайшую обложку: девица в кисейном покрывале на особо пикантных местах смотрит вдаль, у ног девицы трется полосатая кошка.

Возразить нечего: обложка пакостная.

Тем более что это наша книжка. Наша, матушка, наша, родимая, еще прошлогодняя. Издатель тогда просто-напросто, не мудрствуя лукаво, присобачил слайд поярче из имевшихся в загашнике — тот же слайд вскоре косяком объявился на пиратских компакт-дисках из серии «Sax and sex».

Да, тут не поспоришь. Народ не безмолвствует, отнюдь, народ четко и ясно выражает, формулирует… Хмырь гордо удаляется, ухватив за рукав своего флегматичного спутника.

— Повбывав бы… — бурчит спутник, ни к кому конкретно не адресуясь, и мы с ним полностью согласны.

Пора уходить.

— Сейчас еще «Книжное обозрение» купим — и идем тачку ловить.

Уже у самого выхода нас догоняет чей-то запоздалый вопль:

— Так когда ваша следующая книга выйдет?!

Оборачиваемся.

Кричит флегматик в «джинсе».

Хмырь стоит рядом, увлеченно листает «Москву бандитскую».

Даже отсюда видно…

* * *

Весна оглушительно чирикала из клейких зеленых листьев, шумела над головой кронами деревьев, подмигивала солнечными бликами: весна была нам рада.

И мы ей, ясное дело, тоже.

Знакомая тропинка убегала назад, пружиня под кроссовками, и очень скоро мы добрались до нашей старой поляны, за десяток лет плотно утоптанной босыми пятками.

Полистать трофеи с книжной «балки» Олег не дал: громкий хлопок в ладоши — и вот уже группа замерла перед сэнсеем. Это *до* и *после* занятия есть друзья, знакомые, коллеги и соавторы, а сейчас есть сэнсей и строй карате-ка.

Все.

Привычный поклон.

— *Сейдзэн*!

Пару минут — на то, чтобы успокоить дыхание и выбросить из головы посторонние мысли.

Хлопок.

— *Хэйко-дачи йой*!

От слитного выдоха трех десятков человек по лесу проходит ветер. Утрирую, конечно. Но впечатление именно такое.

Дыхание, разминка. Деревянное с утра тело постепенно разогревается, становится гибким, сбрасывая остаточные оковы сна, суставы перестают хрустеть, мои тридцать пять не кажутся таким уж бременем лет, импульсы силы мягко перекатываются по телу, готовые сконцентрироваться и выплеснуться в нужной точке…

— Локоть в сторону не отводи.

Вот так. Начинаешь тащиться от «импульсов» — тут же что-нибудь выпирает в сторону. На этот раз локоть.

Слежу за гулящим локтем. То, что позиция сделалась «кривой», успеваю заметить сам.

— Вперед не проваливайся.

Вот так. Хвост вытащишь — нос увязнет. Нос вытащишь…

А все потому, что головой много думаю. Это за рабочим

столом головой думать надо, и то… А здесь — животом, или по-нашенски, по-японски, — *«хара»*. Пытаюсь «отключить» голову и поймать ощущение движения целиком. Получается, но со скрипом.

Не хара, а хара-кири.

— Уже лучше. Только не дыши так тяжело.

Не. Дышу. Так. Тяжело.

Дышу. Легко. И. Свободно.

— *Ката Гекусай-дай-ичи*. Мягкое исполнение. Хай!

Блок. Удар. Уход. Блок. Блин! Что это я из себя Буратино изображаю?! Блок-удар-уход-блок-блин. Слитно, без пауз. Совсем другое дело.

— По парам. *Гекусай-дай-ичи*. Парный вариант. Хай!

Блок-удар-уход-блок. Блок-удар-уход…

Мужика я заметил, когда мы вновь перешли к одиночным формам (в паре особо по сторонам пялиться некогда — сразу в глаз засветят). В общем-то я и теперь особо не пялился. Просто мужик стоял почти в точности за спиной Олега, метрах в двадцати, за кустами, скрывавшими его до половины. В итоге заприметил я гостя, глядя, как Олег показывает очередную связку. И потом поглядывал изредка, повторяя движения за сэнсеем, благо смотрел туда же.

Мужик был и не мужик, собственно, а весьма представительный мужчина в самом расцвете сил. Или, может быть, еще немного не доросший до самого расцвета (это я себе льщу), но явно к нему приближающийся.

Раньше на нас приходили смотреть более или менее регулярно. Обычно так, как этот, — издалека, не мешая. Посмотрят-посмотрят — и уйдут. Постепенно местные грибники и бегуны трусцой к нам привыкли, перестали обращать внимание. Иногда подходили после тренировки, спрашивали: чем это мы занимаемся и можно ли к нам записаться (чаще — записать сына)? Таким Олег давал телефон инструктора, работавшего с группами первого года (своего тезки, кстати). И уж совсем редко заявлялись какие-нибудь наглые (чаще всего — изрядно поддатые) субъекты, прямо поперек тренировки предлагая: «А давайте!.. Ну давайте, а?!»

На моей памяти такое случалось дважды.

Оба раза субъекты относительно вежливо, но твердо посылались подальше, и в итоге уходили в указанном направлении. Обиженные и гордые одновременно, громогласно считая нас трусами. Разумеется, у трех четвертей группы (в первый раз — и у меня в том числе, грешен!) чесались кулаки настучать врагу народа по фейсу, но в итоге геройские

поползновения обеих сторон оставались неудовлетворенными. И правильно. Тренировка есть тренировка. Прерывать ее, чтоб помахать кулаками с первым встречным, — позор и бардак. Олег такого допустить не мог и не допускал.

Зато явление мужчины, который стоял сейчас за кустами и отнюдь не прятался, но и не афишировал своего присутствия, — его явление было по меньшей мере странным.

Во-первых, странно было видеть посреди леса человека в дорогом темно-лиловом, почти черном костюме «с искрой». При галстуке. При «дипломате». Такого себе очень стильного молодого человека, словно минутой раньше вышедшего из дверей престижного клуба «Рокамболь» (или «Карамболь»?.. Не помню…) и по рассеянности направившего стопы свои в ближайший лесомассив.

По рассеянности?

Уж каким-каким, а рассеянным стильного посетителя назвать было нельзя. И следил он за происходящим на поляне более чем внимательно. Без снобистского пренебрежения «великого знатока»-теоретика; без недоумения человека, от боевых искусств далекого; без щенячьего восторга дилетанта, побывавшего на двух-трех тренировках и вдруг увидевшего, чем занимается старшая группа. Понимающе он смотрел. С одобрением.

Очень интересный молодой человек.

И стоит, не уходит. Долго уже стоит. Вот и тренировка к концу подошла.

— *Санчин-дачи йой*!

Успокаиваем дыхание. Вдох — через нос, прямо в живот, минуя грудь; выдох — через рот, с шумом, но опять-таки прямо из живота наружу, чтобы в груди воздух не задерживался. Руки, как поршни, сами собой движутся вперед-назад, вперед-назад. Еще бы не сами собой — за столько-то лет повторения, которое м-мать учения…

— *Р-рэй!*

Поклон.

Человек в костюме коротко кланяется вместе со всеми (черт возьми!), подбирает стоящий рядом «дипломат» и направляется к нам.

Олег с Ленчиком, который помогал ему в течение занятия, оборачиваются на звук шагов.

— Он почти час за нами наблюдает, — тихо сообщаю я им.

Олег кивает. Понял, дескать.

— Кстати, дай-ка я «Книжное обозрение» полистаю, — в полный голос говорю я.

— Возьми в сумке.

— Знаю.

Все, тренировка закончилась, учителя и учеников больше нет, а есть мы с Олегом, соавторы и друзья, а также наш общий приятель и просто хороший человек Ленчик.

Лезу в Олегову сумку, извлекаю газету, искоса поглядывая на гостя в костюме. Ну, сапожник-портной, кто ты будешь такой и чего тебе здесь надо? Ведь не станет ни один нормальный человек переться в лес, нацепив галстук, чтобы битый час наблюдать за тренировкой группы карате. Значит, что-то тебе, мил дружок, от нас надо. Что? Записаться хочешь? Сына записать? Сомнительно…

— Здравствуйте. Вы — Олег Семенович?

— Да, я. А с кем, простите, имею честь?..

С незнакомыми людьми, особенно без видимой причины называющими его по имени-отчеству, Олег всегда поначалу общается в подобном высокопарно-официальном штиле.

— Шемет Константин Георгиевич. Менеджер клуба боевых искусств «Тайра».

Босс каратюкской мафии.

Шучу.

Хотя в каждой шутке…

Прямоугольник визитки, кофейный с золотым обрезом, перекочевывает в Олегову ладонь, юлой вертится в пальцах.

— Димыч, там в бумажнике мои визитки. Дай, пожалуйста.

Нахожу. Даю.

— Ну что ж, приятно познакомиться. Наслышан о вашем клубе.

— А я — о вас и вашей школе. Ведь после того, как Шеф отошел от тренировок, школу, насколько мне известно, возглавили вы?

Константин Георгиевич — сама любезность. Очень осведомленная любезность, надо сказать. И последняя его фраза звучит скорее утверждением, чем вопросом.

— Да, я.

К чему скрывать очевидное?

— Я тут немного понаблюдал, уж извините, за вашими занятиями. Интересно. Нет, без шуток, мне действительно было очень интересно! Я уже давно хотел познакомиться с вами, да вот случая все не представлялось… Меня вообще всегда интересовали выпускники последней инструкторской группы Шефа. И вы — в первую очередь.

Гость поправляет галстук; срывает с ветки клейкий лист, разминает в пальцах.

Пьеса «Колодезный сруб», выход на авансцену, реплика: «…

тебя не видел я с тех давних детских дней, когда мы у колодца мерили свой рост…»

Апофеоз любящих душ.

— Да? — чуть усмехается мой соавтор. — В чем же причина столь пристального внимания?

Мне это тоже весьма любопытно. Поэтому я не спешу отходить в сторону и переодеваться. Стою, делаю вид, что увлечен статьей о кризисе литературы. А сам слушаю, время от времени поглядывая на Босса, как мысленно окрестил нашего гостя. Хочет кого-то из наших в свои «бои без правил» завербовать? Это он зря. Не выйдет у него ничего. Пробовали, и не раз…

А может… и он насчет Монаха?!

Может.

Кажется, Олег подумал о том же. Когда долго пишешь с человеком в соавторстве, развивается нечто вроде двухсторонней телепатии. Мистика это или нет, но — факт. Проверенный неоднократно нами обоими.

И не только нами.

— Ну, причин здесь несколько. Я прекрасно знаю, что ваших ребят на соревнования не затащишь, и это принцип вашей школы. А чужие принципы я уважаю, поэтому не буду даже и пытаться.

Опаньки! А этот Босс очень даже не дурак! И действительно много о нас знает. Я проникаюсь к менеджеру «Тайры» невольным уважением.

— Откуда такая осведомленность? — чуть приподнимает бровь Олег.

— Ветром надуло, — беззлобно смеется в ответ Константин Георгиевич. — От ваших же ребят… от бывших ваших ребят, которые сейчас выступают в моей команде. Они ведь потому от вас и ушли…

Укол коварный и деликатный. Не укол — намек. Остановка лезвия у самой цели. Молодец, Босс, молодец… умеет.

Да, я помню. Года три-четыре назад парочка крепких парней ушла из клубной группы. Вот они, значит, куда подались. Ну и флаг им в руки! Каждому — свое.

— Нет, я и Шефа, и вас прекрасно понимаю! Ведь даже у нас это только называется — «бои без правил». Проводить до конца болевой или удушающий нельзя, потом удары по глазам, в горло, в пах… Да что я вам буду рассказывать — вы сами не хуже меня знаете! Выпусти кого-нибудь, у кого это дело на рефлексе, глядишь — у партнера уже колено сломано. Или локоть. Или еще что… А у нас руки-ноги не казенные, людям еще выступать и выступать…

И опять — молодец, Босс! Шеф в свое время нам тоже это втолковывал — только другими словами.

— Но ведь, кроме коммерческих турниров, существуют всяческие показательные выступления, театрализованные шоу боевых искусств, демонстрации разрешенных и запрещенных приемов перед соревнованиями, демонстрация ката, перебивание предметов… Думаю, подобное не идет вразрез с вашими принципами?

— Нет, не идет, — кивает Олег.

— Вот и отлично! Значит, у нас есть тема для разговора. Только предлагаю продолжить его в каком-нибудь кафе. А то посреди леса… я вам даже переодеться не дал…

— Ничего не имею против. Сейчас переоденемся.

— Да, конечно, я подожду. Кстати, книги ваши я тоже читал. Между прочим, боевые сцены меня весьма впечатлили и порадовали. Это я серьезно, не в качестве комплимента. Видно, что знающий человек писал. А вы, я так понимаю, соавтор Олега Семеновича, Дмитрий Евгеньевич? — Константин Георгиевич оборачивается ко мне.

И все-то он знает! Небось фото наше в газете видел — печатали пару раз. Или телепередачу о фантастике смотрел, где мы мелькали. Ничего особенного. Но…

— Вы, как всегда, правы. — Я давно обнаружил среди визиток Олега одну свою (непонятно как сюда затесавшуюся) и теперь вручаю ее Боссу, получив взамен еще один кофейный прямоугольник с золотым обрезом. Ага, визитка у него, конечно, «крутая», по спецзаказу сделанная, зато электронного-то адреса у него и нет! Хоть в этом ему нос утрем!

Хотя, собственно, почему, зачем и в чем мы должны «утирать ему нос»?

Ладно, проехали. Слишком уж он обаятелен, вот и копится в ответ подспудное раздражение…

— А это Леонид Владимирович. — Раз пошла такая пьянка, Олег и Ленчика решил подать в сервировке. — Если вы интересуетесь последней инструкторской группой Шефа, то он в сфере ваших интересов.

Ритуал знакомства. Рукопожатие, обмен визитками. Все, круг официальных лиц, которые сейчас отправятся в кафе, очерчен.

Можно идти переодеваться.

* * *

Кафе «Дубрава» располагалось прямо на опушке — мы его

давно заприметили и время от времени захаживали. Расположились за столиком, под белым тентом с надписью *«Marlboro»*. Мы с Олегом заказали «Княже» и перцовые чипсы, а Ленчик с Боссом, не сговариваясь, — яблочный сок.

Босс, выходит, тоже здоровье бережет.

— Итак, свое предложение я уже высказал. У вас наверняка найдутся ребята, которые не откажутся выступать в показательных. Регулярно. И, естественно, не бесплатно. Раньше мы приглашали то одних, то других — но это дело хлопотное, а нам бы хотелось иметь постоянную группу. Естественно, требуются профессионалы. Найдутся такие?

— Найдутся. Я переговорю. У нас есть группа, которая занимается подобными вещами. По линии Комитета по делам молодежи и спорта.

— Наслышан. Да, чуть не забыл: мы имеем возможность предоставлять зал для тренировок. С манекенами, «грушами»… Если договоримся: согласуем часы — и добро пожаловать!

— Вы чертовски убедительны, — смеется Олег.

— Вот и отлично. Первый вопрос, можно сказать, решили. Переговорите со своими ребятами — и на днях созвонимся. Теперь, с вашего позволения, я перейду ко второму вопросу.

Во как! Прям-таки комсомольский деятель десятилетней давности!

Только повежливее, ибо не перед подчиненными в горкоме. Кстати, вполне возможно. Что-то в нем есть от бывшего «вожака молодежи».

— Дело в том, что у нас образовалось нечто вроде… м-м-м… клуба, что ли? Элитного такого клуба. Я ведь тоже в свое время занимался: сначала боксом, потом — дзюдо, потом — Шотокан. Да и сейчас форму поддерживаю. Мы собираемся, обмениваемся информацией, видеокассетами, книгами, работаем друг с другом для души. Иногда приглашаем кого-нибудь из знаменитостей или сами к ним ездим. Как вы понимаете, это не для всех — для элиты. Адрес я дам, заходите. Думаю, мы найдем общий язык.

Ленчик едва заметно кривится. Не нравится ему слово «элита». И мне не нравится.

И Олегу; только кривится он более чем заметно.

— Однажды меня уже приглашали в такой «элитарный» клуб, — глядя прямо в глаза Боссу, ласково произносит он. — Там тоже был «обмен опытом», кассеты, а заодно сауна, девочки и коньяк… Потом предложили обучать людей небезызвестного Софрона, а то и самому кое в чем поучаствовать. Второй раз я туда не пошел. И до сих пор рад, что не пошел. Часть завсегдатаев «клуба» теперь отдыхает на Холодной Горе, часть в бега

подалась… часть — в начальство…

Босс хохотал громко и искренне, чего я от него никак не ожидал. Пожалуй, даже слишком громко. Темнишь ты, Константин Георгиевич, ох темнишь! Не за тем ты к нам пришел, чтоб о клубах и показухах разглагольствовать, чует мое сердце!

Да и мое ли одно, судя по недоверчивому выражению лиц Олега с Ленчиком?

Константин Георгиевич смеется.

— Нет, я понимаю, обжегшись на молоке, дуешь и на воду! Но, поверьте, это не тот случай. У нас действительно элитный клуб боевых искусств. Никакого криминала…

— Да, конечно. Так только, мелочи: давление на председателя медкомиссии, чтобы допустить к соревнованиям немолодого человека, который в результате убил американского профессионала. Я понимаю, я вас понимаю… А вы меня?!

Это был удар ниже пояса! Впрочем, именно туда и надо бить, чтоб наверняка. *«У любого качка, при всем его здоровье, есть глаза и яйца, которые накачать невозможно».* Шеф в игривом настроении.

В словесных баталиях также есть «глаза и яйца».

И в них тоже можно попасть.

— Мы ведь беллетристы, уважаемый Константин Георгиевич, — невинно улыбаюсь я, интуитивно чувствуя: сейчас Босса надо дожимать. Впрочем, мы с Олегом привыкли работать в паре, нам даже намеков не надо. — Только мы фантасты, а здесь скорее детектив получается. Кое-кто упорно проталкивает на соревнования некоего интеллигента-остеохондротика по фамилии Монахов. Задействует немалые связи, в итоге добивается своего, а в результате мы имеем что? Труп мы имеем, свеженький, с пылу с жару, прямо на татами! Впору предположить: кому-то очень надо было убрать американца, причем так, чтоб комар носа не подточил. Одна беда: киллер странный попался… Хотя, с другой-то стороны, кто на рохлю-интеллигентишку подумает? Несчастный случай, однозначно! А Монахов, кстати, потом возьми и исчезни. Ну, как сюжетец для романа? Прям хоть садись и пиши Корецкому с Леоновым на зависть!

Босс некоторое время молчит.

Во время этой паузы я успеваю закурить.

— Да, я вижу, не я один умею добывать информацию, — чуть натужно улыбается наконец менеджер «Тайра». — Ладно, так или иначе, этот вопрос интересует всех нас. — Босс косится на Ленчика, и Ленчик молча кивает: таки да, интересует! — Давайте делиться добычей.

— Давайте, — охотно соглашается Олег.

— Тогда, раз я к вам пришел, значит, мне и начинать, — разводит руками господин Шемет.

Обаятелен, чертушка!

Не отнимешь.

Большой босс

У Кости Шемета, известного в определенных кругах под кличкой «Большой Босс», сегодня был трудный день.

До местного турнира времени оставалось с гулькин нос, а требовалось еще утрясти кучу дел. В горисполкоме висел дамокловым мечом вопрос оплаты помещения (Дворец спорта — это вам не вшивый полуподвал какого-нибудь интернатишки!). Затем следовало обеспечить телесъемки и разобраться с рекламщиками, напомнив, что с завтрашнего дня плакаты должны висеть не только в вагонах метро. Эмблему Шемет видел, красивая эмблема, броская: матерый волк, задрав морду, воет на фоне ярко-оранжевой луны. Подпись под эмблемой: *«Готовься к смерти, а тогда и смерть, и жизнь — что б ни было — приятней будут!»* Подпись он предложил от себя. Отличная шутка: цитата из Шекспира, которую каждый второй примет за самурайский девиз; а те, кто способен узнать автора, на турниры Большого Босса не ходят.

И правильно делают.

Наконец, намечались переговоры тет-а-тет со вздорными представителями команд Дагестана и Севастополя. Те специально приехали раньше — у кавказцев, как и у морячков, два бойца в июле отправлялись за бугор, «валюту валять», и потому берегли форму чище топ-моделей. Короче, за треть от суммы приза они готовы были красиво лечь под кого скажут, но не раньше полуфинала, для престижа; а также без особой постшумихи в прессе и на телевидении. Местные «массмедиа» — плевать, далеко и тихо, а дальше пусть не идет. Овчинка стоила выделки, и Шемет заранее готовился выторговать у приезжих последние штаны, превратив желаемую ими треть суммы как минимум в четверть.

Он любил такие дни.

Они придавали смысл жизни.

Ближе к вечеру, просто так, без определенной цели, устало-счастливый Шемет подкатил к Автодорожному институту. Здесь, в просторном спортзале на втором этаже, занимался его «отстойник» — многие парни, привлеченные рекламой и сплетнями, соглашались платить весьма приличные деньги,

рассчитывая в самом скором времени начать эти деньги зарабатывать под крылышком у Большого Босса.

Молодые инструкторы время от времени выуживали из этой трясины прирожденных бойцов, примерно одного на два-три десятка; еще кое-кого удавалось пристроить в охранные агентства и «телохранители для дураков». Короче, «отстойник» себя окупал дважды.

После «отстойника» тренировались «сборники», профессионалы, знающие цену поту, крови и деньгам.

Элита.

Шемет сейчас не шутил. Просто он с детства ненавидел слово «элита».

…Припарковав машину на стоянке и сунув парнишке-мытарю мятую купюру, Шемет неторопливо пошел ко входу с колоннами.

На ходу он привычно отключался от дел дневных. Научиться отдыхать при его образе жизни было самым трудным, но иначе быстро перегораешь.

Как лампочка при скачках напряжения.

— Извините… вы не подскажете, который час?

Временем интересовался плешивый гражданинчик в куртке-болонье. Он топтался, переминался с ноги на ногу, бродя между колоннами. Фетровую шляпу в руках мял; руки грелись в зимних перчатках из эрзац-кожи. Мерзнет, плешивец. Холодно ему по весне. Наверное, папаша кого-то из намечающейся абитуры; пришел за сынулю похлопотать, а нужного человечка и след простыл. Вот, ждет. Или нет: просто преподаватель физики, боится идти домой, сообщить лютой злыдне-супружнице, что зарплата в очередной раз откладывается до лучших времен.

— Полседьмого.

— Спасибо.

Шемет кивнул и вошел в холл.

Со второго этажа в спортзал вели семь скрипучих ступенек, и каждая скрипела на свой манер. Шемет прозвал их «гаммой», полюбив взбегать к двери легко, выбивая каблуками четкую последовательность нот.

Увы, сейчас ему это не удалось.

На ступеньке «соль» сидел, угрюмо набычась, Отбитыч, второй тренер «сборников».

Их было двое, Отбитыч и Оторвыч. За глаза их так звали все, а частенько, забывшись или в порыве веселья, называли и в лицо. Они не обижались, не умели. Или не так: не умели обижаться по мелочам. Обидеться для любого из них означало искалечить обидчика, а когда все свои… особенно когда своим скоро выступать. Тренеры знали цену выступлениям. Отбитыч, боксер-

полутяж, успешно дрался еще на чемпионатах Союза, а потом, поскулив с кем-то из «федерастов», в Прибалтике дважды срубил хороший куш на «махаловке» в рижском цирке. Оторвыч, серебряный призер Европы по вольной борьбе, выйдя в тираж, успел прославиться на подпольных схватках в маленьком городишке под Алма-Атой, где «без правил» означало действительно «без правил»; похороны шли за счет устроителей, а калек до конца их дней обеспечивали хорошей работой, без обмана.

Обоим повезло: их обеспечил работой Большой Босс, именно потому, что калеками они не стали.

Вдвойне повезло.

— Отбитыч, ты чего? С похмела маешься?!

Взяв с ходу веселый тон, Шемет хотел показать: все в порядке. Наверное, потому что сразу почувствовал: вряд ли. Эту политику он предпочитал другим — хорошая мина при плохой игре.

Глядишь, и игра получшает.

— Шурку в больницу увезли. — Отбитыч не принял тона, еще больше свесив тяжелые, литые плечи. — Парни звонили, сказали: ништяк, живой. Но дней пять проваляется. Понял, Костя?

Костя понял.

— Сердце прихватило? При его-то весе…

— Да какое сердце!.. Вмазали Шурке, он и спекся. После первого удара.

Костя понял, что он ничего не понял. Шурка, он же Оторвыч, собой более всего напоминал бабушкин комод. Единственной выдающейся приметой являлись уши — сизые, распухшие, не уши, чернобыльские лопухи-мутанты.

Свалить Оторвыча с одного удара, пусть даже били кувалдой…

Шемет вздохнул. Присел чуть ниже Отбитыча, на ступеньку «фа».

Помолчал.

— Излагай, — наконец бросил он. — Излагай, Феликс Германович.

Никто никогда ни за что не верил, что этого варнака могут звать столь изысканно — Феликс Германович; тем паче что фамилия у отставного боксера была самая обыкновенная, можно сказать, вульгарная — Ворона.

Феликс Германович Ворона грузно заворочался, щелкая клювом.

— Да тут дела, Костя… дрянь дела.

Дела и впрямь оказались — дрянь.

Оказывается, когда оба тренера со «сборниками» явились в зал — «отстой» еще бурлил. В дальнем углу зала махались два придурка (кто и как — вглядываться было лениво), а молодой инструктор Арик ржал сивым мерином и хватался за животик.

— Закругляйся, Арька, — буркнул ему Отбитыч, а Оторвыч и вовсе кулак показал, ибо молчание — золото.

— Эй, заканчивайте! — сквозь хохот выдавил Арик, но драчуны в увлечении его не расслышали.

Вокруг веселился «отстой», блистая остроумием.

Тогда Арька огреб подзатыльник от Отбитыча, после чего увял гиацинтом в холодильнике; «сборники» пинками принялись выпроваживать молодняк, а Оторвыч враскоряку зашлепал к драчунам. Тот, что помоложе и повыше, был ухвачен карающей дланью за кудри и отправлен на маты — отдыхать. Зато маленький в порыве здорового негодования успел ткнуть Оторвыча под ребра кулаком в перчатке. Бывший «вольник», которому этот кулак был, что слону — дробина, в недоумении покосился на маленького и отвесил ему легкую плюху.

После чего обождал: пусть два «сборника» под локотки выведут обеспамятевшего героя.

Зато когда Оторвыч упал сперва на колени, а там и вовсе мордой в пол, взвыв резаной белугой, никто не решил, что тренер шутит. Поскольку шутил он в последний раз при собственном рождении, выходя задницей вперед. Оторвыч катался по полу, рев его мало-помалу переходил в хрип, могучее тело сотрясали конвульсии, и еще слава богу, что расторопный Арька кинулся к телефону в подсобке — вызвать «Скорую». Там же, в подсобке, нашлась аптечка, в аптечке нашелся баралгин и прочая пакость; засосав груду «колес», Оторвыч наконец скорчился в углу, тихонько поскуливая… короче, врачей решили не ждать. За ними как за смертью посылать! Арька сел за руль машины Оторвыча, несколько парней поздоровее снесли отставного борца и с трудом погрузили в салон. Машина умчалась вихрем, а Отбитыч отловил самого языкатого из «отстоя» за шиворот и учинил допрос.

Выяснилось, что маленький явился сегодня во второй раз. В первый Арька его сразу наладил вон. Старичок, сказал Арька, ты это… ты записывайся и плати, а там будем поглядеть. Глядеть, в общем, было не на что, но Большой Босс дал установку: любой, кто платит, может заниматься. «А посмотреть?» — спросил старичок. «Бесплатно?» — в ответ спросил Арька. И объяснил, что бесплатно старичок может посмотреть только на одну штуку, которая телепается в Арькиных штанах с красивой надписью *«Adidas»*. Никто так и не понял, что с надписью: штаны или штука? Старичок еще что-то повякал и обиженно выветрился,

чтобы в следующий раз явиться по новой. «Это опять ты?» — спросил Арька. Это опять я, сказал старичок, давайте поработаем, если вы такие крутые. Мы очень крутые, сообщил Арька и позвал Дровосека. Ты смотри, Дровосек, сказал Арька, ты смотри у меня… Дровосек все понял и обещал смотреть.

А старичок пошел переодеваться.

Потом они с Дровосеком долго веселили народ: старичок бычком кидался вперед, суча ручонками, а Дровосек отходил в сторону и пинал старичка пяткой в задницу. Или мазал перчаткой по мордашке.

Короче, веселуха.

А потом пришел Отбитыч… то есть Феликс Германович.

Все.

Шемет пожал плечами.

История была совершенно дурацкая. Как и все истории, от которых отчетливо пахнет жареным.

— Пошли, Феликс, — решил он, вставая. — В больницу съездим, что ли…

На улице к ним кинулся знакомый плешивец. Шемет уже машинально поддернул рукав кожаного плаща, глядя на часы, но гражданинчик, как выяснилось, временем не интересовался.

— Прошу прощения… Извините, там сумка… сумка моя осталась! В зале. Можно, я заберу? И это… как там ваш товарищ?

Шемет с удивлением посмотрел на Отбитыча и обнаружил: распухшая по жизни физиономия боксера наливается дурной кровью.

Вот-вот закипит.

В эту минуту, потемнев лицом, второй тренер был чудовищно, невозможно похож на своего кумира — знаменитого «ухогрыза» Майка Тайсона.

— Костя… — Глухой рык заставил дернуться хрящеватый кадык Отбитыча. — Костя… С-сука!

— Что? Ты чего, Феликс Германович, умом тронулся?!

— Костя, это же он! Он, п-падла! Который Шурку завалил! Ах ты…

Вдруг став по-молодому быстрым, Отбитыч оказался совсем рядом с гражданинчиком. Но бить раздумал. Не до такой степени взвился, чтоб не понимать: пришибешь кощея — не отмажешься. Поэтому он просто толкнул гражданинчика в грудь левой рукой, в результате чего неудачливый плешивец улетел к ближайшему тополю, где и присел.

А Отбитыч сломал себе два пальца и один вывихнул.

— Я ведь!.. — завизжал гражданинчик резанным на Святки поросенком. — Я только!.. Я попробовать хотел!

— Попробовать? — вежливо спросил Большой Босс, не обращая внимания на ругательства Отбитыча. — Что ж, давайте попробуем. Меня зовут Константин Георгиевич. А вас?

Большой Босс доверял своему нюху.

Ставить на «темных лошадок» рискованно, но эта лошадка была уж слишком темной.

XII. Нопэрапон. Свеча шестая

С сорока пяти лет необходимо во многом переменить способности в Но. Но коли до этого возраста хранишь в себе цветок неутраченный, он-то и есть цветок истинный. Что до тонкого подражания, то, начиная с этого периода, едва ли требуется столь уж прибегать к нему. В целом лучше выбирать пьесы присущего тебе стиля, играть легко и спокойно, без видимого усилия. Вот и выходит: кто знает собственную плоть, является мудрым в сердце своем.

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

Ну ты это… ты, чудила, взаправду жизни лишаешься или как? Нету у меня времени торчать здесь…

У рогатой коряги, сплошь обросшей слизью и гнилыми ошметками, стоял *каппа*. Точно такой, каким был он в детских сказках и описаниях вралей-очевидцев. Ростом по грудь Мотоеси, коренастый пучеглазец с осьминожьим клювом вместо носа, каппа приплясывал от нетерпения и поглядывал на юношу с отчетливым намеком.

«Сейчас утопит… — Странно, мысль эта не вызвала ужаса; просто скользнула вялой змеей по задворкам разума, исчезнув в темноте норы. — Прыгнет, вцепится и утопит. Ну и ладно… пусть… так даже лучше!»

Каппа обиженно надул щеки пузырем.

— Ходят тут, ходят, а чего ходят, и сами не знают!.. — Водяник вроде бы ни к кому конкретному не обращался, даже глядеть стал в сторону (нет-нет да и кося круглым рыбьим глазом на остолбеневшего юношу). — Девочку нашу гоняют, железкой своей грозятся… блюют опять же где ни попадя, морду в чужой речке полощут!.. Ни стыда, ни совести!

Лунная пыльца заблестела на слоистой, чешуйчатой коже каппы, на роговом клюве-носе, на перепонках между пальцами.

— Эх вы, люди-и-и… ну, давай!

Желание шагнуть в черную стылость воды, упасть лицом вперед и больше никогда не подниматься, раздутым счастливчиком плывя по течению, вдоль по-зимнему пустых берегов ласковой реки к морю, к тихим морским бухтам — желание это, встав из потаенных глубин, на миг стало для юноши почти нестерпимым. Почему-то вспомнилась (не пришла, всплыла, явилась — просто вспомнилась) маска *нопэрапон*. Сам не зная, зачем он это делает, Мотоеси заставил лиловую безликость взорваться глазами навыкате, раскрыл внизу узкую, безгубую щель рта, где вместо зубов отсвечивали костяные пластины; вот и клюв пробился, замер, полуоткрытый, вот и жесткая щетка волос упала на лоб без единой морщинки…

Ближе.

Еще ближе.

Рядом.

Желание уйти в воду навсегда стало иным. Совсем иным. Можно уйти, а можно и погодить, поторчать на берегу всласть; плыть по течению — это славно, только при чем здесь смерть?.. Откуда ей взяться, смерти-то?.. Эх, зима нынче теплая, да и водица просто прелесть, не хуже, чем в баньке, в бассейне-*фуро*, только откуда на ум бассейн пришел? — а, какая разница, сам пришел, сам уйдет…

Юноша сделал шаг, о котором мечталось.

Только не в омут, не в глубину беспамятства.

На берег шагнул.

— Вот ты кто такой!.. — Каппа смотрел на него во все глаза, и там, в этих бледных буркалах, вдруг заплескался интерес: не тот, что был раньше, новый, веселый, интерес без скользкого ожидания, без намека. — А я-то мыслю себе… вот братцы посмеются: потомственный каппа не признал *нопэрапон*! Животики надорвут!

— Животики… надорвут…

Голос рождался помимо воли юноши, хриплым эхом вспениваясь в самом низу живота, подымаясь вверх шершавым жгутом, наружу высовываясь колкими, измочаленными хвостами.

Выйди с таким голосом на сцену — взашей прогонят.

Каппа весенним лягушонком запрыгнул на корягу и уже оттуда заново пригляделся к мокрому, встрепанному Мотоеси.

— А, так вот ты кто такой…

Нет, он не просто повторил сказанное прежде: он опять произнес это заново, с другими интонациями, даже с другим смыслом, только для Мотоеси ни этот, новый, ни тот, первый — все смыслы были сейчас для юноши недоступны.

Клюв щелкнул со значением, и каппа, словно приняв какое-то

решение, соскочил обратно на землю.

Засеменил к молодому актеру.

Двигался он смешно: враскоряку, пришлепывая ступнями-ластами, но при этом удивительно выпрямив спину — будто опытный борец на помост выходил.

— Давай, давай! Замерзнешь, чудила деланый… а ну, за мной!

Цепкая пятерня ухватила сырую ткань на плече юноши, сгребла в жменю. Каппа вывернулся неестественным для человека образом: спиной к Мотоеси, он продолжал держать складку кимоно, перекрутив себе плечевой сустав, как прачки иногда перекручивают набедренную повязку, давая воде стечь. Покатая холка вздыбилась горбом, закаменела пластами мышц; цвет кожи резко изменился — из грязно-серого став жемчужным.

— Эх, *вацу-рибо-кубаяси*! За мной!

Этот бег вдоль реки, вслед за сумасшедшим водяником, разительно отличался от гонки за призраком О-Цую. Размеренно, скучно чавкала под ногами грязь, некогда бывшая снегом; размеренно, скучно ноги ударялись оземь, отталкивались, взлетали, снова ударялись в едином, завораживающем ритме; размеренно, скучно моталась перед грудью Мотоеси блестящая лысина каппы с ямочкой посередине.

В ямочке плескалась речная вода.

Говорят, если каппу с силой ударить по уху, если вода выплеснется, пока каппа еще на берегу, — тогда водяник теряет всю свою силу и готов для тебя…

Удивительное дело: меньше всего юноше сейчас хотелось проверять — правда это или враки? Ударишь этого клювастого по уху, а он обернется… или даже не так: не оборачиваясь, прямо на бегу, как тот каппа, что обучал тонкостям борцовского ремесла самого Таро-Драконоубийцу…

Пусть уж себе плещется на здоровье, водица-то!

Они нырнули в тень кручи, проскочили через заросли молодого бамбука, роща деревьев-*мукку* расступилась перед ними — и юноша увидел впереди, на поляне, хижину. В таких живут рыбаки, выезжая на долгий промысел, или дровосеки. Возле хижины горел костер, близ которого кто-то сидел.

Еще один водяник?.. Вряд ли, они живого огня терпеть не могут.

Да и слишком костлявый этот «кто-то» для речного каппы.

— Эй, Хякума Ямамба! Встречай гостей!

Каппа подтащил задыхающегося юношу поближе, отпустив наконец одежду.

Мотоеси жадно хватал ртом воздух, от тела валил пар, и сердце грозило выпрыгнуть из груди.

Костлявый силуэт у огня зашевелился, распугав стайку беспокойных зимородков, шнырявших неподалеку. Отсветы пламени очертили провалы и рытвины, высокие скулы и морщины на коже, давно потерявшей былую упругость; раскрылся, зашамкал беззубый рот, пережевывая мякиш слов.

— Ох, горе горькое!.. Где ж ты его подобрал-то, жабье отродье?! А ну, живо в хижину, тащи одежонку, какую найдешь… ну, чего встал ступой каменной?!

Каппа подпрыгнул мячиком.

Расхохотался с присвистом..

— Одежонку! Ты, старая, брось врать, сроду у тебя никакой одежонки в запасе не водилось! Я лучше придумал, я сейчас… этот гуляка сегодня у девочки нашей ночку коротал!..

Опрометью он кинулся вверх по склону, в густой ивняк. Спустя минуту-другую оттуда послышались словно бы раздраженное хлопанье крыльев и перебранка двух голосов: сиплого, уже знакомого, и низкого, рокочущего баса.

Сипенье уговаривало, бас не соглашался.

Согласился.

И крылья захлопали вновь, удаляясь.

* * *

Пока сонный *тэнгу* летал к логову О-Цую за одеждой нынешнего гостя, не захотевшего стать жертвой, и потом — обратно, Хякума Ямамба заставляла вконец ошалевшего юношу бегать вокруг костра.

Застынет ведь, дурачок… а вот и отвар готов, вскипел пеной.

Старуха с лицом, похожим на маску «Горной ведьмы», уже видела, кого привел к ней шустрый каппа.

«День лунных яств» близился к завершению.

2

…юноша согрелся.

Запоздалый озноб угомонился наконец, перестал лезть за пазуху пальцами из липкого льда; зубы сперва выстукивали мелкую дробь, потом просто раз от разу смыкались в спазме, прикусывая кончик языка, — а вот барабанчики устали стучать, и лишь посвистывает тихонько флейта заложенного носа.

Тише.

Еще тише.

— Хлебни-ка!.. Да бери, бери, у нас этого добра навалом…

В руки ткнулась чашка с еще теплым *хито-е-саке* — мутным, приготовленным на скорую руку «саке одной ночи», вместо очистки настоянном за неделю на корнях ириса. Оно быстро ударяло в голову, но и выветривалось столь же быстро, оставляя легкое тепло и желание сделать новый глоток.

Вот и делай, гуляка беспутный… точно что беспутный.

Юноша дернул кадыком, проглатывая терпкую жидкость, и украдкой огляделся по сторонам. Окружающее донельзя напоминало ночь после удачного спектакля: горит костер, постреливая искрами в темноту, холод отступает перед огнем и выпивкой, а вокруг собрались актеры труппы, молчат, отдыхая, многие еще не успели снять костюмы и маски… Конечно, Мотоеси прекрасно знал, что последнее невозможно, — после представления маски в первую очередь отправлялись спать в футляры, а костюмы прятались в сундуки!.. Но сейчас это казалось знанием нелепым, из какой-то другой, давно прожитой жизни.

Да, костюмы и маски.

Старые знакомые.

Вон, напротив, на ободранном чурбачке, сгорбилась Хякума Ямамба, «Горная ведьма». Окаменела лицом, телом, памятью тысячи однообразных перерождений; сейчас, сейчас раздвинутся иссохшие губы, язык оближет их, метнувшись проворней иглы вышивальщицы, и зимняя луна отразит давно знакомое:

Любуясь на белый снег,
По горам кружу я…

Слева от старухи, до половины утонув во мраке, нахохлился поверх циновки мосластый тэнгу. Завернулся в собственные крылья, словно в плащ из перьев, коему нет цены во всех мирах. Это он, взбалмошный летун, принес теплую одежду Мотоеси, забытую юношей в доме призрачной красавицы, — где тэнгу нашел ее, одежду, в той куче мусора, какой стало жилье О-Цую?.. Кто знает?!

Нос, похожий на клюв (или клюв, похожий на нос), навис над дымящейся чашкой, едва не задевая выщербленный край, тонкая пленка затянула черные как смоль глаза… Тэнгу хорошо. За все время он так и не сказал ни единого слова, прихлебывая хмельное, но кажется, что вокруг него вечно длится, не заканчиваясь, знаменитая пьеса «Есицунэ». Сейчас, сейчас тэнгу встанет, рассмеется и примется учить юного героя небывалому,

невозможному искусству мечевого боя!..

Вот меч свой обнажил. Мечом вращает,
Взбивая волны. Страшный смерч всклубился.
О, гнев неистовый ему туманит взор
И разум!..

«Вот меч свой обнажил…» — юноша не заметил, что прошептал это вслух, машинально опустив руку на рукоять даренного отцом клинка. Юноша не заметил — но заметил, услышал и прекратил на миг тренькать струнами цитры слепец-музыкант, примостившийся возле молчаливого тэнгу.

Когда час назад Раскидай-Бубен, постукивая клюкой, выбрался из хижины, юноша не удивился появлению спутника Безумного Облака. Кому, как не слепому сказителю, чьи уши оторвал гневный посланец мертвецов, взыскующих песен, находиться здесь, в странном месте и в странное время?

Удивился Мотоеси другому: впервые он видел Раскидай-Бубна без мешка с гадательными принадлежностями.

Словно поймав на себе взгляд молодого актера, безглазый и безухий человек перебрал струны, заставив их страстно вскрикнуть, подобно влюбленной женщине на ложе, и запел, смешно превращая строгий мотив в шалую песнь распутника:

В тенетах причин и следствий
Слепцы блуждают!
Мы ни к чему не привязаны,
Невозмутимо сердце!..

И уж совсем вспенив мелодию пьяным куражом:

Зато в нас — надежный приют
Истинной правды!
Да, в нас — надежный приют
Истинной правды!

Каппа, приведший гостя к ночному костру, прыснул в кулак — и не удержался, захихикал, забулькал, давясь рисовыми клецками. Видать, очень уж любил приземистый водяник такие клецки, сваренные в листе камыша, по пять монов за связку! — что называется, в две глотки жрал… И впрямь в две глотки: Мотоеси следил украдкой, как каппа подносит к щели рта полную

кружку, а в осьминожьем клюве, заменяющем каппе нос, висит наготове клецка. Глоток, довольное кряканье — и лакомство ловко заглатывается, когда ртом, а когда и просто клювом, без лишних движений.

Чешуистая кожа каппы играла бликами от костра (а говорят — огня не любят!..), меняя собственный цвет едва ли не каждую секунду — кармин, охра, голубизна стали, багрец…

Пьес про капп Мотоеси не знал, но мало ли чего он не знал?! — да и долго ли на ходу представить-сочинить: вот скользкий весельчак подпрыгивает, уперев в бока ладони с перепонками меж пальцев, вот он голосит на всю ночь:

Ведь я не мальчик с челкой,
На все услуги годный. Не таков!
Вы видите мой лоб?
Как выбрит он?!
Я сам себе главарь!
Подстилкой не бывал я — и не буду…

Каппа прокашлялся и вновь потянулся за очередной порцией клецок. Но жабья лапа оказалась коротковата, и юноша подал водянику непочатую связку целиком.

Благодарности, впрочем, не дождался.

И еще: маячил в отдалении, на самой границе света и тьмы, зыбкий силуэт, стрелял глазами сторожкой оленихи, но приблизиться боялся. «Я не сержусь, О-Цую. — Больше всего на свете Мотоеси хотелось, чтобы его мысли выплеснулись наружу, достигли этой голодной прелести, несчастного, неуспокоенного создания; хотелось, а не выходило. — Я не сержусь, я понимаю… или нет: ничего я не понимаю, но гнева нет в моей душе…»

В душе перекликалась эхом гулкая пустота.

Спокойная, теплая…

«Я дома, — неожиданно явились слова. — Я дома, вокруг свои, свои на самом деле, а не велением случая… я дома…»

— Это неправда, — тихо, словно извиняясь, сказала старуха, покашливая в кулак. — Ты еще не дома. Ты еще не осознал до конца, что ты *нопэрапон*. Понимаешь, мальчик…

В этом «мальчик…», произнесенном вслух Хякумой Ямамбой, был аромат «саке одной ночи»: свежесть корней ириса и резкость бурлящего сусла.

Одновременно.

— Понимаю, матушка. Я все понимаю…

— Замолчи и слушай. Ты думал, мы должны разорвать тебя в клочья за убийство одной из нас? Ты неправильно думал. Когда

сюда, в Сакаи, пришла весть о том, что в провинции Касуга погибла молодая *нопэрапон*, никто из подобных нам не удивился. «Безликие», как и «Икроглазики», часто умирают насильственной смертью, — гораздо чаще, чем каппы, тэнгу или даже *Рокуро-Куби*, «Сорвиголовы». Чем ближе ты к роду человеческому, тем чаще… нет, мы не удивились.

— «Икроглазики»?!

В ответ старуха наклонилась и приподняла подол; затем размотала засаленное тряпье, которым была обернута ее нога.

С жилистой, костлявой икры — и выше, по голени, меж вздутыми венами, до самого колена — на Мотоеси, моргая, смотрели глаза. Молодые, девичьи глаза с пушистыми ресницами. «Понял? — беззвучно спрашивали они. — Понял, дурачок?»

Юноша не выдержал, отвел взгляд.

— Смерть мастера масок тяжким грузом легла на ее карму. Ты послужил просто воздаянием за грех, юным и скорым на руку воздаянием. Вини себя или не вини, это не имеет никакого значения. Как не имеет значения и то, что мастер масок погиб случайно, от испуга, гибельного в его возрасте; даже необходимость прокормить детей безразлична для судьбы…

«Каких детей?» — едва не спросил Мотоеси. Но не спросил: плотно сжал губы, утопил вопрос в чашке, в хмельном молчании.

В услужливом напоминании суки-памяти:

…по нелепой иронии судьбы сверток с деньгами упал прямо в ладонь умирающей **нопэрапон** *, и тонкие пальцы машинально согнулись, будто желая утащить с собой деньги туда, во мрак небытия.*

Вместо лилового пузыря на юношу смотрело его собственное лицо.

Но подняться, ринуться прочь… нет, не получалось.

— Я… — Тонкие губы дернулись, сложились в знакомую, невозможно знакомую гримасу. — Я… я не убивала… мастер сам — сердце…

Мотоеси захрипел, страстно желая проснуться в актерской уборной и получить за это нагоняй от сурового отца.

Нет.

Кошмар длился.

— Я… в Эдо такая маска… деньги нужны были!.. Деньги… де…

Кровавая струйка потянулась из уголка рта.

Нопэрапон *больше не было.*

Сейчас настала ночь ясности, ясности острой и блестящей, будто нож убийцы.

Нопэрапон больше не было? — ложь!

Была… был.

Только тогда испуганный юноша еще не знал этого.

Не знал и другого: *«…деньги нужны были!.. Деньги… де…»*

Последним, оборванным смертью словом были не «деньги».

Дети.

3

— Я был борцом сумо. — Сказав это, маленький каппа вдруг словно стал вдвое, втрое больше, отяжелев скользким телом, как если бы не он двумя-тремя часами раньше говорил о братцах, себя же именуя «потомственным каппой». — Я был… я победил на последнем турнире перед великой смутой Гэмпэй.

Мотоеси весь обратился в слух. Выходило, что каппа (если не врет, конечно!) завязывал волосы в узел, подобный листу дерева *гингко*, еще перед междуусобицей кланов Тайра и Минамото.

Два с половиной века тому назад!

— Когда я понял, что для меня больше не осталось достойных противников, я вызвал на поединок речного каппу. Я был смел и безрассуден; я вызвал — и победил. Это был самый страшный бой в моей жизни, даже страшней той схватки, когда вокруг помоста густо торчали колья с заостренным верхом. Каппа остался лежать со сломанным хребтом, а я ушел, смеясь и харкая кровью. С того дня в каждом противнике мне мерещился мертвый каппа, преследующий самовлюбленного гордеца; с тех пор любой звук для меня слышался плеском речных волн и костяным хрустом. Я поселился у реки, в одиночестве, живя подаянием, не сразу заметив, что становлюсь меньше ростом… но, когда между пальцев у меня выросли перепонки, а нос стал клювом, это я заметил сразу.

Юноша задохнулся от изумления.

Много историй слышал он от отца, от бродячих сказителей, но о перерождении убийцы в убитого…

Вовек не бывало!

— Я стала ученицей Хякумы Ямамбы из ущелья Орлиных Гнезд, что в горах Хиэй. — Старуха задумалась, печально качая головой, подергала себя за редкую прядь на виске, покрытую снегом… нет, пылью, паутиной времени. — Да, правильно, это случилось на пятый год девиза «Мирное правление». За десять лет до того дня, как один борец-сумасброд пошел искать речного каппу. Моя наставница вскоре тяжко заболела, и смерть

преступно медлила явиться за ней. Повинуясь просьбе умирающей и собственному понятию о милосердии, я однажды накрыла лицо наставницы старым дзабутоном, уперлась обеими руками и держала, пока дыхание ее не прервалось навсегда.

Мягкая, удивительно грустная улыбка на миг озарила лицо старой женщины; словно та девушка из далекого, почти нереального прошлого выглянула наружу и вновь скрылась в небытии.

— С тех пор Хякума Ямамба — я. Вот уже…

Юноша ждал слов: «Вот уже много, много лет».

Не дождался.

— Вот уже шестое рождение, — закончила старуха.

Слева от Хякумы Ямамбы заворочался молчаливый тэнгу.

— Я зарубил тэнгу в лесу О-Нин, защищая честь своей жены, — отрывисто каркнул он.

Плотно сжал губы, отчего рот его стал похож на застарелый шрам.

И больше не добавил ни слова.

Мотоеси сделал глоток, потом еще — быстро, давясь, пытаясь залить слова, которые жгучей волной подымались из глубин юноши. «Саке одной ночи» было горьким и соленым, как слезы, как кровь, как слова, «саке одной ночи» ничуть не помогало, потому что вокруг царила та самая, одна-единственная ночь, когда правда врет, а ложь спасает.

Ночь прозрения, настоянная на корнях ириса.

— Я убил *нопэрапон* на сельском кладбище близ холма Трех Криптомерий.

Сказал.

Он все-таки сказал это вслух.

В ответ дрогнули струны цитры в руках слепца, певшего мертвым сказание о их былой гибели; прозвенели, рождая мелодию вступления из «Парчового барабана», создавая вокруг Мотоеси привычный с детства мир, в котором жить было так же трудно, как и в любом другом, но говорить — легче.

Спасибо тебе, мудрый Раскидай-Бубен… спасибо.

— Я убил *нопэрапон* скорее из страха, чем из мести за мастера Тамуру или праведного гнева. Так получилось. Теперь я стану *нопэрапон*, да?

— Нет.

Хякума Ямамба вертела в сухих пальцах огрызок бечевки, на которую еще совсем недавно были нанизаны рисовые клецки. Огрызок почему-то казался мертвой змеей: извивался, норовил высвободиться, едва ли не шипел.

— Нет, не станешь. Уже стал.

Юноша машинально ощупал свое лицо.

Нос с легкой горбинкой, гладкие щеки, подбородок с ямочкой… бриться, по счастью, можно редко — борода растет, как рис на камнях… нижняя губа слегка оттопырена…

Старуха рассмеялась, глядя на Мотоеси. Вслед за ней засвистел смешком каппа, хмыкнул тэнгу-молчун, и даже слепой гадатель присоединился к общему веселью — хотя уж он-то никак не мог видеть самое потешное в мире зрелище.

Молодой актер с недоверием сам себя щупает.

Животики надорвешь!

— Но я же… я…

— Ты *нопэрапон* не снаружи. И хорошо, что так, иначе тебя забили бы палками насмерть, едва ты вернулся бы в труппу после кладбищенской трагедии. Это случается, нечасто, но случается, когда лицо души еще более неоформившееся, чем лицо тела. Ты *нопэрапон* — изнутри. Ты — зеркало не для чужой внешности, а для чужих порывов и настроений. Ты — пыльное зеркало, с краешка которого насильно стерли рукавом пыль. Ты присваиваешь без желания присвоить; ты отражаешь и искажаешь без желания отразить или исказить; ты отдаешь без желания удержать. Ты — *нопэрапон*, мой мальчик, и об этом не узнает никто, кроме тебя самого…

— …и нас, — добавил каппа, зачем-то поглаживая темечко, как если бы рассчитывал нащупать там узел борцовской прически.

— …и нас, — согласилась Хякума Ямамба, в чьем скрипучем голосе, словно птица в клетке, мимолетно запела та девушка из ущелья Орлиных Гнезд, что милосердно задушила уходящую наставницу.

Тэнгу просто кивнул.

«И нас… таких, как мы…» — звякнули струны цитры под лаской зрячих пальцев слепца.

— Неправда!

Выкрик Мотоеси встретил лишь тишину.

Тишину, покачивание головами, отведенные в сторону взгляды… выкрик утонул в этом единодушном сочувствии, чтобы мгновением позже вновь вырваться на поверхность уже не выкриком — воплем:

— Неправда! Вы лжете! Вы все лжете! Вы придумали это, чтобы отомстить мне, отомстить страшнее, чем просто убить! Я знаю… знаю…

Нет ответа.

Только река плещет в отдалении.

— Вы лжете! Отец рассказывал мне… да, рассказывал!

Священник Квайрие, бывший в миру самураем клана Кикуйи, собственноручно убил пятерых демонов «Сорвиголов» — и счастливо дожил свой век! Странствующий монах Мусо своими молитвами загнал в ад людоеда-*йикининки*, и потом был известен до конца своих дней как святой паломник! Вы лжете!..

— Монах, священник! — буркнул тэнгу, зябко встопорщив перья. — Я же предупреждал тебя, Ямамба: он ничего сейчас не поймет… он не готов.

Подхватившись на ноги, юноша выдернул из ножен меч, готовый рубить наотмашь, если встретит хоть одну насмешливую улыбку. Но меч застыл в его руке, а ярость растаяла сосулькой на весеннем солнце: на Мотоеси смотрели скорбные лица людей и… бывших людей. Так смотрят старики на неразумного внука, родичи — на члена своей семьи, который минутой раньше вел себя самым постыдным образом, а сейчас еще и усугубляет вину, отказываясь принимать заслуженную кару.

Меч, взвизгнув, упал в ножны.

— Уж лучше бы вы убили меня…

Юноша поклонился по очереди каждому, сидевшему у костра: каппе, тэнгу, слепцу, Хякуме Ямамбе… отдельный поклон предназначался безгласному призраку на границе света и тьмы.

Вскоре его шаги затихли во мраке.

* * *

— Как погулял? — добродушно спросил отец, когда Мотоеси на рассвете, шатаясь от усталости, добрался домой.

Юноша только кивнул невпопад, добрался до циновки и провалился в сон.

До полудня.

«*Ты ничего сейчас не поймешь!*.. — глумился сон, дуя в уши противным сквознячком. — *Ты не готов… ты…*»

Больше всего юноша винил себя в одном: он забыл спросить у «Горной ведьмы», куда делись сироты убитой им *нопэрапон*. Но вернуться к заброшенной хижине, чтобы задать этот вопрос, вернуться хотя бы во сне, в мутной нереальности… нет, он не сумел заставить себя сделать это.

Не смог.

4

Вечером Мотоеси пал отцу в ноги и попросил благословения стать послушником у первого же бонзы, который на это

согласится.

XIII. По образу и подобию. Олег

— Садитесь!

Милейший парень Костя Шемет распахнул дверцы своего «Опель-Кадета» и вопросительно посмотрел на нас.

— Эх, прокачу? — спросил я, почувствовав с запоздалым стеснением: язвительности не вышло. Он мне даже в некоторой степени нравился, этот удачливый кр-р-расавчик, умеющий славно поработать и славно отдохнуть, четко знающий, чего он хочет и в каком виде. С такими легко сотрудничать, они надежны и пунктуальны; с такими легко выезжать на пикник — они веселы и остроумны.

С такими легко; гораздо легче, чем, к примеру, со мной.

— Да ладно, садись! — неожиданно перейдя на «ты», друг Шемет смотрел уже на меня одного. Плотно смотрел, в упор, с прищуром. — Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу! Одиночка с мотором готов везти!

Последний пункт: такие еще и образованны.

«Ну что ж, воспользуемся гостеприимством, — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. — У вас, я вижу, хороший характер…»

Когда мы загрузились в машину, командование взял на себя Ленчик.

— Ко Дворцу бракосочетаний, — велел он, усевшись *«рядом с шофером»*.

При этих словах Ленчик через плечо одарил нас столь многозначительным взглядом, что мы с Димычем, не сговариваясь, кивнули.

Едем, значит, ко Дворцу.

Бракосочетаться.

Выворачивая с Деревянки на проспект Ленина, Шемет (до того он молчал, крутя баранку двумя пальцами) вдруг нервно облизал губы.

— Его надо найти. Ребята, я вчера разговаривал с его женой… его обязательно надо найти!

«Ребята» слушали. На сей раз голос Шемета, бархатный тенор Большого Босса, слегка похрипывал; да и напускная вежливость, более уместная на дипломатическом приеме или при вербовке спецслужбами, куда-то делась. Таким Шемет мне нравился больше… еще больше.

Скоро будет «больше некуда».

Тупик.

— Я… я чувствую себя виноватым перед вашим… перед нашим Монаховым.

От удивления я вообще едва не лишился дара речи: Большой Босс исповедовался!

Ныне отпущаеши!

Камо грядеши… нет, это из другой оперы, хотя и здесь пригодилось бы.

— Да, я неплохо заработал на его выступлении. Но, наверное, если бы я не подтолкнул Монахова, если бы не сыграл на его ущемленном самолюбии… Вы знаете, что его сын лежит в реанимации?

— Знаем, — за всех ответил Димыч.

— Только не подумайте, что здесь сплошной альтруизм и филантропство. Потому что, если вы так подумаете, вы сразу перестанете мне верить. Я прав? Вы и так верите чуть-чуть, вприкуску, а если… Я честно хочу помочь конкретному Владимиру Монахову, где бы он сейчас ни скрывался, и в то же время я честно хочу понять: в чем его секрет? Понять и использовать, не допуская эксцессов вроде гибели Дагласа Деджа. Редкостная, кстати, сволочь был этот Дедж, жадная и подлая сволочь… впрочем, оставим. Это золотое дно, это Курочка Ряба, несущая золотые яйца, если подойти к делу правильно и аккуратно. Это верный кусок хлеба с маслом до конца дней, отпущенных нам. Вы меня понимаете?

— Я в доле? — не удержался я: уж больно явственно возникла в машине незабвенная тень бригадира Калмыка.

Аж свет застит.

— Что? Вы? Ну конечно… Ах да, я понял. Можно сказать и так. Я в доле. Мы все в доле, и мои предложения остаются в силе. Я ведь вас не покупаю, хотя бы потому, что вы не продаетесь; я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. А не продаются чаще всего или круглые идиоты, или пустышки, которых никто не покупает; или умные люди, хорошо знающие себе цену. Ведь так?

— Ведь так. — Я подумал, по вредной буквоедской привычке, что у Шемета слова разошлись со смыслом, как в море корабли. «Знать себе» цену не значит — не продаваться. Если быть буквалистом, это скорее значит — продаться за свою, чаще всего изрядную, цену. И потом радоваться удачному акту купли-продажи.

Если это характеристика умных людей, то я умный.

Наверное.

Или кокетничаю?

— Димыч, я умный? — спросил я у своего соавтора.

— Дурак, — без колебаний ответил Димыч.

— Ну и ты дурак.

— Ну и я дурак.

— И я дурак, — присоединился Ленчик, ворочая на коленях туго набитую сумку.

— Вы знаете, ребята, тогда я тоже дурак. — Костя Шемет лихо объехал лужу посреди трассы и громко, искренне расхохотался.

Полагаю, наш совместный диалог показался ему остроумной шуткой.

— Рецепт успеха. — Я откинулся на спинку, глядя в потолок салона. — Берется немолодой мужчина с остеохондрозом, женатый, имеющий сына, щепотка нереализованного тщеславия, гордыни по вкусу… И берется «Технология взрывного метабоя» за шестьдесят девять гривень с учетом почтовых расходов. Смешивается, взбивается, выплескивается. Результат превосходит все ожидания.

Шемет недоуменно приподнял плечи, неприятно став похожим на грифа-стервятника.

— Технология? А, эта идиотская кассета!.. Он мне ее показывал, наш Брюс-Ли-Монахов. С плясками, песнопениями и комментариями. Я выдержал примерно полчаса. А вы?

Ответа он не ожидал.

Ответ был ему прекрасно известен.

— Ребята, парни, господа! Ну вы ведь не станете серьезно относиться к этой лабуде?!

Я смотрел на аккуратно подстриженный затылок Шемета. Я соглашался: серьезно относиться к этой лабуде невозможно. Для нас невозможно, для Большого Босса невозможно, для боксера Отбитыча и молодого инструктора Арьки невозможно.

Возможно лишь для беглого Монаха и княгини Ольги, грозы насильников.

Что общего между мной, Ленчиком, Костей Шеметом и его людьми?

Что общего между девушкой с лошадиной физиономией и лысоватым мужчиной сорока с лишним лет от роду?

Что?

Где-то тут крылась зацепка, ниточка, начав с которой удалось бы размотать весь клубок.

Если б еще знать: хочу ли я его разматывать?..

* * *

Возле Дворца бракосочетания, в маленьком круглом закутке между музыкальной школой им. Коляды и собственно Дворцом, был видеосалон.

Он снабжал людей фильмами, а брачующихся — операторами для съемки.

Внутри видеосалона, между выставочным зальчиком и лестницей в полуподвальный склад, была комната, забитая доверху всякой аппаратурой.

Аппаратура жужжала и щелкала.

В комнате, встав в углу плечом к плечу, были мы.

Мы внимали миниатюрной девице с лисьей мордочкой.

— Вот твоя кассета. — Лисичка-сестричка порылась в столе и выдала Ленчику приснопамятную «Технологию…». — Ничего особенного, кроме защиты от записи. Видел, там в правом верхнем углу такая радужка мелькала?.. Ну, квадратик цветной?

Ленчик кивнул.

— Защиту я сломала, вот тебе запись. — Из недр стола родилась вторая кассета и перекочевала в Ленчикову сумку. — Только учти: качество резко упало. Полосы, хрип, цветность плывет. Наверное, если б мои шефы на железо не скупились… Короче, если очень надо, можно записать качественно. Но будет стоить денег. Договариваться?

Ленчик отрицательно помотал головой.

— Теперь дальше. У тебя паранойя, Леонид свет Владимирович! И я сдам тебя в психушку, если ты не ублажишь меня сладостями. Никаких «двадцать пятых кадров» органами не обнаружено, кодированная информация отсутствует, звукоряд проще пареной репы, музыка просто плохая. Проверено вдоль и поперек, в силу моих скромных возможностей.

Лисичка явственно облизнулась.

Язык у нее был длинный и шелковистый.

Странный язык.

— Спасибо, Аллочка. — Вежливый Ленчик достал шоколадку, с поклоном преподнес лисичке, и та мгновенно зашуршала оберткой. — Я тебе очень признателен.

Спустя пять минут мы всей компанией шли по Сумской, болтая о пустяках.

Кассета-оригинал лежала в моей сумке.

— …тебе звонили, — с порога заявила жена, вытирая полотенцем руки, мокрые после стирки. — Какая-то Татьяна. Татьяна Монахова. Очень просила заехать. Адрес оставила.

— А почему не перезвонить? — удивился я.

— У нее телефон сломался, она с автомата звонила. Сказала: от мужа письмо пришло.

Когда я, прихватив бумажку с адресом, пулей вылетел из квартиры, меня преследовал укоризненный взгляд жены.

Ну, ясное дело, даже не пообедав… пьеса «Река Сумида», «спутник героя» делает жест разочарования, реплика: *«…и в западные земли вслед за ней все души устремились…»*

Итак, она звалась Татьяной?!

Дмитрий

Звонок пробулькал невнятную трель, которая, вероятно, должна была изображать фрагмент популярной мелодии, — и дверь почти сразу со щелчком распахнулась.

Создалось впечатление, что госпожа Монахова все это время ждала нас в прихожей.

— Заходите, заходите! — «Просто Татьяна» заулыбалась и поспешила пояснить: — У меня сегодня что-то вроде маленького праздника! Шурик в себя пришел, его из реанимации в обычный стационар перевели. Я уже побывать у него успела. Врачи говорят: теперь быстро на поправку пойдет! И от Вовки письмо пришло, пишет: жив-здоров… Да вы проходите, проходите, туфли можно не снимать, у меня все равно не прибрано!

Мы проходим. И немедленно обнаруживаем в комнате, куда нас приглашает Монахова, знакомую долговязую девицу по имени Ольга, ходячий ужас расхитителей девственности.

— Здравствуйте…

— Бонжур, мадмуазель! — У Олега сегодня явно шутливое настроение, и это ясно говорит мне: он собирается ставить эксперименты. — Наслышаны, наслышаны о вас! Позвольте поцеловать вашу доблестную ручку, которая повергла в прах шестерых негодяев!..

Олег делает шаг вперед, собираясь осуществить продекларированное намерение — и тут девица с неожиданным проворством шарахается от него прочь. Шарахнулась, и сама устыдилась своего порыва, зарделась, аки майская роза… отчего стала выглядеть куда более симпатично.

— Ну что вы, Оленька?! — комично хватается за бороду мой соавтор. — Мы с Дмитрием — меня, кстати, зовут Олег, почти ваш тезка! — мирные люди, и даже бронепоезда на запасном пути у нас нет. Зачем дергаться, зачем стулья ломать? Я действительно хотел поцеловать вам руку — а вы что подумали? Похоже, я чудом избег ужасной участи!

Он паясничает вполсилы.

Для затравки.

Это его девиз: «Малознакомого собеседника надо чуть-чуть раздражать, тогда он злится и говорит правду».

— Ничего я не подумала! — Ольга заставляет себя взглянуть

Олегу в лицо; глаза девицы слегка на мокром месте. — Как-то само… само собой получилось. Извините.

— Да ладно, не за что извиняться! — вклиниваюсь я, дабы не торчать молчаливым столбом посреди комнаты. — Со всеми бывает.

Я не уверен, что это бывает со всеми, но слово не воробей.

Не вырубишь топором.

— Вы за стол, за стол садитесь, я сейчас еще две рюмки достану, — спешит внести свою лепту в «устаканивание» ситуации хозяйка дома.

Только тут я замечаю: на столе красуется початая бутылка коньяка «Коктебель», две рюмки, изрядная горка бутербродов с сыром и ветчиной, вазочка с фруктами, печенье… Выходит, «устаканивать» будем в прямом смысле слова.

А бутерброды — это хорошо! Это правильно. Мы ведь после тренировки даже пожрать не успели, сразу сюда мотанули.

— Я же говорила: у нас тут маленькие посиделки. А то я в последние дни совсем извелась, вот и позволила себе немного расслабиться.

Я ее понимаю. Я ее очень хорошо понимаю! Когда сын висит несколько дней между жизнью и смертью, а муж пропал незнамо куда, — поневоле изведешься! И вдруг разом выясняется: и муж нашелся (или почти нашелся, скоро узнаем), и сын очнулся, пошел на поправку.

Все понятно.

— Вы, Оленька, тоже выпейте, вам сейчас не повредит.

Оленька судорожно кивает и со всей осторожностью присаживается на краешек стула. Со стороны кажется: она готова опять вскочить при малейшей опасности.

Нервишки шалят?

Олег уже уцепил бутылку, вертит ее в руках, озабоченно нюхает. Это у нас обоих вошло в привычку — с тех пор как пару раз нам подсовывали «пальной» коньяк, пахнущий отравленными им же клопами.

— Вполне приличный питьевой коньяк, — выносит он свой вердикт. — Можно употреблять вовнутрь.

— Питьевой? А что, бывает другой? — удивленно интересуется Монахова, доставая рюмки.

— Бывает! — радостно сообщаю я, ибо этот вопрос возникает почти всегда. — Коньяк бывает коллекционный, питьевой и технический — для протирки физиономии продавца!

Ольга, не удержавшись, прыскает в ладошку и наконец расслабляется.

Эту классификацию разработал в свое время наш приятель и

«собрат по перу» Андрей Шмалько. Кстати, смех смехом, а классификация вполне точная.

Подождав, пока хозяйка займет свое место за столом, Олег торжественно разливает коньяк по рюмкам. Рюмки у «просто Татьяны» правильные: небольшие, пузатые и с короткой ножкой.

— За то, чтоб вся эта история благополучно закончилась, и чем скорее, тем лучше! — провозглашает он тост.

— Ох, Олег, ваши бы слова — да богу в уши! — вздыхает Монахова, потом вздыхает еще раз и делает глоток.

Присоединяюсь.

Коньяк действительно питьевой.

Поставив на стол рюмки, мы, как два оголодалых хищника, набрасываемся на бутерброды с ветчиной.

— Дмитрий, если хотите курить, — курите. Здесь можно. — Монахова извлекает откуда-то из-за спины бронзовую пепельницу в форме остроносой туфли. — А вы, Оленька, рассказывайте. Дмитрий с Олегом, собственно, за тем и приехали.

Это мы, значит, приехали.

Никто нам не звонил, не звал, адреса не оставлял — сами приехали, коньяк учуяли, на хвост упали, сейчас приставать начнем…

Это я вредничаю, если кто не заметил.

— Да, в общем, рассказывать особо нечего…

Ольга явно не знает, с чего начать. Нервно хрустит пальцами, машинально пытается чем-то занять руки и в конце концов принимается накручивать на палец каштановый локон — точь-в-точь как моя жена!

— Вчера ко мне письмо пришло. От Владимира. Ну, я сразу Татьяне… Татьяне Васильевне («Ой, Оленька, ну какая я вам Васильевна?!» — кокетливо машет рукой хозяйка) позвонила, привезла ей письмо. Собственно, вот оно. Олег… («Ой, Оленька, ну какой я вам Семенович?!» — в тон откликается Олег, усмехаясь)… Вы, я слышала, инструктор по карате, и Володя у вас в свое время занимался… Вы лучше сами прочтите письмо — а потом скажите: может быть такое, о чем там Володя пишет?! А то я уж сама не знаю…

— Давайте письмо.

Надорванный конверт с торчащими из него тетрадными листками в клеточку, мелко исписанными от руки, перекочевывает к Олегу.

— Почерк разборчивый. Я вслух прочту, чтобы и Дмитрий слышал. — Мой соавтор обводит присутствующих вопросительным взглядом.

Возражений не поступает.

«Привет, Ольга!

Это я, Владимир. Монахов. Извини, что не пришел тренироваться, как договаривались, но тут со мной столько всякого… В общем, кажется, я социально опасен, и мне надо держаться от людей подальше. Так что я «подался в бега» — надеюсь, временно.

Ты не думай, у меня с головой все в порядке… вроде бы. Нет, наверное, все-таки в порядке. Более или менее. Ты вообще не спеши письмо это рвать в клочки, ты погоди, потому что, боюсь, у тебя скоро начнутся те же самые проблемы.

Зря я тебе тогда рекламку эту подсунул; зря кассеты посоветовал купить! И сам зря купил. Я ведь, когда всего месяц по ним прозанимался, вечером с одним мужиком зацепился. Я тебе раньше не рассказывал. Ну, поддатый был мужик, матом меня обложил. Я ему советую: «Иди проспись!» — а он с кулаками полез. Я и отмахнулся. Раз всего. А он упал и не встает. Пена изо рта, хрипит. Женщина какая-то кричать начала, милицию звать: «Убили, убили!» — я и ушел от греха подальше. Испугался, что и вправду человека насмерть зашиб. Только когда уже за угол сворачивал — смотрю, пьяница тот шевелиться начал, встать пытается. Тут меня и прошибло: система-то действует! Раз ударил — человек пять минут в отключке! А я-то «Метабоем» всего месяц занимаюсь!..

Вот после этого я тебе рекламку и показал.

А вскоре стал за собой замечать: боюсь к людям прикасаться. Руки знакомым жать перестал… с женой в постель не ложусь… Потом толкнул в трамвае человека, случайно толкнул, и несильно вроде — а он в крик! Оказалось: вывих плеча. Он кричит, я на улицу спешу, чтоб не влипнуть… На улице понял: это что-то вроде инстинкта во мне проснулось. Могу силу не рассчитать и покалечить человека. Да, ты Татьяне, жене моей, письмо это тоже прочитать дай обязательно! Таня, я жив-здоров, только мне сейчас с людьми общаться опасно. Потому и из дому ушел. Я же за тебя боюсь, ну и вообще… Шурик-то в больницу из-за меня, дурака, попал. Я звонил, спрашивал, как он там… Век себе не прощу! Тань, Шурик оклемается, он обязательно оклемается, раз до сих пор жив!

…Короче, это все еще до турнира было… Ах да, я тебе, Ольга, про турнир тоже не рассказывал! Короче, начал я сам себя бояться. Горжусь и боюсь; вот такая история. А червячок-то все равно гложет: вот ты пузырем раздуваешься, как бы не лопнуть! Вдруг ничему ты так и не научился?! Только льстишь себе? Тот

мужик пьяный был, на него дунь — он и упадет! А другой, в трамвае: может, у него вообще хронический вывих по жизни?! Ты бы лучше проверил, пузырь…

Решил проверить. Заявился в клуб «Тайра». Там битки еще те — если против них что-то смогу… Только в первый раз меня оттуда погнали. А во второй… Один мордоворот в нокауте, у другого пальцы сломаны!

Действует!

И сразу мне предлагают вступить в клуб, участвовать в турнире. А эти, из «Тайры», денег на ветер не бросают. И опять же кого ни попадя на турнир не выставят! «Вот оно! — думаю. — Не зря искал, не зря из школы в школу бегал, кассеты на последние гривны скупал!» Олег, помню, мне еще твердил, что не бывает блюдечек с голубой каемочкой — врал, сэнсей! Бывают! Вдобавок менеджер их еще и аванс мне вручает за участие — две сотни «зелени». А мы как раз на мели сидели…

Лучше б я тогда ему сразу деньги вернул. Только через день, когда турнир закончился, когда выиграл, когда приз получил — только тогда узнал, что американец этот скончался. Убил я его! — понимаешь, Ольга?! Понимаешь, Таня?! **Убил**! Я убил человека! Неважно, что не хотел, неважно, что на турнире и что судить не будут, — главное, что человека больше нет! Хороший он там или плохой… Понимаете?!

Эх, ничего-то вы не поймете…

Я тогда как чумной ходил, от людей шарахался. Сэнсея своего бывшего с друзьями в троллейбусе встретил — наутек пустился, и тебя, Ольга, от греха подальше утащил.

Вот только сейчас подумал: мы тогда целую толпу народу растолкали, чтоб к выходу пробиться, — что, если и они тоже…

А когда я Шурика за плечи ухватил и трясти начал, а потом увидел, что он утром не просыпается, — понял: все! Надо уходить, от людей подальше! Вызвал «Скорую» и ушел.

В городе вы меня не ищите. Уехал я. Окопался в одном пансионате, кормят тут сносно (я им заплатил наличкой, без бумаг — попробовали бы кормить плохо!). Народу — никого почти что. Отдыхающих вообще нет, а обслуге я сказал, что я писатель, роман новый обдумываю и ищу уединения. И питаться привык чуть позже, чем у них в распорядке заведено: пусть они мне на столе еду оставляют, а когда я ее съем — это мои проблемы. Они так и делают, я почти ни с кем и не вижусь, разве что издалека. Тань, ты не волнуйся, денег у меня хватает, и домик нормальный, крыша не течет, и кормят… да, я уже писал.

Жаль, «Технология…» эта проклятая никак из головы не идет. Засыпаю — а перед глазами кадры очередного занятия! Часто

ловлю себя на провалах в памяти: оказывается, уже не просто сижу на скамеечке, а что-то отрабатываю — по ИХ методике! И все время тянет воткнуть кассету в видик. Закончить курс. Говорят, у наркоманов так бывает, когда очередной дозы нету.

И видик здесь есть, в салоне, и кассета с собой, и закончить-то всего ничего — меньше двух недель осталось!..

Пробовал по классической методе заниматься, как раньше… ну, ты, Ольга, знаешь — со стойками, с дыханием, не спеша…

Сходил даже на старое место, где мы экзамены сдавали, там аура хорошая. Сидел, три часа медитировал, экзамены вспоминал, тренироваться по-старому пробовал… Не помогает. Вы когда-нибудь пробовали заставить бейсбольную биту станцевать ката «Высокое Небо»? А я пробовал… потому как я себя такой бейсбольной битой и ощущаю.

Или багром с пожарного щита.

Корявым, твердым и… нет слова. Мертвым? Нет, не мертвым… Закостенелым, что ли? Близко, но опять мимо… Только если такой штукой ударить… Сбылась, называется, мечта идиота! Всем доказал, соревнования выиграл, теперь одним ударом человека убить могу… и убиваю.

Мерещится и вовсе чудное: будто у меня уже любое прикосновение — все равно что удар! Или не мерещится?.. Не знаю. Потому я от людей и сбежал — чтоб больше никого ненароком… да, я уже писал.

…Нет, наверное, не любое. Сейчас вспоминаю: касался я все-таки людей время от времени — и ничего с ними не делалось. Зато когда хотел оттолкнуть, отодвинуть, когда злился… Вон, с Ленчиком набивку стучали — так он об меня руку повредил. А любой обычный человек… Хотя мы с тобой, Ольга, в паре работали — и ничего! Это, наверное, потому, что у нас с тобой теперь энергетика однотипная, мы друг для друга безопасны… как багор для биты.

Ольга! Не смотри больше эти кассеты! Слышишь? Не смотри! Опомнись, пока не поздно! У тебя это уже началось — смотрел я твою телепередачу, не с начала, но смотрел. Как ты шестерых уродов уложила. Нет, уродам по заслугам, все правильно, молодец… но — хватит! Вот на этом и остановись. У меня ведь тоже поначалу все хорошо было: ну, ударил жлоба пьяного — он упал, отлежался, очухался. Хорошо! А потом ударил — и убил! Насмерть. Толкнул — вывих плеча! Сына за плечи встряхнул (прости, Таня, виноват, виноват, кругом виноват!) — теперь врачи никак откачать не могут!

Не доводи себя до этого! Лучше сейчас брось! Ну ее, эту крутизну, я ей уже и сам не рад. Оля, не надо продолжать! Не

надо курс заканчивать! Слышишь?! Все, завязывай!

Потом только хуже будет. Меня теперь к этой кассете тянет, как пьяницу к бутылке или наркомана — к шприцу. Хожу кругами вокруг местного видеозала, еле себя удерживаю, прочь иду, а ноги сами обратно несут! Я наркотой никогда не баловался, да и пил по праздникам — но, наверное, «ломка» так и выглядит! Крутит всего, места себе не нахожу, а как глаза закрою — экран вижу. Я уж ее, заразу, и выкинуть хотел, в речку, или сломать, или сжечь — веришь, рука не поднялась! Не смог.

В общем, пока держусь, но с трудом.

И еще голос этот… Нет, не голос, конечно (Тань, Оля, вы не думайте, крыша у меня еще на месте, не течет!.. Да, я уже писал). Короче, мыслишки подленькие закрадываются: а что, если досмотреть-таки, дозаниматься, до конца курс пройти?! Ну не станут же тогда у меня из глаз молнии сыпаться?! Может, наоборот, если полный курс пройти, я это дело контролировать сумею? В смысле, когда надо — включаться в «боевой режим», а в остальное время буду нормальный, как все? Может, так и должно быть: пока весь курс не пройдешь, контролировать себя не научишься? А потом все в норму придет? Вроде пистолета в кармане, который лежит до поры до времени, пока надобность не возникнет…

Одного боюсь: вдруг не мои это мысли! Вдруг проклятая «Технология…» мне их нашептывает, искушает, аки дьявол душу человеческую!

Боюсь я, Оля. Боюсь я, Таня. Что поддамся в конце концов, пройду до конца… И кем тогда стану?

А кем я уже стал?!

Вот только мечту жалко. Сколько лет искал, нашел в конце концов: вот оно, мастерство, умение, сила — бери, пользуйся, быстро и просто!.. А в итоге…

Жаль.

Вдвойне жаль: стану прежним (дай бог!) — буду вспоминать себя теперешнего, с такими-то возможностями…

Нет, нет, Оля, не слушай меня!

Брось немедленно, слышишь?!!

Ладно, буду закругляться. Некоторое время пересижу еще — авось отпустит. Как только — сразу вернусь. Слышишь, Таня? Все будет хорошо! И с Шуриком все будет хорошо, он поправится, вот увидишь! Я тебя люблю, Таня. Я вернусь. Ты меня дождись. Ты меня обязательно дождись, я…

Все, пока.

Владимир».

Дмитрий

Я молча тушу в пепельнице сигарету и тянусь за бутылкой. Кажется, стоит выпить еще по одной.

Пока Олег читал, я, слушая его, одновременно изучал конверт, пытаясь изображать великого сыщика. Обратного адреса Монах не оставил, однако, в принципе, по почтовому штемпелю можно было бы определить, откуда отправлено письмо, и таким образом резко сузить круг возможных поисков.

Однако на конверте стоял штамп 125-го почтового отделения города Харькова, а это означало: письмо скорее всего отправлено с железнодорожного вокзала Левада. Или с автовокзала, который находится там же, буквально в двух шагах. Просто-напросто тот самый Андрей Шмалько, классификатор коньяков (впрочем, в народе он больше известен иными заслугами), обитает неподалеку от Левады, а номер его почтового отделения — как раз 125-й.

И что это нам дает? Да ничего! Приехал Монах из своего логова на электричке или на автобусе, вылез на Леваде, кинул письмо в ближайший почтовый ящик (внутри города быстрее дойдет) и обратно укатил. А куда именно — черт его знает!

В письме он об этом тоже не распространялся.

— …вот я и хотела спросить, Олег: может такое быть? Ну, о чем написал Володя?

Назвался сэнсеем, полезай в кузов! Мне небось она таких вопросов не задает. Хотя сейчас Олег скорее всего ответит то, что ответил бы и я.

— Раньше я бы сказал вам, Оленька: нет. Не может. Но после событий последних двух недель… Не знаю. Может быть, мир вывихнул сустав. А может — это все цепь дичайших совпадений плюс больное воображение Владимира. Не знаю. Не возьмусь утверждать однозначно.

Точно! Почти слово в слово. Уже в который раз: Олег вслух произносит мои мысли. И наоборот.

— Дело в том, что я начала за собой замечать… кое-что из того, о чем пишет Володя! И когда я прочла его письмо — мне стало просто страшно! А вдруг он прав, вдруг я тоже стану… опасной для окружающих? Вот, например: мне в последнее время неприятны чужие прикосновения. Я их стараюсь избегать. Потому и дернулась, когда вы мне хотели руку поцеловать. Извините еще раз…

Олег очень серьезно кивает.

Шутки в сторону.

— Или если это и впрямь психоз — вдруг это…

действительно из-за кассет? Я ведь когда от тех шестерых отбивалась… я ведь и не помню ничего! Все как в тумане было. Потом прихожу в себя, а они на земле валяются…

— Да, Ольга, мы давно хотели узнать… Вы там на самом деле одна были? — не выдерживаю я. — Может, вы кого-то прикрываете? Чтоб не подставлять человека? Поверьте, это останется между нами! Можете даже имени не называть. С вами тогда был кто-то еще?

— Одна я шла. Одна! — Ольга едва не срывается на крик и поспешно умолкает.

Я понимаю: она не врет.

— Что мне теперь делать? — тихо спрашивает Ольга. — Мне страшно! Я сама себя боюсь…

— А у вас тоже есть эта кассета, что у Володи?

— Кассеты, — поправляет Ольга. — Две кассеты и альбом.

— Ну да, в рекламке еще написано было, — припоминает Олег. — Может, на второй какая-то зацепка есть?

Он смотрит на меня.

— Может быть, — пожимаю плечами. — Ольга, можно нам будет вторую кассету посмотреть?

— Посмотреть? Вы понимаете… я…

Она резко умолкает под обстрелом наших взглядов.

Кусает губы.

Краснеет.

— Да, можно. — Так скорее заходят в кабинет к стоматологу, а не отвечают на пустой вопрос.

И на том спасибо.

— Мальчики (ишь ты!), а где может прятаться Володя, вы не представляете? — напоминает о себе временно всеми забытая Монахова.

— На конверте штамп 125-го отделения. Отправлено с Левады или с автовокзала. Скорее всего, — сообщаю я Олегу свои выводы.

— Понятно. Ну-ка, давайте еще раз текст посмотрим. Что-то там такое было…

Олег вновь берет листки. Вертит их в руках, быстро бегая глазами по строчкам и шевеля губами.

— Я вначале хотела в милицию обратиться, письмо им показать, — рассказывает между тем Монахова. — Хорошо, что сразу не пошла, сначала знакомому своему позвонила. У него сын — юрист, консультант при Харьковской епархии. Так он, когда это письмо прочел, сразу заявил: «Не вздумайте нести в милицию! Он же пишет, что человека убил! И что он социально опасен. Розыск-то объявят — но, если найдут, посадят непременно. Еще и

пару нераскрытых дел на него повесят. Так что не вздумайте…»

— Ну, полагаю, ваш консультант несколько сгустил краски, — спешу я успокоить разволновавшуюся Татьяну. — Но посоветовал верно. В милицию с этим идти не стоит.

— Да, но я хочу его найти! Ведь видно же: ему плохо, ему помощь нужна!..

— Вот, есть! — В голосе Олега пробивается азарт сыщика, напавшего на след. — Монах… Владимир пишет: «Сходил даже на старое место, где мы экзамены сдавали, там аура хорошая. Сидел, три часа медитировал, экзамены вспоминал, тренироваться по-старому пробовал… Не помогает». Ты понял, Димыч?

— Понял!

Я обернулся к скульптурной группе «Недоумение» в лице двух женщин.

— Понимаете, наша школа карате каждый год сдает экзамен. Все группы с инструкторами плюс приглашенные. Так вот, это много лет происходит в одном и том же месте… — Краем глаза я ловлю предупреждающий взгляд Олега и осекаюсь на полуслове. Он прав: не стоит пока говорить Татьяне, где это.

Еще кинется сдуру, спугнет Монаха…

— …а раз Владимир пишет, что он *сходил*, а не *съездил* на старое место, — значит, он окопался неподалеку. И мы подозреваем, где.

— Где?! — Монахова вся подалась вперед, задев столик и едва не расплескав коньяк из рюмок.

— Извините, Татьяна, но пока мы не можем вам этого сказать. Думаю, завтра… нет, завтра не получится!.. послезавтра мы сами туда съездим и все выясним. Мы ведь тоже не Шерлок Холмс с доктором Ватсоном. Поймите нас правильно…

Все сходится. Монах отправил письмо с Левады — а электрички на Змиев, через три остановки после которого надо выходить, чтобы попасть на «экзаменационную поляну», уходят именно оттуда! И как раз на той же станции, по другую сторону железнодорожного полотна, имеется вполне приличный дом отдыха, где мы с Олегом отдыхали семьями несколько лет подряд. Пару раз к нам туда на шашлыки приезжали друзья-знакомые — и среди них, кажется, был и Монах.

Сейчас дом отдыха пустует (не сезон еще), но какая-то обслуга из местных там есть всегда, и если приехать да сунуть денег (а деньги у Монаха есть, заработал на бедном Дагласе Дедже)…

— Не волнуйтесь, Татьяна, все будет хорошо! Вот и сын ваш на поправку пошел, и Володя жив, письмо прислал. Мы его постараемся найти. Послезавтра с утра и поедем. Все будет

хорошо…

Мне бы и самому хотелось в это верить. Только многое мешает. Теряют на глазах сознание люди на остановке. Обмяк, не дышит старик. Попал в больницу Монахов-младший (слава богу, очухался парень!). Убит американец. Рассказы Большого Босса и «бригадира» Калмыка, бывшего Олегова одноклассника. Сломанная рука Ленчика. Шестеро насильников искалечены вот этой застенчивой и несчастной девушкой, сидящей напротив меня. «*Самая разрушительная система выживания*». Как у Миши Успенского: *«Всех убью, один останусь*..!»

— А сейчас, если вы, Ольга, не возражаете, мы бы хотели взглянуть на вторую кассету.

— Конечно… Она у меня дома. Если хотите, можем поехать хоть сейчас.

— Поехали. Спасибо за угощение, Татьяна, а Владимира мы постараемся найти. Как только что-то прояснится — сразу как минимум позвоним.

— Погодите! Давайте я ему хоть записку напишу, на случай, если вы его найдете…

Олег

…за окном, в промозглой темноте, ветреная Геба уныло кормила Зевесова орла. Занятие это, видать, за тысячелетия каторжных работ надоело Гебе хуже горькой редьки, гроза в начале мая выходила нудной и бесконечной, как зубная боль; и громокипящий кубок проливался на землю мелкой, дребезжащей в кронах деревьев моросью.

Воскресенье распинало себя на сыром кресте полуночи, чтобы воскреснуть через неделю.

Я сидел в комнате один, обложившись фолиантами разной степени потрепанности, и тупо смотрел в составленную мною же схему.

Этакое «Театр Но о времени и о себе».

Сидел.

Смотрел.

Даже правок не делал.

> «1333 г. — рождение Канъами Киецугу, основоположника национальной драмы и отца театра Но; годы жизни 1333—1384. Также начало новой исторической эпохи Муромати (1333—1573), искусство которой создавалось под эгидой воззрений дзэн.
>
> 1363 г. — рождение Дзэами Киецугу (в дальнейшем

— Дзэами Дабуцу), сына Канъами и величайшего теоретика-практика театра Но; годы жизни 1363—1443.

1374 г. — Есимицу, третий сегун клана Асикага (1358—1408), посещает спектакль труппы Канъами «Окина», приходит в восторг и берет труппу под покровительство. Переезд труппы в Киото, а других трупп — в крупные города.

1384 г. — после смерти отца Дзэами в девятнадцатилетнем возрасте возглавляет труппу.

1392 г. — сегун Есимицу прекращает эру двоевластия (наличие двух императорских дворов, Южного и Северного), и на трон восходит сотый император Го-Комацу из северной, младшей ветви. Начинается расцвет экономики и искусства.

1394 г. — рождение сына Дзэами по имени Мотомаса (семейное имя — Дзэнсюн), выдающегося актера (1394—1432; умер скоропостижно при странных обстоятельствах). Также в этот год сегун Есимицу принимает на себя титул канцлера (высший в государстве, всего второй раз за всю историю пожалованный военному неаристократу) и номинально передает управление делами сегуната своему малолетнему сыну Есимоти.

1395 г. — канцлер Есимицу принимает постриг, начиная вести жизнь «**a la** монашествующий экс-император».

1399 г. — после трехдневных праздничных состязаний Дзэами Дабуцу признают лучшим актером Но.

1404 г. — рождение младшего сына Дзэами по имени Мотоеси, в будущем — буддийского священника.

1408 г. — Дзэами и его труппа на гребне славы. Но умирает сегун-покровитель Есимицу, реальным сегуном становится сын последнего, Асикага Есимоти; для актеров труппы Дзэами начинается период унижения и травли. До 1428 года нет ни одного упоминания о спектаклях Но в Киото; также им запрещены выступления при дворе.

1428 г. — после смерти сегуна Есимоти его сменяет на посту Асикага Есинори, покровитель племянника Дзэами. Начинаются еще более серьезные притеснения и репрессии…»

Нет.

Продолжить не получалось.

И не потому, что отсутствовали сведения; не потому, что хотелось спать; не потому, не потому…

Не получалось, и все.

Я разгреб книги в стороны. Полез в тумбочку. Достал серую рекламку «Технологии взрывного метабоя» и положил на стол. Потом извлек кассету, оставленную Монахом, — первую, а не вторую, полученную днем от Ольги. Сунул ее в магнитофон; включил телевизор.

И не стал торопиться, сев за стол и подперев голову руками.

Во дворе чавкал грязью дождь.

Старый хитрец Чжуан-цзы, помнишь свою притчу с бабочкой во сне? Кто я: циничный современник телевизора и метро, которому снится невозможный сон про юного актера-японца из пятнадцатого века, или открытый всем ветрам лицедей в костюме *«караори»*, которому видится небывалая греза о несчастном Володьке Монахове, ходячем стихийном бедствии?

Кто?

Нет, не будем торопиться. Начнем сначала. С самого начала. Именно поэтому нельзя смотреть вторую, заключительную кассету «Технологии». Хочется, а нельзя. Ведь стоит лишь на миг допустить, что там есть тайна, которой нет в кассете первой, что стоит лишь нажать *«play»*, и вдруг кошмар прорвется пониманием, в руки упадет волшебная палочка…

Допусти я это хоть на секунду, и мы станем с Монахом одинаковы. Он ведь тоже все эти годы убеждал себя: стоит найти нужного, правильного учителя, нужную, правильную систему; нажать нужную кнопку…

Он ее нашел.

Нашел ли?!

Медленнее, медленнее, медленнее…

Ты — мой персонаж, Володька Монах, ты живешь только во мне, ты часть меня, обрывок, отголосок, и я должен это понять, принять и согласиться… договорились?

Да, еле слышно ответил он, стоя за окном, в тенях мокрой ночи.

Мы с тобой одной крови, ты искал снаружи и обрел желаемое, я буду искать внутри, видя, какие мы разные, и видя, какие мы одинаковые; раз-два-три-четыре-пять, я иду искать, кто не спрятался, я не виноват… хорошо?

Да, молча кивнула тень во мраке.

Тень во мне и вовне.

Ты же сперва купился на эту рекламку, а кассеты пришли потом, позже; ты потянулся за ней, как теленок тянется губами к

материнским сосцам, ты откликнулся на зов, который мне кажется бессмыслицей и гвалтом ярмарочного зазывалы… мы начнем с самого начала?

Да…

Итак: *«Это не просто самая разрушительная система рукопашной защиты, основанной на секретах движений 3000-летней давности. Это не просто знание психологических секретов, используемых в экстремальных ситуациях. Это не просто специальные знания, позволяющие мгновенно превратить невинные предметы в безотказное и смертоносное оружие. ТВМ даже больше, чем все это, вместе взятое. В этом уже убедились все, кто освоил ТВМ. Мы получаем множество писем, в которых почитатели ТВМ рассказывают о тех крутых переменах, которые внесла в их жизнь Технология…»*

Что вызывает во мне чувство отторжения?.. Во мне, в Димыче и Ленчике, в Большом Боссе и бригадире Калмыке?.. От чего мы брезгливо воротим нос?!

«Это не просто… это не просто… и это тоже не просто…» Вот оно! Мы слишком хорошо знаем, до чего же оно не просто на самом деле! Нет секретных движений 3000-летней давности, равно как и нет секретов мастерства и психологии, скрытых от новичка вредными наставниками (а хочется, ах как хочется, чтоб были секреты, секреты древние и оттого вдвое привлекательные; и уж совсем грезится, как их раскрывают тебе и только тебе!). Мы не *верим*, а *знаем*, поскольку проверили это на собственной шкуре, проверили по-разному, с разным результатом… но итог один.

Секретов нет, есть работа.

Ежедневная, спокойная, неторопливая.

Тяжелая.

Для одних она так и остается работой, для других превращается в образ жизни, как любое ремесло превращается иногда в искусство, реже, чем хотелось бы, но превращается… или не превращается, что сейчас не важно.

Монах, княгиня Ольга — вы ведь так и не *узнали*, продолжая *верить*! Ремесло, искусство… для вас оно оставалось сказкой, вожделенной легендой, где вам хотелось бы жить! Вы искали секретов и тайн, вы искали волшебную палочку — взмахнула фея-крестная, и оборотился добрый молодец ясным соколом, а крыса — кучером… Вы хотели быстро, и оттого получалось медленно; вы хотели сразу, и оттого постоянно откладывалось; вы хотели найти, но искали не там. Я прав?

Ты прав, бормочет несчастный призрак, купаясь в шелесте дождя. Ты прав, потому что когда-то сам был таким; ты прав,

потому что не придумываешь, а вспоминаешь.

Да, Володька.

Я сам был таким; я был, а ты остался.

Остался во мне.

Есть многое на свете, друг Горацио: графоман становится модным писателем, восторгая собой сотни тысяч, наркоман становится символом просветления, увлекая в пропасть доверчивых… Однажды в Лхасе, на собрании крупнейших буддистов-вероучителей, ребром встал вопрос: можно ли наркотик считать путем к просветлению? Ведь кайф и Сатори так похожи!.. Спор длился не один день. Ответ был таков: «Нет, ибо наркотик не влечет за собой развития личности; достижение иллюзорной цели не есть Путь». Вот он, наркотик, передо мной: *«…почитатели ТВМ рассказывают о тех крутых переменах, которые внесла в их жизнь…»*

Продолжим.

«…О потрясающем случае в Новосибирске, где семнадцатилетняя девушка избежала насилия семи (!) парней, предварительно переломав руки и ребра двоим из них. О не менее потрясающем случае в Ростове-на-Дону, где сорокапятилетний больной мужчина практически изувечил двух грабителей, которые, угрожая оружием, пытались отнять у него автомобиль „Жигули-2104“. Есть и печальные вести. Арестован человек, который обвиняется в двойном убийстве. Напоминаем еще раз о необходимости тщательной юридической консультации о пределах необходимой самообороны…»

Что вызывает во мне чувство отторжения?.. Во мне, в Димыче и Ленчике, в Большом Боссе и бригадире Калмыке?.. В нас, людях совершенно разных, с разными целями и взглядами, с разной биографией; от чего мы, разные люди, одинаково морщимся?!

«…О потрясающем случае… о не менее потрясающем случае… переломав руки и ребра… практически изувечив…»

Мы *не верим*. И потрясающие случаи нас не потрясают. Полагаю, Большой Босс видел сломанные руки-ребра-челюсти чаще меня (я вовремя соскочил), а Ленчик с его опытом — чаще Большого Босса, да и вокзальный бригадир тоже, думаю, насмотрелся… Но это не ассоциируется для нас со словами «потрясающий случай». У нас есть другие слова, гораздо менее привлекательные. Перечислять не стоит. Хруст ломающейся кости не звучит в наших ушах «музыкою прекрасной» — обыденность или несчастье, беда или рабочая рутина, но потрясением тут и не пахнет; особенно потрясением с оттенком эстетического наслаждения.

Удовольствие для бедных.

Вот поэтому мы и *не верим*.

Монах, княгиня Ольга — вы ведь так и продолжали верить, умиляться и потрясаться, ибо никогда раньше не ломали руки-ребра-челюсти ни себе, ни другим?! Для вас это отнюдь не было несчастьем, не стало обыденностью, не превратилось в рутину; для вас это продолжало оставаться волшебной сказкой, манящим миражем… так дети восторгаются «киношкой» с десятками трупов и играют потом в «крепкого орешка», даже не подозревая, что в реальности на каждый орешек есть свой Щелкунчик. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой; но на похоронах бабушки те же дети становятся иногда молчаливы и серьезны, видя смерть вплотную, рядом, боясь поцеловать холодный лоб… впрочем, завтра с утра во дворе опять начинается: «Падай! Ну падай, я тебя убил!»

Мы покупаем сыну игрушечный автомат — и втайне играемся им сами, щепча: «Тра-та-та… Ну падай же!..»

Став взрослыми, остаться детьми; это далеко не всегда прекрасно и далеко не во всех проявлениях. «Ах, он до сих пор непосредственен, как ребенок!» — а попробуй этот «ребенок» при всех напрудить в штаны, лучше всего на банкете по случаю кандидатской диссертации…

Я прав?

Ты прав, беззвучно шепчут тени, и вялая молния рассекает тьму, чтобы почти сразу дать тьме сомкнуться. Ты прав, потому что когда-то сам был таким; ты прав, потому что не придумываешь, а вспоминаешь.

Да, Володька.

Я сам был таким; я был, а ты остался.

Остался во мне.

И часто напоминаешь о себе бесом в ребро, но если закон для дилетанта означает: «Не могу и потому не делаю!» — то стократ ошибется тот, кто примет «Могу и делаю!» за закон для мастера.

Здесь властны иные законы, законы свободного выбора: «Могу и потому не делаю!»

Мастер — образец подражания для дилетанта; дилетант — образец подражания для мастера.

Продолжим.

«Уникальность ТВМ заключается в том, что она не требует большой физической силы, ловкости, длительных изнурительных тренировок (полное освоение занимает считаные дни; если соблюдать предложенный график — три месяца), и при этом является самой разрушительной системой выживания из всех существующих. Комплект высылается наложенным платежом в сумме 69.00 гривен (с учетом почтовых расходов). Поверьте, это

очень небольшая цена за то, что содержится в комплекте! Оплата производится по получении на почте».

Что вызывает во мне чувство отторжения?.. Во мне, в нас… что?!

«…она не требует… полное освоение занимает считаные… наложенным платежом… оплата по получении…»

Мы никогда не сможем поверить, что умение можно купить. Мы никогда не поверим в оплату по получении, за считаные дни и *«не требуя»*.

Мы не сможем.

Володька, ты смог?

* * *

Я не стал смотреть кассету; ни первую, ни вторую.

Ни к чему.

Я и так увидел лицо беса, сидевшего во Владимире Монахове; беса, откликнувшегося на призыв лжетигра:

— *Ваша задача — выжить!*

Дмитрий

…Из колонок грохотало дробное соло на ударных, щедро приправленное перезвоном тарелок (последний заловый альбом *«Deep Purple»*, на днях купил, уже по третьему кругу слушаю); ряды черных букв на книжной странице исходили кровью и сабельным звоном — и поэтому еще один звонок, телефонный, я расслышал не сразу.

— Папа, это тебя!

Ну вот, и так каждый раз: стоит только прилечь вечером на диван, почитать книжку и музыку послушать, как начинаются визиты! А потом — как в старом анекдоте: «Чукча не читатель, чукча писатель!» На полке накопилось по меньшей мере десятка два книг, которые надо бы прочесть, — да все времени нет…

— Спасибо, Сережа.

Это он мне трубку от радиотелефона принес. Опять забыл рядом положить, когда на диване устраивался.

Сын убегает, и я не успеваю сказать ему, чтобы шел спать.

Давно пора.

Или не пора: раз жена не идет ругаться, чтоб выключал свою лесопилку…

— Привет, Димыч.

— Привет.

Это Ленчик. Странно. Он обычно Олегу звонит, а не мне.

И время слишком позднее для трепа.

— У Олега занято все время. Блокиратор, наверное?

— Блокиратор, — соглашаюсь я.

Ленчик молчит и дышит в трубку.

— Понимаешь, Димыч, я тут немного поизображал из себя майора Пронина — на комиссара Мегрэ, увы, не тяну — и кое-что выяснил. Насчет кассет. Ну, ты понимаешь.

Я понимаю.

— Что, еще один Терминатор бродит по Европе? — Шутка выходит неуклюжей.

И несмешной.

Ленчик дышит и молчит.

— Нет. Скорее наоборот. Прогулялся я по городу, заглянул к старым знакомым, которые сейчас в видеосалонах работают. Кто в прокате, кто в студии. Поспрашивал насчет этого… «Метабоя».

Ленчик умолкает и перестает дышать. Связь оборвалась? На наших замечательных линиях такое не редкость.

— Знают они эти кассеты, — как ни в чем не бывало выныривает из телефонного небытия голос Ленчика. — Сами ими особо не торгуют, слишком дорогой заказ, но время от времени получают от населения. На комиссию или на обмен. Народ ругается: деньги, дескать, выложили, а толку — шиш!

— Как — шиш?! Ты что хочешь сказать: с этими, которые сдавали, ничего не произошло?!

— Абсолютно! Да одного ты сам знаешь, он версткой компьютерной занимается. Коля Веселкин. Ты нас еще знакомил, когда мне буклет по астрологии сделать надо было.

— Коля? Конечно, знаю! Так он что, тоже решил в Брюсы Ли податься?

— Решил. Он видеофирме «Ритм» прайс-листы верстал, углядел этот комплект, из комиссионных — и себе взял, со скидкой. А то, говорит, мне недавно баллончиком в физиономию прыснули, деньги забрали, часы… Я его телефон раскопал — ты же и давал когда-то, — позвонил. Спросил насчет кассет. «Обман трудящихся! — говорит. — Полтора месяца дрыгался, как дурак, перед видухой; а в прошлый четверг ко мне два урода подошли, закурить спросили. Я и оглянуться не успел: лежу на асфальте, кошелька опять нету, а на затылке во-о-от такая гуля! Наша задача, блин, выжить!.. Козлы они там, с этими кассетами!»

Коля Веселкин вечно влипал в подобные истории, и всякий раз — с неизменно превосходным результатом. Вышеописанным. Никакими единоборствами, кроме периодического истребления монстров на экране компьютера, Коля отроду не занимался; а вот,

поди ж ты — то, что превратило Володьку Монахова в ходячее стихийное бедствие, нашему герою как слону дробина!

— …Понятно. — Ах, если бы!.. ничего мне не понятно. — Значит, не в кассетах дело. Или не только в кассетах. Да! Мы сегодня у Монаховой жены в гостях были! Письмо от беглого мужа пришло. Весьма любопытное, она нам прочесть дала. Ты как, поедешь за компанию, Монаха отлавливать?

— Это далеко?

— Час с хвостиком езды. Возле того места, где мы экзамены сдаем.

— Завтра у меня дежурство. Давай послезавтра…

— Мы, собственно, так и собирались.

— Хорошо. Я завтра к вам вечером заеду, и договоримся точно. Заодно расскажете, что там Монах пишет.

— Ясное дело. Заезжай. А если не сложится — то послезавтра, в семь утра, на Леваде, у касс.

— Договорились.

Даю отбой.

Чуть слышно шипят колонки — альбом успел закончиться. Некоторое время тупо смотрю на раскрытую книгу. Нет, чукча все-таки не читатель. По крайней мере, сейчас. Говард подождет. Что же такого записано на этих чертовых кассетах, что одни в итоге превращаются в бесконтрольные боевые машины, а другим хоть бы хны?

Где корень иммунитета?!

За окном сипло посмеивается дождь.

Когда квартира превратилась в сонное царство, а воскресенье приготовилось окончательно стать понедельником, который, как известно, день тяжелый, я тихонько поднялся на этаж выше.

Мне повезло: жена моего соавтора с сестрой, задержавшейся в гостях допоздна, курили на лестничной площадке.

Я был допущен вовнутрь.

* * *

Разумеется, Олег кассету смотреть и не думал, ни вторую, ни первую. Сидел, уставясь в черный, тихонько посапывавший экран. Думал? медитировал? дремал?! Это с ним бывает.

В итоге я отобрал у него обе кассеты и спустился обратно, к себе. Перед просмотром строго-настрого велел себе запомнить: кассеты потом спрятать подальше. От сына. Еще не хватало, чтобы он этой дрянью заразился! У меня-то иммунитет наверняка

есть, я Фома неверующий, мне «метабоизм» не страшен, а вот восьмилетнему пацану…

Ладно, хватит рефлексии.

«Месяц третий» — всплыл на экране титр. Ага, значит, две трети курса уже позади. Интересно, что блондин приготовил на закуску, для особо продвинутых, так сказать, «метабойцов»?

Уровня *«Advanced»*.

Тот же зал, тот же инструктор. «Как вы уже помните из предыдущих уроков, тренировку следует начинать с сосредоточения на своем теле, — серьезный, „весомый“ голос переводчика не без успеха копирует интонации цэрэушника, или кто он там. Сразу хочется завербоваться и продать Родину. — Вы должны реально ощутить крепость своего тела, крепость, сравнимую с твердым деревом или металлом. При ударе следует искренне верить, что бьете противника не рукой или ногой, а тяжелой тростью, бейсбольной битой, кочергой, тесаком для разделки мяса. Не насилуйте свое воображение, представьте самый обыденный для вас вариант, самый повседневный. Вскоре мы займемся прикладной медитацией на предмет, а пока — сосредоточьтесь, ощутите истинную несокрушимость своего тела…»

Музыкальная пауза.

Пристальный, цепкий, немигающий взгляд блондина с экрана; взгляд удава.

Тренькают струны какого-то щипкового инструмента.

Звякает колокольчик.

Дзинь. Трень. Пауза. Дзинь. Трень…

Хрень.

«Сегодня мы рассмотрим удары по наиболее уязвимым точкам человеческого тела. Таких точек имеется множество, но нас будут интересовать лишь основные и легко поражаемые. Таковыми являются: солнечное сплетение, пах, кадык, переносица, висок и область за ухом, где у человека проходит сонная артерия. Отрабатывать удары в эти точки лучше всего на манекене. При отсутствии такового можно использовать своего постоянного партнера — соблюдая крайнюю осторожность. При отсутствии партнера или манекена можно отрабатывать удары на своем отражении в зеркале».

Я представил, как я отрабатываю удар в пах на своем отражении, неприлично хрюкнул и включил ускоренный просмотр.

Мгновенно возбудившийся блондин паяцем запрыгал вокруг манекена, явившегося волшебным образом; вскоре манекен сменил знакомый мужик, голый по пояс, зато в джинсах и

кроссовках; затем вместо мужика возникло ростовое зеркало…

Не знаю уж, в какой момент я заметил, что скорость воспроизведения на перемотке и скорость движений блондина не вполне соответствуют друг другу. Поспешно надавил кнопку дистанционки. Точно! Блондин двигался нарочито медленно и скупо. «Как деревянный! — мгновенно пришло в голову. — Представьте, что вы — Буратино! Или Железный Дровосек…»

Н-да, дров он действительно наломал; вернее, не он, а его апостолы! Молодец, гуру хренов, здорово в образ вошел! Как говорится, эту бы энергию да на мирные цели… А вот что-то новенькое! Стоп, назад! Ага, вот оно.

Титр: «Месяц третий, день пятый».

«Теперь, пройдя большую часть курса, вы можете приступить к финальной стадии: медитации на предмет. Это поможет вам укрепить свое тело и дух и, как результат, — дать отпор любому агрессору. Разумеется, под рукой далеко не всегда имеется подходящий предмет, который можно использовать для защиты и нападения. Но это и не обязательно. Рассмотрим пример: если вы сильно ударите кулаком по каменной стене — стене ничего не сделается, а вы повредите руку. Вам предлагается уникальная возможность стать такой стеной на пути противника, стеной, о которую разобьется любая агрессия. Разумеется, оборона должна быть активной, но даже пропущенный удар причинит вред не вам, а вашему противнику. Такое новое качество вам может дать только система „взрывного метабоя“. Итак, приступаем. Вы уже отчасти научились ощущать крепость своего тела, словно оно сделано из дерева или металла. Теперь мы пойдем дальше. Вы должны ощутить себя оружием. Тем оружием, которое вам наиболее привычно…»

На экране медленно сменяют друг друга: трости с набалдашниками и без, пожарные багры, мотыги и палки, бейсбольные биты, ножи, туристские топорики. Голос звучит за кадром, а изображения постепенно накладываются друг на друга, заполняют экран, образуя засасывающую в себя воронку…

Маразм крепчает.

«Итак, с сегодняшнего дня мы каждое из оставшихся занятий будем начинать и заканчивать медитацией на предмет. Это не отнимет у вас много времени: когда я закончу говорить, перед вами начнут появляться изображения различных предметов. Выберите тот, что наиболее вам близок, и нажмите на кнопку „пауза“ вашего видеомагнитофона. В течение тех пяти минут, которые изображение будет оставаться на экране, постарайтесь впустить его внутрь себя, слиться с ним, ощутить себя этим предметом. Это ощущение должно по возможности сохраниться у

вас и после окончания занятия — ибо возможный агрессор не даст вам времени подготовиться, войти в нужное состояние. Вы должны ощущать себя оружием всегда и везде. Думать об этом не надо. Повторяю — *ощущать*. Итак, сосредоточьтесь…»

На экране, как и было обещано, один за другим снова начали возникать различные предметы из серии «подручных средств». Когда очередь дошла до бейсбольной биты с надписью *«Peacemaker»* — «Миротворец», — я нажал на паузу и честно попытался впустить биту в себя. Однако бита по-прежнему оставалась на экране, сливаться со мной в экстазе отказывалась категорически, а в голове назойливо вертелась одна и та же фраза: «Водка „Буратино“! Почувствуйте себя дровами!»

Прости, блондин! Видит Великое Дао и руководство ЦРУ, я старался. Но, кроме смеха или раздражения, ни у меня, ни у Олега с Ленчиком (ни у разгильдяистого Коли-верстальщика! — дошло вдруг до меня) эта медитация на бейсбольную биту или пожарный багор ничего другого вызвать не может. А вот у Монаха, с его вечными поисками «волшебной палочки», с надеждой на сиюминутную сказку… Верую, ибо нелепо! Вот ведь она, волшебная палочка — бейсбольная бита с надписью «Миротворец»! Ощути себя куском дерева, камнем, ржавой железякой, о которую противник сам — *сам*! — сломает себе руки-ноги! А если эдакой хренью еще и приложить в ответ, пусть коряво, зато…

Монах *хотел* поверить — и вера пришла.

Вот она, маска *нопэрапон*, застывающая куском дерева или стали, проникающая внутрь, становящаяся тобой! Вот оно, проклятие юного Мотоеси, сына великого Дзэами, автора трактата… трактата…

Черт побери!

Захламленный стол вскипает Везувием. В руках нужная книга; тоненькая, в мягком переплете — черный, траурный цвет и строгая белизна букв. *«Фуси Кадэн»*, «Предание о цветке стиля», автор Дзэами Дабуцу, он же Дзэами Мотокие.

Лихорадочно листаю страницы.

Вот!

> «В искусстве подражания есть ступень, когда перестают стремиться подражать. Ибо овладев предельно мастерством подражания, доподлинно становятся самим предметом изображения и входят внутрь его, и тогда нет нужды намеренно помышлять о схожести с ним.
>
> Но надо знать, что ошибка во всяком подражании оборачивается либо слабостью, либо грубостью. Очень

хорошо разделив в сердечной глубине своей сильное и изысканное, слабое и грубое, надо сделаться убежденным в их существовании.

Исполнить силою предмет, который должен быть слабым, значит ошибиться, а потому обратить его в нечто грубое. Наличие сильного в том, что должно быть сильным, — таково проявление силы; это никак не грубое. Если же представить как изысканное то, что должно быть сильным, это будет не изысканность, а слабость, ибо не будет соблюдено сходство в самом подражании. Вот и выходит, что коли положиться на саму идею подражания, коли войти в самое вещь и стать ею, коли избежать ошибок, то ни грубое, ни слабое не явятся.

Опять же: сильное, превзошедшее меру должной силы, становится нарочито грубым. Ведь актер, способный играть одних демонов, — это всего лишь неприступная скала; а цветы на ней произрасти не могут…»

«…превзошедшее меру должной силы, становится нарочито грубым…»

Вот оно!

Ты знал, великий мастер, Будда Лицедеев, еще тогда, пять с лишним веков назад — знал!..

И предупреждал.

Только безумные потомки, алчущие чуда, пренебрегли твоим предупреждением.

И чудо обратилось в чудовище.

XIV. Нопэрапон. Свеча седьмая

После пятидесяти лет, в общем, едва ли есть иной способ игры, кроме способа недействия. Вспоминаю о покойном отце. Поскольку отец обладал поистине мудрым цветком, талант его и в старости не иссякал — так, случается, не опадают цветы и с одряхлевшего дерева, почти лишенного веток и листьев…

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

Ручей пылал расплавленной бронзой предзакатного солнца.

Поверх жидкого огня, над близким перекатом в воздухе висела радужная водяная пыль, отсвечивая алыми листьями кленов, что плыли ниже по течению. Воистину прав был Сануки Фудзивара, когда сказал однажды в присутствии самого божественного микадо:

Осенняя пора!
Очей очарованье!
Гляжу
На Фудзияму —
Какая красота!

Осень жгла свои вечные костры — и молодой послушник невольно залюбовался этим зрелищем, на время забыв об ивовой корзине с недостиранным бельем. Так бы он, наверное, мог стоять довольно долго, но приближающийся перестук копыт по гравию вывел его из состояния восторженной созерцательности.

Послушник мотнул головой, словно избавляясь от назойливого насекомого, — и вновь принялся за работу, старательно полоща в ручье, оттирая песком, вновь прополаскивая и выкручивая одну вещь за другой.

Топот приблизился.

Из-за поворота показалась тележка о двух колесах, влекомая упитанным осликом. В тележке, под оранжевым зонтом с

торчащими во все стороны краями спиц, восседал толстяк, облаченный в парадные одеяния. Даже оплечье, накинутое поверх рясы цвета шафрана — такие оплечья меж британоголовыми именуются *«кэса»*, — было едва ли не щегольски украшено тройным шнуром.

Бонза Хага, один из священников храма *Кокодзи*.

«Небось свадебный обряд провести пригласили, вот он и вырядился павлином, — подумал послушник, мельком взглянув на бонзу. — А заночует, вне сомнений, в обители при храме Дзюни-сама — там всегда собираются такие же чревоугодники и развратники, как и сам Хага!»

И наклонился еще ниже, чтобы толстяк в повозке не углядел его лица.

Не то чтобы послушник шарахался от женщин или не любил вкусно поесть, предпочитая сушеных цикад лакомому сугияки — мясу, поджаренному особым образом в ящичке из ароматной криптомерии. Просто, принимая послух, он представлял себе жизнь священников несколько иначе…

Углядев занятого стиркой послушника, бонза придержал поводья, и ослик охотно остановился.

— Закончишь стирать — не забудь подмести в храме и заменить свечи перед Буддой Амидой! — строго напомнил Хага, ощупывая взглядом склонившуюся над ручьем фигуру.

Послушник, обернувшись, молча поклонился. Бонза еще раз оглядел его с ног до головы; не удержался, снова наскоро обшарил липкими глазками, прикусил губу. Хлестнул ослика вожжами — пожалуй, сильнее, чем следовало бы. Ослик недовольно взбрыкнул, однако тронулся с места и затрусил дальше, увлекая за собой повозку с толстым бонзой.

Священник не видел, как мгновенно затвердело, пошло трещинами преждевременных морщин лицо послушника, обращенное ему вслед. Так ветер гонит рябь по осеннему озеру, нахлобучивает волну на волну — и вот: стихли порывы, ушла хмурая зыбь, постепенно возвращая озерной глади прежнее спокойствие.

Чужие похоть, высокомерие и досада, запертые до поры в темнице обстоятельств, с неохотой отступили.

На время.

Послушник глубоко вздохнул, ожесточенно выкрутил холщовую рубаху, словно вымещая на ней зло; бросил рубаху в корзину.

И почти сразу надтреснутый звук гонга возвестил о приближении вечерней трапезы.

…Мотоеси подхватил корзину с мокрым бельем и споро зашагал по направлению к общей трапезной.

Впрочем, уже почти два года, как никто не называл его старым именем: приняв послух в «Озерной обители» — храме Кокодзи близ окраины Сакаи, — юноша получил новое имя.

Ваби — «Возвышенное одиночество».

О, если бы это имя еще и оказалось пророческим!..

2

К трапезной, дробно стуча деревянными гэта, спешило все население маленькой обители: двое бонз (настоятель храма небось был уже внутри, а Хага уехал в город), троица служек (двое — совсем еще юнцы, третий же, напротив, почтенного вида старец) и послушники: Мотоеси (вернее, теперь — Ваби) со своим одногодком по имени Сокусин.

К трапезе «Опоры Закона» спешили так, как никогда не спешили на молитву, медитацию или прополку сорняков на огородах.

Не так себе все это представлял Мотоеси, с трепетом надежды переступая порог Кокодзи, совсем не так! Уединение и изучение святых сутр, искренние молитвы и медитации, головоломные коаны и беседы с мудрым Наставником; ну и, конечно, работа — не без того!

Впрочем, формально все обстояло весьма похоже, за исключением коанов, о которых здесь и не вспоминали; но… Вот именно, что «но». В последнее время Мотоеси — да, для самого себя он по-прежнему оставался Мотоеси, новое имя не пристало к нему, не приросло, и когда кто-нибудь окликал молодого послушника, он, как правило, отзывался не сразу, запаздывая отождествить себя с неким Ваби, к которому обращаются. Так вот, в последнее время Мотоеси все чаще вспоминал Безумное Облако и его неизменного слепого спутника. Лишь теперь до юноши по-настоящему начал доходить скрытый смысл того разукрашенного деревянного меча, которым размахивал монах на улицах Киото и Сакаи. Действительно, здешние обитатели были подобны этому мечу: внешне красивому и грозному, на поверку же…

Ладно, размышления размышлениями, а трапезу пока никто не отменял.

Ноги сами несли Мотоеси-Ваби к трапезной, как и всех остальных, и молодой послушник в очередной раз задавался вопросом: его ли собственные голод с нетерпением гонят своего раба к заветной миске? Или юноша в очередной раз идет на поводу у проклятого дара, оставленного в наследство погибшей

от его руки *нопэрапон*?!

Вот он, главный и единственный коан, заданный ему самой жизнью! И на этот коан уже никогда не найти ответа. Какое там природу Будды обрести — ему и себя-то самого обрести не дано! Потому что после ночного костра близ хижины Хякумы Ямамбы он уже больше ни в чем не может быть уверен до конца.

Где его собственные желания, стремления, чувства?

Где — чужие, краденые, бесстрастно и бесстыдно отражаемые лучшим в мире зеркалом: маской *нопэрапон*, которая отныне стала его душой?!

Нет ответа…

Хоть сбеги сейчас, ворвись в келью, достань из сундучка безликую маску, память о прошлом грехе, надежно завернутую в старые лохмотья, вперься взглядом в гладкую поверхность! — скажи, тварь, где я, а где ты?!

Не скажет.

Промолчит.

До поры.

— …Ваби, зайди ко мне после трапезы. Я хочу поговорить с тобой.

Мотоеси, как обычно, не сразу понял, что настоятель (которого юноша, войдя в трапезную, приветствовал почтительным поклоном) обращается именно к нему.

А когда понял — вздрогнул, поспешно поднял глаза.

— Конечно, Наставник!

Не так уж часто настоятель Томонари призывал послушников для личной беседы. В размеренной и уже ставшей привычной жизни обители это являлось целым событием.

В следующий миг Мотоеси ощутил глумливое злорадство. К счастью, сейчас он точно знал: это — не его чувство. Мимо юноши в трапезную проскользнул его ровесник Сокусин, и Мотоеси словно обдало сладострастной тухлятинкой. Разумеется, Сокусин слышал слова настоятеля, слышал и его, Мотоеси, ответ — в свою очередь подумав тайком…

Многие в обители могли бы легко догадаться, о чем при таких обстоятельствах должен был подумать послушник Сокусин. А Мотоеси не догадывался — он *знал*. Ибо из-за проклятого дара *нопэрапон* воспринял чувства Сокусина как свои собственные.

Только на этот раз бывший актер был настороже и не позволил чужим настроениям до конца стать своими, войти, пусть ненадолго, в плоть и кровь, проникнуть в самые дальние уголки. Такое удавалось нечасто, но сейчас… слишком уж велико было отторжение!

Брата Сокусина снедала потаенная страсть.

Тяга к мужчинам, особенно к мужчинам молодым и сильным.

Причем страсть даже более извращенная, чем у бонзы Хаги, который тоже страдал этим грехом и регулярно зазывал к себе по вечерам ничего не имевшего против Сокусина. Неоднократно священник пытался вынудить и второго послушника к сожительству, придирался по мелочам, наказывая по любому поводу и без оного, — а потом вдруг становился ласковей «Госпожи кошки» при императорском дворе, предлагал зайти вечерком, побеседовать наедине о Восьмеричном Пути…

Похоже, в конце концов настоятель храма заметил домогательства Хага и одернул бонзу. После чего домогательства действительно прекратились, но жизнь послушника от этого легче не стала.

Увидев, что бонза-любострастник на время оставил в покое бывшего актера, Сокусин стал как бы случайно подсаживаться к юноше за обедом. Заводил пространные беседы — но перейти хотя бы к намекам не успел. На сей раз дар *нопэрапон* оказался весьма кстати: Мотоеси мгновенно ощутил истинные намерения многословного собеседника. Не сдержавшись, он однажды просто-напросто вышвырнул блудливого Сокусина из кельи, когда тот заявился к «собрату по послуху» якобы для благочестивой беседы о Восьмеричном Пути.

Хоть бы что другое придумал для разнообразия!

Разумеется, за грех насилия послушник Ваби был подвергнут наказанию: трехдневному посту, дополнительным работам на огороде и ночным медитациям. Наказание было незаслуженным, но возразить Мотоеси-Ваби не осмелился. Сокусин же, наоборот, счел кару слишком мягкой — и немедленно заподозрил настоятеля в том, что старый ханжа имеет соответствующие виды на нового послушника (разумеется, те же самые, что и сам Сокусин).

И вот его подозрения подтверждались вчистую!

Своими ушами слышал: «Ваби, дорогой мой, зайди после трапезы!..» Ну пусть «дорогой мой» не прозвучало вслух — ведь имелось же в виду, подразумевалось!

Сладок ты, вкус мщения…

Брат Сокусин злорадствовал: не захотел поближе сойтись со мной — придется познакомиться с сухим сучком настоятеля, парень!

А поверху на это злорадство накладывалась сальная похоть Сокусина, распиравшая блудника изнутри. Сейчас Мотоеси чувствовал ее особенно остро. К счастью, он понимал, что это — *не его* похоть. Теперь молодому послушнику удавалось отличать

особо сильные чужие настроения от собственных. Но — не всегда, далеко не всегда! А когда на юношу наваливались душевные порывы всех служителей храма разом… О, тогда он уподоблялся человеку с особо острым слухом, попавшему на людную площадь: как ни затыкай уши — все равно в голове звучат десятки чужих голосов, сбивая с мысли, не давая возможности сосредоточиться, и уже не поймешь, где чужие голоса, а где — твои собственные мысли, звучащие еще одним голосом, который тонет в общей какофонии безумного хора…

Сейчас Мотоеси хорошо понимал, что произошло с ним на премьере «Парчового барабана» — когда переживания десятков зрителей хлынули в душу кипящей лавой, едва не сведя юношу с ума и впрямь уподобив его безумному старцу, которого он играл! Это действительно была *не его* заслуга!

Он был прав!.. Он, а не восторженные ценители.

Велик подвиг: украсть и затем отдать с миной благодетеля…

Здесь, в обители, чувствительность бывшего актера постепенно обострялась. Медитации отчасти помогали сбить прилив — но только отчасти и на время.

На время уединения.

Спеша вместе со всеми в трапезную или плетясь на ежедневные работы, невольно подстраиваясь под шаг и настроение остальных, Мотоеси вновь оказывался погребенным под лавиной чужих желаний, вожделений и образов. Отгородиться не удавалось. Наваждение в итоге проходило само — и несчастный послушник даже не всегда понимал, когда невидимая заслонка внутри него перекрывала хлещущий снаружи поток, оставляя жертву наедине с усталым до поры хищником.

Наедине с самим собой.

Наедине ли? Или это была очередная, чужая, пришедшая извне иллюзия?

Ответа не было.

3

За столом рядом с Мотоеси-Ваби сидел храмовый служка по имени Тэммоку: благообразный старец, являвший собой яркий пример довольства и самодостаточности. Тэммоку провел в обители уже лет тридцать, так и оставшись всего-навсего служкой. Но другой жизни он себе уже и не мыслил, будучи вполне счастлив: жизнь спокойная, размеренная, в меру сытая (а когда брюхо намекает, можно и стянуть втихаря кусок-другой!).

Что еще надо для человека, чтобы спокойно встретить старость?

Не надо было обладать даром Мотоеси, чтобы понять: брата Тэммоку привели в «Озерную обитель» отнюдь не поиски Алмазной Истины.

Как, впрочем, и всех остальных, присутствовавших сейчас в трапезной.

Служители Будды вкушали вечернюю трапезу. Вечерняя трапеза — это было то главное, чего здешние обитатели ждали с самого утра, а на следующее утро с удовлетворением или неудовольствием вспоминали. Но разве для того ушел он, Мотоеси, из мира, чтобы день за днем слушать сытое бурчание чужих животов?

«А сам-то ты зачем здесь? — немедленно очнулся от дремы ехидный внутренний голос, поселившийся с недавних пор в голове молодого послушника. — Ты пришел сюда в поисках Пути? Истины? Просветления? Или просто решил убежать от людей, спрятаться в спокойном и тихом местечке? Так чем ты тогда лучше их? Ничем? Значит, жуй молча и получай удовольствие от еды, как все! Если не жаждешь других удовольствий, до которых столь падки послушник Сокусин и бонза Хага!»

Ответить было нечего, вот Мотоеси и жевал.

Молча.

Чужая злорадная похоть медленно таяла внутри, отравляя горечью каждый кусок.

* * *

— …Заходи, Ваби. Да не стой в дверях — проходи, садись. Я уже давно присматриваюсь к тебе. Думаю, пришло время поговорить.

Настоятель Томонари в точности походил на сошедшего с картины «божественного старца»: длинные редкие пряди бороды аккуратно лежат поверх накидки, расшитой ритуальными шестигранниками; щеки, несмотря на почтенный возраст, сияют здоровым румянцем; глаза, выглядывающие из бесчисленных складок кожи лица, хитро прищурены, маленькие сухие ладони благочестиво сложены на животе.

Мотоеси было известно: из всех распространенных среди священников грехов настоятель Томонари страдает разве что чревоугодием. Да и тому предается нечасто — эх, напрасно злорадствовал Сокусин…

Впрочем, неизвестно еще, что творил настоятель, когда был помоложе!

Внутри медленно поднималась волна неподдельного, вполне доброжелательного интереса. Кажется, чувства обоих сейчас почти совпадали… или опять иллюзия?!

— Чего ты хочешь, Ваби? Зачем ты пришел в храм? — Вопрос прозвучал неожиданно, и Мотоеси на мгновение растерялся.

— Я… я хочу найти себя, Наставник!

— Похвальное желание, — одобрительно кивнул настоятель. — Я вижу: ты не спешишь первым усесться за стол, не набрасываешься на еду, подобно голодному псу, не чавкаешь, как свинья, спеша насытиться; и от работы не увиливаешь… в отличие от предложений Хага.

Томонари позволил себе слегка улыбнуться.

— Но если ты действительно хочешь прийти к Будде — тебе здесь не место. Надо ли объяснять — почему? Пожалуй, я смогу дать тебе рекомендацию в один из монастырей. «Пять Гор» тебя не примут, там строгий устав, но в монастырь рангом пониже…

— Благодарю, Наставник!

— Не спеши благодарить. Я еще ничего не сделал. Да и жизнь в закрытых монастырях куда тяжелее, чем у нас. Выдержишь ли?

— Я искал уединения, Наставник. Уединения, чтобы найти в нем покой для своей истерзанной души. Но здесь — простите, Наставник! — здесь я не нашел его! Ни уединения, ни покоя! Может быть, в монастыре…

— Может быть, — задумчиво повторил настоятель. — А может, тебе лучше попробовать стать бонзой? У тебя актерский талант привлекать к себе сердца, это очень важно для священнослужителя. Как полагаешь?

— Стать бонзой?

Мотоеси не совладал со своим голосом.

Сомнение прорвалось само собой.

— Я понимаю, о чем ты подумал. Знаешь, не все священники такие, как бонза Хага. Да и он, кстати, вполне справляется со своими обязанностями, миряне им весьма довольны. Да, Хага отнюдь не святой… так и я не святой! Ты хочешь быть чище, лучше? Будь! Может быть, чин священника, человека, помогающего мирянам стать ближе к небу, как раз предназначен для тебя? Подумай, Ваби.

— Да, Наставник. Я подумаю. Но мне кажется… мне кажется, лучше бы мне было совсем уйти от мира.

— И все-таки: подумай. Если ты решишься и тебе понадобится рекомендация (а она тебе понадобится в любом случае) — ты ее получишь. Иди.

4

Ночь медлила только снаружи — в храме она уже полностью вступила в права наследования после безвременно сгоревшего дня. Лишь теплые огоньки лампадок перед статуей бодисаттвы Каннон-Тысячеручицы слегка разгоняли копившийся здесь годами сумрак.

Сумрак пах старым травяным сбором, курящимися благовониями и пылью столетий.

«Наверное, так должна пахнуть Вечность», — подумалось Мотоеси.

Прежде чем заменить свечи перед замершей на возвышении статуэткой Будды Амиды, послушник с почтением опустился на колени перед изображением бодисаттвы, символом милосердия, и некоторое время беззвучно шептал молитву. Потом, замолчав, еще посидел минуту-другую, приводя в порядок мысли.

Мотоеси любил бывать здесь, любил сидеть в одиночестве перед многорукой заступницей. Почему-то именно перед ней — а не перед Буддой Амидой; может быть, богиня Милосердия, добровольно отказавшаяся от ухода в нирвану ради ободрения и утешения страждущих, была ему ближе хозяина западного рая? Может быть, он надеялся, что богиня наконец проявит милосердие и к нему, невезучему Мотоеси, избавив от проклятого дара?

Молодой послушник сам не знал этого. Просто здесь ему было хорошо. Здесь он мог спрятаться от гнета внешнего мира, ненадолго обрести долгожданный покой и умиротворение.

«Монастырь мне тоже не поможет, как не помог уход в храмовую обитель…»

Мысль, всплыв из темных глубин дремлющего сознания, была удивительно ясной и отстраненной, словно Мотоеси подумал сейчас о ком-то другом, постороннем.

Все было правильно. В благочестивых просветленных монахов после двух лет, проведенных в «Озерной обители», верилось слабо. Таких — единицы. Равно как и в миру. А значит, он снова будет ежедневно вариться в котле чужих-своих страстей, только теперь — за глухими стенами монастыря.

Может, прав старый настоятель, и ему лучше пойти по пути священника? Но ведь священник почти все время среди людей! Свадьба ли, рождение ли, похороны — всякий раз люди зовут бонзу. Одним нужен амулет для отпугивания нечисти, другим пора День удаления справлять…

Да чужие горести и радости просто-напросто выжгут его изнутри, сведут с ума!

Есть еще один выход: уйти в горы, стать отшельником. Странно, почему раньше это не пришло ему в голову?! Когда

рядом не будет никого, совсем никого, проклятие *нопэрапон* окажется бессильным…

Выход?

Или новая ловушка?

— Да поразит тебя раньше времени старческое бессилие, сын осла и собаки! — громыхнул снаружи чей-то подозрительно знакомый голос. — Чем это ты тут занимаешься?! А ну, говори, где ваш настоятель, где этот дряхлый пожиратель любимых кроликов Будды?!

Ну, разумеется, это был Безумное Облако, кто же еще?!

Вот только с чего бы бродячему иноку заявляться в храм Кокодзи, который дзэнский мастер справедливо считал «обителью бессмысленного разврата и бездарного чревоугодия»?

Не иначе, небо на землю упало?

— Иду, святой инок, уже иду, сейчас доложу, мигом… — донеслось до послушника испуганное блеянье Сокусина.

Интересно, за каким это занятием застал его Безумное Облако?

С излишней поспешностью заменив свечи и долив масла в лампадки, Мотоеси поспешил наружу.

Подмести в храме он так и не успел, за что его наверняка ждал очередной нагоняй, — но сейчас молодому послушнику было не до метлы. В сердце холодной змеей шевелилось злое предчувствие — и юноша спешил увидеть Безумное Облако, наверняка принесшего какую-то важную весть.

Вряд ли — добрую…

* * *

В темноте суматошно метались огни фонарей в руках всполошившихся обитателей Кокодзи. Вскоре к ним присоединилось пламя двух факелов, и Мотоеси двинулся в ту сторону. Шаг, другой, третий; вот и разговор слышен.

— Да этот старый чревоугодник по сравнению со всеми вами — просто патриарх Дарума! Ноги моей больше…

— Пусть святой инок не изволит гневаться! У нас ведь не монастырь, у нас всего лишь скромная обитель…

Пламя факелов неожиданно метнулось из-за деревьев прямо навстречу Мотоеси — и вместе с пламенем донеслись слова:

Монастырь богатеет,
Но Пять Гор пребывают в упадке.

Есть лишь порочные учителя,
Истинных — нету.
Я бы хотел взять уду
И заняться рыбалкой,
Но и в озерной глуши
Ныне дуют противные ветры!

Безумное Облако был в своем репертуаре.

Миг — и вот он уже возник перед Мотоеси собственной персоной. Позади монаха, на удивление серьезный и хмурый, угрюмо подбрасывал на ладони гадальную кость Раскидай-Бубен.

Тяжелые маслянистые блики пламени гуляли по лицам монаха и гадальщика, переливались горящей смолой, черно-красными тенями. На миг Мотоеси показалось, что перед ним — демоны, явившиеся из владений князя Эмма.

— А, вот и ты, — устало проговорил монах совсем другим тоном, чем тот, которым он только что поносил порядки «Озерной обители». — Пошли. Отец тебя ждет. С настоятелем я обо всем договорился.

Безумное Облако отвернулся, помолчал.

— Твой брат погиб.

Земля качнулась под ногами Мотоеси.

А Раскидай-Бубен все стоял, словно забыв, где и зачем он находится, все подбрасывал на ладони гадальную косточку, ловил, ощупывал загрубевшими на вид, но все еще чувствительными пальцами музыканта знак судьбы.

Выпадало раз за разом одно и то же.

Неизбежность.

5

Мотоеси никогда не видел отца плачущим. Никогда. Будда Лицедеев всегда стойко, с терпением истинного монаха, переносил удары судьбы. Но этот удар был слишком жесток; жесток и подл. Старый Дзэами рыдал, сотрясаясь всем телом, уткнувшись в грудь младшего… нет, теперь единственного сына, замершего истуканом посреди комнаты, — а Мотоеси стоял, боясь пошевелиться, но то был малый страх. Другой, куда больший страх рвался криком наружу из его груди, к которой прильнул отец, инстинктивно прибегнув к последней опоре, оставшейся у престарелого актера в этом мире.

Мотоеси до холодного пота, до дрожи в коленях боялся, что

сердце отца не выдержит и ему придется хоронить старика вслед за безвременно ушедшим братом.

Скорбь и отчаяние до краев заполнили разрывавшуюся на части душу Мотоеси — и сейчас он не знал, не хотел знать, кому принадлежат эти страдания в полной мере: ему или его отцу? Какая теперь разница, если брата, продолжателя отцовских традиций, надежды великого Дзэами, больше нет?!

Известие о гибели Мотомасы привез актер из его труппы, добравшийся до Сакаи сегодня утром. Обстоятельства гибели знаменитого мастера Но выглядели весьма странно: вечером Мотомаса в одиночестве отправился любоваться молодой луной (в чем не было, по сути, ничего особенного — старший сын Дзэами и раньше любил проводить ночи в созерцании). Однако к утру Мотомаса не вернулся, и обеспокоенные актеры, отправившись гурьбой на поиски главы труппы, нашли на холме уже остывшее тело. Никаких ран или иных повреждений на нем обнаружено не было, лишь от губ умершего исходил некий едва уловимый запах, который никто так и не смог определить.

Был ли Мотомаса отравлен, или сам решил свести счеты с жизнью (что было маловероятно, но допустимо), или умер от некоего скрытого недуга — осталось загадкой.

Сразу приходило на ум трехлетней давности покушение на Мотоеси — но, как и в том случае, доказать или опровергнуть причастность к этому делу подлеца Онъами не представлялось возможным.

Ничего, кроме смутных подозрений…

Пока отправленный с печальным известием актер добрался до Сакаи, старшего сына Будды Лицедеев успели похоронить на сельском кладбище. В итоге ехать теперь в местность Аноноцу, где наследник Будды Лицедеев обрел свой последний приют, не имело смысла.

…Бренный этот мир —
Наваждение одно,
Смерти тоже нет…

Голос Безумного Облака прозвучал с неожиданной властностью и твердостью.

Дзэами замер, затем осторожно, с хрустом разжал пальцы, инстинктивно вцепившиеся в плечи сына.

Медленно обернулся.

И поклонился Безумному Облаку.

— Спасибо, друг мой. Скорбь разрывает мне сердце, но твои

слова возвращают старика к жизни. Ты прав: нет смерти! Есть лишь круговорот рождений. Ты вовремя напомнил мне об этой истине. Переночуй в моем доме вместе с моим сыном, а завтра мы вместе помянем Мотомаса.

Дзэами вновь повернулся к единственному оставшемуся у него сыну.

— А ты, Мотоеси, не беспокойся за меня. Я переживу и этот удар! Хотя, видит небо, уж лучше бы на месте твоего брата был я! Отцы не должны жить дольше своих сыновей…

И повторил еле слышно:

— Нет, не должны… но живут.

Завтра сменило детское имя на взрослое, став «сегодня».

Вечер ждет снаружи.

Они вчетвером: отец, Безумное Облако, Раскидай-Бубен и он, Мотоеси. Да, они сидят с четырех сторон низенького столика, время от времени поднося к губам чашки с горячим саке и почти не притрагиваясь к еде. За стенами дома тоскливо посвистывает ветер, словно тоже оплакивая бедного Мотомасу. Четыре свечи в углах комнаты. Причудливые переплетения теней. Отец время от времени начинает тихо говорить нараспев, и тогда даже ветер снаружи смолкает, прислушиваясь.

Ручьем в долине журчит голос отца. Будда Лицедеев вспоминает, бережно перебирая разноцветные листья с дерева жизни своего сына.

Чашки пустеют, и Мотоеси, как младший, наполняет их.

Отец умолкает — и тогда Раскидай-Бубен трогает струны цитры, и струны оживают, своей завораживающей и странной жизнью вторя ветру, вновь разгулявшемуся за окнами.

И опять говорит отец, обращаясь к умершему, словно старший сын здесь, сейчас, молча сидит за столом:

— Может показаться смешным так долго не мириться с тем, что молодые не обязательно умирают после стариков. Но удар столь неожидан, он почти сокрушил мой состарившийся ум и тело, слезы горя промочили мои рукава. Твой талант, мальчик мой, как будто даже превосходил талант твоего деда. Я писал для тебя все тайные наставления и секреты мастерства на нашем Пути, полагаясь на слова: «Когда нужно говорить и не говоришь, теряешь человека…» Чувства, отраженные в стихах: «Сейчас, когда тебя здесь нет, кому я покажу эти цветы сливы?» — о, сколько в них правды!

И еще:

— Ты ушел в призрачный мир. На мгновение мы стали отцом и сыном. Думалось ли, что я, высохшее дерево, задержусь в этом

мире и мне суждено будет увидеть падение цветка в полном цвету?!

Нет ответа.

В голове пусто.

Только буйствует ветер.

Снаружи?

Внутри?

И вдруг:

В сердце моем
Вырос ад.
Чувства и ум
Опутаны прошлым.
Даже равнинный пожар
Не может их сжечь.
Но с дуновеньем весны
Вырастут новые травы.

Безумное Облако в упор глядел на Будду Лицедеев — и тот не отвел взгляд. Потом медленно кивнул.

Жизнь продолжалась.

6

Мотоеси часто вспоминал тот скорбный вечер, возжигая свечи перед Буддой Амидой, бережно сметая пыль с двух ступеней, ведущих к статуе бодисаттвы Каннон, вдыхая витающий в храме благоговейный запах Вечности. Почему-то чаще всего воспоминания посещали юношу именно здесь, в сумраке и одиночестве. Может быть, потому, что в такие моменты над ним не довлели чужие страсти и вожделения?

Думая об этом, Мотоеси все больше склонялся к мысли, что для него в этом мире остался один путь — отшельничество. Однако теперь он был привязан к обители, к городу: в Сакаи оставался его отец, а после смерти старшего брата у юноши просто не хватало духу окончательно покинуть старика. Каждую неделю настоятель разрешал Мотоеси отлучиться на день в город — и этот день послушник неизменно проводил у своего отца.

Дзэами постепенно оправлялся от удара. Теперь он упорно работал над новым трактатом *«Мусэки исси»* — «Следы грез на листе бумаги», — который решил посвятить своему безвременно ушедшему сыну.

Жизнь медленно катилась мимо, времена года сменяли друг

друга, Мотоеси уже привычно давил в себе рвущиеся наружу сорняки чужих порывов (зачастую не отдавая себе отчет, чужие это чувства или его собственные!). Изредка, словно пробуждаясь ото сна, он вдруг с необыкновенной ясностью ощущал, что и не живет вовсе, что уединение в горах — тоже не выход. Ведь отшельничество для него — всего лишь бегство, бегство от того, от чего убежать все равно невозможно.

Бегство от самого себя.

И все чаще Мотоеси задумывался: не пора ли свести счеты с жизнью? Ведь он все равно не живет! Зачем же продлевать бессмысленные мучения?

А время перебирало в горсти песчинки-минуты.

* * *

Развязка наступила неожиданно.

У крыльца отцовского дома переминался с ноги на ногу хмурый Сугата, сын Маленького Цуто. Губы кусал, виновато отводил взгляд в сторону. Несмотря на новую, мужскую прическу и богатырское телосложение, Сугата сейчас, как никогда, походил на провинившегося мальчишку, ожидающего сурового наказания.

— Здравствуй, Сугата! — В первый миг Мотоеси обрадовался наивному богатырю, которого давно не видел.

Но сразу же в груди тревожно екнуло: неспроста Сугата тут околачивается, неспроста у сына Маленького Цуто такой подавленный вид.

— Отец?! Неужели?! — Эти слова сами собой вырвались из уст Мотоеси.

— Что ты, что ты, молодой господин! — испуганно, словно боясь, что Мотоеси своими словами накличет еще одну беду, замахал на него ручищами Сугата. — Жив Дзэами-сан, жив, и даже здоров вроде бы!

У Мотоеси отлегло от сердца.

— Только… повелением сегуна… Короче, сослали его, молодой господин! Ты уж прости, но против властей мы не пойдем. Если б кто другой — на части б разорвали! А тут… ничего не поделаешь. Ты в дом-то заходи, молодой господин, мы к вашим пожиткам своих людей приставили, чтоб все в сохранности было! Заходи, там, внутри, уж и стол накрыт — выпьем по чарке, а я тебе расскажу, как все приключилось…

Посланец сегуна в сопровождении двух столичных стражников объявился в доме Будды Лицедеев вчера на рассвете. Разумеется,

при разговоре его со старым Дзэами никто не присутствовал, но, как известно, «и у стен есть уши» — тем более что о появлении в городе посланца было мгновенно доложено кому следует.

Указом сегуна Дзэами Дабуцу предписывалось незамедлительно отправиться в ссылку на пустынный остров Садо. Причина ссылки в повелении указана не была (ясное дело, сегуну не перед кем отчитываться в своих действиях!) — но и так было понятно: регулярные наветы племянничка-ревнивца в конце концов достигли своей цели.

Раздраженный упрямством опального мастера, сегун Есинори подписал соответствующий указ.

Времени на сборы Дзэами было дано всего ничего. Под вечер со двора уже выезжала запряженная быками повозка со скудным скарбом, увозившая Будду Лицедеев в изгнание.

Старику даже с сыном проститься не дали…

Сугата продолжал еще что-то рассказывать, и Мотоеси даже время от времени кивал или делал очередной глоток из чарки, не чувствуя вкуса.

Но сейчас сын Будды Лицедеев был далеко отсюда.

Последняя нить, удерживавшая его в мире слез, только что лопнула. Можно, конечно, последовать вслед за отцом в изгнание, но Мотоеси был уверен: Дзэами воспротивится такой бессмысленной жертве. Да и внутри у самого Мотоеси образовались гулкая пустота и безразличие к жизни. К чему бессмысленные метания? Мир полон страдания и несправедливости — так не лучше ли поскорее покинуть его, уйдя на новый круг рождения? Ведь на этом делать уже нечего…

«Нечего?! — оскалился внутренний голос, пробуждаясь от спячки. — Ты вознамерился покинуть этот мир? Отлично! Давно пора. Вот только хорошо бы при этом захватить с собой правильных попутчиков!»

«Кого?» — уже понимая, что́ ответит ему тайный советчик, послушно осведомился Мотоеси.

«Кого? Ты это у меня спрашиваешь?! Мямля!»

«Но как?.. Смогу ли я?!»

«Ты знаешь как. Ты сможешь».

Взгляд Мотоеси упал на меч, подаренный ему отцом почти четыре года назад: тот покоился на своем месте, на специальной подставке в углу. Блик от лаковых ножен ободряюще подмигнул сыну Будды Лицедеев — и юноша улыбнулся в ответ.

Он заставит проклятый дар *нопэрапон* сослужить ему службу.

Первую и последнюю.

На рассвете из Сакаи вышел человек в мирской одежде, с туго набитой походной сумкой; на плече человека покоился меч в лаковых ножнах из магнолии.

XV. По образу и подобию

На станции было немноголюдно. Это в выходные дни тут не протолкнешься — народ спешит к дачам-соткам-огородам, возделывать и удобрять! — а будни, они и есть будни.

Трудовые, городские.

— Три билета до дома отдыха.

— Обратные брать будете?

Вопрос был задан таким тоном, что верилось: кассирша еще в дни молодости точно так же осведомлялась у колонн, идущих на запад:

«Берлин брать будете?»

— Будем, — прочувствованно ответил я, влажнея глазами.

И кассирша ощутила мой трепет.

Молча дала билеты, сдачу и проводила взглядом, прикипев к окошку.

«Псих», — ясно читалось на ее лице.

Трудно было не согласиться. Я и сам-то знал: да, псих. Иначе сидел бы дома, вершил дела обыденные и никуда бы не совал свой горбатый нос, согласно просвещенному мнению здорового эгоизма. Лучше мгновение испытать стыд, зато потом наслаждаться покоем. Ремарк был умницей, цитировать его — сплошное удовольствие, даже если какому-то снобу он кажется излишне сентиментальным. Мы все пишем один сюжет, прав был Миха-балочный… один сюжет, один навсегда, и очень хочется наслаждаться покоем, вчера, сегодня и завтра.

На свете счастья нет, но есть покой и воля. Жаль, что покой нам только снится, и покойник перед смертью потел, радуя близких.

Слова, слова, слова… они что, все сговорились, эти умершие и живые создатели цитат?

Поодаль, на перроне, близ полупустой электрички, тусовалась компания студентов. Могучая кучка. Студенты были выспавшиеся и веселые, в отличие от меня. Терпеть не могу вставать ни свет ни заря. Странно: раньше, когда я честно полагал стипендию высшей мерой счастья, у нас было на троих по две гитары. Особенно при выезде на природу. У этих гитар нет, зато есть магнитолы и плееры. Пожалуй, если порыться в рюкзаках, там вполне может обнаружиться ноутбук. Бремя белого человека желтой сборки.

Думаю черт знает о чем, лишь бы не думать о главном.

И правильно.

Чтоб не перегореть заранее.

Помню, на старом-престаром турнире, перед самым выходом на татами, один молодой боец-грузин приставал к своему тренеру:

— Шота, настрой меня на бой! Шота, ну настрой! Шота, волнуюсь — финал ведь!

Тренер молчал, топорща усы щеткой, пока горячему финалисту не объявили выход. Тогда седой кавказец достал из кармана английскую булавку, раскрыл ее и хладнокровно воткнул своему питомцу в левую ягодицу.

До середины.

— С-с-сука! — почти без акцента взвыл питомец и ринулся в бой, потому что время вышло.

Это был самый короткий бой на турнире: кажется, что-то около двадцати секунд.

Нокаут.

До вечера находчивый Шота прятался в моем номере, только хмыкая, когда по коридору в очередной раз проносилось: «Найду — зарежу!» К вечеру молодой грузин-чемпион постучался в нашу дверь. В руке он держал бутылку коньяка «Ахтамар».

— Это Шоте Зурабовичу. — Чемпион улыбался во весь рот. — Отдай и выпей с ним за его здоровье.

— Заходи, — сказал я.

Коньяк оказался удивительно славным.

С тех пор, за неимением рядом хладнокровного Шоты, обученного точно рассчитывать нужный момент, я сам носил в кармане булавку. Воображаемую — и старался думать о всяких пустяках, пока жизнь не объявит мой выход на татами. Главное: воткнуть стальное жало в собственную, горячо любимую задницу лишь тогда, когда все время вышло. Все, без остатка, и тогда вместо рефлексии или унылого потирания ягодицы ты кидаешься вперед.

— Я сейчас, — вдруг сказал Димыч, опуская туго набитую сумку на асфальт.

И пошел к студентам.

Знакомого встретил, что ли?

— Да нет, это Ксена, принцесса-воин! — донеслось от компании, явно в продолжение какого-то веселого разговора; и почти все студенты повернулись к нам спиной. — Готовится к очередному подвигу!

— Ничего подобного. — Димыч ловко внедрился в тусовку; я слышал его голос, но его самого практически не видел. — Это не Ксена. Это та девушка, которая в начале месяца искалечила шестерых насильников. Вы что, ребята, телевизор не смотрите?!

И через секунду он уже возвращался к нам.

Следом за ним, пунцовая донельзя, тащилась… княгиня Ольга!

— Я ее сразу засек. — Сумка покинула асфальт, вернувшись на плечо. — Она за студентами пряталась. Подглядывала.

Наш «хвост» судорожно комкала полы своей штормовки.

— Я… Олег Семенович, я вам домой позвонила… сказала, что с первого года…

Все было ясно, как божий день. Эта красна девица, зная время нашей поездки на отстрел дикого Монаха, позвонила моей жене — и та, ничтоже сумняшеся, дала координаты.

Проще простого.

— Ну что, парни… — Я повернулся к Димычу и Ленчику, накинувшему куртку на манер гусарского ментика, вполплеча. Одеться нормально мешала рука в лубке. — Выкинем «зайца» в открытый космос или пусть летит с нами до Магелланова Облака?

— Пусть летит, — без тени улыбки ответил Ленчик.

Димыч только кивнул.

А в электричке мы полтора часа молчали.

* * *

На территории дома отдыха Владимира Монахова не оказалось. Заглянув в корпус администрации, я обнаружил там пожилую башкирку — почему именно башкирка оказалась директором санатория на неньке Украине, я понятия не имел! — и разговорил дочь степей за минуту. Да, лысый писатель у них проживает, да, со странностями, как и все творческие люди, да, друзьям-коллегам лучше подождать на лавочке, потому что с утра он почти всегда уходит в лес; да, по ту сторону железной дороги.

Да, пятерку она возьмет и не поморщится.

А мы промолчали еще с полчаса, топая сперва по асфальту, потом по песку, потом — по слежавшейся, желтой хвое. Сосны водили хороводы, взбегая на холмы, кучкуясь в редких лощинах; тропинка юлила, виляла хвостом, а мы все молчали, пока впереди не открылись места знакомые и даже, можно сказать, родные.

Вот уже семнадцать лет мы ездим сюда сдавать экзамен. Вот уже семнадцать лет последнее воскресенье мая радует нас отличной погодой, какие бы дожди ни хлестали с неба до или после. Посторонние не верят, а мы в заветный день бодро топаем на Леваду, пусть тучи и обложили небеса кромешным матом. Мы твердо знаем — распогодится. К девяти-десяти часам —

обязательно распогодится.

Иначе не бывает.

— Ч-черт, — вдруг буркнул рядом Ленчик, козырьком пристраивая ладонь над глазами. — Олежа, глянь…

Я глянул.

И подумал, что у нас есть шанс опоздать.

Крупный такой шанс.

Ребристый.

Мужики

Ездить, блин, отдыхать куда-либо на субботу-воскресенье Ильич не любил. Куда ни сунешься: народу — не продохнуть! И добро б тихо-мирно выпивали, закусывали, беседовали о культурном… Хрена тебе: напьются — и ну песни орать, или музыку эту дебильную включат на весь лес; а то и драться по пьяни полезут. Нет, оно, конечно, не грех дать такому охламону по морде — а ну как их с десяток набежит, охламонов? Ему-то, Ильичу, к чему ряшку для чистки подставлять?!

Ясное дело, ни к чему.

Вот и выходит, блин, что куда ни кинь, а выезжать на природу лучше в будни. Впрочем, это кому будни — а кому и выходные. Когда и так свободный денек выпадет, а когда со сменщиком Тимохой договоришься, чтоб, значит, подменил.

Вот как в этот раз.

Тимоха, блин, парень хороший, с понятием. Культурный. Так сразу и сказал: езжайте, мол, Владимир Ильич, водку кушать, а мне по-любому к послезавтрему ту сраную «Тойоту» добить надо. Обещал хозяину. Так что в любом раскладе — на работу выходить.

А с Витьком Ильич (и нечего, нечего лыбиться! хорошо ведь звучит: Владимир Ильич! или просто Ильич; солидно! Ну а что жена Надежда — видать, судьба такая! Вон, у Витька тоже Надюха…), короче, с Витьком Ильич заранее договорился — у Витька продавцы на базаре толковые стоят, и без него день поторгуют. Они, блин, поторгуют, а мы с утра пораньше «по коням» — и на природу. Витек свою Надюху взял, Ильич свою, детей, само собой, ну, там мясо на шашлык, жратвы всяко-разно, пивка пару канистр, водочки — для культурного отдыха… Витек еще приговаривать любит: «Пиво без водки — деньги на ветер!»

Это он правильно, с понятием мужик.

Ну а гаишники… да вроде до сих пор проносило. Ведь когда непьяный едешь, ну, чтоб совсем вдребодан, а так, маленько выпимши — оно ж снаружи не видно. А «на авось» менты все

больше иномарки тормозят, сдались им Ильичева «жулька» и Витьков «москаль»!

На место в начале девятого приехали, как и собирались, еще весь день впереди. Место знакомое, не первый раз здесь: и поляна удобная, и соснячок, и речка рядышком. Дом отдыха, правда, неподалеку, но сейчас там и нет-то никого — не сезон. Да и не ходят сюда эти, блин, домотдыховские…

Не ходят-то не ходят, однако один мужик лысый все ж таки на поляне обнаружился. Витек его первым заприметил. В хламиде этой белой каратюкской… как бишь оно? а, *кимоно*, вот! — руками-ногами не по-людски дрыгает. До ста лет жить собрался, видать.

Ну и ладно, пускай его живет, мешает, что ли?

Дети только, как мужика того углядели, тут же наскакивать друг на друга начали, орать по-ишачьи: «Й-а! Й-а! Пап, а пап, чего это дядька делает? Он каратист, да? Как Брюс Ли?! А ты, папка, почему не каратист?»

Что со шпаны взять?

А ремнем по заднице и безо всякого карате сподручно…

Сучья для костра Ильич с Витьком собрали быстро — да и детям наконец надоело выпендриваться, помогать начали. Витькова Надюха уже и казан с маринованным мясом достала, и шампуры, ну а Ильич тем временем первую канистру пива извлек. Налил себе и Витьку по стаканчику, за приезд (обе Надюхи сказали, что еще успеют) — выпили. Хорошее пиво. Марки «Рогань», особое. Еще по стаканчику налили. Спели хором: «Надежда, мой компас, за мной!» Мужик лысый, что по поляне скакал, тем временем, видать, притомился. Присел под дерево, ноги под себя навроде шнурков засунул — отдыхает.

Тут Витек, блин, и предложил:

— Может, и мужику пивка нальем? Неудобно как-то: сами пьем, а человек мучится! Пошли, Ильич, познакомимся!

— А то! — отвечает Ильич; культурно, значит, отвечает. — Гуртом и батька бить легче. Пошли!

Сказано — сделано. Извлекли еще один стакан из пластика (большой, полулитровый), Ильич в него пива от души нацедил, аж пена с краев выпятилась — и к мужику направились.

Подошли.

Мужик под деревом сидит, лысина потная вся, глаза закрыл и дышит по-дурному: будто спущенное колесо шипит. Потом перестал шипеть.

Устал, блин.

— Привет! — Это Витек. — Пиво будешь?

Молчит мужик.

— Эй! Ты чего, заснул? — решил помочь другу Ильич. — Мы тебе пива принесли, охладиться! И вообще: пошли к нам, к костру! Скоро шашлыки поспеют, пивка тяпнем, водочки, покажешь детворе, как лбом сосны валят… Ну, пошли, мы угощаем!

Молчит мужик.

Блин.

— Не, мужик, без обид. Бери стакан — и айда!

Молчит мужик. Сидит домкратом, глаза закрыты… может, и правда заснул? Или брезгует простым народом? Ну тогда так бы и сказал: мол, не пью там или еще что. А чего молчать-то?

Вот и Витьку, похоже, то же самое в башку пришло. Он возьми, Витек-то, да и культурно так встряхни мужика за плечо:

— Чего молчишь-то, лысый?!

И вдруг как заорет!

Витек, в смысле, заорет, а не мужик.

А мужик вдруг подскочил, аж ноги сплелись-расплелись, и сразу метрах в двух от Витька оказался. Витек орет, матерится, за руку держится.

— Он, — кричит, — козел, мне с ладони шкуру ободрал! Акула ты злющая, людоедская, я тебя, падла…

А лысый пятится, блин, глазенками исподлобья зыркает — и все молчит.

Тут уж и Ильич не стерпел.

— Ты, — говорит, — что ж такое творишь? Некультурно творишь, лысый! Приемчики свои косоглазые на нас решил показывать? Мы к тебе, блин, со всей душой да с пивом — а ты?! Вот сейчас начистим тебе с Витьком ряшку, чтоб знал в следующий раз, — и никакое твое карате не поможет!

А лысый все пятится и бормочет.

То ли по-ихнему, по-азиатски, то ли тоже матерится, только культурно.

Тут Надюха Витькова подбежала, начала лысого крыть — того и гляди, шишки с сосен посыплются. Это она умеет. Бой-баба. Лысый голову в плечи вжал, набычился — но стоит, блин, не уходит. Ильич тем временем в расстройстве душевном (у-у, паразит, так день хорошо начинался!) выхлебал недодаренный стакан пива. Рыгнул. И к машине отходить стал — за монтировкой. Мало ли… Только тут Ильича на полпути словно за горло взяли: Надюха орет-орет и вдруг умолкает, прямо на полуслове!

Когда такое было?!

Плюнул Ильич на монтировку, обернулся посмотреть, в чем дело, — глядь: выходят из лесу трое мужиков и баба. Не спеша

так выходят, вразвалочку, и к лысому направляются. Передний, с бородищей рыжей, сигаретой дымит, издалека кричит:

— Привет, Вован! (Или Володька? — не разберешь).

Это лысый, значит, Вован.

Или Володька.

Вот тут-то Ильич и смекнул: пора, кажись, ноги делать. Потому как эти трое (два бородатых, один еще и в очках, чистый Бармалей, а крайний, без очков-бороды — в «Адидасе» и с рукой загипсованной; а баба, она баба и есть…) Тьфу ты, сбился. Так вот, эти трое с Вованом-Володькой, что людям шкуру на ходу обкусывает, явно знакомы. И вообще, тут у них, видать, «стрелка» намечена, и лучше от греха подальше мотать отсюда. На бандюков-то они, блин, никак не похожи (разве что тот, в «Адидасе», с рукой) — но сейчас если кто на бандюка не похож, так это еще и хуже!

И как только, блин, Ильич об этом подумал (а еще он подумал, что просто так сматываться как-то некультурно, но отдых на сегодня уж точно испорчен!)… Эх, опять сбился. Короче, в этот самый момент на просеку и выруливает «Опель-Кадет», блин, цвета «металлик»!

Останавливается этот хренов «Опель», и вылазит из него тип в костюме да при галстуке.

В лес по грибы вырядился.

— Привет! — машет тип этим, бородатым.

— Привет! — очкастый отзывается. — Привет, Большой Босс! Как ты нас вычислил?

— А! — смеется тип в костюме. — Ваши жены — пушки заряжены! Позвонил, вас спросил. Сказали: уехали, мол. «Куда? — спрашиваю. — Я тут насчет экзамена…» — «Да на старое место, за городом, куда обычно». Ну а кто ж из наших пацанов не знает, где ваш сходняк проходит?..

И вот после этих слов Ильич твердо понял: таки надо линять.

Однозначно.

Раз тут у них сходняк, значит, разборка намечается; а где разборка, там, блин, свидетели не нужны…

А обе Надежды — умницы, компас, за нами! Все поняли бабоньки. «Володя, Витенька, уезжаем отсюда!» Теперь вроде как и не стыдно смываться: жены испуганы, блажат, а Ильич с Витьком, может, и остались бы — разобраться, — но вот бабы не дают, а против бабы не попрешь!..

Барахло в машины гамузом покидали, детей затолкали — и по газам!

Когда мимо проезжали, Витькова Надюха не удержалась. Высказалась в окошко. Ох, зря это она: еще номера запомнят,

блин, вычислят потом…

Олег

— У кого клеенка?

Запасливый Димыч мигом полез в сумку. Нашлось и покрывало (рябенькое, с бахромчатыми краями), и клеенка невероятных размеров.

Бегемотов ею в зоопарке укутывают, что ли?

— Отлично. Ну что, самое время позавтракать?

На меня смотрели с удивлением. Пир во время чумы? Есть никому не хотелось. Мне — тоже. Но иначе было нельзя. Смутная идея носилась во мне, обдувая душу сквознячком безумия; идея обещала с минуты на минуту оформиться, осознаться, стать понятной и оттого еще более опасной, а пока — сквозняк и привкус безумия.

Безумное облако в голубизне.

Безумное Облако за пятьсот лет до нашего пикничка.

…божество состязаний — это и божество победы, и божество поражения: оно определяет и охраняет место состязания. На путях ратного дела это знание глубоко сокровенно. Однако же поскольку это — двойственное божество судьбы с ее переменами времен, то божество это изволит попеременно принимать сторону обоих соперников. И тогда кажется…

Убрать.

Сейчас некогда.

Первым очнулся Ленчик. То ли о чем-то догадался, то ли просто решил подыграть. Зевнув во весь рот (на мой взгляд, слегка нарочито) и почесав небритую щеку, он стал развязывать тесемки рюкзачка. Первой из недр на свет божий явилась двухлитровая бутыль сплошной мути.

Жидкой мути, надо заметить.

— Суп, — вздохнул Шемет.

— Самогон! — возрадовался я.

— Чай, — пояснил Ленчик.

Обвел нас взглядом, понимания не встретил.

— *Мой* чай, — конкретизировал. С его точки зрения, это все объясняло.

И пробуждало аппетит.

Следом рюкзачок родил уйму овощей в старофламандском стиле, ломтики сыра, аккуратно завернутые в промасленную бумагу, и кулек редиски. Крупной, с мышиными хвостиками.

Рядом уже суетился мясоед Димыч. Банка сардин, ветчина, непременное сало, три луковицы — синие, крымские, сахарные на изломе; по-моему, где-то на периферии мелькнула поллитровка домашней перцовки, но явиться миру пока отказалась.

Последним выбрался кулек редиски.

Крупной, с мышиными хвостиками.

— С общего огорода? — поинтересовался я, начиная переодеваться в кимоно: так удобнее.

Ответа не последовало. Вместо ответа привычно зарделась Ольга, присев у импровизированного дастархана. Я со значением уставился на нее в упор: что, мужика без штанов не видела? Оказалось, дело не в мужиках и не в штанах.

Просто в руках наша трепетная лань держала кулек.

С редиской.

Шемет сбегал к машине и приволок два литра «Фанты». Вкупе с импортным языком. Язык был не только импортный — еще он был в сладкой горчице с укропом, как вещала иностранная надпись поверх банки.

— Язык до Киева доведет, — ни к кому конкретно не обращаясь, брякнул Шемет и сам уставился на нас: к чему бы это?

— Редиски нет? — хором спросили у него.

Шемет только руками развел.

Кажется, он готов был съездить — тут недалеко, бабки у моста торгуют…

— Да ладно, чего уж! — милостиво согласился я.

И достал кулек с редиской.

Достал самым первым — из принципа.

…отдавал себе отчет и в словах, и в поведенье, но взаймы ни бог, ни черт не давал ни разу денег; переигрывал судьбу, мог любить и ненавидеть, в белых тапочках в гробу никого не тщился видеть, мог играть и без струны — дескать, вывезет кривая! — и терпеть не мог войны, потому что убивают…

Убрать.

Лишнее.

От ближайшего дерева на нас смотрел Монах. Щекой дергал. Есть здесь у нас такое дерево — Дуб Совета (хотя какой там дуб…), три голых ствола из одного комля, метрах в четырех над землей срубленные молнией; есть здесь у нас такой Монах — Володька Монахов, несчастное существо, загнанное в ловушку самим собой.

Есть здесь мы; и хорошо, что есть.

Наверное.

— Присоединяйтесь, барон!

Молчит. Дергает щекой. Куртку от кимоно в руках вертит: то жгутом перекрутит, то таскает туда-сюда, будто после стирки отжимает. А глаза, как у большой голодной собаки: подойти? оскалиться? убежать?

Подошел.

Но не очень близко.

— А вы… вы чего, собственно, сюда приехали?

— Трубы смотреть, — объяснил мой рыжий друг.

Я еле сдержался, чтобы не подмигнуть Димычу с нескрываемым одобрением. Кажется, понял, поддержал вполкасания. Сейчас главное: не спугнуть.

— Какие трубы?!

— В газете писали, будто тут трубы меняют. — Димыч увлеченно возился с сардинами, отдирая жесть поудобнее. — Газопровод ремонтируют или воду к санаторию тянут, к новому корпусу… не помню уже. Решили старое место проведать: вдруг перекопали вдребезги-пополам?! Экзамен ведь на носу. Не забыл?

Монах, вконец ошалев, присел на корточки — и я кинул ему редиску.

Самую крупную.

Он поймал овощ на лету и сунул в рот, смачно захрустев.

Время подсекать.

— А ты что, думал, мы тебя искать приехали? Делать нам больше нечего…

Монах подавился, заперхал горлом. Ленчик машинально потянулся стукнуть его по спине здоровой рукой, но перехватил мой взгляд — «не смей!» — и сделал вид, что просто хотел взять сыр.

Бесплатный сыр, который бывает лишь в мышеловках.

— А этого… Константин свет Георгиевича, — откашлявшись, спросил Монах с нескрываемой враждебностью, — тоже на разведку прихватили?! Трубы таскать?!

— Ну зачем сразу — трубы…

Милейший парень Костя Шемет, не торопясь, налил себе в пластиковый стаканчик чаю из Ленчиковых запасов, отхлебнул и даже бровью не повел.

По себе знаю: редкий случай.

У Ленчика мама в деревне, и все бурьяны с матушкиного огорода он в свой чай сует. Крапиву там, лебеду, полынь всякую… за коноплю не поручусь, но вполне вероятно.

— Трубы здесь ни при чем. Я со своими парнями на экзамен к вам собираюсь (это «к *вам*» резануло Монаха по самому сердцу; он аж подскочил). Мы ж теперь в завязке: Олег Семенович нам

группу для показательных, я им зал с манекенами… Как раз в воскресенье и договорились.

Молодец, Босс! Умница.

Соображаешь.

Странно: ветер, а прическа у него держится, как спартанцы в Фермопилах. Лакируется он, что ли?..

…ученикам хорошо, они всегда на своем месте, а учитель вертится незаметно, вопиет гласом вопиющего сквозь стиснутые зубы: Иисусе-спаситель, Аллах акбар, Будда Вайрочана или кто там еще, кто слышит! — ведь я не хотел, ведь это случайно, я мал, слаб и ничтожен, а они верят, они в рот заглядывают, они легенды сочиняют и пускают их гулять по белу свету… Эй, начальник: пронеси чашу мимо! Не проносит начальник. Не откликается. И только зябкий выдох в затылок: эй, начальник, или кто ты там, если слышишь?! Это уже к тебе. Не отвертишься. Мал, слаб, тварь дрожащая — не отвертишься…

Убрать.

Сейчас не время.

— А ты, Ольга? — спрашивает Монах.

Ответить не успеваю.

Дмитрий

— …А ты, Ольга? — Монах не верит.

В общем, правильно не верит, только раз уж начали игру — шоу должно продолжаться.

— А Ольга к нам в школу записаться собирается. Для начала — на первый год, как все, а там видно будет! — заявляю я, не давая Ольге вставить ни слова. — Володь, ты сардины будешь?

— Да я вообще-то…

Ольга пытается что-то возразить, но я пресекаю эту попытку в зародыше, затыкая девичий ротик ветчинным кляпом.

Правильно: жуй да помалкивай, Рыжая Соня.

— Молодец, — на лету подхватывает Олег. — К чему кота в мешке покупать? Приедешь на экзамен, поглядишь — тогда и решишь сама. Собственно, мы ведь так и уславливались? Будет желание — сама что-нибудь покажешь. У нас приглашенных много намечается: от федерации ушу, карате-до, группа Вахтанга, Константина Георгиевича люди, от Вьетнамца эти, из «ням-ням»… нет, «нят-нам»!.. опять же «железячники» приехать грозились…

— Так ты сардины будешь или как? — нетерпеливо осведомляюсь я еще раз, обиженно воззрясь на Монаха. — А то я

бутерброды делаю.

— Ну, давай…

Монах явно сбит с толку. Разговор все время уплывает от него куда-то в сторону, и он не успевает следить за течением беседы.

— Держи!

Я далек от мысли, что при соприкосновении с Монахом меня шарахнет током или пальцы повылетают из суставов. Но некое ощущение настороженного ожидания: «Что будет?» — все-таки присутствует.

Монах, забывшись, берет у меня бутерброд, слегка мазнув пальцами по моей ладони.

Ничего особенного, рука как рука, никаких неприятных ощущений…

…Плащ черным крылом взлетает вверх, и из-под него вдруг выстреливает плоское лезвие, играя стальными бликами в свете прожекторов. Руки зрителям не видно — только фигура в черном плаще с капюшоном, только взмах «крыла», только мгновенный высверк стали.

Плащ отлетает за спину. Кинжал скользкой щукой-однозубкой вертится в пальцах, сам собой выписывая замысловатые петли, угрожая пятящемуся человеку сразу со всех сторон, мешая понять: откуда последует удар?.. И только на самом краю сознания отчаянно, пойманной в паутину мухой, бьется единственная мысль: «Ну где же, где же этот чертов Коллен, ну что он медлит за кулисами?! Ведь я же ***этого*** *сейчас зарежу…»*

Стоп!

Не сейчас.

— А я, может, тоже на экзамен приеду! — заявляет вдруг Монах, заметно уязвленный тем, что вместо центра внимания он может претендовать в лучшем случае на периферию.

Хвост недожеванной сардинки прилип у него к нижней губе.

— Ох и далеко ж тебе ехать придется! Небось от ближайшего дома отдыха, — бурчит Ленчик, нарезая сало тоненькими ломтиками.

Нарезает он его из чистого альтруизма, ибо сам явно собирается и дальше питаться чаем с редиской и другими дарами матушкиного огорода.

— Ну, приду… — Монах пытается спародировать Ленчиково бурчание, но это ему плохо удается.

— Приходи, — пожимает плечами Олег, мастеря какой-то совершенно умопомрачительный сандвич. Пизанская башня, не сандвич. — Покажешь нам, недотепам, как чемпионы выступают!

— Могу и показать! — Хороший бы из Монаха мотоцикл вышел: заводится с полоборота. — Только я ж теперь все больше в паре… Дадите поработать?

Сказал — и косится глазом: как отреагируют?

А никак. Что, думал, все тебя тут же отговаривать кинутся? Как же, держи карман шире!

— Поработать-то можно… — по-кошачьи тянет Ленчик, одновременно хрустя целым пучком зеленого лука. Следую его примеру: не все ж на консервы налегать! — Только сам знаешь: мы обычно с посторонними людьми не работаем…

— Ну, а если я обратно в школу вернусь?

Эк его припекло, бедолагу! Небось совсем тут одичал: без людей-то, без родных, без друзей-знакомых.

На луну ночами воет.

— Ну, у нас же никого не выгоняют. — В моем взгляде, поднятом на Монаха, было столько наивности, что взгляд поднялся с изрядным трудом.

Тяжелый, зараза, вышел; не взгляд — штанга.

Впрочем, вес взят.

— Выгоняют! — резко, едва ли не грубо обрывает меня Олег. — Я с этого года начинаю закручивать гайки! А то развелось эстетов-трепачей, которые только и умеют, что языком работать. Знатоки великие, понимаешь!

Олег вроде и не обращается конкретно к Монаху, но столь прозрачный намек и ежу понятен.

Эй, еж, тебе понятно?

— Нет, ты приходи, поглядим-подумаем. — Когда мой соавтор отступает на шаг назад, значит, жди подвоха. — Ты сам как считаешь, Володя: тебе в какую группу ходить следует?

— Ну… в стажерскую, наверное. Или как минимум в клубную…

Вот сразу ведь видно: говорит человек и сам понимает, что не то говорит! А промолчать не может.

Зря это он.

Почему люди обманываются? Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад!.. И вот: в небе зависли свинцовые дирижабли, а к ним по сверкающим золотым лестницам ползут и ползут упрямые человеческие фигурки. Там, в сумрачных гондолах, в таких же ослепительных, как и эти лестницы, клетках, спрятаны певчие птицы. Птицы молчат — но каждый из взбирающихся по лестницам людей верит: когда он наконец доберется, вскарабкается, доползет — птица обязательно запоет! Не может не запеть! Конечно же, она запоет чудесную песнь —

только для него одного!

А сотни тонн свинца, по странному недоразумению зависшие на головокружительной высоте, уже готовы обрушиться, сминая маленькие смешные фигурки и золоченые лестницы из папье-маше…

Стоп.

Не сейчас.

Нет, это он все-таки зря.

Олег

— Как минимум?

Внутри что-то оборвалось. Туда, в прошлые рождения, где я был судьей неправедным, согласно Ленчикову гороскопу, где крылись решения и приговоры, о поспешности которых я сожалею по сей день.

Иногда — сожалею.

А иногда — нет.

Рассказ шел к финалу. Спотыкаясь, по колено забрызгавшись грязью, подволакивая ногу и морщась от боли в травмированном колене; но — шел. Рассказ о суматошном Володьке Монахове и его волшебной палочке, рассказ о двух нелепых дядьках, разменявших четвертый десяток в поисках нужных только им слов; рассказ о плачущей жене, избитых насильниках и троллейбусных жертвах; рассказ о том, что одни называют ремеслом, другие — искусством, третьи — образом жизни, а четвертые смеются в лицо и первым, и вторым, и третьим, потому что четвертые знают: ремесло должно кормить, искусство — развлекать, а образ жизни — это вообще нечто совсем другое.

Собаку выгуливать да с управдомом лаяться — вот и весь образ жизни.

«А если я на тебя с шашкой полезу, что ты делать будешь?» Вечный вопрос, на который надо не отвечать, а нельзя: ведь, в сущности, хорошие люди спрашивают, меняя шашку на нож, пистолет или… или бейсбольную биту «Миротворец». Они ждут ответа, которого нет, ответа, который превращает отвечающего в полного идиота… отвечать стыдно, и не отвечать, в общем-то, тоже…

Убрать.

Лишнее.

И все-таки: рассказ, никому, пожалуй, кроме нас, не интересный, близился к финалу.

Я чувствовал, как горькая пустота подступила к горлу.

— А на первый год ты как минимум не хочешь? — Было видно, что Монах не ожидал от меня этой реплики. — Вместе с княгиней Ольгой? Разминочка, азы, ручки-ножки-огуречик… а там будем посмотреть. Если будем.

Кровь бросилась ему в лицо. Лысина сразу вспотела, покрылась блестящими бисеринками, глаза сверкнули опасной желтизной.

Тигр с рекламы.

Несчастный лысый тигр.

— На первый год, сэнсей? Азы с разминочкой? Что ж, можно и на первый… Возьмешь меня на первый год инструктором?! А, сэнсей?! Я ведь, как-никак, теперь призер, чемпион! Что скажешь?!

«Ты только вот о чем подумай, сэнсей, ты крепко подумай: двенадцать лет жизни — коту под хвост! А, сэнсей? Что скажешь?! У тебя ведь не двенадцать, у тебя поболе будет… Не жалко?»

— Нет, Володька, — ответил я, поднимаясь, и отчетливо увидел: он не понял. Ответа не понял, ответа на заданный почти месяц назад вопрос; да и вообще ни черта не понял.

Наверное, это хорошо.

Наверное, я дурак.

Наверное… наверняка.

— Нет, Володька. Не жалко. Говоришь — инструктором?..

Дмитрий

— …инструктором? — со знакомой интонацией, не предвещавшей ничего хорошего, переспросил Олег. — Ну тогда становись!

— Куда — становись? Зачем — становись?!

Разгоряченный собственной тирадой и быстро копящимся раздражением, Монах в очередной раз не успел сообразить: куда свернул разговор? Он понимал, что проигрывает словесный поединок, и от этого злился еще больше.

А разговор уже, собственно, никуда не сворачивал.

Он закончился, разговор-то.

— Вот сюда. Перед нами. Экзамен сдавать будешь.

И без малейшего намека на подковырку:

— На инструктора.

— А ты примешь? — Кривая усмешка едва не вывихнула Володьке челюсти. — Как говорится: «…А судьи кто? За древностию лет…» Я ведь и от бабушки ушел, и от дедушки… и

из школы ушел…

— Ну, ты ж сам сказал, что хочешь вернуться, — заметил Ленчик в своей обычной обманчиво-ленивой манере. — Тем паче у нас тут целая приемная комиссия собралась: мы с Олегом Семеновичем, Константин Георгиевич от клуба «Тайра»; да и Дмитрий с Ольгой — тоже не новички.

— Давайте, давайте, Владимир! — спешит поддержать Ленчика Большой Босс. — Мне это тоже чертовски интересно. Берете меня в приемную комиссию?

Шемет оборачивается к Олегу и хитро ему подмигивает. Он еще сам не до конца понимает, что сейчас будет, но явно решил поучаствовать.

— Обещаю быть объективным и беспристрастным!

— Разумеется! — кивает ему Олег. — А ты чего стоишь?! — рявкает он неожиданно на Монаха. — Пять человек его ждут, а он тут из себя кисейную барышню строит! *Санчин-дачи йой*!

Ольга вздрагивает от неожиданности, а Монах, не успев ничего толком сообразить, рефлекторно оказывается в требуемой позиции. И только после этого до него доходит: он снова попался, снова принял навязанные ему условия.

Отступить? превратить все в шутку? сбежать?

Поздно.

— Не расползайся в стороны. «Три схватки» — стойка лодочников, а на Востоке лодки узенькие, — как бы между делом бросает ему Олег. — И борта не раскачивай: опрокинешься, утонешь. *Мае-гери* — х-хай!

Муть раздражения бурлит внутри Монаха. Копится, мало-помалу грозя перелиться через край, — и Володька пытается выплеснуть злость в движении.

Удар ногой отбрасывает штанину назад, обнажая широкую, смешно белую лодыжку.

Еще раз.

И еще.

Злости хватает, и от каждого удара ее становится только больше.

Некоторое время мой соавтор… э, нет, сейчас — сэнсей школы Годзю-рю! — скептически наблюдает за тем, как Монах остервенело пинает воздух. Олег стоит к нам спиной, выйдя чуть вперед, но даже эта спина красноречиво излучает сплошной скепсис.

— Хоть бы колено не вкручивал, — оборачивается ко мне Ленчик, кивая на усердствующего Монаха.

— Ага. Скоро вывихнет, — с готовностью развиваю его мысль я.

Говорим мы громко, не стесняясь, так что Монах наверняка все слышит. При других обстоятельствах ни мне, ни Ленчику и в голову не пришло бы давать подобные комментарии, да еще вслух. Этика школы. А если б и пришло — тут же обоим влетело бы по первое число. Несмотря на то, что все мы — друзья, а Ленчик еще и инструктор. Но сейчас Олег явно собрался довести Монаха до белого каления. Я еще не вполне понимаю, что будет дальше, но раз сэнсей решил действовать именно так, наше дело — ему помочь. Вот мы и помогаем, в меру, так сказать, возможностей. Языком. Тут только главное — не переборщить.

— М-да, не особо впечатляет, честно говоря…

Это Большой Босс. Небось думает: мы заранее договорились. Вот только мы и сами не очень-то понимаем замысел Олега. А зная его как облупленного, я сильно подозреваю: он и сам его не до конца понимает. «Потому что интуиция» — и вперед!

Ну что ж, попробуем.

Потому что интуиция.

— Достаточно. *Сокуто-гери* — х-хай!

Похоже, все требования сознательно строятся на ударах ногами. Самое больное место Монаха: коренастому сорокадвухлетнему мужичку почему-то всегда снились по ночам лавры высоких «ногастых» киноактеров.

О чем Олег прекрасно знает.

— Нет, мух так отгонять, конечно, можно…

Когда Ленчик хочет, он превращается в удивительную язву. Только случается такое крайне редко.

Например, сейчас.

Краешком глаза кошусь на Ольгу. На лице девушки — недоумение пополам с обидой: «Ну зачем вы над человеком издеваетесь?!» Надо, Оленька, надо! Мы б и рады по-другому — да не выходит.

— Ладно. С этим понятно. — По тону Олега не составляет труда догадаться, *что* ему понятно.

Монах запыхался, побагровел — и не только от того, что переусердствовал в пинании воздуха, забывая этим самым воздухом дышать, хотя бы время от времени. Неприятно чувствовать себя выставленным на посмешище; еще неприятнее сознавать, что большинство ехидных замечаний вполне справедливо.

Я поначалу тоже таким был… ох и был!

— *Гекусай-дай-ката*. Первая, по моему счету. *Ичи! Ни! Сан*!..

Читал где-то: японский язык по произношению близок к русскому. Врут, наверное. Или не врут. Какая разница?… *ичи-ни-сан-ши-го*, вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает, прямо

в зайчика *кекоми-сокуто-гери* — киа-а-а-ай!..

Это я так, от нервов, пока Монах танцует.

— Вперед не заваливайся. Так… *Ш-ши! Го! Р-року!* Ниже, ниже стоечку… Вес — на обе ноги. *Ш-шичи! Х-хачи! Кю! Дзю!* Не торопись…

Монах закончил. Поклонился — коротко, небрежно, словно одолжение сделал! — и остался стоять. Тяжело дыша и стараясь глядеть мимо.

Мимо всех.

— Ну а теперь — *дзю-кумитэ*. Свободный, так сказать, спарринг. Или устал?

Монах хмуро косится на Олега. Молчит. Он, конечно, не дурак, он прекрасно понимает: тут что-то не так. После сумасшествия последних дней предлагать ему (ему, убийце Дагласа Деджа, ходячему моргу!)…

Нет, молчит.

А мне померещилось: сейчас откажется и сядет.

— Олежа, давай я с ним поработаю.

Ленчик встает, но сэнсей коротко машет ему:

— У тебя рука в лубке. Я сам.

— Может, не надо?.. — Не на шутку встревоженная Ольга делает слабую попытку остановить события. Но все тот же Ленчик оборачивается к ней:

— Ольга, пожалуйста, не вмешивайтесь.

— Зашибу ведь, сэнсей. Ты, знаешь… ты подумай, ладно?! — зло цедит Монах сквозь зубы.

— Если зашибешь, сам к тебе в ученики пойду. — Олег безмятежно смотрит на Монаха, и тот не выдерживает, отводит взгляд. — Димыч, подержи очки.

Пыльные зеркала надо протирать. Но особое очарование в том, чтобы добраться до какого-нибудь старинного зеркала в резной дубовой раме, погребенного на чердаке с незапамятных времен, когда тебя самого, быть может, еще и на свете не было. На свете? На свету? Пыль на таком зеркале лежит толстым мохнатым слоем, и зеркало не отражает ничего. Ты берешь чуть влажную тряпку и начинаешь аккуратно убирать этот серый бархат.

Осторожно!

Не смотри раньше времени!

И вот наконец — в чердачном сумраке неяркий блеск освобожденной глубины. Кусочек другого мира. Ты осторожно заглядываешь туда, за грань. Кого покажет тебе зеркало, за долгие годы молчания разучившееся врать?..

Стоп.

Не сейчас.

Когда Олег оказывается рядом, я выдыхаю ему в ухо:

— Ты что задумал, камикадзе?!

— *Нопэрапон*, — вот и все, что произносит он в ответ, передавая мне очки.

Олег

Деревья были далеко. Очень далеко. За тысячи, миллионы пространств отсюда, на самом краю поляны, они закружились туманным хороводом, отрезая «здесь» от «там».

Время кружиться отказалось наотрез.

Осталось прежним.

О таком хорошо писать, развалясь в кресле и лениво стуча по клавишам (*скрипя гусиным пером?..*), прихлебывая кофе (*двойной? без сахара?!*), наугад переодевая героев, будто похмельный костюмер, в пятнистый камуфляж или тряпье давно минувших дней. Растягивать время новехоньким презервативом, превращая секунды в минуты — нет, лучше в часы, лучше в дни, недели! Пускать героя в перемотке ускоренной (а на самом деле не героя — себя, сопливую мечту о неуязвимости, мечту хилого мальчишки, сто раз битого во дворе прыщавыми врагами народа!) … да, героя на ускорение, а врагов, мерзких злыдней, — этих на «паузу», сладострастно причмокивая от предвкушения справедливости…

О, как много можно сотворить со временем, по собственной прихоти расставляя на доске чудо-шашки, сплошь белые и пушистые… шашки наголо!

Не знаю.

Не пробовал.

Хвала моему плохому зрению! Хвала стулу, подсунутому одним сукиным сыном на татами, когда некий молоденький придурок *(узнаете? а в профиль?!)* летел через другого молоденького придурка головой вперед, потешая весь зал! Трижды хвала, ибо с тех пор близорукие глаза разучились шарить по сторонам, рыская глупыми щенятами; а там, ближе, они и вовсе-то не понадобятся в обычном, обыденном смысле. Взгляд размазывается, теряя резкость, отказываясь видеть в упор даже Монаха метрах в трех от меня — так, сизое пятно с руками-ногами, и от пятна веет опасностью и страхом.

Для опасности далековато, для страха в самый раз.

Чей это страх: мой? его? людей, молчаливо сгрудившихся у подстилки с забытой едой?

Не знаю.

Зато я знаю, чем закончится история несчастного японца, на свою беду встретившего нопэрапон. Дело за малым: вернуться домой, переговорить с Димычем, отсекая лишнее, и уехать… уехать… Дело за малым.

Вот он, малый, стоит напротив, по колено в опасности и страхе.

Горе тем, кто соблазнит малых сих!.. Горе! Это не Володька Монахов, это мишень с мордой лживого тигра в центре, это воплощенный лозунг: *«Ваша задача — выжить!»* Ложь?.. Нет, здесь и сейчас — правда! Мы выживем, Монах, мы, честное слово, выживем, только для этого придется потерпеть, стиснув зубы, и тебе, и мне… обоим.

Концентрические круги плывут, съедая тигриную морду… тигр, о тигр, светло горящий!..

Мишень превращается в зеркало.

Одинокая луна отражается в сотнях потоков; свет луны не разделен на множество призраков, это рябь на воде искажает сияние, дробя его на осколки. Убери воду — свет останется; ручей, озеро или крохотная лужица — свет останется, останется и отражение.

Луна смеется.

Утром, в нескольких километрах от железной дороги, по уши в реальности, разучившейся удивляться, — луна по-прежнему смеется.

Дмитрий

…*Нопэрапон*! Ну конечно же! Я почти дошел до этого сам, когда глядел на раскрытый трактат Дзэами. Приросшая маска, ставшая лицом. И сорвать эту маску, освободиться от нее человек способен только сам, сам — можно помочь ему переступить порог, но перевести под руки нельзя!

Вот только помощь эта… Все равно что вывинчивать запал из гранаты, разогревая его в пламени паяльной лампы! Но запал примерз намертво, и, кроме паяльной лампы, под рукой ничего нет, а вывинтить его надо обязательно, потому что к кольцу привязана проволочная растяжка, и кто-то вот-вот зацепит ее, дернет неминуемую смерть…

Я смотрел на Монаха с Олегом, застывших друг напротив друга, и мне было страшно.

За обоих.

Остальные тоже сидели тихо — казалось, даже не дышали.

Время насмешек кончилось.

И время разговоров кончилось.

А то время, которое осталось, облепило двух неподвижных людей вязким студнем — и никак не хотело отпускать.

Я видел, что Монаху тоже страшно. Что он боится самого себя — не дай бог, повторится история с покойным Дагласом Деджем.

Но отступить, отказаться он не мог! Не мог! — доведенный до последнего рубежа на поводке из насмешек! Плевать, что ноги плохо слушаются, скрипят ржавые шарниры суставов, а дыхание сипло вырывается из горла, как после бессмысленной погони за подлым трамваем! Это все — мелочи. Ерунда. Чушь собачья. А правда иная: *«Комплект высылается наложенным платежом в сумме 69.00 гривен (с учетом почтовых расходов). Поверьте, это очень небольшая цена за то, что содержится в комплекте! Оплата производится по получении на почте…»* Это очень, очень небольшая цена, это волшебная палочка на халяву! Один попавший в цель удар — и все! Или проще: один удар, попавший в обладателя заветного мастерства (отобрать хотите, сволочи?.. Не выйдет!), один-единственный тычок-толчок, и — сломанные пальцы или запястье! Ты этого хочешь, сэнсей? Ты не веришь мне? Тогда ударь — и убедись сам! Я не пойду вперед, я боюсь, что убью тебя. Я правда боюсь… я не доучился до конца. Ударь меня сам, сломай себе руку и убедись наконец!

Ну же?!

Олег как бы нехотя смещается чуть правее, еще правее, заставляя Монаха повернуться, нервно переступив с ноги на ногу, — и тут же, словно передумав, возвращается обратно.

Вот только на этом обратном шаге он незаметно (для Монаха незаметно, а мы-то со стороны все отлично видим!) оказывается на шаг ближе к своему… противнику? партнеру? ученику?

Кому?!

…Я уже, кажется, догадался, *что* задумал Олег.

…Я только все еще не могу понять, *как* он собирается это сделать.

Еще шаг влево — и снова едва заметное глазу приближение.

Взрыв!

Что я всегда любил наблюдать — это как мой соавтор работает ногами. Вот и сейчас: высокий, сильный удар в подбородок останавливается буквально в сантиметре от лица Монаха, успевшего лишь обалдело моргнуть, — и Олег снова вне зоны досягаемости. Физиономия у Монаха вся в песке, он начинает обиженно отряхиваться; раздражение в нем клокочет напропалую, но страх — страх убить, покалечить — удерживает на месте. Нет, он все-таки неплохой мужик, Володька Монахов, и его надо спасать. Что Олег сейчас и пытается сделать. Жаль, я

ничем не могу ему помочь. Сейчас я могу только сидеть и смотреть, в десятый раз стуча по машинально подобранной деревяшке: пусть все обойдется, пусть…

— За дистанцией следи. — Тон у Олега уже совсем другой, отнюдь не насмешливо-скептический. Сейчас перед ним — его ученик. Ученику следует указать на ошибку, чтоб тот обратил на нее внимание и больше не повторял.

Кажется, до меня начинает доходить — *как*.

Монах машинально кивает, и тут же в ответ получает нагоняй:

— Не стой столбом! Работай!

— На соревнованиях ему бы уже штрафное очко за пассивность влепили, — тихонько бормочет Шемет.

Бормочет не для Монаха — для себя.

Монах начинает осторожно приближаться к неподвижному Олегу. Кажется, он на что-то решился. Точно! Пинок ногой — не достающий до партнера добрых полметра, если не больше. Ну да, тоже решил без контакта работать! Полметра промаха, полметра страха и весеннего безумия. И, как на встречный удар, Володька Монахов натыкается на улыбку: между «*остановил*» и «*не достал*» две большие разницы, как говорят в Одессе!

Насмешка достигает цели.

Монах кидается вперед.

Ближе.

Еще ближе.

Улыбка уходит в сторону. Олег перехватывает бьющую руку, «продергивает» Монаха дальше, мимо себя, за тающим призраком проклятой улыбки — и вдогонку звонко оглаживает ладонью Монашью лысину.

В реальном бою это означало бы: конец.

Олег

…не отвлекаться, иначе я сойду с ума!

Зеркало, зеркало… свет мой, зеркальце, скажи: я ль на свете… ты в земных зеркалах не найдешь своего отраженья!

Между нами еще целая вечность. Между нами космическая бездна, на том краю которой леопарды уже выходят из пещер, драконы выбираются из черных речек, и Журавли Предков расправляют крылья… между нами еще есть зазор.

Полоска взрытого босыми пятками песка.

А индикатор опасности зашкаливает, красная стрелка дрожит… нет, иначе. Не стрелка — стрела красной, багровой вспышки остро тычется в сердце, намеком копошится в животе:

«Опасность! Смертельная, последняя, срывающая двери с петель!» Совсем рядом болевая, боевая черта: шаг, другой — и все.

Совсем все.

Так было всего однажды, в вагоне метро, и по сей день, вспоминая, я до одури захлебываюсь опоздавшим страхом. Так было, и я боюсь, что сейчас будет опять: переход черты, ледяная пустота там, где еще недавно пряталась личность, жизнь и смерть становятся просто пустыми словами, смешными кубиками в песочнице…

Иду по краю.

Сизиф, я качу свой камень, вручную отдирая багровую стрелу от черты боевого безумия: это же Володька, Володька Монахов!.. Помогает, но плохо.

Если б еще от него так не разило страхом… моим? его? Дагласа Деджа? — когда заезжий биток лоб в лоб столкнулся со стеной, со страшной стеной переплавленного самоуничижения, которое паче гордыни, столкнулся и понял в последнюю секунду — конец.

Володька, я отражаю тебя, но и ты отражаешь меня, как отражают удары; вот, видишь, чувствуешь — это я, я злю тебя, раздражаю, дергаю, потому что присохшую к ране тряпку сдирают одним рывком, с кровью, с болью, с задохнувшимся хрипом… Злись. Нервничай. Как злюсь и нервничаю я, чего не видит, наверное, никто.

Вру.

Все они видят, все понимают.

Уж кто-кто…

Свет мой, зеркальце… ох уж эти зеркала — вынутые души… отражая меня, наизнанку всего выворачивали, то дрожа, то звеня, добела обнажая и начерно…

Привычка — смотреть в бою мимо, вскользь, расплывчато.

Привычка — думать черт знает о чем, мимо, вскользь, расплывчато, потому что не думать не получается, а так… думать вскользь — все равно что не думать.

Володька, иди сюда.

Ну иди же!

Отразись…

Дмитрий

…Монах, споткнувшись, падает. Сперва на колени, а там и вовсе боком в песок. С испугом и одновременно — с плохо скрываемым торжеством оглядывается с земли на возвышающегося над ним человека. Ну конечно, контакт! Был

контакт! Сейчас сэнсей должен схватиться за сломанные пальцы или вывихнутое запястье…

— Не лезь бычком. Понял, где поймался?

Монах ошарашенно кивает.

— Вроде…

Судя по тому, как Олег держит руку, с рукой у него все в порядке.

Во всяком случае, я очень хочу, чтобы было именно так.

Если мы все будем хотеть, чтобы было так, значит, так оно и произойдет, так случится и только так… Иисусе-спаситель, Аллах акбар, Будда Вайрочана или кто там еще, кто слышит! — ведь я…

Почему-то обдает холодным ветерком: мои ли это мысли?

Сейчас — мои.

— Тогда вставай. Продолжим.

Что-то хрустит в моих пальцах.

Несколько мгновений я тупо смотрю на разломанную пополам деревяшку, по которой недавно стучал. Нервы, однако! Я ведь сам видел тех, на троллейбусной остановке… И Ленчик видел. Скашиваю взгляд в сторону. Черты Ленчика медленно, очень медленно расслабляются, превращаясь из японской маски в обычное лицо.

Стараюсь улыбнуться в ответ.

И кажется: вот сейчас губы треснут, кровоточа, от непосильного напряжения.

Не треснули.

Еще, наверное, не все, еще длится вопрос без ответа, но… Монах ведь писал в своем письме: *«…Мерещится и вовсе чудное: будто у меня уже любое прикосновение — все равно что удар! Или не мерещится?.. Нет, наверное, не любое. Сейчас вспоминаю: касался я все-таки людей время от времени — и ничего с ними не делалось. Зато когда хотел оттолкнуть, отодвинуть, когда злился…»*

Так-то оно так, Володька, да не совсем! У всякого лезвия две плоскости. Тут ведь не только твое состояние, твой посыл важен — но и встречный! Важен *противник*! И совсем необязательно противник — это пьяный жлоб в подворотне или профессиональный боец на татами. Человек, стоящий у тебя на дороге в троллейбусе и не дающий пройти к выходу, — тоже противник! Ведь он мешает тебе сделать то, что ты хочешь. И собственный сын, стирающий (как ты тогда искренне полагал!) твою видеокассету. И Ленчик, пытающийся доказать, показать, намекнуть, что твое мнение о собственной крутости не соответствует действительности. Всякий, кто оказывает

противодействие, — противник! *«Ваша задача — выжить!»* Противодействие должно быть сломлено. Если враг не сдается…

Эй, блондин-метабоец: а если противника нет?

— …Спокойней, не суетись. Давай-ка помедленней, лапками…

— Д-да… д-давай, — судорожный кивок Монаха. — Помедленнее.

— Поехали.

У меня создается странное впечатление: все, что сейчас произносит Олег, он произносит «на автопилоте». Нет, иначе. Сейчас слова — вершина айсберга, продолжение его самого, некие вербальные связки между движениями и состояниями, между ним и Владимиром, между возможным и невозможным…

В бою, там, где враг, он бы молчал.

Два человека прилипают друг к другу, их руки плетут сложную, неторопливую вязь, и в какой-то момент я ловлю себя на том, что невольно повторяю движения Олега.

Нопэрапон.

Ты гляди, а ведь Монах ожил!

— Вот так, нормально…

…А если противника нет? Если твой партнер хочет того же, что и ты сам? Не победить, не доказать, не воспрепятствовать — хочет помочь тебе?

Где тогда противник? Кого ломать, доказывая свое преимущество? Разобьется ли в кровь рука, если она не рушит, а лишь шлифует грубый гранит? Трогает резцом? Или пытается покрыть его слоем плодородной почвы — чтобы из скалы наконец проросли цветы…

Случается, что у истово верующих образуются кровоточащие язвы-стигматы на месте «Христовых ран». Психофизиология. Хоть слово это дико, но мне… Ты тоже уверовал, Володька. Ты стал одним сплошным убийственным стигматом, ходячей бейсбольной битой, пожарным багром с острым крюком на конце. Но только и ты, и твой блондин-наставник с кассеты забыли, что бейсбольной битой бьют по мячу, а не по голове. А пожарный багор не всаживают противнику под ребра: им растаскивают горящие бревна, чтобы *спасти*, а не *отнять* чью-то жизнь! Ты сам себя используешь не по назначению, Монах! Ты потерял себя. Вернись, верни себя себе, а мы поможем… если сможем.

Сдирай приросшую маску! Сдирай кроваво, болезненно, как выйдет! Дерево не может быть лицом!..

Вздрагиваю.

Что-то идет не так!

Через мгновение понимаю: Монах, не в силах переиграть партнера в спокойном ритме, начал ускоряться. И, как следствие, вновь «заводиться».

Или Олег снова его провоцирует?

Вряд ли: Олегу самому приходится ускориться в ответ, подстраиваясь к партнеру. Для него-то это обычный темп, а вот для Монаха… Ведь Володька сейчас сорвется! — движения опять становятся угловатыми, деревянными, в глазах появляется янтарный блеск…

Остановить!

Остановить их!

Кажется, та же мысль приходит в голову чуть ли не всем одновременно. Ленчик с Шеметом начинают вставать, я чуть запаздываю…

Мы все опаздываем.

Закончив очередной цикл (перехват-толчок-зацеп-толчок), Олег на миг делает паузу, чтобы партнер уразумел, что произошло, — но партнер уразуметь не успевает. Разгоряченный, раздосадованный собственными промахами, Монах не понимает: доведи Олег все до конца — он бы сейчас валялся на земле. Монах видит только одно: открывшуюся «дырку».

И радостно засаживает в эту «дырку» ногой.

Второпях.

С размаху.

Удар попадает Олегу в колено, и сэнсей неловко валится на бок.

Олег

…лапки-тяпки, тяпки-лапки… два шага налево, три шага направо, шаг вперед и два назад…

Вы пробовали играть в лапки-тяпки с бейсбольной битой?

Отражайся, Володька, отражайся!.. Вот так. Теплее, еще теплее… ч-черт, опять холодно! Знобит, морозит; пробирает страхом до костей. Ничего, страх — это ничего, это сейчас даже полезно: страх ударить, страх нарушить тоненькие ниточки, протянувшиеся от человека к бейсбольной бите… нет! — от человека к человеку. Вот где фантастика, вот где небылица-небывальщина… отражайся, Володька! Мы с тобой одной крови, мы с тобой… Ах, как просто, как чудовищно просто было бы послать все эти игры к едрене-Матрене, шагнуть за черту, заставив страх захлебнуться собственной гнилью, взорваться и

проверить: эй, бита, багор или как там тебя — кто крепче?! Ведь я сейчас просто насилую собственную душу, заставляю себя думать, предлагать и отказываться, подталкивать к порогу и намекать на возможный выход; я устраиваю ему тренировку вместо боя, разговор вместо ругани, уважение вместо презрительной снисходительности, вместо топлива для пожара его болезненной сути, пищи для червя, пожирающего былого Володьку Монахова, — что я делаю?! Сейчас острие багра с размаху ударит в зеркало, и посыплются осколки, сверкающие грани, льдинки-сосульки, одной из которых вполне можно и горло перехватить, если прижмет…

Убрать.

Лишнее.

Лапки-тяпки, тяпки… тепло! Честное слово, тепло! Давай, Володька, я пущу тебя близко, совсем близко, я тебе доверяю… отражайся, м-мать твою! Нет, это не поддавки, и не думай… теплеет. Весна идет, весне… Гляди в меня, дурак, гляди: видишь молодого актера, некогда с перепугу забившего насмерть беглянку-*нопэрапон*? Видишь? Да, ты видишь, ты слышишь далекий шепот (расслабься! не дави — опять провалишься!), ты вспоминаешь, обматываясь рваными лоскутами чужой памяти, — лысый горожанин XX века и раскосый юноша века XV, вы смотрите друг на друга, смотрите через зеркальную гладь, через меня, и если сейчас по глади пойдет рябь, вы так и не сумеете увидеть в каждом — самого себя! Хуже: рябь превратит человека в урода, в чудовище, готовое в любую минуту напасть-растоптать-сожрать, рябь шепнет трагически: *«Ваша задача — выжить»* — и тогда, не требуя больших затрат, за каких-то три месяца, по почте, наложенным платежом…

Актеры театра Но, отыграв свой эпизод, не уходят со сцены. Остаются сидеть в специально отведенных местах, молчаливым присутствием, силой духа создавая «темную прелесть», очарование спектакля, — нет, они не уходят, они остаются, чтобы рябь не бежала по зеркалу между ними и зрителями.

Они остаются.

Ждут.

Как ждут сейчас несколько людей за моей спиной, самим присутствием своим, взглядами, дыханием…

Больно!

Ах, до чего больно… сыплются осколки, острые грани, бритвы сыплются…

Актеры Но… нет, иначе — но актеры еще сидят на сцене, ожидая заключительного монолога, и «темная прелесть» исходит от них, позволяя мне перевести дыхание и понять, понять

ослепительно и просто: ничего не стряслось.

Просто больно.

Бывает.

Дмитрий

— Нормально прошел. Молодец.

Эти слова разом останавливают нас, бросившихся туда, где лежал Олег и ошарашенно пятился от него Монах.

Собственно, Олег уже не лежит, а сидит и старательно растирает колено — то самое, которое меньше месяца назад подвернул на тренировке. Шалость судьбы: если где-то слабина, так туда же еще и добавят! Но на этот раз, кажется, обошлось; во всяком случае, перелома или трещины нет — иначе черта с два он бы колено растирал!

Сам в детстве ногу ломал — знаю.

— Сейчас. Продолжим. Сейчас.

— У тебя… все… в порядке? — с трудом выдавливает из себя Монах.

— Более или менее. — Олег чуть морщится, прикусывает губу. — Прошел нормально, только по большому счету ты был не прав. Становись: показываю.

— А может…

— Становись.

— Все в порядке, Ленчик, — шепчу я на ухо застывшему рядом со мной суровому монументу. — Теперь уж точно все в порядке! Не стой столбом. Присаживайся.

И Ленчик, медленно кивнув, и впрямь расслабляется, усаживается на прежнее место.

Кобра ужалила! — но она пережила свой яд.

— …вот, смотри.

Монах, со скованностью уходящего испуга, пытается повторить свои предыдущие действия — и теперь Олег проводит цикл четко, как в учебном фильме, крохотной паузой фиксируя каждую стадию: перехват, «продергивание», увесистый толчок локтем под сердце (стань толчок ударом — прощайте, ребра!).

— Нога… бей!

Монах вновь пытается ударить в чужое колено, столь соблазнительно открытое всем ветрам. И на миг теряет равновесие, промахиваясь, поскольку предыдущий толчок отбросил его чуть дальше, чем раньше; мгновение — и Олег, даже не очень быстро, «вынимает из-под обезьяны платок».

— Здорово! — Монах счастливо улыбается, извалянный в песке по самое «не-могу», и Олег протягивает ему руку, помогая

встать.

— Вставай. И не ускоряйся — слепнешь. Успеется…

Монах отходит на шаг; коротко кланяется. Совсем по-другому кланяется: сдержанно, с достоинством, и в то же время ступни его ног плотно сдвинуты, как подобает почтительному ученику. Но какая-то подлая заноза, какая-то соринка еще присутствует в том чувстве облегчения, которое, кажется, испытывают сейчас все.

Зеркало почти очистилось.

Почти…

Широкий монастырский двор. Ворота гостеприимно распахнуты, и ветер недоуменно бродит меж рядами сидящих прямо на земле людей. Пытается заигрывать, ерошит волосы, швыряется осенними листьями… Фигуры неподвижны. Сегодня здесь не только монахи — в эти дни ворота обители открыты для всех мирян, взыскующих Чистого Неба. Заходи, садись вместе с остальными — и, может быть, на пятый или шестой день коллективной медитации тебе повезет: зверек по имени Сатори дастся тебе в руки! Ведь ты здесь за этим? И ты? И ты тоже?

«Глупые люди! — удивляется ветер. — Зачем вам Чистое Небо??»

Звон колокольчика. Чистый протяжный звук медленно тает в прозрачности воздуха. И вдруг один из сидящих с радостным смехом вскакивает и бежит вдогонку за ветром, ловя на лету багряные и золотистые листья… вот беглец минует ворота; вот его нет.

Стоп.

Не сейчас…

Хотя почему — не сейчас?!

Здесь и сейчас.

— Любопытная связка… если без перчаток. Леонид, вы бы не могли показать?

— С удовольствием!

И вот Ленчик уже возится с Большим Боссом, сбросившим прямо на землю пиджак и галстук, но Ленчику мешает гипс, и мне приходится прийти им на помощь — уж этот-то цикл я хорошо помню, весь апрель на нем сидели! Шемет оказывается мужиком крепким и жилистым, я показываю, Ленчик дополняет, Ольга вообще едва успевает переводить взгляд с нас на Олега с Монахом, продолжающих свой разговор без слов; вокруг нас смыкается монастырский двор, ветер посмеивается над Дубом Совета — и испуганно смолкает.

Звериный рык.

Вскрик.

Истошный визг Ольги.

Чтобы обернуться, нам требуются доли секунды.

Оскалившись разъяренным хищником, Олег вырвал Монаха вверх, на бросок. Вот оно: выставленное колено, о которое ломают противнику хребет. Вот оно: колено, дождавшееся часа мести. Впрочем, в последний миг оно уходит в сторону, Монах тяжело бухается в песок — и на эту картину словно накладывается другая, призрачная: колено остается на месте, но вместо рушащегося вниз тела об него с треском ломается бейсбольная бита с английской надписью «Миротворец».

А затем следует удар.

Так бьют на убой, насмерть.

Сейчас я ощущаю охвативший Монаха ужас, как свой собственный.

Нопэрапон.

Кулак Олега останавливается у Монашьего виска; мягкий, потный висок, твердый маленький кулак с выставленной фалангой среднего пальца.

«Накадака-кэн», «кулак демона».

— А это тебе — за тот звонок. Насчет «коту под хвост». Понял?

— Понял, — краска медленно приливает к лицу Монаха.

— Тогда — в расчете. Поднимайся.

* * *

Наши взгляды сталкиваются; на миг прилипают друг к другу.

«Я знаю, чем закончится «*Нопэрапон*», — молчу я.

«И я знаю», — ответное молчание Олега.

Я улыбаюсь.

XVI. Нопэрапон. Свеча восьмая

Играть без маски, с открытым лицом, весьма трудно. В общем-то ты и есть изначально просто человек, и потому такая манера игры вроде бы должна быть легкой. Удивительно, однако, что с открытым лицом не смотрится тот, кто не поднимается по ступеням мастерства. Ибо принцип уподобления при этом отсутствует, что нередко понимают как выставление обыкновенной своей физиономии со всей сменой настроений, ей свойственной. Становишься человеком, на которого совершенно невозможно смотреть.

Походить надобно на самое вещь поведением и стилем. Ну а выражение лица — его следует хранить неизменно простым, тебе самому свойственным, никак и никоим образом не переменяя его.

Дзэами Дабуцу. «Предание о цветке стиля»

1

Скорбный, пронзительный вскрик флейты из бамбука.

Словно птица, раненная стрелой влет, тенью мелькнула над гладью залива… ниже, еще ниже…

Упала.

Рокот барабанчиков под умелыми пальцами.

Высокий резонирующий стук туго сплелся с сухими щелчками, и все это на фоне сдавленных, как стон умирающего воина, глухих раскатов… тише, еще тише…

Тишина.

Любуясь на вишни в цвету,
По горам кружу я…

Нога в белоснежном носке — высоком, до колена — двинулась по кипарисовым доскам пола. С пятки на носок, легко проскальзывая, прежде чем утвердиться на светлых, без единого пятнышка или пылинки, досках.

Так ходят монахи, безумцы и актеры.

Рука с веером, чьи пластины были изукрашены по алому фону огромными пионами цвета первого снега, совершила безукоризненный жест «Ночью в одиночестве любуюсь луной» — край веера мимолетно коснулся левого плеча и застыл, ожидая неторопливого поворота головы.

Костры вокруг помоста, за рядами безмолвствующих зрителей, дрогнули, бросили щедро отсветы на недвижную фигуру.

Любуясь осенней луной,
По горам кружу я…

Снова флейта — на этот раз протяжно, тоскливо, вздрагивая всем телом нервной мелодии.

Барабаны молчали.

Тени бродили по белому лицу, по женской маске, вдруг ожившей в ночи, полной теней, звуков и напряженного внимания.

Голова запрокинулась, всплеснув прядями длинного, до пят, парика. Обилие света пламенем охватило маску, изменчивость наложилась на неизменность, и неживой лик на миг оживился ликованием.

Тени — волнующие, завораживающие.

Тени…

Смятение чувств.

Нога в белоснежном носке поднялась, притопнула. Одинокий звук, неожиданно гулкий из-за укрепленного под досками кувшина, не спеша побежал прочь, в темноту… дальше, еще дальше…

Исчез.

Как не бывало.

Любуясь на белый снег,
По горам кружу я…

Гортанный, растягивающий гласные голос обладал прекрасным тембром: блистая манерой «сильного пения», он, этот голос, неизменно приводил в трепет взыскательную киотскую публику. Некоторые даже сравнивали эту манеру со стилем

блистательного Дзэами Дабуцу, дерзкого Будды Лицедеев, ныне прозябающего в ссылке на пустынном острове, — и зачастую предпочтение отдавалось отнюдь не ссыльному старцу. Правда, такие знатоки старались высказать свое мнение вслух, да погромче, чтоб донеслось до ушей могущественного сегуна Есинори. Знатоки же иные, молчаливые, свое мнение держали, что называется, «в рукавах», предпочитая переглядываться втихомолку да качать головами.

Впрочем, и они отдавали должное искусству сегунского фаворита, Онъами Мотосигэ, главного распорядителя представлений в столице.

Зря, что ли, сказано в «Предании о цветке стиля»:

«Актер, знающий сущность Но, знает и собственные слабые стороны, поэтому на важном представлении будет остерегаться играть пьесы, ему не подходящие, а всего прежде выступит в своих лучших ролях. И, если его костюм и манеры будут прекрасны, публика непременно воздаст ему хвалу…»

Вот публика и воздавала.

Затаив дыхание.

С замиранием сердца.

Вслушиваясь в тихий плач хора:

Круг за кругом — и снова круг,
О, вращение без конца!
Слепая привязанность к земле,
Туча, темнящая лунный свет.
Пыль вожделений свилась клубком —
Так горная ведьма родилась.
Глядите, глядите на демонский лик!..

Ветер не выдержал, прошелестел в соснах на холме — там, далеко, за спинами зрителей, с трех сторон окруживших помост. И в ответ рябью пошла крона могучей, узловатой сосны на заднике, ожидая поддержки от изображения двух стволов бамбука, молодых и стройных, на правой стене близ «дверцы-невидимки».

Оттуда, из этой дверцы, появлялся служка в черном, когда требовалось незаметно поправить актеру парик или подать оброненный веер; но сейчас в служке не было надобности.

Спектакль *«ха»*, зрелище «пяти вершин», близился к завершению.

Торжественное спокойствие «пьесы богов», трагедия «пьесы о судьбе воина», смиренность и созерцание «пьесы в парике», повести о горестях и превратностях любовной страсти;

одержимость «пьесы о безумцах» — и, наконец, финал.

«Горная ведьма», феерия «пьесы о демонах».

Испытание мастерства.

Вечный, пряный искус.

Гора и снова гора,
Так круг за кругом…
В свой нескончаемый путь
Уходит ведьма.
Была здесь только сейчас
И вдруг — исчезла…

Долго затихал во мраке плач бамбуковой флейты-*фуэ* … долго, ах долго!.. тише, еще тише…

Все.

Занавес сомкнулся, укрыв от взглядов одинокую фигуру.

2

Сегодня он был не в духе.

Сунулся было служка, унести в костюмерную роскошный наряд *«караори»*, из парчи, сплошь затканной выпуклым узором, — так рявкнул на него, что обалдевший служка растаял струйкой дыма.

Явился актер-ваки в надежде выслушать замечания, уповая на свою близость к источнику благодеяний, — в голову наглеца полетел веер, и хорошо еще, что веер, а не тяжеленный посох для финального шествия.

Постучался гонец от знатного владетеля Нарихиры, пригласить выпить чарку-другую с его господином — гонцу было отказано с безукоризненной вежливостью, но таким тоном, что настаивать умный посланец не отважился, боясь ввергнуть сегунова любимца в пучину гнева.

Сегодня он был не в духе.

Сегодня Онъами-счастливчик, стократ обласканный судьбой и власть имущими, воевал с призраком.

Он знал, что талантлив. Но, рано потеряв родителей, взрослея в семье знаменитого дяди, он также знал: быть ему вечно даже не вторым — третьим. После Будды Лицедеев и его старшего сына; всегда после. Хоть из кожи выпрыгни, хоть сам себя за локоть укуси — третьим, и никак иначе. На наследнике старого Дзэами, ныне покойном Мотомасе, отцовская слава лежала отсветом, лаской заходящего солнца на могучей горе; на

нем, Онъами-безотцовщине, дядюшкина слава лежала могильным холмом.

И удивительно ли, что из-под холма к свету могучей сосной на берегу залива пробилась ненависть.

Лютая, ненасытная.

Ненависть таланта к гению — а есть ли что страшнее, кроме разве что ненависти бездарности к таланту?!

Он умел ждать. Ждать, помаленьку, шаг за шагом, завоевывая признание — свое, собственное, честно заслуженное; ждать, выжимая из наставлений старого Дзэами вдвое, втрое больше, чем родные сыновья; ждать, не брезгуя ничем, пока не наступит звездный час, — как змея в траве? как орел в вышине? как самурай в засаде?!

Какая разница, если он дождался.

Дождался.

И вот: прославленный дядюшка гниет на пустынных отмелях Садо, его старший сынок гниет в негостеприимной землице чужбины, а младший, бездарный Мотоеси, попущением демонов сорвавший некогда триумф двоюродному брату, — младший гниет в монашеской рясе, в тиши захудалого храма где-нибудь на побережье.

Но почему, почему — если победа, если слава, почет и преклонение, если соперников нет, а равных не предвидится! — почему так ноет сердце?!

Потому что соперничать с живыми — можно, а с призраками и памятью — нельзя.

Сегодня Онъами, распорядитель столичных представлений, любимец сегуна Есинори, знаменитый актер сорока с лишним лет от роду, — сегодня он понял это с пронзительной бесповоротностью.

Он проиграл.

Отныне и до конца своих дней.

Играя пьесы сосланного в глушь дяди (а возможно ли не играть то, чего требует публика?!), Онъами всякий раз не мог удержаться, чтобы не сравнить свою сегодняшнюю игру с собственными воспоминаниями о стиле Будды Лицедеев. Льстецы восторгались, твердили наперебой о новой листве, которая краше прежней… «Врут!» — кричало сердце, заходясь болью. Сегун оказывал честь своим визитом, осыпал дарами… «Сравни! — кричало сердце, пока губы улыбались и произносили благодарственные тирады. — Сравни того и этого! Великий, всевластный сегун Есимицу, приблизивший к себе твоего дядюшку, — и его потомок, распутный, слабовольный и упрямый сегун Есинори, приблизивший и обласкавший тебя! Не так ли

различаешься ты сам и твой упрямый дядя?!»

Онъами ничего не мог ответить своему глупому сердцу.

Ничего.

И сейчас, после спектакля, после восторженного гула и широко распахнутых глаз, сердце опять ныло застарелой язвой: кто лучше играл «Горную ведьму»? кто? кто, тысяча демонов сожри тебя заживо?!

Нет ответа.

Или все-таки есть?..

— Г-господин… прошу в-великодушно… г-господин, выслушайте!..

— Чего тебе?!

— К вам с-святой инок… приказывает немедленно пустить!..

— Приказывает?!

— Д-да, господин! Говорит: вы будете рады!..

Наглость какого-то «святого инока» даже слегка развлекла Онъами, отогнав дурные мысли прочь. Небось Безумное Облако явился или кто-то из таких же, как он, непутевых бродяг, годных лишь на двусмысленные вопли. Тоже мне сосуды добродетелей! — ни благолепия, ни чинности… Хотя лишние толки не повредят: дескать, великий Онъами после спектакля выйти к знатному владетелю отказался, а со святым иноком в каморке битый час толковал! — о вечном, по всему видать!

Хороший актер и жизнь по-своему поставит.

— Вели пустить.

— Да, г-господин! Бегу, спешу…

В ожидании гостя Онъами, сам не зная зачем, полез в сундук и достал футляр с маской «Горной ведьмы». Раскрыл кипарисовые створки, развернул ткань — и уставился на лик существа, коим был еще совсем недавно, на сцене. Высокие скулы, приклеенные прядки волос скупо падают на лоб, тонкая переносица напоминает бритву, и уголки полураскрытого рта скорбно опущены вниз. Зрелище, виданное-перевиданное неоднократно.

На что тут смотреть, особенно после выступления?

Повинуясь неясной прихоти, Онъами принялся мысленно стирать черты лица, приданные маске искусством резчика. Исчезли высокие скулы, ушли пряди со лба… Говорят, Будда Лицедеев в своем вынужденном уединении любуется луной да маски режет? Он режет, а мы стираем, он режет, а мы… Онъами даже на миг показалось, что он не маску обезличивает, и то лишь в воображении своем, а ставит последний иероглиф в вечном споре с проклятым дядюшкой. Так, рот закрылся и исчез вовсе, стерлись глазницы, размазалась переносица…

Актер едва не вскрикнул, когда ясней ясного перед ним предстал гладкий, одутловатый пузырь.

Страх липкой ладонью сжал сердце, которое в эту минуту решило обойтись без своих дурацких вопросов; Онъами проморгался и с облегчением воззрился на издавна знакомую маску.

Ф-фу, и пригрезится же такое!

— После спектакля маску следует, взяв за шнурки близ ушных прорезей, обернуть тканью и спрятать в футляр с должным благоговением. Тебя что, не учили этому, великий Онъами?

У входа в «Зеркальную комнату» стоял невысокий, жилистый человек в старой рясе, сплошь покрытой заплатами.

Хоть на сцену выпускай в фарсе — бедный монах за медный грош на все согласен! Впечатление портили лишь глаза бродяги: тусклые, свинцовые, они не располагали к смеху, а фарс без смеха…

«Бродячий *ямабуси*? — мелькнула неприятная мыслишка. — От такого если и дождешься, то отравленной стрелки в затылок… Да ну, кому придет в голову заказывать ямабуси покушение на актера, пусть даже и известного?!»

«Кому? — ехидно откликнулось сердце. — Ты спрашиваешь: кому? Нет, ты правда такое спрашиваешь?!»

— Святой инок разбирается в тонкостях лицедейского балагана?

— Святой инок в этих тонкостях разбирается больше, чем в сутрах Закона. Ты что, действительно меня не узнаешь?

Голос бродяги был тускл и свинцов, как и взгляд.

Онъами вгляделся в лицо-маску, иссеченную ранними морщинами, принялся стирать лишнее: ушли складки, ушел шрам у виска, запавшие глаза вспыхнули молодым блеском, налились краской губы…

— Мотоеси? Ты?!

— Вижу, узнал. Хоть и выглядим мы с тобой сейчас ровесниками… Да какими там ровесниками! Ты, хоть и много старше, жил сытно, спал мягко, пил сладко, а я… сам видишь.

«Точно! Жди отравленной стрелки, а то и ножа в брюхо!»

— Ты, братец, это… ты подожди, а я сбегаю, расстараюсь для родного человечка: яств там, питья… ты обожди, ладно?!

Фигура у входа не двинулась с места.

— Я не убивать тебя пришел, — пролился холодный дождь, заставляя передернуться. — Не суетись. Я просить тебя пришел.

«Просить! Как же! Просил мясник овцу…»

— Отец дряхл. Он бодрится, но я знаю: еще год ссылки — и он не выдержит.

— Да, но что я могу сделать? Воля сегуна…

— Не лги. Мы один на один, и, значит, во лжи нет нужды. Повторяю: отец дряхл. Он воспитал тебя, вывел в люди — но я не стану напоминать тебе о долге воспитанника. Я скажу другое: три отцовских трактата у меня. Будда Лицедеев никогда не позволил бы мне передать их подлецу Онъами, но сейчас я буду решать сам. Я отдам тебе трактаты, отдам публично, с поклоном, при свидетелях — и, если хочешь, в присутствии сегуна. А ты похлопочешь, чтобы старика вернули из ссылки, — и больше никогда ты о нас не услышишь. Это честная сделка. Теперь говори: где и когда?

Если требовалось, Онъами умел думать и решать очень быстро.

— Через три дня, сразу после представления близ храма Чистых вод.

— Хорошо.

Оставшись один, Онъами долго сидел у жаровни, бессмысленно глядя перед собой.

Может быть, он все-таки не проиграл?

Может быть, он все-таки?..

Может быть?..

Сердце молчало.

3

А время — такая странная штука…

…От Сакаи до Киото — путь не слишком дальний. Даже пешком.

Мотоеси шел пешком.

Неровная линия горизонта мерно покачивалась в такт ходьбе, глухой звук шагов россыпью камешков по склону катился себе, шуршал вдоль горной дороги и затихал за ближайшим поворотом. Порывами налетал пронизывающий ветер, выл о скором окончании пути земного, с раздражающей назойливостью лез в уши, норовил забраться под одежду…

Путника слегка знобило, но он старался не обращать на это внимания. Даже если к нему и подбирался недуг-злосчастье, это уже не имело никакого значения.

Выбор сделан.

Ночь Мотоеси провел на перевале, у потрескивающего костерка. Через силу заставил себя съесть немного вяленой рыбы с куском лепешки; запил скудный ужин парой глотков холодного

саке из прихваченной с собой бутыли. Есть не хотелось, а от саке его чуть не вывернуло наизнанку, но Мотоеси все же удалось одержать верх над вздумавшим бунтовать желудком.

Спал бывший актер плохо.

То и дело просыпался, недоуменно глядел в беззвездную безысходность низкого неба. Когда же удавалось ненадолго заснуть, перед глазами всякий раз всплывала маска *нопэрапон*, спрятанная на дне дорожной сумки. Пустые глазницы внимательно следили за хозяином-рабом, бледный лик маски покрывался серой шелушащейся кожей, похожей на змеиную чешую. Маска щерилась блестящими, похожими на лезвия мечей, клыками, подмигивала, словно звала за собой куда-то…

Куда?

Проснулся Мотоеси совершенно разбитым. Все тело ломило, озноб усилился. Подняться на ноги было выше всяких сил, но он все же заставил себя встать. И побрел дальше, спотыкаясь на каждом шагу, едва ли не ощупью отыскивая дорогу в стылой предутренней мгле.

Светлело медленно, с неохотой. Горизонт качался перед глазами, как пьяный, — или это путника так шатает? нехорошо, надо идти ровнее, ровнее… только где ж тут ровнее, когда дороги почти не видно?.. Почему не видно? Вроде бы уже рассвело, вон и мутный круг солнца проступил сквозь серую дымку…

Дорога наконец пошла под уклон. Впереди показались крытые рисовой соломой крыши деревни. На какой-то миг в голове у Мотоеси прояснилось, и он осознал: клубящаяся вокруг мгла, и безумная пляска горизонта, и сотрясающий тело озноб — все это говорит об одном: он болен. И болен серьезно. Ему нужен отдых, нужен лекарь, нужен…

Земля качнулась навстречу.

Темнота.

Темнота-отдых, темнота-лекарь…

* * *

Кажется, время от времени он ненадолго приходил в себя. Во всяком случае, в памяти остался закопченный потолок, запах дыма и стряпни, а еще — приятное ощущение тепла, покоя и расслабленности. Никуда не надо идти, ни о чем не надо думать; вот только — слабость набивает мышцы ватой, и очень хочется спать… спать… спать…

Мотоеси не знал, что почти месяц провел в полузабытьи, в бреду, на грани между жизнью и смертью. Однако горькие

целебные отвары и горячая похлебка-кашица сделали свое дело; а еще — загрубевшие руки деревенского знахаря, раз в два дня растиравшие больного, прижигавшие моксой «средоточия жизни», не давая крови застояться, а жизни — покинуть бренную земную оболочку.

Однажды утром актер-послушник-бродяга открыл глаза и обвел свое пристанище вполне осмысленным взглядом.

* * *

Он снова уходил, и снова при нем была туго набитая сумка, а на плече покоился меч в ножнах из магнолии с серебром. Большую часть прихваченных с собой денег он оставил знахарю и хозяину приютившего его дома, получив взамен недельный запас еды и сбор целебных трав.

Только направлялся Мотоеси уже не в Киото, хотя от деревни до столицы оставалось менее двух дней пути.

Он шел в горы.

Видимо, это был знак свыше — свалившая его с ног болезнь и последующее выздоровление. Кто-то, кто понимал в его жизни куда больше самого Мотоеси, намекнул вполголоса: земной путь еще не окончен, а к задуманному следует подготовиться.

Разумеется, этот «кто-то» был прав. Поразмысли Мотоеси как следует, он и сам мог бы прийти к тем же выводам. Но он, как обычно, поспешил — и в итоге вынужден был три недели метаться в горячке, а потом еще три месяца приходить в себя, отъедаться, копить силы — чтобы снова отправиться в путь.

Теперь-то он понимал: прямой путь — далеко не всегда самый близкий. И его путь в Киото лежал теперь через горы.

Сколько лет понадобится ему, чтобы прийти к намеченной цели? Год? Пять? Семь?

Не важно.

Больше он не будет спешить.

Человек шел в горы.

* * *

Это была совсем маленькая деревня, куда меньше той, оседлавшей дорогу на Киото. Полтора десятка хижин, которые язык не поворачивался назвать домами, куцые огороды — и неразговорчивые люди, в глазах которых отражалось небо.

Да, деревня была маленькой. Поэтому, несмотря на врожденную молчаливость ее обитателей, весть о том, что охотник Есида видел в горах обосновавшегося неподалеку святого отшельника, мигом облетела всех.

«Отшельник — это хорошо, — решили сельчане. — Отшельник в худом месте не поселится. Опять же, если что, будет кому беса отогнать. Надо бы еды отнести — один подвижник деревню не объест, а доброе дело авось зачтется, смилостивится судьба-то…»

Так что со следующего дня старший сын Есиды, донельзя гордый столь важным поручением, возложенным на него взрослыми, стал еще затемно относить к шалашу отшельника узелок с едой. Оставлял дар на плоском камне шагах в тридцати от шалаша; спешил удалиться, дабы не нарушать уединения и не мешать благочестивым размышлениям святого человека.

Людей отшельник, как и положено, сторонился. Завидев кого-нибудь издали, спешил укрыться в шалаше, и сельчане старались не докучать ему без особой надобности. А вот в особой святости подвижника горцы вскоре убедились: неуловимая и зловредная нечисть, чуть ли не каждую ночь разорявшая огороды, в новолуние стучавшая в двери и завывавшая так, что волосы дыбом становились… что, не верите?! И зря не верите, а теперь уже и не проверите, потому что вскоре после появления отшельника нечисть пропала напрочь.

Охотник Есида клялся, что видел однажды, как отшельник беседовал с горным тэнгу; а когда младший сын гончара Танаки свалился в горячке, выкрикивая бессвязицу не своим голосом, да еще и с хонсийским акцентом, и отчаявшийся гончар решился нарушить уединение подвижника, прося помочь сыну, — отшельник спустился в деревню. Три дня безвылазно сидел в хижине Танаки, приготовляя отвары из принесенных с собой трав, вливая их в рот метавшемуся в бреду мальчику и говоря сам с собой — то звучным, поставленным голосом, то хрипло крича по-хонсийски. Зато когда наконец отшельник, пошатываясь от усталости и недосыпания, вышел наружу — мальчик спал глубоким, здоровым сном, и дыхание его было ровным, без хрипов и надсадного кашля, как все эти дни.

Сын Танаки выздоровел.

«Святой человек! — шептались сельчане. — Повезло нам, вот уж повезло! Хвала Будде Амиде…»

* * *

…Наконец-то он был один! Ничьи мысли и чувства больше не наполняли сердце и разум, и первый месяц Мотоеси просто тихо радовался, ощущая себя едва ли не заново родившимся. Потом…

Потом его вновь начали грызть сомнения. Действительно ли он избавился от чужих страстей, сводивших его с ума последние годы? Или остатки все еще гнездятся в подвалах души и затаившийся внутри *нопэрапон* перебирает их в горсти, как скряга — монеты в сундуке?

Однако с подобными мыслями Мотоеси разделался быстро. Он здесь не за тем, чтобы заниматься бесплодным самокопанием; не за тем, чтобы предоставлять сомнениям возможность извести себя вконец. Он пришел в эти горы, чтобы здесь, вдали ото всех, посадить проклятый дар *нопэрапон* на «голодный паек» — и в итоге заставить служить себе, вынудить проявляться со всей силой в нужный момент и в нужном качестве.

Только так он сумеет выполнить задуманное.

Угнездившийся в самой сердцевине *нопэрапон* жаждет проявиться? Он жаждет чужих страстей и вожделений, чтобы сделать их своими? Отлично! С течением времени сила дара проявляется все сильнее — но здесь, в горах, где рядом нет никого, она, эта сила, просто не сможет найти себе применения.

Вернее, сможет.

Но не так, как раньше.

Мотоеси очень надеялся на это.

Если нельзя стать другим человеком, за неимением такового, то, может быть, у него получится стать скалой? деревом? ручьем?..

Часами просиживал Мотоеси на голой вершине облюбованной им скалы, на краю обрыва, на мшистом склоне под сенью изломанной ветрами вековой сосны.

Поначалу он просто сидел и смотрел.

Прошел год, прошло еще пять месяцев — и он начал *видеть*.

Мотоеси потерял счет времени. Он уже не обращал внимания на смену сезонов, на ветер или зной, на дождь или снег. У него была какая-то одежда — он одевался; у него была еда — он ел. Но все это было внешним, сиюминутным, преходящим; все это мимоходом скользило по задворкам сознания, не оставляя следа. Он видел, ощущал, впитывал в себя отчаянный багрянец осенних листьев и торжествующее благоухание горных ирисов весной, суровость каменной красоты скал и шершавую мудрость сосновой коры. Он был без остатка поглощен происходящими в нем переменами, ему не было дела до того, что творится снаружи. Окунаясь с головой в окружающий мир, сын Будды Лицедеев растворялся в нем, тек звенящими струями горного ручья,

трепетал на ветру облетающей хвоей, с шумом срывался в ущелье подтаявшей шапкой ноздреватого снега — и ему хотелось еще, еще!..

Дар *нопэрапон* становился все более подвластным воле господина, он мог заставить его проявиться в любой момент, обратиться на что угодно…

Дважды ему приходилось отвлечься. Сначала — чтобы вылечить сына местного жителя, вылечить травами, подаренными знахарем, и собственной душой-зеркалом, отразив, а затем успокоив волнение мятежного духа, овладевшего мальчишкой. После — чтобы перекинуться парой слов с прилетевшим в гости тэнгу. Впрочем, тэнгу не стал ему докучать: посмотрел искоса, поговорил о пустяках — и улетел. Мотоеси вновь остался один, ничуть не сожалея об этом. Теперь у него были горы, ручьи, деревья, небо над головой, которое иногда удавалось впустить в собственное сердце.

У него был весь мир!

И жажда мести в придачу.

Иногда Мотоеси задавался вопросом: «А что ощущают, пребывая в горах, другие отшельники? Те, кто пришел сюда по зову сердца? Может быть, мы похожи? Может быть, я все-таки нашел себя, и больше мне некуда стремиться, нечего желать?»

Но память злорадно подсовывала: надменный чиновник наблюдает за отъездом труппы из столицы; сжимаются на горле костлявые пальцы лишайного краба; рыдает на груди отец, получивший известие о смерти Мотомасы; хмурый Сугата у крыльца отцовского дома: *«Только… повелением сегуна… Короче, сослали его, молодой господин! Ты уж прости, но против властей мы не пойдем…»*

Нет, у него остались еще дела в этом мире.

Одно дело.

Мотоеси потерял счет времени. Но однажды, повинуясь странному наитию, он вошел в шалаш — два раза в год он строил его заново, — отбросил в сторону старую циновку и стал руками разгребать слежавшуюся землю в углу.

Длинный сверток показался довольно скоро.

Развернув прогнившую ткань, Мотоеси извлек из ножен даренный отцом меч, ничуть не потускневший за эти годы, и положил его рядом с маской, что глядела на хозяина-раба пустыми глазницами.

Нопэрапон.

Миг-другой — и по маске скользнули призрачные блики. Холодный, стальной отсвет ударил в глаза. Бывший актер

ощутил, как тело становится звонким и гибким, дрожа в сладостном нетерпении, в предвкушении того единственного удара, который…

Мотоеси улыбнулся одними губами и точным движением вложил меч обратно в ножны.

Маска меркла медленно, нехотя, с сожалением расставаясь со стальными бликами.

Значит — время пришло.

Спустя семь лет через деревню близ перевала вновь прошел человек с дорожной сумкой и мечом в ножнах из магнолии.

Но на этот раз человек не остановился.

Он шел в Киото.

Никто его не узнал, никто не обратил внимания на случайного путника — и только старый знахарь долго смотрел вослед, неодобрительно качая головой.

4

Время — такая странная… впрочем, об этом уже говорилось.

И зря.

По дороге шла смерть.

Оставляя за спиной столицу, к храму Чистых вод.

Смерть в деревянных гэта и латаной рясе, на плече смерть несла длинный меч.

Взять в левую руку веревку с петлей, и вот: гневное божество *Фудо-мео* идет карать грешников!.. Только Фудо-мео был здесь ни при чем.

Да и не здесь он был, этот смешной Фудо-мео, оскаленный паяц.

В общем-то смерти меч без надобности: она сама себе оружие. На месте лица слепо отблескивала металлическая личина, стальные руки-клинки резали в клочья просторные рукава рясы, и дорога, казалось, в страхе съеживалась, спеша убежать назад под убийственной поступью смерти.

Да, смерть вполне могла обойтись без меча. Просто ей было все равно.

Сегодня смерть заберет свое; то, что принадлежит ей по праву. Одну жизнь. Лучше — две. Если кто-то осмелится вмешаться — его жизнь присоединится к этим двум. А что будет после — смерти это тоже было все равно.

Редкие прохожие смотрели искоса, плохо понимая, *кто* мерно движется им навстречу.

Монах-воин из «Пяти Гор»? Да нет, монастыри *Годзан* одевают своих иноков побогаче. Пришлый бродяга-ямабуси? Очень может быть… А скорее всего — один из блудных приверженцев дзэн, в последнее время взявших моду, подражая своему кумиру, Безумному Облаку, бродить по дорогам с деревянными мечами, которые от настоящих не сразу-то и отличишь.

Прохожие не понимали, *кто* движется им навстречу, но инстинктивно сторонились оборванца с мечом.

Впрочем, смерть не интересовали эти прохожие. Она даже не замечала, сколь поспешно ей уступают дорогу.

Смерть шла за тем, что принадлежало ей.

Смерть шла.

Остальное ей было безразлично.

Скорей бы конец!..

Последний ветер
толкает в спину.
Иду к обрыву.

Смерть смертельно устала.

* * *

Два дня Мотоеси провел в заброшенной хижине на самой окраине Киото. Одиночество в горах приучило его обходиться малым, но выбраться в город все же пришлось: купить немного еды на две монеты, оставшиеся еще от сакайских сбережений, и поточнее узнать, в котором часу начнется представление у храма Чистых вод.

Ни с тем ни с другим особых забот не возникло. Здесь же, на рынке, Мотоеси и услышал о том, что представление должно начаться на закате.

— Слыхали? Сам сегун Есинори будет присутствовать!

— Впервые, что ли? Он и месяц назад присутствовал, и раньше, помнится…

— А в этот раз знаешь — почему?! После представления сам Будда Лицедеев должен прилюдно передать свои трактаты Онъами Мотосигэ, сегунову любимцу, и объявить его своим преемником!

— Ха! Врет и не поморщится! Дзэами Дабуцу сейчас в ссылке, а если б сегун его вернул, уже б на всех перекрестках только об этом и болтали!

— Сам ты пустоязыкий враль! Ну не лично старый Дзэами, так сын его передаст, от отцовского имени!

— Какой сын?! Сын у него умер! Из могилы, что ли, встанет — трактаты передавать?!

— Старший помер — младший остался! Найдется кому…

Разумеется, Онъами уже поспешил сообщить сегуну о предстоящем после спектакля торжественном вручении. Ну а слышал это, понятное дело, не один сегун — так что слухи пошли гулять по городу, и даже те, кто на театральные представления отродясь не хаживал, с удовольствием перемывали косточки актерской братии и обсуждали грядущее событие.

Что поделаешь — столица.

Город интриг и сплетен.

В день накануне представления Мотоеси встал рано, еще до восхода солнца. Извлек из ножен меч, из футляра — маску.

Положил их рядом.

И просидел над ними почти весь день.

Когда солнце коснулось горизонта, он наконец поднялся на ноги. Сунул за пазуху отливавшую металлом маску, вложил меч в ножны — словно змея скользнула в нору; одернул латаную рясу. Ткань местами поползла, лопнула, словно разрезанная изнутри острыми стальными гранями.

Усмешка жутковатым разрезом перечеркнула отвердевшее лицо Мотоеси. Не усмешка — холод ледяной проруби; не лицо — зимняя луна. Человека здесь больше не было. Человек не сможет пройти сквозь охрану сегуна; человек не в силах свершить задуманное, ибо слаб и ничтожен.

Спасибо, отец. Ты знал, что подарить своему непутевому сыну: когда-то — жизнь, потом — меч. Твой сын теперь — меч; но он еще и твой сын.

Спасибо, несчастная *нопэрапон*. Ты знала, что подарить твоему убийце: сперва — боль, потом — надежду. Твой убийца теперь — боль и надежда во плоти; но он еще и твой убийца.

Убийца должен убивать.

Сегодня на представление соберется много народу.

Это хорошо.

Сегодня они увидят *его* представление; лучшую в их жизни «пьесу об одержимых».

А финал выйдет счастливым. Злодеи будут наказаны; все злодеи будут наказаны.

Сегодня — его день.

День его триумфа.

И день смерти, которая холодно смотрит на мир из его

глазниц.

Смерть шла по дороге, в ужасе убегающей назад, и шаги ее звучали ударами погребального гонга.

5

— Эй, собрат по глупости, куда путь держишь?!

Окрик раздался с холма, полого уходившего вверх от перекрестка двух дорог, к которому как раз подходила смерть.

Смерть не обернулась.

Зато обернулись дородный торговец в летах и деревенский староста, что расположились вместе с женами и детьми неподалеку, в редком сосняке: отдохнуть на лоне природы, выпить по чашке-другой саке, полюбоваться соснами на фоне заката… А тут какой-то святой человек орет, понимаешь, как осел, отдохнуть культурно не дает… Угомонился бы, что ли, во имя всех будд прошлого и настоящего?!

Тощий монах вовсю размахивал здоровенным мечом в богато изукрашенных ножнах — красных с золотом, — даже не думая угомониться.

— Погоди, собрат, ты идешь не по тому пути! Не надо туда идти! — Он уже бегом спускался с холма, а вслед за горлопаном ковылял слепой гадатель. Цитра в чехле лупила гадателя по костлявой спине, томно постанывая, будто красавица во время игры в «облако-дождик».

Смерть не остановилась.

Она бы продолжала идти и дальше — но, увы: тощий монах возник у нее прямо на пути и загородил смерти дорогу.

— Что, дурачок, решил повеситься на воротах своего врага?

— Это не твоя забота. Дай мне пройти.

Голос смерти прозвучал глухо, словно говоривший находился не здесь, а на два посоха под землей.

— Не ходи туда. Это не твой путь! — Монах продолжал загораживать смерти дорогу. — Это вообще не путь!

— Это путь. Они умрут. Отойди в сторону, Безумное Облако. Сейчас я — смерть. Я — меч. Я — стрела на тетиве. И тетива натянута, дрожит, вырывается из пальцев. Дай мне пройти.

— Не дам! — Шутовская личина отвердела на лице монаха, морщинистом не по возрасту. — Ты не смерть и не стрела. Ты — Мотоеси, сын Будды Лицедеев. Посмотри на себя! Ты хочешь убить и быть убитым? Нет уж, эта роль — не для сына твоего отца! Я не дам тебе сыграть бездарный спектакль.

Смерть молчала.

Она сделала шаг вправо, потом влево — но монах все время оказывался у нее на пути.

Тогда смерть — по-прежнему молча, ибо все слова были сказаны — протянула руку, чтобы отодвинуть упрямого инока в сторону. Инок неумело попытался отгородиться от смерти своим мечом, большим красивым мечом в дорогих ножнах, красных с золотом… К сожалению, меч этот был подобен своему хозяину, никогда ранее не сражавшемуся с живым существом, никогда не прибегавшему к насилию телесному, — и с сухим треском он переломился надвое, встретив руку смерти.

На холме, в сосняке, началось суматошное движение:

— Уходим, уходим отсюда! Собирайте вещи, берите детей — и скорее, скорее прочь! Мало ли что взбредет в голову этим двум безумным монахам с мечами?! Сперва они начали драться друг с дружкой, а потом…

Но для стоявших на перекрестке никакого «потом», кроме «сейчас», не было.

Смерть тупо смотрела на обломки деревянного меча.

— Нет, я все равно не дам тебе… не дам! — Тощий инок клещом вцепился в смерть, пытаясь удержать, не пустить… Смерть повела плечом, острый наконечник локтя ткнулся монаху под ребра — хруст, вскрик, и Безумное Облако рухнул в придорожную пыль.

Смерть переступила через корчащегося в пыли монаха — и остановилась.

На пути у нее стоял слепой гадатель.

Стоял, скалился непонятно — и мерно подбрасывал на ладони персиковую косточку с вырезанными на ней знаками судьбы.

— Не стой у меня на дороге, слепец. Я не хочу убивать тебя. Я никого не хочу убивать — никого лишнего. Но мне очень трудно удерживать себя. И если ты будешь упорствовать…

Гадатель молчал.

Скалился.

Смерть сместилась вправо — гадатель немедленно повторил ее движение, вновь заступив дорогу. Казалось, слепой Раскидай-Бубен, певший мертвым, прекрасно видит все движения смерти.

Смерть шагнула влево.

— Лови!

Смерть машинально поймала на лету брошенную ей косточку — и недоуменно воззрилась на три знака судьбы, раскрошившиеся на ее ладони в труху.

Деревянное крошево на ладони.

Крошево судьбы, которой больше не было.

Смерть подняла ногу, чтобы шагнуть вперед, к зрячему слепцу, — и в это мгновение цепкие пальцы Безумного Облака намертво вцепились в ее лодыжки.

Смерть упала лицом вперед.

И тут же монах навалился сверху, не давая подняться.

Инок кричал страшно. Кожа на его ладонях лопнула, из ран, больше похожих на разрезы, словно монах хватался за остро отточенное лезвие, хлестала кровь. Да, инок кричал, корчась, извиваясь от корежащей его тело боли, — но хватки не ослаблял.

Смерть заворочалась под ним, пытаясь стряхнуть с себя досадную помеху, встать и идти дальше; руки смерти медленно потянулись к вцепившимся в нее пальцам. Миг — и их срежет напрочь, словно отточенной бритвой. Но в это отчаянное мгновение монах, перехватив смерть поудобнее, рывком приблизил ее лицо к своему и впился взглядом в тусклые глаза смерти.

Взгляды встретились.

Мотоеси смотрел в глаза Безумного Облака и видел, что там, в глубине, нет ни боли, ни страха, ни судорожных конвульсий истерзанного, искалеченного тела, — там были только спокойствие и безмятежная, девственная чистота изначального зеркала. В зеркале не отражалось смерти, не было ожившего меча, не было мстителя, идущего убивать.

Там отражался он, Мотоеси.

Настоящий.

Тот юноша, кто ради счастья доставить радость отцу кинулся в ночь; тот Мотоеси, который в одиночку, с деревянным мечом, гнался по пустынному кладбищу за вором, укравшим у старого мастера маску и жизнь. Сын, который по собственной воле остался с престарелым отцом, наотрез отказавшись уезжать с труппой и старшим братом; боец, для которого честь семьи была превыше собственной жизни, чья отвага остановила убийц в переулке Чахлых Орхидей; актер, который спас премьеру «Парчового барабана»; учитель, наставлявший своих собратьев по искусству, стыдясь брать за это плату; послушник, преодолевший искусы; отшельник, спасший сына гончара Танаки…

Мотоеси смотрел в чистое зеркало; он видел сам себя.

И дар *нопэрапон* был тут совершенно ни при чем.

* * *

…Рано постаревший человек рвал свою и без того

изодранную рясу в клочья, плача и смеясь, бинтуя раны другому человеку, который то и дело морщился, покрикивая на собрата, чтобы тот был поаккуратнее.

Потом, когда перевязка была закончена, один помог другому встать. К ним подошел слепой гадатель, раненый оперся на плечо врачевавшего, другое плечо подставил слепец — и все трое медленно побрели по дороге, прочь от столицы, прочь от холмов, прочь от далекого пения флейты, что возвещала начало вечернего представления близ храма Чистых вод.

А на дороге, никем не замеченная, осталась лежать треснувшая пополам маска. Остановитесь! вглядитесь! и поразитесь прихоти судьбы: маска из кипариса с изумительной точностью повторяла черты оборванца, бинтовавшего раны сварливому иноку, только лицо это было лицом юноши.

Глупая ворона села прямо на трещину, клюнула маску в глазную прорезь и хрипло откашлялась.

Ворона боялась, что день, умирающий за холмами, больше не вернется.

Никогда.

6

А на следующий день страшная гостья посетила Киото: известие о насильственной гибели сегуна Есинори. И шептались государственные советники с фрейлинами императрицы, зеленщики с побирушками, а подвыпившие самураи — с певичками из веселых кварталов, перевирая сказанное и услышанное, обвиняя и оправдывая и оттого еще больше запутываясь и запутывая: то ли сегун был убит прямо во время представления, то ли после, во время монастырской трапезы, то ли вообще…

Зато три недели спустя радость охватила всех, в чьей душе жила тяга к прекрасному: новый сегун соизволил вернуть из ссылки престарелого Будду Лицедеев, известного во всех провинциях Дзэами Дабуцу. Правда, и здесь длинные языки подсуетились, напутали и наворотили: слышали? Да, слышали и даже видели, в Киото, у зятя старик живет! Да какого зятя, в каком Киото?! — в деревне Оти сидит старец, у внука! У внука? Что вы несете, уважаемый?!

Впрочем, важна ли разноголосица людская?

Ничуть.

Когда стражникам заставы Авадзу на бегу сообщил эти вести — о гибели сегуна и возвращении старого актера, — скороход владетельного дайме, стражники пересказали новости бродячим

торговцам, а торговцы — известному во всех провинциях Безумному Облаку и его спутникам, то монах даже бровью не повел. Лишь буркнул что-то о странном господине, который никуда не спешит, но везде успевает. Зато слепой гадатель выслушал известие с приличествующим вниманием, а третий бродяга — видать, сильно потрепанный неласковой жизнью! — улыбнулся счастливо и сложил незамысловатое хокку:

— Я уходил —
И я вернулся.
Какой пустяк!

Говорят также, что в благодарность за сии строки Безумное Облако ударил спутника палкой по плечам.

7

Но мало ли о чем болтают пустомели?

XVII. По образу и подобию

— Стой, стрелять буду! — встрепанным Петрушкой выныривает из-за книжных штабелей знакомый всему читающему населению города «книгопрод*а*вец». — Когда ваша новая книга выйдет?

— Так меньше месяца назад ведь вышла! — изумленно отвечают двое, воззрясь на чудака. — Вон, у тебя поверх пачки лежит…

«Книгопрод*а*вец» по кличке Миха-балочный с презрением машет рукой: послушайте их, люди добрые, чего городят!

— Какая ж она новая?! Следующая когда будет? Меня покупатели задолбали…

Двое молчат.

Улыбаются.

— Ну, парни! — Миха-балочный тоже выдает ухмылку во весь рот. — Ну, вы даете! Сколько ж можно один сюжет кроить?!

— Сюжет? — спрашивают двое.

— А то?! Сплошной наумняк! Каждый раз начинаете с такого замороченного куска страниц на пять-десять, что половина читателей сразу обламывается и книгу закрывает! И финал — разве ж это финал? Сплошное недоразумение! Кто? кого? зачем? — хрен поймешь! Продолжение, что ли, писать будете?!

— А покупатели? — спрашивают двое.

По лицам видно: продолжения не предвидится.

— Что покупатели?!

— Ну, которые задолбали…

— А что покупатели?! Такие же дураки, как… как… — Миха-балочный понимает, что у него случилась мелкая неувязочка в тезисах, думает секунду-другую и подводит итог, смеясь: — Такие же дураки, как я!

Вокруг постепенно начинает собираться толпа, слушают, кто-то пытается вставить свою реплику.

— …А вот это…

— А вот это как раз не то, что…

— Вот именно, не то что всякие там…

— Не гони! Сам ты всякий там… и тут ты тоже всякий!..

— Ну, это вообще идеальный вариант: когда читаешь запоем, а потом понимаешь, что надо перечитать, — потому что тянет вернуться, договорить, доспорить…

— Ну, мля, не одну ж нетленку ваять! Надо и для народа чего-нибудь, позабойнее… «Вор в законе» читал?

— Раз «в законе», значит, точно для народа…

— Наиздавали тут! Всяких… как их…

Двое не слушают.

Сворачивают к букинистике: старые потрепанные томики лежат прямо на клеенке, у ног.

Один берет вторую от угла книгу, листает, останавливается, еле заметно шевеля губами; второй глядит через плечо.

«…я начинаю понимать, что „надеть маску“ — процесс такой же сложный, как вжиться в роль. Задолго до начала представления артист стоит подле зеркала. Мальчик подает ему маску. Артист осторожно берет ее и молча вглядывается в ее черты. Незаметно меняется выражение глаз, облик становится иным. Маска как бы переходит в человека. И тогда медленно и торжественно он надевает маску и поворачивается к зеркалу. Их уже нет по отдельности, человека и маски, теперь это целое».

— Сколько стоит? — спрашивают двое.

Выслушав ответ, отдают горсть мелочи старому продавцу в очках.

Одна дужка очков перевязана изолентой.

Старик благодарит, лезет в какие-то коробки, достает брата-близнеца только что купленной книги; кладет на место прежней.

Черная обложка.

Белые буквы.

Григорий Козинцев, «Пространство трагедии».

А двое уходят прочь.

Даже не задержавшись у столба с объявлением:

«Трансцендентальная медитация

Полное снятие стрессов, рост ощущения счастья и внутреннего спокойствия, ликвидация последствий наведения порчи, обучение выходу из тела, астральный бой, формирование ситуаций, повышение коммуникабельности и умение воздействовать на собеседника нетрадиционными способами.

Всего за три месяца Вы, не прилагая больших…»

Остаток текста оторван вместе с одним из нарезанных под объявлением телефонов. Зато в левом нижнем углу остается еще много пространства, белой пустоты бумаги, куда можно вписать что угодно.

Пустота.

Пространство.

Пространство трагедии.